

## Казанова Джакомо История моей жизни

### ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Прославленный венецианский авантюрист, «гражданин мира», как он себя аттестовал, Джакомо Джироламо Казанова (1725–1798), чье имя сделалось нарицательным, был не только одним из интереснейших людей своей эпохи, но и ее символом, ее отражением. Перед современниками и потомками, его читателями, он предстал как человек воистину разносторонний, энциклопедически образованный: поэт, прозаик, драматург, переводчик, филолог, химик, математик, историк, финансист, юрист, дипломат, музыкант. А еще картежник, распутник, дуэлянт, тайный агент, розенкрейцер, алхимик, проникший в тайну философского камня, умеющий изготавливать золото, врачевать, предсказывать будущее, советоваться с духами стихий. Но — что истинно в мифе, который он творил о самом себе?

Мемуары Казановы были опубликованы в начале XIX века, когда литература романтизма стала беспрестанно обращаться к легенде о Дон Жуане. Вечный образ Соблазнителя появляется у Байрона и Пушкина, Гофмана и Мериме, Хейберга и Мюссе, Ленау и Дюма. Именно в этой традиции и были восприняты записки Казановы, многие годы считавшиеся верхом неприличия. Их запрещали печатать, прятали от читателей.

Для подобной трактовки были даже чисто биографические основания — Казанова живо интересовался своим литературным предшественником, помогал другу-авантюристу Да Понте писать для Моцарта либретто оперы «Дон Жуан» (1787). Но «донжуанский список» Казановы может поразить воображение только очень примерного семьянина: 122 женщины за тридцать девять лет. Конечно, подобные списки у Стендаля и у Пушкина покороче, и в знаменитых романах тех лет, к которым пристало клеймо «эротические» (как, например, к увлекательнейшему «Фобласу» Луве де Кувре, 1787–1790), героинь поменьше 1, но так ли это много — три любовных приключения в год?

Личность Казановы оказалась скрыта под множеством масок. Одни он надевал сам — уроженец Венеции, где карнавал длится полгода, потомственный комедиант, лицедей в жизни. Другой маскарадный костюм надели на него эпоха, литературная традиция, вписавшая мемуары в свой контекст. Причем традиции (та, в которой создавались записки, и та, в которой они воспринимались) были прямо противоположными — то, что для XVIII века казалось нормой, в XIX столетии сделалось исключением.

Главное богатство авантюриста — его репутация, и Казанова всю жизнь тщательно поддерживал ее. Свои приключения он немедленно обращал в увлекательные истории, которыми занимал общество («Я провел две недели, разъезжая по обедам и ужинам, где все желали в подробностях послушать мой рассказ о дуэли»). К своим устным «новеллам» он относился как к произведениям искусства, даже ради всеильного герцога де Шуазеля не пожелал сократить двухчасовое повествование о побеге из тюрьмы Пьямби. Эти рассказы, частично им записанные, опубликованные, естественно переросли в мемуары, во многом сохранившие интонацию живой устной речи, представления в лицах, разыгрываемого перед слушателем. Создавал Казанова «Историю моей жизни» на склоне лет (1789–1798), когда о нем уже мало кто помнил, когда его друг принц де Линь представлял его как брата известного художника-баталиста. Казанове была нестерпима мысль, что потомки не узнают о нем, ведь он так стремился заставить о себе говорить, прославиться. Создав воспоминания, он выиграл поединок с Вечностью, приближение которой он почти физически ощущал («Моя соседка, вечность, узнает, что, публикуя этот скромный труд, я имел честь находиться на вашей службе», — писал он, посвящая свое последнее сочинение графу Вальдштейну). Человек-легенда возник именно тогда, когда мемуары были напечатаны.

Но, воссоздавая наново свою жизнь, перенеся ее на бумагу, Казанова перешел в пространство культуры, где действуют уже иные, художественные законы. Каждая эпоха создает свои собственные модели поведения, которые мы можем восстановить по мемуарам и романам. В своем бытовом поведении человек невольно, а чаще сознательно ориентируется на известные ему образцы (так, французские политические деятели XVII–XVIII вв. старательно подражали героям Плутарха, особенно во времена общественных потрясений: Фронды, Революции, наполеоновской империи; эта традиция дожила до Парижской коммуны). Более того, когда гибнет старое общество (в 1789 г., когда Казанова приступил к мемуарам, пала французская монархия, в 1795 г. после третьего раздела перестала существовать Польша, а в 1798-м, в год его смерти, исчезла с политической карты Венецианская республика, завоеванная войсками Наполеона), именно литература сохраняет память о поведенческих нормах, предлагает их читателю.

Джакомо Казанова принадлежал к двум культурам — итальянской и французской, для вхождения в которую он потратил большую часть жизни. Свои первые литературные творения Казанова писал на родном языке, но в конце жизни полностью перешел на французский (хотя продолжал грешить итальянизмами). В ту пору это был поистине интернациональный язык, на нем

говорили во всех странах Европы, а Казанова хотел, чтобы его читали и понимали везде. «История моей жизни» стала явлением французской культуры. Именно в этой перспективе, как нам кажется, наиболее плодотворно рассматривать воспоминания Казановы, хотя, разумеется, и в Италии была сильная мемуарная традиция. Достаточно вспомнить «Жизнь Бенвенуто Челлини» (1558–1566), великого художника и искателя приключений, бежавшего из тюрьмы, немало лет проведенного во Франции, как и наш герой.

Мемуары Казановы, вызвавшие поначалу и у читателей, и у исследователей сомнения в их достоверности (библиофил Поль Лакруа даже считал их автором Стендаля, действительно высоко ценившего записки венецианца), в общем, весьма правдивы. Для многих эпизодов нашли документальное подтверждение уже в XX веке. Разумеется, Казанова старается подать себя в наиболее выгодном свете, умалчивает о том, что порочит его, но во многих случаях он нарушает хронологию, переставляет местами события, объединяет однотипные (например, две поездки на Восток превращает в одну), следуя законам повествования, требованиям композиции. Логика сюжета, действий того персонажа, которого он рисует на страницах мемуаров, может подчинить себе правду жизни. Так, когда благодетельница и жертва Казановы маркиза д'Юрфе порвала отношения с ним, он сообщает читателю, что она умерла — для него она перестала существовать.

В «Истории моей жизни» отчетливо видны несколько сюжетных традиций: авантюрного и плутовского романа, психологической повести, идущих из XVII века, романа-карьеры и романа-«списка» любовных побед, сложившихся во Франции в эпоху Просвещения, и мемуаристики. Именно на их фоне и проявляется истинное своеобразие записок Казановы.

Во Франции, как это часто бывает, интерес к мемуарам пробуждался после периодов сильных общественных потрясений: религиозных войн (1562–1594), Фронды (1648–1653). В прозе тогда доминировали многотомные барочные романы, где в возвышенном стиле воспевались героические и галантные приключения многовековой давности — как в «Артамене, или Великом Кире» (1649–1653) Мадлены де Сюдери. Мемуары, описывавшие недавнее прошлое, привносили в литературу подлинные и жестокие события, кровавые драмы, любовные интриги, воинские подвиги, примеры высокого благородства и расчетливой подлости. Именно под воздействием мемуаров стали возникать в конце XVII века психологические повести («Принцесса Клевская» г-жи де Лафайет, 1678), вытеснившие барочный эпос, подготовившие почву для «правдоподобного» романа XVIII века.

Воспоминания писали (или, реже, за них сочиняли секретари) королевы (Маргарита Валуа, Генриетта Английская), министры (Сюлли, Ришелье, Мазарини), вельможи, придворные дамы, военачальники, судейские, прелаты (герцоги Буйонский, Ангулемский, Гиз, де Роган, мадемуазель де Монпансье, маршал Бассомпьер, первый президент парламента Матье Моле, кардинал де Рец и др.), писатели-аристократы (Агриппа д'Обинье, Франсуа де Ларошфуко). Популярность мемуаров была столь велика, что на рубеже XVII–XVIII веков началось взаимопроникновение «художественной» и «документальной» прозы. Появились поддельные воспоминания подлинных исторических лиц. Их во множестве изготовлял одаренный литератор Гаэтан Куртиль де Сандра, самые известные из них «Мемуары г-на д'Артаньяна» (1700), где мушкетеру приносят удачу воинские подвиги, шпионство, плутни, политические интриги и, главное, успехи у женщин.

Одной из самых распространенных жанровых форм стали «романы-мемуары»: из трех с половиной тысяч романов, изданных во Франции в XVIII веке, 243 носят название мемуаров. Чтобы доказать «правдивость» своих произведений, писатели подробно рассказывают, где, при каких обстоятельствах к ним попала «подлинная» рукопись. Возникли устойчивые композиционные приемы: повествование ведется одновременно и от лица молодого героя, и пожилого рассказчика, оценивающего свои юношеские поступки. Подобная двойная перспектива делает текст открытым для все новых сюжетных ходов, вставных историй; predeterminedная заглавием развязка (раз это мемуары, значит, герой после любых приключений остался жив 1, добился положения в обществе и взялся за перо) вынуждает автора оттягивать неинтересный ему финал, и потому романы, как и подлинные мемуары, часто оказываются незавершенными, бросаются на полуслове.

Французским прозаикам XVIII века развязки вообще плохо давались: роман, открытый, подражающий жизни жанр, не терпел искусственных ограничений.

Но взаимодействие романа и мемуаров шло не только в эстетической области, не ограничивалось открытием новых тем, сюжетов, композиционных приемов, ранее недоступных сфер жизни и быта, казавшихся «внехудожественными». Выработывалась новая концепция человека, рушился идеал героического дворянского поведения. В XVII веке воспоминания по большей части писали не победители, а побежденные в гражданских войнах, они создавали их в тюрьмах (Бассомпьер), в изгнании (д'Обинье), в опале (Ларошфуко), в монастыре, отъединившись от мира (Рец). Воспроизводя заново свою жизнь, мемуаристы мечтали взять реванш, победить пером своих врагов, раз оружие оказалось бессильным, а борьба бесцельной.

За годы преданной службы поэт Агриппа д'Обинье (1550–1630), сподвижник Генриха IV, «козел отпущения», как он сам себя называл, был двенадцать раз ранен в живот, четырежды приговорен к смерти, вынужден покинуть родину, кончить дни на чужбине. Политические противники и антиподы: Ф.

де Ларошфуко (1613–1680), автор знаменитых «Максим» (1664), защитник старых дворянских идеалов, благородный воин, и изощренный политик, последователь Макиавелли кардинал де Рец (1613–1679), искусно манипулировавший общественным мнением, простонародьем, — оба проиграли в схватке с кардиналом Мазарини.

Дворянский индивидуализм, толкавший страну на путь войн и междоусобиц, уступал государственному абсолютизму, объединявшему и подавлявшему людей. Неумевшие приспособиться оказывались ненужными. В новую эпоху дворянин должен был не сражаться, отстаивая высокие цели, а угождать, нравиться — королю, министрам, их фавориткам; служебная карьера строилась по законам обольщения. Аристократия утратила свой бунтарский запал и начала сходить с политической сцены, уступая место третьему сословию.

И в XVIII веке появляются воспоминания разночинцев. В предыдущем столетии это было почти невозможно 1. Напомним, что мемуары как жанр изначально были рассказом о важных государственных событиях, и потому их автор, бравший на себя роль историка, мог писать о себе в третьем лице (как д'Обинье), соединять обе формы (как Ларошфуко). И лишь когда воспоминания приобретали отчетливо выраженную личностную окраску, сближались с романом, как, например, мемуары Реца, верх брало «я». Но даже в этом случае любовные события оказывались менее значимы, чем политика и война. Интерес к сфере частной жизни в «художественной» и «документальной» прозе усиливался по мере того, как отдельный человек выключался из сферы общественной, политической жизни. Знаменитая фраза Людовика XIV «Государство — это я» значила, что судьбы страны вершит он один, остальным делать нечего.

«Низкая» жизнь мещанина по нормам классицистической эстетики могла описываться только «отстраненно», от третьего лица. Жанр плутовского романа требовал рассказа от первого лица, и во Франции XVII века их героями (в отличие от испанских пикаро) становились обедневшие дворяне (как во «Франсоне» Ш. Сореля, 1622). Только позднее, в романах эпохи Просвещения, простолюдин сумел завоевать право голоса: сперва в текстах стали появляться их устные вставные рассказы, а уже затем возникли романы-мемуары мещан, сумевших выбиться в люди. Тем самым литературный герой оказался равен по положению и читателю (который себя с ним невольно отождествлял), и автору (ведь он сам творит, воссоздает свою жизнь). Первым образцом романов такого типа был «Удачливый крестьянин» Мариво (1735), вызвавший многочисленные подражания. Одним из главных средств подняться вверх по социальной лестнице (и для мужчин, и для женщин) были любовные победы, с той только разницей, что крестьянка, выйдя замуж за графа, становилась графиней, а вот крестьянин, женившись на аристократке, увы, только низводил жену до своего уровня (как, например, в «Удачливом солдате» Е. Мовийона, 1753). Поэтому простолюдин должен был разбогатеть, пустить в ход свои финансовые, литературные или иные таланты, как это сделали знаменитые разночинцы XVIII столетия — Вольтер, Руссо, Бомарше.

Разумеется, их мемуарное наследие неравнозначно. Руссо оставил «Исповедь» (1764–1770, опубл. 1781–1788), совершившую переворот в европейской психологической и автобиографической прозе 2. Вольтер написал свою официальную биографию (Исторический комментарий к творениям автора «Генриады», 1777) и небольшие, но яркие мемуары, рассказывающие о его взаимоотношениях с королем прусским Фридрихом II («Мемуары для жизнеописания г-на де Вольтера», 1758–1760, опубл. 1784). Бомарше же предпочитал жанр «мемуара» — юридического документа, где излагаются обстоятельства судебного дела, но писал подобные сочинения столь часто, подробно и живо, что превратил их в рассказы о самых ярких моментах своей судьбы (четыре мемуара против судьи Гезмана, 1773–1774, мемуары против Корнмана и Бергаса, 1786–1789, против своего обвинителя Лекуатра, 1793). В характерах всех троих, нимало не схожих авторов, есть одна общая и немаловажная черта: авантюризм, неукротимое желание пробиться наверх, присущее разночинцам. Как объявил адвокат Сийес в январе 1789 года: «Что такое третье сословие? Все. Чем оно было до сих пор в политической жизни? Ничем. Чего оно требует? Стать чем-нибудь».

Жизнь великих французских просветителей, заботившихся о всеобщем счастье, была отнюдь не благой. Их арестовывали, сажали в тюрьму (Дидро, Вольтер, Бомарше), изгоняли на чужбину, сжигали их книги рукой палача (Руссо, Вольтер). Правда, и сами они были не идеальными людьми. Великодушие в них сочеталось с эгоизмом, смелость и независимость оборачивались бесцеремонностью. Обаятельнейшие, интереснейшие собеседники были весьма неуживчивыми людьми. Приключения юности, описанные Руссо, напоминают плутовской роман (бродяга, слуга, воришка, доносчик). И Вольтер, и Бомарше, считавший себя его учеником, были талантливыми финансистами и сколотили огромные состояния с помощью банковских и торговых махинаций (нередко откровенно мошеннических). Они выполняли негласные и даже щекотливые дипломатические поручения, неутомимые путешественники были, по сути, тайными агентами французского короля. Оба писателя легко играли роли царедворцев, льстивых придворных, умели войти в милость к государям (их жаловали чинами, дворянством), но они сами навлекали на себя опалу свободолюбивыми выходками.

Именно такими были и самые знаменитые авантюристы XVIII века, которых во множестве

притягивала Франция, — Казанова, Калиостро, Сен-Жермен, не говоря уже о многих других, также появляющихся на страницах «Истории моей жизни»: шулер и бретер маркиз Даррагон, «вечный должник» барон Сент-Элен, учитель танцев Кампиони, «чернокнижник» Пассано, граф Медини и даже некий Карл Иванов, выдававший себя за сына герцога Курляндского. Успех искателей приключений отражал главное противоречие эпохи Просвещения, слепо верившей в силу разума и тянувшейся к иррациональному. Философы и политики желали исправить общество, сделать людей насильно счастливыми и ввергли их в пучину террора. И чем ближе надвигалась революция, чем сильнее было ощущение конца времен («После меня хоть потоп» — как пророчески говаривал Людовик XV), тем больше появлялось магов, алхимиков, астрологов, прорицателей, чародеев, целителей (несомненными экстрасенсорными способностями обладали Сен-Жермен и Калиостро, да и великий Франц Месмер, открыватель «животного магнетизма», пользовался огромной популярностью во Франции конца века, где возникли целые секты его последователей).

Конечно, Казанова не отставал от других. Он излечил от ломоты Латур д'Оверня, избавил от прыщей герцогиню Шартрскую, посоветовав соблюдать щадящий «магический» режим, продал принцу Курляндскому рецепт изготовления золота, завлекал алхимическими опытами принцессу Ангальт-Цербстскую, мать Екатерины II (разумеется, к магическим операциям своего конкурента Сен-Жермена он относился более чем скептически). Венецианец предсказывал будущее, блестяще владея криптографией, мгновенно составлял зашифрованные послания своему Духу и сам отвечал за него. Завоевывая доверие людей, он прибегал и к простым трюкам (отыскивал спрятанный им же кошелек, чертил пентаграмму, которую украдкой подсмотрел в книге), и к сложным психологическим ходам. Так, предсказав юной красавице м-ль Роман, что она станет фавориткой короля, а ее сыну суждено осчастливить Францию, он внушил ей мысль отправиться из Гренобля в Париж, где на нее обратил внимание любвеобильный Людовик XV<sup>1</sup>. Как писал Казанова, «если предсказание не сбывается, то грош ему цена, но я отсылаю снисходительного моего читателя ко всеобщей истории: там обнаружит он множество событий, какие, не будь они предсказаны, никогда бы и не совершились».

Можно ли считать всех этих авантюристов обыкновенными плутами и обманщиками? Искатели приключений давали обществу то, чего оно требовало. В них концентрировалась энергия надвигающихся социальных катаклизмов, они служили закваской, бродилом грядущих перемен. Авантюристы, во множестве колесившие по Европе, разносили по городам и странам новые слова, моды, художественные вкусы, политические идеи. Они предвосхищали те перемещения народов, перекойку карты Европы, которую принесут революция, наполеоновские войны. Они проникали во все слои общества, общались с крестьянами и королями, философами и шлюхами. Они рушили социальные и государственные границы, отменяли старые нравственные нормы, совершали своего рода «сексуальную революцию». Как писал Стефан Цвейг, эпоха уничтожила сама себя, создав наиболее законченный тип, самого совершенного гения, поистине демонического авантюриста — Наполеона.

Французская исследовательница Сюзанна Рот, рассмотрев судьбы авантюристов XVIII века как единый текст, выделила основные качества, характеризующие «образцового» искателя приключений: непредсказуемость, импульсивность, сосредоточенность на сегодняшнем дне, вера в удачу, доходящая до суеверия, богатая фантазия, прожектерство, смелость, решительность, даже жестокость, гедонизм, эгоцентричность и общительность, любовь к внешним эффектам, обманам, мифотворчеству, к игре, умение плести интриги. Разумеется, всеми этими качествами в полной мере обладал Казанова — привилегированный объект ее анализа, и все они важны. Но, думается, главным было другое — оставаясь самим собой, быть зеркалом своего собеседника, среды, в которую он попадал. И в этом — тайна его успеха.

Ярче всего импровизационный дар Казановы проявился в беседе с Фридрихом Великим, когда он попеременно обращался в ценителя парков, инженера-гидравлика, военного специалиста, знатока налогообложения. Но так всегда и везде, и нередко чем меньше знает он, тем вернее успех. В Митаве он, сам себе удивляясь, дает полезные советы по организации рудного дела, в Париже оказывается великим финансистом. В большинстве случаев достаточно просто молчать — собеседник сам все расскажет и объяснит. Так, неплохой химик Казанова «учил» таинствам алхимии их знатока маркизу д'Юрфе, так вел ученые беседы с великим швейцарским биологом и медиком А. Галлером, черпая необходимые для ответов сведения из самих вопросов. Для него дело принципа бить соперника его же оружием, и потому столь гордится он победой над польским вельможей Браницким, вынудившим его драться не на шпагах (как он привык), а на пистолетах. Но главное оружие Казановы — слово. Он с юности умеет расположить к себе слушателя, заставить сочувствовать своим невзгодам (в этом, как он сам подчеркивал, одно из слагаемых успеха). И в Турции, как он сам уверяет, Казанова не остался потому, что не желал учить варварский язык. «Мне нелегко было, одолев тщеславие, лишиться репутации человека красноречивого, которую я снискал всюду, где побывал». Он владеет пером, хотя до поры до времени пишет только ходатайства другим (неизменно удачные) да литературные поделки. Человек начитанный, прекрасно знает античную, итальянскую, французскую литературу,

разбирается в театре, живописи. Столь старательно изучал он «книгу жизни», столько профессий сменил (учился в Падуанском университете, в 17 лет защитил диссертацию по праву, был и аббатом и солдатом), столько путешествовал, что, казалось, ничто не могло смутить его. И потому такой болезненной для его самолюбия оказалась встреча с Вольтером. Казанова попытался посостязаться с «атлетом духа» в знании литературы, остроумии, превратил их диалог в обмен разящими репликами и проиграл. Великий человек дал понять Казанове, что он пустое место, что за оболочкой слов нет реальных дел, что он — жалкая пародия на него самого, и этого авантюрист не мог простить философу. Поклонение сменилось неприязнью, он обрушился на Вольтера с язвительными и, как сам признавался, не слишком справедливыми памфлетами.

Но была, конечно, область, в которой темпераментный венецианец превосходил не только слабосильных Вольтера и Руссо, но и многих других, — эротическая. Т. Бачелис очень тонко подметила, анализируя фильм «Казанова» Федерико Феллини (1976), что итальянский режиссер показывает богато одаренного человека, который тщетно пытается применить свои таланты, но среда требует от него только сексуальную энергию. Общество действительно диктовало Казанове определенные нормы поведения. Францию, законодательницу моды, непререкаемый авторитет в вопросах любви, Людовик XV превратил в огромный гарем, изо всех краев и даже из других стран прибывали красотики, родители привозили дочек в Версаль — вдруг король обратит внимание во время прогулки. А юная О'Морфи попала из рук Казановы в постель короля благодаря написанному с нее портрету, понравившемуся монарху (сказочный сюжет о любви по портрету превратился во вполне современную историю о выборе девицы по изображению). «Его Величество поселил ее на квартире в Оленьем парке, где положительно держал свой сераль».

Конечно, на этом фоне аппетиты Казановы кажутся весьма скромными. Почему же его мемуары Стефан Цвейг назвал «эротической Илиадой»? Почему столь непристойными казались они буржуазно-чопорному XIX веку?

Потому, что это не традиционные мемуары государственного мужа или писателя, где любовные увлечения — только фон. Как в романе, любовь — один из высших смыслов существования Казановы, она и делает его великим. Но здесь нет и не может быть финальной свадьбы, вознаграждения добродетели и развенчания порока. Естественное чувство свободно и бесконечно, в нем самом его оправдание. «Я любил женщин до безумия, но всегда предпочитал им свободу».

Кроме того, изменились представления о литературной норме: романы Андре де Нерсиа или маркиза де Сада, созданные на исходе эпохи Просвещения, гораздо неприличнее, не говоря уже об откровенно порнографических книгах типа «Картезианского привратника» (1745), изъятых у Казановы инквизиторами при аресте. Во французской литературе XVIII века, от Кребийона-сына до Лакло, была подробно разработана теория соблазнения, «наука страсти нежной» (главный постулат ее — улучшить подходящий «момент» и решительно им воспользоваться, признавать женскую добродетель на словах, а не на деле). Разумеется, Казанове она была хорошо знакома, и он охотно завязывает с женщинами психологическую игру, смешит, интригует, смущает, заманивает, удивляет (таковы, скажем, его приключения с г-жой Ф. на Корфу, К. К. в Венеции, м-ль де ла М-р в Париже). «Уговаривая девицу, я уговорил себя, случай следовал мудрым правилам шалопайства», — пишет он об одержанной благодаря импровизации победе. Как в комедиях того времени, он может перерядиться слугой, чтобы проникнуть к даме. Но чаще все происходит гораздо проще, как с какой-нибудь Мими Кенсон: «Мне сделалось любопытно, проснется она или нет, я сам разделся, улегся — а остальное понятно без слов». В ситуациях, когда Печорин, почитавший себя великим сердцеедом, украдкой пожимает даме ручку, Казанова лезет под юбку.

Знаменитый авантюрист был в каком-то смысле искренней героев французской прозы XVIII века — бесчисленных «удачливых» крестьян и крестьянок, щеголей, создававших себе репутацию любовными успехами. Он гораздо скромнее либертенов Сада, он отказывается участвовать в больших коллективных оргиях. Для Казановы не существует трагической антитезы «высокая» — «продажная» любовь, погубившей счастье кавалера де Грийе и Манон Леско. Возвышенное чувство и плотская страсть, искренние порывы и денежные расчеты связаны у него воедино. Ненасытная жажда приключений влекла Казанову к новым победам, и в этом его записки близки к «Мемуарам» маркиза д'Аржанса (1735), который начал свою литературную деятельность с того, чем другие ее заканчивают, описав в романическом духе свои юношеские похождения (как и наш герой, он побывал адвокатом, офицером, дипломатом, наделал долгов, сорвал банк, путешествовал по Франции, Италии, Испании, ездил в Африку, Константинополь, соблазнил полтора десятка дам и девиц) 1.

Любовь была для Казановы не только жипзненной потребностью, но и профессией. Он часто употребляет традиционные литературные метафоры, воспевая эротические битвы, но нигде, кроме его мемуаров, не встретишь описания любви как тяжелого физического труда, как в сцене «перерождения» маркизы д'Юрфе. Казанова покупал понравившихся ему девиц (более всего ему по душе были молоденькие худые брюнетки), учил их любовной науке, светскому обхождению, а потом с большой выгодой для себя переуступал другим — финансистам, вельможам, королю. Не стоит принимать за чистую монету его уверения в бескорыстии, в том, что он только и делал, что составлял

счастье бедных девушек, — это был для него постоянный источник доходов.

Но в середине жизни наступает пресыщение, подкрадывается утомление. Все чаще начинают подстерегать неудачи. После того как в Лондоне молоденькая куртизанка Шарпийон изводит его, беспрестанно вытягивая деньги и отказывая в ласках, великий соблазнитель надламывается. «В тот роковой день в начале сентября 1763 я начал умирать и перестал жить. Мне было тридцать восемь лет». Все менее громкими победами довольствуется он, публичные девки, трактирные служанки, мещанки, крестьянки, чью девственность можно купить за горсть цехинов, — вот его удел. А в пятьдесят лет он из экономии ходит уже к женщинам немолодым и непривлекательным, живет как с женой со скромной белошвейкой. Чем ближе к концу мемуаров, тем чаще он хвалит себя за умеренность, разумный образ жизни («Жизнь я вел самую примерную, ни интрижек, ни карт»), все больше говорит о болезнях.

Казанова делается расчетливым — и перестает быть авантюристом. Его покидает вера в счастливую звезду, та, что вела его по жизни. Игрок по натуре и профессии, не считавший зазорным «поправить фортуна», он уже боится сесть за карты, боится проиграть. Казанова скитается по странам, которые ему вовсе не по душе, все же рассчитывая найти себе там покойную службу до конца дней. После того как он побоялся слишком понравиться Фридриху II и не сумел войти в доверие к Екатерине II, он стал все ближе и ближе подбираться к родной Венеции. И чем необратимей уходила его сексуальная сила, тем интенсивней становилась интеллектуальная деятельность. Все чаще возникают на страницах мемуаров литературные споры, книги, библиотеки («Не имея довольно денег, дабы помериться силами с игроками или доставить себе приятное знакомство с актеркой из французского или итальянского театра, я воспылил интересом к библиотеке монсьеора Залуского») — прибежище последних лет. Казанова сам начинает писать, причем отдается этому занятию со страстью, самозабвением, работает без усталости. Опровержение столетней давности «Истории Венецианского государства», созданной французским дипломатом Амело де ла Уссе (1677), помогает ему заслужить прощение у государственных инквизиторов и возвратиться на родину. И тут воспоминания обрываются, хотя Казанова постоянно обращался к ним, думал, не довести ли их до конца. «История моей жизни до 1797 г.» — так значилось в рукописи. Но повествовать о том, как перешел в лагерь бывших своих врагов, стал тайным осведомителем инквизиции, было невозможно — искатель приключений, чей образ он создавал в мемуарах, умер. «Что до мемуаров, — писал Казанова своему другу Ж. Ф. Опицу в 1794 году, — то боюсь, что брошу их, как они есть, перевалив за рубеж пятидесяти лет, я могу рассказывать лишь о печальном, отчего сам печалюсь...»

Большую часть жизни Казанова провел в путешествиях. Что руководило им в его постоянных блужданиях? Из мемуаров это понять трудно. Дальние проекты Казановы зачастую бессосновательны, строятся на песке. Великого авантюриста, как он уверяет, могла заставить передумать любая случайная встреча, хорошенькое личико, незначительное событие или слово, которое он толковал как господне знамение. «Следуй Богу!» — его девиз. Сюжет «Истории моей жизни» держится не на причинных, а, как в устной речи, на хронологических связях. Источником действия служат внутренняя энергия самого Казановы (как он постоянно подчеркивал, бездеятельность буквально убивала его), борьба с внешним миром, чьи законы он постоянно нарушает, — за двенадцать лет, с 1759 по 1771-й, его одиннадцать раз выслали из девяти европейских столиц.

Но были и другие, скрытые причины его поездок. Казанова не только исполнял роль дипломатического и финансового агента французского короля (о своих миссиях он повествует достаточно туманно), он был масоном, как очень многие в этом веке. Только во Франции их было 20 тысяч: Прево, Вольтер, Дюкло, Буше, Гельвеций, Лакло, Кондорсе, Лафайет, Сийес, Наполеон. Напомним, что и Карамзин ездил по Европе по поручению масонов, и в «Письмах русского путешественника» (1791–1795) он намеренно искажал свой маршрут. Тайные связи помогли Казанове чувствовать себя на равных с аристократами, обеспечивали протекцию, выручали в трудные минуты. Масонами были и заботившиеся о нем в старости друзья: принц Шарль де Линь, его племянник граф Вальдштейн, давший Казанове место библиотекаря в своем замке Дукс (Духцов) в Богемии, Ж. Ф. Опиц, граф Ламберг.

Своеобразие мемуаров Казановы заключается в том, что они, при всей вписанности в культурную традицию, отнюдь не стремятся стать романом, напротив, через литературные приемы и эпизоды пробивается сама жизнь такой, какой ее мало кто изображал. И главный интерес у Казановы-писателя вызывает он сам как действующее лицо. Через всю книгу проходит тема театра — на сцене и в жизни все беспрестанно играют, импровизируют роли (как в итальянской комедии). «Тогда завершился первый акт моей жизни, — пишет после лондонской истории с Шарпийон. — Второй — после отъезда моего из Венеции в год 1783. Третий, видать, — здесь, где я забавляюсь писанием сих мемуаров. Тут комедия окончится, и будет в ней три акта. Коль ее освищут, то надеюсь, что уже ни от кого о том не услышу». Казанова оказывается режиссером, актером и зрителем в одном лице. Как в романах-мемуарах, пожилой повествователь комментирует действия молодого, дает пояснения читателю: об этом вы узнаете в своем месте, через десяток лет (по хронологии героя), об этом я расскажу в свой черед, через час или два (за это время пишет пять-шесть страниц — быстро!).

И чем дальше, тем чаще из-за маски авантюриста выглядывает грустное лицо старика, коротающего дни на чужбине.

Глупая служанка губит его рукописи, подлец-эконом изводит мелочными нападками. Его охватывает черная тоска, от которой остается только постоянное писание — Казанова не столько составлял каталог графской библиотеки, сколько пополнял ее своими сочинениями. «Я описываю свою жизнь, чтобы развеселить себя, и мне это удастся, — извещал он графа Ламберга в феврале 1791 г. — Я пишу тринадцать часов в день, которые кажутся мне тринадцатью минутами». А позже прямо обращается к далеким потомкам в «Истории моей жизни»: «Читатель простит меня, узнав, что писание мемуаров было единственным средством, мною изобретенным, чтоб не сойти с ума, не умереть от горя и обид, что во множестве чинят мне подлещи, собравшиеся в замке графа Вальдштейна в Дуксе».

Причину старческой ранимости Казановы, его мелочной обидчивости, о которой все пишут, можно видеть в болезни — в третичной стадии сифилис калечит психику, делает человека маниакально подозрительным. Но, думается, главная причина в том, что великий авантюрист пережил свое время, подобно тому, как польский король Станислав-Август «пережил свою родину». Старый Казанова казался карикатурой на самого себя. «Он заговорил по-немецки, — рассказывал в „Мемуарах“ (1827–1829) принц де Линь, — его не поняли, он разгневался засмеялись. Он прочел свои французские стихи — засмеялись. Жестикуюлируя, стал декламировать итальянских поэтов — засмеялись. Войдя, церемонно раскланялся, как обучил его шестьдесят лет тому назад знаменитый танцмейстер Марсель, засмеялись. Он надел белый султан, шитый золотом жилет, черный бархатный камзол, шелковые чулки с подвязками, усыпанные стразами, — засмеялись. Канальи, кричал он им, все вы якобинцы!»

Последнее словцо мелькнуло не случайно — хуже оскорбления для Казановы не было. Он решительно не принял Великую французскую революцию. Казалось бы, авантюрист-разночинец, который мысленно представлял себе, как во главе восставшего народа свергает венецианских правителей, истребляет аристократов (когда его посадили в Пьюмби), должен был обрадоваться, что люди его сословия пришли к власти. Но нет. Казанова всю жизнь завоевывал право считаться дворянином, не разрушить общество хотел он, а найти себе в нем подходящее место. С казнью Людовика XVI погибла принятая им шкала ценностей.

Свои мысли о возможности иного мироустройства он изложил в научно-фантастическом и сатирическом романе «Икозамерон, или История Эдуарда и Элизабет, проведенных восемьдесят один год у Мегамикров, коренных жителей Протокосмоса в центре Земли» 1 (1788), продолжающем традиции Сирано де Бержерака и Свифта, отчасти утопистов. Его герои знакомятся со счастливым «естественным» существованием обитателей подземного рая (где все двуполы, ходят нагими, питаются грудным молоком), с техническими чудесами (снаряды с отравляющими веществами, «электрический огонь», производство драгоценных металлов и камней). Но жители Земли разрушают утопию, переустраивают чудный мир по своим законам, их многочисленное потомство завоевывает крохотные республики, устанавливает наследственную монархию.

Роман, на который Казанова возлагал большие надежды, считал главным своим детищем, оказался откровенно скучным — из-за литературности, вторичности невероятных приключений. «История моей жизни», описывающая реальные события, гораздо более оригинальна и необычна именно как художественное произведение.

Казанова-мемуарист последовательно выдерживает позицию частного лица, политики он касается лишь постольку поскольку: Семилетняя война разрушает систему международной торговли, и шелковая мануфактура, созданная венецианцем в Париже, терпит банкротство. Но мемуары пишутся во время французской революции, и действительность властно врывается в них. В повествование о любовных обманах и хитроумных мошенничествах вплетаются рассуждения о терроре (протестуя против него, Казанова в 1793 году написал гневное послание Робеспьеру на 120 страницах). Анализируя события середины века, он обращается к трагическому опыту конца столетия, как бы предсказывает историю (за четвертованием покушавшегося на короля Дамьена ему видится казнь Людовика XVI). Гедонистическое времяпрепровождение оборачивается пиром во время чумы. Казанова, убежденный традиционалист, считал, что нельзя насильно вести людей к их благу, а уж тем более железом и кровью. Преступно лишать их веры, даже предрассудков — лишь они даруют счастье (как он доказывал еще Вольтеру), а не трезвая философия, что разорила Францию, уничтожила значительную часть населения, сделала гильотину символом гражданских свобод. В новом Казанова видел только смерть старого и потому не мог принять поток неологизмов, хлынувших во французский язык в последние годы века («повреждение нравов начинается с повреждения языка»). Перед смертью он вступил в полемику с немецким ученым Л. Снетлаге, составившим словарь «революционного языка» (послание «Леонарду Снетлаге», 1797) — и слова, и стоявшие за ними реалии (террор, гильотина, бюрократия, общественный обвинитель, анархист, инкриминировать, отправить в карцер и т. д.) символизировали для него гибель культуры. Даже в технические изобретения («сигнальный телеграф», возможность управлять аэростатом) автор

утопического романа отказывался верить.

На страницах «Истории моей жизни» Казанова предстает и как активный деятель, одолевающий любые препятствия (в тюрьме он, подобно Робинзону, обживает мир камеры, создает из ничего орудия спасения), и как тонкий, умный наблюдатель. Он проницательно рисует портреты великих людей — монархов, политиков, писателей, философов, актеров, исследует национальный характер различных народов. За мелочами быта, а глаз у него острый, Казанова видит черты государственного устройства (таково его блестящее рассуждение о палке, на которой держится вся жизнь в России). Он может ошибаться, врать, быть поверхностным, — и даже в этом случае от мемуаров исходит обаяние искренности, огромной человеческой одаренности. Соблазнитель влюбляет в себя читателя.

Именно это и обеспечило мемуарам Казановы огромный успех. Пусть французскому романтику Жюлю Жанену они не понравились. Стендаль, Гейне, Мюссе, Делакура, Сент-Бев были в восторге. Ф. М. Достоевский, опубликовавший в своем журнале «Время» (1861, № 1) историю побега из Пьемонта, в редакционном вступлении назвал Казанову одной из самых замечательных личностей своего века, высоко оценил его писательский дар, силу духа («Это рассказ о торжестве человеческой воли над препятствиями необоримыми»). О записках Казановы стали беседовать литературные персонажи (как в «Пиковой даме» Пушкина, 1833, или «Дядюшкином сне» Достоевского, 1859), а сам авантюрист стал героем повестей, романов, пьес: «Возвращение Казановы» Артура Шницлера (1918), «Приключение» и «Феникс» Марины Цветаевой (1919), «Роман о Казанове» Ричарда Олдингтона (1946), не говоря уже о многочисленных эссе (Стефана Цвейга, Роже Вайяна, Фелисьена Марсо) и бесконечных литературоведческих исследованиях. Семь фильмов запечатлели его судьбу (отметим снятый во Франции А. Волковым в 1927 году фильм «Казанова» с Иваном Мозжухиным в главной роли, развлекательную ленту Ж. Буайе по сценарию М. Ж. Соважона «Приключения Казановы», 1946, и уже упоминавшийся шедевр Феллини). Из реального человека прославленный авантюрист и любовник превратился в миф.

**А. СТРОЕВ**

**1744–1745. КОРФУ-КОНСТАНТИНОПОЛЬ**

## ТОМ II

### ГЛАВА IV

Смешная встреча в Орсаре. Путешествие на Корфу. В Константинополе. Бонваль. Возвращение на Корфу. Г-жа Ф. Принц-самозванец. Бегство с Корфу. Проказы на острове Казопо. Я сажусь под арест на Корфу. Скорое освобождение и торжество. Мой успех у г-жи Ф.

Глупая служанка много опасней, нежели скверная, и для хозяина обременительней, ибо скверную можно наказать, и поделом, а глупую нельзя: такую надобно прогнать, а впредь быть умнее. Моя извела на обертки три тетради, в которых подробнейшим образом описывалось все то, что я собираюсь изложить в главных чертах здесь. В оправдание она сказала, что бумага была испачканная и исписанная, даже с помарками, а потому она решила, что лучше употребить в хозяйстве ее, а не чистые и белые листы с моего стола. Когда б я хорошенько подумал, я бы не рассердился; но гнев первым делом как раз и лишает разум способности думать. Хорошо, что гневаюсь я весьма недолго — *irasci celerem tamen ut placabilis essem*\*. Я зря потерял время, осыпая ее бранью, силы которой она не поняла, и со всей очевидностью доказывая, что она дура; она же не отвечала ни слова, и доводы мои пропали впустую. Я решился переписать снова — в дурном расположении духа, а стало быть, очень скверно, все, что в добром расположении написал, должно быть, довольно хорошо; но пусть читатель мой утешится: он, как в механике, потратив более силы, выиграет во времени.

Итак, сошедши в Орсаре в ожидании, пока погрузят балласт в недра нашего корабля, чья чрезмерная легкость мешала сохранять благоприятное для плавания равновесие, я заметил человека, который, остановившись, весьма внимательно и с приветливым видом меня разглядывал. Уверенный, что то не мог быть кредитор, я решил, что наружность моя привлекла его интерес, и, не найдя в том ничего дурного, пошел было прочь, как тут он приблизился ко мне.

— Осмелюсь ли спросить, мой капитан, впервые ли вы оказались в этом городе?

— Нет, сударь. Однажды мне уже случалось здесь бывать.

— Не в прошлом ли году?

— Именно так.

— Но тогда на вас не было военной формы?

— Опять вы правы; однако любопытство ваше, я полагаю, несколько нескромно.

— Вы должны простить меня, сударь, ибо любопытство мое рождено благодарностью. Вы человек, которому я в величайшей степени обязан, и мне остается верить, что Господь снова привел вас в этот город, дабы обязательства мои перед вами еще умножились.



— Что же такого я для вас сделал и что могу сделать? Не могу взять в толк.

— Соболаговолите позавтракать со мною в моем доме — вон его открытая дверь. Отведайте моего доброго рефоско, послушайте мой короткий рассказ и убедитесь, что вы воистину мой благодетель и что я вправе надеяться на то, что вернулись вы сюда, дабы возобновить свои благодеяния.

Человек этот не показался мне сумасшедшим, и я, вообразив, что он хочет склонить меня купить у него рефоско, согласился отправиться к нему домой. Мы поднимаемся на второй этаж и входим в комнату; оставив меня, он идет распорядиться об обещанном прекрасном завтраке. Кругом я вижу лекарские инструменты и, сочтя хозяина моего лекарем, спрашиваю его о том, когда он возвращается.

— Да, мой капитан, — отвечал он, — я лекарь. Вот уже двадцать лет живу я в этом городе и все время бедствовал, ибо ремесло свое случалось мне употреблять разве лишь на то, чтобы пустить кровь, поставить банки, залечить какую-нибудь царапину либо вправить на место вывихнутую ногу. Заработать на жизнь я не мог; но с прошлого года положение мое, можно сказать, переменялось: я заработал много денег, с выгодой пустил их в дело — и не кто иной, как вы, благослови вас Господь, принесли мне удачу.

— Каким образом?

— Вот, коротко, как все случилось. Вы наградили известною хворью экономку дна Иеронима, которая подарила ее своему дружку, который, как подобает, поделился ею с женой. Жена его, в свой черед, подарила ее одному распутнику, который так славно ею распорядился, что не прошло и месяца, как под моим владычеством было уже с полсотни клиентов; в последующие месяцы к ним прибавились новые, и всех я вылечил — конечно же за хорошую плату. Несколько больных у меня еще осталось, но через месяц не будет и их, ибо болезнь исчезла. Увидев вас, я не мог не возрадоваться. В моих глазах вы стали добрым вестником. Могу ли я надеяться, что вы пробудете здесь несколько дней, дабы болезнь возобновилась?

Насмеявшись вдоволь, я сказал ему, что нахожусь в добром здравии, и он заметно огорчился. Он предупредил, что по возвращении я не смогу похвалиться тем же, ибо страна, куда я направляюсь, в переизбытке богата дурным товаром, от которого никто так не умеет избавиться, как он. Он просил рассчитывать на него и не верить шарлатанам, которые станут предлагать свои лекарства. Я пообещал ему все, что он хотел, поблагодарил его и вернулся на корабль.

Я рассказал эту историю г-ну Дольфину, и он смеялся до упаду. Назавтра мы подняли парус, а спустя четыре дня претерпели за Курцолою жестокою бурю. Буря эта едва не стоила мне жизни, и вот каким образом.

Служил на корабле нашем капелланом священник-славянин, большой невежда, наглец и грубиян, над которым я по всякому поводу насмеялся и который питал ко мне справедливую вражду. В самый разгар бури расположился он на палубе с трезником в руках и пустился заклинать чертей, что виделись ему в облаках; он их показывал всем матросам, а те, решив, что от гибели не уйти, плакали и в отчаянии забыли совершать маневры, необходимые, чтобы уберечь корабль от видневшихся справа и слева скал. Я же, видя со всей очевидностью зло и пагубное действие, какое оказывали заклинания этого священника на отчаявшуюся команду, которую, напротив, следовало ободрить, весьма неосторожно решил, что мне надобно вмешаться. Вскрабкавшись сам на ванты, я стал побуждать матросов неустанно трудиться и небрежностью, объясняя, что никаких чертей нет, а священник, их показывающий, безумец; однако ж сила моего красноречия не помешала священнику объявить меня безбожником и восстановить против меня большую часть команды. Назавтра и на третий день ветер не унимался, и тогда этот бесноватый внушил внимающим ему матросам, что, покуда я остаюсь на корабле, буре не будет конца. Один из них приметил меня стоящим спиною у борта и, полагая, что настал благоприятный момент, дабы исполнить желание священника, ударом каната толкнул меня так, что я непременно должен был упасть в море. Так и случилось. Помешала мне упасть лапа якоря, зацепившаяся за одежду. Мне подали помощь, я был спасен. Один капрал указал мне матроса-убийцу, и я, схватив капральский жезл, стал его бить смертным боем; прибежали другие матросы со священником, и я бы пропал, когда б меня не защитили солдаты. Явились капитан корабля и г-н Дольфин и, послушав священника, принуждены были, дабы утихомирить чернь, дать обещание высадить меня на берег, как только представится к тому случай; но священник потребовал, чтобы я доставил ему пергамент, купленный у одного грека в Маламоке перед самым отплытием. Я уже и позабыл о нем — но так все и было. Рассмеявшись, я сразу же отдал пергамент г-ну Дольфину, а тот передал его священнику, каковой, торжествуя победу, велел принести жаровню и швырнул его на раскаленные угли. Прежде, нежели обратиться в пепел, пергамент этот в продолжение получаса корчился в судорогах, и сей феномен утвердил матросов в мысли, что тарбарщина на нем — от дьявола. Пергамент этот якобы имел свойство внушать всем женщинам любовь к своему владельцу. Надеюсь, читатель будет столь добр и поверит, что я нимало не полагался ни на какие приворотные зелья и купил пергамент этот за пол-эку только для смеха. По всей Италии и по всей Греции, древней и новой, попадают греки, жиды и астрологи, что сбывают

простофилям бумаги, наделенные волшебными свойствами; среди прочего — чары, чтобы сделаться неуязвимым, и мешочки со всякой дрянью, содержимое которых они именуют домовым. Весь этот товар не имеет никакого хождения в Германии, во Франции, в Англии и вообще на севере; но зато в странах этих впадают в иного рода обман, много более важный. Здесь ищут философский камень — и не теряют надежды.

Непогода улеглась как раз в те полчаса, что заняло сожжение моего пергамента, и заговорщики более не помышляли избавиться от моей особы. Через неделю весьма счастливого плавания мы прибыли на Корфу. Отлично устроившись, отнес я свои рекомендательные письма Его Превосходительству генералу-проведитору, а после — всем морским офицерам, к кому получил рекомендации. Засвидетельствовав свое почтение полковнику и всем офицерам полка, я уже не помышлял ни о чем, кроме развлечений, до самого прибытия кавалера Венье, который должен был ехать в Константинополь и взять меня с собою. Прибыл он к середине июня, и до того времени я, пристрастившись к игре в бассет, проиграл все свои деньги и продал либо заложил драгоценности. Такова участь всякого, кто склонен к азартным играм, — разве только он одолеет себя и сумеет играть счастливо, доставив себе истинное преимущество расчетом или умением. Разумный игрок может пользоваться и тем и другим, не пятная себя жульничеством.

Во весь месяц, проведенный на Корфу до прибытия балио, я нимало не изучал ни местной природы, ни местных нравов. Если не нужно было идти в караул, я дни напролет проводил в кофейне, ожесточенно сражаясь в фараон и, конечно же, усугубляя беду, которую упорно стремился презреть. Ни разу не воротился я домой, утешаясь выигрышем, и ни разу не достало у меня силы бросить игру, доколе, спустив деньги, я сохранял еще векселя. Я получал одно лишь дурацкое удовлетворение: всякий раз, как бывала бита решительная моя карта, сам банкомет называл меня «отличным игроком».

Пребывая в столь прискорбном положении, я, казалось, воскрес, когда выстрелы пушек возвестили о прибытии балио. Он приплыл на «Европе» — военном корабле с семьюдесятью двумя пушками на борту, одолевшим путь из Венеции всего за неделю. Едва бросив якорь, он поднял флаг командующего морскими силами Республики, а генерал-проведитор свой флаг приспустил. В Венецианской республике нет морского чина выше балио в Османской Порте. Свита у кавалера Венье была изысканная. Удовлетворяя свое любопытство, его сопровождали в Константинополь граф Аннибале Гамбера и граф Карло Дзенобио, оба венецианские дворяне, и маркиз д'Аркетти, дворянин из Бреши. В ту неделю, что балио и кортеж его провели на Корфу, все морские офицеры в свой черед задавали в их честь званые обеды и балы. Когда я был представлен, Его Превосходительство сразу же сказал, что уже говорил с г-ном генералом-проведитором и что тот предоставляет мне отпуск на полгода, дабы следовать за ним в адъютантском чине в Константинополь. Получив отпуск, я со скромным своим снаряжением взошел на корабль; на завтра якорь был поднят, и г-н балио прибыл на борт в фелюке генерала-проведитора. Мы сразу же поставили парус, и в шесть дней попутный ветер привел нас к Цериги, где был брошен якорь и послано на берег несколько матросов, дабы запастись пресной водой. Любопытствуя увидеть Цериги — как говорят, древнюю Китуру, испросил я разрешения сойти. Лучше бы мне было оставаться на борту: я свел дурное знакомство. Со мною был один капитан, командовавший корабельным гарнизоном.

К нам подходят двое подозрительного вида и в лохмотьях и просят на пропитание. Я спрашиваю, кто они такие, и тот, что казался побойчее, отвечает так:

— Тирания Совета Десяти приговорила нас, и еще три-четыре десятка других несчастных, жить и, быть может, умереть на этом острове; а ведь все мы рождены подданными Республики. Пресловутое преступление наше никоим образом не является таковым — просто мы привыкли жить в обществе своих возлюбленных, не питая ревности к тем из своих друзей, кто, сочтя их привлекательными, наслаждался с нашего согласия их прелестями. Не обладая богатством, мы не считали зазорным обращать это к своей выгоде. Промысел наш почти недозволенным и отправили нас сюда, где выдают нам по десять сольдо в день в колониальной монете. Нас называют *manjiatarroni*\*. Живем мы хуже галерников: нас снедает скука и гложет голод. Меня зовут Антонио Поккини, я падуанский дворянин, а моя мать происходит из славного рода Кампо Сан-Пьеро.

Мы подали им милостыню, обошли остров и, осмотрев крепость, вернулись на корабль. Об этом Поккини мы поговорим лет через пятнадцать-шестнадцать.

Ветер дул по-прежнему благоприятный, и через восемь — десять дней мы достигли Дарданелл; подоспевшие турецкие лодки переправили нас в Константинополь. Город этот с расстояния в лье поражает — нет в мире зрелища более прекрасного. Великолепный вид его стал причиной падения Римской империи и начала греческой. Константин Великий, увидав Константинополь с моря, воскликнул, плененный зрелищем Византии: «Вот столица мировой империи!» — и, дабы сбылось собственное пророчество, покинул Рим и обосновался здесь. Когда б он прочел предсказание Горация либо поверил в него, ему бы никогда не совершить столь великой глупости. Ведь поэт написал: Римская империя станет клониться к упадку лишь тогда, когда один из преемников Августа задумает перенести столицу ее к месту своего рождения. Трояда не так далеко отстоит от Фракии.

В Перу, во дворец Венеции прибыли мы к середине июля. В то время в огромном этом городе не было чумы — превеликая редкость. Все мы отменно устроились, однако сильная жара склонила обоих балио отправиться в загородный дом, снятый балио Дона, дабы насладиться прохладой. Находился он в Буюдкаре. Первое, что мне было приказано, — это не выходить из дому без ведома балио и без телохранителя-янычара. Я исполнял сей приказ в точности. В те времена русские еще не усмирили дерзкого турецкого народа. Меня заверяли, что ныне любой иностранец может идти, куда пожелает, без малейшей опаски.

Через день по прибытии я велел отвести меня к Осман-баше Караманскому. Таково было имя графа де Бонваля после его вероотступничества.

Я передал ему свое рекомендательное письмо, и меня проводили в комнату на первом этаже, обставленную во французском вкусе; я увидел тучного господина в летах, одетого с ног до головы на французский манер. Поднявшись, он со смехом спросил, чем может быть полезен в Константинополе для человека, рекомендованного кардиналом Церкви, которую сам он уже не вправе называть матерью. Вместо ответа я рассказал ему обо всем, что заставило меня в душевной скорби просить у кардинала рекомендательного письма в Константинополь; получив же его, я счел себя обязанным самым аккуратным образом явиться с ним по назначению. Иными словами, перебил он меня, не будь у вас письма, вы бы и не подумали прийти сюда, и во мне у вас нет никакой нужды.

— Никакой; однако ж я весьма счастлив, что теперь, благодаря письму, имею честь познакомиться в лице Вашего Превосходительства с человеком, о котором говорила, говорит и еще долго будет говорить вся Европа.

Порассуждав о том, сколь счастлив молодой человек, который, подобно мне, без всяких забот, не имея никакого предначертания и твердой цели, отдается на волю фортуны, презрев страх и надежду, г-н де Бонваль сказал, что письмо кардинала Аквавивы понуждает его что-нибудь для меня сделать, а потому он хочет познакомить меня с тремя-четырьмя из своих друзей-турок, которые того стоят. Он пригласил меня по четвергам у него обедать, обещая присылать янычара, который оградит меня от наглой черни и покажет все, что заслуживает внимания.

В письме кардинала значилось, что я писатель; баша поднялся, говоря, что хочет показать мне свою библиотеку. Я последовал за ним. Через сад мы прошли в комнату с зарешеченными шкафами — за проволочными решетками видны были занавеси, за ними, должно быть, помещались книги.

Но как же смеялся я вместе с толстым башою, когда он открыл запертые на ключ шкафы, и взору моему предстали не книги, но бутылки, полные вина множества сортов!

— Здесь, — сказал он, — и библиотека моя, и сераль, ибо я уже стар, и женщины лишь сократили бы мой век, тогда как доброе вино продлит его либо уж, во всяком случае, скрасит.

— Полагаю, Ваше Превосходительство получили дозволение Муфтия?

— Вы ошибаетесь. Турецкий Папа наделен отнюдь не той же властью, что ваш: не в его силах разрешать запрещенное Кораном; однако ж это не помеха, и всякий волен погубить свою душу, если ему нравится. Набожные турки сожалеют о развратниках, но не преследуют их. Здесь нет Инквизиции. Тот, кто нарушает заповеди веры, будет, как они полагают, довольно мучиться в иной жизни, чтобы налагать на него наказания на этом свете. Испросил я — и получил без малейших затруднений — дозволения не подвергаться тому, что вы именуете обрезанием, хотя собственно обрезанием это назвать нельзя. В моем возрасте это было бы опасно. Обычно обряд этот соблюдают, однако ж он не входит в число заповедей.

Я провел у него два часа; он расспрашивал обо многих венецианцах, своих друзьях, и особенно о г-не Марке-Антонио Дьедо; я отвечал, что все по-прежнему его любят и сожалеют лишь об отступничестве его; он возразил, что турком стал таким же, каким прежде был христианином, и Коран знает не лучше, чем дотоле Евангелие.

— Без сомнения, — сказал он, — я умру с покойной душой и буду в сей миг много счастливей, чем принц Евгений. Мне надобно было произнести, что Бог есть Бог, а Магомет есть пророк его. Я это произнес, а думал я так или нет — это турок не заботило. Правда, я ношу тюрбан, ибо принужден носить мундир моего господина.

Он рассказал, что, не имея иного ремесла, кроме военного, решил поступить на службу к падишаху в чине генерал-лейтенанта, лишь когда понял, что остался вовсе без средств к жизни. К отъезду моему из Венеции, говорил он, суп успел уже съесть мою посуду; когда б народ еврейский решился поставить меня во главе пятидесятитысячного войска, я бы начал осаду Иерусалима.

Он был красив, разве только чересчур в теле. Вследствие сабельного удара носил над животом серебряную пластину, дабы поддерживать килу. Его сослала было в Азию, но ненадолго, ибо, по словам его, интриги в Турции не столь продолжительны, как в Европе, особенно при Венском дворе. Когда я откланялся, он сказал, что с тех пор, как сделался турком, ему еще не доводилось провести двух часов приятнее, нежели в моем обществе, и просил передать от него поклон обоим балио.

Г-н балио Джованни Дона, близко знававший его в Венеции, поручил мне передать ему множество приятнейших слов, а кавалер Венье изъявил неудовольствие, что не может доставить себе наслаждение и познакомиться с ним лично.

Прошел день после этой первой встречи, и наступил четверг, когда он обещал прислать за мною янычара. Слово он сдержал. Янычар, явившись в одиннадцать часов, проводил меня к баше, каковой на сей раз был одет по-турецки. Гости не замедлили прийти, и все мы, восемь человек, в самом веселом расположении духа уселись за стол. Обед прошел по-французски: французскими были и блюда, и церемониал; дворецкий баши был француз, да и повар тоже честный отступник. Он сразу же представил меня всем, однако говорить позволил лишь к концу обеда. Говорили только по-итальянски, и турки, как я приметил, ни разу не произнесли между собою ни единого слова на своем языке. Слева от каждого стояла бутылка, в которой было, должно быть, белое вино или мед, не знаю. Я сидел слева от г-на де Бонваля и, как и он сам, пил великолепное белое бургундское.

Меня расспрашивали о Венеции, но еще больше — о Риме, отчего разговор перешел на религию, но не на учение, а на благочиние и литургические обряды. Один обходительный турок, которого все называли эфенди, ибо прежде он был министром иностранных дел, сказал, что в Риме у него есть друг, венецианский посланник, и вознес ему хвалу; вторя ему, я отвечал, что посланник вручил мне письмо к одному господину, мусульманину, которого также именовал своим близким другом. Он спросил, как зовут этого господина, и я, забыв имя, вытащил из кармана бумажник, где лежало письмо. Читая адрес, я произнес его имя. Он был до крайности польщен; испросив позволения, он прочел письмо, затем поцеловал подпись и, поднявшись, заключил меня в объятия. Зрелище это доставило величайшее удовольствие г-ну де Бонвалю и всему обществу. Эфенди, которого звали Исмаил, пригласил меня вместе с башою Османом на обед и назначил день.

Однако ж во время этого весьма приятного обеда наибольшее внимание мое привлек не Исмаил, но другой турок. То был красавец лет шестидесяти на вид; на благородном лице его явственно читалась мудрость и кротость. Те же черты представились мне два года спустя, на красивом лице г-на де Брагадина, венецианского сенатора, о котором я расскажу, когда придет время. С величайшим вниманием прислушивался он ко всем моим беседам за столом, но сам не произносил ни слова. Когда человек, которого вы не знаете, но чей облик и манеры привлекают интерес, находясь в одном с вами обществе, молчит, он пробуждает сильное любопытство. Выходя из обеденной залы, я спросил г-на де Бонваля, кто это; тот отвечал, что это богатый и мудрый философ, славный своею добродетелью, — чистота нравов его равна лишь приверженности вере. Он советовал мне поддерживать знакомство с ним, если мне удалось снискать его расположение.

Я с удовольствием выслушал это суждение и после прогулки в тени, когда все вошли в гостиную, убранную по местному обычаю, уселся на софе рядом с Юсуфом Али: именно так звали турка, что привлек мое внимание. Он сразу же предложил мне свою трубку, но я, вежливо отказавшись, взял ту, которую поднес мне слуга г-на де Бонваля. Когда находишься в обществе людей курящих, надобно непременно курить самому либо уходить: иначе волей-неволей воображаешь, что вдыхаешь дым из чужих ртов, а мысль эта заключает большую долю истины и вызывает отвращение и протест.

Довольный, что я сел рядом, Юсуф Али поначалу завел со мною разговор, подобный застольному, но главным образом о причинах, побудивших меня оставить мирное поприще священнослужителя и обратиться к военной службе. Я же, стараясь утолить его любопытство и не предстать в глазах его с дурной стороны, почел своим долгом рассказать вкратце всю историю своей жизни, ибо полагал необходимым убедить его в том, что вступил на стезю посланника Божьего не по душевному призванию. Казалось, он был удовлетворен. О призвании он говорил, как философ-стоик, и я признал его за фаталиста; у меня достало ловкости не возражать открыто против его взглядов, и замечания мои ему понравились, ибо он оказался в силах их опровергнуть. Быть может, потребностью высоко меня ценить он был обязан желанию сделать меня достойным своим учеником — ибо не мог же я, девятнадцатилетний и заблудший в ложной вере, стать его учителем. Целый час он расспрашивал меня о моих воззрениях и, выслушав мой катехизис, объявил, что я, по его мнению, рожден для познания истины, так как стремлюсь к ней и не вполне уверен, что сумел ее достигнуть. Он пригласил меня однажды прийти к нему и назвал дни недели, в которые я непременно его застаю, но предупредил, что прежде чем согласиться доставить ему это удовольствие, мне следует посоветоваться с башою Османом. Тогда я отвечал, что уже предуведомлен башою о его нраве; он был очень польщен. Я обещал в назначенный день отобедать у него, и мы расстались.

Обо всем этом я рассказал г-ну де Бонвалю; весьма довольный, он сказал, что его янычар будет всякий день во дворце венецианских балио в полном моем распоряжении.

Я рассказал г-н балио о том, какие свел знакомства в тот день у графа де Бонваля, и они очень обрадовались. А кавалер Венье посоветовал поддерживать подобного рода знакомства, ибо в стране этой скука наводит на чужестранца не меньший страх, нежели чума.

В назначенный день с самого раннего утра отправился я к Юсуфу, но его уже не было дома. Садовник, предупрежденный хозяином, оказал мне всяческие знаки внимания и два часа с приятностью занимал меня, показывая все красоты хозяйского сада и особенно цветы. Садовник этот был неаполитанец, служивший Юсуфу уже тридцать лет. Поведение его заставило меня предположить в нем образованность и благородство; однако ж он без обиняков признался, что

никогда не учился грамоте, служил матросом, попал в рабство и столь счастлив на службе у Юсуфа, что почел бы наказанием, если б тот отпустил его на свободу. Я избегал спрашивать его о хозяйских делах: любопытство мое было бы посрамлено сдержанностью этого человека.

Прибыл на лошади Юсуф, и после подобающих случаю приветствий мы отправились вдвоем обедать в беседку, откуда видно было море и где мы наслаждались легким ветерком, умерявшим великую жару. Ветерок этот дует каждый день в один и тот же час и зовется «мистраль». Мы отлично поели, хотя из приготовленных блюд подан был один кауроман. Пил я воду и превосходный мед, уверяя хозяина, что он мне больше по вкусу, чем вино. В то время пил я его весьма редко. Расхваливая мед, я сказал, что мусульмане, преступающие закон и пьющие вино, недостойны снисхождения, ибо пьют, должно быть, единственно потому, что оно запрещено; Юсуф заверил, что многие не считают грехом употреблять вино, полагая его лекарством. Пустил в ход это лекарство, по его словам, врач самого падишаха, составивший через это целое состояние и снискавший безраздельное расположение господина, который и вправду все время болел, но лишь оттого, что постоянно был пьян. Юсуф удивился, когда я сказал, что у нас пьяницы весьма редки и что порок этот распространен лишь среди подлого отребья. Он заметил, что не понимает, отчего все остальные религии не запрещают вина, лишаящего человека разума, и я отвечал, что все религии запрещают неумеренное его употребление и грехом можно считать лишь неумеренность. Он согласился со мною, что вера его должна была бы воспретить и опиум, ибо действует он так же, и много сильнее, и возразил, что во всю свою жизнь ни разу не курил опиума и не пил вина.

После обеда нам принесли трубки и табаку. Набивали трубки мы сами. Я в то время курил, и с удовольствием, однако имел привычку сплевывать. Юсуф же не сплевывал; он сказал, что табак я сейчас курю отменный, с коноплюю добавкой, и что ему жаль той бальзамической его части, которая, должно быть, содержится в слюне, и я зря не глотаю ее, а попросту выбрасываю. Сплевывать, заключил он, подобает лишь тогда, когда куришь дурной табак. Согласившись с его доводами, я отвечал, что трубку и в самом деле можно полагать истинным удовольствием, лишь когда табак в ней всем хорош.

— Конечно, — отозвался он, — отличный табак необходим, дабы получать от курения удовольствие; но не он главное, ибо удовольствие от хорошего табака лишь чувственное удовольствие. Истинное наслаждение ничуть не зависит от органов чувств и воздействует на одну только душу.

— Не могу вообразить себе, дорогой Юсуф, какими удовольствиями могла бы наслаждаться душа моя без посредства чувств.

— Так слушай. Получаешь ли ты удовольствие, набивая трубку?

— Да.

— Которому же из чувств отнесешь ты его, если не душе твоей? Пойдем далее. Ты ощущаешь удовлетворение, отложив ее, лишь когда выкуришь до конца, не так ли? Ты доволен, когда видишь, что в трубке не осталось ничего, кроме пепла.

— Так оно и есть.

— Вот уже два удовольствия, в которых чувства твои отнюдь не принимают участия; а теперь, прошу тебя, угадай третье, главное.

— Главное? Благовоние табака.

— Отнюдь нет. Это удовольствие обоняния — оно чувственно.

— Тогда не знаю.

— Итак, слушай. Главное удовольствие от курения заключается в самом созерцании дыма. Ты никогда не сможешь увидеть, как он исходит из трубки; но ты видишь, как весь он появляется из угла твоего рта, через равные, не слишком малые промежутки времени. Воистину удовольствие это главное: ведь ты никогда не увидишь слепого, которому бы нравилось курить. Попробуй сам закурить ночью в комнате, где нет огня: ты не успеешь зажечь трубку, как уже отложишь ее.

— Слова твои — истинная правда; но прости: я полагаю, что многие из удовольствий, влекущих мои чувства, предпочтительнее для меня, нежели те, что влекут к себе одну лишь душу.

— Сорок лет назад я думал так же, как ты. Спустя сорок лет, если удастся тебе обрести мудрость, ты станешь думать так же, как я. Удовольствия, пробуждающие страсти, смущают душу, сын мой, а потому, как ты понимаешь, не могут с полным правом быть названы удовольствиями.

— Но мне кажется, что удовольствию достаточно лишь представлять таковым, дабы им быть.

— Согласен; но когда бы ты дал себе труд и поразмыслил над ними, испытал их, то не почел бы их чистыми.

— Быть может, и так; но к чему мне давать себе труд, который послужит лишь к уменьшению испытанного мною удовольствия?

— Придет время, и ты станешь получать удовольствие от самого этого труда.

— Мне представляется, дорогой отец, что юности ты предпочитаешь зрелость.

— Говори смелей — старость.

— Ты удивляешь меня. Должен ли я понимать так, что в юности ты был несчастлив?

— Нимало. Я всегда был здоров и счастлив, никогда не становился жертвою страстей; но наблюдение над сверстниками моими стало мне доброй школой — я научился понимать людей и обрел путь к счастью. Счастливейший человек не тот, у кого более всего наслаждений, но тот, кто умеет из всех наслаждений выбрать великие; великими же, повторяю тебе, могут быть лишь наслаждения, которые, минуя страсти, умножают покой души.

— Это те наслаждения, что ты называешь чистыми.

— Таково зрелище обширного, покрытого травой луга. Зеленый цвет его, восславленный божественным нашим пророком, поражает мой взор, и в этот миг я чувствую, как дух мой погружается в блаженный покой — словно я приближаюсь к творцу всего сущего. Тот же мир, подобный же покой ощущаю я, сидя на берегу реки и глядя на стремящийся предо мною поток, не ускользающий никогда от взора и вечно прозрачный в беге своем. Он представляется мне образом моей жизни и того покоя, в котором я желаю ей достигнуть, подобно созерцаемой воде, незримого предела в ее устье.

Так рассуждал этот турок. Мы провели вместе четыре часа. От двух прежних жен у него осталось двое сыновей и дочь. Старший уже получил свою долю, жил в Салониках и разбогател торговлей. Младший находился на службе у султана, в большом серале, и долей его распорядился опекун. Пятнадцатилетней дочери, которую он называл Зельми, предстояло после его смерти унаследовать все имущество. Юсуф дал ей самое лучшее, какого только можно желать, воспитание, дабы она составила счастье того, кто будет сужен Богом ей в супруги. Скоро мы еще поговорим об этой девушке. Жены его умерли, и пять лет назад он женился в третий раз на юной красавице, уроженке Хиоса, однако, по его словам, из-за старости уже не надеялся иметь от нее ни сына, ни дочери. Между тем ему минуло всего шестьдесят лет. Прощаясь, я должен был обещать, что стану бывать у него по меньшей мере один раз в неделю.

За ужином я рассказал г. балию, как провел день, и они заключили, что мне отменно повезло, ибо я могу надеяться с приятностью провести три месяца в стране, где сами они, чужеземные посланники, могут лишь умирать от скуки.

По прошествии трех или четырех дней г-н де Бонваль отвел меня на обед к Исмаилу, где взору моему предстала картина великой азиатской роскоши; однако многочисленные гости говорили почти все время по-турецки, и я скучал — равно как, показалось мне, и г-н де Бонваль. Приметив это, Исмаил, когда мы уходили, просил меня завтракать у него возможно чаще, уверяя, что я доставлю ему истинное удовольствие. Я обещал, и дней через десять — двенадцать исполнил свое обещание. В своем месте читатель обо всем узнает. Теперь же мне надобно вернуться к Юсуфу, нрав которого, открывшийся во второй мой визит, пробудил во мне великое уважение к нему и сильнейшую привязанность.

Обедали мы наедине, как и в прошлый раз, и разговор зашел об изящных искусствах; я высказал свое суждение об одной из заповедей Корана, лишавшей подданных Оттоманской Порты столь невинного удовольствия, как наслаждение созданиями живописцев и скульпторов. Он отвечал, что Магомету, как истинному мудрецу, непременно нужно было удалить от глаз мусульман любые изображения.

— Вспомни, что все народы, которым великий наш пророк открыл Бога, были идолопоклонники. Люди слабы: глядя на те же предметы, они с легкостью могли впасть в прежние заблуждения.

— Я полагаю, дорогой отец, что никогда ни один народ не поклонялся изображению, но, напротив, изображенному божеству.

— Мне тоже хотелось бы так думать; но Бог бесплотен, а значит, следует удалить из головы черни мысль, что он может быть вещен. Вы, христиане, единственные верите, будто видите Бога.

— Воистину так, мы в этом уверены; но не забывай, прошу тебя, что уверенность эту дарует нам вера.

— Знаю; но оттого вы не менее идолопоклонники, ибо видимое вам — всего лишь материя, а уверенность ваша безраздельна — разве только ты скажешь, что вера умаляет ее.

— Господь сохранит меня от таких слов, ибо, напротив, вера ее укрепляет.

— У нас, хвала Господу, нет нужды в подобной иллюзии, и ни один философ в мире не сумеет доказать мне необходимость ее.

— Вопрос этот, дорогой отец, принадлежит не к философии, но к богословию, которое много ее выше.

— Ты рассуждаешь, словно наши богословы, которые, впрочем, отличны от ваших в том, что употребляют свою науку не для сокрытия истин, нуждающихся в познании нашем, но для прояснения их.

— Вообрази, дорогой Юсуф, речь идет о таинстве.

— Бытие Бога — уже величайшее таинство, чтобы людям набраться смелости что-либо к нему прибавить. Бог может быть только прост, и именно такого Бога возгласил нам пророк. Согласись, нельзя ничего добавить к сущности его, не нарушив простоты. Мы говорим, что Бог един: вот образ простоты. Вы говорите, что он един, но в то же время тройствен: определение противоречивое, абсурдное и нечестивое.

— Это таинство.

— Бог или определение? Я говорю об определении, а оно не должно быть таинством, разум не должен отвергать его. Здравый смысл, дорогой сын, не может не почитать утверждение, сущность которого абсурдна, нелепостью. Докажи, что три не больше единицы или хотя бы может ей равняться, и я немедленно перейду в христианство.

— Религия моя велит мне верить, не рассуждая, дорогой Юсуф, и одна мысль о том, что силою рассуждений я, может статься, откажусь от веры моего милого отца, приводит меня в трепет. Сперва я должен убедиться в том, что он заблуждался. Скажи, могу ли я, почитая его память, быть столь самонадеянным, чтобы дерзнуть сделаться ему судьей и вознамериться вынести ему приговор?

Увещевание это, я видел, взволновало честного Юсуфа. Он умолк и минуты через две произнес, что подобный образ мыслей, вне сомнения, делает меня угодным Богу, а значит, его избранныком; но что только Бог и может наставить меня, если я заблуждаюсь, ибо, сколько ему известно, ни один человек не в силах отвергнуть высказанное мною чувство. Мы весело поболтали о других вещах, и к вечеру, получив заверения в бесконечной и чистейшей дружбе, я удалился.

По дороге домой я размышлял о том, что Юсуф, быть может, прав, говоря о сущности Бога, ибо поистине сущее всего сущего не может в основе своей быть ничем иным, как только простейшим из всех существ; однако же вряд ли возможно, чтобы из-за заблуждения христианской религии я дал себя убедить и перешел в турецкую веру, у которой может быть весьма справедливое представление о Боге, но которая смешна мне уже тем, что учением своим обязана величайшему сумасброду и обманщику. Но Юсуф, казалось мне, и не намерен был меня обращать.

В третий раз за обедом, когда разговор, по обыкновению, зашел о религии, я спросил, уверен ли он, что вера его единственно способна доставить смертному вечное спасение. Он отвечал, что не уверен в единственности ее, но что уверен в ложности христианства, ибо оно не может стать всеобщей религией.

— Отчего же?

— Оттого, что две трети планеты нашей не знают ни хлеба, ни вина. Корану же, заметь, можно следовать всюду.

Я не знал, что отвечать, и не стал лукавить. На замечание мое, что Бог невеществен, а значит, есть дух, он сказал, что нам ведомо лишь то, чем он не является, но не то, что он есть, а стало быть, мы не можем утверждать, что он есть дух, ибо по необходимости имеем о нем лишь самое общее представление.

— Бог, — сказал он, — невеществен: вот все, что нам ведомо, и большего мы никогда не узнаем.

Я вспомнил, что и Платон говорит о том же, а Юсуф, без сомнения, не читал Платона.

В тот же день он сказал, что бытие Бога приносит пользу лишь тем, кто в него верит, а потому безбожники — несчастнейшие из смертных.

— Бог, — говорил он, — создал человека по подобию своему, дабы из всех сотворенных им животных одно способно было воздать хвалу бытию его. Не будь человека, не было бы и свидетеля славы Господней; а потому человек должен понимать, что первейший его долг — верша справедливость, славить Бога и доверяться Провидению. Вспомни, что Бог никогда не оставит того, кто в невзгодах простирается перед ним и молит о помощи, и покидает в отчаянии и погибели несчастного, полагающего молитву бесполезной.

— Однако счастливые атеисты все же существуют.

— Верно; но, хотя в душах их царит покой, мне представляются они достойными сожаления, ибо ни на что не надеются после земной жизни и не признают превосходства своего над животными. К тому же, будучи философами, они не могут не погрязнуть в невежестве, а коли не размышляют, то не имеют опоры в невзгодах. Наконец, Бог сотворил человека таким, что он не может быть счастлив без уверенности в божественной природе своего бытия. Во всяком сословии неминуемо возникает потребность признать ее — когда бы не так, человек никогда бы не признал Бога творцом всего сущего.

— Но объясни мне, отчего атеизм никогда не являл себя иначе, нежели в воззрениях какого-либо ученого, и не представилось примера, чтобы он стал воззрением целого народа?

— Оттого, что бедный понимает свои нужды много лучше богатого. Среди таких, как мы, немало нечестивцев, что насмеются над верующими, уповающими во всем на паломничество в Мекку. Несчастные! Им подobaет чтить древние памятники, которые, возбуждая благочестие в правоверных и питая их религиозное чувство, укрепляют их в невзгодах. Не будь этого утешения, невежественный народ впал бы в отчаяние и пустился во все тяжкие.

Счастливым вниманием, с которым я слушал его учение, Юсуф с каждым разом все более предавался своей склонности к наставлению. Я стал приходить к нему на целый день без приглашения, и оттого дружба наша еще окрепла.

Однажды утром я велел проводить себя к Исмаилу эфенди, дабы, исполняя данное обещание, позавтракать с ним. Турок встретил и принял меня как нельзя более достойно, но затем пригласил

совершить прогулку в небольшом саду, и там в беседке явилась ему фантазия, каковая пришлась мне отнюдь не по вкусу; со смехом я отвечал, что не любитель подобных развлечений, и наконец, утомившись его ласковой настойчивостью, не вполне учтиво вскочил. Тогда Исмаил сделал вид, что одобряет мое отвращение, и объявил, что пошутил. Раскланявшись подобающим образом, я удалился в твердом намерении более к нему не приходить; однако ж пришел еще раз, и в своем месте мы об этом поговорим. Я поведал об этом приключении г-ну де Бонвалю, и тот объяснил, что Исмаил, согласно турецким обычаям, полагал доставить мне знак величайшего своего расположения, но что я могу не сомневаться — впредь, если мне случится бывать у Исмаила, он более не предложит мне ничего подобного, ибо во всем остальном весьма обходителен и имеет во власти рабов совершенной красоты. Он сказал, что учтивость велит мне не прекращать своих визитов.

По прошествии пяти или шести недель с начала нашей дружбы Юсуф спросил, женат ли я, и, получив отрицательный ответ, завел разговор о целомудрии, которое, как он полагал, должно считаться добродетелью, лишь когда влечет за собою воздержание; однако ж оно не может быть угодно Богу и, должно быть, противно ему, ибо нарушает первойшую заповедь, данную творцом человеку.

— Хотел бы я понять, — продолжал он, — что такое целомудрие для ваших рыцарей Мальтийского ордена. Они дают обет целомудрия; это не означает, что они станут вовсе воздерживаться от плотского греха, ибо, когда б он воистину считался грехом, всякий христианин отказался бы от него при крещении. Значит, обет заключается единственно в безбрачии. Значит, целомудрие может быть нарушено лишь в браке, а брак, замечу, — одно из ваших таинств. Значит, господа эти обещают не что иное, как то, что никогда не совершат плотского греха в согласии с законом, указанным Богом, но вольны совершать его незаконно, сколько пожелают — настолько, что могут признавать своими сыновьями детей, появившихся вследствие этого двойного преступления. Детей этих они именуют побочными, или «естественными», — словно те, что рождены в брачном союзе, осененном таинством, не естественны! Итак, обет целомудрия не может быть угоден ни Богу, ни людям, ни тем, кто его блюдет.

Он спросил, женат ли я. Я отвечал, что не женат и надеюсь никогда не оказаться принужденным заключить сей союз.

— Как! — воскликнул он. — Должен ли я полагать, что в тебе есть изъян, либо что ты жаждешь обречь себя на вечные муки, — если, конечно, не скажешь, что христианин ты лишь с виду?

— Во мне нет изъяна, и я христианин. Скажу тебе больше: я люблю прекрасный пол и надеюсь наслаждаться его расположением.

— Значит, согласно твоей вере, ты будешь навеки проклят.

— Уверен, что нет, ибо в грехах своих мы исповедуемся священникам, и они дают нам отпущение.

— Знаю; но, согласись, нелепо полагать, будто Бог простит тебе проступок, который ты, возможно, и не совершил бы, не будучи уверен, что на исповеди он простится. Бог прощает лишь раскаявшихся.

— Вне всякого сомнения: исповедь предполагает раскаяние. Без него отпущение не имеет силы.

— И мастурбация также считается у вас грехом.

— Даже большим, нежели незаконное соитие.

— Знаю, и всегда этому удивлялся: ведь глуп тот законник, что создает неисполнимый закон. Мужчина, если он здоров и у него нет женщины, непременно должен мастурбировать, когда повелительная природа заставит его ощутить в том потребность. Тот, кто из страха запятнать свою душу нашел бы в себе силы воздержаться, мог бы смертельно заболеть.

— У нас полагают обратное. Считается, что подобным путем молодые люди вредят темпераменту и сокращают себе жизнь. Во многих общинах за ними следят всякую минуту, не позволяя совершить над собою это преступление.

— Эти надзиратели ваши — глупцы, а те, кто им платит — безмозглы, ибо самый запрет обязательно усиливает желание нарушить столь тиранический и противный природе закон.

— Все же мне кажется, что, излишне предаваясь подобному распутству, изнуряющему и лишаящему силы, можно повредить здоровью.

— Согласен; но излишества не будет, коли не вызывать его нарочно — а те, кто запрещает этим заниматься, как раз его нарочно и вызывают. Не понимаю, отчего у вас не стесняют в этом девочек, но почитают за благо стеснять мальчиков.

— Для девочек здесь нет большой опасности, ибо они могут потерять лишь весьма малое количество вещества, которое к тому же происходит из иного источника, нежели зародыш жизни у мужчины.

— Не имею понятия; однако есть у нас доктора, полагающие, что бледность у девиц происходит именно от этого.

После этого и многих иных разговоров, в продолжение которых Юсуф Али, даже и не



соглашаясь со мною, находил, что рассуждаю я весьма разумно, он удивил меня предложением, высказанным если не в тех же словах, во всяком случае, весьма сходным образом:

— У меня двое сыновей и дочь. О сыновьях я более не забочусь, они получили уже положенную им часть от того, чем я владею; что же до дочери моей, то, когда я умру, ей перейдет все мое состояние, а пока я жив, в моей власти осчастливить того, кто возьмет ее в жены. Пять лет назад я женился на молодой, но она не принесла мне ребенка и, уверен, уже не принесет, ибо я стар. Дочери моей, которой дал я имя Зельми, пятнадцать лет, она красива, с карими глазами и каштановыми волосами, как ее покойная мать, высока, хорошо сложена, ласкового нрава, и воспитал я ее так, что она достойна завладеть сердцем самого султана. Она знает по-гречески и по-итальянски, поет, аккомпанируя себе на арфе, рисует, вышивает и всегда весела. Ни один мужчина в мире не может похвалиться, что видел ее лицо, меня же любит она так, что во всем полагается на мою волю. Девушка эта — сокровище, и я вручу его тебе, если ты согласишься отправиться на год в Андринополь, к одному моему родственнику, дабы он научил тебя нашему языку, вере и обычаям. Через год ты вернешься и, как только примешь мусульманство, дочь моя станет твоей женой, у тебя будет дом, покорные рабы и рента, чтобы ни в чем не знать нужды. Вот и все. Я не хочу, чтобы ты отвечал мне ни теперь, ни завтра, ни в любой другой назначенный срок. Ты дашь ответ, когда Гений твой велит ответить и принять мой дар; если же ты не примешь его, то незачем в другой раз и говорить об этом. Не советую об этом деле и размышлять, ибо я заронил семя в твою душу, и отныне ты более не волен ни противиться своему предназначению, ни принимать его. Не торопись, не мешкай, не тревожься, и ты лишь исполнишь волю Бога и непреложный приговор своей судьбы. Такому, каким я узнал тебя, тебе недостает для счастья лишь общества Зельми. Провижу, ты станешь одним из столпов Оттоманской империи.

Сказав эту краткую речь, Юсуф прижал меня к груди и удалился, дабы я наверное не смог дать ему ответа. Я возвратился к себе, предаваясь столь глубоким раздумьям над предложением Юсуфа, что даже не заметил пройденного пути. Оба балию, равно как день спустя и г-н де Бонваль, приметили мою задумчивость и спросили о причине ее, но я осмотрительно промолчал. Я полагал, что сказанное Юсуфом более чем верно. Предмет был столь важным, что мне не подобало не только никому говорить о нем, но и думать до той минуты, пока дух мой не обретет покоя и уверенности, что никакому дуновению не нарушить того равновесия, в каком я должен был принять решение. Все страсти мои, предубеждения, предрассудки и даже известный личный интерес должны были умолкнуть. Назавтра, проснувшись, я позволил себе чуть поразмыслить и понял, что, думая, могу помешать самому себе принять решение и что если и должен решиться, то лишь вследствие того, что нимало не думал. В таких случаях стоики говорили *sequere Deum*\*. Четыре дня я не бывал у Юсуфа, и когда на пятый явился, оба мы очень обрадовались; нам и в голову не пришло сказать хоть слово о предмете, о котором, однако, по необходимости не могли оба не думать. Так прошло две недели; но молчание наше происходило не из скрытности и не из чего-либо, как только из дружбы и уважения, какое мы питали друг к другу, а потому он, заведя речь о своем предложении, сказал, что, как ему представляется, я обратился к какому-либо мудрецу, дабы вооружиться добрым советом. Я заверил его в обратном, говоря, что в столь важном деле не должен следовать ничьему совету.

— Я положился на Бога, всецело доверился ему и уверен, что сделаю правильный выбор; либо я решусь стать твоим сыном, либо останусь тем, кто я есть. Пока же мысль об этом посещает душу мою утром и вечером, в минуты, когда, наедине со мною, пребывает она в величайшем спокойствии. Когда решимость посетит меня, лишь тебе, патераму \*, дам я знать, и с той минуты стану повиноваться тебе, как отцу.

Объяснение это исторгло из глаз его слезы. Левую руку он возложил мне на голову, указательный и средний пальцы правой — мне на лоб и велел поступать так же и впредь в уверенности, что не ошибусь в своем выборе. Я отвечал, что, может статься, дочери его Зельми я не понравлюсь.

— Моя дочь любит тебя, — возразил он, — всякий раз, как мы обедаем вместе, она, пребывая в обществе моей жены и своей воспитательницы, видит тебя и слушает весьма охотно.

— Но она не знает, что ты назначил ее мне в супруги.

— Она знает, что я стремлюсь обратить тебя, дабы соединить ее судьбу с твоею.

— Я рад, что тебе не дозволено показать мне ее: она могла бы меня ослепить, и тогда, движимый страстью, я уже не мог бы надеяться принять решение в чистоте души.

Слыша такие мои рассуждения, Юсуф радовался необычайно; я же отнюдь не лицемерил и говорил от чистого сердца. Одна мысль о том, чтобы увидеть Зельми, приводила меня в трепет. Я твердо знал, что, влюбившись в нее, без колебаний стану турком, тогда как, будучи равнодушен, никогда, это я знал столь же твердо, не решусь на подобный шаг, каковой впридачу не только не представлялся мне привлекательным, но, напротив, являл картину весьма неприятную в отношении как настоящей, так и будущей моей жизни. Ради богатств, равные которым я, положившись на милость судьбы, мог надеяться обрести во всяком месте Европы и без постыдной перемены веры, мне, как я полагал, не подобало равнодушно сносить презрение тех, кто меня знал и к чьему

уважению я стремился. Мне невозможно было отрешиться от прекрасной надежды, что я стану знаменит среди просвещенных народов, прославившись хотя в искусствах, хотя в изящной словесности либо на любом ином поприще; мне нестерпима была мысль о том, что сверстники мои пожнут славу, быть может, уготованную мне, останься я по-прежнему с ними. Мне представлялось, и справедливо, что надеть тюрбан участь, подобающая лишь людям отчаявшимся, а я к их числу не принадлежал. Но особенное негодование мое вызывала мысль, что я должен буду отправиться на год в Андринополь, дабы научиться варварскому наречию, которое нимало меня не привлекало и которому по этой причине я едва ли мог выучиться в совершенстве. Мне нелегко было, одолев тщеславие, лишиться репутации человека красноречивого, которую я снискал повсюду, где побывал. К тому же прелестная Зельми, может статься, отнюдь не показалась бы мне таковой, и уже из одного этого я сделался бы несчастлив: Юсуф мог прожить на свете еще лет двадцать, я же чувствовал, что, перестав оказывать должное внимание его дочери, из почтения и благодарности к доброму старику никогда не сумел бы набраться смелости и смертельно его оскорбить. Таковы были мысли мои; Юсуф о них не догадывался, и открывать ему их не было никакой нужды.

Спустя несколько дней на обеде у дорогого моего баши Османа я встретил Исмаила эфенди. Он выказывал мне самое дружеское расположение, я отвечал тем же и поддался на упреки его, что не пришел в другой раз к нему на завтрак; однако ж, отправляясь в этот другой раз к нему на обед, я почел нужным идти вместе с г-ном де Бонвалем. В назначенный день я пришел и после обеда наслаждался прелестным зрелищем: рабы-неаполитанцы обоого пола представили забавную пантомиму и танцевали калабрийские танцы. Г-н де Бонваль завел речь о венецианском танце, именуемом фурлауно, Исмаил обнаружил любопытство, и я отвечал, что смогу показать его, однако ж мне надобна танцовщица из моего отечества и скрипач, который бы знал мелодию. Взяв скрипку, я сыграл Исмаилу мелодию; но даже если б танцовщица и была найдена, мне невозможно было в одно время играть и танцевать. Тогда Исмаил поднялся и отшел в сторону одного из евнухов; тот удалился и, вернувшись через три-четыре минуты, сказал ему что-то на ухо. Исмаил объявил, что танцовщица уже найдена, и я отвечал, что найду и скрипача, если ему угодно будет послать кого-нибудь с запискою в Венецианский дворец. Все сделано было весьма скоро. Я написал записку, он отослал ее, и через полчаса явился со своею скрипкой слуга балио Дона. Минуту позже отворилась дверь в углу залы — и вот является из нее красавица с лицом, скрытым черной бархатною маскою овальной формы, из тех, что в Венеции именуют мореттой. Все общество пришло в удивление и восторг, ибо нельзя было представить предмета более приманчивого, нежели эта маска, как стройностью стана, так и изысканностью манер. Богиня встает в позицию, я с нею, и мы танцуем шесть фурлан кряду. Нет на родине танца стремительней: но я задыхаюсь, а красавица, держась прямо и недвижно, не выказывает ни малейшей усталости и явно бросает мне вызов. На поворотах, как нельзя более утомительных, она, казалось, парила над землею. Я был изумлен донельзя: и в самой Венеции не случалось мне видеть, чтобы так хорошо танцевали. Отдохнув немного и несколько стыдясь своей слабости, я снова приблизился к ней и сказал: «Ancora sei, e poi basta, se non volete vedermi a morire» \*. Она, быть может, отвечала бы мне, если б могла — но в подобного рода маске невозможно произнести ни слова; пожатие руки, незаметное для всех, сумело заменить красноречие. Мы станцевали еще шесть фурлан, евнух открыл ту же дверь, и она исчезла.

Исмаил рассыпался в благодарностях, однако ж это я должен был благодарить его — за единственное истинное удовольствие, что получил в Константинополе. Я спросил, венецианка ли эта дама, но он отвечал лишь лукавой улыбкой. Под вечер все мы удалились.

— Этот славный человек поплатился сегодня за свою роскошь, — сказал мне г-н Бонваль, — и, уверен, уже раскаивается, что позволил своей красавице рабыне с вами танцевать. По здешнему предрассудку, поступок этот пятнает его славу, и я советую вам остерегаться: вы наверное понравились этой девушке, стало быть, она задумает вовлечь вас в какую-нибудь интригу. Будьте осмотрительны — это всегда опасно, принимая в соображение турецкие нравы.

Я обещал не втягиваться ни в какую интригу, но слова своего не сдержал.

Спустя три-четыре дня встретилась мне на улице старуха рабыня и предложила шитый золотом кисет для табаку, запросив за него пиастр; взяв по ее настоянию кисет в руки, я почувствовал внутри письмо; она же, я видел, старалась не попасть на глаза шагавшему позади меня янычару. Я заплатил, она удалилась, а я отправился своей дорогой, к Юсуфу, и, не застав его дома, пошел гулять в сад. Письмо было запечатано, адрес не надписан, а значит, рабыня могла ошибиться; любопытство мое еще усилилось. Письмо написано было довольно правильно по-итальянски, вот перевод его: «Если вам любопытно увидеть ту, что танцевала с вами фурлану, приходите под вечер на прогулку в сад, что за прудом, и сведите знакомство со старой служанкой садовника, спросив у нее лимонаду. Быть может, вам случится увидеть ее без всякой опасности, даже если по случайности встретится вам Исмаил; она венецианка. Не говорите, однако, никому ни слова об этом приглашении, это важно».

Не таков я дурак, дорогая соотечественница, вскричал я в восхищении, словно она уже была передо мною, и сунул письмо в карман. Но тут выходит из боскета красивая старая женщина и,

подойдя ко мне, спрашивает, что мне угодно и как я заметил ее. Я отвечаю со смехом, что говорил сам с собою, не думая быть услышанным. Она, не таясь, сказала, что рада говорить со мною, что сама она римлянка, воспитала Зельми и выучила ее петь и играть на арфе. Похвалив красоту и милый нрав своей ученицы, она заверила, что, увидав се, я бы непременно влюбился; однако ж, к досаде ее, это не дозволено.

— Она видит нас теперь из-за вот этого зеленого жалюзи; мы любим вас с тех самых пор, как Юсуф сказал, что вы, быть может, станете супругом Зельми сразу по возвращении из Андринополя.

Спросив, могу ли я рассказать Юсуфу о признании ее, и получив отрицательный ответ, я тотчас понял, что, попроси я настойчивей, она решилась бы доставить мне удовольствие и показала свою прелестную ученицу. Для меня нестерпима была даже мысль о том, чтобы поступком своим огорчить дорогого мне хозяина, но всего более боялся я вступить в лабиринт, где с легкостью мог бы пропасть. Турбан, казалось, видневшийся мне издали, приводил меня в ужас.

Подошел Юсуф и, увидев, что я беседую с этой римлянкой, как мне почудилось, не рассердился. Он поздравил меня, сказав, что я, должно быть, получил немалое удовольствие, танцую с одной из красавиц, сокрытых в гареме сладострастника Исмаила.

— Это, стало быть, большая новость, о ней говорят?

— Такое нечасто случается, ведь в народе властвует предрассудок, запрещающий являть завистливым взорам красавиц, которыми мы обладаем; однако в своем доме всякий волен поступать, как пожелает. К тому же Исмаил человек весьма обходительный и умный.

— Знает ли кто-нибудь даму, с которой я танцевал?

— О, не думаю! Всем известно, что у Исмаила их полдюжины, и все очень хороши, а эта, помимо прочего, была в маске.

Как обычно, мы самым веселым образом провели день; выйдя из его дома, я велел проводить себя к Исмаилу, который жил в той же стороне.

Здесь меня знали и впустили в сад. Я направился было к месту, указанному в записке, но тут меня заметил евнух и, приблизившись, сказал, что Исмаила нет дома, однако для него станет большой радостью узнать, что я прогуливался в его владениях. Я сказал, что выпил бы охотно стакан лимонаду, и он отвел меня к беседке, в которой сидела старая рабыня. Евнух велел подать мне отменного питья и не позволил дать старухе серебряную монету. После мы гуляли у пруда, но евнух сказал, что нам следует вернуться, и указал на трех дам, которых приличия предписывали избегать. Я благодарил его, просив передать от меня поклон Исмаилу, и затем вернулся к себе, довольный прогулкой и в надежде впредь быть счастливее.

Не далее нежели на следующий день получил я от Исмаила записку с приглашением назавтра вечером отправиться с ним ловить на крючок рыбу; ловля наша при лунном свете должна была продолжаться далеко за полночь. Надо ли говорить, что я надеялся увидеть желанья свои исполненными! Я вообразил, что Исмаилу ничего не стоит свести меня с венецианкой; уверенность, что он будет третьим, не отвращала меня. Я испросил у кавалера Венье дозволения ночевать вне стен дворца, и он согласился, хоть и не без труда, ибо опасался, не приключилось бы какой неприятности из-за моего волокитства. Я мог бы успокоить его, обо всем рассказав, но мне представлялось, что здесь подобает хранить молчание.

Итак, в назначенный час я был у турка, встретившего меня самыми сердечными изъявлениями дружбы. К удивлению моему, в лодке мы оказались с ним вдвоем, кроме двух гребцов и рулевого. Мы поймали нескольких рыб и отправились есть их, зажаренных и приправленных маслом, в беседку; луна сияла, и ночь казалась ослепительней дня. Зная пристрастия его, я был не столь весел, как обыкновенно; хотя и успокаивал меня г-н де Бонваль, однако же я боялся, как бы не явилась Исмаилу прихоть выказать мне свою дружбу тем же способом, каким он пытался это сделать три недели назад и какой отнюдь не пришелся мне по нраву. Прогулка вдвоем была мне подозрительна и не казалась естественной. Я не мог унять беспокойства. Но вот какова оказалась развязка.

— Тише, — сказал он вдруг. — Я слышу некий шум; как я могу судить, сейчас мы позабудемся.

С этими словами он отослал своих людей и, взяв меня за руку, произнес:

— Идем спрячемся в одну беседку — ключ от нее, по счастью, у меня в кармане; но осторожней, шуметь нельзя. Одним из окон беседка эта выходит на пруд, куда, полагаю, отправились теперь купаться две-три моих девицы. Мы их увидим, они же и мысли не могут допустить, что за ними смотрят: нам предстоит насладиться чудеснейшим зрелищем. Они знают, что никому, кроме меня, не попасть в это место.

Сказав так, он отпирает беседку, по-прежнему держа меня за руку, и вот мы в полной темноте. Перед нами во всю ширь простирается освещенный луною пруд, каковой, будучи в тени, был бы для нас невидим; и прямо перед нашим взором видим трех обнаженных девушек, которые то плавают, то выходят из воды по мраморным ступеням и, стоя либо сидя на них, вытираются, являя прелести свои во всех положениях. Обольстительное зрелище это тотчас же воспламенило меня, и Исмаил, обмирая от радости, убедил меня не стесняться, но, напротив, поощрял отдаться действию, какое сей сладостный вид оказал на мою душу, и сам подал мне в том пример. Я, как и он, принужден был

довольствоваться находящимся подле предметом, дабы погасить пламень, разжигаемый тремя сиренами, каковых наблюдали мы попеременно в воде и на берегу; не глядя вовсе на наше окно, они, казалось, заводят сладострастные свои игры единственно для того, чтобы зрители, пристально за ними следящие, воспылали страстью. Мне хотелось думать, что так оно и было: оттого получал я только более удовольствия; Исмаил же, принужденный, находясь рядом, заменить собою дальний предмет, до которого не мог я достигнуть, торжествовал победу. В свой черед и он воздал мне по заслугам, и я стерпел. Воспротивившись, я поступил бы несправедливо и к тому же отплатил бы ему неблагодарностью, а к этому я не способен от природы. Во всю свою жизнь не случалось мне впасть в подобное безрассудство и так терять голову. Не зная, которая из трех нимф была моя венецианка, я обнаруживал черты ее в каждой по очереди и не щадил Исмаила, который, по видимости, успокоился. Достойный этот человек приятнейшим образом изобличил меня во лжи и вкусил от самой сладостной мести, но, дабы получить с меня долг, ему пришлось платить самому. Оставляю читателю заботу сосчитать, кто из нас остался в проигрыше; но, думается мне, чаша весов должна склониться в сторону Исмаила, ибо он понес все расходы. Что до меня, то я более у него не бывал и о приключении своем никому не рассказывал. Три сирены удалились, оргия кончилась, и мы, не зная, что сказать друг другу, лишь посмеялись над нею. Угостившись отменными вареньями разных сортов и выпив несколько чашек кофе, мы расстались. Единственный раз испытал я в Константинополе удовольствие подобного рода — и воображение участвовало в нем более, нежели реальность.

Несколькими днями позже я с раннего утра явился к Юсуфу; накрапывавший дождик не дал мне прогуляться в саду, и я направился в обеденную залу, где никогда не встречалось мне ни души. Вдруг при моем появлении поднимается с места очаровательная женская фигура и быстро набрасывает на лицо, опустивши со лба, плотную вуаль. Рабыня, что сидела у окна спиной к нам и вышивала на пяльцах, не двигается со стула. Извинившись, я показываю намерение удалиться, но женщина на чистом итальянском языке велит мне остаться и ангельским голосом произносит, что Юсуф, уходя, наказал ей занимать меня беседой. Указав на подушку, покоившуюся на других двух, побольше, она приглашает меня сесть; я повинуюсь, и она усаживается, скрестив ноги, на подушку прямо напротив меня. Я решил, что вижу перед собою Зельми и что Юсуфу вздумалось мне доказать, что он не трусливей Исмаила. Удивившись этому его поступку, которым нарушал он собственные свои правила и рисковал, пробудив во мне любовь, замутить согласие мое с его планами, я, однако, полагал, что бояться мне нечего, ибо не мог сделать решительного шага, не увидав прежде ее лица.

— Полагаю, тебе неизвестно, кто я, — сказала маска.

— Не имею понятия.

— Уже пять лет, как я супруга твоего друга, а родилась на Хиосе. Когда он взял меня в жены, мне было тринадцать лет.

Пораженный своевольством Юсуфа, дерзнувшего позволить мне вести беседы с его женой, я почувствовал себя непринужденнее и подумал было попытаться счастья; но мне надобно было увидеть ее лицо. Когда видишь одно лишь прекрасное, скрытое одеждой тело, но не видишь головы, рождаются только те желания, что нетрудно утолить; огонь, возжигаемый им, подобен костру из соломы. Предомною был прекрасный, изящный идол, но я не видел души его, ибо глаза таились за газовым покрывалом. Я видел обнаженные руки ее, ослепительной белизны и формы, и кисти, подобные Альцининым, *dove ne подо арраг ne vena есседe \**; я воображал себе все остальное, ту нежную поверхность форм, какую единственно способны были скрыть мягкие складки муслина. Все это наверное было прекрасно, но мне хотелось прочесть в глазах ее душу, оживлявшую все, что мне угодно было себе представить. Восточные одежды являют жадному взору все, и более, ничего не скрывая, но, словно прекрасная глазурь на вазе саксонского фарфора, мешают на ощупь распознать, каковы краски цветов и фигур. Женщина эта одета была не как султанша, но наподобие хиосской Арканы: юбки открывали взгляду моему ее ноги до половины икры, и форму ляжек, и очертания высоких бедер, которые, сужаясь, превращались в восхитительно тонкую талию, стянутую широким синим кушаком с шитым серебром арабесками. Мне открывалась высокая грудь, и медленное, зачастую прерывистое волнение волшебного этого холмика показывало, что он живой. Меж небольших грудей пролегал узкий, округлый желобок: мне чудилось, что молочный этот ручеек назначен для того, чтобы я, впившись в него губами, утолил свою жажду.

Вне себя от восхищения, я движением почти произвольным протянул руку и, дерзкий, уже готов был откинуть ее вуаль, когда бы, выпрямившись во весь рост, она не оттолкнула меня и голосом столь же величественным, как и поза, не стала упрекать за дерзостное вероломство.

— Разве достоин ты дружбы Юсуфа, — говорила она, — ты, оскорбляющий супругу его и законы гостеприимства?

— Сударыня, вы должны простить меня: у нас на родине самый низкий из мужчин может взирать на лицо королевы.

— Но не срывать вуаль, коли случится ей надеть ее. Юсуф отомстит за меня.

Услышав угрозу эту, я решил, что погиб, бросился к ногам ее и молил так, что она успокоилась, велела мне сесть обратно и уселась сама; она скрестила ноги, и на миг в беспорядочных складках

юбки мелькнули мне прелести, зрелище которых, продлись оно минутою дольше, вконец лишило бы меня рассудка. Тут я осознал свою ошибку и раскаялся — но было поздно.

— Ты весь пылаешь, — произнесла она.

— Как же мне не пылать, — отвечал я, — когда ты меня сжигаешь.

Умудренный опытом, забыл я думать о лице ее и совсем было завладел ее рукою, как она сказала: «Вот и Юсуф». Он входит, мы поднимаемся, он благословляет меня, я благодарю, рабыня-вышивальщица удаляется, он изъясняет признательность жене, составившей мне добрую компанию, и тут же подает руку, дабы препроводить ее в женские покои. В дверях она поднимает покрывало и, целуя супруга, как бы ненароком показывается мне в профиль. Я провожал ее взором до последней комнаты. Вернувшись, Юсуф со смехом сказал, что супруга его пожелала с нами обедать.

— Я думал, что передо мной Зельми, — сказал я.

— Это было бы слишком противно нашим обычаям и нравам. Теперешний мой поступок — безделица; но не могу даже и представить, чтобы честный человек отважился усадить собственную дочь напротив чужестранца.

— Полагаю, твоя жена красива. Она красивее Зельми?

— Красота дочери моей весела, в ней запечатлелась нежность. Красота Софии отмечена гордостью. Она будет счастлива, когда я умру. Тот, кто возьмет ее в жены, найдет ее девственной.

Рассказывая о приключении моем г-ну де Бонвалью, я преувеличил опасность, которой подвергался, когда хотел откинуть покрывало.

— Все нет, — возразил тот. — Никакой опасности вы не подвергались; гречанка эта, решив посмеяться над вами, попросту разыграла трагикомическую сцену. Поверьте, она гневалась, что оказалась наедине с новичком. Вы разыграли с нею фарс на французский манер, а должны были действовать по-мужски. Что за нужда пришла вам глазеть на ее нос? Надо было добиваться главного. Будь я моложе, я, может статься, сумел бы отомстить за нее и наказать моего друга Юсуфа. Глядя на вас, она составила нелестное понятие об итальянцах. У самой скромной из турчанок стыд не простирается далее лица: стоит закрыть его, и она уже уверена, что краснеть не с чего. Уверен, эта Юсуфова жена закрывает лицо всякий раз, как ему приходит охота с ней побаловаться.

— Она девственна.

— Весьма сомнительно, я знаю хиосских женщин; они, однако, чрезвычайно искусно и без труда изображают невинность.

В другой раз Юсуф уже не догадался оказать мне подобную любезность. Спустя несколько дней мы повстречались с ним в лавке одного армянина; когда он вошел, я как раз присматривался к разным товарам, но, сочтя цену слишком высокой, решил уже ничего не покупать. Юсуф, взглянув на товары, представлявшие мне дорогими, похвалил мой вкус, но сказал, что цена отнюдь не высока, и, купив все это, удалился. Назавтра он с раннего утра отослал все мне в подарок; однако, чтобы не мог я отказаться, написал чудесное письмо, утверждая, что по прибытии на Корфу я узнаю, кому должен передать присланное. То были дамасские ткани с золотым и серебряным глянцем, кошель, бумажники, пояса, перевязи, носовые платки и трубки — все вместе обошлось в четыре или пять сотен пиастров. Я стал благодарить его, и он сознался, что сделал мне подарок.

Накануне отъезда прощался я с честным стариком и увидел на глазах его слезы; и сам плакал в ответ. Он сказал, что, отказавшись принять его дар, я снискал такое его уважение, что, как он чувствует, оно не могло бы стать глубже, когда б я даже этот дар принял. Взойдя на корабль вместе с г-ном балио Джованни Дона, я обнаружил подаренный Юсуфом ларь. В нем заключалось две сотни фунтов кофе мока, сто ливров конопляного табаку в листьях и еще два больших сосуда, полных один табаку «запанди», а другой табаку камуссадов. Сверх того ясминный кальян с золотою филигранью, который продал я на Корфу за сто цехинов. Я не мог иначе изъяснить мою благодарность, нежели написав ему письмо с Корфу, где, продав его подарки, обрел целое состояние.

Исмаил снабдил меня письмом к кавалеру да Лецце, которое я потерял, и бочкою меду, которую я также продал, а г-н де Бонваль — письмом к кардиналу Аквавиве, каковое я переслал в Рим, вложив в свое собственное, где описал кардиналу свое путешествие; его высокопреосвященство, однако, ответом меня не удостоил. Еще г-н де Бонваль дал мне дюжину бутылок мальвазии из Рагузы и другую дюжину — настоящего вина со Скополо: оно большая редкость. На Корфу я поднес его в подарок с немалой пользой для себя, как мы увидим в своем месте.

Единственным чужеземным посланником, с которым я нередко встречался в Константинополе, был милорд Кит, маршал Шотландский, представлявший там прусского короля. Ко мне он выказывал исключительное благорасположение; знакомство это сослужило мне службу в Париже, шесть лет спустя. Мы еще поговорим о нем.

Мы пустились в путь в начале сентября на том же военном корабле, на каком приплыли. В две недели прибыли мы на Корфу. Г-н балио не пожелал сойти на берег. С собою он вез восьмерку превосходных турецких лошадей; двух из них я видел живыми в Гориции еще в 1773 году.

Едва успев сойти на берег с невеликой своей поклажей и довольно скверно устроиться, я отправился представляться г-ну Андреа Дольфину, генералу-проведитору, каковой, как и прежде, заверил, что после первого же смотра произведет меня в лейтенанты. Выйдя от генерала, направился я к г-ну Кампорезе, моему капитану; штабные офицеры моего полка все были в отлучке.

Третий свой визит нанес я г-ну Д. Р., командующему галеасами — к нему рекомендовал меня г-н Дольфин, с которым вместе мы прибыли на Корфу. Он немедля спросил, не желаю ли я вступить к нему на службу в адъютантском чине, и я, ни минуты не раздумывая, отвечал, что большего счастья мне и не надобно и что он во всякое время может рассчитывать на полное мое повиновение и готовность исполнять его приказы. Он сразу же велел проводить меня в отведенную мне комнату, и уже на завтра я у него расположился. Капитан пожаловал меня французским солдатом, который прежде был цирюльником, — к большому моему удовольствию, ибо мне надобно было привыкать к французскому наречию. Солдат этот, пикардийский крестьянин, был повеса, пьяница и распутник и едва умел писать; но это меня не тревожило: довольно и того, что он умел говорить. Дуралей знал великое множество уличных песенок и забавных историй и всех ими веселил.

В четыре-пять дней, продав все полученные в Константинополе дары, я выручил почти пятьсот цехинов. Себе я оставил одно лишь вино. Вернув из лап жидов все то, что, проигравши, заложил перед отъездом в Константинополь, и все продав, я твердо решился не играть более как простофиля, но доставить себе все преимущества, какие разумный и смысленный молодой человек может извлечь для себя, не опасаясь прослыть жуликом. Но сейчас должно мне описать читателю Корфу и дать ему понятие о тамошней жизни. О местных примечательностях рассказывать не стану: всякий может познакомиться с ними сам.

В то время верховная власть на Корфу принадлежала генералу-проведитору, жившему там в ослепительной роскоши. Им был г-н Дольфин, мужчина лет семидесяти, суровый упрямец и невежда; потеряв интерес к женщинам, он, однако, любил, чтобы они во всем ему угождали. Всякий вечер собиралось у него общество, и ужины он задавал на двадцать четыре персоны.

Кроме него, было на Корфу трое высших офицеров гребного, иначе говоря, галерного флота и трое других, линейного флота — так называют парусные корабли. Гребной флот важнее парусного. На каждой галере был свой капитан, именуемый *sopracomito*, всего их было десять; на каждом паруснике также имелся командир, и их тоже было десять, включая трех высших офицеров. Все командиры эти были венецианские дворяне. Еще десять благородных венецианцев от двадцати до двадцати пяти лет проходили на кораблях службу и изучали на острове морское ремесло. Сверх всех этих чинов находились на Корфу еще восемь или десять других венецианских дворян, что должны были содержать полицию и отправлять правосудие: их называли высшие сухопутные чины. Люди женатые имели удовольствие, коли жены их были недурны собою, принимать в своем доме воздыхателей, ищущих их благосклонности; но сильных страстей на Корфу не встречалось — в то время здесь было множество куртизанок, и азартные игры разрешены повсюду, а значит, любовная канитель не могла быть в ходу.

Среди прочих дам выделялась красотой и обходительностью г-жа Ф. Муж ее, командир галеры, прибыл вместе с нею на Корфу в прошедшем году. К удивлению всех высших морских чинов, она, зная, что в ее власти выбирать, отдала предпочтение г-ну Д. Р. и отослала всех, кто предлагал себя в чичисбеи. Г-н Ф. женился на ней в тот самый день, когда отплыл из Венеции на своей галере; в тот же день вышла она из монастыря, где находилась с семилетнего возраста. Ныне ей минуло семнадцать. В первый день пребывания моего у г-на Д. Р. я увидел ее перед собою за столом и был поражен. Мне почудилось, что я вижу нечто сверхъестественное; настолько превосходила она всех виденных мною прежде женщин, что я не боялся даже влюбиться. Я ощутил себя существом иной, нежели она, породы и столь низким, что никогда не сумел, бы до нее достигнуть. Поначалу я решил, что между нею и г-ном Д. Р. нет ничего, кроме холодной притерпелой дружбы, и что г-н Ф. прав, не питая ревности. Впрочем, г-н Ф. был глуп необычайно. Вот каково было впечатление, что произвела на меня эта красавица, представ в первый день моему взору; однако оно не замедлило перемениться, притом весьма неожиданным для меня образом.

Адъютантский чин даровал мне честь обедать с нею — но и только. Другой адъютант, товарищ мой, такой же, как я, прапорщик, но отменный дурак, пользовался тою же честью; однако за столом нас не считали за равных с остальными. Никто не разговаривал с нами; на нас даже не глядели! Я не мог с этим смириться. Я знал, что причиной тому не сознательное пренебрежение, но все же находил положение свое весьма тягостным. Мне представлялось, что Сандзонио (так звали моего соседа) не на что жаловаться, ибо он был законченный олух; но чтобы так же обращались со мною — это было нестерпимо. Прошло восемь — десять дней, и г-жа Ф., ни разу не удостоившая меня взглядом, перестала мне нравиться. Я был задет, сердит и пребывал в тем большем нетерпении, что не мог предполагать в ее невнимании обдуманного намерения. Умысел с ее стороны был бы мне скорее приятен. Я убедился, что ровно ничего для нее не значу. Это было уже слишком. Я знал, что кое-чего стою, и намеревался довести это до ее сведения. Наконец представился случай, когда должна была она заговорить со мною, а для того взглянуть мне в лицо.

Г-н Д. Р., приметив прекрасного жареного индюка, что стоял передо мною, велел мне разрезать его, и я тотчас принялся за дело. Разрезав индюка на шестнадцать кусков, я понял, что исполнил работу дурно и нуждаюсь в снисхождении; однако г-жа Ф. не сдержала смеха и, взглянув на меня, произнесла, что коли я не был уверен в своем умении и знании правил, то нечего было и браться. Не зная, что отвечать, я покраснел, уселся на место и возненавидел ее. Однажды потребовалось ей в разговоре сказать мое имя: она спросила, как меня зовут, хотя жил я у г-на Д. Р. уже две недели, и ей подобало это знать; сверх того, я неизменно бывал удачлив в игре и стал уже знаменит. Деньги свои я отдал плац-майору Мароли, записному картежнику, что держал банк в кофейном доме. Войдя к нему в долю, я был при нем крупье — и он при мне, когда я метал, а случалось это нередко, ибо понтеры его не любили. Карты он держал так, что нагонял на всех страху, я же поступал прямо наоборот; мне всегда везло, и к тому же проигрывал я легко и со смехом, а выигрывал с убитою миной. Мароли и выиграл все деньги мои перед отъездом в Константинополь; по возвращении, увидев, что я решился более не играть, он счел меня достойным приобщиться мудрых правил, без которых гибнет всякий охотник до карточных игр. Впрочем, я не полагался всецело на честность Мароли и держался настороже. Всякую ночь, кончив талью, мы считались, и ларец оставался у казначея; разделив поровну выигранные наличные, мы отправлялись опорожнять свои кошельки по домам.

Я был счастлив в картах, здоров и любим товарищами моими, которым при случае всегда ссужал займы, и совсем был бы доволен своей участью, когда бы меня чуть более отличали за столом у г-на Д. Р. и чуть менее надменно обходилась со мною его дама, которой, казалось, нравилось по временам унижать меня без всякой на то причины. Я ненавидел ее и, размышляя над внушенным ею чувством, находил, что она мало того что несносна, но и глупа, ибо, говорил я про себя, обладая столь восхитительными достоинствами, стоило ей захотеть, и она бы завладела моим сердцем, даже и не утруждаясь любовью ко мне. Ничего я не желал, как только чтобы она перестала принуждать меня ее ненавидеть. Поведение ее представлялось мне невероятным, ибо если и был в нем умысел, то из него не могло последовать никакой выгоды.

Тем менее мог я отнести его на счет кокетства, ибо никогда ни намеком не давал ей понять, что отдаю ей должное, либо на счет любовной страсти к кому-либо, кто внушил бы ей ко мне отвращение: даже и г-н Д. Р. не занимал ее внимания, а с мужем своим она обходилась как с пустым местом. Иными словами, юная эта женщина сделала меня несчастным; я злился на себя, полагая, что, когда бы не переполнявшая меня ненависть, перестал бы о ней и думать. К тому же, обнаружив в душе своей способность ненавидеть, я вознегодовал на себя: никогда прежде не подозревал я за собою жестоких наклонностей.

— Куда употребляете вы деньги? — вдруг спросила она однажды, когда кто-то отдавал мне после обеда проигранную под честное слово сумму.

— Храню их, сударыня, на случай будущих проигрышей, — отвечал я.

— Но если вы ни на что их не тратите, вам лучше не играть: вы только попусту теряете время.

— Время, отданное развлечению, нельзя назвать попусту истраченным. Есть лишь одно дурное прохождение времени — скука. От скуки молодой человек рискует влюбиться и навлечь на себя презрение.

— Быть может; однако, развлекаясь ролью казначея собственных денег, вы обнаруживаете скупость, а скупец не почтенней влюбленного. Отчего вы не купите себе перчатки?

Насмешники дружно разразились смехом, и я остался в дураках. Она была права. Долг адъютанта был провожать даму, отправившуюся домой, до портшеза или экипажа, и на Корфу вошло в моду поддерживать ее, левой рукой приподнимая подол платья, а правую положив ей под мышку. Без перчаток можно было потной рукой запачкать платье. Упрек в скупости пронзил мое сердце; я был убит, Утешаться, приписав слова ее недостатку воспитания, я не мог. В отместку я, не став покупать перчаток, решился всеми силами избегать ее, предоставив любезничать с нею пошляку Сандзонио с его гнилыми зубами, белобрысым париком, смуглой кожей и непрестанным сопением. Так я и жил, несчастный, в бешенстве оттого, что не могу избавиться от ненависти к этой юной особе, каковую, по здравому размышлению, не мог и равнодушно презирать, ибо, остынув, не видел за нею никакой вины. Все было просто: она не ненавидела меня и не любила, а из свойственного юности желания посмеяться, решив позабавиться, остановила выбор свой на мне, словно на какой-нибудь кукле. Мог ли я смириться с подобною участью? Я жаждал наказать ее, заставить каяться, измышлял жесточайшие способы мести. В числе их — влюбить ее в себя, а после обойтись, как с потаскухой; однако, обдумывая сей способ, я всякий раз с негодованием отбрасывал его: мне вряд ли достало бы отваги устоять перед силою ее прелестей и тем более, если случится, ее приветливостью. Но благодаря одной счастливой случайности положение мое совершенно переменялось.

Тотчас после обеда г-н Д. Р. отослал меня с письмами к г-ну де Кондульмеру, капитану галеасов. Я должен был ждать его распоряжений и прождал до полуночи, а потому, вернувшись и обнаружив, что г-н Д. Р. уже удалился к себе, отправился и сам спать. Наутро, когда он проснулся, я вошел к нему в комнату доложить об исполненном поручении. Минуту позже входит камердинер и

вручает ему записку со словами, что адъютант г-жи Ф. ожидает у дверей ответа. Он выходит, г-н Д. Р. распечатывает и читает письмо, а прочтя, рвет его и в запальчивости швыряет на пол; после, пошагав по комнате, он пишет наконец ответ на записку, запечатывает, звонит, веля впустить адъютанта, и вручает ему письмо. Затем с выражением полнейшего спокойствия дочитывает известия от капитана галеасов и велит мне переписать какое-то письмо. Он как раз читал его, когда вошел камердинер и сказал, что г-жа Ф. желает со мною говорить. Г-н Д. Р. отвечал, что больше я ему не нужен, и разрешил отправиться к г-же Ф. и узнать, чего она хочет. Я удаляюсь, а он на прощание предупреждает, что мне следует помалкивать. Мне не было нужды в его предупреждениях. Не в силах угадать, для чего зовет меня г-жа Ф., я лечу к ней. Мне случалось бывать там и прежде, но по ее просьбе — никогда. Ждать пришлось не долее минуты. Я вхожу и с удивлением вижу, что она сидит в постели, раскрасневшаяся, пленительная, но с опухшими и покрасневшими глазами. Она, бесспорно, плакала. Сердце мое бешено колотилось, сам не знаю отчего.

— Садитесь сюда, в это креслице, — сказала она, — мне надобно с вами поговорить.

— Я недостойн подобной милости, сударыня, и выслушаю вас стоя.

Она не настаивала, памятуя, быть может, что прежде никогда не была со мною столь любезна и ни разу не принимала в постели. Собравшись несколько с духом, она продолжала:

— Муж мой проиграл вчера вечером банку, что в кофейне, двести цехинов под честное слово; он полагал, что деньги у меня и сегодня он их заплатит, но я распорядилась ими, а значит, должна их для него найти. Я подумала, не могли бы вы сказать Мароли, что получили от мужа его проигрыш. Вот кольцо, возьмите, а первого числа января я отдам вам двести дукатов и вы мне его вернете. Сейчас напишу и расписку.

— Что до расписки, пусть, но я отнюдь не желаю лишать вас кольца, сударыня. И еще скажу вам, что г-ну Ф. надобно идти самому либо послать к держателю банка человека, а деньги я вам отсчитаю через десять минут, когда вернусь.

С этими словами я, не дожидаясь ответа, вышел, возвратился в дом г-на Д. Р., положил в карман два свертка по сотне монет и отнес ей, а взамен сунул в карман расписку с обязательством уплатить деньги первого числа января.

Когда я повернулся уходить, она, взглянув на меня, сказала — это доподлинные ее слова:

— Знай я, в какой степени вы расположены оказать мне услугу, я, полагаю, не решилась бы просить вас о подобном одолжении.

— Что ж, сударыня, на будущее знайте, что нет в мире мужчины, способного отказать вам в столь ничтожном одолжении, коль скоро вы сами об этом попросите.

— Слова ваши весьма лестны, но, надеюсь, более мне во всю жизнь не случится попасть в столь скверное положение, чтобы пришлось испытывать их правдивость.

Я ушел, размышляя над ее тонким ответом. Она, против моего ожидания, не сказала, что я ошибаюсь: это повредило бы ее репутации. Она знала, что я находился в комнате г-на Д. Р., когда адъютант принес ее записку, и, следственно, мне было прекрасно известно, что она просила двести цехинов и получила отказ; но мне ничего не сказала. Боже! Как я был рад! Я все понял. Я догадался, что она боялась уронить себя в моих глазах, и преисполнился обожания. Я убедился, что ей невозможно было любить г-на Д. Р., а он и подавно ее не любил; сердце мое наслаждалось этим открытием. В тот день я влюбился в нее без памяти и обрел надежду когда-нибудь завоевать ее сердце.

Едва оказавшись в своей комнате, я самыми черными чернилами замазал все, что написала г-жа Ф. в расписке, оставив лишь имя; затем запечатал письмо и отнес к нотариусу, с которого взял письменное обязательство хранить его и не выдавать никому, кроме г-жи Ф., по ее просьбе и в собственные руки. Вечером г-н Ф. явился в мой банк, заплатил долг, сыграл на наличные и выиграл три-четыре дюжины цехинов. Более всего в прелестной этой истории поразила меня неизменная любезность г-на Д. Р. в отношении г-жи Ф. и ее к нему, а также то, что, когда мы снова повстречались с ним дома, он не спросил, чего хотела от меня его дама; ее же отношение ко мне с той минуты совершенно переменялось. За столом, сидя напротив меня, она не упускала случая заговорить, и частенько вопросы ее понуждали меня с серьезным видом произносить всяческие забавные колкости. В те времена у меня был большой дар смешить, не смеясь самому, которому научился я у г-на Малипьеро, первого моего наставника. «Если хочешь вызвать слезы, — говаривал он, — надобно плакать самому, но, желая насмешить, самому смеяться нельзя». Все поступки мои и слова в присутствии г-жи Ф. имели целью единственно ей понравиться; но я ни разу не взглянул на нее без причины и не давал неверное понятие, что думаю лишь о том, как бы снискать ее расположение. Я хотел зародить в ней любопытство, желание, заподозрив истину, самой угадать мою тайну. Мне надобно было действовать неспешно, а времени было предостаточно. Пока же я, к радости своей, наблюдал, как благодаря деньгам и примерному поведению обретаю общее уважение, на которое, беря в расчет положение мое и возраст, не мог и надеяться и которое не снискал бы никаким талантом, кроме предпринятого мною ремесла.

Около середины ноября мой француз-солдат схватил воспаление легких. Я известил о том



капитана Кампорезе, и тот немедленно отправил его в госпиталь. На четвертый день капитан сказал, что ему оттуда не воротиться и его уже причастили; под вечер, когда сидел я у него дома, явился священник, поручавший французову душу Богу, и сказал, что тот умер. Капитану он вручил небольшой пакет, завещанный ему покойным перед самою агонией с условием, что передан он будет лишь после смерти. В нем лежала латунная печать с гербом в герцогской мантии, метрическое свидетельство и листок бумаги, на котором я (капитан не знал по-французски) прочел такие слова, написанные дрянным почерком и с множеством ошибок:

«Разумею, что бумага сия, писанная мною и с собственноручной моей подписью, должна быть вручена капитану моему лишь когда я умру окончательно и надлежащим образом; без того исповедник мой не сумеет найти ей никакого употребления, ибо доверена она ему лишь под священной тайной исповеди. Прошу капитана моего захоронить мое тело в склепе, откуда можно было бы его извлечь, буде пожелает того герцог, отец мой. А еще прошу отослать французскому посланнику, что в Венеции, мое метрическое свидетельство, печать с родовым гербом и выправленное по полной форме свидетельство о смерти, для того чтобы он переслал его отцу моему, г-ну герцогу; принадлежащее мне право первородства переходит к брату моему, принцу. В подтверждение чего руку приложил — Франциск VI, Шарль, Филипп, Луи Фуко, принц де Ларошфуко».

В метрическом свидетельстве, выданном церковью Св. Сульпиция, стояло то же имя; герцога-отца звали Франциск V, матерью была Габриель Дюплесси.

Закончив сие чтение, не мог я удержаться от громкого хохота; однако ж дуралей капитан, полагая насмешки мои неуместными, поспешил немедленно сообщить новость генералу-проведитору, и я удалился, направившись в кофейный дом и нимало не сомневаясь, что Его Превосходительство посмеется над ним, а редкостное чудачество отменно насмешит весь Корфу. В Риме, у кардинала Аквавивы, я встречал аббата Лианкура, правнука Шарля, чья сестра Габриель Дюплесси была женою Франциска V: только было это в начале прошлого столетия. В канцелярии кардинала мне случилось переписывать одно дело, по которому аббат Лианкур должен был давать показания при Мадридском дворе и где шла речь о многих иных обстоятельствах, относящихся до рода Дюплесси. Впрочем, выдумка Светлейшего показалась мне столь же диковинной, сколь и несуразной, ибо самому ему, раз дело раскрывалось лишь после смерти, не было от нее никакого проку.

Получасом позже, только начал я распечатывать новую колоду, как является адъютант Сандзонио и серьезнейшим тоном сообщает важную новость. Пришел он от генерала и видел, как запыхавшийся Кампорезе передал Его Превосходительству печать и бумаги усопшего. Его Превосходительство тогда же повелел похоронить принца в особенном склепе и со всеми почестями, подобающими столь высокородной особе. Спустя другие полчаса явился г-н Минотто, адъютант генерала-проведитора, и передал, что Его Превосходительство желает говорить со мною. Закончив талью и отдав карты майору Мароли, отправляюсь я к генералу. Его Превосходительство нахожу я за столом в обществе первых дам и трех-четырех высших офицеров; здесь же г-жа Ф. и г-н Д. Р.

— Вот оно как, — произнес старый генерал. — Слуга ваш был принц.

— Никогда бы не подумал, монсеньор, и даже теперь не верю.

— Как! Он умер, и находился в здравом рассудке. Вы видели герб его, метрическое свидетельство, собственноручное его письмо. Когда человек при смерти, ему не приходит охоты шутить.

— Когда Ваше Превосходительство полагает все это правдой, почтение велит мне молчать.

— Что же это, если не правда? Удивляюсь, как можете вы сомневаться.

— Могу, монсеньор, ибо осведомлен о роде Ларошфуко, равно как и роде Дюплесси; к тому же я слишком хорошо знаком с означенным человеком. Сумасшедшим он не был, но чудачком и сумасбродом был. Я ни разу не видел, чтобы он писал, и сам он двадцать раз говорил мне, что никогда не учился грамоте.

— Письмо его доказывает обратное. На печати же его герцогская мантия: вам, быть может, неизвестно, что г-н де Ларошфуко — герцог и пэр Франции.

— Прошу меня простить, монсеньор, все это я знаю, и знаю больше того: Франциск VI был женат на девице де Вивонн.

— Вы ничего не знаете.

После этого мне оставалось лишь умолкнуть. Не без удовольствия заметил я, что все мужское общество пришло в восторг от обращенных ко мне убийственных слов: Вы ничего не знаете. Один из офицеров сказал, что усопший был красив, с виду благороден, весьма умен и умел вести себя столь осмотрительно, что никому и в голову не приходило, кто он на самом деле. Одна из дам заверила, что, будь она знакома с ним, непременно сумела бы его разоблачить. Другой льстивец объявил, что был он всегда весел, никогда не чванился перед товарищами своими и пел, как ангел.

— Ему минуло двадцать пять лет, — сказала, глядя на меня, г-жа Сагрето, вы должны были заметить в нем все эти достоинства, если верно, что он ими обладал.

— Могу лишь, сударыня, описать его таким, каким он мне представлялся. Всегда весел, частенько дурачился, кувыркаясь и распевая нескромные куплеты, и держал в памяти поразительное

множество простонародных сказок о колдовстве, чудесах, невероятных подвигах, противных здравому смыслу и потому смешных. Пороки же его таковы: он был пьяница, грязнуля, развратник, бранчливый и не совсем чистый на руку; но я терпел, для того что он хорошо меня причесывал и еще потому, что хотел научиться говорить по-французски и строить фразы, согласные с духом этого языка. Не раз он говорил, что родом из Пикардии, что сын крестьянина и дезертир. Уверял, что не умеет писать, но, быть может, обманывал меня.

Пока я говорил, вдруг является Кампорезе и объявляет Его Превосходительству, что Светлейший еще дышит. Тут генерал, взглянув на меня, говорит, что, когда бы тот сумел одолеть болезнь, он был бы весьма рад.

— Также и я, монсеньор; однако ж духовник этой ночью наверное отправит его на тот свет.

— Зачем же, по-вашему, он станет это делать?

— Затем, чтобы не попасть на галеры, к которым приговорит его Ваше Превосходительство за нарушение тайны исповеди.

Раздался смех; старый генерал насупил черные брови. При разъезде провожал я г-жу Ф., идущую впереди под руку с г-ном Д. Р. к карете, и она, оборотясь, велела подняться в карету и мне, ибо накрапывал дождь. Она впервые оказывала мне столь великую честь.

— Я думаю то же, что и вы, — сказала она, — но вы донельзя рассердили генерала.

— Несчастье это неизбежно, сударыня: я не умею лукавить.

— Вы могли бы, — заметил г-н Д. Р., — избавить генерала от славной шутки про то, как духовник отправит на тот свет принца.

— Я полагал позабавить его, как, я видел, позабавил Ваше Превосходительство и вас, сударыня. Того, кто умеет смешить, любят.

— Но тот, кто не умеет смеяться сам, не может его любить.

— Готов поспорить на сотню цехинов, что безумец этот оправится и, раз генерал на его стороне, начнет пожинать плоды своей выдумки. Не терпится мне взглянуть, как его будут почитать за принца, а он станет увиваться за г-жой Сагрето.

При имени этой дамы г-жа Ф., которая весьма ее недолюбливала, расхохоталась как сумасшедшая; а г-н Д. Р., выходя из кареты, пригласил меня в дом. У него было в обычае всякий раз, как они ужинали вместе у генерала, проводить после пол часа у нее — наедине, ибо г-н Ф. не показывался никогда. Стало быть, парочка эта впервые допускала к себе третьего; в восторге от подобного отличия, я не сомневался, что оно не останется без последствий. Я принужден был скрывать свое довольство, однако это не помешало мне придавать комический оборот и веселость всякому разговору, какой только ни заводили г-н Д. Р. и г-жа Ф. Трои наше продолжалось четыре часа, и во дворце мы вернулись в два часа пополудни. В ту ночь они впервые узнали, каков я есть. Г-жа Ф. сказала г-ну Д. Р., что никогда еще так не смеялась и не могла даже подозревать, что простые слова бывают столь смешными.

Ясно было одно: потому, что смеялась она всем моим речам, я обнаружил в ней бездну ума, и за веселость ее так влюбился, что отправился спать в убеждении, что впредь уже не сумею изображать перед нею равнодушного.

Когда наутро я проснулся, новый мой солдат-слуга сообщил, что Светлейшему лучше, и госпитальный врач даже полагает жизнь его вне опасности. Зашел об этом разговор и за столом; я не промолвил ни слова. Еще через день ему, по приказанию генерала, отвели весьма чистое помещение и дали лакея; его одели, дали ему рубашек, а после того как генерал-проведитор по излишней милости сделал ему визит, примеру его последовали все высшие офицеры, не исключая и г-на Д. Р., - в большой мере из любопытства. К нему отправилась г-жа Сагрето, а за ней и все дамы; одна лишь г-жа Ф. не пожелала свести с ним знакомство и сказала со смехом, что пойдет лишь тогда, если я сделаю ей одолжение и ее представлю. Я просил уволить меня от этого. Его величали «высочеством», он звал г-жу Сагрето «своей принцессою». Г-н Д. Р. захотел уговорить и меня нанести ему визит, но я отвечал, что наговорил слишком много и не намерен теперь, набравшись храбрости либо низости, противоречить сам себе. Когда бы у кого-нибудь нашелся французский альманах из тех, что содержат генеалогии всех именитых родов Франции, обман бы немедля раскрылся; но ни у кого его не случилось, даже у самого французского консула, болвана первостатейного. Не прошло и недели после метаморфозы безумца, как он стал появляться в свете. Обедал и ужинал он у самого генерала, и всякий вечер бывал в обществе, но неизменно напивался пьян и засыпал. Невзирая на это, его по-прежнему почитали за принца: во-первых, для того что он без всякой опаски ожидал ответа, который генерал, писавший в Венецию, должен был получить на свое письмо; во-вторых, для того что он требовал от епископата примерно наказать священника, нарушившего тайну исповеди и разгласившего его секрет. Священник сидел уже в тюрьме, и не во власти генерала было защитить его. Все высшие офицеры приглашали самозванца на обед; один г-н Д. Р. все не решался это сделать, ибо г-жа Ф. без околичностей объявила, что в этом случае останется обедать дома. Я еще прежде почтительно известил его, что в тот день, когда ему угодно будет пригласить принца, не смогу у него быть.

Однажды, выйдя из старой крепости, повстречал я его на мосту, что ведет к эспланаде. Став передо мною, он с благородным видом делает мне упрек, отчего я никогда не зайду его проведать, и немало меня смешит. Посмеявшись, я отвечаю, что ему не мешало бы подумать, как унести ноги прежде, нежели генерал получит ответ, узнает правду и учинит расправу, и вызываюсь помочь, сторговавшись с капитаном неаполитанского судна, что стояло под парусом, дабы тот спрятал его на борту. Вместо того чтобы принять мой дар, несчастный осыпает меня бранью.

Безумец этот ухаживал за г-жой Сагрето, каковая, гордясь, что французский принц признал превосходство ее над остальными дамами, обходилась с ним благосклонно. За обедом у г-на Д. Р., где собралось большое общество, она спросила, отчего я советовал принцу бежать.

— Он сам поведал мне о том, дивясь упорству, с каким вы почитаете его за обманщика, — сказала она.

— Я дал ему этот совет, сударыня, ибо у меня доброе сердце и здравый рассудок.

— Стало быть, все мы, не исключая и генерала, дураки?

— Подобный вывод был бы несправедлив, сударыня. Если чье-то мнение противно мнению другого, это отнюдь не означает, что кто-то из двоих дурак. Быть может, через восемь — десять дней я сочту, что заблуждался, — но оттого не стану полагать себя глупей других. Однако же для дамы столь умной, как вы, не составит труда различить в этом человеке принца или крестьянина по манерам его и образованности. Хорошо ли он танцует?

— Он не умеет сделать шагу; но он презирает танцы и говорит, что не хотел им учиться.

— Учтив ли он за столом?

— Бесцеремонен; не желает, чтобы ему переменили тарелку; ест из общего блюда своею собственной ложкой; не умеет сдерживать отрывку; зевает и встает первым, когда ему заблагорассудится. Ничего удивительного: он дурно воспитан.

— Но, несмотря на это, весьма обходителен — так мне кажется. Он чистоплотен?

— Отнюдь нет; но он еще не вполне обзавелся бельем.

— Говорят, он не пьет ни капли.

— Вы шутите; по два раза на дню встает из-за стола пьяным. Но здесь его нельзя не пожалеть: он не умеет пить, чтобы вино не бросилось ему в голову. Ругается, как гусар, и мы смеемся — но он никогда ни на что не обижается.

— Он умен?

— У него необыкновенная память: всякий день он рассказывает нам новые истории.

— Говорит ли о семье?

— Часто вспоминает мать — он нежно ее любит. Она из рода Дюплесси.

— Коли она еще жива, ей должно быть сейчас лет сто пятьдесят — четырья годами более или менее.

— Что за нелепость!

— Именно так, сударыня. Она вышла замуж во времена Марии Медичи.

— Однако ж имя ее значится в метрическом свидетельстве; но печать его... [пропуск в рукописи]

— Известно ли ему, что за герб у него на щите?

— Вы сомневаетесь?

— Думаю, он этого не знает.

Общество поднимается из-за стола. Минуту позже докладывают о приезде принца, в тот же миг он входит, и г-жа Сагрето, не долго думая, говорит:

— Дорогой принц, Казанова убежден, что вы не знаете своего герба.

Услыхав эти слова, он с усмешкою приступает ко мне, называет трусом и тыльной стороной руки дает мне пощечину, сбивши с головы моей парик. Удивленный, я медленно направляюсь к двери, беру по пути мою шляпу и трость и, спускаясь по лестнице, слышу, как г-н Д. Р. громким голосом велит выкинуть безумца в окно.

Выйдя из дома, направляюсь я поджидать его к эспланаде, но вижу, как он появляется с черного хода, и бегу по улице в уверенности, что не разминусь с ним. Приметив его, устремляюсь навстречу и начинаю лупить смертным боем, загнавши прежде в угол меж двумя стенами; вырваться оттуда он не мог, и ему ничего не оставалось, как вытащить шпагу — но ему это и в голову не пришло. Я бросил его, окровавленного, распростертым на земле, пересек окружавшую толпу зеваяк и отправился в Спилеа, дабы в кофейном доме разбавить лимонадом без сахара горечь во рту. Не прошло и пяти минут, как вокруг меня столпились все молодые офицеры гарнизона и стали в один голос твердить, что мне должно было убить его; наконец они мне надоели: я обошелся с ним так, что если он не умер, то не по моей вине; и быть может, обнажи он шпагу, я убил бы его.

Получасом спустя является адъютант генерала и от имени Его Превосходительства велит мне отправляться под арест на Бастарду. Так зовется главная галера; арестанта здесь заковывают в ножные кандалы, словно каторжника. Я отвечаю, что расслышал его, и он удаляется. Я выхожу из кофейни, но вместо того чтобы направиться к эспланаде, сворачиваю в конце улицы налево и шагаю

к берегу моря. Иду с четверть часа и вижу привязанной пустую лодку с веслами; сажусь, отвязываю ее и гребу к большому шестивесельному каику, что шел против ветра. Достигнув его, прошу карабукири поднять парус и доставить меня на борт видневшегося вдали большого рыбацкого судна, что направлялось к скале Видо; лодку свою я бросаю. Хорошо заплатив за каик, поднимаюсь на судно и завожу с хозяином торг. Едва ударили мы по рукам, он ставит три паруса, свежий ветер наполняет их, и через два часа, по его словам, мы уже были в пятнадцати милях от Корфу. Ветер внезапно стих, и я велел грести против течения. К полуночи все сказали, что не могут рыбачить без ветра и выбились из сил. Они предложили мне отдохнуть до рассвета, но я не хочу спать. Плачу какую-то безделицу и велю переправить меня на берег, не спрашивая, где мы находимся, дабы не пробудить подозрений. Я знал одно: я в двадцати милях от Корфу и в таком месте, где никому не придет в голову меня искать. В лунном свете виднелась лишь церквушка, прилегающая к дому, длинный, открытый с двух концов сарай, а за ним луг шагов в сто шириною и горы. До зари пробыл я в сарае, растянувшись на соломе, и, несмотря на холод, довольно сносно выпался. То было первого числа декабря, и, невзирая на теплый климат, я закоченел без плаща в своем легком мундире.

Заслышав колокольный звон, я направляюсь в церковь. Поп с длинной бородою, удивившись моему появлению, спрашивает по-гречески, ромео ли я, то бишь грек; я отвечаю, что я фрагиго, итальянец; не желая далее слушать, он оборачивается ко мне спиною, уходит в дом и запирает двери.

Я возвращаюсь к морю и вижу, как от тартаны, что стояла на якоре в сотне шагов от острова, отчаливает четырехвесельная лодка и, подплыв к берегу, оказывается с сидящими в ней людьми как раз там, где я стоял. Предо мною обходительный на вид грек, женщина и мальчик лет десяти — двенадцати. Я спрашиваю грека, откуда он и удачно ли было его путешествие; он по-итальянски отвечает, что плывет с женою своею и сыном с Цефалонии и направляется в Венецию; но прежде он хотел слушать мессу в церкви Пресвятой Девы в Казопо, дабы узнать, жив ли его тесть и заплатит ли он приданое жены.

— Как же вы это узнаете?

— Узнаю от попа Дельдимопуло: он сообщит мне в точности оракул Пресвятой Девы.

Повесив голову, плетусь я за ним в церковь. Он говорит с попом и дает ему денег. Поп служит мессе, входит в *sancta sanctorum* \* и, явившись оттуда четвертью часа позже, снова восходит на алтарь, оборачивается к нам, сосредоточивается, оправляет длинную свою бороду и возглашает десять двенадцать слов оракула. Грек с Цефалонии — но на сей раз отнюдь не Одиссей с довольным видом дает обманщику еще денег и уходит. Провожая его к лодке, я спрашиваю, доволен ли он оракулом.

— Очень. Теперь я знаю, что тесть мой жив и что приданое он заплатит, если я оставлю у него сына. Он всегда был страстно к нему привязан, и я оставлю ему мальчика.

— Этот поп — ваш знакомец?

— Он не знает даже, как меня зовут.

— Хороши ли товары на вашем корабле?

— Изрядны. Пожалуйста ко мне на завтрак и увидите все сами.

— Не откажусь.

В восторге от того, что на свете, оказывается, по-прежнему есть оракулы, и в уверенности, что пребудут они дотопе, доколе не переведутся греческие попы, я отправляюсь с этим славным человеком на борт его тартаны; он велит подать отличный завтрак. Из товаров он вез хлопок, ткани, виноград, именуемый коринкою, масла всякого рода и отменные вина. Еще у него были на продажу чулки, хлопковые колпаки, капоты в восточном духе, зонты и солдатские сухари, весьма мною любимые, ибо в те поры у меня было тридцать зубов, и как нельзя более красивых. Из тех тридцати ныне осталось у меня лишь два; двадцать восемь, равно как множество иных орудий, меня покинули; но — «*dum vita superest, bene est*» \*\*. Я купил всего понемногу, кроме хлопка, ибо не знал, что с ним делать, и, не торгуясь, заплатил те тридцать пять — сорок цехинов, что он запрашивал. Тогда он подарил мне шесть бочонков великолепной паюсной икры.

Я стал хвалить одно вино с Занте, которое называл он генероидами, и он отвечал, что когда б мне было угодно составить ему компанию до Венеции, он бы каждый день давал мне бутылку его, даже и во все сорок дней поста. По-прежнему несколько суеверный, я усмотрел в приглашении этом глас Божий и уже готов был вмиг принять его — по самой нелепой причине: потому только, что странное это решение явилось без всякого размышления. Таков я был; но теперь, к несчастью, стал другим. Говорят, старость делает человека мудрым: не понимаю, как можно любить следствие, если причина его отвратительна.

Но в тот самый миг, когда я собрался было поймать его на слове, он предлагает мне за десять цехинов отличное ружье, уверяя, что на Корфу всякий даст за него двенадцать. При слове «Корфу» я решил, что снова слышу глас Божий и он велит мне возвратиться на остров. Я купил ружье, и доблестный мой цефалониец дал мне сверх условленного прелестный турецкий ягдташ, набитый свинцом и порохом. Пожелав ему доброго пути, я взял свое ружье в великолепном чехле, сложил все

покупки свои в мешок и воротился на берег в твердой решимости поместиться у жулика-попа, чего бы это ни стоило. Греково вино придало мне духу, и я должен был добиться своего. В карманах у меня лежали четыре-пять сотен медных венецианских монет; несмотря на тяжесть, мне пришлось запастись ими: нетрудно было предположить, что на острове Казопо медь эта могла мне пригодиться.

Итак, сложив мешок свой под навес сарая, я с ружьем на плече направляюсь к дому попа. Церковь была закрыта. Но теперь мне надобно дать читателям моим верное понятие о тогдашнем моем состоянии. Я пребывал в спокойном отчаянии. В кошельке у меня было три или четыре сотни цехинов, но я понимал, что вишу здесь на волоске, что мне нельзя находиться здесь долго, что вскорости все узнают, где я, а поскольку осудили меня заочно, то и обойдутся со мною по заслугам. Я был бессилён принять решение: одного этого довольно, чтобы любое положение сделалось ужасным. Когда бы я по своей воле возвратился на Корфу, меня бы сочли сумасшедшим; воротившись, я неизбежно предстал бы мальчишкой либо трусом, а дезертировать вовсе мне не хватало духу. Не тысяча цехинов, оставленная мною у казначея в большой кофейне, не пожитки мои, довольно богатые, и не страх оказаться в другом месте в нищете были главною причиною этой нравственной немощи — но г-жа Ф., которую я обожал и которой по сию пору не поцеловал даже руки. Пребывая в подобном унынии, мне ничего не оставалось, как отдаться самым насущным нуждам; а в ту минуту самым насущным было отыскать кров и пищу.

Я громко стучусь в священникову дверь. Он подходит к окну и, не дожидаясь, пока я скажу хоть слово, захлопывает его. Я стучусь в другой раз, бранюсь, бешусь, никто не отвечает, и в гневе я разряжаю ружье в голову барана, что щипал среди других травку в двадцати шагах от меня. Пастух кричит, поп мчится к окну с воплем «держи вора», и в тот же миг гремит набат. Бьют в три колокола сразу, и я, предполагая столпотворение и не ведая, каков будет его конец, перезаряжаю ружье.

Минут через восемь — десять я вижу, как с горы катится толпа крестьян с ружьями, либо с вилами, либо с длинными пиками. Я уйду под навес, но не из страха, ибо не считаю в порядке вещей, чтобы люди эти стали убивать меня, одного, даже не выслушав.

Первыми подбежали десять — двенадцать юношей, держа ружья наперевес. Я швыряю им под ноги пригоршню медных монет, они в удивлении останавливаются, подбирают их, и я продолжаю кидать монеты другим прибывающим взводам; наконец денег у меня не остается, и ко мне больше никто не бежит. Все мужичье застыло в ошеломлении, не понимая, что делать с молодым человеком, мирным на вид и разбрасывающим просто так свое добро. Я не мог говорить прежде, нежели замолкли оглушительные колокола; но пастух, поп и церковный сторож перебили меня — тем более что говорил я по-итальянски. Все трое разом обратились они к черни. Я уселся на свой мешок и сидел спокойно.

Один из крестьян, пожилой и разумный на вид, подходит ко мне и по-итальянски спрашивает, зачем убил я барана.

— Затем, чтобы заплатить за него и съесть.

— Но Его Святейшество волен запросить за него цехин.

— Вот ему цехин.

Поп берет деньги, удаляется, и ссоре конец. Крестьянин, что говорил со мною, рассказывает, что служил в войну 16-го года и защищал Корфу. Похвалив его, я прошу найти мне удобное жилище и хорошего слугу, который мог бы мне готовить еду. Он отвечает, что у меня будет целый дом и что он сам станет стряпать, только надобно подняться в гору. Я соглашаюсь; мы поднимаемся, а за нами два дюжих парня несут один мой мешок, другой барана. Я говорю тому человеку, что желал бы иметь у себя на военной службе две дюжины парней, таких, как эти двое; им я стану платить по двадцать монет в день, а ему, как поручику, по сорок. Он отвечает, что я в нем не ошибся и что я буду доволен своей гвардией.

Мы входим в весьма удобный дом; у меня был первый этаж, три комнаты, кухня и длинная конюшня, которую я немедля превратил в караульню. Оставив меня, крестьянин отправился за всем, что мне было необходимо, и прежде всего искать женщину, которая бы сшила мне рубашек. В тот же день было у меня все: кровать, обстановка, добрый обед, кухонная утварь, двадцать четыре парня, всяк со своим ружьем, и старая-престарая портниха с молоденькими девушками-подмастерьями, дабы кроить и шить рубашки. После ужина пришел я в наилучшее расположение духа: вокруг меня собралось тридцать человек, что обходились со мною как с государем и не могли понять, что понадобилось мне на их острове. Одно лишь мне не нравилось — девицы не понимали по-итальянски, а я слишком дурно знал по-гречески, чтобы питать надежду просветить их своими речами.

Лишь наутро предстала мне моя гвардия под ружьем. Боже! Как я смеялся! Славные мои солдаты все как один были паликари; но рота солдат без мундиров и строя уморительна. Хуже стада баранов. Однако ж они научились отдавать честь ружьем и повиноваться приказам командиров. Я выставил трех часовых: одного у караульни, другого у своей комнаты и третьего у подножья горы, откуда видно было побережье. Он должен был предупредить, если появится на море вооруженный корабль. В первые два-три дня я полагал все это шуткой; но поняв, что, может статься, принужден

буду применить силу, защищаясь от другой силы, шутить перестал. Я подумал, не привести ли солдат к присяге на верность, но все не мог решиться. Поручик мой заверил, что это в моей власти. Щедрость доставила мне любовь всего острова. Кухарка моя, что нашла мне белошвеек шить рубашки, надеялась, что в какую-нибудь я влюблюсь — но не во всех разом; я превзошел ее ожидания, и она позволяла мне насладиться всякой, что мне нравилась; в долгу я не оставался. Жизнь я вел воистину счастливую, ибо и стол у меня был не менее изысканный. Подавали мне упитанных барашков да бекасов, подобных которым пришлось мне отведать лишь двадцатью двумя годами позже, в Петербурге. Пил я только вино со Скополо и лучшие мускаты со всех островов архипелага. Единственным сотрапезником моим был поручик. Никогда не выходил я на прогулку без него и без двух своих паликари, что шли за мною для защиты от нескольких сердитых юношей, воображавших, будто из-за меня их оставили возлюбленные, белошвейки. Я рассудил, что без денег мне пришлось бы худо; но без денег я, быть может, и не отважился бы бежать с Корфу.

Прошла неделя, и вот однажды за ужином, часа за три до полуночи послышался от караульни голос часового — Piosine aftu \*. Поручик мой выходит и, вернувшись через минуту, сообщает, что некий добрый человек, говорящий по-итальянски, хочет поведать мне нечто важное. Я велю ввести его, и в присутствии поручика он, к изумлению моему, произносит с печальным видом такие слова:

— Послезавтра, в воскресенье, святейший поп Дельдимопуло возгласит вам катарамонахию. Если вы не помешаете ему, долгая лихорадка в полтора месяца сведет вас в мир иной.

— Никогда не слыхал о таком снадобье.

— Это не снадобье. Это проклятие, оглашенное со святыми дарами в руках; такова его сила.

— Что за нужда у священника убивать меня подобным образом?

— Вы нарушаете мир и порядок в его приходе. Вы завладели множеством девушек, и бывшие возлюбленные не желают брать их в жены.

Велев поднести ему вина и поблагодарив, я пожелал ему доброй ночи. Дело представилось мне серьезным: я не верил ни в какие катарамонахии, но нимало не сомневался в силе ядов. Назавтра, в субботу, не сказавшись поручику, я на заре отправился один в церковь и, застав попа врасплох, произнес:

— При первом же приступе лихорадки, какой со мною случится, я разможжу вам голоду. Стало быть, выбирайте: либо проклятие ваше подействует в один день, либо пишите завещание. Прощайте.

Предупредивши его таким образом, я возвратился в свой дворец. В понедельник с самого раннего утра он явился отдать визит. У меня болела голова. Он спросил, как мое здоровье, и я сказал ему об этом; немало меня насмешив, он пустился заверять, что виноват во всем тяжелый воздух острова Казопо.

Прошло три дня после посещения его; я как раз собирался сесть за стол, но вдруг часовой на передней линии, которому видно было море, подает сигнал тревоги. Поручик мой выходит и, возвратившись четырьмя минутами позже, объявляет, что сейчас причалила к острову вооруженная фелюка и спустился на берег офицер. Поставив войско свое под ружье, я выхожу и вижу, как поднимается в гору, направляясь к моим квартирам, офицер в сопровождении крестьянина. Поля его шляпы были опущены; он старательно раздвигал тростью кусты, мешавшие пройти. Он был один — следственно, мне нечего было бояться; я вхожу в свою комнату и велю поручику отдать ему воинские почести и ввести в дом. Надев шпагу, я стоя поджидаю его.

Преодо мною все тот же адъютант Минотто, который передавал мне приказ отправляться на бастарду.

— Вы один, — говорю я, — и значит, пришли ко мне как друг. Позвольте обнять вас.

— Мне ничего не остается, как прийти по-дружески; для врага у меня не достало бы сил одержать победу. Но не сон ли все, что я вижу?

— Садитесь и отобедаем вместе. Стол будет хорош.

— С удовольствием. А после обеда вместе уедем отсюда.

— Уедете вы один, коли пожелаете. Я же уеду лишь будучи уверен, что не только не попаду под арест, но и получу удовлетворение. Генерал должен отправить этого полоумного на галеры.

— Будьте благоразумны; лучше вам будет ехать со мною по своей воле. Мне приказано препроводить вас силой, но сил у меня не хватит; довольно будет моего рапорта, и за вами пришлют столько людей, что вам придется сдаться.

— Никогда я не сдамся, дорогой друг; живым меня не взять.

— Но вы с ума сошли — ведь вы не правы. Вы ослушались приказа отправляться на Бастарду, который я вам принес. Только в этом ваша вина, ибо в остальном вы тысячу раз правы. Сам генерал так сказал.

— Стало быть, я должен был идти под арест?

— Без сомнения. Повиноваться — наш первый долг.

— Значит, на моем месте вы бы подчинились?

— Не могу знать; знаю только, что когда б не подчинился, то совершил бы проступок.

— Следственно, если сейчас я сдамся, вина моя будет много больше и обойдутся со мною

хуже, нежели если б я не ослушался несправедливого приказа?

— Не думаю. Едем, и вы все узнаете.

— Вы хотите, чтоб я ехал, не зная наперед своей участи? Не дожидайтесь даром. Лучше будем обедать. Коли уж я такой преступник, что ко мне применяют силу, я сдамся силе; виновней мне уже не быть, хоть и будет пролита кровь.

— Напротив, вина ваша возрастет. Будем обедать. Быть может, добрая еда придаст вам рассудительности.

К концу обеда доносится до нас шум. Поручик говорит, что к дому моему стекаются толпы крестьян, привлеченные слухом, будто фелюка пришла с Корфу единственно затем, чтобы увезти меня, и готовые действовать по моему приказанию. Я велел ему разубедить этих славных храбрецов и, выставив им бочонок кавалльского вина, отослать по домам.

Расходясь, они разрядили в воздух ружья. Адъютант, улыбаясь, сказал, что все это весьма мило; но если ему придется уехать на Корфу без меня, это, напротив, будет выглядеть ужасно, ибо он будет принужден представить весьма подробный рапорт.

— Я поеду с вами, если вы дадите мне слово чести, что я сойду на Корфу как свободный человек.

— У меня приказ доставить вас к г-ну Фоскари на Бастарду.

— На сей раз вы не исполните приказа.

— Для генерала дело чести заставить вас повиноваться, и, поверьте, он найдет способ это сделать. Но скажите на милость, что станете вы делать, если генерал забавы ради решится оставить вас здесь? Однако здесь вас не оставят. Я представлю рапорт, и дело решится без кровопролития.

— Нелегко будет это сделать, не учинив бойни. С пятью сотнями здешних крестьян мне не страшны и три тысячи человек.

— Человека найдут одного, а с вами обойдутся как с главарем бунтовщиков. Все эти преданные вам люди не в силах защитить вас от одного-единственного, который за плату продырявит вам череп. Скажу больше. Из всех этих греков, что окружают вас, не найдется ни одного, кто бы не согласился вас убить и заработать двадцать цехинов. Поверьте мне, и едем со мною. На Корфу вас ожидает в некотором роде триумф. Вам станут рукоплескать, вас будут чествовать; вы расскажете сами, какое безумство совершили, и все посмеются, но в то же время и восхитятся тем, что немедля по приезде моем вы подались на доводы здравого смысла. Все почитают вас. Г-н Д. Р. проникся к вам великим уважением за мужество, с каким вы не стали дырявить насквозь этого безумца, дабы не оказаться непочтительным к хозяину дома. Да и сам генерал должен ценить вас, ибо вряд ли позабыл, что вы ему говорили.

— А какова судьба этого несчастного?

— Тому четыре дня, как фрегат майора Сордина привез депеши, и генерал, судя по всему, получил достаточные разъяснения, чтобы поступить так, как он поступил. Безумец исчез. Никто не знает, что с ним случилось, и никто более не решается говорить о нем у генерала, ибо промах его слишком очевиден.

— Но бывал ли он еще в обществе после того, как я поколотил его тростью?

— Фи! Разве вы забыли, что он был при шпаге? Большого и не требовалось: никто не пожелал впредь его видеть. У него, как оказалось, сломано было предплечье и раздроблена челюсть; но уже через неделю Его Превосходительство изгнал его, невзирая на плачевное состояние. Единственно чему дивились на Корфу, это вашему бегству. Три дня кряду полагали, что г-н Д. Р. укрывает вас у себя, и открыто порицали его, пока наконец он не объявил во всеуслышанье за столом у генерала, что не знает, где вы находитесь. Сам Его Превосходительство был весьма опечален вашим бегством вплоть до вчерашнего полудня, когда все открылось. Протопоп Булгари получил от здешнего попа письмо, в котором тот жалуется, что некий офицер-итальянец вот уже десять дней как завладел островом и чинит на нем насилие. Он обвиняет вас в том, что вы совратили здесь всех девиц и грозились убить его, если он возгласит вам катарамонахию. Письмо это читано было в обществе, и генерал смеялся, однако ж велел мне сегодня утром взять дюжину гренадеров и отправляться за вами.

— Всею виною г-жа Сагрето.

— Верно; и она совсем убита. Нам с вами было бы недурно нанести ей завтра же утром визит.

— Завтра? Вы уверены, что я не окажусь под стражей?

— Да, уверен, ибо знаю, что Его Превосходительство — человек чести.

— Я тоже. Позвольте обнять вас. Мы отправимся отсюда вместе, когда минет полночь.

— Но отчего не раньше?

— Оттого, что иначе мне грозит опасность провести ночь на бастарде. Я хочу прибыть на Корфу при свете дня: тогда торжество ваше будет блистательно.

— Но что мы станем тут делать еще восемь часов?

— Прежде пойдем к девицам — на Корфу таких лакомых нет; а после славно поужинаем.

Я велел поручику своему распорядиться насчет еды для солдат, что находились на фелюке, и

подать нам самый лучший и обильный ужин, ибо в полночь я хочу ехать. Подарив ему все свои богатые припасы, я отослал на фелюку все, что желал оставить себе. Двадцать четыре моих солдата, получивши от меня вперед недельное жалованье, изъявили готовность под командою поручика сопровождать меня на фелюку, отчего Минотто смеялся во всю ночь до упаду. В восемь часов утра мы прибыли на Корфу и причалили прямо к бастарде, на которую и препроводил меня Минотто, заверив, что немедля отправит пожитки мои к г-ну Д. Р. и отправится с рапортом к генералу.

Г-н Фоскари, что командовал галерой, встретил меня как нельзя хуже. Будь в душе его хотя немного благородства, он бы не стал с такою торопливостью сажать меня на цепь; стоило ему подождать всего лишь четверть часа и поговорить со мною, и я бы не подвергся подобному оскорблению. Не сказав мне ни единого слова, он отправил меня к начальнику гавани, каковой велел мне садиться и протянуть ногу, дабы заковать ее: в тех местах, впрочем, кандалы не почитаются бесчестьем, к несчастью, даже для каторжников на галерах, которых уважают более солдат.

Правая моя нога была уже в цепях, а с левой снимали башмак, дабы заковать и ее, но тут явился к г-ну Фоскари адъютант от Его Превосходительства с приказанием вернуть мне шпагу и отпустить на свободу. Я просил позволения изъявить свое почтение благородному губернатору острова; но адъютант его сказал, что в том нет нужды.

Я немедля отправился к генералу и, не говоря ни слова, отвесил ему глубокий поклон. Он с важным видом велел мне быть впредь умнее и затвердить, что первейший долг мой на избранном поприще — повиноваться; а главное — быть благоразумным и скромным. Я понял смысл двух этих слов и сделал надлежащие выводы.

Явившись к г-ну Д. Р., увидел я радость на всех лицах. Приятные минуты всегда приносили мне вознаграждение за все, что случалось мне перенести дурного — настолько, что начинал я любить и самую их причину. Невозможно почувствовать должным образом удовольствие, коли не предваряли его какие-либо тяготы, и величина удовольствия зависит от величины перенесенных тягот. Г-н Д. Р. на радостях даже расцеловал меня. Подарив мне прелестное кольцо, он сказал, что я поступил совершенно правильно, не открывши никому, и в особенности ему самому, своего укрытия.

— Вы не поверите, как беспокоится о вас г-жа Ф., — продолжал он с видом достойным и искренним. — Вы доставите ей чувствительное удовольствие, отправившись к ней теперь же.

С каким наслаждением выслушал я сей совет из собственных его уст! Однако слова «теперь же» огорчили меня: ночь я провел на фелюке и, как мне казалось, видом своим мог ее напугать. Но должно было идти, объяснить ей причину моего вида и даже обратиться к ней в заслугу.

Итак, я отправляюсь к ней; она еще спала, но горничная проводила меня в ее покои и заверила, что госпожа вот-вот позвонит и счастлива будет узнать о моем приходе. В те полчаса, что провел я с этой девицею, она пересказала великое множество разговоров о поступке моем и бегстве, какие велись меж господами. Все сказанное ею доставило мне лишь величайшее удовольствие, ибо, как я убедился, все без изъятия одобряли мое поведение.

Горничная вошла к хозяйке и минутою позже позвала меня. Она раздвинула полог, и взору моему, казалось, предстала Аврора в россыпи роз, лилий и нарциссов. Прежде всего я сказал, что когда бы не приказ г-на Д. Р., я бы никогда не посмел предстать перед нею в подобном виде, и она отвечала, что г-ну Д. Р. известно, какой интерес питает она к моей особе, и что сам он уважает меня не менее, нежели она.

— Не знаю, сударыня, чем заслужил я столь великое счастье; самое большее, о чем я мечтал, — это о простом снисхождении.

— Все мы восхищались тем, что вы нашли в себе силы сдержаться и не проткнуть шпагою того безумца; его бы выкинули в окно, когда б он не спасся бегством.

— Не сомневайтесь, сударыня, когда б не ваше присутствие, я бы убил его.

— Вы, вне сомнения, весьма любезны; однако нельзя поверить, будто в тот досадный миг вы подумали обо мне.

При словах этих я опустил глаза и отвернулся. Присмотревшись к кольцу и узнав, что подарил мне его г-н Д. Р., она похвалила его и захотела услышать, как жил я после своего бегства, во всех подробностях. Я рассказал ей все в точности, обойдя лишь такой предмет, как девицы: ей он бы наверное не понравился, а мне не сделал чести. В житейских отношениях всегда следует знать, где положить предел доверительности. Правда, о какой надобно молчать, много обширнее, нежели та благодивная правда, какую можно рассказать вслух.

Посмеявшись, г-жа Ф. почла поведение мое совершенно удивительным и спросила, отважусь ли я повторить дословно свой прелестный рассказ генералу-проведитору. Я обещал ей сделать это, если сам генерал попросит меня, и она велела мне быть наготове.

— Мне хочется, чтобы он полюбил вас и стал главным вашим покровителем, дабы оградить вас от несправедливостей, — сказала она. — Доверьтесь мне.

Я отправился к майору Мароли осведомиться, как обстоят дела в нашем банке; приятно было узнать, что, едва я исчез, он исключил меня из доли. Я забрал принадлежавшие мне четыреста цехинов, оговорив, что, смотря по обстоятельствам, могу войти в долю снова.



Наконец, под вечер, принарядившись, отправился я за Минотто, дабы вместе идти с визитом к г-же Сагрето. Она пользовалась благосклонностью генерала и, исключая г-жу Ф., была самой красивой из венецианских дам, какие находились на Корфу. Меня не ждала она увидеть, ибо была причиною происшествия, заставившего меня удрасть, и полагала, что я на нее в обиде. Я поговорил с нею откровенно и разубедил ее. Она обошлась со мною как нельзя более учтиво и просила даже заходить к ней иногда по вечерам. Я склонил голову, не приняв, но и не отвергнув приглашения. Как мог я идти к ней, зная, что г-жа Ф. ее не переносит! Помимо прочего, дама эта любила карты, но нравились ей лишь те партнеры, что проигрывали, позволяя выигрывать ей. Минотто в карты не играл, но заслужил расположение ее своей ролью Меркурия.

Воротившись домой, я застал во дворце г-жу Ф. в одиночестве: г-н Д. Р. занят был каким-то письмом. Она пригласила меня рассказать ей обо всем, что приключилось со мною в Константинополе, и я не раскаялся, что уступил. Встреча моя с женою Юсуфа увлекла ее беспредельно, а ночь, проведенная с Исмаилом, когда наблюдали мы за купанием его любовниц, воспламенила ее столь сильно, что в ней, я видел, проснулась страсть. Я, сколько мог, говорил обиняками; но она то находила слова мои слишком туманными и требовала, чтобы я изъяснялся понятнее, то, когда я наконец объяснялся, выговаривала мне, что я выражаюсь чересчур ясно. Я нимало не сомневался, что подобным путем сумею вызвать в душе ее благосклонность. Тот, кто умеет зарожать желания, может быть легко принужден утолять их: такого-то вознаграждения я и жаждал, и не терял надежды, хотя пока различал его еще весьма смутно.

В тот день случилось так, что г-н Д. Р. пригласил к ужину большое общество, и мне, само собою, пришлось потрудиться, повествуя во всех подробностях и обстоятельствах обо всем, что случилось со мною после того, как получил я приказ отправляться под арест на бастарду, — командир которой г-н Фоскари сидел со мною рядом. Рассказ мой всем понравился, и было решено, что генерал-проведитор должен также получить удовольствие и услышать его из моих уст. Я сказал, что на Казопо много сена, какового на Корфу не было совершенно; и г-н Д. Р. посоветовал мне не упускать случая и отличиться, немедля известив об этом генерала: что я наутро и сделал. Его Превосходительство не мешкая велел послать туда с каждой галеры достаточное число каторжников, дабы скосить сено и перевезти на Корфу.

Тремя или четырьмя днями позже адъютант Минотто отыскал меня на закате в кофейном доме и передал, что генерал желает со мною говорить. Я тотчас же явился.

1750. ПАРИЖ

Мне 25 лет.

### ТОМ III

#### ГЛАВА VII

Остановка в Ферраре и забавное приключение, случившееся там со мною. Приезд мой в Париж в 1750 году

В полдень схожу я с пеоты у Моста Темного озера и беру коляску, дабы быстрее добраться до Феррары и там пообедать. Останавливаюсь у трактира Св. Марка и вслед за лакеем поднимаюсь вверх в отведенную мне комнату. Привлеченный веселым шумом, который доносился из открытых дверей одной залы, любопыствую я взглянуть, что там такое. Предо мною стол, а за ним десять двенадцать человек — ничего особенного; я пошел было своей дорогой, как вдруг слова: «Вот и он!» останавливают меня, красивая женщина поднимается и бежит ко мне с распахнутыми объятиями, целует и говорит:

— Живо прибор для дорогого моего кузена, и пусть чемодан его отнесут вон в ту комнату, рядом с этой.

Ко мне направляется молодой человек, и она произносит:

— Не обещала ли я вам, что он приедет сегодня или завтра?

Она усаживает меня рядом с собою, и все остальные, что встали приветствовать меня, рассаживаются по своим местам.

— Вы наверное изрядно проголодались, — говорит она, наступая мне на ногу. — Позвольте представить вам моего нареченного, а это свекор мой и свекровь. Дамы эти и господа — друзья дома. Отчего случилось, что матушка не приехала с вами?

Наконец пришел и мне черед что-то сказать.

— Матушка ваша, дорогая кузина, будет здесь через три или четыре дня.

Приглядевшись внимательней к обманщице, узнаю я Каттинеллу, знаменитую танцовщицу, с которой прежде не перемолвился и словом. Я понимаю, что в сочиненной ею пьесе она велит мне играть роль персонажа, удобного и необходимого, чтобы достигнуть развязки. Желая узнать, наделен ли я и в самом деле талантом, каковой она во мне предположила, и в уверенности, что получу от нее

в награду любые милости, я с радостью повинуюсь. Искусство мое заключалось в том, чтобы, играя роль, ничем себя не выдать. Сославшись на голод, я, пока ел, дал ей время посвятить меня в свои замыслы. Она показала изрядный ум, объясняя завязку сюжета в разговорах то с одним, то с другим из присутствующих. Я уяснил, что свадьба ее не могла состояться прежде, нежели приедет ее мать и привезет платья и бриллианты, и что сам я — маэстро и направляюсь в Турин сочинять оперу по случаю бракосочетания герцога Савойского. Нимало не сомневаясь, что ей не удастся помешать мне завтра уехать, я понял, что, играя сего персонажа, не подвергаюсь никакой опасности. Когда бы не ночное вознаграждение, что я предвкушал, я объявил бы ее при всех сумасшедшей. Каттинелле на вид можно было дать около тридцати лет; она была мила собою и славилась своими каверзами.

Дама, что сидела напротив меня и которую Кат-тинелла назвала свекровью, налила мне стакан вина и, когда я протянул руку взять его, заметила, что кисть у меня как будто покалечена.

— Что это с вами? — спросила она.

— Небольшое растяжение, скоро пройдет. Каттинелла, расхохотавшись, сказала, что это весьма досадно, ибо теперь никто и не узнает, как я играю на клавесине.

— Странно, что вам это показалось смешно.

— Я смеюсь оттого, что вспомнила, как два года назад нарочно подвернула ногу, чтобы не танцевать.

После кофе свекровь сказала, что синьорине Каттинелле, верно, надобно обсудить со мною семейные дела и не стоит нам мешать; и вот наконец остался я наедине с этой интриганкой в комнате, что она мне предназначила, по соседству со своею собственной.

Она упала на канапе, не в силах более удерживать смех. Потом сказала, что не сомневалась во мне, хотя знала меня только в лицо и по имени, и наконец предупредила, что лучше всего мне будет уехать отсюда завтра же.

— Вот уже два месяца, — продолжала она, — как я нахожусь здесь без единого сольдо; все, что у меня есть, — это несколько платьев да немного белья, и мне пришлось бы все продать, когда б я не сумела влюбить в себя хозяйского сына и пообещать ему выйти за него замуж с приданным в бриллиантах на двадцать тысяч экю, каковые якобы должна мне привезти матушка из Венеции. У матушки моей ничего нет, о проделке этой она ничего не знает и никуда из Венеции не поедет.

— Прошу тебя, скажи, какова же будет развязка этого фарса; мне видится она трагической.

— Ты ошибаешься. Она будет комической, и весьма. Я ожидаю сюда любовника своего, графа Голштейна, брата майнцского курфюрста. Он отписал мне из Франкфурта, выехал оттуда и нынче должен быть в Венеции. Он заедет за мною и отвезет на ярмарку в Реджо. Коли суженый мой вздумает дурно себя вести, он, без сомнения, поколотит его, но оплатит расходы на мое содержание; но я не желаю ни чтобы граф ему платил, ни чтобы колотил его. Уезжая, я шепну ему на ушко, что непременно вернусь и немедленно по возвращении выйду за него замуж, и все обойдется.

— Чудесно; ты умна ангельски, только я не собираюсь ждать, пока ты вернешься: наша свадьба состоится теперь же.

— Ты сошел с ума! Дождись хотя бы ночи.

— И не подумаю — мне уже чудится стук копыт, будто граф твой вот-вот приедет. Если ж не приедет, то и ночь будет наша, мы ничего не потеряем.

— Так ты любишь меня?

— Безумно; как же иначе? Пьеса твоя достойна восхищения, и я должен его изъяснить. Не будем же медлить.

— Подожди. Закрой дверь. Ты прав; это всего лишь вставной эпизод, но он очень мил.

Под вечер все домашние поднялись к нам, и решено было отправиться на прогулку. Все уже было готово, как вдруг слышался шум кареты, что мчалась на шестерке почтовых. Каттинелла выглядывает в окно и просит всех удалиться, ибо это к ней, она уверена, приехал какой-то принц. Все уходят, а меня она вталкивает в мою комнату и запирает на ключ. Я вижу, как у трактира и вправду останавливается берлин, а из него выходит знатный господин вчетверо толще, чем я, его поддерживают двое слуг. Поднявшись по лестнице, входит он к супруге, и мне остается лишь развлекаться с удобствами, слушая их беседы да глядя в щелку, чем занимались Каттинелла и сия громадная махина. Однако ж удовольствие это длилось пять часов и в конце концов мне надоело. Все это время укладывались вещи Каттинеллы, потом их грузили в берлин, потом был ужин и опорожнялись бутылки рейнвейну. В полночь граф Голштейн был таков и увез мужнюю жену с собою. В комнату ко мне во весь этот срок никто не входил, а звать у меня не было желаний. Я боялся, что буду обнаружен, и не знал, как отнестя бы немецкий принц к тайному свидетелю, наблюдавшему все нежности, какими обменивались оба поименованных персонажа. Ни тому, ни другому чести они не делали, и мне не раз являлись в голову мысли о ничтожестве рода человеческого.

После отъезда главной героини увидел я в щелку хозяйского сына и постучал, чтобы он открыл мне дверь; но он жалобно сказал, что придется ломать замок, ибо синьорина увезла ключ с собою. Я просил его сделать это немедленно — мне хотелось есть. Наконец все было готово, и за столом он составил мне компанию. Он говорил, что синьорина, улучив минутку, завершила его, что вернется

через полтора месяца, и плакала, обещая вернуться, и поцеловала его.

— Принц, должно быть, оплатил ее расходы?

— Отнюдь нет. Когда б он и предложил денег, мы бы никогда их не приняли. Нареченная моя была бы оскорблена: вы не можете и представить, сколь благородны ее помыслы.

— А что говорит об отъезде ее ваш отец?

— Отец обо всех думает дурно; он говорит, что она больше не вернется, и матушка склоняется скорее к его мнению, нежели к моему. А что вы об этом скажете, синьор маэстро?

— Думаю, коли она вам обещала, то, наверное, вернется.

— Когда б она не намерена была возвращаться, то не стала бы и обещать.

— Именно так. Воистину рассуждения ваши безупречны.

Отужинал я остатками того, что приготовил графский повар, и выпил бутылку рейнвейну, припрятанную Каттинеллой, дабы его отблагодарить. После ужина я взял почтовых и уехал, пообещав жениху, что уговорю кухню вернуться возможно скорее. Я хотел заплатить — но он не пожелал брать с меня денег. В Болонью я прибыл четвертью часа позже, нежели Каттинелла, и остановился в одном с нею трактире. Улучив минуту, я поведал ей о том, какую имел беседу с ее олухом-возлюбленным.

В Реджо я приехал прежде нее, но никак не мог с нею поговорить: она не отходила от своего графа. Я пробыл там всю ярмарку, и во все время не случилось со мною ничего, о чем стоило бы написать. Уехал я из Реджо вместе с Баллетти и отправился в Турин. Мне хотелось увидеть этот город: проезжая его с Генриеттой, я останавливался лишь затем, чтобы переменить лошадей.

В Турине нашел я все равно прекрасным — город, двор, театр; и все женщины в нем прекрасны, начиная с герцогинь Савойских. Мне сказали, что порядок здесь отменный, и я посмеялся: улицы полны были нищих. Тем не менее именно порядок был главною заботой самого короля, каковой, как известно всем из истории, был весьма умен. Однако ж я, как последний разиня, дивился облику сего монарха. Не видав никогда прежде королей, я неизвестно отчего полагал, что физиономия королевская должна заключать в себе нечто редкостное, по красоте ли либо по величию, и отличаться от всякого иного лица. Для молодого республиканца рассуждал я не так уж и глупо; но понятия мои развеялись вмиг, едва увидал я короля Сардинии — уродливого, горбатого, гадкого и подлого во всем, даже и в манерах своих. Я слушал, как поет Аструа, и Гафарелло, видел, как танцует Жофруа — в то самое время вышла она замуж за одного танцовщика по имени Боден, весьма достойного человека. Ни разу сердечная склонность не нарушила в Турине моего душевного покоя: разве только случилось у меня приключение с дочерью прачки, о котором пишу потому, что благодаря ему расширились познания мои в физике.

Сделав все возможное, дабы свидеться с этой девицею у себя, у нее либо во всяком ином месте, и не преуспев, решился я овладеть ею через некоторое насилие — под потаенною лестницею, которою она обыкновенно спускалась из моей комнаты. Я спрятался внизу и, когда подошла она поближе, бросился на нее и отчасти ласкою, отчасти натиском подавил ее сопротивление на нижних ступенях лестницы; но едва я разок тряхнул ее, как из места, что по соседству с тем, где расположился я, донесся весьма необыкновенный звук; пыл мой на миг охладел, тем более что покорница, устыдившись собственной нескромности, закрыла лицо рукою.

Я утешаю ее поцелуем и хочу продолжать, но тут раздался другой звук, громче прежнего; я дальше — но тут и третий, и четвертый, да так ритмично, что похоже было на оркестровый бас, отбивающий такт по ходу музыкальной пьесы. Сей звуковой феномен вкупе с замешательством и смущением, в каковом пребывала моя жертва, вдруг завладел целиком моей душой, и все вместе представилось в сознании в столь комическом виде, что от смеха лишился я всякой силы и должен был оставить добычу. Воспользовавшись сим обстоятельством, она спаслась бегством и с того дня не осмеливалась более являться мне на глаза. Долее четверти часа просидел я на лестнице, пока наконец смог успокоиться; всякий раз, вспоминая это забавное происшествие, я не в силах удержаться от смеха. Впоследствии я рассудил, что, быть может, и самое благоразумие девицы происходило от сего неудобства. Оно же, в свой черед, могло проистекать из особенного устройства органа: в таком случае девице подобало бы благодарить Провидение за дар, каковой из чувства неблагодарности представлялся ей, должно быть, недостатком. Полагаю, три четверти галантных дам, будь они подвержены подобным происшествиям, лишились бы своей любезности — разве что были бы уверены в подобных же свойствах любовников, ибо тогда необычайная симфония стала бы лишней утехой в приятном процессе. Даже и можно было бы без труда придумать приспособление вроде заслонки, дабы придавало сим запахм благовоние: когда один орган получает удовольствие, другой нимало не должен страдать, а запах в Венериних играх — отнюдь не последнее дело.

В Турине карты искупили зло, какое причинили мне в Реджо, и я легко поддался на уговоры Баллетти отправиться вместе с ним в Париж, где тогда ждали рождения герцога Бургундского и готовили пышные празднества. Все знали, что Госпожа супруга дофина была на сносях. Так что мы уехали из Турина и на пятый день прибыли в Лион, где провели неделю.

Лион — город замечательно красивый; всего три или четыре дворянских дома принимают здесь

иностранцев, зато собирается весьма приличное общество в доброй сотне домов у купцов, фабрикантов и комиссионеров, каковые гораздо богаче фабрикантов. Обращение здесь куда менее учтивое, нежели в Париже, но к этому привыкаешь и наслаждаешься жизнью размеренной. Хороший вкус и дешевизна составляют богатство Лиона. Божество, коему обязан город своим достатком, это мода. Всякий год она меняется, и ткань, что стоит ради нового рисунка тридцать монет, через год стоит уже двадцать, и ее отсылают за границу, где продают как совсем новую. Лионцы не скупятся платить рисовальщикам с хорошим вкусом: в этом весь секрет. Дешевизна происходит от соперничества, душа которого — свобода. Следственно, правительство, что желает видеть в государстве своем расцвет торговли, должно только лишь предоставить ей полную свободу и следить единственно за тем, чтобы частный интерес не избрал какого обмана в ущерб интересу общему. Государю надобно держать в руках весы, и пусть подданные наполняют их чаши, чем хотят.

В Лионе я повстречал самую знаменитую из венецианских куртизанок. Звали ее Анчиллоу. Красива она была необычайно: все говорили, что не видали подобной красоты. Всякий, глядя на нее, обязательно желал насладиться этой красотой, а она не умела никому отказать — ибо если мужчины любили ее поодиночке, то она любила весь мужской пол целиком. Те, кто не мог заплатить за ее милости причитающейся по закону небольшой суммы, получали их задаром, едва успев изъяснить свои желания.

Во все времена венецианские куртизанки славились более красотой, нежели умом; из современниц моих первыми были эта самая Анчилла и еще одна, по имени Спина — обе дочери гондольеров, обе умерли молодыми, задумав предаться ремеслу, каковое, как им представлялось, должно было придать им благородства. В двадцать два года Анчилла сделалась танцовщицей; Спина решила стать певицей. Танцовщицей Анчиллу сделал один танцовщик по имени Кампиони, венецианец, каковой танцевал серьезные балеты и, выучив Анчиллу, всем изящным движениям, что только были доступны красивому ее стану, женился на ней. Спина научилась музыке у одного кастрата, которого звали Пепино делла Мамана; жениться на ней он не мог. Однако пела она более чем посредственно и продолжала жить на то, что извлекала из своих прелестей. Анчилла танцевала в Венеции и удалилась со сцены за два года до смерти, о которой я расскажу в своем месте.

В Лионе я застал ее вместе с мужем. Они возвращались из Англии, где снискали успех в Хеймаркетском театре. Остановилась она с мужем в Лионе единственно ради собственного удовольствия; вся красивая и богатая молодежь города была у ног ее, являлась к ней по вечерам и исполняла всякую ее прихоть, лишь бы понравиться ей. Днем — увеселительные прогулки, после — званный ужин, и во всю ночь напролет фараон. Банк держал некий дон Джузеппе Маркати, тот самый, которого звал я восемью годами ранее в испанской армии; называли его дон Пепе il cadetto, младший, а несколько лет спустя обнаружилось, что звали его Аффлизио; кончил он весьма скверно. Банк его в несколько дней выиграл триста тысяч франков. При дворе подобная сумма прошла бы незамеченной, но в торговом городе она привела в уныние всех отцов семейства, и итальянское общество надумало уезжать.

Один почтенный человек, с которым познакомился я у г-на де Рошбарона, доставил мне милость и ввел в число тех, кто видит свет. Я сделался вольным каменщиком, учеником. Два месяца спустя, в Париже, поднялся я на вторую ступень, а еще через несколько месяцев — на третью, иными словами, стал мастером. Эта ступень высшая. Все прочие титулы, какие даровались мне с течением времени, — всего лишь приятные выдумки и, хоть и имеют символический смысл, ничего к званию мастера не добавляют.

Нет в мире человека, который сумел бы все познать; но всякий человек должен стремиться к тому, чтобы познать все. Всякий молодой путешественник, если желает он узнать высший свет, не хочет оказаться хуже других и исключенным из общества себе равных, должен в нынешние времена быть посвящен в то, что называют масонством, и хотя бы поверхностно понять, что это такое. Однако ж он должен быть внимателен, выбирая ложу, в какую желает вступить: дурные люди не могут действовать в ложе, но могут оказаться в числе ее членов, и кандидату надобно остерегаться опасных связей. Те, кто решается вступить в масонскую ложу для того лишь, чтобы узнать ее тайну, могут обмануться: может статься, они полвека проживут мастерами-каменщиками, так и не постигнув тайны сего братства.

Тайна масонства нерушима по самой природе своей, ибо каменщик, владеющий ею, не узнал ее от другого, но разгадал сам. Если она открылась ему, то для того, что ходил он в ложу, наблюдал, рассуждал и делал выводы. Сумев постигнуть ее, он остерегается разделить открытие свое с кем бы то ни было, даже и с лучшим своим другом-каменщиком: ведь если тому недостало таланту проникнуть в нее, то тем более не получит он никакой пользы, услышав ее изустно. А потому тайна сия вечно пребудет тайной.

Втайне должно держаться и все то, что происходит в ложе; однако те, кто по бесчестию своему и нескромности не постеснялись разгласить происходящее в ней, все ж не разгласили главного. Да и как могли они разгласить то, что им самим неведомо? Знай они тайну, не разгласили бы и обрядов.

Во многих непосвященных братство каменщиков производит ныне те же чувства, что в древние

времена великие таинства, какие праздновались в Элевсине во славу Цереры. Они занимали воображение всей Греции, и первейшие люди на этой земле мечтали быть в них посвящены. То посвящение было несравнимо важней, нежели нынешнее во франкмасоны, среди которых встретишь и негодяев, и отбросы рода человеческого. Долгое время Элевсинские мистерии внушали всем благоговение, и происходящее на них было окутано глубочайшей тайной. Дерзнули, к примеру, разгласить три слова, что произносил иерофант в конце мистерий, отпуская посвященных; и что же последовало? Ничего, кроме бесчестья для разгласившего, ибо три эти слова принадлежали к варварскому наречию, неизвестному профанам. Где-то читал я, что эти слова означали: Бдите и не творите зла. Посвящение продолжалось девять дней, обряды были весьма пышные, а общество — весьма почтенное. У Плутарха читаем, что Алкивиад приговорен был к смерти, а имущество его обращено в казну за то, что дерзнул он вместе с Политионом и Теодором насмеяться в доме своем над великими таинствами, нарушив закон эвмолпидов. Вследствие сего святотатства всякий жрец и жрица должны были по приговору проклясть его; но исполнено это не было, ибо одна жрица, воспротивившись, привела тот довод, что жрица она для благословения, а не для проклятия: превосходный урок для святейшего отца нашего, римского Папы, но он ему не внемлет. Сегодня уже ничто не свято. Ботарелли печатает в своей книжонке все обычаи вольных каменщиков — все довольствуются тем, что зовут его мошенником. Будто не было это известно заранее. В Неаполе некий князь и г-н Амильтон устраивают у себя чудо Св. Януария, а король покрывает их и даже не вспомнит, что носит на своей королевской груди орденскую ленту, на которой вокруг изображения Св. Януария написаны слова: *In sanguine foedus* \*. Мы одолеем это и станем двигаться вперед, но коли остановимся на полпути, все пойдет еще хуже.

Мы взяли два места в дилижансе, дабы в пять дней быть уже в Париже. Баллетти предупредил домашних, когда выезжает, и оттого знали они час нашего прибытия.

В экипаже том, каковой именуют дилижансом, ехало нас восемь человек; все сидели — и всем было неудобно, ибо он был овальный; никто не устроился в углу — углов не было вовсе. Мне показалось это неразумным, но я молчал: я был итальянец и должен был находить все французское восхитительным. Овальный экипаж! Я почитал моду — и проклинал ее: карета качалась столь особенным образом, что меня затошнило. У ней были чересчур хорошие рессоры. Простая тряска меньше беспокоила бы меня. В быстром своем беге по прекрасной дороге карета раскачивалась, словно на волнах; оттого еще называли ее гондолою; но настоящая венецианская гондола с двумя гребцами движется ровно, от нее не тошнит и с души не воротит. Голова у меня закружилась. От быстрой этой езды, хотя почти вовсе и не тряской, в глазах у меня помутилось, и я принужден был извергнуть все содержимое своего желудка. Общество мое все сочли неприятным, но промолчали, сказав только, что я слишком плотно поужинал, да некий парижский аббат решился защитить меня и объявил, что я слаб желудком. Завязался спор. Выйдя из терпения, я оборвал их разговор:

— Оба вы ошибаетесь: желудок у меня отличный, и нынче не ужинал я вовсе.

Мужчина в годах, рядом с которым сидел мальчик лет двенадцати-тринадцати, сказал мне сладким голосом, что не следовало указывать этим господам, что они ошибаются: я мог бы сказать, что они неправы — подобно Цицерону, каковой не сказал римлянам, что Катилина и прочие осужденные умерли, но что они отжили свое.

— Да не все ли равно?

— Прошу прощения, сударь: одно учтиво, а другое неучтиво.

Тут он произнес блистательную речь о том, что есть учтивость, и под конец сказал смеясь:

— Бьюсь об заклад, сударь, вы итальянец.

— Да; но почему вы узнали, осмелюсь спросить?

— О! О! по тому, каким вниманием вы удостоили мою долгую болтовню.

Тут все общество расхохоталось, а я пустился опекать этого чудака; он был гувернер сидевшего рядом юноши. Во все пять дней он наставлял меня во французской учтивости, и когда пришло время расстаться, отозвал меня в сторону со словами, что хочет сделать мне маленький подарок.

— Какой?

— Вам надобно позабыть и выбросить вовсе из головы частицу нет, каковую употребляете вы немилосердно когда надо и когда не надо. Нет — не французское слово. Скажите «прошу прощения»: смысл таков же, но никто не будет оскорблен. Сказав нет, вы уличаете собеседника во лжи. Забудьте его, сударь, либо готовьтесь к тому, что в Париже вам придется поминутно обнажать шпагу.

— Благодарю вас, сударь, и обещаю до конца дней своих не говорить более нет.

В Париже поначалу казался я сам себе величайшим преступником, ибо только и делал, что просил прощения. Однажды я решил даже, что попросил его некстати и меня вызывают на ссору. То было в комедии: один петиметр по неосторожности наступил мне на ногу.

— Простите, сударь, — быстро произнес я.

— Это вы меня простите.

— И вы меня.

— И вы меня.

— Увы, сударь: простим же друг друга оба и позвольте вас обнять.

Так окончился наш спор.

Однажды наш гондола-дилижанс мчался полным ходом, и я довольно крепко спал в вертикальном положении, как вдруг сосед мой трясет меня за плечо и будит.

— Что вам угодно?

— Ах, сударь, умоляю, взгляните, какой замок!

— Вижу. Замок как замок, ничего особенного. Что вы в нем нашли необыкновенного?

— Ровно ничего; но ведь мы в сорока лье от Парижа! Поверят ли мне ротозеи-соотечественники, когда я скажу, что видел такой красивый замок в сорока лье от столицы? Каким невеждой бываешь, если не попутешествуешь хоть немного!

— Ваша правда.

Человек этот сам был парижанин и в душе такой же ротозей, как какой-нибудь галл во времена Цезаря.

Но если уж парижане с утра до вечера ротозейничают, всем развлекаются и всему дивятся, то иностранцу вроде меня вдвойне пристало быть ротозеем. Разница между ними и мною заключалась в том, что я, привыкши видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, с удивлением увидал их здесь словно бы в маске, меняющей самую их природу; они же частенько поражены, когда им вдруг намекают, что под маской кроется нечто иное.

Весьма понравилась мне прекрасная проезжая дорога, бессмертное творение Людовика XV, опрятные трактиры, отменная еда, быстрота, с какою подавали на стол, великолепные постели и скромность прислуги: за столом обыкновенно прислуживала самая красивая в доме девушка, но опрятный облик ее и повадки обуздывали развратные помыслы. Найдется ли кто у нас в Италии, чтобы глядел с удовольствием на лакеев в наших трактирах, на наглые их мины и нахальные ухватки? В те времена во Франции не знали, что такое спросить лишнего; Франция была родиной для чужестранцев. Родина ли она нынче для самих французов? Прежде имели мы нередко неприятность, видя, как является ненавистный деспотизм в тайных повелениях об аресте. То был деспотизм короля. Теперь же предстанет нам деспотизм народа, невоздержного, кровожадного, необузданного; он сбегается в толпы, вешает, рубит головы, убивает всякого, кто, не будучи сам народом, осмелится обнаружить свое мнение.

Ночевали мы в Фонтенбло, и за час до того, как нам прибыть в Париж, увидали ехавший оттуда берлин.

— Вот и матушка, — сказал Баллетти, — стойте, стойте!

Мы спускаемся, и после обычных между матерью и сыном изъявлений радости он представляет меня; мать же — то была знаменитая актриса Сильвия — говорит мне просто:

— Надеюсь, сударь, друг моего сына не откажется прийти к нам нынче вечером на ужин.

С этими словами садится она с сыном и девятилетней дочерью в свою карету, а я возвращаюсь в гондолу.

Приехав в Париж, был я встречен слугою Сильвии и фиакром; слуга распорядился всем и отвез меня на квартиру, где показалось мне весьма чисто. Разместивши там чемодан и все мои вещи, он проводил меня к своей госпоже, что жила в полусотне шагов оттуда. Баллетти представил меня отцу: звали его Марио, и он тогда выздоравливал после болезни. Марио и Сильвия были имена, какие носили они на театре, когда играли комедии на заданный сюжет. Французы всегда называют итальянских актеров и в жизни тем же именем, под каким узнали их на сцене. «Здравствуйте, господин Арлекин, добрый день, господин Панталоне», так встречали в Пале-Рояле тех, кто играл на театре этих персонажей.

## ГЛАВА VIII

Я начинаю постигать Париж. Лица. Странности. Всякая всячина

По случаю приезда сына Сильвия позвала к ужину всех своих родных. Я был счастлив, что прибыл в Париж вовремя и успел познакомиться с ними. Марио, отца Баллетти, за столом не было, он еще не оправился после болезни, но я познакомился с сестрой его, что была еще старше и которую звали Фламинией, театральным ее именем. Несколько переводов принесли ей известность в Республике Изящной Словесности; но я желал узнать ее поближе ради истории, известной во всей Италии, о том, как повстречались в Париже три знаменитости, а именно маркиз Маффеи, аббат Конти и Пьер-Якопо Мартелли. Говорят, они стали врагами для того, что каждый добивался у сей актрисы особенного к себе расположения; как люди ученые, сражались они на перьях. Мартелли написал на Маффеи сатиру, назвав его анаграмматически Фемиа.

Фламинии доложили обо мне как о кандидате в члены Республики Изящной Словесности, и женщина эта почла своим долгом удостоить меня беседой. Мне показалась она неприятна и лицом, и манерою говорить и держаться, и даже самым голосом своим; не сказавши того прямо, дала она мне

однако ж понять, что она знаменитость в Республике Словесности, а я — насекомое; она словно читала урок, полагая, что в свои семьдесят лет имеет право поучать двадцатипятилетнего мальчишку, не обогатившего доселе ничьей библиотеки. Дабы угодить ей, я заговорил об аббате Конти и прочел к слову два стиха мудрого этого человека. С ласковым видом она поправила меня в слове *scevra*, что значит «разлученная»; я произнес его с *u* согласным, то есть с *v*, она же объявила, что здесь надобно произносить гласный, говоря, чтоб я не сердился, узнавши о том впервые сразу по приезде в Париж.

— Я очень хочу учиться, сударыня, но не перенимать ошибки. Надобно говорить *scevra*, но не *sceuga*, ибо это то же, что *scevega*, только с пропущенной гласной.

— Посмотрим, кто из нас двоих ошибается.

— Ариосто гласит, что ошибаетесь вы, сударыня: он рифмует *scevra* и *persevra*.

Она пустилась было спорить, но восьмидесятилетний муж ее сказал, что она неправа. Она умолкла и с той поры рассказывала всем, какой я обманщик. Мужем этой женщины был Лодовико Риккони, которого все звали Лелио, — тот самый, что в шестнадцатом году привез в Париж, на службу к герцогу-регенту, итальянскую труппу. Я воздал ему по заслугам. В свое время это был весьма красивый мужчина, и публика по праву почитала его — как по причине дарования, так и за чистоту нравов. Во весь ужин я самым пристальным образом изучал Сильвию: слава ее тогда была непревзойденной. Мне представилась она лучше, нежели все, что говорили о ней. Пятидесяти лет, с изящной фигурой, благородной осанкой и манерами, она держалась непринужденно, приветливо, весело, говорила умно, была обходительна со всеми и полна остроумия, но без малейшего признака жеманства. Лицо ее было загадкой: оно влекло, оно нравилось всем, и все же при внимательном рассмотрении его нельзя было назвать красивым; но никто и никогда не дерзнул объявить его также и некрасивым. Нельзя было сказать, хороша она или безобразна, ибо первым бросался в глаза и привлекал к ней ее нрав. Какова же была она? Красавица; но законы и пропорции ее красоты, неведомые для всех, открывались лишь тем, кто, влекомый магической силой любви, имел отвагу изучить ее самое и силу постигнуть эти законы.

Актрисе этой поклонялась вся Франция, дар ее служил опорой всех комедий, что писали для нее величайшие сочинители, и первый Мариво. Без нее комедии эти остались бы неизвестны потомкам. Ни разу не случилось еще найти актрисы, способной ее заменить, и никогда не найдется такой, чтобы соединила в себе все те составные части сложнейшего театрального искусства, какими наделена была Сильвия, — умение двигаться, голос, выражение лица, ум, манеру держаться и знание человеческого сердца. Все в ней было естественно, как сама природа; искусства, сопутствовавшего всякому ее шагу и придававшего ему совершенство, казалось, и нет вовсе.

Неповторимая во всем, сверх упомянутых мною свойств обладала она еще одним, не имея которого, точно так же достигла бы как актриса вершин славы, чистотою нравов. Она стремилась иметь друзей — но отнюдь не любовников, и смеялась над правом, пользуясь которым получала бы наслаждение, но стала бы презирать самое себя. Оттого заслужила она звание порядочной женщины в такие лета, когда в ее положении могло оно представиться смешным и даже оскорбительным. Оттого многие дамы из высшего света удостаивали ее более дружбою, нежели покровительством. Оттого переменчивый парижский партер ни разу не дерзнул освистать ее в не приглянувшейся ему роли. Все единодушно считали Сильвию женщиной, что стоит выше своего положения в обществе.

Она не верила, что благоразумное поведение может быть поставлено ей в заслугу, ибо знала, что происходит оно от одного лишь самолюбия; а потому в отношении ее к подругам-актрисам, каковые довольствовались блистанием таланта и не стремились прославиться еще и добродетелью, никогда не проскальзывало ни тени гордыни либо превосходства. Сильвия любила их всех, и они ее любили; она при всех хвалила их и воздавала по заслугам. И была права: ей нечего было опасаться, ни одна из актрис ни в чем не могла сравниться с нею.

Природа отняла у несравненной этой женщины десять лет жизни. Через десять лет после нашего знакомства, когда ей минуло шестьдесят, она стала чахнуть. Парижский климат, случается, играет подобные шутки с итальянками. Я видел ее за два года до смерти: она играла Марианну в пьесе Мариво и казалась не старше самой Марианны. Умерла она у меня на глазах, обнимая дочь, и за пять минут до кончины еще давала ей последние наставления. Похоронили ее со всеми почестями на кладбище у церкви Спасителя; юре, нимало тому не воспротивившись, сказал, что ремесло актрисы никогда не мешало ей быть доброй христианкой.

Простите, читатель, что произнес надгробную речь Сильвии за десять лет до ее смерти. В своем месте я вас от нее избавлю.

Единственная дочь Сильвии, главный предмет ее любви, сидела в тот раз за столом рядом с нею. Ей было всего девять лет. Всецело поглощенный достоинствами матери, я ни на миг не задержал на дочери внимания; это случится лишь со временем. Как нельзя более довольный первым парижским вечером, воротился я на свою квартиру у г-жи Кенсон — так звали мою хозяйку.

Наутро, когда я проснулся, девица Кенсон пришла сказать, что за дверью ожидает человек, желающий наняться ко мне в услужение. Предо мною стоит коротышка, и я сразу говорю, что таких не

люблю.

— Пусть я мал ростом, мой государь, зато вы будете уверены, что я не отправлюсь по свету искать счастья в вашем костюме.

— Как ваше имя?

— Как вам будет угодно.

— Как так? Я спрашиваю, как вас зовут.

— Меня никак не зовут. Всякий новый хозяин дает мне имя, и во всю жизнь у меня уже было их более полусотни. Меня будут звать так, как вы назовете.

— Но у вас же должно быть в конце концов свое имя — то, что вам дали в семье.

— В семье? У меня никогда не было семьи. В юности у меня было какое-то имя, но за те двадцать лет, что я в услужении и непрестанно меняю хозяев, я забыл его.

— Я стану звать вас Умником.

— Премного благодарен.

— Вот вам луидор, подите и разменяйте его.

— Вот деньги.

— Вы, я вижу, богаты.

— К вашим услугам, господин.

— Кто мне поручится за вас?

— В бюро по найму слуг, да и г-жа Кенсон тоже. Меня весь Париж знает.

— Этого довольно. Я кладу вам по тридцать су в день, одежда ваша, спать будете у себя, а по утрам, в семь часов, будете в моем распоряжении.

Зашел ко мне Баллетти и приглашал каждый день к обеду и к ужину. Я велел проводить меня в Пале-Рояль и оставил Умника у ворот. С любопытством стал я осматривать сие столь хваленое гульбище. Сад был довольно красив, с аллеями густых деревьев, бассейнами и большими домами вокруг них, со множеством гуляющих мужчин и женщин, раскиданными там и сям скамьями, где продавались новые книжки, душистые воды, зубочистки, безделки; предо мною плетеные стулья, что можно нанять за одно су, любители газет, укрывающиеся в тени, завтракающие девицы и мужчины — кто поодиночке, кто целым обществом; прислужники из кофейного дома сновали вверх и вниз по лесенке, прячущейся за грабами. Я сажусь за пустой столик, прислужник спрашивает, что мне угодно, я велю принести шоколаду без молока — и он приносит отвратительный шоколад в серебряной чашке. Оставив его нетронутым, я спрашиваю у прислужника кофе, если он хорош.

— Кофе отменный; сам вчера варил его.

— Вчера? Такого мне не нужно.

— Но молоко в нем как нельзя лучше.

— Молоко? Молока я вовсе не пью. Сделайте мне теперь же чашку кофе на воде.

— На воде мы готовим только после обеда. Не угодно ли баварского питья? Не угодно ли графин оржату?

— Да, оржату.

Напиток сей нашел я отменным и решил завтракать им всегда. Спрашиваю у прислужника, не случилось ли чего нового, и он отвечает, что супруга дофина разрешилась от бремени принцем; некий аббат возражает, что тот, верно, спятил — она разрешилась принцессою; тут подходит третий со словами:

— Я нынче же из Версаля, и супруга дофина не разрешилась пока ни принцем, ни принцессою.

Он сказал, что, как ему кажется, я иностранец; я отвечаю, что я итальянец и прибыл накануне. Тогда он заводит со мною разговор про двор, про город, про спектакли и беретя повсюду меня представить; я благодарю и удаляюсь в сопровождении аббата, каковой называет мне имена всех гуляющих девиц. Ему встречается какой-то приказный, они обнимаются, и аббат представляет его мне как знатока итальянской литературы; я говорю с ним по-итальянски, он остроумно отвечает, я смеюсь стилю его и объясняю причину: он говорил точь-в-точь в стиле Боккаччо. Замечание мое приходится ему по вкусу, но я убеждаю его, что хотя язык у этого древнего автора совершенен, говорить так не следует. Менее, нежели в четверть часа, открываем мы друг в друге общие склонности и завязывается меж нами дружба. Он поэт, и я поэт, его влечет итальянская литература, меня — французская: мы сказываем друг другу адреса наши и обещаем обменяться визитами.

В углу сада вижу я плотную толпу мужчин и женщин, глядящих вверх, и спрашиваю нового своего друга, что там такого удивительного. Он отвечает, что все эти люди со своими часами в руках внимательно следят за солнечными часами в ожидании, когда тень от стрелки укажет полдень: они хотят сверить свои часы.

— Что ж, разве нет нигде больше солнечных часов?

— Они есть повсюду, но знамениты лишь часы Пале-Рояля.

Тут я не мог удержаться от смеха.

— Отчего вы смеетесь?

— Оттого что все солнечные часы показывают повсюду одно и то же; вот вам чистой воды



ротозейство.

Немного подумав, он засмеялся и сам, а после велел мне смелее критиковать добрых парижан. Мы выходим из Пале-Рояля через главные ворота, и я вижу справа множество народу, толпящегося перед лавкой, на вывеске которой нарисована была циветта.

— Что здесь такое?

— Вы и теперь станете смеяться. Все эти люди ждут, чтобы купить табак.

— Разве табак продают в одной этой лавке?

— Продают его повсюду; но вот уже три недели, как все желают наполнить табакерки единственно табаком от Циветты.

— Разве он лучше других?

— Вовсе нет; быть может, и хуже; но госпожа герцогиня Шартрская ввела его в моду, и теперь все только его и хотят.

— Как же удалось ей ввести его в моду?

— Два или три раза останавливалась она перед этой лавкой в своей карете и покупала табак лишь столько, сколько входило в табакерку, но говорила прилюдно молодой табачнице, что у ней лучший товар в Париже; ротозеи, что стояли вокруг, поведали о том другим, и весь Париж узнал — если хочешь купить хорошего табаку, отправляйся к Циветте. Женщина эта непременно разбогатеет: она продает табак больше, чем на сто экю в день.

— Герцогиня Шартрская, верно, и не знает, что принесла этой женщине удачу.

— Напротив; это выдумка самой герцогини, известной своим остроумием. Она полюбила эту женщину, каковая недавно вышла замуж, и, размышляя, какую могла бы оказать ей услугу, рассудила, что надобно поступить именно так. Вы не поверите, какие славные люди парижане. Страна, куда вы приехали, единственная в мире, где ум волен преуспеть любым способом: коли заявит он о себе некоей истиной, его станут приветствовать люди умные, а коли ошибется и впадет в обман, его вознаградят глупцы. Глупость — отличительное свойство нашей нации и, что самое удивительное, родная дочь ума; не сочтите за парадокс, но выходит, что французская нация была бы благоразумней, когда б у нее было ума поменее.

Здесь почитают двух богов, хоть и не возводят им алтарей, — новизну и моду. Стоит человеку побегать — все, увидав его, побегут следом и не остановятся, если только не обнаружат, что он сумасшедший; но обнаружить это труд непосильный: сколько у нас безумцев от рождения, которых и теперь еще считают мудрецами! Табак от Циветты дает лишь самое малое понятие о городской суете и столпотворениях. Король наш, отправившись на охоту, оказался на мосту в Нейи и вздумал выпить сладкой водки. Остановившись у кабака, спросил он ратафии, у бедняги кабатчика по счастливой случайности сыскалась бутылка ее, и королю случилось, выпив стакан, сказать окружающим, что напиток превосходный, и спросить другой стакан. Этого оказалось довольно, чтобы кабатчик разбогател. Не прошло и суток, как весь двор и весь город знали: ратафия из Нейи — лучшее в Европе питье, ведь так сказал король! Самое блестящее общество отправлялось к полуночи в Нейи выпить ратафии; меньше чем в три года кабатчик стал богат и велел построить на этом месте дом, на котором увидите вы весьма забавную надпись — ее подарил этому человеку кто-то из наших господ Академиков: *ex liquidis solidum* \*. Какого святого должен благословлять кабатчик за то, что скоро и блистательно преуспел? Глупость, переменчивость да желание посмеяться.

— Полагаю, — сказал я, — что подобное восхищение всяким суждением короля и принцев крови происходит от нерушимой любви, что питает к ним преданный народ. Любовь столь велика, что их считают непогрешимыми.

— Вы правы. Иностранцы, глядя на происходящее во Франции, все уверены, что нация обожает своего короля; но те у нас, кто не утратил способность мыслить, понимают, что любовь нации к монарху — одна лишь мишура. Что может зиждиться на любви, ни на чем не основанной? Двор на сей счет отнюдь не заблуждается. Король въезжает в Париж, и все кричат «Да здравствует король!» — потому только, что один бездельник поднял этот крик. Это крик веселья, а может, и страха; поверьте, сам король никогда не принимает его за чистую монету. Ему не терпится воротиться в Версаль, где под охраною двадцати пяти тысяч человек он может не бояться ярости этого самого народа, каковому, если он поумнеет, может прийти охота закричать Да умрет король! Людовик XIV хорошо это знал. Потому-то и казнил несколько советников парламента, дерзнувших заговорить о том, чтобы в случае национальных бедствий собирать Генеральные штаты. Королей во Франции никогда не любили, разве что Людовика Святого, за благочестие, Людовика XII да Генриха IV, когда он уже умер. Теперешний наш король сказал однажды просто душно, выздоравливая после болезни: Все это великое ликование оттого, что я снова здоров, мне странно, ибо я не могу понять, за что меня так любят. Сие монаршьё суждение превозносили до небес. Он рассуждал. Любой придворный-философ должен был отвечать ему, что его так любят за одно лишь то, что носит он прозвание Возлюбленного.

— Есть ли меж придворных философы?

— Философов нет, ибо невозможно придворному быть философом, но есть люди умные,

каковые ради собственного блага не раскрывают рта. Недавно король хвастал одному придворному, имени которого я вам не скажу, как он наслаждался, проведя ночь с госпожою М\*\*\*, и говорил, что, как ему кажется, нет в мире другой женщины, способной доставлять подобные удовольствия. Придворный отвечал, что Его Величество изменил бы свое суждение, когда бы хоть раз побывал в борделе. Придворного немедля удалили в его владения.

— На мой взгляд, короли французские правы, что не терпят мысли о созвании Генеральных штатов, ибо тогда они оказываются в положении папы, созывающего собор.

— Не вполне; но это и неважно. Генеральные штаты были бы опасны, когда бы народ, то есть третье сословие, мог перевесить голоса дворянства и духовенства; но такого нет и никогда не будет — вряд ли возможно, чтобы политика вложила меч в руки буйно помешанных. Народ хотел бы пользоваться тем же влиянием, что и оба других сословия, но ни один король, ни один министр никогда не доставят ему такого права. Когда бы какой-нибудь министр это сделал, он был бы глупец либо предатель.

Молодого человека, который речами своими сразу же дал мне верное понятие о французской нации, о парижанах, королевском дворе и самом государе, звали Патю. Мне еще представится случай рассказать о нем. За разговорами проводил он меня до дверей Сильвии и поздравил с тем, что я вхож в этот дом.

Любезную эту актрису я застал в приятном обществе. Она представила меня всем и с каждым познакомилась. Услыхав имя Кребийона, я был поражен.

— Неужто, сударь, так скоро явилось мне счастье! — сказал я. — Тому восемь лет, как вы пленили меня. Послушайте, сделайте милость.

И я читаю ему самую прекрасную сцену из «Зенобии и Радамиста», которую переложил белым стихом. Сильвия была в восторге: восьмидесятилетний Кребийон с чувствительным удовольствием слушал самого себя в переводе на язык, каковой любил более родного. Он прочел ту же сцену по-французски и учтиво указал те места, где я, как он выразился, его приукрасил. Я благодарил, не обманувшись похвалою. Мы сели за стол; меня спросили, что повидал я в Париже хорошего, и я рассказал обо всем, что видел и узнал, умолчав лишь о речах Патю. Говорил я по меньшей мере два часа, и Кребийон, лучше других понявший, какой избрал я путь, дабы узнать и добрые, и дурные черты французской нации, обратился ко мне с такими словами:

— Для первого дня вы, государь мой, полагаю, обещаете пойти далеко. Вы скоро станете делать успехи. Я нахожу в вас хорошего рассказчика. По-французски вы изъясняетесь вполне понятно; однако все, что вы говорили, звучало словно бы итальянскими фразами. Вас нельзя не слушать, вы пробуждаете к себе интерес, и самой этой необычностью речи вдвойне привлекаете слушателей; скажу даже, что нечистый ваш язык не может не доставить вам одобрения слушателей самой странностью своей и новизною: в стране, куда вы прибыли, бегают за всем, что странно и ново. И все же не позднее завтрашнего дня вам надобно со всем трудолюбием приступить к изучению нашего языка, дабы хорошо на нем говорить — в противном случае те же люди, что теперь хвалят вас, через два-три месяца станут над вами смеяться.

— Верю, и сам того боюсь; главною целью моего приезда как раз и было отдалиться всеми силами французскому языку и литературе; но, сударь, где мне найти учителя? Я ученик невыносимый — любопытный, докучливый, ненасытный, вечно задаю вопросы. И я не столь богат, чтобы платить подобному учителю, даже если и случится мне найти его.

— Тому уже полвека, государь мой, как я ищу такого именно ученика, каким вы себя нарисовали, и я сам стану платить вам, если пожелаете вы приходить ко мне и брать уроки. Дом мой в Маре, на улице Двенадцати ворот; у меня есть лучшие итальянские поэты, вы станете переводить их на французский, и я никогда не поставлю предела вашему любопытству.

Я принял приглашение его в великом замешательстве, не умея изъяснить всю свою благодарность. Кребийон был шести футов ростом, выше меня на три дюйма; он изящно ел, рассказывал, сам не смеясь, забавные истории и славился своими остротами. Жил он домоседом, выезжал редко и почти никого не принимал; во рту у него всегда была трубка, а кругом — восемнадцать или двадцать кошек, что развлекали его большую часть дня. Держал он старуху экономку, кухарку и одного слугу. Экономка заботилась обо всем, распоряжалась деньгами, и он, ни в чем не зная недостатка, никогда не спрашивал у нее отчета. И вот что примечательно. В Кребийоновом лице было что-то львиное — либо кошачье, что одно и то же. Служил он королевским цензором и говорил, что это его забавляет. Экономка читала ему вслух принесенные сочинения, и в тех местах, какие, по ее понятиям, требовали цензуры, прерывала чтение; случалось, он был иного мнения, и тогда они с экономкой спорили, а я смеялся. Однажды я слышал, как кто-то явился забрать исправленную свою рукопись, а женщина эта отослала сочинителя со словами:

— Приходите на будущей неделе, у нас еще не было времени рассмотреть ваше произведение.

Я ходил к Кребийону целый год по три раза в неделю, у него научился всему, что знаю по-французски, но так и не сумел избавиться от итальянских оборотов; я узнаю их, встречая у других; но когда выходят они из-под собственного моего пера, я их не различаю и, без сомнения, никогда не

научусь различать — как никогда не мог я увидеть, в чем заключается пресловутая испорченность латыни у Тита Ливия.

Написав вольным стихом восьмистишие на какой-то сюжет, отнес я его Кребийону, дабы он исправил мои стихи. Прочтя со вниманием мои восемь строк, вот что он мне сказал:

— Мысль ваша прекрасна и весьма поэтична; язык совершенен; стихи хороши и как нельзя более правильны; и все же восьмистишие ваше дурно.

— Для чего же?

— Сам не знаю. В нем недостает чего-то такого, je ne sai s quoi. Представьте, что перед вами мужчина; вам кажется он красивым, статным, учтивым, остроумным — в общем, изучив его пристрасно и строго, вы находите его совершенством. И тут является Женщина, глядит на этого мужчину и, разглядев хорошенько, уходит, говоря, что мужчина ей не нравится. «Но сударыня, скажите, какой вы нашли в нем изъян». — «Сама не знаю». Обернувшись к мужчине, всматриваетесь вы в него пристальней и в конце концов открываете, что он кастрат. Ах! говорите вы, теперь я понимаю, отчего той женщине он пришелся не по вкусу.

Сравнением этим Кребийон дал мне понять, отчего не понравилось ему мое восьмистишие.

За столом мы много говорили о Людовике XIV; Кребийон состоял при дворе его пятнадцать лет кряду и рассказывал нам весьма занятные и никому не ведомые истории. Он уверял, что Сиамские послы были проходимцы, которых подкупила госпожа де Ментенон. Еще он сказал, что бросил незаконченную трагедию под названием «Кромвель», ибо сам король однажды не велел ему тратить перо на какого-то прохвоста.

Заговорив о своем «Катилине», он сказал, что считает его самой слабой из своих пьес, но не хотел бы и улучшить ее, если б для того пришлось ему вывести на сцену Цезаря — ибо юный Цезарь был бы смешон, как смешна была бы Медея, представленная прежде, нежели узнала она Язона. Весьма хвалил он дарование Вольтера, но обвинял его в воровстве, ибо тот украл у него сцену в Сенате. Воздавая Вольтеру по заслугам, он сказал, что тот прирожденный историк, однако ж искажает историю и заполняет ее сказками, дабы прибавить ей увлекательности. Кребийон полагал, что человек в железной маске — чистая выдумка; подтверждение тому, по его словам, получил он из уст самого Людовика XIV.

В театре у итальянцев в тот день давали «Сению», пьесу г-жи де Графиньи. Я отправился туда загодя, дабы получить хорошее место в амфитеатре.

Привлеченный зрелищем увешанных бриллиантами дам, что появлялись в ложах бельэтажа, я внимательно их разглядывал. Фрак на мне был красивый, но с широкими рукавами и сверху донизу в пуговицах, и для того всякий признавал во мне иностранца: в Париже эта мода уже прошла. И вот я рассматриваю дам, и приступает ко мне богатый одетый мужчина втрое толще меня, вежливо спрашивая, не иностранец ли я. Я подтверждаю, и он сразу же спрашивает, как мне понравился Париж. Я отвечаю, хвалю город и тут вижу, как в ложу слева от меня входит женщина непомерной толщины, вся в драгоценностях.

— А кто вон та жирная свинья? — спрашиваю я у толстяка-соседа.

— Жена вот этого жирного свина.

— Ах, сударь! Миллион извинений.

Но человек этот вовсе не нуждался в моих извинениях: он не только не рассердился, но хохотал до упаду. Я был в отчаянии. Кончив смеяться, он встает, выходит из амфитеатра, и минутою позже я вижу, как он в ложе разговаривает с женою и оба смеются. Я уже решил было уйти вовсе из театра, как тут, слышу, он меня зовет:

— Сударь, сударь!

Не отвечать было бы неучтиво, и я подхожу к ложе. На сей раз он с серьезным и весьма достойным видом просит прощения за свой смех и приглашает оказать ему величайшую милость и пожаловать сей же вечер к нему на ужин. Поблагодарив, я отвечаю, что уже зван. Он продолжает настаивать, дама к нему присоединяется, и я, дабы убедить их, что это не отговорка, говорю, что зван к Сильвии.

— Уверен, — говорит он, — что мне удастся отменить ваше приглашение, если вы не возражаете; я сам ее попрошу.

Я уступаю; он идет и после возвращается с Баллетти, который передает, что матушка его счастлива столь прекрасными моими знакомствами и ждет меня завтра к обеду. Украдкой Баллетти шепнул, что это г-н де Бошан, главный сборщик налогов.

Когда комедия кончилась, я подал г-же де Бошан руку и сел в их карету. Дом их был полной чашей — как у всех людей подобного сорта в Париже: большое общество, игра на деньги по-крупному, шумное веселье за столом. Из-за стола поднялись в час пополудни, и меня отвезли домой. Дом этот был мне открыт во все время, что провел я в Париже, и оказался весьма полезен. Правы те, кто говорит, будто иностранцы в Париже скучают по меньшей мере в первые две недели: чтобы войти в общество, надобно время. Однако ж сам я уже в первый день был приглашен и уверен, что скучать не придется.

Назавтра с утра явился ко мне Патю и подарил написанное им в прозе похвальное слово маршалу Саксонскому. Мы вышли вместе и отправились завтракать в Тюильри. Там он представил меня госпоже дю Бокаж, каковая, заговорив о маршале Саксонском, остроумно пошутила:

— Не удивительно ли, что мы никак не могли прочесть *de profundis* \* человеку, благодаря которому столько раз пели *Te Deum* \*\*?

Затем Патю отвел меня к знаменитой оперной актрисе, которую звали Лефель, любимице всего Парижа и женщине — члену Королевской академии музыки. У нее было трое маленьких очаровательных детишек, что порхали по всему дому.

— Обожаю их, — сказала она.

— Все трое красивы, — отвечал я, — и каждый непохож на другого.

— Еще бы. Старший — сын герцога д'Анеси, тот — графа Эгмона, а младший сын Мезонружа, того, что женился недавно на девице Роменвиль.

— Ах, ах! Простите великодушно. Я полагал, вы мать всех троих.

— А я и есть их мать.

С этими словами глядит она на Патю и вместе с ним заливается хохотом, а я краснею до ушей. Я был новичок. Мне непривычно было слышать, чтобы женщина открыто попирала мужские права. Девица Лефель отнюдь не была бесстыдна просто честна и выше предрассудков. Знатные господа, отцы этих маленьких бастардов, оставили их матери и платили за воспитание, так что та не знала ни в чем нужды. Неопытность моя по части французских нравов приводила к жестоким недоразумениям. После того допроса, что устроил я девице Лефель, она бы засмеялась в лицо любому, кто бы решился назвать меня неглупым человеком.

В другой раз повстречал я у Лани, учителя балета из Оперы, четырех или пятерых девушек; каждую сопровождала мать. Лани давал им уроки танцев. Всем было тринадцать-четырнадцать лет, и все на вид скромны, невинны и воспитанны. Я говорил им приятные вещи, они отвечали, потупив глаза. У одной болела голова, я даю ей понюхать мелиссовой воды, а подруга ее спрашивает, хорошо ли она выспалась.

— Это не от того, — отвечает дитя, — я, кажется, беременна.

Не ожидав услышать подобного ответа, я говорю, как последний осел:

— Никогда бы не подумал, сударыня, что вы замужем. Она глядит на меня, потом оборачивается к другой, и обе принимаются смеяться от всей души. Я удалился пристыженный и решился впредь не рассчитывать, что в театральных девицах найдется хотя бы капля стыда. Они все похваляются бесстыдством и почитают дураком всякого, кто станет обходиться с ними иначе.

Патю познакомил меня со всеми сколько-нибудь известными девицами; он любил прекрасный пол не менее моего, но, к несчастью своему, не был наделен столь же бурным темпераментом, и заплатил за эту любовь жизнью. Проживи он дольше, стать бы ему вторым Вольтером. Умер он тридцати лет от роду в Сен-Жан-де-Морьен, возвращаясь во Францию из Рима. От него узнал я секрет, какой употребляют здесь многие молодые сочинители, когда надобно им написать что-либо возможно прекраснейшей прозой, как, например, похвальное слово, надгробную речь, посвящение, и желают они достигнуть совершенства в прозе. Открыл мне секрет этот сам Патю, которого я застиг врасплох.

Однажды утром увидал я у него на столе листки, исписанные белыми александрийскими стихами; прочитав с дюжину их, я сказал, что хотя они и хороши, но доставляют более муку, нежели удовольствие, и добавил, что гораздо более стихов понравилось мне то же место в похвальном слове маршалу Саксонскому, написанном прозой.

— Проза моя тебе не понравилась бы так, когда б я прежде не записал все, что желал сказать, белым стихом.

— Но значит, ты понапрасну совершил тяжкий труд.

— Никакого труда нерифмованные стихи не стоят. Их пишешь так же, как прозу.

— И ты полагаешь, будто проза твоя становится красивей, если списать ее с собственных стихов?

— Полагаю, ибо так оно и есть; она становится красивей, и к тому же я спокоен, что в ней не будет в изобилии полустиший — в прозе порок этот возникает сам собою, незаметно для пишущего.

— Разве это порок?

— Величайший — и непростительный. Проза, нашпигованная случайными стихами, хуже даже прозаической поэзии.

— И правда, невольные стихи в какой-нибудь речи звучат, должно быть, дурно, да и сами по себе, надо полагать, нехороши.

— Без сомнения. Вот, к примеру, Тацитова история начинается словами: *Urbem Romam a principio reges habuere* \*. Это сквернейший гекзаметр, каковой он, конечно же, написал случайно, а после не распознал — иначе построил бы фразу по-другому. Разве у вас, итальянцев, случайные стихи не портят прозы?

— Портят, и весьма. Однако, скажу тебе, многие обделенные дарованием нарочно вставляют в

прозу стихи, дабы придать ей звучности; они тешатся надеждой, что вся эта мишура сойдет за золото и читатели ничего не заметят. Но ты, верно, единственный, кто по доброй воле вершит подобный труд.

— Единственный? Ты ошибаешься. Так делают все, кому стихи, как мне, ничего не стоят и кто должен сам перебеливать написанное. Спроси у Кребийона, у аббата де Вуазенона, у Лагарпа, у кого пожелаешь, всякий скажет тебе то же, что я. Первым к искусству этому прибегнул Вольтер в своих мелких вещах; проза в них несравненна. Из их числа, к примеру, послание к госпоже дю Шатле; оно великолепно; почитай, и коли найдешь хоть одно полустышие, скажи, что я не прав.

Я спросил у Кребийона, и он отвечал то же самое; однако уверял, что сам никогда этого не делал.

Патю не терпелось отвести меня в Оперу и поглядеть, какое действие произведет на душу мою сие зрелище; и в самом деле, итальянцу должно было показаться оно изумительным. Давали оперу под названием «Венецианские Празднества». Название занимательное. Мы платим сорок су и идем в партер: там надобно стоять, и собирается хорошее общество. Спектакль был из тех, какими наслаждается вся нация без изъятия. *Solus Gallus cantat* \*.

Оркестр блистательно исполняет увертюру, весьма красивую в своем роде, занавес поднимается; предо мною декорация, на которой представлена малая площадь Св. Марка, какой видится она с островка Св. Георгия. И я с изумлением замечаю, что дворец дождей от меня слева, а прокурации и большая колокольня справа. Подобная ошибка, потешная и для моего века постыдная, насмешила меня; расскажи я о ней Патю, он бы тоже посмеялся. Музыка, хотя и красивая, в античном духе, поначалу развлекает меня немного своей новизною, но после нагоняет скуку, а мелопея выводит из терпения однообразностью и воплями невпопад. Французы утверждают, что сия мелопея есть у них замена мелопее греческой и нашему речитативу, каковой они презирают, — но презирали бы менее, когда бы понимали наш язык.

Что же до ошибки в перспективе, то ее отношу я на счет грубого невежества художника, дурно срисовавшего какой-нибудь эстамп. Когда б увидал он на нем мужчин со шпагою справа, то не догадался бы, что если ему она видится справа, то на самом деле должна быть слева.

Действие происходило в один из дней карнавала, когда венецианцы в масках идут на большую площадь Св. Марка на гулянье; представлены были ухажеры, сводни и девицы, что завязывали и развязывали разные интриги; костюмы все были неправильные, но забавные. Но особенно развеселило меня, когда вышел вдруг из кулис сам дож с двенадцатью советниками, все в немислимых каких-то тогах, и они пустились танцевать большую пасакалью. Внезапно слышу я, как весь партер бьет в ладоши, и вижу высокого красивого танцовщика в маске и черном парике с длинными локонами, спускавшимися ему почти до пояса; одет он был в открытое спереди платье длиною до пят. Патю в священном трепете говорит мне проникновенно, что предо мною великий Дюпре. Я о нем слышал и теперь принимаюсь внимательно смотреть. Сия стройная фигура приближается в такт музыке и, подойдя к краю сцены, медленно поднимает округленные руки, помогает ими с изяществом, выпрямляет совсем, потом сжимает, переступает ногами, делает шажки, несильно бьет ногою об ногу и после пируэта, пятясь, исчезает в кулисе. Все это па у Дюпре продолжалось всего с полминуты. Партер и ложи единодушно рукоплескали; я спрашиваю Патю, что означает сей плеск, и он отвечает серьезно, что все аплодировали совершенствам Дюпре и божественной гармонии его движений. Ему, сказал он, шестьдесят лет, и он все тот же, что и сорок лет назад.

— Как? Он всегда танцевал только так, никогда иначе?

— Он не мог никогда танцевать лучше, ибо тот выход, что ты видел, совершенен, а выше совершенства ничего быть не может. Танцует он всегда одно и то же, но нам всегда является новым — такова проникающая в душу сила прекрасного, доброго, правдивого. Вот истинный танец, такой, как песня; у вас в Италии о нем и понятия не имеют.

В конце второго акта вдруг снова выходит Дюпре, само собою, в маске, закрывающей лицо, и танцует уже под другую мелодию, но, на мой взгляд, то же самое. Он приближается к краю сцены, на миг фигура его — весьма красиво очерченная, нельзя не признать — замирает, и нежданно доносится до меня шепот сотни голосов в партере:

— О Боже! Боже! он поднимает ногу, он поднимает ногу!

И в самом деле: казалось, тело его растягивается и, подымая ногу, становится выше. Я согласился, что во всем этом есть изящество, и Патю был доволен. Вдруг после Дюпре является на сцене танцовщица и начинает словно безумная носиться по ней из конца в конец, делая быстрые антраша вправо и влево, но не отрываясь от пола; все хлопают что было силы.

— Это знаменитая Камарго, друг мой — как вовремя ты приехал в Париж! Ей тоже шестьдесят лет. Она первая из танцовщиц решилась прыгать, прежде танцовщицы не прыгали; поразительно в ней то, что она не носит панталон.

— Прости, но я их видел.

— Что ты видел? Это ее кожа: она, говоря по правде, белизною не отличается.

— Камарго мне не нравится, — говорю я с покаянным видом, — я предпочитаю Дюпре.

Один древний старик, рьяный ее поклонник, что стоял от меня слева, сказал, что в молодости делала она баскский прыжок и даже полупируэты, но он никогда не видел ее ляжек, хотя и танцевала она без панталон.

— Но, не видав ее ляжек, как можете вы поручиться, что на ней не было панталон?

— О! такие вещи узнать нетрудно. Вы, сударь, я вижу, иностранец.

— О да, будьте покойны.

Понравилось мне во французской опере то, как по свистку послушно переменялась декорация; и еще как поводкой смычком по струнам давали знак оркестру начинать. Но сочинитель музыки с жезлом в руках сразил меня: он с такою силой размахивал им вправо и влево, словно все инструменты были на пружинах и иначе не смогли бы играть. Еще доставило мне удовольствие молчание зрителей. В Италии всех приводит в справедливое негодование тот несносный шум, что поднимается обыкновенно во время пения; но что смешно, когда исполняют балетные сцены, все хранят тишину. Нет на земле места, где бы наблюдатель, если он иностранец, не обнаружил какого чудачества; если ж он местный житель, то попросту ничего не заметит.

Много приятного доставила мне Французская комедия. Величайшим удовольствием было ходить туда в те дни, когда давали старинных авторов и зрителей не набиралось и двух сотен. Я видел «Мизантропа», «Скупого», «Игрока», «Тщеславного» и воображал себе, что нахожусь на первом спектакле. Я приехал, когда еще живы были Саразен, Гранваль, и жена его, и девицы Данжевиль, Дюмениль, Госсен, Клерон, госпожа Превиль и множество других актрис, каковые, покинув сцену, жили на свой пенсион; среди них была и девица Левассёр. Я с удовольствием беседовал с ними — они рассказывали мне упоительные истории, а сверх того были весьма услужливы. Давали однажды трагедию, где роль жрицы без слов исполняла одна прелестная актриса.

— Как она хороша! — говорю я одной из этих матрон.

— Да, она милашка. Это дочь того актера, что играет наперсника. Весьма любезна в обществе и подает большие надежды.

— Я бы с удовольствием познакомился с нею.

— О Боже! Что же здесь трудного? Отец и мать ее — сама порядочность; уверена, они будут счастливы, если вы попроситесь к ужину, и не станут вас стеснять — уйдут спать и оставят вас болтать за столом с малышкой, сколько вам будет угодно. Вы, сударь, во Франции, а здесь знают цену жизни и стараются наслаждаться ею. Мы любим удовольствия, и когда можем помогать в них, почитаем себя счастливыми.

— Строй ваших мыслей божествен, сударыня; но с каким, по-вашему, видом должен я проситься к ужину к честным людям, с которыми незнаком?

— О Боже! Что вы такое говорите? Мы знакомы со всеми. Разве не видите вы, как я обращаюсь с вами? Разве по мне скажешь, что я с вами незнакома? После комедии я вас представлю.

— Я просил бы вас, сударыня, доставить мне эту честь в другой день.

— Когда вам будет угодно, сударь.

## ГЛАВА IX

Мои нелепые ошибки во французском языке, успехи и многочисленные знакомства. Людовик XV. Мой брат приезжает в Париж

Все итальянские актеры Парижа желали явиться мне во всем великолепии. Меня звали к обеду и ужину и повсюду принимали с почестями. Любимец всего Парижа Карлин Бертинацци, игравший Арлекина, напомнил мне, что мы встречались тринадцатью годами прежде в Падуе: он тогда вместе с матерью моей возвращался из Петербурга. Он задал в мою честь прекрасный обед у госпожи де Лакайери, у которой жил. Дама эта была в него влюблена. Четверо ее детей порхали по дому; я похвалил ее мужу прелестных малышей, и тот отвечал, что все они дети Карлина.

— Быть может, но пока именно вы заботитесь о них, и вас должны они почитать за отца, имя которого станут носить.

— Да, так было бы справедливо; но Карлин слишком порядочный человек, чтобы не взять их на попечение, когда бы мне вдруг явилась мысль от них избавиться. Он прекрасно знает, что дети его, и жена моя первая станет жаловаться, если он не согласится.

Так рассуждал и так изъяснялся, совсем безмятежно, сей честный человек. Он любил Карлина не менее жены, с тою лишь разницей, что последствия его нежности были не те, от которых рождаются дети. Среди определенного свойства людей дела такие случаются в Париже нередко. Двое сеньоров из самых знатных во Франции не моргнув глазом обменялись женами, и родившиеся дети носили имя не настоящего отца, но мужа матери: произошло это отнюдь не в стародавние времена (Буфлер и Люксембург), и потомки тех детей нынче имеют те же имена. Те, кто знает, как было дело, смеются — и правы. Смеяться — законное право тех, кто знает, как все было на самом деле.

Самым богатым из итальянских актеров был Панталоне, отец двух дочерей, Коралины и

Камиллы, каковой, помимо прочего, умел ссужать под залог деньги и тем жил. Ему было угодно пригласить меня на семейный обед. Сестры совсем очаровали меня. Коралина была на содержании у князя Монакского, сына герцога де Валентинуа, который тогда был еще жив, а Камилла была возлюбленною графа де Мель-фора, фаворита герцогини Шартрской, которая в те поры, после смерти свекра, стала герцогиней Орлеанской.

Коралина была не столь пылка, как Камилла, но зато красивее; я стал приходить к ней в неурочные часы, как человек ничтожный: однако и неурочные часы принадлежат содержателю, так что несколько раз случилось мне там оказаться, когда князь приезжал ее проведать. В первые встречи я откланивался и удалялся, но после мне предлагали остаться, ибо князя не знают, чем заняться наедине со своими любовницами. Мы ужинали втроем, и все их занятие состояло в том, чтобы глядеть на меня, слушать и смеяться, мое же — в том, чтобы есть и говорить.

Я почел своим долгом по временам свидетельствовать князю почтение; жил он в отели Матиньон на улице Варенн.

— Рад видеть вас, — сказал он мне однажды утром. — Я обещал герцогине де Рюфек привезти вас, и мы отправимся тотчас же.

Еще одна герцогиня: что может быть лучше? Мы садимся в дьябль, модную карету, и в одиннадцать часов утра являемся к герцогине. Предо мною женщина шестидесяти лет, нарумяненная, краснощекая, тощая, безобразная и увялая; она сидит в непристойной позе на софе и при моем появлении восклицает:

— Ах! Какой красивый мальчик! Князь, ты прелесть. Сядь ко мне сюда, мой мальчик.

Удивленный, я повинуюсь — и тут же отшатываюсь из-за невыносимой мускусной вони. Предо мною мерзкая грудь, которую мегера всю выставила напоказ, соски, покрытые мушками, но оттого не менее явственные. Где я? Князь удаляется, говоря, что пришлет за мной свой дьябль через полчаса и станет ждать меня у Коралины.

Едва князь вышел, как эта гарпия нападает на меня врасплох и дарует слюнявыми губами поцелуй, каковой я, быть может, и проглотил бы; но она в тот же миг тянет костлявую свою руку туда, куда стремится гнусная ее душа в дьявольском раже, и говорит:

— Посмотрим, хорош ли у тебя...

— Ах! Боже мой! Госпожа герцогиня!

— Ты бежишь меня? Что такое? Ты же не ребенок.

— Да, сударыня. Но...

— Что?

— У меня, я не могу, не смею...

— Да что там у тебя?

— У меня шанкр.

— Ах, грязная свинья!

Она в гневе встает, я тоже и скорей бегу к дверям и вон из дома в страхе, как бы швейцар не остановил меня. Взяв фиакр, отправляюсь я к Коралине и в этих самых словах рассказываю скверное свое приключение; она хохотала от души, однако ж согласилась, что князь сыграл со мною кровожадную шутку, и похвалила находчивость, с какой выпутался я из этой гнусной истории — но не дала мне способа ее убедить, что я обманул герцогиню. И все же я не терял надежды. Я знал: она полагает, что я недостаточно влюблен.

Тремя или четырьмя днями позже наговорил я ей за ужином столько всего и столь прозрачно испросил отставки, что она обещала назавтра вознаградить мою нежность.

— Князь Монакский возвратится из Версаля только послезавтра, — сказала она. — Завтра мы с вами отправимся в заказную рощу, поохотимся на кроликов с хорьком, отобедаем наедине и вернемся в Париж довольные.

— В добрый час.

Назавтра в десять часов садимся мы в кабриолет, и вот уже застава Вожирар; только проезжаем ее, как тут встречается нам визави чужестранного вида: стой, стой!

То был кавалер Виртембергский, каковой, не удостоив меня и взглядом, начинает говорить Коралине нежности, а после, выставив голову свою наружу, шепчет ей что-то на ухо, она отвечает ему тем же, он говорит еще, и она, немного подумав, берет меня за руку и объявляет со смехом:

— У меня до этого государя большое дело; отправляйтесь, друг мой, в рощу, пообедайте, поохотьтесь, а завтра приходите ко мне.

И с этими словами выходит, садится в визави и оставляет меня с носом.

Если читателю доводилось быть в положении, подобном моему, ему нет нужды объяснять, какой охватил меня в ту подлую минуту гнев, а остальным я ничего объяснить не сумею. Ни минуты не пожелал я оставаться долее в проклятом кабриолете; велел слуге убираться ко всем чертям, взял первый попавшийся фиакр и отправился к Патю, каковому, пылая гневом, поведал, что со мною приключилось. Патю нашел, что приключение мое забавно, обыкновенно и в порядке вещей.

— Как в порядке вещей?

— Именно так, ибо нет такого тайного хахала, с которым бы не могло случиться чего-либо подобного; если он неглуп, то должен быть готов сносить неприятности. Что до меня, то я даже ревную: если б со мною завтра случилась подобная досада, я бы ничего не имел против. Поздравляю. Завтра ты наверное получишь Коралину.

— Она мне больше не нужна.

— Это дело другое. Хочешь, отправимся обедать в Отель дю Руль?

— Черт возьми, да. Отличная мысль! Едем. Отель дю Руль славился в Париже. В два месяца, что я здесь прожил, мне еще не случалось в нем бывать, и я сгорал от любопытства. Содержательница его, купив дом и прекрасно его обставив, поместила в нем двенадцать — четырнадцать отборных девиц. У нее был хороший повар, добрые вина, отменные постели, и принимала она всякого, кто являлся к ней с визитом. Звали ее Мадам Париж, она находилась под защитой полиции; располагалось заведение в некотором удалении от Парижа, а потому Мадам была уверена, что явится к ней лишь человек приличный: пешком туда идти было слишком далеко. Порядок у нее был исключительный; всякому удовольствию положена была твердая цена. Платили недорого: шесть франков за то, чтобы позавтракать с девицею, двенадцать — за обед и луидор — за ужин и ночлег. То был образцовый дом, о нем говорили с восхищением. Мне не терпелось туда попасть: я считал, что это лучше заказной рожи.

Садимся в фиакр, и Патю говорит кучеру:

— К Воротам Шайо.

— Слушаю, почтенный.

Он довез нас в полчаса и остановился у ворот с надписью «Отель дю Руль». Ворота были закрыты. Из задней двери является усатый слуга, глядит на нас и, оставшись доволен нашими физиономиями, открывает дверь. Мы отсылаем фиакр и входим, а он запирает дверь на ключ. Учтивая женщина лет пятидесяти на вид, хорошо одетая и без одного глаза спрашивает, желаем ли мы у нее отобедать и повидать ее девушек. Мы отвечаем утвердительно, и она ведет нас в залу, где сидят полукругом четырнадцать девиц в одинаковых платьях из белого муслина и с шитьем в руках; увидев нас, они встают и все разом встречают нас глубоким реверансом. Все хорошо причесаны, почти одних лет, и все красавицы — кто высокого роста, кто среднего, кто маленького, брюнетки, блондинки, шатенки. Мы обходим их всех, с каждой перебрасываемся парой слов, и вот Патю выбирает себе девицу, и я в тот же миг обзавожусь своей. Обе избранницы бросаются с криком радости нам на шею и уводят из залы в сад, куда не позвали обедать. Мадам Париж оставляет нас со словами:

— Ступайте, господа, гуляйте в моем саду, наслаждайтесь свежим воздухом, миром, покоем и тишиной, царящей в моем доме; ручаюсь вам, что выбранные вами девушки в добром здравии.

После короткой прогулки каждый ведет свою подружку в комнату на первом этаже. Моя избранница напоминала чем-то Коралину, и я немедленно воздал ей по заслугам. Нас позвали к столу, мы довольно хорошо пообедали, но едва выпили кофе, как является кривая хозяйка с часами в руках и зовет обеих девиц, говоря, что время наше вышло, но если заплатим мы другие шесть франков, то можем развлекаться до вечера. Патю отвечал, что охотно останется, но хочет выбрать другую; я того же мнения.

— Идемте, все в вашей власти.

Мы возвращаемся в сераль, выбираем новых девиц и идем гулять. Вторая сшибка, как и следовало ожидать, представилась нам чересчур быстрой. Нас известили, что время кончилось, в самый неподходящий момент: пришлось повиноваться и подчиниться правилам. Я отвел Патю в сторону, и, обменявшись философическими размышлениями, мы постановили, что удовольствия эти, отмеренные по часам, несовершенны.

— Идем опять в сераль, — говорю я, — выберем себе по третьей, и пусть нам поручатся, что она останется в нашей власти до завтра.

Патю мой замысел пришелся по нраву, и мы отправились сообщить его аббатисе, каковая признала в нас людей умных. Но когда воротились мы снова в залу, дабы выбрать новых девиц, те, что с нами уже были, увидев, что отвергнуты и остальные над ними смеются, из мести ошिकाки нас и объявили, что мы деревенщина.

Но когда я увидал эту третью девицу, то поразился ее красоте. Я благодарил небо, что проглядел ее прежде: без сомнения, я мог бы иметь ее четырнадцать часов кряду. Звали ее Сент-Илер — та самая, что под этим самым именем прославилась год спустя, когда один милорд увез ее в Англию. Держалась она со мною надменно и презрительно; мне пришлось более часа гулять с нею, пока она не успокоилась. Она полагала, что я недостойн спать с нею, ибо дерзнул пропустить ее и в первый, и во второй раз. Но я показал ей, что мой недосмотр обернулся на пользу нам обоим, она рассмеялась и стала совсем мила ко мне. Девушка эта была умна, образованна и наделена всем необходимым, дабы преуспеть в избранном ремесле. За ужином Патю сказал мне по-итальянски, что я опередил его лишь на миг, но дней через пять или шесть он хочет тоже заполучить ее. Назавтра он уверял, что всю ночь напролет спал; но я провел ее по-другому. Девица



Сент-Илер была весьма мною довольна и хвастала перед своими товарками. Я больше десятка раз приезжал к Мадам Париж, пока не перебрался в Фонтенбло, и ни разу не осмелился взять другую девушку. Сент-Илер гордилась, что сумела меня удержать.

Отель дю Руль стал причиной тому, что я охладел к Коралине и перестал ее преследовать. Через две или три недели после моей ссоры с Коралиной увлек ее один венецианский музыкант по имени Гуаданьи, красивый, искусный в своем ремесле и весьма остроумный. Красивый мальчик, что был мужчиною лишь с виду, возбудил в Коралине любопытство и стал причиной разрыва ее с князем Монакским, каковой застал ее с поличным. Но не прошло и месяца, как ей удалось помириться с князем, да так искренне, что через девять месяцев она принесла ему младенца, девочку, которую назвала Аделаидой; князь назначил ей приданое. Потом, после смерти герцога де Валентинуа, князь оставил Коралину и женился на девице Бриньоль, генуэзке, а она стала любовницей графа де Ламарша, каковой теперь принц Конти. Ныне Коралины нет в живых, равно как и сына ее от этого принца, которому даровал он имя графа де Монреаля. Но вернемся ко мне.

В то время госпожа Супруга дофина разродилась принцессою, каковая сразу названа была наследницей. В августе видел я в Лувре новые картины, что выставили для публики художники из Королевской академии живописи, и, не приметив ни одной батальной, замыслил пригласить в Париж брата моего Франческо, что жил в Венеции и наделен был дарованием в этом самом жанре. Пароселли, единственный во Франции баталист, скончался, и я решил, что брат может добиться здесь успеха; отписав г-ну Гримани и самому брату, я убедил их, но брат приехал в Париж лишь в начале следующего года.

Король Людовик XV был страстный охотник и всякий год осенью непременно проводил полтора месяца в Фонтенбло. В Версаль он возвращался всегда к середине ноября. Путешествие сие обходилось ему в пять миллионов; он вез с собою все, что могло служить к удовольствию всех иностранных посланников и своего двора. С ним ехали комедианты, французские и итальянские, и актеры и актрисы из Оперы. В те полтора месяца Фонтенбло во сто крат затмевал Версаль, и однако ж великий город Париж не лишался спектаклей. И опера, и французская комедия, и итальянская продолжали играть: актеров было так много, что возможно было заменить одних другими.

Марио, отец Баллетти, вполне оправился от болезни и должен был ехать туда с женою своею Сильвией и всем семейством; он пригласил меня ехать с ними и поселиться в нанятом им для себя доме. Я согласился: нельзя было и представить лучшего случая, чтобы узнать всех придворных Людовика XV и всех иностранных министров. Сразу же представился я г-ну Морозини, ныне Прокуратору собора Св. Марка, а тогда посланнику Республики при дворе французского короля. В первый же день, когда давали оперу, позволил он мне сопровождать его; музыка была Люлли. Я уселся в паркет, в точности под ложей, где находилась г-жа де Помпадур, которой я не знал. В первой сцене является из кулис знаменитая девица Лемор и на втором же стихе испускает столь сильный и нежданный вопль, что я испугался, не сошла ли она с ума; я негромко и вполне чистосердечно смеюсь, никак не предполагая, что меня могут дурно понять. Голубая лента, что сидел возле маркизы, сухо спрашивает меня, откуда я приехал, и я столь же сухо отвечаю, что из Венеции.

— Когда я был в Венеции, я тоже весьма смеялся над речитативом в ваших операх.

— Охотно верю, сударь, и уверен также, что никому и в голову не пришло помешать вам смеяться.

Мой несколько дерзкий ответ рассмешил г-жу де Помпадур, и она спросила, вправду ли я из тех краев.

— Каких именно?

— Из Венеции.

— Венеция, сударыня, не край, но центр. Сей ответ найден был еще более диковинным, нежели первый, и вот уже вся ложа совещается, край Венеция или центр. По всему судя, сочли, что я прав, и оставили меня в покое. Я слушал оперу, не смеялся, но частенько сморкался, ибо у меня был насморк. Та же неизвестная мне голубая лента, каковой оказался маршалом де Ришелье, сказал, что у меня в комнате, должно быть, сквозит из окон.

— Прошу прощения, сударь, но окна у меня затворены пердельно плотно.

Все расхохотались, а я, заметив, что дурно произнес слово «предельно», был совсем убит и сидел с пристыженным видом. Получасом позже г-н де Ришелье спрашивает, которая из двух актрис кажется мне красивее.

— Вон та.

— У нее отвратительные ноги.

— Их, сударь, не видно, и потом, когда я оцениваю красивую женщину, то первым делом берусь не за ноги.

Случайная эта острота, силы которой я сам не понимал, доставила мне уважение и привлекла ко мне интерес всего сидевшего в ложе общества. Маршал справился, кто я, у самого г-на Морозини, каковой сказал мне, что ему доставит удовольствие считать меня в числе своих приближенных. Острота моя стала знаменита, и маршал де Ришелье был со мною весьма любезен. Из всех

иностранных министров более всего сблизился я с милордом маршалом Шотландии Китом, что представлял прусского короля. У меня еще будет случай рассказать о нем.

Через день после приезда в Фонтенбло отправился я в одиночестве ко двору. Я видел, как идет к мессе красавец король, и все королевское семейство, и все придворные дамы — каковые поразили меня безобразием, как туринские поразили красотой. Однако ж среди множества безобразных лиц увидал я одну редкостную красавицу и спросил у кого-то, как эту даму зовут.

— Это, сударь, госпожа де Брионн; ум ее ни в чем не уступает красоте: о ней не только не ходит никаких сплетен, но даже и повода для того, чтобы их выдумать, ни разу не подала она злым языкам.

— Быть может, просто никто ничего не знал.

— Ах, сударь, при дворе знают все.

Я бродил в одиночестве повсюду, добрался и до королевских покоев и тут увидал десять — двенадцать некрасивых дам, которые, казалось, не шли, но бежали, да так неловко, словно сейчас упадут ничком. Я спрашиваю, откуда они идут и отчего так неловко ходят.

— Они выходят от королевы, каковая будет сейчас обедать, а ходят неловко оттого, что каблуки у их туфель в полфута высотой, и они принуждены двигаться на согнутых ногах.

— Отчего бы им не носить каблуки пониже?

— Оттого, что им кажется, будто так они выглядят выше.

Я вступаю в какую-то галерею и вижу, как мимо проходит король, обнявши за плечи г-на д'Аржансона. У Людовика XV была восхитительной красоты голова и посажена как нельзя лучше. Ни одному искусному художнику не удалось изобразить поворот головы сего монарха, когда он оборачивался к кому-нибудь. Всякий, кто видел его, в тот же миг чувствовал, что не в силах его не любить. Тогда мне показалось, будто предо мною воплощенное величие, которого тщетно искал я в чертах короля Сардинии. Я проникся уверенностью, что г-жа де Помпадур влюбилась в одно лицо его при первом же знакомстве. Быть может, все было не так, но облик Людовика XV с неизбежностью заставлял наблюдателя прийти к этой мысли.

Вхожу я в залу и вижу десять — двенадцать прохаживающихся придворных и обеденный стол на двенадцать человек, на котором, однако, стоит лишь один прибор.

— Для кого накрыт этот стол?

— Для королевы, она сейчас будет обедать. А вот и она.

Предо мною королева французская — на вид набожная старушка, не нарумяненная, в большом чепце; две монахини ставят на стол тарелку со свежим маслом, и она благодарит. Едва королева усаживается, как десять — двенадцать прохаживавшихся придворных становятся полукругом у стола на расстоянии десяти шагов, и я с ними; все хранят глубокое молчание.

Королева начинает есть, ни на кого не глядя и оставивши глаза в тарелку. Отведав от какого-то блюда и найдя его по своему вкусу, она взяла еще, но, прежде чем взять, обвела глазами всех присутствующих, желая, как видно, узнать, не надобно ли ей кому поведать, какая она лакомка. Обнаружив такого человека, она обратилась к нему со словами:

— Господин де Ловендаль.

Услыхав это имя, я вижу, как один красавец двумя дюймами выше меня делает, склонивши голову, три шага к столу и отвечает:

— Мадам?

— Полагаю, что фрикассе из цыпленка лучше всякого другого рагу.

— И я того же мнения. Мадам.

Получив сей ответ, произнесенный наисерьезнейшим тоном, королева продолжает есть, а маршал де Ловендаль делает три шага назад и становится на прежнее свое место. Больше королева не произнесла ни слова и, кончив обедать, возвратилась в свои покои.

Я был в восторге: случай этот позволил мне узнать знаменитого воителя, который взял Берг-оп-Зум и на которого я страстно желал взглянуть. И воитель сей, спрошенный королевою относительно достоинств фрикассе, изъявляет мнение свое тем же тоном, словно произносит смертный приговор на военном совете! Обогадившись подобным анекдотом, я несу его к Сильвии, дабы за изысканным обедом потчевать им собравшийся цвет приятного общества.

Восемью или десятью днями позже стою я в десять часов на галерее, в ряду с другими, кто желает доставить себе вечно новое удовольствие посмотреть, как король идет к мессе, и еще одно, особенное, видеть оконечности грудей дочерей его, наследных принцесс, каковые одеты были так, что выставляли их, вместе с обнаженными плечами, напоказ, — стою и вдруг с изумлением вижу девушку Шерстомойку, Джульетту, которую оставил я в Чезене под именем г-жи Кверини. Я удивился, но она, заметив меня в подобном месте, удивилась не менее. Она была под руку с маркизом де Сен-Симоном, первым палатным дворянином принца Конде.

— Госпожа Кверини в Фонтенбло?

— Вы здесь? Не могу не припомнить королеву Елизавету — она сказала: *Pauper ubique jacet* \*.

— Весьма точное сравнение, сударыня.

— Шучу, дорогой друг; я приехала, дабы видеть короля, он меня не знает, но завтра посланник представит меня.

Она встает в ряд пятью-шестью шагами впереди меня, ближе к двери, откуда должен был выйти король. Король появляется вместе с г-ном де Ришелье, немедленно направляет лорнет на пресловутую г-жу Кверини и, не останавливаясь, произносит своему другу, как я слышу, такие точно слова:

— У нас здесь есть и покруче.

После обеда отправляюсь я к венецианскому посланнику и нахожу у него большое общество за десертом; сам он сидит рядом с г-жой Кверини, каковая, завидев меня, стала осыпать любезностями — вещь для этой ветреницы необычайная, ибо любить меня у нее не было ни резонов, ни причин: она знала, что я вижу ее насквозь и знаю, как надобно с нею обращаться. Но я понимаю, в чем дело, и решаюсь сделать все, чтобы доставить ей удовольствие, и даже, если нужно, стать лжесвидетелем.

Она упомянула о г-не Кверини, и посланник одобряет его за то, что он воздал ей по заслугам и женился на ней.

— Я даже об этом не знал, — говорит посланник.

— И однако ж тому уже два года, — отвечает Джульетта.

— Это истинная правда, — обращаюсь я тогда к посланнику, — два года назад генерал Спада представил госпожу Кверини, под этим самым именем, всему дворянству Чезены, где я тогда имел честь находиться.

— Не сомневаюсь, — говорит посланник, глядя на меня, — ведь и сам Кверини пишет мне об этом.

Когда собрался я уходить, посланник отвел меня в другую комнату под предлогом, что якобы желает показать мне одно письмо, и спросил, что говорят в Венеции об этом браке. Я отвечал, что о нем никто не знает и поговаривают даже, будто старший из семейства Кверини собирается жениться на девице Гримани.

— Послезавтра отпишу эту новость в Венецию.

— Какую новость?

— Что Джульетта и вправду Кверини, поскольку

Ваше Превосходительство завтра представит ее Людовику XV.

— Кто вам сказал, что я ее представляю?

— Она сама.

— Должно быть, теперь она передумала. Тогда я передал ему в точности слова, каковые услышал из уст короля, и он догадался, отчего у Джульетты пропала охота быть представленной. После мессы г-н де Сен-Кентен, тайный министр короля по особым поручениям, явился собственной персоной к красавице венецианке и сказал, что у короля Франции дурной вкус, ибо он нашел ее не красивей других придворных дам. Назавтра рано утром Джульетта покинула Фонтенбло. В начале своих Мемуаров писал я о красоте Джульетты; в лице ее было очарование неизъяснимое, однако в ту пору, когда увидал я ее в Фонтенбло, оно отчасти поблекло; сверх того, она пользовалась белилами, а этой уловки французы не прощают — и правы, ибо белила скрывают природный цвет. Но все же женщины, избравшие ремеслом своим нравиться, никогда не откажутся от белил, ибо надеются повстречать человека, который бы принял их за чистую монету.

Вернувшись из Фонтенбло, я повстречал Джульетту у венецианского посланника; она со смехом сказала, что пошутила, назвавшись г-жой Кверини, и просила впредь доставить ей удовольствие и называть настоящим ее именем графиня Преати; она приглашала меня приходить к ней в Люксембургскую отель, где снимала комнаты. Я частенько навещал ее туда, дабы поразвлечься ее интригами, но сам никогда в них не участвовал. В четыре месяца, проведенных в Париже, свела она с ума г-на Дзанки. То был секретарь венецианского посольства, человек учтивый, благородный и образованный. Она влюбила его в себя, он изъявил готовность жениться, она дала ему надежду, а после обошлась с ним столь жестоко и вызвала такую ревность, что бедняга лишился рассудка и вскорости умер. Нравилась она графу фон Кауницу, посланнику царствующей Императрицы, и графу фон Зинцендорфу тоже. Посредником в этих ее мимолетных связях был некий аббат Гуаско, человек отнюдь не богатый и весьма безобразный, каковой поэтому мог рассчитывать на ее милость, лишь сделавшись наперсником. Но выбор свой она остановила на маркизе де Сен-Симоне. Она хотела выйти за него замуж, и он бы женился, когда б она не дала ему ложных адресов, дабы справиться о ее происхождении. Веронский род Преати, к которому она себя причисляла, ее отверг, и г-н де Сен-Симон, сохранивший, несмотря на любовь, весь свой здравый смысл, нашел в себе силы расстаться с нею. В Париже дела ее шли неважно, ибо ей пришлось заложить все бриллианты. Воротившись в Венецию, она женила на себе сына того самого г-на Уччелли, каковой тому шестнадцать лет вытаскивал ее из нищеты и наставил на путь истинный. Умерла она десять лет назад.

В Париже я по-прежнему брал уроки у старика Кребийона, но несмотря на это мне нередко случалось, из-за того, что язык мой полон был итальянизмов, сказать что-нибудь в обществе помимо воли, и в речах моих почти всегда выходили весьма занятные шуточки, которые затем все друг другу

повторяли; однако испорченный язык вовсе не подавал никому повода усомниться в моем уме и, напротив, доставлял мне приятные знакомства. Многие дамы, имевшие в обществе вес, просили меня учить их итальянскому языку, дабы, как они говорили, доставить себе удовольствие наставлять меня во французском, и от сего обмена оказался я в выигрыше.

Однажды поутру г-жа Преодо, одна из моих учениц, приняла меня еще в постели и сказала, что ей не хочется учиться, ибо вечером она приняла лекарство. Я спросил, получилось ли у нее ночью разгрузиться.

— Что такое вы спрашиваете? Что это за диковина? Вы невыносимы.

— Черт побери, сударыня, для чего ж принимают лекарство, как не для того, чтобы разгрузиться?

— Лекарство прочищает, сударь, а не заставляет что-то там разгружать, и чтобы вы в последний раз в жизни употребили это слово.

— Теперь, подумав, я понимаю, что меня можно не так понять; но воля ваша, это слово приличное.

— Хотите позавтракать?

— Нет, сударыня, я уже завтракал. Выпил кофе с двумя савоярами.

— Ах, Боже мой! Я пропала. Что за кровожадный завтрак! Объяснитесь.

— Я выпил кофе, как всегда по утрам.

— Но это глупо, друг мой; кофе — это зерна, что продают в лавке, а то, что пьют — это чашка кофе.

— Отлично! Что ж, вы пьете чашку? У нас в Италии говорят «кофе», и всем достает ума догадаться, что зерна не пьют.

— Он еще спорит! А как это вы проглотили сразу двух савояров?

— Обмакнув в кофе. Они были не больше тех, что лежат тут у вас на ночном столике.

— И это вы называете савоярами? Надо говорить «бисквиты».

— В Италии мы зовем их савоярами, сударыня, ибо мода на них пришла из Савойи, и я не виноват, что вы решили, будто я съел двоих рассыльных из тех, что торчат по углам улиц для услужения публике и которых зовете вы савоярами, хотя они, может статься, родом из совсем других мест. Впредь, применяясь к вашим обычаям, я стану говорить, что съел бисквиты; но позвольте заметить вам, что название «савояры» для них более подобает.

Тут является ее муж и, выслушав отчет о наших спорах, смеется и говорит, что я прав. Входит племянница ее, девица четырнадцати лет, разумная, сообразительная и очень скромная; я дал ей пять-шесть уроков, и для того что она любила язык и весьма старалась, то начинала уже говорить на нем. Вот роковое приветствие, каким она встретила меня:

— *Signore sono incantata di vi vedere in buona salute* \*.

— Благодарю вас, мадмуазель, но чтобы передать слово «счастлива», надобно сказать «*ho piacere*». И еще: чтобы передать «видеть вас», надобно сказать «*di vedervi*», а не «*di vi vedere*».

— Я думала, сударь, что член «*vi*» вставляется перед словом.

— Нет, мадмуазель, мы этот член вставляем сзади.

Тут оба супруга покатываются со смеху, барышня краснеет, а я смущаюсь отчаянно, что сболтнул эдакую глупость; но слова не вернешь. Надувшись, берусь я за книгу в тщетном ожидании, чтобы кончили они наконец смеяться; но случилось это больше чем через неделю. Несносная эта двусмысленность обошла весь Париж, я бесился, но постигнул в конце концов силу языка, и с той поры успех мой поубавился. Кребийон долго хохотал, а потом объяснил, что надобно было сказать не «сзади», а «после». Так развлекались французы ошибками, что делал я в их языке, но я недурно отыгрывался, раскрывая некоторые его смехотворные обычаи.

— Сударь, — спрашиваю я, — как здоровье почтенной супруги вашей?

— Вы ей делаете много чести.

— Честь ее меня не волнует; я спрашиваю, как ее здоровье.

В Булонском лесу молодой человек падает с лошади; я бегу помочь ему подняться, но он уже проворно вскакивает на ноги.

— Не причинили ли вы себе какого вреда?

— Напротив, сударь.

— Стало быть, падение пошло во благо.

Я в первый раз принят госпожою Председательшей; является племянник ее, блистательный щеголь, она представляет меня, говорит имя и откуда я родом.

— Как, сударь, вы итальянец? Клянусь честью, вы держитесь столь учтиво, что я бы побился об заклад, что вы француз.

— Сударь, увидев вас, я едва не совершил ту же оплошность: готов был поспорить, что вы итальянец.

— Не знал, что я похож на итальянца. За столом у миледи Ламберт все разглядывают сердолик, что был у меня на пальце: голова Людовика XV была на нем вырезана весьма искусно.

Кольцо обходит весь стол, все находят сходство поразительным; одна юная маркиза возвращает мне кольцо со словами:

— Это в самом деле антик?

— Что, камень? Да, сударыня, несомненный.

Все смеются, а маркиза, каковую считают в обществе умной, спрашивает беспрестанно, отчего смех. После обеда все говорят о носороге, которого за двадцать четыре су с головы показывали тогда на ярмарке в Сен-Жермен. Поедем посмотрим да поедем посмотрим. Мы садимся в карету, выходим на ярмарке и долго кружим по аллеям в поисках носорога. Я был единственный мужчина, вел под руки двух дам, а впереди шла разумница маркиза. Нам сказали, в какой аллее животное; в начале ее сидел у ворот хозяин носорога и получал деньги с тех, кто желал войти. На самом деле то был смуглый человек, одетый по-африкански, невероятной толщины; выглядел он чудовищем, но маркиза могла бы по меньшей мере признать в нем человека. Как бы не так.

— Это вы, сударь, носорог?

— Проходите, сударыня, проходите.

Она видит, что мы помираем со смеху и, поглядев на настоящего носорога, почитает своим долгом извиниться перед африканцем, заверяя его, что прежде никогда в жизни не видала носорогов, а потому он не должен обижаться на ее ошибку.

В фойе Итальянской комедии во время антракта приходят самые знатные господа, зимою — погреться, а в любое время года — поболтать в свое удовольствие с актрисами, что сидят там в ожидании очередного выхода на сцену в своей роли; я сидел там рядом с Камиллоу, сестрой Коралины, и смешил ее любезностями. Некий молодой советник счел, что не подобает мне ее занимать, и весьма надменно обрушился на меня за то, что я не так отозвался об одной итальянской пьесе, и, всячески браня мою нацию, выказал чересчур дурное расположение духа. Я, глядя на смеющуюся Камиллу, отвечал уклончиво, а все общество внимательно прислушивалось к его выпадку, в котором до сей поры не было ничего неприятного, всего лишь игра ума. Однако дело, казалось, вдруг стало принимать серьезный оборот: петиметр, свернув речь свою на порядок в городе, объявил, что с недавнего времени стало опасно ходить ночью по Парижу пешком.

— В прошедшем месяце, — сказал он, — в Париже на Гревской площади мы видели семерых повешенных, и пятеро из них — итальянцы. Удивительное дело.

— Ничего удивительного, — отвечал я. — Все порядочные люди отправляются на виселицу за пределы своей страны, и доказательство тому — шестьдесят французов, что были за прошлый год повешены в Неаполе, Риме и Венеции. Пять на двенадцать и будет как раз шестьдесят: как видите, это попросту обмен.

Все смеялись и были на моей стороне, а молодой советник удалился. Один любезный господин нашел ответ мой удачным и, приблизившись к Камилле, спросил ее на ухо, кто я такой; знакомство состоялось. То был г-н де Мариньи, брат госпожи Маркизы; я счастлив был с ним познакомиться, ибо хотел представить ему своего брата, которого ожидал со дня на день. Он был главный надзиратель королевских строений, и вся Академия живописи зависела от него. Я теперь же поговорил с ним о брате, и он обещал ему покровительство. Еще один молодой господин завязал со мною беседу, просил заходить к нему и сказался герцогом Маталонским. Я отвечал, что восемь лет назад видел его ребенком в Неаполе и дядя его, дон Лелио Караффа, был моим благодетелем. Юный герцог был счастлив и стал еще настойчивее звать меня к себе; мы близко подружились.

Брат мой прибыл в Париж весной 1751-го года, поселился со мною у госпожи Кенсон и начал с успехом работать по частным заказам; но главной его мыслью было написать картину и представить ее на суд Академии. Я представил его г-ну де Мариньи, который оказал ему добрый прием, ободрил и обещал свое покровительство. Брат тогда же принялся прилежно учиться, дабы не упустить случая.

Посольство г-на Морозини завершилось, и он возвратился в Венецию, а на его место прибыл г-н Мочениго. После того, как меня рекомендовал г-н Брагадин, двери его дома были всегда открыты и для меня, и для брата, каковому расположился он покровительствовать как венецианцу и молодому человеку, пожелавшему посредством своего дарования добиться успеха во Франции.

Г-н де Мочениго был весьма доброго нрава; он любил карты и вечно проигрывал; любил женщин и был несчастен, ибо не умел найти верного подхода. Через два года по приезде в Париж влюбился он в г-жу де Коланд; она была к нему жестока, и венецианский посланник наложил на себя руки.

Госпожа Супруга дофина разродилась герцогом Бургундским; я наблюдал такое ликование, в какое нынче, когда глядишь, что чинит та же самая нация против своего короля, верится с трудом. Нация желает доставить себе свободу; намерение ее благородно и разумно, и она приведет предприятие сие к зрелости в царствование этого монарха, каковой, наследуя шестидесяти пяти королям, из которых всякий был более или менее тщеславен и ревнив до своего могущества, по некоему особенному и неповторимому складу души оказался неприятелен. Но возможно ли поверить, будто душа его перейдет и к его преемнику?

Франция повидала на троне своем множество иных монархов — ленивых, гнушающихся

трудом, не терпящих забот и хлопочущих единственно о собственном покое. Удалившись в глубины дворца, оставляли они вершить своим именем деспотическую власть первых министров, однако ж оттого не менее оставались королями и истинными монархами; но никогда еще прежде не видел мир короля, подобного этому, — который бы по доброй воле возглавил нацию, объединившуюся, дабы свергнуть его с престола. Кажется, он счастлив, что наконец должен думать лишь о том, как бы повиноваться. Стало быть, рожден он не на царствование и, похоже, подлинно видят личных своих врагов в тех, кто, движимый истинною заботой о его интересах, несогласен с декретами собрания, каковые только и уничижают королевское величие.

Нация, бунтующая против деспотического ига, каковое называет она и всегда будет называть тиранией, — дело нередкое, ибо бунт этот побуждаем природой; свидетельством тому вечная настороженность монарха, который остерегается выпускать из рук бразды, ибо уверен, что нация не преминет закусить удила. Но монарх, что встает во главе двадцати трех миллионов своих подданных и не просит их ни о чем ином, как лишь оставить ему бесполезный титул короля и главы не затем, чтобы ими править, но дабы исполнять их веления, — дело редкостное, единственное и неслыханное.

«Будьте законодатели, — говорит он им, — и я велю исполнить все ваши законы, если только подадите вы мне помощь против мятежников, что не пожелают подчиниться; впрочем, в вашей власти будет не щадить их и разорвать в клочки без всякого суда и следствия — ибо кому под силу противиться вашей воле? Воистину вы займете мое место. Возражать этому станет знать и духовенство, но их всего один человек из двадцати пяти. В ваших силах подрезать им крылья, физически и духовно, и они будут не в состоянии класть пределы вашему могуществу и вредить вам. Дабы достигнуть этого, вам должно смирить гордыню духовенства, отдав церковные должности в руки равных себе, а священникам назначив лишь жалованье, необходимое для прожития. Что же до знати, то вам нет нужды лишать ее богатства: довольно и того, что вы перестанете почитать ее за пустые родовые титулы; дворянство исчезнет; возьмите пример с мудрых уложений турок; когда же государи эти увидят, что они более не маркизы и не герцоги, то умерят свое властолюбие, и единственным их удовольствием останется тратить деньги на всякую роскошь — но тем лучше для нации, ибо через расходы эти их деньги потекут к ней, а она пустит их в оборот и умножит торговлю. Что же до министров моих, то впредь они станут разумней, ибо будут зависимы от вас, и не моим делом будет судить об их способностях; я стану подбирать их сам, для виду, но и удалять стану всякий раз, как вы захотите. Через то положу я наконец предел тирании, когда они подавляли меня, заставляли делать все, что им было угодно, нередко вредили моей репутации и вечно обременяли Государство долгами от моего имени. Я молчал — но более так не мог; и теперь я наконец на свободе. Знаю, жена моя, со временем — дети, братья мои и кузены, так называемые принцы крови, осудят меня, но только в душе, ибо не осмелятся заговорить об этом со мною. Ныне, под высоким вашим покровительством, стану я для них более грозным, нежели когда защитою мне служил один лишь мой род, бесполезность какового я сам помог вам доказать публично.

Те, что покинули королевство, недовольные, рано или поздно возвратятся домой, если пожелают, а коли нет, так пускай делают, что им угодно; они называют себя истинными моими друзьями, и мне смешно, ибо не может у меня быть истинных друзей, кроме тех, чей образ мыслей согласен с моим. Они полагают, будто всего важнее на свете древние права нашего дома на королевскую власть, нераздельную с деспотией; а я полагаю, что всего важнее на свете, во-первых, мой покой, во второй черед уничтожение тирании, что захватили надо мною министры, и, в-третьих, ваше довольство. Я мог бы еще сказать, когда бы был обманщик, что забочусь о богатстве королевства — но оно мне безразлично, ибо думать о нем должны вы и касается это только до вас: королевство мне более не принадлежит. Благодарение Богу, я более не король Франции, но, как вы прекрасно говорите, король французов. Все, о чем я прошу вас, — это поспешить и дозволить мне наконец отправиться на охоту, ибо я устал скучать».

Из сей доподлинной исторической речи, я полагаю, ясно следует, что контрреволюции случиться не может. Но не менее ясно следует и то, что она случится, как только образ мыслей короля переменится; примет тому нет — как нет примет и тому, что преемник его будет на него похож.

Национальное собрание станет делать все, что пожелает, невзирая на знать и духовенство, ибо на службе у него необузданный народ, слепой исполнитель его велений. Нынче французская нация представляется чем-то наподобие пороку либо шоколаду: и тот, и другой состоят из трех составных частей, и свойство их не зависит, и не может зависеть ни от чего иного, кроме как от пропорции. Время покажет, каковы были составные части, преобладавшие перед Революцией, и каковы те, что преобладают теперь. Я знаю одно: зловоние серы смертельно, а ваниль яд.

Что же до народа, то он повсюду одинаков: дайте крючнику шесть франков и велите кричать Да здравствует король, он вам доставит сие удовольствие, но за три ливра минутою позже закричит Да умрет король. Поставьте во главе народа зачинщика, и он в один день разнесет мраморную крепость. У него нет ни законов, ни убеждений, ни веры, божества его — хлеб, вино и безделье, свободу он полагает безнаказанностью, аристократию — тигром, а демагога — пастырем, нежно любящим свое

стадо. Иными словами, народ — это необъятных размеров животное, оно не рассуждает. Парижские тюрьмы набиты узниками, которые все представители восставшего народа. Скажите им: если вы согласитесь поднять на воздух залу Собрания, я открою вам ворота тюрьмы, — они пойдут с радостью. Всякий народ — это сборище палачей. Французское духовенство, зная это и рассчитывая лишь на себя, стремится внушить ему религиозное рвение, каковое, быть может, пересилит тягу к свободе: свобода есть для народа лишь некая отвлеченность, для материальных голов недоступная.

Трудно, впрочем, поверить, чтобы нашелся в Национальном собрании хотя бы один его член, движимый единственно заботою о благе отечества. Душа всякого одержима лишь собственным его интересом, и ни один, будь он королем, не последовал бы примеру Людовика XV.

Герцог Маталонский познакомил меня с доном Маркантуаном и доном Джованни-Баттистой Боргезе, римскими князьями, приехавшими в Париж поразвлечься и жившими весьма скромно. Я заметил, что, когда этих римских князей представляли при французском дворе, титуловали их маркизами. По тем же причинам не желали титуловать князьями, *princes*, русских князей: представляя, их так и называли «князь». Им было все равно, ибо «князь» значит по-русски то же, что «*prince*» по-французски. При французском дворе к титулам всегда относились весьма щепетильно: чтобы заметить это, достаточно один раз почитать газету. Там скупаются на титул «*Monsieur*», милостивый государь, каковой при этом обычен во всех иных местах, и всякому, у кого нет титула, говорят «*sieur*», господин. Я заметил, что король ни одного епископа своего не звал епископом, но только аббатом. Он также нарочито не желал знаться ни с одним из сеньоров в своем королевстве, чье имя не значилось бы в списке придворных. Однако ж надменность Людовика XV происходила не от природы его, но была привита ему воспитанием. Если один из посланников кого-то ему представлял, представленный возвращался домой в уверенности, что король Франции видел его, вот и все. То был учтивейший из французов, особливо с дамами и, прилюдно, со своими возлюбленными; всякий, кто осмеливался выказать им хотя б малейшее непочтение, попадал у него в немилость; и более всякого другого был он наделен королевской добродетелью — умением верно хранить тайну: уверенность, что знает он нечто никому не известное, доставляла ему радость. Малый тому пример — г-н д'Эон, что был женщиною. Король единственный с самого начала знал, что это женщина, и вся распря фальшивого кавалера с канцелярией Иностранных дел была настоящей комедией, которую король ради забавы позволил разыграть до конца.

Людовик XV был велик во всем и не имел бы вовсе изъянов, когда бы льстецы не принудили его их приобрести. Как мог он знать, что поступает дурно, если все в один голос твердили, что он лучший из королей? В то время княгиня д'Ардоре разродилась мальчиком. Супруг ее, неаполитанский посланник, пожелал, чтобы Людовик XV был крестным отцом ребенка, и король с охотою согласился. Крестнику своему он поднес в подарок полк. Но роженица полка не захотела, ибо не любила ничего военного. Г-н маршал Ришелье говорил мне, что король никогда так не смеялся, как будучи извещен об этом отказе.

У герцогини де Фюльви познакомился я с девицею Госсен, которую все звали Лолоттой; она была любовницею милорда Олбемарла, английского посланника, человека умного, весьма благородного и щедрого: однажды ночью гулял он с Лолоттой и, слыша, как восхваляет она красоту звезд на небе, сожалел, что не может их ей подарить. Когда б сей лорд оставался министром во Франции и во время разрыва меж его нацией и нацией французской, он бы всех примирил, и не разразилась бы злосчастная война, стоившая Франции всей Канады. Нет никакого сомнения, что доброе согласие меж двумя нациями зависит чаще всего от министров, которых держат они при дворе друг у друга в то время, когда ссорятся либо когда грозит им опасность поссориться.

Что же до возлюбленной его, то все, кто ее знал, были единодушны в своих оценках. Не было в ней черты, каковая бы делала ее недостойной выйти за него замуж; все без изъятия именитые дома Франции принимали ее в свое общество и без титула миледи Олбемарл, и соседство ее не оскорбляло добродетели ни одной дамы — все знали, что иного звания, кроме возлюбленной милорда, у нее никогда не было. Тринадцати лет попала она из рук матери в милордовы, и поведение ее всегда было безупречно; детей ее милорд признал своими. Умерла она графиней д'Эрувиль. В своем месте я еще вернусь к ней.

Тогда же познакомился я у г-на Мочениго, венецианского посланника, с одной венецианкой, вдовой английского рыцаря Уинна, что возвращалась с детьми из Лондона. Ездил она туда справиться о своем приданом и о наследстве покойного супруга, каковое могло перейти к ее детям лишь в том случае, если примут они англиканскую веру. Проделав все это, возвращалась она в Венецию, довольная своим путешествием. С дамою этой ехала и ее старшая дочь, которой было всего двенадцать лет; однако ж нрав ее обрисовывался уже в совершенстве на красивой личике. Нынче она вдова покойного графа фон Розенберга, умершего в Венеции посланником царствующей Императрицы Марии-Терезии, и живет в Венеции; на родине блистает она благородием, умом, величайшей обходительностью и иными светскими добродетелями. Все говорят, что единственный ее недостаток — то, что она небогата. Верно, однако никто, кроме нее, не вправе сожалеть об этом: лишь она может ощутить, как велик сей изъян, когда мешает он ей проявить щедрость.

В то время случилась у меня одна тяжба с французским правосудием.

## ГЛАВА X

Я имею дело с парижским правосудием. Девица Везиан

Младшая дочь хозяйки моей, г-жи Кенсон, частенько являлась без зову ко мне в комнату, и я, заметив, что она любит меня, рассудил, что странно мне было бы разыгрывать перед нею жестокосердие; к тому же она была не без достоинств, имела прелестный голос, читала все модные книжки и судила обо всем вкравь и, вкось с весьма привлекательною живостью. Возраста она была благованного — лет пятнадцати-шестнадцати.

В первые четыре или пять месяцев не было промеж нами ничего, одно ребячество, но однажды случилось, что, вернувшись запоздно домой, застал я ее уснувшей на моей постели. Мне сделалось любопытно, проснется она или нет, я сам разделся, улегся — а остальное понятно и без слов. На рассвете она спустилась вниз и улеглась в свою постель. Звали ее Мими. Двумя или тремя часами позже случай привел ко мне модную торговку с девицею, просить меня к завтраку. Девица была недурна, но я уже изрядно потрудился с Мими и, поболтав с ними час, отправил их восвояси. Они как раз уходили, и тут входит г-жа Кенсон с Мими, убрать мою постель. Я сажусь писать и слышу, как она говорит:

— Ах они прохвостки!

— На кого вы сердитесь, сударыня?

— Невелика загадка: простыни-то испорчены!

— Мне очень жаль; простите; перемените их и довольны об этом.

— Как это довольно? Пусть они только вернутся! Она спускается за другими простынями, Мими остается, я пеняю ей за неосторожность, она смеется и говорит, что, хвала небу, все вышло совсем невинно. С того дня Мими более не стеснялась: она приходила ко мне ночью, когда хотела, а я без стеснения отсылал ее, когда бывал не в духе, так что жили мы в мире и согласии. Союз наш продолжался четыре месяца, когда Мими объявила мне, что беременна; я отвечал, что не знаю, как ей помочь.

— Надобно подумать о всяких вещах.

— Так подумай.

— О чем, по-твоему, я должна думать? Что будет, то пускай и будет. По мне так лучше вовсе об этом не думать.

На пятом или шестом месяце живот Мими не оставляет у матери никаких сомнений; она таскает дочь за волосы, колотит, принуждает во всем сознаться и желает знать, кто ей помог растолстеть; Мими отвечает — и быть может, не лжет, — что это я.

В гневе г-жа Кенсон поднимается ко мне, врывается в комнату, бросается в кресла, переводит дух, утишает негодование свое бранью и в конце концов объявляет, что я должен быть готов жениться на ее дочери. Получив сей приговор и поняв, о чем идет дело, я отвечаю, что женат в Италии.

— Тогда зачем же вы сделали ребенка моей дочери?

— Уверю вас, я не имел подобного намерения; да и кто вам сказал, что это я?

— Она, сударь, собственной персоной: она в этом уверена.

— С тем ее поздравляю. Я же готов поклясться, что вовсе в этом не уверен.

— Что же теперь?

— Теперь ничего. Коли она беременна, так родит. Она с угрозами спускается вниз, и я вижу в окно, как она садится в фиакр. Назавтра вызывают меня к квартальному комиссару; я иду и встречаю там г-жу Кенсон во всеоружии. Квартальный, спросив мое имя, сколько времени я в Париже и множество других вещей и записав мои ответы, вопрошает, признаю ли я, что нанес дочери присутствующей здесь дамы обиду, в которой меня обвиняют.

— Сделайте одолжение, господин квартальный, запишите ответ мой слово в слово.

— Извольте.

— Я не наносил никакой обиды Мими, дочери присутствующей здесь госпожи Кенсон, и в том полагаюсь на саму Мими, каковая всегда питала ко мне то же дружеское расположение, что и я к ней.

— Она говорит, что вы сделали ей ребенка.

— Быть может; но наверное это не известно.

— Она утверждает это достоверно, ибо другого мужчины, кроме вас, у нее не было.

— Когда так, она достойна жалости, ибо мужчина в подобных делах может верить лишь законной своей жене.

— Что вы ей дали, чтобы соблазнить?

— Ничего, ибо это она соблазнила меня, и мы вмиг поладили.

— Была ли она девицею?

— Это меня не занимало ни до, ни после: не имею понятия.



— Мать ее требует от вас удовлетворения, и закон признает вас виновным.

— Никакого удовлетворения от меня она не получит, а что до закона, то я охотно ему повинуюсь, но прежде должен взглянуть на него и убедиться, что и в самом деле его преступил.

— Вы уже во всем сознались. Или вы полагаете, что мужчина, сделав ребенка честной девушке в доме, где живет, не преступает законов общества?

— Согласен, когда бы мать ее была обманута; но когда она сама посылает дочь свою ко мне в комнату, разве не должен я полагать, что она расположена мирно перенести все последствия нашего разговора?

— Она посылала к вам дочь, чтобы та вам служила, не более того.

— Она мне и услужила, а я воспользовался ее услугами, удовлетворяя потребности природы человеческой; если г-жа Кенсон сегодня вечером снова пришлет ее ко мне, я, быть может, поступлю точно так же, но никак не силой, а с согласия Мими и только в своей комнате, за которую всегда исправно платил.

— Можете говорить что угодно; но штраф вы заплатите.

— Я не стану ничего платить; невозможно, чтобы нужно было платить штраф, ни в чем не преступив права, и если я буду осужден, то стану жаловаться во все суды, покуда не будет восстановлена справедливость, ибо я знаю себя, и для меня, каков я есть, невыносима такая низость, чтобы отказать в ласках понравившейся мне девушке, которая придет в собственную мою комнату и, главное, если я буду уверен, что приходит она с ведома матери.

Все это с малыми отличиями занесено было в мой допросный лист, который я прочел и подписал и который квартальный понес к судье; тот пожелал меня выслушать и, взглянув на мать и дочь, простил меня, а опрометчивую мать приговорил уплатить судебные издержки квартальному. Однако ж я поддался на слезы Мими и дал ее матери денег на роды. Мими разродилась мальчиком, которого я отправил в приют на пользу французской нации. Мими после этого сбежала из материнского дома и стала актрисой на ярмарке Сен-Лоран, у Моне, в комической опере. Здесь никто ее не знал, и ей не составило труда найти любовника, который принял ее за девицу. Встретив ее на балагане, я был в восторге и нашел, что она очень мила.

— Я и не знал, что ты училась музыке.

— Не более чем все мои товарищи. Девицы из парижской Оперы не знают ни одной ноты, однако ж поют. Надобно лишь иметь красивый голос.

Я попросил Мими позвать на ужин Патю, каковой нашел ее прелестной. Но после она сбилась с пути, влюбилась в какого-то скрипача по имени Берар, который проел все ее сбережения, и пропала из виду.

В то время итальянским комедиантам дозволено было давать на театре своим пародии на оперы и трагедии; я познакомился с знаменитой Шантийи, каковая прежде была возлюбленной маршала Саксонского, а ныне звалась Фавар, ибо поэт Фавар женился на ней. В пародии на «Фетиду и Пелея» г-на де Фонтенеля пела она роль Тонтонна и снискала невероятный успех. Чарами своими и дарованием сумела она увлечь человека величайших достоинств, известного творениями своими по всей Франции. То был аббат де Вуазенон, с которым я свел знакомство столь же близкое, как и с Кребийоном. Создателем всех сочинений для театра, что приписываются г-же Фавар и носят ее имя, был сей знаменитый аббат, какового после моего отъезда избрали членом Академии. Я познакомился с ним, поддерживал знакомство, и он удостоил меня своей дружбой. Именно я подал ему мысль написать оратории в стихах, что исполнялись впервые в Духовном концерте в Тюильри на протяжении тех немногих дней в году, когда религия велит закрыть театры. Здоровье сего аббата, тайного сочинителя многих комедий, было под стать малому его росту; он был сама любезность и остроумие, славился своими шутками, каковые, несмотря на остроту, никого не задевали. У него не могло быть врагов: критика его скользила по поверхности кожи, не нанося уколов.

— Король зевал, — сообщил он мне однажды, вернувшись из Версаля, — ибо завтра ему надобно идти в Парламент на заседание, именуемое «ложе правосудия».

— А отчего так зовется торжественное заседание?

— Не знаю. Быть может, оттого, что правосудие на нем спит.

Точною копией этого аббата был граф Франц Хардиг, ныне полномочный министр Императора при дворе курфюрста Саксонского: я повстречал его в Праге. Аббат этот представил меня г-ну де Фонтенелю, каковому было в те поры девяносто три года, но он не только сохранял светлый разум, но и был глубокий физик, а сверх того славился своими шутками, из которых составлял бы целый том. Всякое приветствие непременно оживлял он остроумием. Я сказал, что приехал из Италии нарочно для того, чтобы нанести ему визит. Он отвечал, ухватившись за слово «нарочно»:

— Признайтесь, вы заставили себя ждать. Ответ весьма учтивый, но в то же время и критический, ибо в нем обнажалась неискренность моего приветствия. Он подарил мне свои сочинения. На вопрос его, нахожу ли я вкус во французских спектаклях, я отвечал, что видел в Опере «Фетиду и Пелея», «Thetis et Pelee»: то была его пьеса, однако когда я стал хвалить ее, он объявил, что это «tetepelee» лысая голова.

— В пятницу у Французов видел я «Гофолию», — сказал я.

— Это, сударь, шедевр Расинов, и Вольтер напрасно обвиняет меня в том, будто я критиковал его, и приписывает мне эпиграмму неизвестно чьего сочинения, два последних стиха которой весьма дурны:

Какой талант, однако, нужен,  
Чтоб написать «Эсфири» хуже!

Поговаривали, будто г-н Фонтенель был милым другом г-же де Тансен, и плодом их близости стал г-н д'Аламбер. Приемного отца его звали Лерон. С д'Аламбером познакомился я у г-жи де Графиньи. Великий сей философ в высшей степени владел секретом нимало не казаться ученым, находясь в приятном обществе не сведущих в науках людей. Он также весьма искусно вел беседу, так, что всякий, разговаривая с ним, становился умней.

Когда во второй раз возвращался я в Париж, бежав из Свинцовых тюрем, то уже заранее радовался встрече с Фонтенелем, но он скончался через две недели после моего приезда, в начале 1757 года.

Когда я возвращался в Париж в третий раз, с намерением остаться там до самой моей смерти, то полагался на дружеское расположение г-на д'Аламбера, но он умер через две недели после моего приезда, в конце 1783 года. Никогда более не видеть мне ни Парижа, ни Франции: слишком страшат меня казни, вершимые необузданным народом.

Г-н граф фон Лоз, посланник короля Польского и курфюрста Саксонского в Париже, тогда же, в 1751 году, велел мне перевести на итальянский язык какую-нибудь французскую оперу, что подавалась бы на большие изменения, и несколько больших балетов на тот же сюжет, что и опера; я выбрал «Зороастра» г-на де Каюзака. Мне пришлось приноровлять итальянские слова к французской хоровой музыке: музыка сохранилась прекрасно, но стихи итальянские были не блестящи. Однако ж я получил от щедрого государя красивую золотую табакерку и доставил великое удовольствие своей матери.

В то же самое время явилась с братом своим в Париж девица Везиан — совсем юная, родовитая и прекрасно воспитанная, прехорошенькая, пренаивная и любезная до крайности. Отец ее, служивший во французских войсках, умер на родине, в Парме; дочь, оставшись сиротою и не имея средств к жизни, послушалась чьего-то совета, продала все и потащилась с братом в Версаль, дабы разжалобить военного министра и что-нибудь получить. Сойдя с дилижанса, она села в фиакр и велела отвезти ее в меблированные комнаты неподалеку от Итальянского театра, и фиакр привез ее в Бургундскую отель на улице Моконсей, где жил и я.

Поутру сказали мне, что на моем этаже, в задней комнате, поселились двое только что приехавших юных итальянцев, брат и сестра, весьма красивые, а поклажи у них только и было, что маленькая дорожная сумка. Они были итальянцы, красивые, бедны, едва приехали и мои соседи: вот сразу пять поводов для меня пойти и своими глазами взглянуть, кто они такие. Я стучусь; стучусь еще — и вот открывает мне дверь мальчик в рубахе и просит прощения, что не одет.

— Это я должен просить прощения. Я итальянец, ваш сосед и к вашим услугам.

На полу я вижу матрац, на котором спал брат, этот мальчик, и предо мною постель с задернутым пологом: полагая, что здесь должна находиться сестра, я говорю, что когда бы предполагал в девять часов утра застать ее еще в постели, то никогда бы не дерзнул постучаться к ней в дверь. Она из-за полога отвечает, что спала долее обыкновенного, ибо легла утомленная путешествием, но что если мне угодно будет дать ей несколько времени, она теперь же встанет.

— Удаляюсь к себе в комнату, сударыня, а вы, когда сочтете, что вам можно показаться на люди, сделаете милость и позовете меня. Я вам сосед.

Не прошло и четверти часа, как она, вместо того чтобы меня позвать, входит сама в мою комнату и говорит с красивым реверансом, что пришла отдать визит и что брат появится, как только будет готов. Я благодарю, прошу ее сесть, объясняю чистосердечно причину своего любопытства, и она в восторге, не дожидаясь долгих расспросов, рассказывает ту самую простую и короткую повесть, что я только что передал; завершает она ее словами, что нынче же ей надобно подыскать себе другое жилище, подешевле, ибо осталось у нее всего шесть франков, продать ей нечего, а за комнату, что она занимала, полагалось платить за месяц вперед. Я спрашиваю, есть ли у нее рекомендательные письма, и она вынимает из кармана сверток, где я сию же минуту нахожу семь-восемь аттестатов ее отца, свидетельства о рождении его, ее самой и брата, свидетельства о смерти, свидетельства о поведении, о бедности и паспорта. И ничего другого.

— Я вместе с братом отправлюсь к военному министру, — говорит она, надеюсь, он сжалится над нами.

— Вы никого здесь не знаете?

— Никого. Вы первый человек во Франции, которому я о себе рассказала.

— Мы соотечественники; положение ваше и облик для меня достаточная рекомендация, и, если вы не возражаете, я мог бы стать вам советчиком. Дайте мне ваши бумаги и позвольте навести справки. Никому не говорите о своей нищете, не выходите никуда из отеля, и вот вам два луидора.

Преисполнившись признательности, она соглашается взять деньги.

Девушка Везиан была шестнадцатилетняя брюнетка редкой привлекательности, хотя и не совершенная красавица. Она хорошо говорила по-французски и поведала мне о плачевных своих делах без всякой низости и без той робости во взоре, что происходит, надо полагать, из страха, как бы слушатель не подумал извлечь выгоду из несчастья, ему поведанного. В лице ее не было ни униженности, ни дерзости; не теряя надежды, она и не похвалялась своим мужеством; держалась она благородно и отнюдь не выпячивала вперед свою добродетель, однако ж было в ней что-то, отчего развратник приходил в смущение. Доказательство тому — я сам: глаза ее, стройный стан, белизна кожи, свежесть, утреннее платье, все влекло меня к ней, однако ж чувства мои с первой же минуты оказались в ее власти, и я не только ничего над нею не учинил, но и обещал себе, что не стану первым, кто собьет ее с истинного пути. Я отложил на другое время речь, посредством какой намерен был испытать ее на сей счет и, быть может, предпринять сам иной образ действий; в тот первый миг сказал я ей только, что прибыла она в город, где, должно быть, решится ее судьба и где все достоинства ее, казалось бы, подаренные природой для того, чтобы достигнуть счастья, могут обернуться причиной безвозвратной ее гибели.

— Вы приехали в город, где богатые мужчины презирают девиц вольного обхождения, кроме тех, кто пожертвовал им свою честь. Если вы сохранили ее и решились хранить и дальше, готовьтесь к тому, чтобы терпеть нужду, но если ж чувствуете, что разум ваш небрежет предрассудками и готов согласиться на все, дабы доставить вам безбедную жизнь, постарайтесь, во всяком случае, не дать себя обмануть. Не берите на веру те золоченые слова, какие станет говорить вам мужчина, пылающий страстью и жаждою добиться ваших милостей; верьте тогда лишь, когда прежде слов увидите дела, ибо пыл, обретя наслаждение, гаснет, и вы окажетесь в ловушке. Бойтесь также искать бескорыстных чувств в тех, кого увлечете своими прелестями: вам дадут в изобилии фальшивых монет и заставят платить полновесной. Будьте недоступной. Сам я уверен, что не причиню вам зла, и надеюсь, что сделаю добро; дабы и вы убедились в этом, я стану обходиться с вами по-братски, ибо слишком еще молод, чтобы быть вам отцом; я не говорил бы всего этого, когда б не находил вас очаровательной.

Тут наконец вошел ее брат, милый и весьма стройный восемнадцатилетний мальчик, который, однако, вовсе не умел держаться, говорил весьма мало и лицо имел совсем невыразительное. Мы позавтракали; я пожелал услышать от него самого, какое поприще он счел бы для себя привлекательным, и он отвечал, что готов на все, только бы жить честным трудом.

— Есть ли у вас какой-нибудь дар?

— Я недурно пишу.

— Это уже кое-что. Если станете выходить на улицу, не показывайтесь никому на глаза; избегайте кофейных домов, а на прогулках не вступайте ни с кем в разговоры. Обедайте дома, с сестрой, и, не откладывая, снимите себе в пятом этаже маленький кабинет. Напишите сегодня же что-нибудь по-французски, а завтра утром отдайте написанное мне и будьте надежны. Что же до вас, сударыня, то вот книги, выбирайте любые. Бумаги ваши у меня, а сообщить что-то я смогу только завтра, ибо возвращаюсь очень поздно.

Она взяла несколько книг и удалилась с видом весьма благочинным, сказав, что во всем полагается на меня.

Страстно желая услужить этой девушке, я во весь день, куда бы ни пошел, говорил о ее деле, и повсюду, от мужчин и от женщин, слышал, что коли она хороша собою, удача непременно ей улыбнется, надобно только не прекращать попыток; в отношении же брата меня заверили, что если он умеет писать, то его удастся определить в какую-нибудь канцелярию. Мне пришла в голову мысль найти какую-нибудь достойную женщину, которая бы рекомендовала и представила девушку г-ну д'Аржансону. То был единственно верный путь, я знал, что сумею пока ее поддержать, и просил Сильвию переговорить на сей счет с г-жою де Монконсей, каковая имела большое влияние на устроения военного министра. Сильвия обещала, пожелав прежде видеть саму барышню.

Возвратившись к себе в одиннадцать часов, увидел я свет в комнате Везиан, постучал, и она открыла со словами, что не ложилась спать в надежде видеть меня.

Я дал ей отчет во всем, что для нее сделал, и понял, что она, преисполненная благодарности, готова на все. О положении своем говорила она с видом благородного безразличия, каковой помогал ей сдерживать слезы; она не хотела плакать, но я видел, что глаза ее блестят еще сильнее от навернувшихся слез, зрелище это исторгло из моей груди вздох, но я тут же его устыдился. Беседа наша продолжалась уже два часа. Благоприятно и к слову поведала она, что никогда еще не любила, а значит, достойна такого возлюбленного, какой в обмен на пожертвованную ему честь воздаст ей по заслугам. Смешно было бы полагать, что воздаянием этим непременно должен стать брак; хотя юная Везиан не оступилась ни разу, она была не такая дура, чтобы твердить, будто не сделает ложного шага и за все золото в мире: мечтала она лишь о том, чтобы отдаться не из пустой прихоти и не задешево.

Слушая эти искренние, не по юному ее возрасту, разумные речи, я вздыхал и сгорал от страсти. Мне вспоминалась бедняжка Лючия из Пасеано, мое раскаяние, то, как я ошибся, поступивши с нею

подобным образом; теперь же я видел, что сию подле овечки, каковая станет скоро жертвою какого-нибудь голодного волка, но вскормлена отнюдь не для этого, и чувства ее благодаря воспитанию достойны того, чтобы и впредь не расставаться с добродетелью и честью. Я вздыхал, ибо не в силах был ни составить счастье ее, завладев ею незаконно, ни сделаться ее телохранителем. Больше того, я видел, что, став покровителем ее, причину ей скорее зло, нежели добро, и не только не помогу ей достигнуть богатства честным путем, но, быть может, окажусь причиной ее гибели. Она сидела подле меня, я же говорил с нею о чувствах, но не о любви, и чересчур часто целовал ей руки, бессильный и прийти к какому ни то решению, и начать дело, что вмиг пришло бы к завершению и оттого заставило бы меня удержать ее при себе; тем самым лишалась она надежды на удачу, а я — возможности от нее избавиться. Женщин я любил до безумия, но всегда предпочитал им свободу. Однажды я оказался в опасности и едва не пожертвовал ею, но по чистой случайности спасся.

Лишь в три часа пополудни оставил я девицу Везиан, каковая, без сомнения, не могла приписать сдержанность мою на счет добродетели и, должно быть, сочла ее следствием стыда, либо бессилия, либо какой-то тайной болезни; но отнюдь не безразличной холодности, ибо любовный мой пыл ясно читался и в глазах, и в той смешной жадности, с какой целовал я ей руки. Таким принужден я был предстать перед этой прелестной девушкой и впоследствии раскаивался. Пожелав ей доброй ночи, я сказал, что завтра мы пообедаем вместе.

Отобедали мы очень весело, и брат ее отправился на прогулку. Из окон моей комнаты видна была вся Французская улица, а равно и кареты, съезжавшиеся к дверям Итальянского театра, где в тот день было великое стечение публики. Я спрашиваю у соотечественницы, не желает ли она, чтобы я отвел ее в комедию; она просит об этом; я усаживаю ее в амфитеатр и оставляю одну, сказав, что мы увидимся дома в одиннадцать часов. Мне не хотелось быть с нею рядом, ибо пришлось бы непременно отвечать на вопросы: чем проще была она одета, тем более привлекала внимание.

Отужинав у Сильвии, возвращаюсь я домой и вижу у дверей весьма изящный экипаж; мне говорят, что это карета одного молодого господина, который ужинал с барышнею Везиан и теперь еще не ушел. Вот она и на пути к счастью. Я смеюсь над собою и иду спать.

Наутро, поднявшись, я вижу, как у дверей отели останавливается фиакр, из него выходит молодой человек в утреннем платье, поднимается по лестнице и, слышу, входит к моей соседке. Мне все равно. Я одеваюсь и собираюсь уходить, но тут является Везиан и говорит, что не входит к сестре, потому что у нее тот самый господин, который накормил их ужином.

— Это в порядке вещей.

— Он богатый и вежливый необычайно. Он хочет сам отвезти нас в Версаль и немедля определить меня на какое-нибудь место.

— Кто он?

— Не имею понятия.

Я кладу бумаги его в конверт, запечатываю, вручаю ему пакет, чтобы вернул сестре, и ухожу. Возвращаюсь к себе в три часа, и хозяйка передает мне записку, которую уехавшая мадемуазель сказывала отдать мне. Я иду в комнату, открываю конверт, нахожу в нем два луидора и такие слова: «Возвращаю с благодарностью деньги, какими вы ссудили меня. Граф Нарбоннский оказывает мне внимание и, без сомнения, не желает мне ничего иного, как только добра, а также и брату моему: напишу вам обо всем из дома, где ему угодно меня поселить, чтобы я ни в чем не знала недостатка; но дружба ваша для меня весьма и весьма дорога, и мне бы очень не хотелось потерять ее. Брат остается в своем кабинете в пятом этаже, и комната моя весь месяц будет за мной, я за все заплатила».

Она рассталась с братом: этим все сказано. Поторопилась. Решив ни во что больше не вмешиваться, я браню себя, что отдал ее нетронутой этому юному графу, который сделает из нее Бог весть что. Я одеваюсь и отправляюсь к Французам, справиться об этом Нарбонне: хоть и был я сердит, но чувствовал себя стороною заинтересованной и желал все знать. Во Французской комедии первый же встречный сообщает, что Нарбонн — сын богача, зависит от отца, весь в долгах как в шелках и не пропускает ни одной девицы в Париже.

Всякий день ходил я на два-три спектакля — не столько ради Везиан, каковую, как мне казалось, презирал, сколько для того, чтобы встретить этого Нарбонна: мне любопытно было свести с ним знакомство; неделя прошла, а мне так и не удалось ничего узнать, и юного сего господина я не видел. Я начинал уже забывать это приключение, как вдруг явился ко мне в восемь утра Везиан и сказал, что сестра его у себя в комнате и желает побеседовать со мною. Не теряя ни минуты, иду я к ней и застаю ее в глубокой печали и с заплаканными глазами. Она велела брату идти погулять и вот что рассказала:

— Я решила, что г-н де Нарбонн человек честный, ибо мне надобно было его таковым считать; я сидела там же, где вы меня оставили, он подсел ко мне, сказал, что лицо мое привлекло его внимание, и спросил, кто я такая. Я отвечала ему то же, что и вам. Вы обещали подумать обо мне; но Нарбонн объявил, что ему нет нужды думать, он все сделает теперь же. Я поверила ему и оказалась

в дураках: он меня обманул; он подлец.

Она не могла более сдерживать слез, и я отошел к окну, чтобы дать ей поплакать вволю, а несколькими минутами позже снова уселся с нею рядом.

— Расскажите мне все, дорогая Везиан, облегчите душу без всякого стеснения. Не считайте, будто виноваты передо мною, ибо по сути я и есть причина вашего несчастья. Когда б я по неосторожности не отвел вас в комедию, вы бы сейчас не печалились и не терзали себе душу.

— Увы, сударь, не надо так говорить! Могу ли я упрекать вас за то, что вы поверили в мое благоразумие? Короче. Он обещал позаботиться обо мне во всем при условии, что я дам ему верное доказательство доверия, какое он заслужил; иными словами, что я перееду жить к одной добропорядочной женщине, у которой снимал он маленький домик, но непременно без брата, ибо злые языки могли счесть его за моего любовника. Я подалась на уговоры. Несчастливая! Как могла я поехать, не спросив у вас совета? Он сказал, что почтенная женщина, к которой отправляет меня, как раз и отведет меня в Версаль, а он сам позаботится, чтобы там же оказался мой брат и мы вместе были представлены министру. Он обманул меня. После ужина он удалился, сказав, что завтра утром заедет за мною на фиакре, а еще дал мне два луидора и золотые часы; я полагала, что могу принять их, не связывая себя никакими обязательствами, — ведь он богатый господин и говорил, что нет у него другого желания, кроме как сделать мне добро.

Когда приехали мы в домик, он представил меня женщине, на вид нимало не почтенной, и продержал там всю неделю: приходил, уходил, выходил, возвращался, но так и не делал ничего решительного; и вот наконец сегодня в семь часов утра женщина эта сказала, что г-н граф принужден семейными обстоятельствами отправиться в деревню, что у ворот ожидает меня фиакр, который отвезет меня обратно в Бургундскую отель, а сам он заедет повидаться со мною, как только возвратится. Состроив грустную мину, она сказала, что мне придется отдать ей подаренные им золотые часы, ибо г-н граф забыл заплатить часовщику, и она должна их вернуть. Не говоря ни слова, я в тот же миг отдала часы, сложила в платок все вещи, что брала с собою, и возвратилась сюда тому полчаса.

Минутою позже я спросил, рассчитывает ли она снова увидеть графа, когда он приедет назад из деревни.

— Чтобы я встречалась с ним? Чтобы я стала с ним разговаривать?!

Я спешно возвратился к окну, чтобы не мешать ей еще поплакать: она задыхалась от рыданий. Никогда еще несчастная, попавшая в беду девица не пробуждала во мне подобного участия. На место нежности, какую внушала она мне неделю назад, пришла жалость; она не укоряла меня, однако ж сам я полагал себя главным виновником ее несчастья, а значит, обязан был питать к ней прежнюю дружбу. Гнусное поведение Нарбонна привело меня в такое негодование, что, знай я, где найти его в одиночестве, непременно отправился бы туда, ничего не говоря Везиан, и вызвал его на поединок.

Я остерегся выпрашивать у нее в подробностях о том, как провела она эту неделю в маленьком домике. Такие истории знал я наизусть; мне не было нужды унижать ее, понуждая обиняками, чтобы она обо всем рассказала. В отобранных часах представилась мне вся низость, гнусная лживость и постыдная скаредность этого несчастного. Доле четверти часа продержала она меня у окна, потом позвала, и, вернувшись, я увидел, что она повеселела. Слезы — самое верное лекарство и облегчение в большом горе. Она просила меня относиться к ней по-отцовски, уверяя, что впредь будет этого достойна, и посоветовать, как ей теперь быть.

— Сейчас, — сказал я, — вам надобно забыть не только злодеяние Нарбонна, но забыть и собственную свою ошибку, позволившую ему это злодеяние совершить. Что сделано, дорогая Везиан, то сделано; вам надобно полюбить себя самое снова и вернуть красивому вашему личику то же выражение, что сияло на нем неделю раньше. Тогда читалась в нем порядочность, непорочность, чистосердечие и то благородное достоинство, что вызывает симпатию у всякого, кто умеет его ценить. Все это должно и нынче выражать лицо ваше, ибо только эти черты привлекают порядочных людей, а вам, как никогда, надобно быть привлекательной. Что касается до меня, то дружба моя слабое подспорье, но я обещаю быть вам другом во всем, ибо теперь, да будет вам известно, вы получили на это право, какого не имели недель раньше. Обещаю не покидать вас до тех пор, пока вы твердо не встанете на ноги. Сию минуту не знаю, что посоветовать; но я подумаю о вас.

— Ах, дорогой друг! Вы обещаете подумать обо мне — чего же мне еще желать? Несчастливая я! Обо мне подумать некому.

Мысль эта так растрогала ее, что подбородок у нее задрожал, и под гнетом горя упала она без чувств. Я не стал никого звать и хлопотал над нею до тех пор, пока она не пришла в себя и не успокоилась. Я рассказывал ей истинные и выдуманнные истории про мошенников, которые только тем и занимаются в Париже, что обманывают девиц; чтобы рассмешить ее, поведал и несколько забавных анекдотов, а напоследок заключил, что она должна благодарить небо, пославшее ей Нарбонна, ибо, не случись этой беды, она не была бы уверена, что впредь станет осмотрительней.

Во все время, что провели мы наедине, и я изливал истинный бальзам ей на сердце, мне не

составило никакого труда удержаться и не брать ее за руку или иным каким-нибудь образом не изъявить свою нежность: воистину единственным чувством, охватившим меня, была жалость. Когда спустя два часа увидел я, что она прониклась моими увещаниями и ободрилась, и готова героически сносить свое несчастье, то ощутил настоящее удовольствие. Внезапно она встает, глядит на меня не то доверительно, не то с сомнением и спрашивает, нет ли у меня на сегодня неотложных дел; я отвечаю, что нет.

— Вот и хорошо, — говорит она, — отвезите меня куда-нибудь в окрестности Парижа, на свежий воздух: там я смогу вернуть себе тот внешний вид, каковой, как вы полагаете, должен привлечь ко мне благосклонное внимание всякого, кто меня увидит. Когда бы удалось мне в будущую ночь хорошенько выспаться, то я смогла бы, чувствую, снова быть счастлива.

— Премного благодарен за такое признание; я иду одеваться, и мы куда-нибудь отправимся, а покуда и брат ваш вернется.

— При чем тут мой брат?

— Подумайте сами, милый друг: ведь поведением своим вы должны заставить Нарбонна устыдиться и сделаться несчастным до конца дней. Рассудите — вдруг дойдет до него, что в тот самый день, когда он вас отослал, вы отправились совсем одна со мною за город: он станет праздновать победу и скажет, что обошелся с вами по заслугам. Но если с вами будет ваш брат и я, ваш соотечественник, вы не доставите никакой пищи злословию и никакого повода для клеветы.

Славная девочка покраснела и приготовилась дожидаться брата; тот вернулся четверть часа спустя, и я сразу же послал за фиакром. Мы как раз садились в него, как тут пришел ко мне в гости Баллетти. Я представляю его барышне, приглашаю ехать с нами на прогулку, он соглашается, и мы отправляемся в «Большой Бульжник» — отведать рыбы по-матросски, шпигованной говядины, омлета, голубей в распластку; веселье, что пробудил я в девушке, скрасило сей беспорядочный обед.

После обеда Везиан отправился гулять в одиночестве, а сестра его осталась с нами. К моему удовольствию, Баллетти находил ее очаровательной, и тут возникает у меня замысел — не научить ли другу моему ее танцевать? Не спрашиваясь у девушки, рассказываю я ему о том, в каком она положении, отчего пришлось ей уехать из Италии, о слабой надежде ее получить какую-нибудь пенсию при дворе и о нужде в подобающем для прекрасного пола занятии, что позволило бы ей заработать на жизнь. Баллетти, подумав, говорит, что готов сделать все, что потребуется, осматривает внимательно фигуру и сложение девицы и заверяет ее, что найдет способ заставить Лани взять ее в Оперу, фигуранткой в балете.

— Значит, — говорю я, — надобно завтра же начать с ней уроки. Комната барышни рядом с моей.

План, родившийся в одночасье, готов, и тут Везиан вдруг начинает умирать со смеху: мысль, что она может стать танцовщицей, никогда не приходила ей в голову.

— Но разве можно научить танцевать так скоро? Ведь я умею танцевать один менуэт, и у меня хороший слух на контрдансы; но я не знаю ни одного па!

— Фигурантки из Оперы умеют не больше вашего, — отвечает Баллетти.

— А сколько я запрошу с г-на Лани? По-моему, вряд ли я могу рассчитывать на многое.

— Нисколько. Фигуранткам в Опере не платят.

— На что же я стану жить?

— Пусть это вас не заботит. При вашей внешности немедля найдется добрый десяток богатых сеньоров, которые изъявят вам свое почтение. Вам останется лишь не ошибиться в выборе. Вы еще явитесь нам в бриллиантах с ног до головы.

— Теперь понимаю. Меня возьмут и станут содержать как любовницу.

— Совершенно верно. Это гораздо лучше, чем четыреста франков пенсионера, которого и добиться-то вы сможете лишь с превеликим трудом.

Тут она в изумлении посмотрела на меня, не понимая, говорим ли мы всерьез или просто болтаем; Баллетти отошел, и я заверяю ее, что лучшего выбора ей не сделать, если только она не предпочтет жалкое место горничной у какой-нибудь знатной дамы: его можно будет подыскать. Она отвечает, что не желала бы служить горничной даже у самой королевы.

— А фигуранткой в Опере?

— И то лучше.

— Вы смеетесь?

— Но это все уморительно смешно! Любовница большого вельможи, что осыплет меня бриллиантами! Я выберу, какой подряхлее.

— Чудесно, дорогой друг; только смотрите не наставьте ему рогов.

— Обещаю, что буду ему верна. Он найдет место моему брату.

— И не сомневайтесь.

— Но пока я не попала в Оперу и не возник еще мой престарелый возлюбленный, на чьи деньги я стану жить?

— На мои, Баллетти и всех моих друзей, у которых нет другого желания, как только видеть

ваши красивые глаза, знать, что живете вы в благоразумии, и помогать вашему счастью. Убедил я вас?

— Больше чем убедили; я стану поступать только так, как вы скажете. Только не лишайте меня вашей дружбы.

В Париж мы возвратились уже ночью. Оставив девицу Везиан в отели, я отправился к своему другу ужинать, и тот за столом просил мать переговорить с Лани. Сильвия сказала, что это лучше, чем хлопотать о жалкой пенсии в военной канцелярии. Заговорили об одном плане, что обсуждался в совете Оперы и состоял в том, чтобы пустить все места фигуранток и певиц в оперном хоре на продажу; хотели даже назначить им высокую цену, ибо чем дороже будут места, тем больше уважения станут питать к купившим их девицам. План этот, имея в виду распущенные нравы, обладал тем не менее видимой разумностью. Он мог бы отчасти придать благородства этой породе, каковая и до сей поры почитается презренной.

В то время, как я приметил, многие фигурантки и певицы, хотя и были безобразны и бездарны, жили в свое удовольствие; ибо заранее было известно, что всякая девица здесь принуждаема обстоятельствами отказаться от благоразумия, как именуют это простые смертные, — та, что решила бы жить благоразумно, умерла бы с голоду. Но если у новенькой достанет ловкости вести себя чинно всего лишь один-единственный месяц, судьба ее будет устроена навверное, ибо завладеть столь почитаемой разумницей станут стремиться самые почтенные сеньоры. Любой вельможа приходит в восторг, когда при появлении девицы на сцене в публике называют его имя. Он даже иногда спускает ей измены, лишь бы не проматывала его подношений и держала дело в известном секрете; редко когда кто-нибудь возражает против тайного любовника, да и сам содержатель не отправится никогда ужинать к возлюбленной, не известив ее заранее. Причина, отчего французские вельможи так жаждут заполучить на содержание девицу из Оперы, в том, что все девицы эти состоят в Королевской Академии музыки, а стало быть, принадлежат королю.

Я возвратился домой в одиннадцать часов, увидел, что дверь в комнату девицы Везиан приоткрыта, и вошел. Она была в постели.

— Я сейчас встану, мне надобно с вами поговорить.

— Лежите, ведь разговору это не помеха. В постели вы, по-моему, красивее.

— Значит, мне тут больше нравится.

— О чем вы хотели со мною поговорить?

— Ни о чем, всего лишь о будущем моем ремесле. Я стану подвизаться в добродетели, дабы найти Челоуека, который любит добродетель единственно для того, что может ее отнять.

— Так оно и есть, и, поверьте, все в жизни устроено в том же роде. Мы всегда и все направляем к собственному благу, и каждый из нас — тиран. Вот почему лучший из смертных — тот, кто снисходителен. Вы, я вижу, превращаетесь в философа, это мне нравится.

— А что надо делать, чтобы стать философом?

— Надо думать.

— Сколько времени?

— Всю жизнь.

— Что ж, постоянно, не прекращая?

— Не прекращая; но притом всякий зарабатывает, что может, и обзаводится той частицею счастья, какая ему доступна.

— А счастье, как оно проявляется?

— Оно проявляется во всех удовольствиях, что доставляет себе философ, и еще когда он сознает, что доставил их себе своими собственными трудами, поправ притом любые предрассудки.

— Что такое удовольствие? И что такое предрассудок?

— Удовольствие есть наслаждение чувств в настоящий момент; это полное удовлетворение, какое доставляешь им во всем, чего они жаждут; а когда органы чувств, истощенные либо усталые, желают отдохнуть, дабы перевести дух или восстановить силы, удовольствие переносится в область воображения; воображение довольно, когда размышляет о счастье, какое даровал ему покой. Иными словами, философ — это тот, кто не отказывает себе ни в каком удовольствии, если только не ведет оно к большим, нежели само, горестям, и кто умеет их себе придумывать.

— Но вы говорите, что для этого надобно непременно поправить всякие предрассудки. Что такое предрассудок, и как поправить его, и откуда взять для этого силы?

— Вы, дорогой друг, задаете мне вопрос, важней которого нет в нравственной философии; ответа на него ищешь всю жизнь. Но скажу вам коротко: предрассудком именуется всякий мнимый долг, причину которого нельзя отыскать в природе.

— Значит, главным занятием философа должно сделаться изучение природы?

— Это единственная его обязанность. Ученее всех тот, кто меньше других ошибается.

— А кто из философов, по-вашему, менее всех ошибался?

— Сократ.

— Но он ошибся.

— Да, но в метафизике.

— О! какая мне разница. Полагаю, он мог и обойтись без ее изучения.

— Вы заблуждаетесь, ибо самая нравственность есть метафизика физики — ведь кроме природы, ничего не существует. По сей причине позволяю вам считать за сумасшедшего любого, кто скажет, будто совершил новое открытие в метафизике. Но теперь я, должно быть, говорю вещи неясные. Не спешите, думайте, выводите следствия из правильных размышлений и никогда не упускайте из виду своего счастья — вы будете счастливы.

— Урок, что вы преподали, нравится мне гораздо больше, чем тот урок танцев, какой станет завтра давать мне Баллетти: я предвижу, что стану скучать, а пока, с вами, мне не скучно.

— Почему знаете вы, что теперь вам не скучно?

— Потому, что мне не хочется, чтобы вы уходили.

— Умереть мне на этом месте, дорогая Везиан, если хоть когда-нибудь философ дал определение скуки лучше вашего! Что за удовольствие! Скажите, отчего мне хочется изъять его вам и вас поцеловать?

— Оттого, что душа наша счастлива лишь тогда, когда находится в согласии с нашими чувствами.

— Вот и родилась на свет ваша мысль, божественная Везиан.

— Вы, божественный друг мой, стали ее повивальной бабкой, и я так вам благодарна, что испытываю одно с вами желание.

— Так удовлетворим же наши желания, дорогой друг, и поцелуемся хорошенько.

В подобных рассуждениях провели мы всю ночь напролет, и на заре убедились, что радость наша была безупречна — ни разу не вспомнили мы, что дверь комнаты оставалась открытой, а значит, ни разу не возникло у нас причины пойти ее закрыть.

Баллетти дал ей несколько уроков, ее взяли в Оперу, но пробыла она фигуранткой всего два или три месяца. Не отступая ни на шаг от заповедей, что я ей внушил и что представились разумению ее несравненными, она отвергла всех явившихся покорить ее, ибо в том или в другом непременно походили они на Нарбонна. Избранником ее стал господин, непохожий на остальных: то, что он сделал для нее, не сделал бы никто другой. Первым делом заставил он ее уйти из театра. Он взял для нее небольшую ложу, где являлась она всякий день, когда давали оперу, и где принимала содержателя своего и друзей. То был г-н граф де Трессан, или де Треан, если не ошибаюсь; имени его я достоверно не помню. До самой его смерти была она с ним неизменно счастлива и составила его счастье. Она и теперь еще живет в Париже, не нуждаясь ни в чьей помощи, ибо любовник всем ее обеспечил. О ней все забыли, ибо пятидесятишестилетняя женщина в Париже все равно что мертва. Она съехала из Бургундской отели, и после я ни разу с нею не говорил; иногда я видел ее в бриллиантах, а она меня, и души наши приветствовали друг друга. Брату ее подыскали место, но он не нашел ничего для себя лучшего, как жениться на девице Пичинелли; теперь она, должно быть, умерла.

## ГЛАВА XI

Красавица О-Морфи. Обманщик живописец. Я занимаюсь каббалистикой у герцогини Шартрской. Я покидаю Париж. Остановка в Дрездене и отъезд из этого города

На ярмарке Сен-Лоран другу моему Патю пришла охота поужинать с одной фламандской актрисой по имени Морфи, он пригласил меня разделить сей каприз, и я согласился. Сама Морфи меня не прельщала, но не все ли равно — довольно и участия к удовольствию друга. Он предложил два луидора, каковые тотчас же были приняты, и после оперы отправились мы к красотке домой, на улицу Двух Врат Спасителя. После ужина Патю захотелось с нею лечь, а я спросил, не найдется ли мне какого канапе в уголку. Сестренка Морфи, прелестная оборванка, к тому же грязная, предложила отдать мне свою постель, но запросила малый экю; я обещал. Она ведет меня в какую-то комнатку и показывает тюфяк на трех-четырёх досках.

— И это ты зовешь постелью?

— Это моя постель.

— Я такой не хочу, и не будет тебе малого экю.

— Вы что, собираетесь спать тут раздетым?

— Конечно.

— Что за вздор! У нас нет простынь.

— Значит, ты спишь одетая?

— Все нет.

— Ладно. Ступай тогда ложись сама и получишь малый экю. Я хочу на тебя посмотреть.

— Хорошо. Только вы не станете ничего со мною делать.

— Ровным счетом.

Она раздевается, ложится и накрывается старым занавесом. От роду ей было тринадцать лет.



Я гляжу на девочку и, стряхнув с себя все предрассудки, вижу уже не нищенку, не оборванку, но обнаруживаю безупречнейшую красавицу. Хочу рассмотреть ее всю, она отнекивается, смеется, не хочет; но шестифранковый эюю делает ее покорней барашка. Единственным изъяном ее была грязь, и вот я мою ее всю собственными руками; как известно читателю моему, восхищение нераздельно с иного рода способами одобрить красоту, а малышка Морфи, я видел, готова позволить мне все что угодно, кроме того, к чему я и сам не имел желаний. Она предупреждает, что этого не разрешит, ибо это, по мнению старшей ее сестры, стоит двадцать пять луидоров. Я отвечаю, что на сей счет мы поторгнемся в другой раз; а пока она, в залог будущей снисходительности, выказывает и расточает услужливость во всем, что только мог я пожелать.

Отдав сестре шесть франков, малышка Елена, которую, насладившись, оставил я нетронутой, сказала ей, что рассчитывает от меня получить. Та перед уходом отозвала меня со словами, что нуждается в деньгах и сколько-нибудь сбросит. Я отвечаю, что мы поговорим об этом завтра. Мне хотелось показать девушку эту Патю в том виде, в каком видел ее я, чтобы он сознался — более совершенной красоты невозможно и представить. Белая, как лилия, Елена наделена была всеми прелестями, какие только может произвести природа и искусство живописца. Сверх того, прекрасное ее лицо изливало в душу всякого, кто его созерцал, отраднейший покой. Она была блондинка. Вечером я пришел и, не сойдясь в цене, дал двенадцать франков, чтобы сестра уступила ей свою постель, и наконец уговорился платить всякий раз по двенадцать франков, пока не решусь заплатить все шестьсот. Процент немалый, но Морфи была греческого племени и никаких угрызений совести на сей счет не знала. Я, без сомнения, никогда бы не решился потратить двадцать пять луидоров, ибо после считал бы, что переплатил. Старшая Морфи полагала меня круглым дураком: за два месяца истратил я триста франков ни за что. Относила она это на мою скардность. Какая скардность! Я дал шесть луидоров одному немецкому художнику, чтобы он написал ее с натуры обнаженной, и она вышла как живая. Он изобразил ее лежащей на животе, опираясь руками и грудью на подушку и держа голову так, словно лежала на спине. Искусный художник нарисовал ноги ее и бедра так, что глаз не мог и желать большего. Внизу я велел написать: O-Morphi. Слово это не из Гомера, но вполне греческое; означает оно Красавица.

Но пути всемогущей судьбы неисповедимы. Друг мой Патю пожелал иметь копию портрета. Возможно ль отказать другу в такой малости? Тот же художник написал копию, отправился в Версаль и показал ее в числе многих других портретов г-ну де Сен-Кентену, каковой показал их королю, а тому пришло любопытство посмотреть, верен ли портрет Гречанки. Государь полагал, что когда портрет верен, то сам он вправе присудить оригиналу обязанность погасить тот пламень, каковой зажег он в королевской душе.

Г-н де Сен-Кентен спросил живописца, может ли он доставить в Версаль оригинал Гречанки, и тот отвечал, что, по его мнению, дело это весьма несложное. Он явился ко мне, рассказал, как было дело, и я рассудил, что вышло недурно. Девица Морфи задрожала от радости, когда я сказал, что ей с сестрою и проводником-художником придется ехать ко двору и положиться на волю Провидения. В одно прекрасное утро она отмыла малышку, прилично ее одела и отправилась с художником в Версаль, где живописец велел ей погулять в парке, пока он не вернется.

Вернулся он с камердинером, каковой отправил его на постоянный двор поджидать сестер, а их самих отвел в зеленую беседку и запер. Через день сама Морфи рассказала, что полчасом спустя явился в одиночестве король, спросил, она ли Гречанка, вынул из кармана портрет, рассмотрел хорошенько малышку и сказал:

— В жизни не видал подобного сходства.

Он уселся, поставил ее между колен, приласкал и, удостоверившись своей королевской рукой в ее невинности, поцеловал. O-Морфи глядела на него и смеялась.

— Отчего ты смеешься?

— Я смеюсь, потому что вы как две капли воды похожи на шестифранковый эюю.

Монарх от подобной непосредственности громко расхохотался и спросил, хочется ли ей остаться в Версале; она отвечала, что надобно договориться с сестрой, сестра же объявила королю, что большего счастья нельзя и желать. Тогда король удалился, прежде заперев их на ключ. Четверть часа спустя Сен-Кентен выпустил их, отвел малышку в покои первого этажа, передал в руки какой-то женщины, а сам со старшей сестрой отправился к немцу, каковой получил за портрет пятьдесят луидоров, а Морфи ничего. Сен-Кентен спросил только ее адрес и заверил, что даст о себе знать. Она получила тысячу луидоров и сама показывала их мне днем позже. Честный немец отдал мне двадцать пять луидоров за мой портрет и написал мне другой, сделав копию с портрета, что был у Патю. Он предложил писать для меня бесплатно всех красавиц, каких мне будет угодно. С величайшим удовольствием глядел я, как радуется славная фламандка, что, любясь пятьюстами двойных луидоров, полагала себя разбогатевшей, а меня своим благодетелем.

— Я не ожидала столько денег; Елена и впрямь хорошенькая, но я не верила, когда она рассказывала о вас. Возможно ль, дорогой друг, что вы оставили ее девственницей? Скажите правду.

— Если она была девственницей прежде, то, уверяю вас, через меня ею быть не перестала.

— Прежде была наверное, ибо никому, кроме вас, я ее не поручала. Ах! Благородный вы человек! Она суждена была королю. Кто бы мог подумать. Господь всемогущ. Дивлюсь вашей добродетели. Идите сюда, я вас поцелую.

О-Морфи пришлось по сердцу королю, каковой называл ее только этим именем, даже более простодушием своим, что было для него в диковинку, нежели красотой черт, хотя и самых правильных. Его Величество поселил ее на квартире в Оленьем Парке, где положительно держал свой сераль и где позволено было появляться лишь дамам, представленным ко двору. Через год малышка разрешилась сыном, каковой был отправлен в неизвестном направлении, ибо пока королева Мария была жива, король не желал знать своих бастардов.

Через три года О-Морфи впала в немилость. Король дал ей четыреста тысяч франков приданого и выдал замуж в Бретань, за одного офицера генерального штаба. В 1783 году я повстречал сына от этого брака в Фонтенбло. Было ему двадцать пять лет, и про историю своей матери, на которую походил как две капли воды, он ничего не знал. Я просил передать ей от меня поклон и оставил имя свое в его записной книжке.

Причиной, по какой впала в немилость эта прелестница, была злая шутка г-жи де Валентинуа, невестки князя Монакского, известной всему Парижу. Дама эта, нанеся однажды визит в Олений Парк, научила О-Морфи рассмешить короля и спросить, как он обходится со своей старухой женою. Незатейливая О-Морфи задала королю дерзкий и оскорбительный вопрос в этих самых словах и настолько его поразила, что государь, поднявшись и испепелив ее взором, произнес:

— Несчастная, кто подговорил вас задать мне подобный вопрос?

Дрожащая О-Морфи созналась; король повернулся к ней спиной, и более она его не видела. Графиня де Валентинуа вновь показала при дворе лишь два года спустя. Людовик XV знал, что как супруг не оказывает жене должного уважения, и желал, по крайней мере, вознаградить ее за это как король. Горе тому, кто осмелился бы выказать ей непочтительность.

Несмотря на весь ум французов, Париж был и вечно пребудет городом, где обманщику сопутствует удача. Когда обман раскрыт, все над ним потешаются и смеются, но громче всех смеется обманщик, ибо успел уже разбогатеть *recto stat famula talo* \*. Эта черта нации, столь легко попадающей в тенета, происходит от всевластия моды. Обман нов и необычен, а значит, входит в моду. Довольно вещи иметь лишь способность удивлять каким-нибудь необыкновенным свойством — и вот уже все принимают ее, и никто не скажет «это невозможно», ибо боится прослыть глупцом. Во Франции одни только физики знают, что между способностью и действием дистанция бесконечная, тогда как в Италии эта аксиома неколебимо утвердилась во всех умах. Один живописец за несколько времени разбогател, объявив, что способен написать портрет человека, не видя его; просил он только одного — чтобы заказчик портрета хорошенько все рассказал и описал лицо с такою точностью, чтобы живописцу нельзя было ошибиться. Получалось из этого, что портрет делал еще более чести тому, кто рассказывал, нежели живописцу; порой же заказчик принужден был говорить, будто портрет совершенно похож, ибо в ином случае художник выдвигал законнейшее из оправданий и объявлял, что коли портрет вышел непохож, то вина здесь того, кто не сумел описать ему облик человека. Я ужинал у Сильвии, когда кто-то сообщил эту новость — и, заметим, без всякого смеха и не подвергая сомнению искусство живописца, каковой, говорили, написал уже более сотни портретов, и все весьма схожи. Все нашли, что это очень мило. Один я, умирая от смеха, сказал, что это обман. Тот, кто принес известие, в гневе предложил мне побиться об заклад на сто луидоров, но я и тут посмеялся, ибо спорить о подобном предмете значит рисковать, что тебя обведут вокруг пальца.

— Но портреты похожи.

— Не верю нисколько; а если и похожи, стало быть, тут какое-то мошенничество.

Сильвия одна была на моей стороне и приняла приглашение рассказчика отправиться вместе со мной на обед к этому художнику. Придя, видим мы множество живописных портретов, и все будто бы похожи; но судить мы об этом не могли, ибо не были знакомы с оригиналами.

— Не напишете ли, сударь, портрет моей дочери, не видя ее? — спрашивает Сильвия.

— Конечно, сударыня, если только вы уверены, что сумеете описать мне ее лицо.

Тут мы перемигнулись, и немедля рассказано было все, что только позволяли приличия. Звали живописца Сансон; он угостил нас добрым обедом, а разумная племянница его понравилась мне беспредельно. Я был в добром расположении духа, непрестанно ее смешил и сумел расположить к себе. Живописец сказал нам, что более всего любит не обед, но ужин и почтет за счастье видеть нас за ужином всякий раз, как мы решим оказать ему эту честь. Он показал более полусотни писем из Бордо, Тулузы, Лиона, Руана, Марселя: в них получил он заказ на портреты с описанием тех лиц, что желали видеть изображенными; три-четыре из них я прочел с неизъяснимым удовольствием. Платили ему вперед.

Двумя или тремя днями позже встретил я на ярмарке его хорошенькую племянницу, каковая упрекнула меня, что я не появляюсь у дяди за ужином. Племянница была весьма привлекательна, и, польщенный упреком, я на завтра отправился туда, а через неделю уже не мог отказаться от этих визитов. Я влюбился в племянницу, а она была неглупа и, не любя меня, желала только посмеяться и

не давала мне никакой награды. Однако же я не терял надежды и понимал, что лечу в пропасть.

Однажды пил я в одиночестве у себя в комнате кофе и думал о ней, как вдруг является ко мне с визитом молодой человек. Я его не узнал, и он объяснил, что имел честь ужинать со мною у живописца Сансона.

— Да, да, сударь, простите, что не узнал вас сразу.

— Немудрено: за столом вы глядели лишь на мадмуазель Сансон.

— Возможно: согласитесь, она очаровательна.

— Охотно соглашусь — к несчастью своему, я слишком хорошо это знаю.

— Следственно, вы в нее влюблены.

— Увы, да.

— Так заставьте себя полюбить.

— Именно это я и пытаюсь сделать во весь прошедший год, и у меня появилась было надежда, как тут явились вы и отняли ее.

— Кто, сударь? Я?

— Вы самый.

— Весьма сожалею; однако ж не понимаю, чем могу вам помочь.

— Но это совсем не трудно; если позволите, я подскажу, как могли бы вы поступить, когда б пожелали оказать мне великое одолжение.

— Скажите, сделайте милость.

— Вы могли бы впредь никогда не появляться в ее доме.

— Это и впрямь все, что я мог бы сделать, когда бы мне чрезвычайно захотелось одолжить вас; а вы полагаете, тогда она вас полюбит?

— О! это уже мое дело. Вы покамест не ходите туда, а об остальном я позабочусь сам.

— Признаюсь, сударь, я могу вам оказать столь величайшую любезность, однако, позвольте вам заметить, мне странно, что вы на это рассчитывали.

— Рассчитывал, сударь, по долгому размышлению. Я признал в вас человека весьма умного, а потому был уверен, что для вас не составит труда вообразить себя на моем месте и что, взвесив все, вы вряд ли пожелаете биться со мною не на жизнь, а на смерть из-за барышни, на которой, полагаю, не имеете намерения жениться, тогда как единственная цель моей любви — брачные узы.

— А если б я тоже хотел просить ее руки?

— Тогда бы оба мы оказались достойны жалости, и я более, нежели вы, ибо покуда я жив, мадмуазель Сансон не будет женою другого.

Молодой человек был весьма строен, бледен, серьезен, холоден, как лед, и влюблен; то, что он явился ко мне в комнату и держал подобные речи с поразительной невозмутимостью, заставило меня задуматься. Добрых четверть часа шагал я взад-вперед, дабы сообразить истинную цену обоим поступкам и понять, который из них окажет более мою отвагу и сделает меня достойнее собственного уважения. И я понял, что мужество мое явится более в том поступке, каковой представит меня в глазах соперника человеком более мудрым, нежели он сам.

— Что станете вы думать обо мне, сударь, — спросил я с решительным видом, — если впредь я откажусь бывать у мадмуазель Сансон?

— Что вы сжалились над несчастным, который вечно будет вам признателен и готов пролить за вас свою кровь до последней капли.

— Кто вы?

— Я Гарнье, единственный сын Гарнье, виноторговца, что на улице Сены.

— Что ж, господин Гарнье, я не стану бывать у мадмуазель Сансон. Будем друзьями.

— По гроб жизни. Прощайте, сударь.

Он удаляется, а минутою позже приходит ко мне Патю; я рассказываю, как было дело, и он объявляет, что я герой, обнимает меня, а после, подумав, говорит, что на моем месте поступил бы точно так же, но на месте того, другого — нет.

Камилла, сестра Коралины, с которой я более не встречался, передала мне просьбу графа де Мельфора, в то время полковника Орлеанского полка, чтобы я через свою каббалистику дал ответ на два вопроса. Я получаю два весьма темных, но многозначительных ответа, запечатаваю и отдаю Камилле, а она просит меня на завтра отправиться вместе с нею в одно место, но не хочет сказать, куда именно. Она ведет меня в Пале-Рояль, и по маленькой лесенке поднимаемся мы в покои госпожи герцогини Шартрской, каковая является четверть часа спустя и, обласкав королеву театра, благодарит ее, что привела мою особу. После короткого приступа, весьма достойного и учтивого, но нимало не церемонного, она, держа в руках данные мною ответы, начинает перечислять все затруднения, какие ей в них встретились. Показав слегка удивление, что вопросы принадлежали Ее Высочеству, я отвечал, что понимаю в каббале, но вовсе не умею толковать ее, что ей поэтому придется доставить себе труд и, дабы прояснить ответы, составить самой новые вопросы. Тогда она пишет все, чего не поняла и желала бы узнать; я говорю, что ей надобно разделить вопросы, ибо нельзя вопрошать оракула о двух вещах сразу, и она велит мне поставить вопросы самому. Я

отвечаю, что она должна все написать своей рукой, вообразив, будто расспрашивает некий разум, каковому ведомы все тайны. Она пишет, в семи или восьми вопросах, все, что хочет узнать, потом перечитывает их сама и говорит мне с видом весьма величественным, что желала бы не сомневаться, что написанное ею никто, кроме меня, не увидит. Я даю ей в том честное слово, читаю и вижу не только то, что она права, но и то, что, положив вопросы в карман, дабы назавтра вернуть их вместе с ответами, рисковал бы запятнать свою репутацию.

— Сударыня, для работы этой мне надобно всего лишь три часа, и я хочу, чтобы Ваше Высочество были покойны. Если Ваше Высочество заняты, отправляйтесь по делам, а меня оставьте здесь, только чтобы никто мне не мешал. Когда я кончу, то все непременно запечатаю; скажите только, кому передать пакет.

— Мне самой либо госпоже де Полиньяк, если вы с нею знакомы.

— Да, сударыня, я с нею знаком.

Дав мне собственными руками огниво, дабы я, когда придет нужда запечатать пакет, мог зажечь маленькую свечку, герцогиня удалилась, а с нею и Камилла. Я остался, запертый на ключ, а тремя часами позже, когда я как раз окончил, явилась госпожа де Полиньяк, и я вручил ей пакет и удалился.

Герцогине Шартрской, дочери принца Конти, было двадцать шесть лет. Ум ее был такого свойства, какой делает всех наделенных им женщин восхитительными; весьма пылкая, без предрассудков, веселая, остроумная, она любила удовольствия и предпочитала их надежде на долгую жизнь. Пусть будет короткой и приятной: слова эти не сходили с ее уст. Сверх того, была она добра, щедра, терпелива, снисходительна и постоянна в пристрастиях. И к тому же очень хороша собою. Она горбилась — и смеялась, когда Марсель, учитель манер, хотел исправить ее осанку. Танцевала она, опустив голову и загребая ногами, и несмотря на это, была очаровательна. Главным изъяном, досаждавшим ей и портившим красивое ее лицо, были прыщи, причину которых, как полагали, являлась печень и которые на самом деле происходили от какого-то порока крови; он-то в конечном счете и привел ее к смерти, с которой боролась она до последней минуты.

Вопросы, что задала она моему оракулу, предметом своим имели ее сердечные дела, и среди прочего желала она узнать лекарство, что помогло бы ей избавиться от прыщиков на нежной ее коже: они и в самом деле огорчали всякого, кто на нее смотрел. Прорицания мои были темны всякий раз, когда я не знал обстоятельств дела, но о болезни ее высказывались ясно, и по этой самой причине стали ей дороги и необходимы.

Назавтра Камилла, как я и ждал, прислала мне после обеда записку, в которой просила бросить все и непременно быть к пяти часам в Пале-Рояле, в том самом кабинете, куда она меня приводила. Я явился, старый камердинер, ожидавший меня, немедля вышел, и пять минут спустя предо мною была прелестная принцесса.

После очень краткого, но отменно учтивого приветствия она вынула из кармана все мои ответы и спросила, есть ли у меня дела; я заверил, что единственное мое дело — служить ей.

— Прекрасно; я тоже никуда не пойду, и мы поработаем.

Тут она показала разные новые вопросы, что были у нее приготовлены на всякий предмет, и в частности, относительно лекарства от прыщей. Оракул мой сказал ей что-то, чего никто не мог знать, и внушил к себе доверие. Я строил предположения и угадал; да если б и не угадал, все равно: у меня было то же недомогание, я кое-что понимал в физике и знал, что скорое избавление от кожной болезни местными средствами могло бы убить принцессу. Я дал уже ответ, что не ранее, нежели через неделю, она сможет излечиться от внешнего проявления болезни на лице и что надобно будет год соблюдать режим, дабы излечиться вполне; но через неделю она будет выглядеть здоровой. Короче, провели мы три часа, дабы узнать все, что должна она делать. Познания оракула возбудили в ней любопытство, она повиновалась ему во всем, и неделей позже прыщи исчезли совсем. Я всякий день давал ей слабительное, прописал, что ей есть, и запретил употреблять любые мази, велел только умываться перед сном и по утрам попутниковой водою. Скромный оракул прописал принцессе умывать той же водой все места, где ей желательно было получить тот же результат, и принцесса, радуясь сдержанности оракула, повиновалась.

В тот день, когда принцесса появилась в Опере с совершенно чистым лицом, я специально отправился туда. После Оперы прогуливалась она по главной аллее своего Пале-Рояля, за нею шли самые знатные дамы, и всякий поздравлял ее; она заметила меня и удостоила улыбки. Я почувствовал себя счастливейшим человеком на свете. Лишь Камилла, г-н де Мельфор и г-жа де Полиньяк знали, что я имел честь быть у принцессы оракулом. Однако на следующий день после того, как побывала она в Опере, прыщики снова запятнали ее кожу, и мне было велено с утра отправляться в Пале-Рояль. Старик камердинер, не знавший, кто я такой, проводил меня в дивный кабинет, рядом с другим, где находилась ванная; принцесса явилась с опечаленным видом: на подбородке и на лбу у нее появились прыщики. В руках она держала вопрос к оракулу, вопрос был короткий, и я развлечения ради показал ей, как самой получить ответ. Переводя числа в буквы, она с удивлением обнаружила, что ангел укоряет ее за нарушение предписанного режима. Она не могла

это отрицать. Она съела ветчины и пила ликеры. В этот миг вошла горничная и шепнула ей что-то на ушко. Принцесса велела ей подождать минуту за дверью.

— Не сердитесь, сударь, — сказала она, — сейчас придет сюда один человек, он вам друг и умеет хранить тайну.

С этими словами кладет она все бумаги, не имеющие касательства к своей болезни, в карман и просит войти. Входит человек, которого я решительно принял за конюха. То был г-н де Мельфор.

— Посмотрите, г-н Казанова научил меня каббалистике, — сказала она и показала графу полученный ею ответ. Граф не верил.

— Что ж, — обратилась она ко мне, — надобно его убедить. Как вы думаете, что мне спросить?

— Все, что будет угодно Вашему Высочеству.

Подумав, она вынимает из кармана коробочку слоновой кости и пишет: Скажи, отчего эта мазь мне больше не помогает.

Она составляет пирамиду, столбцы, ключи, как я ее учил, и когда дело доходит до того, чтобы получить ответ, я показываю ей, как производить сложение и вычитание, от которых, казалось бы, получаются числа, но которые притом были вполне произвольны, а после, велев ей самой перевести числа в буквы, выхожу якобы по какой-то надобности. Возвращаюсь я, когда, как мне кажется, она должна была закончить перевод, и вижу, что герцогиня вне себя от изумления.

— Ах, сударь! Какой ответ!

— Быть может, ошибочный; так иногда бывает.

— Отнюдь нет: божественный! Вот он: Она действует лишь на кожу женщины, которая не рожала детей.

— Не вижу ничего удивительного в таком ответе.

— Потому что вы не знаете, что это мазь аббата де Броса, она излечила меня пять лет назад, за десять месяцев до того, как я родила г-на герцога де Монпансье. Я бы отдала все на свете, чтобы самой научиться этой каббалистике.

— Как, — говорит граф, — это та самая мазь, историю которой я знаю?

— Она самая.

— Поразительно.

— Я бы хотела спросить еще одну вещь, она касается женщины, имя которой мне не хочется произносить вслух.

— Скажите: женщина, о которой я думаю.

Тогда она спрашивает, чем больна эта женщина, и получает с моей помощью ответ, что та хочет обмануть своего мужа. Тогда герцогиня громко вскрикнула.

Было очень поздно, и я удалился, а со мною и г-н де Мельфор, каковой прежде переговорил с принцессой наедине. Он сказал, что ответ каббалы относительно мази поистине удивительный; и вот как обстояло дело.

— У г-жи герцогини, — рассказал он, — такой же прелестной, как и теперь, на лице было столько прыщей, что г-н герцог от отвращения не имел силы спать с нею. И ей бы никогда не иметь детей, когда бы аббат де Брос не излечил ее этой мазью и она не отправилась во всей красоте во Французскую комедию, в ложу королевы. И вот по случайности герцог Шартрский отправляется в комедию, не зная, что супруга его здесь, и садится в ложе короля. Напротив он видит жену, находит ее прелестной, спрашивает, кто это, ему отвечают, что это его жена, он не верит, выходит из ложи, идет к ней, делает ей комплимент за красоту и возвращается назад в свою ложу. В половине двенадцатого все мы находились в Пале-Рояле, в покоях герцогини, что играла в карты. Внезапно случается вещь невероятная: паж объявляет герцогине, что герцог, супруг ее, идет к ней; герцогиня встает, приветствуя его, и он говорит, что в комедии представилась она ему необычайно красивой, и теперь он, пылая любовью, просит дозволения сделать ей ребенка. При этих словах мы немедля удалились; было это летом сорок шестого года, а весною сорок седьмого разрешилась она герцогом де Монпансье, каковому ныне пять лет, и он в добром здравии. Но после ролов прыщи появились снова, и мазь больше не помогала.

Рассказав сей анекдот, граф вытащил из кармана овальную черепаховую шкатулку с портретом госпожи герцогини, весьма похожим, и передал мне от ее имени, добавив, что если мне угодно будет оправить портрет в золото, то золото она мне посылает тоже, и вручил сверток в сотню луидоров. Я принял его, моля графа засвидетельствовать принцессе мою величайшую признательность, но оправлять портрет в золото не стал, ибо в то время весьма нуждался в деньгах. Впоследствии герцогиня посылала за мною из Пале-Рояля уже не для того, чтобы лечить прыщи: она ни за что не желала подчиниться режиму; она заставляла меня проводить по пять-шесть часов то в одном углу, то в другом, и сама то удалялась, то присоединялась ко мне и посылала мне обед или ужин с тем же старичком, каковой по-прежнему не произносил ни слова. Вопросы к оракулу касались только ее секретов, или чужих, до которых было ей дело; истин, что открывались ей, я знать не мог. Она очень хотела, чтобы я научил ее своей каббалистике, но никогда не настаивала, а только передала мне через г-на де Мельфора, что если мне угодно будет научить ее расчетам, она дарует мне должность,

на которой я стану получать двадцать пять тысяч ливров ренты. Увы! это было невозможно. Я был влюблен в нее до безумия, но никогда ничем не показал своей страсти. Подобная удача казалась мне слишком великой: я боялся, что она подчеркнутым презрением унижит меня; быть может, я был глупец. Знаю только, что всегда раскаивался в том, что не признался ей в любви. Правда, я пользовался множеством привилегий, которыми, быть может, она бы не позволила наслаждаться, знай она, что я в нее влюблен. Я боялся, открывшись, утратить их. Однажды она пожелала узнать через мою каббалу, возможно ли излечить от рака груди г-жу Ла Поппльер. Мне вздумалось ответить, что у дамы этой нет никакого рака и чувствует она себя отлично.

— Как, — сказала она, — весь Париж знает об этом, она сама со всеми советуется; и все же я верю каббале.

Повстречав при дворе г-на де Ришелье, она сказала, что уверена в притворстве г-жи Ла Поппльер; маршалу тайна была известна, и он отвечал герцогине, что она ошибается. Тогда она предложила ему побиться об заклад на сто тысяч франков. Когда она мне об этом рассказала, я вздрогнул.

— Он принял пари?

— Нет. Он был удивлен, а ему, как вы знаете, должно быть все известно достоверно.

Тремя-четырьмя днями позже она сообщила, что г-н де Ришелье признался ей: рак — это всего лишь уловка, чтобы разжалобить ее мужа, которого хотела она вернуть; маршал сказал, что заплатил бы тысячу ливров за то, чтобы узнать, как она об этом догадалась.

— Хотите выиграть их? — спросила она. — Тогда я ему обо всем расскажу.

— Нет, нет, сударыня, умоляю вас.

Я испугался ловушки. Я знал, что за особа маршал: история дыры в каменной стенке, через которую сей знаменитый сеньор входил к этой женщине, была известна всему Парижу. Сам г-н де Ла Поппльер разгласил эту историю и не пожелал более видеть жену, которой давал двенадцать тысяч франков в год. Герцогиня сочинила на сей случай прелестные куплеты, но видел их, кроме самых близких людей, только король, каковой очень ее любил, хотя и отпускала она по временам в его адрес убийственные остроты. Однажды она спросила его, правда ли, что в Париж едет прусский король; король отвечал, что это сказки, и она тут же возразила, что весьма сожалеет: ей до смерти хочется увидеть хотя бы одного настоящего короля.

Брат мой уже написал в Париже множество картин и решился наконец представить одну на суд г-ну де Мариньи. И вот в одно прекрасное утро отправились мы вместе к этому господину, каковой жил в Лувре, и все художники приходили к нему туда с визитом. Мы оказались в зале, смежном с его покоями, и стали ожидать его появления, ибо пришли первыми. Картина была выставлена там же. То была батальная сцена во вкусе Бургиньона.

Тут входит какой-то человек в черном, видит картину, останавливается перед нею на миг и говорит сам себе:

— Это дурно.

Минутою позже являются двое других, глядят на картину, смеются и говорят:

— Это написал какой-то ученик.

Я лорнировал брата: он сидел подле меня и обливался потом. Не прошло и четверти часа, как зала была полна народа, и скверная картина сделалась предметом общих насмешек; все, собравшись в кружок, бранили ее. Бедный мой брат изнемогал и благодарил Бога, что никто его не знает.

Состояние духа его меня сместило, а потому я встал и вышел в другую залу. Брат пошел за мною, и я сказал, что сейчас выйдет г-н де Мариньи, и если он скажет, что картина хороша, то отомстит всем этим людям; однако ж он, с присущим ему умом, оказался иного мнения. Мы скорей спустились по лестнице и сели в фиакр, велел слуге забрать картину. Так вернулись мы домой, и брат нанес картине по меньшей мере двадцать ударов шпагой; в тот же миг принял он решение уладить свои дела и ехать прочь из Парижа, дабы где-нибудь в другом месте учиться и стать мастером в избранном им искусстве. Мы решили отправиться в Дрезден.

Прежде чем завершить приятное пребывание свое в этом волшебном городе, за два или три дня до отъезда обедал я в одиночестве в Тюильри, у привратника Фельянтинских ворот по имени Дорвань. После обеда жена его, довольно миленькая, выставила мне счет, где все стоило вдвое; я хотел было сбавить цену, но она не желала уступить ни лиара. Пришлось мне платить, а поскольку счет внизу был подписан словами: привратница Дорвань, я взял перо и приписал перед словом Дорвань еще три буквы. Сделав это, я ушел и направился к разводному мосту, прогуляться. Я успел уже позабыть о привратнице, взявшей с меня вдвое, как вдруг вижу перед собою коротышку в шапочке на одном ухе, с громадным букетом в бутоньерке и шпагой на поясе, чашка которой выдавалась на два дюйма; он приступает ко мне с наглым видом и без лишних слов объявляет, что желает перерезать мне горло.

— Вам придется подпрыгнуть, ибо в сравнении со мною вы недомерок, и я вам отрежу уши.

— Черт подери, сударь!

— Спокойней, мужлан. Следуйте за мной.

Я широкими шагами иду к перекрестку аллеи, там никого нет, и я спрашиваю наглеца, что ему угодно и по какой причине решился он вызвать меня на поединок.

— Я кавалер де Тальви. Вы оскорбили честную женщину, которая находится под моим покровительством. Защищайтесь.

С этими словами он вытаскивает шпагу; я немедля выхватываю свою и, прежде чем он успел прикрыться, раню его в грудь. Он отскакивает и говорит, что я ранил его как убийца.

— Вы лжете; сознавайтесь, покуда я вас не придушил.

— Не придушите, я ранен; но мы еще с вами повоюем, и пусть рассудят ваш удар.

Я оставил его на перекрестке; однако удар мой нанесен был по правилам — он взял в руки шпагу прежде меня, а если не прикрылся, так сам виноват.

В середине августа месяца покинули мы с братом Париж, где я прожил два года и где наслаждался всеми радостями жизни без всякого для себя ущерба, разве что нередко имел нужду в деньгах. В конце месяца через Мец и Франкфурт прибыли мы в Дрезден и повидались с матерью, каковая, радуясь, что встретила два первых плода своего замужества, которых не надеялась уже видеть, приняла нас весьма нежно. Брат мой целиком предался изучению своего искусства и копировал в знаменитой галерее замечательные батальные картины величайших живописцев. Там провел он четыре года, прежде чем решил, что теперь уже в силах, не боясь критики, вновь возвратиться в Париж. В своем месте я расскажу, как оба мы вернулись туда почти в одно время; но сперва читатель мой увидит, как судьба обходилась со мною, то враждебно, то дружески, в остальное время.

Жизнь, какую вел я в Дрездене до конца карнавала следующего, 1753 года, не содержала ничего примечательного. Единственное, что я совершил — это ради удовольствия комедиантов сочинил одну трагикомическую пьесу, в которой два персонажа играли роль Арлекина. Пьеса моя была пародия на «Братьев-соперников» Расина. Король от души смеялся над забавными несообразностями, какими полна была моя комедия, и в начале поста получил я прекрасный подарок от щедрого этого государя, чьим помощником был блистательнейший во всей Европе министр. Я распрощался с матерью, братом и сестрой, что вышла замуж за Петера-Августа, придворного учителя игры на клавесине, каковой скончался два года назад, оставив вдову свою в честном достатке, а семейство счастливым.

В первые три месяца, что прожил я в Дрездене, перезнакомился я со всеми публичными красотками и нашел, что по части форм превосходят они итальянок и француженок, однако ж весьма уступают им в манерах, остроумии и искусстве нравиться, каковое состоит главным образом в том, чтобы представить влюбленность во всякого, кто сочтет их привлекательными и заплатит. По этой причине известны они своею холодностью. Остановило меня в моих набегах лишь недомогание, что сообщила мне одна красавица венгерка из заведения г-жи Крепс. Было оно седьмым по счету, и я, как обыкновенно, в полтора месяца избавился от него через строгий режим. Во всю свою жизнь я только и делал, что упорно стремился к болезни, покуда был здоров, и столь же упорно стремился выздороветь, когда заболел. И в том и в другом преуспел я с замечательной равномерностью, и нынче в этом отношении совершенно здоров; и хотелось бы мне повредить еще своему здоровью, да возраст не позволяет. Болезнь эта, именуемая у нас французской, не сводит раньше времени в могилу, если умело ее лечить; от нее остаются только шрамы, но этому легко утешаешься при мысли, что добыты они благодаря удовольствию: так солдатам нравится глядеть на свои раны, что являют всем их доблесть и служат к их славе.

Король Август, курфюрст Саксонский, любил своего первого министра графа фон Брюля за то, что граф, соразмерно богатству, тратил больше денег, нежели он сам, и для него не было на свете ничего невозможного. Король сей был заклятый враг бережливости, смеялся над теми, кто его грабил, и тратил много только для того, чтобы позабавиться. Ему недоставало ума, чтобы смеяться политическим глупостям венценосцев и чудачествам людей всякого разбора, а потому держал он у себя на службе четырех шутов, каковые по-немецки зовутся дураками; долгом их было развлекать его самыми настоящими непристойностями, свинскими выходками и наглостью. Нередко сии господа дураки получали от повелителя своего немалые милости для тех, за кого просили. Оттого случалось, что частенько дураков этих почитали и водили с ними дружбу порядочные люди, нуждавшиеся в их покровительстве. Есть ли на свете человек, которого бы нужда не заставила делать низости? Сам Агамемнон говорит Менелаю у Гомера, что теперь принуждены они будут унижаться.

Заблуждаются те, кто нынче, в беседе ли либо в историческом сочинении, уверяют, будто причину тому, что называли в то время гибелью Саксонии, стал граф фон Брюль. Человек этот был лишь верным министром своего государя; память по нем вполне оправдывают дети, никто из которых не унаследовал ни гроша из пресловутых великих богатств отца.

Наконец, нашел я в Дрездене самый пышный во всей Европе двор, где расцветали все виды искусств. Здесь не встретил я волокитства, ибо сам король Август волокитою не был, а саксонцы неспособны к этому по природе — если только государь не подаст им примера.

Прибыв в Прагу, где не имел намерения задержаться, отнес я только письмо от Амореволи к оперному антрепренеру Локателли да повидал актрису Морелли, старинную свою знакомую, каковая заменила мне все и вся в те три дня, что провел я в этом обширном городе. Но когда я собирался уже уезжать, то повстречал на улице старинного своего друга Фабриса, теперь уже полковника; он просил оказать ему любезность и отобедать с ним. Я обнимаю его, но возражаю, что должен ехать.

— Уедете вечером, с одним моим другом, и нагоните дилижанс.

Я сдался на его просьбы и не пожалел. Он мечтал о войне и, когда случилась она двумя годами позже, достигнул великой славы.

Что же до Локателли, то он был чудак, с которым стоило свести знакомство. Всякий день стол его был накрыт на тридцать человек; приглашал он к обеду актеров, актрис, танцовщиков и танцовщиц, и еще своих друзей, а сам всегда задавал тон на собственных пиршествах, ибо страстно любил хорошо поесть. Мне еще представится случай рассказать о нем, когда дойду я до своего путешествия в Петербург: там я повстречал его, и там он умер не так давно девяноста лет от роду.

1754. ВЕНЕЦИЯ

## ТОМ IV

### ГЛАВА V

Я дарю свой портрет М. М. Она делает мне подарок. Я иду с нею в оперу. Она играет в карты и возвращает мне одолженные деньги. Философическая беседа с М. М. Письмо от К. К. Ей все известно. Бал в монастыре; подвиги мои в костюме Пьеро. К... К. является на свидание вместо М. М. Нелепая ночь, что я провожу с нею

Во второй день нового года, прежде чем идти в домик для свиданий, отправился я к Лауре, передать письмо для К. К., и получил от нее письмо, немало меня посмешившее. М. М. приобщила девицу эту не только сапфических тайн, но и высот метафизики. Та сделалась безбожницей. Она писала, что не желает давать отчета в своих поступках духовнику, и тем более не желает говорить ему неправду, а потому не рассказывает ничего. Он, писала она, сказал, что я, быть может, оттого не могу ни в чем исповедаться, что не слишком внимательно исследую свою совесть, а я отвечала, что сказать мне ему нечего, но если ему так угодно, то я согрешу как-нибудь нарочно, дабы потом покаяться.

Вот копия письма от М. М., какое обнаружил я в домике для свиданий:

«Пишу тебе, черненький мой, лежа в постели: похоже, ноги решительно отказываются меня держать; но это пройдет, ибо ем я и сплю хорошо. Письмо твое с заверением, что кровопролитие никаких последствий для тебя не имело, пролило мне бальзам на сердце. Постараюсь убедиться в этом в Венеции, в День Королей. Напиши, могу ли я на это рассчитывать. Мне бы хотелось пойти в оперу. Запрещаю тебе до конца жизни есть салат из яичных белков. Впредь, когда станешь приходить в наш дом, спроси, есть ли кто-нибудь; если тебе ответят, что есть, ты уйдешь; друг мой будет поступать так же, и вы не встретитесь; однако ж долго это не продлится, ибо ты безумно ему понравился, и он непременно желает свести с тобой знакомство. Он не верил, как он говорит, что в природе бывают столь сильные мужчины; но полагает, что заниматься так любовью — значит бросать вызов смерти, ибо, как он утверждает, пролитая тобою кровь, должно быть, исторгнута мозгом. Что же он скажет, когда узнает, что ты смеешься над этим? Но вот что забавно. Он тоже хочет есть салат из яичных белков, и я принуждена просить тебя дать мне немного твоего уксусу четырех воров; он говорит, что знает, что такой уксус существует, но в Венеции его не сыскать. Он сказал, что ночь провел сладостную и вместе ужасную, и изъявил опасения относительно меня тоже, ибо счел, что усилия мои превосходили возможности слабого пола. Быть может, и так; но пока я рада, что превозмогла себя и так удачно испробовала свои силы. Люблю тебя до обожания; целую воздух, представляя себе, что ты здесь; и мне не терпится поцеловать твой портрет. Надеюсь, что и мой портрет будет для тебя столь же дорог. Кажется мне, мы рождены друг для друга; когда я думаю, что поставила препятствие нашему союзу, я проклинаю себя. Вот ключ от моего секретера. Сходи туда и возьми то, на чем увидишь надпись Моему ангелу. Друг мой пожелал, чтобы я сделала тебе маленький подарок в обмен на тот ночной чепчик, что ты мне дал. Прощай».

В письме я нашел маленький ключик; он был от ларца, что стоял в будуаре. Мне не терпелось посмотреть, что же такое она подарила мне по велению друга; я иду, открываю сундучок и распечатываю пакет. Там лежит письмо и чехол из шагреновой кожи. Вот что было написано в письме:

«Подарок сей будет дорог твоему сердцу, мой нежный друг, по причине моего портрета: наш друг, у которого их два, лишился его с радостью при мысли, что обладателем его станешь ты. В футляре ты найдешь двойной мой портрет. Тут есть два разных секрета: если ты сдвинешь дно табакерки в длину, то увидишь меня в обличье монахини, а если нажмешь на угол, то увидишь, как



откроется крышка на шарнире и я явлюсь такой, какой ты меня сделал. Нельзя и представить, дорогой друг, чтобы когда-нибудь женщина любила тебя так, как я люблю. Друг наш одобряет мою страсть. Не могу и решить, с кем посчастливилось мне более — с другом или с возлюбленным; мне невозможно вообразить ничего выше и того, и другого».

В чехле обнаружил я золотую табакерку; несколько крошек испанского табаку говорили о том, что ею пользовались. В согласии с предписанием я сдвинул дно и открыл изображение ее в три четверти, в полный рост и в монашеском облачении. Я поднял второе дно — и она явилась мне нагою, возлежащей на подушке черного шелка в той же позе, что Магдалина у Корреджо. Она глядела на амура с колчаном у ног, что восседал на ее монашеских одеждах. Я не думал, что удостоюсь подобного подарка, и написал ей письмо, изъявив чувство самой истинной и величайшей благодарности. В том же сундучке лежали передо мною по разным отделениям все ее бриллианты и четыре кошелька, полные цехинов. В восхищении перед ее благородством закрыл я ларец и возвратился в Венецию счастливый когда б еще сумел и смог избавиться от власти фортуны и отстать от карточной игры.

Оправщик сделал мне медальон с Благовещеньем, лучше которого нельзя было и пожелать. Устроен он был так, чтобы носить его на шее. Колечко, через которое надобно было продеть ленту, дабы повесить медальон на шею, имело секрет: если сильно потянуть за него, Благовещенье отщелкивалось, и открывалось мое лицо. Я прикрепил его к золотой цепи испанского плетения в шесть локтей длиною, и через это подарок мой стал весьма благороден. Я положил его в карман, и в день Богоявления вечером отправился к подножью прекрасной статуи, каковую воздвигла благодарная Республика герою Коллеони — предварительно одного отравив, если верить секретным документам. *Sit divus, modo non vivus* \* есть суждение просвещенного монарха, и покуда будут на свете монархи, будет жить и оно.

Ровно в два часа из гондолы вышла М. М. в светском платье и плотной маске. Мы отправились в оперу на остров Св. Самуила, и к концу второго балета пошли в *ridotto*, игорный дом; там она с величайшим удовольствием разглядывала патрицианок, которым титул доставлял привилегию сидеть без маски. Прогулявшись с полчаса, отправились мы в комнату, где находились главные банкометы. Она остановилась перед банком синьора Момоло Мочениго — в те времена он был самым красивым из всех молодых игроков-патрициев. Игры у него тогда не было, и он беспечно восседал перед двумя тысячами цехинов, склонившись к уху дамы в маске, сидевшей возле него. То была г-жа Марина Пизани, чей он был поклонник и кавалер.

М. М. спросила, хочу ли я играть, я отвечал, что не хочу, и она объявила, что берет меня в долю; не дожидаясь ответа, вытаскивает она кошелек и ставит на карту сверток монет. БанкOMET одними кистями рук мешает карты, сдает, М. М. выигрывает и удваивает ставку. Синьор платит, а после, распечатав новую колоду, принимается шептать что-то на ухо своей соседке с видом полного безразличия к четыремстам цехинам, что М. М. поставила опять на ту же карту. Видя, что банкOMET все болтает, М. М. говорит на чистейшем французском языке: «Игра наша не довольно крупна, чтобы привлечь внимание этого господина, идем отсюда». С этими словами она снимает ставку и удаляется. Я забираю золото и, оставив без ответа замечание этого господина: «Маске вашей недостает снисходительности», — догоняю прекрасную свою картежницу, уже окруженную кавалерами.

М. М. останавливается перед банком синьора Пьетро Марчелло, также прелестного юноши, играет — и проигрывает пять свертков монет кряду. Больше денег у нее не было; тогда берет она пригоршню золота у меня из кармана, где лежало четыреста цехинов, и в четыре-пять талий срывает банк. Тогда она отстает от игры, а благородный банкOMET поздравляет ее с удачей. Рассовав все это золото по карманам, я подаю ей руку, и мы спускаемся по лестнице и идем ужинать. Несколько любопытных направляются за нами следом, и я, приметив это, взял на переправе гондолу и велел плыть, куда мне было надо. Таким способом в Венеции всегда избавлялись от любопытных.

Отлично поужинав, я опустошил свои карманы и обнаружил, что доля моя составила почти тысячу цехинов; М. М. просила меня поделить ее деньги на свертки и положить в сундучок, а ключ оставить себе. Тогда я отдал ей наконец медальон с моим портретом, и она упрекнула меня, что я так долго заставил ее ждать этого удовольствия. Попытки ее обнаружить секрет были тщетны; узнав его, она обрадовалась и нашла, что портрет весьма похож.

Рассудив, что в запасе у нас всего три часа, я стал молить ее раздеваться.

— Хорошо, — отвечала она, — но будь умником: друг мой полагает, что ты можешь умереть на месте.

— Отчего же он полагает, что тебе подобная опасность не грозит — ведь ты блаженствуешь чаще, нежели я?

— Он говорит, что жидкость, которую выделяем мы, женщины, истекает не из мозга, ибо матка никак не сообщается с вместилищем разума. Отсюда, говорит он, происходит, что в отношении мозга, вместилища ума, ребенок всегда дитя не матери, но отца; по-моему, это справедливо. Согласно этому учению, у женщины ровно столько ума, сколько надобно ей самой, и никакого запаса,

чтобы передать зародышу, уже не остается.

— Любовник твой учен. Если следовать его учению, то женщинам следует прощать любые безумства, совершенные по причине любви, а мужчинам — ни одного. А потому я буду в отчаянии, если тебе вдруг случится забеременеть.

— Это я узнаю через несколько недель, и коли я беременна, тем лучше. Я сделала выбор.

— И каков этот выбор?

— Я во всем доверюсь своему другу и тебе. Уверена, что ни один из вас не оставит меня рожать в монастыре.

— То будет роковое событие: судьба наша решится. Я принужден буду увезти тебя в Англию и там на тебе жениться.

— Друг мой думает, что возможно было бы подкупить врача, чтобы он придумал мне какую-нибудь болезнь и прописал в нужное время отправиться на воды: епископ мог бы это позволить. На водах я бы выздоровела и вернулась сюда; но больше всего мне бы хотелось соединить судьбы наши до самой смерти. Ты бы смог повсюду, как здесь, жить в свое удовольствие?

— Увы! нет. Но разве могу я быть несчастен с тобой? Но поговорим об этом, когда настанет время, я теперь идем спать.

— Идем. Если я рожу сына, мой друг желает стать ему отцом и позаботиться о нем, — Он будет уверен в своем отцовстве?

— Вы оба сможете им похвалиться; но какие-нибудь схожие черты откроют мне истину.

— В самом деле: если, к примеру, со временем он станет писать прелестные стихи, ты сможешь заключить, что отец его — твой друг.

— Кто тебе сказал, что он умеет писать стихи?

— Сознайся, ведь это он написал шестистишие в ответ на мои стихи.

— Не сознаюсь. Дурны эти стихи или хороши, но они мои, и я хочу убедить тебя в этом теперь же.

— Ну уж нет. Идем спать, иначе Амур вызовет Аполлона на дуэль.

— Что ж, хорошо. Бери карандаш и пиши. Сейчас я — Аполлон.

И тут она продиктовала мне такое четверостишие:

К чему сражаться? Я уйду без бою.

Венера мне сестра, и мы в родстве с тобою.

Доволен будь, Амур, хоть и потерял миг:

Стихи слагаю я, и это ты постиг.

Тут я на коленях стал просить у нее прощения; но мог ли я предполагать подобный дар и подобные познания в мифологии в венецианке двадцати двух лет от роду, воспитанной в монастыре? Она сказала, что жаждет неустанно доказывать мне, что достойна владеть моим сердцем, и спросила, осмотрительна ли она, на мой взгляд, в картах.

— Так осмотрительна, что банкومت дрожит от страха.

— Я вовсе не всегда играю по-крупному; однако, взяв тебя в долю, я бросила вызов судьбе; отчего ты не играл?

— Оттого, что в последнюю неделю прошлого года проиграл четыре тысячи цехинов и остался совсем без денег; но завтра я сыграю, и судьба будет ко мне благосклонна. А пока я взял в твоём будуаре одну книжечку. Это поэмы Пьетро Аретино. В оставшиеся три часа я хочу некоторые из них испробовать.

— Мысль достойна тебя; но там есть поэмы неисполнимые, и даже нелепые.

— Верно; но четыре весьма заманчивы. Трудам этим мы предавались все три часа. Бой часов положил предел нашему празднеству, и, проводив ее к гондоле, я отправился спать, но заснуть так и не смог. Я встал и пошел отдавать самые вопиющие долги: заплатить часть долгов — одно из величайших удовольствий, какое только может доставить себе мот. Во всю ночь золото, что выиграла М. М., приносило мне удачу, и до самого конца карнавала я выигрывал неизменно.

Спустя три дня после Дня Королей отправился я на Мурано, в дом для свиданий, дабы положить М. М. в ларец десять — двенадцать свертков монет, и привратница передала мне от нее письмо. Я только что получил через Лауру письмо от К. К. Известивши меня о своем здоровье, какое не оставляло желать лучшего, М. М. просила справиться у справщика, что сделал ее медальон, не случилось ли ему делать кольцо с изображением святой Катерины, под которым, должно быть, также скрыт чей-то портрет — ей хотелось узнать секрет кольца. Она писала, что кольцо принадлежит одной воспитаннице, каковую она нежно любит, что оно весьма толстое и что воспитанница не знает, что кольцо с секретом и непременно должно открываться. Я отвечал, что повинуюсь ей во всем. Но вот прочел я письмо от К. К. — довольно занятное, если принять во внимание, в какое смятение оно меня повергло. Письмо от К. К. было совсем свежее; М. М. писала свое двумя днями прежде.

«Ах, как я рада! Ты любишь дорогую мою подругу, мать М. М. У нее есть медальон толщиной в мое кольцо. Ни от кого, кроме тебя, не могла она его получить, и в нем, должно быть, твой портрет.

Уверена, что Благовещенье ее написал тот же художник, что сделал мою святую заступницу; да и оправщик, должно быть, тот же самый. Нимало не сомневаюсь, что это твой подарок. Узнав все, я была довольна, но не подала виду, что проникла в ее тайну, ибо побоялась ее огорчить. Однако милая моя подруга оказалась либо любопытней, либо честней меня, и поступила иначе. Она сказала, что моя Св. Катерина, без сомнения, скрывает чей-то портрет — должно быть, того человека, что подарил мне ее. Я отвечала, что кольцо и в самом деле подарок от моего возлюбленного, но что там может быть портрет, я не знала. Она заметила, что, коли так, она попробует, если я не обижусь, обнаружить секрет, а после откроет мне свой. В уверенности, что секрета ей не найти, я отдала кольцо, сказав, что буду рада подобному открытию. В тот момент позвала меня моя тетка-монахиня, и я оставила ей кольцо; после обеда она мне его вернула со словами, что не смогла ничего найти, но по-прежнему уверена, что портрет там непременно есть. Уверенность ее нерушима, но, уверяю тебя, тут она не найдет во мне снисхождения — ведь если она увидит тебя, то обо всем догадается, и мне придется сказать ей, кто ты. Досадно, что приходится от нее таиться; но мне нисколько не обидно ни то, что она тебя любит, ни что ты любишь ее; мне так жаль тебя, что я бы охотно уступила тебе свое место — любить затворницу настоящая пытка, а так я бы принесла счастье сразу обоим. Прощай».

Я отвечал, что она угадала и в медальоне М. М. действительно мой портрет, однако ж советовал ей по-прежнему хранить тайну и заверял, что склонность к ее милой подруге нимало не повредила моему постоянству и любви к ней самой. Так я вилял, понимая, что по тесной их дружбе интрига, мною затеянная, движется к развязке.

От Лауры я узнал, что в один из дней в главной гостиной монастыря будет бал, и решил отправиться туда в такой маске, чтобы подружки мои не могли меня узнать. Я не сомневался, что увидаю их. В Венеции женским монастырям разрешается во время карнавала доставлять это невинное удовольствие монахиням. В приемной танцуют, а они, расположившись по другую сторону обширных решеток, наблюдают прекрасный праздник. К вечеру празднество кончается, все расходятся, и они удаляются в кельи весьма довольные, что присутствовали на этом светском развлечении. Бал задавали в тот самый день, когда М. М. пригласила меня на ужин в свой дом для свиданий, однако это отнюдь не мешало мне отправиться в маске в монастырскую приемную и повидать, я был уверен, также и дорогую мою К. К.

Чтобы подруги наверное не узнали меня, я решил облачиться в костюм Пьеро. Нет маски более подходящей, чтобы изменить внешность — если только ты не горбун и не хромец. Широкие одежды, длинные, очень широкие рукава, широкие штаны до пят скрывают у Пьеро любые свойства фигуры, и даже тот, кто близко с ним знаком, не может его узнать. Голову его, уши и шею целиком закрывает шапочка, под которой не видно не только волос, но и цвета кожи, а флер перед глазами не позволяет понять, черные они или голубые.

Итак, съев супу, облачаюсь я в эту маску и, не обращая внимания на холод а одеяние мое было из белого полотна, одеться легче было невозможно, — сажусь в гондолу и плыву к переправе, а там другая гондола доставляет меня на Мурано. Плаща у меня не было. В карманах штанов лежал у меня один только носовой платок, ключи от дома для свиданий и кошелек.

Я спускаюсь в приемную; здесь людно, но все расступаются, пропуская столь необычайную маску — в Венеции принадлежности ее никому не ведомы. Я прохожу вперед неуклюже, как того требуют свойства маски, и направляюсь в круг, где танцуют. Предо мною множество Полишинелей, Скарамушей, Панталоне, Арлекинов; у решеток я вижу всех монахинь и всех воспитанниц — кто сидит, кто стоит. Не останавливая взор свой ни на одной, я все же замечаю М. М., а по другую сторону — юную К. К., что стоя наслаждается зрелищем. Я обхожу круг, шатаюсь, словно пьяный, и оглядывая всякого с головы до ног; но самого меня рассматривали еще пристальней. Все не спускали с меня глаз.

Остановившись перед прелестной Арлекиной, я грубо хватаю ее за руку и тащу танцевать менуэт. Все со смехом освобождают для нас место. Арлекина танцует восхитительно, как и подобает ее маске, а я — как подобает моей: все время делая вид, будто падаю, однако ж неизменно держа равновесие. Общий страх сменялся смехом, и я доставил всем величайшее удовольствие.

После менуэта протанцевал я двенадцать необыкновенно бурных фуран и, запыхавшись, решил упасть и притвориться спящим; услышав мой храп, все уважили сон Пьеро и пустились танцевать контрданс, каковой продолжался целый час. Его я решил пропустить; но после контрданса является вдруг какой-то Арлекин и нахально, как дозволяется его маске, начинает лупить меня по заду своей деревянной саблей. Это Арлекиново оружие. Я был Пьеро, а потому безоружен; я хватаю его за кушак и таскаю бегом по всей приемной, а он продолжает колотить меня саблей пониже спины. Арлекина его, та самая милашка, что танцевала со мною, спешит дружку на помощь и тоже колотит меня саблей. Тогда я кладу Арлекина наземь, вырываю у него саблю и, взвалив на плечи Арлекину, со всех ног бегаю с нею по приемной и луплю ее по заду под общий хохот и вопли ужаса малышки, которая боялась, что если я упаду, все увидят ее ляжки или панталоны. Всю эту комическую битву расстроил один несносный Полишинель, который дал мне сзади такую жестокую подножку, что я не сумел удержаться на ногах. Все освистали его. Я быстро вскочил и, весьма уязвленный, затеял с

наглецом борьбу по всем правилам. Мы были одного роста, но он был неловок и умел только брать силой; я повалил его на землю и так отделал, что одеяние его расстегнулось, и он потерял горб на спине и накладное брюхо. Монахини били в ладоши и хохотали — быть может, прежде им никогда не доводилось наслаждаться подобным зрелищем; а я, уловив момент, пробился сквозь толпу и удрал.

Обливаясь потом, я взял гондолу, закрылся и велел плыть в игорный дом, дабы не простудиться. Близилась ночь. В доме свиданий, на Мурано, я должен был прибыть лишь в два часа, и мне не терпелось поглядеть, как удивится М. М., увидав пред собою Пьеро. Два часа я провел, играя по маленькой то у одного банкюмета, то у другого, выигрывал, проигрывал и дурачился, ощущая полную свободу тела своего и духа и, в уверенности, что никто меня не узнает, наслаждался настоящим и презирал как будущее, так и тех, чей разум занят печальным делом его предугадывать.

Но вот бьет два часа, напоминая, что любовь и изысканный ужин ожидают меня и готовы доставить новые наслаждения. Карманы мои полны серебра; я выхожу из ridotto, лечу на Мурано, иду в дом, вхожу в комнату и, как мне кажется, вижу М. М. в монашеском платье, что стоит спиною к камину. Я приближаюсь, хочу взглянуть на ее изумленную физиономию — и застываю как вкопанный. Предо мною не М. М., но К. К. в одежде монахини; удивленная не менее моего, она, остолбенев, не может вымолвить ни слова. Рухнув в кресло, я пытаюсь прийти в себя от изумления и снова собраться с мыслями.

Увидав К. К., я был словно поражен громом. Душа моя, как и тело, застыла в неподвижности, не находя выхода из тупика.

Шутку эту сыграла со мною М. М., говорил я себе; но как она узнала, что я любовник К. К.? Значит, К. К. выдала тайну. Но если она меня предала, то как она смеет являться мне на глаза? Когда б М. М. любила меня, как могла бы она отказаться от удовольствия меня видеть и послать ко мне соперницу? Это не снисходительность — так далеко она не заходит. Значит, это знак презрения, это оскорбление и обида.

Самолюбие мое не преминуло породить веские доводы, дабы отвергнуть возможность подобного презрения, но тщетно. Дрожа от угрюмого негодования, я раз за разом делал вывод: меня провели, обманули, заманили в ловушку, отвергли.

Целых полчаса провел я в мрачном молчании, уставив взор на лицо К. К., каковая в еще большем замешательстве и недоумении, нежели я сам, глядела на меня: ведь я был не кто иной, как та самая маска, что так дурачилась в монастырской приемной.

Я любил М. М. и явился сюда лишь ради нее, а потому мне было неловко поступить, что называется, как умному человеку, и заменить ее другой — хотя я нимало не отвергал К. К., и достоинства ее, по меньшей мере, не уступали достоинствам М. М. Я любил ее, обожал — но в тот момент должен был обладать не ею. Разум мой восставал против подобного надругательства над любовью. Мне представлялось, что если я решусь оказать почести К. К., то стану достоин презрения; мне казалось, что честь не позволяет поддаваться на подобную уловку; а сверх того я расположен был упрекнуть М. М. в несвойственном любви безразличии, в том, что она никогда не поступала так, чтобы доставить мне удовольствие. Добавим еще и то, что мне неотвязно представлялось, будто она в укромном кабинете дома, и друг ее вместе с нею.

Мне следовало наконец принять какое-то решение — не мог же я провести здесь всю ночь в этой маске и в полном молчании. Я подумал, не уйти ли мне, тем более что ни М. М., ни К. К. не могли быть уверены, что Пьеро — это я; но отвергнул с ужасом эту мысль, представив, сколь великое потрясение суждено чистой душою К. К., когда она узнает, что Пьеро — это я. С величайшим огорчением думал я о том, что уже и в эти минуты она заподозрила, кто перед нею. Я был ее муж, ее соблазнитель. От этих мыслей сердце мое разрывалось на части.

Внезапно мне представляется, что я угадал правду: если М. М. и впрямь в тайном кабинете, она появится, когда сочтет нужным. В этой мысли решаюсь я остаться. Развязав платок, которым, вместе с белою маскою Пьеро, была обмотана моя голова, я открываю лицо, и прелестная К. К. успокаивается.

— Это мог быть только ты, — говорит она, — но все равно я облегченно вздыхаю. Кажется, ты был удивлен, увидев меня. Значит, ты не ожидал встретить меня здесь?

— Конечно, я ничего не знал.

— Я в отчаянии, если огорчила тебя, но я ни в чем не виновата.

— Любимая моя, иди я обниму тебя. Как можешь ты думать, будто я, увидев тебя, способен огорчиться? Ты по-прежнему лучшая моя половина; но прошу тебя, помоги душе моей выйти из жестокого лабиринта, где она заплутала, — ведь попасть сюда ты могла, только выдав нашу тайну.

— Я? Никогда я не смогу тебя предать, даже под страхом смерти.

— Как же ты оказалась здесь? Как же милая подруга твоя обо всем догадалась? Ни один человек на свете не мог сказать ей, что я твой муж. Быть может, Лаура...

— Лаура верна мне. Дорогой друг, я не могу ничего понять.

— Но как же ты согласилась на весь этот маскарад, на то, чтобы прийти сюда? Оказывается, ты можешь выходить из монастыря — и ты до сих пор скрывала от меня столь важную тайну?

— Неужто ты мог поверить, что я бы не рассказала тебе столь важную вещь, когда б хоть раз выходила за пределы монастыря? Сегодня я впервые, тому два часа, совершила подобный поступок, и ничего нет проще и естественней причины, заставившей меня это сделать.

— Так расскажи мне обо всем, дорогой друг, я сгораю от любопытства.

— Оно дорого мне; скажу все, как было. Ты знаешь, как мы с М. М. любим друг друга; нас связывают самые нежные узы — ты мог убедиться в том из моих писем. Итак, два дня назад М. М. просила аббатису и мою тетку дозволить мне спать в ее покоях вместо послушницы, у которой случился сильный насморк и которая отправлена была со своим кашлем в больницу. Разрешение было дано, и ты не можешь вообразить, с каким удовольствием смогли мы наконец улечься вместе в одну постель.

Сегодня ты весьма насмешил нас в монастырской приемной, хотя ни М. М., ни я решительно не могли даже представить себе, что это ты; вскоре после того, как ты ушел, она удалилась к себе. Я последовала за нею, и едва остались мы наедине, она сказала, что очень просит меня оказать ей услугу, от которой зависит ее счастье. Я отвечала, что ей надобно лишь сказать, что я должна делать. Тогда она выдвинула ящик и, к большому моему удивлению, одела меня в это платье. Она смеялась, и я, не зная, в чем цель этой шутки, смеялась тоже. Когда я была одета с ног до головы, она сказала, что должна поведать мне одну очень важную тайну и доверяет ее мне без всякой опаски. Знай, дорогая подруга, сказала она, что в эту ночь я должна была выйти из стен монастыря и возвратиться лишь наутро. Но теперь решено: выйдешь отсюда ты, а не я. Тебе нечего бояться, нет нужды ни в каких наставлениях — уверена, что в твоём положении ты не растеряешься. Через час явится сюда послушница, я скажу ей кое-что на ухо, потом она велит тебе идти за нею. Ты выйдешь с нею через черный ход, пройдешь через сад и окажешься в комнатке с выходом на маленькую пристань. Там ты сядешь в гондолу и скажешь гондольеру одно только слово: в дом для свиданий. Через пять минут ты будешь в этом доме и войдешь в скромные покои, где будет разожжен огонь. Ты будешь там одна и станешь ждать. «Кого?» спросила я. «Никого. Больше ты ничего не должна знать. С тобою не случится ничего такого, что бы тебе не понравилось. Доверься мне. В этом домике ты и поужинаешь, и ляжешь спать, коли пожелаешь — никто не станет тебя ни в чем стеснять. Прошу тебя, не спрашивай больше ни о чем, я не могу тебе сказать ничего сверх того, что уже сказала».

Скажи, дорогой друг, что оставалось мне делать после подобной речи, в придачу дав ей слово, что сделаю все, как она велит? Долой трусливое недоверие! Засмеявшись и приготовившись ко всем возможным удовольствиям, я дождалась послушницы, отправилась за нею, и вот я здесь. Я проскучала три четверти часа, и вот появился Пьеро.

Клянусь честью своей: в ту самую минуту, как я увидела тебя, сердце подсказало мне, что это ты; но в следующий миг, когда ты, взглянув на меня вблизи, отшатнулся, я столь же ясно поняла, что тебя обманули. Ты уселся тут и хранил молчание столь мрачное, что я почла бы великой ошибкой нарушить его первой; к тому же, хоть сердце и говорило мне, что это ты, но приходилось опасаться ошибки. Под маскою Пьеро мог скрываться кто-то другой; но никто другой в те восемь месяцев, что меня силой лишили удовольствия поцеловать тебя, не мог мне быть дороже, чем ты. Теперь ты убедился, что я ни в чем не виновата; дозвожь же поздравить тебя с тем, что домик этот тебе известен. Ты счастлив, и я за тебя рада. После меня М. М. единственная, кто достоин твоей любви, и единственная, с кем я могу ее с удовольствием разделить. Мне было жаль тебя, но нынче, напротив, я счастлива твоему счастью. Поцелуй меня.

Я был бы неблагодарный варвар, когда б в тот же миг не прижал к груди своей этого ангела, доброго и прекрасного, что прибыл сюда из одной лишь дружбы. Однако, изъявив ей непритворную и самую искреннюю нежность и заверив в том, что она совершенно оправдана, я тем не менее продолжал толковать с нею о чувствах и много произнес и толкового, и бестолкового о неслыханном поступке М. М.; его находил я весьма двусмысленным и слишком дурно поддающимся благоприятному объяснению. Я без околичностей объявил, что, если не считать удовольствия ее видеть, во всем остальном, без сомнения, подруга ее сыграла со мною жестокую шутку, отлично зная, что она оскорбительна и не может мне понравиться.

— Я так не считаю, — отвечала мне К. К. — Должно быть, милая моя подруга узнала каким-то неведомым мне образом, что прежде чем познакомиться с нею, ты был моим возлюбленным. Наверное, она считала, что ты меня еще любишь, и решила — мне ли не знать ее души! — торжественно заверить нас в своей совершенной дружбе и доставить нам, без предупреждения, все, чего только могут пожелать для счастья двое влюбленных. Я могу лишь быть ей за это благодарной.

— Ты права, дорогой друг; но положение твое нимало не схоже с моим. У тебя нет другого возлюбленного, а я, лишенный возможности жить с тобою, не смог обороняться против прелестей М. М. Я влюбился в нее без памяти, она это знает, и с ее умом не могла сделать то, что сделала, ни по какой иной причине, как только чтобы выказать мне свое презрение. Признаюсь, в этом отношении я в высшей степени чувствителен. Когда б она любила меня так, как я ее люблю, она б никогда не смогла оказать мне столь прискорбную любезность и прислать сюда вместо себя самой тебя.

— Я иного мнения. Душа ее благородна и высока, сердце щедро, и точно так же, как я не

сержусь, узнав, что ты любишь ее и любим, и вы, по всему убеждаюсь, счастливы, — так же и она не рассердилась, узнав, что мы любим друг друга, и, напротив, счастлива была дать нам понять, что согласна на это. Она хочет, чтобы ты понял: она любит тебя ради тебя самого, твои удовольствия это и ее удовольствия, и она не ревнует тебя ко мне, самой любимой своей подруге. Дабы убедить тебя, чтобы ты не сердился на нее за то, что она разгадала нашу тайну, она, послав меня сюда, объявляет тебе: если ты поделишь сердце свое между нею и мной, она с радостью согласится. Как ты прекрасно знаешь, она любит меня, и нередко я служу для нее женою либо муженьком; и коли ты не считаешь зазорным, чтобы я была тебе соперницей и, сколько возможно, делала ее зачастую счастливой, она тем более не желает, чтобы в представлении твоём любовь ее походила на ненависть — ибо такова любовь ревнивого сердца.

— Ты защищаешь подругу свою ангельски, милая женушка, но ты не видишь, как представляется дело в истинном свете. Ты умна и чиста душою, но не столь опытна, как я. М. М. любит меня лишь для смеху, она прекрасно знает, что не такой я дурак, чтобы обмануться ее выходкою. Я несчастен, и стал несчастным по ее вине.

— Тогда мне тоже следовало бы обижаться на нее. Она дала мне понять, что любит моего возлюбленного и завладев им, не намерена отдавать мне назад. Сверх того, она дает мне понять, что отвергает мою любовь к ней, ибо ставит меня в такое положение, когда я должна выказывать ее другому.

— О! Теперь рассуждения твои весьма шатки. Отношения между ней и тобою совершенно другое дело. Любовь ваша — лишь забава, заблуждение чувств. Удовольствия ваши вовсе не исключают иных наслаждений. Вы могли бы ревновать друг друга лишь по причине подобной же любви женщины к женщине; но когда б у тебя был любовник, М. М. не должна была бы сердиться — точно так же, как ты бы не сердилась на ее любовника; разве что он оказался бы тот же самый.

— Но именно так и обстоит дело — и ты не прав. Мы вовсе не сердимся, что ты любишь нас обеих. Не писала ли я тебе, что, если б могла, уступила бы тебе свое место? Или ты полагаешь, что и я презираю тебя?

— То, что ты, дорогой друг, желала уступить мне свое место, не зная, что я счастлив, означало лишь, что любовь твоя сменилась дружбой, и теперь я должен быть этим доволен; но если чувство это зародилось и в М. М., то мне есть отчего сердиться: ведь люблю я ее теперь без всякой надежды на ней жениться. Понимаешь ты это, мой ангел? Ты станешь моей женой, я уверен, а потому уверен и в нашей любви — у нее достанет времени воскреснуть; но любовь к М. М. больше не возвратится. И разве не унижительно для меня добиться лишь того, чтобы меня отвергли, и узнать об этом? Что же до тебя, ты должна боготворить ее. Она приобщила тебя всех своих тайн; тебе должно питать к ней вечную признательность и дружбу.

Таково было существо рассуждений наших, что длились до полуночи; тут предусмотрительная привратница принесла нам отличный ужин. Я есть не мог; но К. К. поужинала с аппетитом. Несмотря на печаль, я невольно рассмеялся, приметив салат из яичных белков. Она сказала, что салат и в самом деле смешной: ведь из яиц убрали самое вкусное, желток. С восхищением и удовольствием наблюдал я, как она становилась все красивее, но не испытывал ни малейшего желания изъявить ей свои чувства. Я всегда полагал, что в верности предмету, какой сильно любишь, нет ни малейшей заслуги.

За два часа до рассвета уселись мы снова у камина. К. К., видя, что я грущу, обходилась со мною самым трогательным образом; никакого ожесточения, а в поведении — сама скромность. Речи ее полны были любви и нежности, но ни разу не посмела она упрекнуть меня за холодность.

К концу долгого нашего разговора она спросила, что ей сказать М. М. по возвращении в монастырь.

— Она ждет, — сказала она, — что я возвращусь довольная и исполненная благодарности за эту ночь, благородно мне подаренную. Что я ей скажу?

— Чистую правду. Ты не утаишь от нее ни единого слова из нашей беседы, ни единой мысли своей, коли удастся тебе их вспомнить. Ты скажешь, что она надолго сделала меня несчастным.

— Если я такое скажу, она слишком огорчится: ведь она любит тебя и как нельзя больше дорожит медальоном с твоим портретом. Я сделаю все возможное, чтобы скорее вас помирить. Я перешлю тебе письмо через Лауру — либо ты сам зайдешь к ней завтра за ним.

— Письма твои всегда будут мне дороги; но ты увидишь — М. М. не снизойдет до объяснений. Быть может, в одном вопросе она тебе не поверит.

— Понимаю. В том, что мы имели твердость провести вместе восемь часов, словно брат и сестра. Если она тебя знает так, как я, это ей покажется невозможным.

— В таком случае скажи ей, если хочешь, что все было наоборот.

— О! Ни за что. То была бы заведомая и весьма неуместная ложь. Скрывать кое-что я могу, но лгать не научусь никогда. Я люблю тебя еще и за то, что ты во всю ночь ни разу не притворился, что еще любишь меня.

— Поверь, ангел мой, я болен от тоски. Я люблю тебя всем сердцем, но теперь я в таком

положении, что меня можно только пожалеть.

— Ты плачешь, друг мой; прошу, пощади мое сердце. Я сама не рада, что произнесла эти слова, но поверь, я нисколько не хотела тебя упрекнуть. Не сомневаюсь, через четверть часа М. М. тоже станет плакать.

Часы пробили, и я, не надеясь больше, что М. М. появится и объяснится, поцеловал К. К., надел опять свою маску, дабы укрыть голову и защититься от сильнейшего ветра, завывания которого доносились снаружи, отдал К. К. ключ от дома для свиданий, просив передать его М. М., и быстро спустился по лестнице.

## ГЛАВА VI

Я едва не гибну в лагунах. Болезнь. Письма от К. К. и М. М. Примирение. Свидание на Мурано. Мне известно имя друга М. М., и я даю согласие пригласить его вместе с нашей общей возлюбленной на ужин в свой дом для свиданий

Я бегом направляюсь к переправе в надежде найти гондолу — и не нахожу.

По венецианским порядкам, такого не может быть: во всякий час на любой переправе должно быть по меньшей мере две гондолы, готовые к услугам, однако ж случается, хотя и редко, что там не бывает ни одной. Так в этот раз и случилось. Дул сильнейший западный ветер, и гондольерам, по всему судя, надоело ждать, и они отправились спать. Что мне было делать на причале за час до рассвета и почти голым? Быть может, я бы возвратился в дом для свиданий, когда бы не отдал ключи. Меня уносило ветром, а я не мог даже войти в дом, дабы от него укрыться.

В карманах у меня было по меньшей мере три сотни Филиппов, добытых в игорном доме, и полный золота кошелек; мне приходилось опасаться воров — на Мурано это весьма опасные головорезы, отъявленные убийцы, что обращают во зло многочисленные привилегии, дарованные им хитроумным правительством за ремесло, какое исполняют они на стекольных фабриках, которыми изобилует остров; дабы не покидали они Мурано, правительство доставляет всему этому люду право венецианского гражданства. Я уже готов был повстречать парочку подобных граждан Республики, каковые оставили бы меня в одной рубашке, — ведь в кармане у меня не было даже обыкновенного ножа, что носят, защищая свою жизнь, все честные люди Венеции. Ужасный миг! Положение мое было плачевно, и я дрожал от холода.

Сквозь щели в ставнях какого-то бедного домишки на один этаж вижу я свет и решаюсь скромно постучаться в двери. Раздается крик:

— Кто там?

Ставень открывается.

— Что вам угодно? — спрашивает какой-то мужчина, глядя с удивлением на мой костюм. Я прошу впустить меня в дом, даю ему филипп, монету достоинством в одиннадцать лир, и коротко рассказываю, в сколь тяжелом положении оказался. Он отворяет дверь, и я прошу его пойти отыскать гондолу, что доставила бы меня за цехин в Венецию. Он поспешно одевается и, благодаря Провидение Господне, уверяет, что тотчас же приведет мне гондолу. Надев свой солдатский плащ, он удаляется, а меня оставляет в комнате; предо мною все его семейство, каковое, лежа в одной постели, глядит с удивлением на мою физиономию. Получасом позже возвращается мой человек и говорит, что двухвесельная гондола ждет у причала, но гондольеры желают получить цехин вперед. Я соглашаюсь и, поблагодарив его, без страха пускаюсь в путь с двумя мощными на вид гондольерами.

Мы без труда добрались до острова Св. Михаила, но едва миновали его, как ветер вдруг начинает дуть с такой яростью, что я понимаю: плыть дальше верная гибель; хоть пловцом я был изрядным, но не был уверен ни в своих силах, ни в том, что сумею одолеть течение. Я велю гондольерам пристать к острову, но они отвечают, что я имею дело не с какими-нибудь трусами и бояться мне нечего. Зная нрав наших гондольеров, я почитаю за лучшее промолчать; но порывы ветра обрушивались на нас с удвоенной силой, пенистые волны перехлестывали через борт, и гребцы мои, хоть и были мощны их руки, не могли продвинуть гондолу ни на шаг.

Когда мы находились всего лишь в сотне шагов от устья канала иезуитов, яростный порыв ветра сдул в воду гондольера на корме; ухватившись за борт, он легко взобрался обратно. Весло было потеряно; он берет другое — но гондолу уже развернуло боком к ветру и в минуту снесло на двести шагов влево. Нельзя было терять ни секунды. Я кричу, чтобы бросали *felce* \*, каютку, в море, и швыряю на ковер на дне гондолы пригоршню серебра. Оба молодца мои немедля повиновались и, гребя во всю мощь, показали Эолу, что могут потягаться с ним силой. Не прошло и четырех минут, как мы уже плыли по каналу Нищенствующих братьев; похвалив гондольеров, я велел высадить меня на причал палаццо Брагадина, что у церкви Санта-Марина. Едва войдя, я немедля улегся в постель и хорошенько укрылся, дабы согреться до нормальной своей температуры; сладкий сон мог бы восстановить мои силы, но я никак не засыпал. Спустя пять-шесть часов явился проведать меня г-н де Брагадин с двумя другими неразлучниками и застал в приступе лихорадки — что не помешало ему

рассмеяться, увидав на канаве костюм Пьеро. Они поздравили меня с тем, что я легко отделался, и оставили в покое. К вечеру выступил столь обильный пот, что ночью мне переменяли белье; назавтра горячка усилилась и начался бред. Еще через день я был совершенно разбит и не мог пошевелиться от слабости. Лихорадка отступила; теперь выздоровление мог мне принести лишь строгий режим.

Ранним утром в среду явилась ко мне Лаура. Я сказал, что не в силах ни писать, ни читать, но все же велел прийти на следующий день. Положив на ночной столик все то, что должна была мне передать, она удалилась; узнала она о моем состоянии достаточно, чтобы рассказать о нем К. К.

Лишь под вечер, почувствовав себя немного лучше, велел я запереть дверь и прочел письмо от К. К. Первым делом увидел я с удовольствием ключ от дома для свиданий, который отсылала она мне назад: я успел уже очень раскаяться, что так поспешно от него отказался. Мне представлялось уже, что я не прав, и ключ этот, возвратившись ко мне в руки, пролил истинный бальзам мне на сердце. В пакете вижу я письмо от М. М. и с жадностью читаю его.

«Надеюсь, обстоятельства, о которых прочли вы либо прочтете в письме К. К., заставят вас позабыть ошибку, что я совершила, задумав доставить вам приятнейший из сюрпризов. Я видела и слышала все, и вам бы не удалось уйти, оставив ключ, когда б за час до вашего ухода я не уснула. Так что возьмите себе ключ, что отсылает вам К. К... и возвращайтесь завтра вечером в дом для свиданий, раз уж небо спасло вас от бури. Любовь ваша, быть может, дает вам право жаловаться, но отнюдь не обижать женщину, которая никоим образом не изъявляла вам никакого презрения».

Вот каково было длинное письмо К. К. - перевозжу его потому лишь, что оно представляется мне заслуживающим внимания:

«Прошу тебя, дорогой супруг мой, не отсылай мне этого ключа; разве только, превратившись в жестокосерднейшего из мужчин, обрадуешься ты случаю огорчить двух женщин, что любят только и одного тебя. Я знаю твое сердце и уверена, что завтра вечером ты придешь в дом для свиданий и помиришься с М. М. - сегодня она не сможет там быть. Ты увидишь, что лишь по неразумию считаешь себя правым. А пока расскажу тебе то, чего ты не знаешь и что должно тебя обрадовать.

Едва ты удалился в столь ужасное ненастье, я в величайшем беспокойстве стала спускаться вниз, дабы вернуться в монастырь, и тут, к удивлению своему, увидела пред собою М. М. С печальнейшим видом она сказала, что все видела и слышала из укромного места, где мы не могли ее заметить. Не раз хотелось ей появиться, но она так и не решилась это сделать, боясь показаться некстати и в тот самый момент, когда присутствие ее могло бы помешать примирению, к которому непременно должны были прийти два, без сомнения, любящих друг друга человека. И все же к концу нашей беседы она бы дерзнула выйти, когда б не забылась сном. Пробудилась она от боя часов, уже после того, как ты, отдав мне какой-то неведомый ключ, удалился так, словно спался из непотребного дома. М. М. сказала, что все мне объяснит в монастыре, и мы пустились в путь в ужасное ненастье, тревожась и думая о тебе — она сказала, что, когда б ты не потерял голову, то остался бы в доме. Едва оказавшись в ее комнате, мы разделись — я переоделась в светское платье, а она улеглась в постель. Я села к ее изголовью, и вот, почти слово в слово, ее рассказ: „Когда ты, оставив мне свое кольцо, отправилась узнать, что хочет от тебя тетка, я самым внимательным образом рассмотрела его и заподозрила, что маленькая голубая точка на нем неспроста. Белая эмаль по краю арабески была явно бесполезна, и я поняла, что секрет, возможно, именно здесь. Тогда, взяв булавку, я нажала на точку. Вообрази удивление и великое удовольствие мое, когда я обнаружила, что любим мы одного и того же человека! Но в то же время ощутила я боль, подумав, что отнимаю его у тебя. Я была счастлива своему открытию и в тот же миг решила воспользоваться им и доставить тебе удовольствие поужинать с любимым; скорей вернув на место твою святую Катерину, я возвратила кольцо и сделала вид, будто ничего не нашла. Что за радость! В ту минуту я была счастливейшей из женщин. Зная сердце твое, зная, что тебе известно, что возлюбленный твой любит меня ведь я показала тебе его портрет, в медальоне, — видя, что ты не ревнуешь, я бы не заслуживала ничего, кроме презрения, когда бы стала питать чувства, отличные от твоих; к тому же права твои на него, должно быть, много крепче моих. Что же до тайны, в какой неизменно хранила ты имя возлюбленного, то я сразу догадалась, что ты исполняешь его веление, и восхищалась верностью твоей и красотой души. Я рассуждала так: должно быть, возлюбленный твой опасается потерять нас обеих, если мы прознаем, что ни одна из нас не завладела целиком его сердцем. Ты не поверишь, как мне стало тебя жаль при мысли, что ты казалась по-прежнему равнодушной даже и после того, как, увидев портрет его в моих руках, убедилась, что более не единственная его возлюбленная. Радуюсь справедливости своих суждений, решила я душою и сердцем поступать соответственно, так, чтобы оба вы уверились: М. М. достойна любви вашей, дружбы и уважения. С удовольствием неизъяснимым думала я о том, как между нами тремя не станет более никаких тайн, и все мы сделаемся во сто раз счастливее. Движимая этой мыслью, устроила я все необходимое для того, чтобы сыграть с вами обоими шутку, от которой, полагала я, любовь ваша ко мне достигнет наивысшего предела. Замысел мой представлялся мне в своем роде шедевром человеческого остроумия, и, ища совершенного его воплощения, я подменила себя тобою. Ты позволила одеть себя в монашеское платье и, исполненная величайшего ко мне доверия и желания угодить, отправилась в



мой дом для свиданий, не зная, куда тебя везут; высадив тебя, гондола возвратилась за мною, и я расположилась в таком месте, где меня никто не мог увидеть, а я могла прекрасно видеть и слышать все, что меж вами произойдет. Я сочинила пьесу — не естественно ли, что мне хотелось доставить себе удовольствие и присутствовать на спектакле? Я не сомневалась, что взору моему не представится ничего неприятного.

В дом для свиданий явилась я четвертью часа позже, нежели ты; ты не можешь вообразить радость мою и удивление, когда увидела я того самого Пьеро, что так позабавил нас в приемной — ни тебе, ни мне не достало догадливости узнать его! Но явление его в костюме Пьеро стало единственным поворотом сюжета, доставившим мне удовольствие. В ту же минуту охватил меня страх, беспокойство, досада, я сделалась несчастна. Возлюбленный наш все понял превратно, ушел в отчаянии, он еще любит меня, но думает лишь о том, чтобы излечиться от страсти, и непременно излечится. Он отослал ключ, а значит, в дом для свиданий более не вернется. Роковая ночь: я намерена была сделать всех троих счастливыми, а сделала несчастными; если ты не заставишь его внять голосу разума, ночь эта будет стоить мне жизни, ибо жить без него я не могу. Ты, конечно, найдешь способ написать ему, ты знаешь его, знаешь, куда можно отослать ему этот ключ вместе с письмом, какое бы убедило его завтра либо послезавтра вечером прийти в дом для свиданий и хоть раз поговорить со мною; я буду надеяться. Теперь спи, милая подруга, а завтра отпиши ему всю правду, сжался над бедной своей подругой и прости ей, что любит твоего возлюбленного. Я тоже напишу ему короткое письмо, и ты его вложишь в свое. Я причиной тому, что он тебя больше не любит; тебе подобало бы ненавидеть меня, а ты все еще меня любишь, я преклоняюсь перед сердцем твоим, я видела, как он плакал, видела, сколь сильна его любовь ко мне, теперь я его узнала; прежде я не подозревала, что есть мужчины, способные так любить. Я провела адскую ночь. Не думай, дорогая подруга, будто я сержусь на то, что, как я слышала, ты поведала ему, что мы любим друг друга как муж и жена; мне это по нраву; в отношении его здесь нет ничего неприличного, ибо ум его столь же свободен, сколь милостиво его сердце“.

Закончив свою речь, она расплакалась. Постаравшись утешить ее и пообещав тебе написать, отправилась я в свою постель и проспала целых четыре часа; но М. М. не спалось. Затем она все же встала, и тут мы обнаружили, что весь монастырь обсуждает печальные новости, которые сразу же приковали наше внимание. Нам сказали, что за час до рассвета в лагуне пропала рыбацья лодка, и еще перевернулись две гондолы, и все, кто в них был, утонули. Вообрази наше горе; мы не дерзнули расспрашивать далее. Ведь ты ушел как раз за час до рассвета. М. М. возвратилась в свою комнату, и я, последовав за нею, привела ее в чувства после обморока, случившегося с нею от страха, что ты погиб. Я оказалась храбреей ее и говорила, что ты умеешь плавать; но ее знобило, словно перед приступом лихорадки, и она принуждена была снова лечь в постель. В таком-то состоянии и застала нас получасом спустя моя тетка; войдя, она с радостным смехом поведала нам, что в предрассветную бурю едва не утонул тот самый Пьеро, что так нас позабавил. „Ах, бедняжка Пьеро! — сказала я. Расскажите нам, как все было, милая тетушка. Я так рада, что он не утонул. Кто он? Его узнали?“ — „Да, — отвечала она, — о нем все известно, ибо отвозила его домой наша гондола. Носовой гребец только что рассказал, что Пьеро провел ночь на балу у Бриати и, желая возвратиться в Венецию и не найдя гондолы на переправе, дал цехин нашим гондольерам, чтобы доставили его домой. Кормчий, товарищ его, упал в воду в лагуне; и знаешь, что сделал тогда храбрый Пьеро? Он швырнул на *zenia* \* все серебро, что у него было, и сбросил в море *felce*, каютку гондолы; ветер дул западный, и они отвезли его домой через канал Нищенствующих братьев. Счастливые гребцы поделили тридцать Филиппов серебром, что подобрали на ковре гондолы, а после отыскивали свою каютку. Пьеро надолго запомнит Мурано и бал у Бриати. Гондольер уверяет, что это сын г-на де Брагадина, брата прокурора; его отвезли во дворец полумертвым от страха и от холода, ведь одет он был в полотняный костюм, и плаща у него не было“.

С этими словами тетка моя удалилась, а мы остались, глядя друг на друга и словно бы воскреснув из мертвых. М. М. с улыбкою спросила меня, вправду ли ты сын г-на де Брагадинт. Мне пришлось отвечать, что среди иных вероятностей можно предположить и эту, но что по имени твоему нельзя заключить, будто ты внебрачный его сын, а тем более законный — ведь синьор этот никогда не был женат. М. М. отвечала, что когда б ты оказался Брагадин-младший, она бы весьма огорчилась. Тогда я почла своим долгом сказать ей настоящее твое имя и то, как г-н де Брагадин просил меня тебе в жены и после просьбы его меня поместили в монастырь. Так что у женушки твоей, дорогой друг, более нет секретов от М. М. Надеюсь, ты не почтешь меня болтливой: пусть лучше любимая подруга наша узнает простую и чистую правду, нежели правду с примесью лжи. Весьма нас позабавило и посмешило то, с какой уверенностью все говорили, что ты провел ночь на балу у Бриати. Когда люди не знают какой-то детали, недостающей для полноты истории, они выдумывают ее, и нередко правдоподобие весьма кстати подменяет собою правду. Одно могу я сказать: объяснение это пролило бальзаму на сердце дорогой нашей подруги, в эту ночь она прекрасно спала, и красота ее возродилась единственно благодаря надежде, что ты не мешкая придешь в дом для свиданий. Она перечла три раза это письмо и тридцать раз меня поцеловала. Мне не терпится

передать ей написанное тобою письмо. Лаура подождет. Быть может, я еще увижу тебя в доме для свиданий и, уверена, в лучшем расположении духа. Прощай».

Довольно было бы и меньшего, чтобы вернуть мне здравый смысл. К концу письма я был уже в восторге от К. К. и без ума от М. М.; но хотя лихорадка моя и отступила, болезнь приковывала меня к постели. Уверенный, что Лаура завтра с утра придет снова, я не смог удержаться и написал обеим письма — короткие, но убедительно показывающие, что я пришел в себя. К. К. я написал, что она поступила правильно, сказавши подруге своей, как меня зовут, — тем более что в церкви я уже не появлялся и не имел причин скрываться. В остальном же я уверял ее, что раскаиваюсь и как только в состоянии буду подняться с постели, доставлю самые веские тому доказательства М. М. Вот какое письмо отослал я М. М.:

«Прелестный друг мой, я отдал ключ от дома для свиданий К. К. и просил передать его тебе оттого лишь, что полагал, будто ты играешь со мною, презираешь меня и бесчестишь. В подобном заблуждении души для меня невозможно было отныне являться пред твоим взором, и хоть я и люблю тебя, но вздрагивал от ужаса, воображая себе твой облик. С такою силой подействовал на меня твой поступок; когда бы разум мой мог сравняться с твоим, я бы почел его геройским. Ты превосходишь меня во всем, и при первом же свидании я докажу тебе, сколь искренне покаянное сердце мое просит у тебя прощения. По одной лишь этой причине не терпится мне выздороветь. Вчера не смог я писать к тебе — слабость во всех членах совершенно меня разбила. Уверяю тебя, на середине канала Мурано, находясь на волосок от гибели, подумал я, что небо карает меня за ошибку, какую совершил я, отослав тебе ключ от дома для свиданий: ведь когда б он по-прежнему лежал у меня в кармане, я, не найдя у переправы лодки, вернулся бы обратно и, как ты понимаешь, был бы нынче здоров и не прикован к постели. Ясно как день, что гибель моя стала бы заслуженным наказанием за преступление, что я совершил, возвратив тебе ключ. Хвала Господу — он привел меня в чувства и направил так, что увидел я свою неправоту во всей полноте. Впредь буду я осмотрительней, и ничто более не заставит меня усомниться в твоей любви. Но что скажешь ты о К. К.? Она ангел во плоти и во всем подобна тебе. Ты любишь нас обоих, и она равно любит нас с тобой. Из всех троих я — единственное слабое и несовершенное создание и не могу вам подражать. Однако ж, кажется мне, я бы отдал свою жизнь и за одну из вас, и за другую. Любопытно мне знать одну вещь, но ее я не осмелюсь доверить бумаге; не сомневаюсь, ты расскажешь мне все, как только мы увидимся. Как было бы хорошо, если б это случилось сегодня в восемь часов! Я предупрежу тебя за два дня. Прощай, ангел мой».

Назавтра к приходу Лауры я уже сидел и был близок к выздоровлению. Я просил ее сообщить о том устно К. К., когда будет передавать письмо от меня, и она, вручив мне письмо от К. К., на которое не надобно было ответа, удалилась. Туда вложено было и письмо от М. М.: в обоих заключались лишь изъявления тревоги и отчаяния по поводу моей болезни, стенания и заверения в любви.

И вот шесть дней спустя отправился я перед обедом в дом свиданий на Мурано и получил от привратницы письмо М. М.

«Пишу тебе, дорогой друг, с нетерпением ожидая вестей о твоём выздоровлении и желая убедиться, что ты снова признаешь за собою право владеть тем домиком, где сейчас находишься, — писала она; — прошу, назначь мне, где и когда мы встретимся: хочешь, в Венеции, хочешь, здесь, мне все равно. Ни в том, ни в другом месте никто нас не увидит».

Я отвечал, что чувствую себя хорошо и что увидимся мы послезавтра в обычное наше время и в том самом месте, откуда я пишу.

Я сгорал от желания видеть ее вновь. Я чувствовал себя столь виноватым, что мне было стыдно. Зная нрав ее, я должен был со всею ясностью понять, что поступок ее не только не означал презрения, но, напротив, был утонченнейшей попыткой любви позаботиться о моем удовольствии более, нежели о своем собственном. Ведь не могла она знать, что любил я ее одну. Любовь ко мне не мешала снисходительности ее к посланнику — точно так же, полагала она, мог я быть снисходителен к К. К. Она не подумала о различиях в конституции мужчин и женщин и о тех преимуществах, какими наградила природа женский пол.

Послезавтра, четвертого числа февраля 1754 года, предстал я вновь пред моим прекрасным ангелом. Она была в монашеском облачении. Взаимная любовь уравнила вину нашу, и в один и тот же миг бросились мы друг перед другом на колени. Оба мы дурно обошлись с нашей любовью: она вела себя как дитя, я как янсенист. Прощение, что должны были мы испрашивать друг у друга, неизъяснимо было словами и излилось потоком даримых и возвращенных поцелуев, отдававшихся в сердцах наших, а те, исполненные любви, радовались, что не надобен им другой язык для изъявления желаний своих и восторга.

Торопясь доставить друг другу доказательства искреннего нашего мира и пылавшего в нас огня, мы в порыве нежности поднялись, не разжимая объятий, и рухнули вместе на софу, где и пребывали нераздельны вплоть до того мгновения, когда издали оба долгий вздох — от него не отказались бы мы, даже если б были уверены, что он станет предвестником смерти. Такова была картина возвращения нашей любви, обрисованная, облеченная в плоть и кровь и завершенная

великим живописцем — мудрою природой, каковая, будучи подвижна любовью, не может создать ничего более правдивого и более привлекательного.

В спокойствии душевном, что даровало мне удовлетворение и уверенность в наших чувствах, заметил я, что не снял даже плаща своего и маски, и посмеялся вместе с М. М.

— Верно ли, — спросил я, снимая плащ и маску, — что у примирения нашего нет свидетелей?

Тогда, взяв факел, отвела она меня за руку в комнату с большим шкафом, в каковом я уже ранее предполагал хранителя великой тайны. Она отворила его, опустила одну из досок задней стенки, и мне открылась дверь, через которую вошли мы в кабинет; здесь было все, в чем только может случиться нужда у человека, принужденного провести в нем много часов подряд. Софа, что по первому желанию превращалась в постель, стол, кресла, секретер, свечи в небольших шандалах — иными словами, все, что могло потребоваться любопытному сладострастнику, для которого главное удовольствие состояло в том, чтобы стать незримым свидетелем чужих наслаждений. Рядом с софою увидал я подвижную доску. М. М. отодвинула ее, и через два десятка дырок, находившихся друг от друга на некотором расстоянии, увидал я всю комнату, где перед взором наблюдателя разворачивались пьесы, создателем которых была сама природа, а актеры играли не за страх, а за совесть.

— А теперь, — сказала М. М., — я отвечу на тот вопрос, какой ты весьма предусмотрительно не дерзнул доверить бумаге.

— Но ты же не знаешь...

— Молчи. Любовь — колдунья и вещунья, ей ведомо все. Сознайся: ты хочешь знать, был ли здесь в ту роковую ночь, что стоила мне стольких слез, наш друг.

— Сознаюсь.

— Что ж; да, он здесь был, и тебе не на что сердиться: знай, что ты окончательно пленил его, и он преисполнен к тебе дружеских чувств. Он был в восхищении от нрава твоего, любви, чувств твоих и честности; он одобрил страсть, что я питаю к тебе. Именно он утешал меня поутру и уверял, что ты непременно вернешься ко мне, как только узнаешь от меня об истинных моих чувствах и благих намерениях.

— Но вы, должно быть, частенько засыпали: невозможно провести здесь восемь часов кряду в темноте и молчании, когда не видишь ничего особенно интересного.

— Он испытывал живейший интерес, и я тоже, да и в темноте мы пребывали тогда лишь, когда вы сидели на софе — оттуда вы могли заметить лучи света на уровне ваших глаз, что проникали через эти отверстия. Мы задержали занавес и поужинали, внимательно прислушиваясь за столом ко всему, что вы говорили. Друг мой питал ко всему еще больший интерес, нежели я. Он сказал, что случай этот впервые позволил ему столь глубоко познать человеческое сердце, и что ты, должно быть, никогда так не страдал, как в эту ночь; тебя он жалел — но К. К. поразила его, и меня тоже: невозможно, чтобы девушка пятнадцати лет рассуждала так, как она, когда желала оправдать меня и говорила все то, что она сказала, не зная притом иного искусства, нежели то, какое даруется природой и истиной; для этого надобно иметь ангельское сердце. Если ты женишься на ней, у тебя будет божественная жена. Я буду несчастна, потеряв ее, но твое счастье послужит мне утешением. Не понимаю, как мог ты, любя ее, влюбиться в меня? Как может она не ненавидеть меня, зная, что я отняла у нее твое сердце? К. К. поистине божественна. Она сказала, что поведала тебе о бесплодных своих любовных забавах со мною для того только, чтобы снять с совести своей бремя греха, каковой, как ей казалось, совершила она против верности тебе — ее почитает она своим долгом.

Мы сели за стол, и М. М. заметила, что я похудел. Мы повеселились, вспоминая минувшие опасности, маскарад с Пьеро, бал у Бриати, где, как уверяли ее, был другой Пьеро, и чудесный эффект этого переодевания, не позволявшего вовсе узнать человека: Пьеро из монастырской приемной показался ей и ниже, и худее меня. Она рассудила, что, когда б я не нанял монастырскую гондолу и не явился в приемную в костюме Пьеро, ей бы так и не узнать, кто я такой, ибо монахини не обратили бы внимания на мою участь. И еще, прибавила она, узнав, что я не патриций, как она опасалась, она облегченно вздохнула, ибо оттого могла у нее в конечном счете произойти какая-то неприятность, и она была бы в отчаянии.

Я прекрасно понимал, чего она, должно быть, опасалась, но сделал вид, что не знаю:

— Не возьму в толк, — сказал я, — чего могла бы ты опасаться, когда б я был патриций.

— Дорогой друг, причина тому такова, что я могу объявить ее, лишь взяв с тебя слово чести, что ты доставишь мне удовольствие и исполнишь одну мою просьбу.

— Что за труд может быть для меня в том, чтобы доставить тебе любое удовольствие, какое ты попросишь, если только это в моих силах и не противно чести моей — теперь, когда меж нами нет более никаких тайн? Говори, моя дорогая, скажи мне, что это за причина, и рассчитывай на любовь мою, а значит, и снисходительность во всем, что может доставить тебе удовольствие.

— Прекрасно. Я прошу тебя позвать меня на ужин в твой дом для свиданий. Приду я со своим другом — он до смерти хочет с тобою познакомиться.

— А поужинав, ты уйдешь с ним?

— Ты же понимаешь, что так надо.  
 — Твой друг уже знает, кто я такой.  
 — Я полагала, что должна ему это сказать. Иначе он бы не дерзнул прийти к тебе на ужин.  
 — Теперь понимаю. Твой друг — иностранный посланник.  
 — Именно так.  
 — Однако если он окажет мне честь и придет на ужин, то ему уже не удастся хранить инкогнито.  
 — Это было бы чудовищно. Я представлю его тебе и скажу и имя его, и титул.  
 — И ты полагала, что я могу не согласиться доставить тебе такое удовольствие? Скажи, возможно ли для тебя доставить мне удовольствие еще большее и назначить день ужина? Будь уверена: я стану ожидать тебя с нетерпением.  
 — Я была бы уверена в твоём снисхождении, когда б ты сам не приучил меня сомневаться.  
 — Колкость твоя справедлива.  
 — Я пошутила. Теперь я довольна. К тебе на ужин придет г-н де Бернис, французский посланник. Как только он снимет маску, я его представлю. Он понимает, что тебе, скорее всего, известна его связь со мною, но не забудь: ты не должен знать, что он соучастник нашей взаимной страсти.  
 — Покоряюсь тебе, милый мой друг. Ужин этот — венец моих желаний. Ты права, что тревожилась о моем титуле: когда б я был патриций, в дело бы всерьез вмешались Государственные инквизиторы; в дрожь бросает, как подумает, что могло бы из этого последовать! Я в тюрьме инквизиции, ты обесчещена, и аббатиса, и весь монастырь. Боже правый! Тревога твоя не напрасна, но если б ты поведала мне о ней раньше, я бы отнюдь не скрывал своего имени: в конечном счете сдержанность моя происходила единственно из боязни, что если меня узнают, отец К. К. может перевести ее в другой монастырь. Можешь ли ты назначить день ужина? Я сгораю от нетерпения.  
 — Нынче 4-е число; мы можем отужинать вместе 8-го. Мы отправимся к тебе из оперы, после второго балета. Скажи мне только, как нам отыскать твой дом для свиданий, не спрашивая ни у кого дороги.  
 Тут я написал на бумаге, как найти дверь моего домика, угодно ли им будет прибыть по воде или по улицам, и, в восторге от столь прекрасного и почетного предложения, стал молить ангела моего идти спать. Я объяснял, что не вполне еще здоров, а потому, поужинав с отменным аппетитом, в постели, может статься, отдам первые почести Морфею. Тогда поставила она часы на десять часов, и мы отправились в альков спать; от десяти же до двенадцати (ночи начинали уже становиться короче) мы занимались любовью.  
 Уснули мы, не разжимая объятий и даже не разлучивши губ наших, что сберегли последний наш вздох. Положение это помешало нам шестью часами позже послать проклятие будильнику, каковой дал нам знать, что отложенное ристалище должно уже завершиться. М. М. воистину светилась. Ланиты ее краскою радости напомнили взору моему сияние роз, предвестниц Венеры. Я говорил ей это, а она в страстном желании понять мои слова побуждала приглядеться пристально к необыкновенному колыханию прекрасной своей груди, что, казалось, призывала меня губами освободить ее от волнующих духов любви. Напившись их вволю, бросился я к полуоткрытым ее губам, получил поцелуй, знак поражения ее, и ответил ей другим поцелуем.  
 Морфей, быть может, одержал бы над нами и вторую победу, но маятник предупредил, что времени нам осталось только чтобы одеться.  
 Подтвердив, что ужин будет восьмого числа, она возвратилась в монастырь. Я проспал до полудня, а после вернулся в Венецию и распорядился на кухне относительно предстоящего ужина. Мысль о нем доставляла мне величайшее удовольствие.

## ГЛАВА VII

Мы ужинаем втроем с г-ном де Бернисом, французским посланником, у меня в доме для свиданий. Предложение М. М.; я принимаю его. Последствия моего согласия. К. К. неверна мне, но жаловаться мне не на кого

Подобное положение, казалось бы, должно было сделать меня счастливым — но я был несчастлив. Я любил карты, но метать банк не мог, ходил в игорный дом понтировать и проигрывал днями напролет. Проигрыш огорчал меня и мешал моему счастью. Но для чего я играл? Мне не было в том нужды; денег у меня было довольно, чтобы удовлетворить любую свою прихоть. Для чего я играл, если знал, что не могу проигрывать с легким сердцем? Побуждало меня играть единственно чувство скарденности. Я любил тратить деньги, но когда должен был тратить не то, что выиграл в карты, душа моя обливалась кровью. В те четыре дня спустил я все золото, что выиграл благодаря М. М.

В ночь восьмого числа февраля отправился я в свой домик для свиданий и в урочный час увидал пред собою М. М. и ее почтенного почитателя; едва он снял маску, как был ею представлен и

по имени, и по титулу. Он сказал, что узнал от госпожи своей о нашем знакомстве в Париже, и теперь ему не терпится его возобновить. Произнося эти слова, он пристально вглядывался в меня с видом человека, силящегося вспомнить чье-то лицо, и пожаловался на скверную память. Я успокоил его на сей счет и сказал, что мы не перемолвились и словом, а потому лицо мое не столь долго предстало его взору, чтобы запечатлеться в памяти.

— В тот день, что я имел честь ужинать с Вашим Превосходительством у г-на де Мочениго, вас непрестанно занимал беседою лорд маршал, прусский посланник. Четырьмя днями позже должны вы были ехать сюда. После обеда вы откланялись.

Тут он вспомнил и меня, и то, что спросил у кого-то, не секретарь ли я посольства.

— Однако с этой минуты, — продолжал он, — нам уже не забыть друг друга. Таинства, которых мы приобщены, связывают нас крепкими узами; мы станем близкими друзьями.

Редкостная эта чета немного отдохнула, и мы уселись за стол; я, как и подобает, оказывал ей всяческие почести. Министр, большой чревоугодник, нашел, что бургундское, шампанское и граппа, которые я подал ему после устриц, отменны, и спросил, откуда у меня это вино; я отвечал, что от графа Альгаротти, и он был рад.

Ужин мой был изыскан, а держался я с ними обоими словно простой подданный, которому король со своей возлюбленной оказали своим присутствием величайшую на свете честь. Я видел, что М. М. счастлива почтительным моим обхождением с нею и в восторге от речей моих, каковые посланник слушал с великим интересом и вниманием. Что же до самого министра, то к серьезности у него всегда примешивалась шутка: французское остроумие было ему свойственно в высшей степени. За шутками М. М., умело направляя беседу, заговорила в конце концов о том стечении обстоятельств, благодаря которому познакомилась со мною.

Повествуя о страсти моей к К. К., обрисовала она самым привлекательным образом ее облик и нрав; он же слушал так, словно в первый раз узнал об этой девушке. Он не знал, что мне известно пребывание его в укромной комнате, и должен был играть свою роль. М. М. он сказал, что когда б она привела К. К. на наш ужин, то сделала бы мне прелестнейший подарок; та отвечала, что ей пришлось бы одолевая слишком много опасностей.

— Однако когда б это доставило вам удовольствие, — прибавила она, обращаясь ко мне с видом любезным и благородным, — я могла бы пригласить вас вместе с нею на ужин к себе, ведь спит она в моей келье.

Дар сей весьма меня удивил; но показывать удивление было бы теперь неуместно.

— Ничего не может быть выше удовольствия быть с вами, сударыня, — отвечал я, — однако ж для меня невозможно было бы остаться равнодушным к подобной милости.

— Отлично! Я подумаю.

— Но если я буду приглашен тоже, — вмешался посланник, — то, представляется мне, вы должны предупредить ее, что, кроме возлюбленного, там будет еще и один ваш друг.

— В том нет нужды, — отвечал я тогда, — я напишу ей, чтобы она, не спрашивая ни о чем, исполняла все, что вы, сударыня, ей прикажете. Завтра же я это исполню.

— Итак, послезавтра приглашаю вас на ужин, — заключила М. М.

Я просил посланника не судить строго пятнадцатилетнюю девушку, непривычную к светскому обществу.

После я во всех деталях рассказал ему историю О-Морфи. Повесть эта доставила ему величайшее удовольствие. Он просил показать ему портрет девушки и сказал, что она, как и прежде, живет в Оленьем Парке и услаждает короля, каковому подарила уже отпрыска. Удалились они в восемь часов, весьма довольные; я же остался в домике.

Назавтра, следуя данному М. М. слову, я с утра написал письмо К. К., не предупредив, что на ужин приглашен еще один человек, ей неведомый. Отдав письмо Лауре, отправился я в дом для свиданий, и привратница вручила мне письмо от М. М.; оно гласило:

«Пробило десять часов, я ложусь спать; но мне не уснуть покойно, если прежде не облегчу совесть. Вот что грызет меня: может статься, ты согласился отужинать с юной нашей подругой лишь из учтивости. Скажи всю правду, дорогой друг, доверься мне, и я развею приглашение это в дым, ни в чем не запятнав твоей чести. Если же идея ужина тебе нравится, он состоится. Душу твою я люблю еще сильнее, нежели тебя самого».

Опасалась она не напрасно, но отказываться было бы для меня слишком постыдно; М. М. слишком хорошо меня знала, чтобы поверить, будто я на это способен. Вот какой я дал ей ответ:

«Поверишь ли, что я ожидал от тебя письма? Да, ожидал, ибо знаю ум твой и понимаю, какое, должно быть, сложилось у тебя понятие о моем уме после того, как я дважды утешал тебя своими софизмами. Всякий раз, думая о том, что стал тебе подозрителен и понятие это, может статься, уменьшило любовь твою, я раскаиваюсь в этом. Прошу, забудь прежние мои видения и впредь поверь, что душа моя во всем подобна твоей. Ужин, о котором мы условились, доставит мне истинное удовольствие. Соглашаясь на него, я был исполнен более благодарности, нежели учтивости, поверь мне. К. К. совсем неопытна, и я счастлив, если начнет она учиться светскому обращению. Поручаю ее

твоему попечению и прошу, коли возможно, удвоить твои к ней милости. Умираю от страха, как бы пример твой не побудил ее постричься в монахини; знай же, что если это случится, я буду в отчаянии. Твой друг — великодушнейший из смертных».

И вот, отрезав себе всякую возможность к отступлению, я позволил себе предаться размышлениям, каким должен был предаться как знаток света и человеческого сердца. Со всей ясностью увидел я, что К. К. привлекла внимание посланника, тот объяснился с М. М., а она, пребывая в обязанности служить ему безоглядно во всем, чего он только пожелает, взялась сделать все возможное, чтобы он был доволен. Ей невозможно было ничего предпринять без моего согласия, и тем более не дерзнула бы она предложить мне подобную вещь. И они устроили все так, что я по ходу беседы должен был из учтивости, из любви и из понятия своего о доброте и порядочности сам одобрить их замысел. Посланниково ремесло и заключалось в том, чтобы уметь плести интриги; он преуспел, и я оказался в тенетах. Дело было сделано, и теперь долг велел мне исполнить все по собственной охоте и с любезностью — дабы не предстать в дурацком виде и не выказать неблагодарности перед человеком, даровавшим меня неслыханными милостями. Однако ж вследствие всего этого я, быть может, охладел бы и к той, и к другой.

М. М. отлично все поняла и, возвратившись к себе, решила скорей поправить дело либо по крайности оправдаться в моих глазах, написав, что развеет приглашение в дым, не запятнав моей чести. Она знала, что я не смогу принять ее дара. Самолюбие сильнее ревности, и мужчина, не желающий прослыть глупцом, не позволит себе обнаружить ревность, в особенности же перед лицом соперника, который превосходит его лишь в том, что совершенно избавлен от укулов сей гнусной страсти.

Назавтра, прибыв в дом для свиданий несколько ранее условленного, застал я там одного посланника, каковой оказал мне прием поистине дружеский. Он сказал, что когда б свел со мною знакомство в Париже, то указал бы мне путь, как стать известным при дворе, где, полагал он, я мог бы достигнуть славы. Сегодня, размышляя об этом, я говорю себе: быть может; но чем бы завершилась эта моя слава? Я сделался бы одной из жертв Революции, какой стал бы и сам посланник, когда б благодаря титулу своему не отправился в 1794 году в Рим и там не умер. Умер он хотя и богатым, но несчастным — если только, во что верится мне с трудом, не переменял образа мыслей.

Я спросил, нравится ли ему в Венеции, и он весело отвечал, что ему не может здесь не нравиться: ведь пребывает он в добром здравии и за деньги может легче, нежели где бы то ни было, доставить себе все возможные в жизни утехы; но добавил, что, как он полагает, его недолго еще оставят в этом посольстве, и просил только ничего не говорить об этом М. М., дабы ее не огорчать.

М. М. привезла с собою К. К., каковая, я заметил, удивилась моему присутствию. Я ободрил ее и оказал самый нежный прием, а незнакомец изъявил большую радость, когда на приветствие его она отвечала на его родном языке. Оба мы поздравили искусную наставницу, что столь хорошо обучила ее по-французски.

Но на К. К. глядел я как на нечто мне принадлежащее, а оттого желание видеть ее во всем блеске победило во мне всякое презренное чувство ревности. Позабывши о нем, я самым веселым образом заставил ее разговориться и порассуждать о предметах, в которых, я знал, разбиралась она очаровательно. Чувствуя одобрение, поддержку, лесть, К. К. в воодушевлении от взора моего, где читалось удовольствие, явилась истинным чудом человеку, которого, однако же, я вовсе не желал видеть в нее влюбленным. Что за противоречие! Я собственными руками вершил такое дело, за какое возненавидел бы всякого, кто дерзнул бы его предпринять.

За ужином посланник оказывал К. К. всяческие знаки внимания. Остроумие и веселье царили в прелестном нашем обществе, и забавные, однако ж совершенно приличные речи текли без малейшей заминки.

Когда б кто-нибудь, ничего заранее не зная и наблюдая нас критическим оком, задумал угадать, связаны ли мы узами любви, он, быть может, и заподозрил бы их, но ничего бы не сумел сказать наверное. М. М. обращалась к посланнику неизменно дружески, ко мне — с уважением, и с нежной снисходительностью — к К. К. Посланник, храня в отношении М. М. выражение почтительной благодарности, в то же время внимательно слушал все, что говорила К. К., придавал речам ее всю возможную выразительность и с видом самым умным и благородным переводил их в мой адрес. Одним словом, из нас четверых легче всего было играть свою роль К. К.: ничем не связанная, она вела себя, как подсказывала ей природа. Оттого сыграла она превосходно. Успех новичку в этом случае обеспечен; однако ж и природа должна быть прекрасна, в противном случае его освищают непременно.

Пять часов провели мы в равном удовольствии; но более всех обнаруживал его посланник. У М. М. был вид человека, довольного своим творением, у меня — вид ценителя. К. К., казалось, гордилась, что сумела угодить всем троим, и тщеславилась, что чужеземец никого, кроме нее, почти и не замечал. На меня глядела она с улыбкой, и я отлично разбирал язык ее сердца: она желала, чтобы я вспомнил, сколь многим отлично это общество от того, в котором брат ее годом раньше дал

ей столь гнусное понятие о мире.

В восемь часов, когда все решили расходиться, посланнику пришлось рассыпаться в благодарностях. Изъявив М. М. признательность за ужин, приятней которого не случалось у него во всю жизнь, он просил сделать ему удовольствие и пригласить на подобный же ужин послезавтра и небрежно спросил меня, буду ли я на нем с тою же радостью. Мог ли он усомниться в моей согласии? Не думаю. Условившись таким образом, мы расстались.

Назавтра, размышляя об этом образцовом ужине, я без труда предугадал, чем все это окончится. Успехом, каким пользовался посланник у женщин, он был обязан единственно своему искусству пестовать и нежить любовь. По природе большой сладострастник, он действовал с расчетом: блаженствовал сам и зарождал у женщины желания, без которых, как он справедливо полагал, наслаждение его было бы неполным. Я со всею ясностью видел, что он влюблен в К. К., и при его темпераменте странно было бы предполагать, что наслаждаться он пожелает лишь светом ее прекрасных глаз. Я нимало не сомневался, что у него уже готов план, и исполняет его, несмотря на все свое благородство, М. М., да столь искусно и с такой осторожностью, что очевидность его ускользала от моего взора. Пусть я не намеревался простирать любезность свою чересчур далеко, однако ж предвидел, что в конце концов окажусь в дураках и К. К. мне не видать. Я не собирался ни давать на то своего согласия, ни чинить тому препятствия. Зная, что женушка моя неспособна поддаться какому-либо излишеству, что могло бы не понравиться мне, предпочел я усыпить свои сомнения и надеяться на то, что соблазнить ее будет не столь легко. Весьма опасаясь последствий этой интриги, я все же с нетерпением ждал развязки ее. Я понимал, что на повторном ужине разыграна будет уже другая пьеса, и приготовился к значительным переменам.

Мне представлялось, что я должен делать только одно — держаться того же поведения; в моей власти было задавать тон в этой игре, и я обещал себе, что какой-нибудь хитростью расстрою их планы. Но что бы я себе ни думал, неопытность К. К., совсем девочки, несмотря на все обретенные ею познания, ввергала меня в трепет. Вдруг им пришла бы мысль употребить во зло ее долг вежливости; но мысль о чуткости М. М. ободряла меня. Я не мог представить, чтобы она, видев, как провел я вдвоем с девушкой десять часов, и убедившись, что я намерен жениться на ней, оказалась способна на столь гнусное предательство. Но рассуждения эти — по сути, рассуждения слабого духом и стыдящегося себя ревнивца, — ни к чему не вели. Мне оставалось подчиниться обстоятельствам и наблюдать, как обернется дело.

В назначенный час явился я в дом для свиданий и обнаружил прелестных подруг своих у камина.

— Привет вам, ангелы мои. Где же наш француз?

Я снимаю маску, сажусь посередине и, осыпая их по очереди поцелуями, выказываю к обеим равную любовь. Хоть я и знал, что им известны мои неоспоримые на них права, но тем не менее держусь в рамках приличий. Я хвалю их взаимную склонность, и они, я вижу, рады, что не приходится за нее краснеть. Прошел час, но мне и мысли не пришло перейти к делу: в сердце моем царил М. М., и для К. К., должно быть, обидны были бы оказанные сопернице знаки внимания.

Пробило три часа, любезный француз все не шел, и М. М. начинала уже волноваться, как тут поднялась к нам привратница и передала ей записку от друга:

«Два часа назад прибыл ко мне курьер; в эту ночь не бывать моему счастью: всю ее принужден я провести за ответной депешей. Надеюсь, вы не только простите меня, но и пожалеете. Могу ли я надеяться, что удовольствие, какого лишает меня в нынешнюю ночь злая фортуна, доставите вы мне в пятницу? Дайте мне завтра знать. Мне хотелось бы оказаться в том же обществе».

— Терпение! — сказала М. М., - Он не виноват; что ж, отужинаем втроем. Вы придете в пятницу?

— Приду с удовольствием. Но что с тобою? — спросил я у К. К. — Похоже, новость эта тебя огорчила.

— Нет, не огорчила; мне только жаль милую мою подругу и тебя, ибо человека столь учтивого и обходительного мне еще не случалось видеть.

— Чудесно, красавица моя; я счастлив, что ты к нему равнодушна.

— Что значит для тебя равнодушна? Разве возможно остаться безразличным к его обращению?

— Еще того лучше. Совершенно согласен с тобою, милое дитя. Скажи еще, что он тебе нравится.

— Что ж! Хотя бы он мне и нравился, это вовсе не значит, что я ему об этом скажу. К тому же, уверена, он любит мою жену.

С этими словами она поднимается, садится к М. М. на колени, и милые подружки начинают ласкать друг друга; поначалу я смеюсь, но понемногу ласки их привлекают мое внимание. Теперь я намерен поощрять их и насладиться давно известным мне зрелищем.

М. М. берет эстампы Мёрсиуса с изображением доблестных любовных сражений меж женщинами и, бросив на меня хитрый взор, спрашивает, не желаю ли я, чтобы она распорядилась

зажечь камин в комнате, где был альков; постигнув мысль ее, я отвечаю, что она тем самым доставила бы мне удовольствие — постель довольно широка, и мы могли бы улечься там все втроем. Она испугалась, что я могу заподозрить, будто друг ее находится в тайной комнате. Тогда перед альковым ставят стол, и я свободен от подозрений, что меня могут увидеть. Подают ужин, и мы едим с отменным аппетитом. М. М. учила К. К. делать пунш. Сидели они напротив меня, и я любовался К. К., красота которой еще возросла.

— Должно быть, грудь твоя за девять месяцев достигла наивысшего совершенства, — сказал я.

— Она стала совсем как у меня, — прибавила М. М. — Хочешь взглянуть?

С этими словами отставляет она чашу с пуншем и расшнуровывает платье у милой подруги; та не сопротивляется, и М. М. немедленно распускает корсет и у себя, чтобы мне удобней было сравнивать. И вот я уже пьян от желания все сопоставить и обо всем судить. С самым веселым видом кладу я на стол Дамскую Академию и показываю М. М., какую позу хотелось бы мне увидеть. Та спрашивает у К. К., не откажется ли она показать мне эту позу, и К. К. отвечает, что им надобно раздеться и улечься в постель. Я прошу доставить мне такое удовольствие.

Посмеявшись вдосталь над тем, что они мне показали, я ставлю будильник на восемь часов, и не проходит и пяти минут, как мы уже втроем пребываем такими, какими создала нас природа, во власти сладострастия и любви. Подруги опять начинают труды свои с таким пылом, словно две тигрицы, жаждущие, похоже, разорвать друг друга в клочья.

Борения двух красавиц у меня перед глазами пробудили мой пыл, но я никак не решаюсь вступить в их битву. Мне подобало, во славу чувства, отдать предпочтение К. К., однако я опасался насмешек М. М.: она одержала бы победу над моей любовью, я же хотел любить только ее. К. К. была тоньше М. М., но ляжки и бедра у нее были шире; она была брюнетка, М. М. — блондинка, и обе с равным искусством владели утомительной этой и бесплодной борьбой.

Наконец, не в силах сопротивляться долее, бросаюсь я на них и, как бы стараясь разделить их, кладу под себя М. М., но она выскользывает, и я падаю на К. К., каковая принимает меня с распростертыми объятиями и меньше чем в минуту заставляя испустить дух без всяких предосторожностей и сама отдает богу душу вместе со мною.

Придя в себя, бросаемся мы оба на М. М. — К. К. движима благодарностью, я — мстостью за то, что вынужден был ей изменить. Целый час держал я ее в послушании и с удовольствием глядел на К. К., которая, казалось, гордилась, что доставила подруге своей достойного любовника.

Героини мои сдались на увещевания, и с общего согласия предались мы сну, уверенные, что на славу употребим те два часа, что останутся нам от будильника до ухода.

Набравшись сил и узрев друг друга в природном обличье, мы снова исполнились пыла. К. К. с достоинством пожаловалась, что лишь один раз испустила со мною дух, М. М. уговаривала меня воздать подруге по заслугам, но я не заставил себя долго просить. Долгое наше сражение движимо было заключенным по всей форме договором, что обе стороны, не боясь последствий сей битвы, готовы, коли случатся они, увенчать ее узами Гименея; М. М., доверившись одной лишь любви, пожелала подвергнуться той же опасности. Презрев все, что могло с нею случиться, она решительно приказала не щадить ее, и я выполнил приказ. Опьяненные сладострастием и возбуждающим питьем, мы все втроем в непрерывных порывах желания произвели опустошение во всем, что даровала нам природа зримого и осязаемого, впивались взапуски во все, что являлось нашему взору, и в трио, какие мы исполняли, казались все одного пола. Расстались мы за полчаса до рассвета измученные, вялые, уставшие, пресыщенные, униженные необходимостью признать пресыщенность свою — но отнюдь не отвращение.

Назавтра, размышляя над этой излишне бурной ночью, ощутил я угрызения совести. Сладострастие, по обыкновению, попорало разум. М. М. пыталась убедить меня, что ее любовь сопряжена с теми же добродетелями, какими сопровождалась моя, — с честью, порядочностью, правдивостью. Однако ж ум ее поработен был темпераментом, а тот увлекал ее к излишествам, и она, подготавливая случай им предаться, ожидала, когда удастся сделать меня их соучастником. Она нежила любовь и холила ее, дабы, зная, что заслуживает упрека, подчинить ее, податливую, своей власти. Она полагала, что вправе требовать от меня одобрения, и не желала знать, что мне было на что жаловаться — ведь меня застигли врасплох. Ей прекрасно было известно, что, жалуясь, я признал бы себя слабее либо трусливей ее, а значит, мне стало бы стыдно.

Я нимало не сомневался, что отсутствие посланника было предумышленным. Они предчувствовали, что я догадаюсь об этом и из чувства благодарности и уязвленной чести не пожелаю им уступить и принужден буду, ради любви и необходимости, предстать столь же благородным и учтивым, как они, попать ногами собственную природу.

Посланник первым доставил мне упоительную ночь — мог ли я решиться чинить препятствия, если он желал такой же ночи для себя? Они рассчитали правильно. Рассудок мой сопротивлялся, но я понимал, что должен уступить им победу. К. К. их не смущала; они уверены были, что уговорят ее, как только мое присутствие перестанет их стеснять, и я понимал, что так оно и случится. Трудом М. М. сердце К. К., когда б она не решилась подражать подруге, было бы ввергнуто в пучину стыда.



Бедняжка К. К.! Я уже видел ее распутницей, и все из-за меня. Увы! Я не берег их. Что стану я делать, если через несколько месяцев обе окажутся беременны? Я понимал, что обе подруги на моей совести. Разум мой сражался с предрассудком, природа — с любовью, и я в горестной нерешительности не был в силах ни идти на ужин, ни отказаться от него. Если я приму приглашение, ночь пройдет пристойно и я выставлю себя на посмешище как ревнивец, скряга и неблагодарный невежа. Если не пойду, К. К., по крайней мере в моих глазах, пропала навсегда. Я чувствовал, что не смогу любить ее дольше и уж, конечно, оставлю всякую мысль о женитьбе.

Одержимый душевной смутой, чувствую я настоятельную потребность избавиться от сомнений. Я надеваю маску и отправляюсь напрямик к дому французского посланника. Швейцару я говорю, что у меня письмо в Версаль и что он бы сделал мне одолжение, когда бы передал его курьеру, каковой должен возвратиться туда, как только получит депешу от Его Превосходительства. Швейцар отвечает, что чрезвычайного курьера не было здесь уже два месяца.

— Как! Разве не прибыл вчера вечером курьер?

— Вчера вечером Его Превосходительство изволили ужинать у испанского посланника.

Вот и конец моим сомнениям. Я понял, что придется проглотить пилюлю; К. К. надо предоставить ее участи. Если я напишу девочке, чтобы она не ходила на ужин, то поступлю как трус.

Под вечер направляюсь я специально на Мурано и оставляю в доме для свиданий записку, где прошу М. М. простить меня: неотложное дело, случившееся до меня у г-на де Брагадина, велит мне всю ночь провести с ним. Сделав этот шаг, возвращаюсь я в Венецию в весьма скверном расположении духа и иду в игорный дом; в эту ночь проиграл я втрое или вчетверо больше, чем у меня было.

Через день отправился я в дом для свиданий на Мурано в уверенности, что там будет письмо от М. М. Привратница отдает мне письмо, я вскрываю его и обнаруживаю там еще и другое, от К. К. Все у них стало общим. Вот что писала К. К.:

«Весть, что ты не сможешь прийти на ужин, повергла нас, милый супруг мой, в истинное отчаяние. Друг названной моей сестрицы прибыл четвертью часа позже и также весьма опечалился. Мы думали уже, что станем за ужином грустить; но ничуть не бывало. Чудесные речи господина этого возвеселили нас; и ты, дорогой друг, не можешь даже вообразить, какое безумие овладело нами после пунша из шампанского! Но и он сам безумствовал не менее нашего. В постели он нас не утомил, но весьма позабавил. Уверяю тебя, он очаровательный человек и создан для любви, однако тебе он уступает во всем. Не сомневайся: никогда не буду я любить никого, кроме тебя, и ты один всегда будешь царить в моем сердце».

Письмо это позабавило меня, несмотря на досаду. Но письмо от М. М. было еще необычнее:

«Уверена, ангел мой, что ты солгал из учтивости; но знай, я была готова к этому. Ты решил сделать нашему другу царский подарок в обмен на тот, что поднес тебе он, позволив своей М. М. отдать тебе сердце. Ты бы и без того владел им, однако, дорогой друг, приправлять наслаждения любви чарами дружбы право, приятное искусство. Я огорчилась, что не увижу тебя; но потом поняла, что когда б ты пришел, мы бы так не посмеялись, ибо натура друга нашего, несмотря на великий его ум, не свободна от предрассудков. К. К. теперь столь же свободна духом, как и мы. Обязана она этим мне, и я могу гордиться, что воспитала ее для тебя. Мне бы хотелось, чтобы ты наблюдал за нами из укрытия: уверяю, ты провел бы упоительные часы. В среду буду я в твоём венецианском доме для свиданий, совсем одна и совсем твоя. Извести, будешь ли в обычный час ждать меня у статуи. Если не сможешь, назначь другой день».

Надобно было отвечать на один лад обеим девицам. Не было горько, а притворяться нужно было, что сладко: Ты этого хотел, Жорж Данден \*. Я никак не мог решить, какого рода стыд одолевает меня — доброго или дурного; и нынче, когда б пустился я обсуждать сей вопрос, то никогда бы не кончил. В письме к К. К., собравшись с силами, я поздравил ее и велел во всем подражать М. М. как истинному образцу совершенства.

М. М. же я написал, что она, как обычно, найдет меня у подножья статуи готовым исполнять ее веления. Письмо мое полно было неискренних похвал воспитанию, какое дает она К. К.; в нем была одна лишь правдивая фраза, и та двусмысленная: «Благодарю за желание твое, чтобы я занял место наблюдателя в тайнике. Я бы не смог там оставаться».

В среду я был на свидании в точно условленный час. Она явилась в мужской одежде и не пожелала идти ни в оперу, ни в комедию.

— Идем в игорный дом, — сказала она, — проиграем наши деньги или удвоим их.

У нее было шестьсот цехинов, у меня около сотни. Судьба оказалась нам неблагоприятна. Проиграв все, она отыскала где-то своего друга, зная, что он должен здесь быть, и попросила денег у него. Часом позже он вернулся и дал ей кошелек с тремя сотнями цехинов. Она вернулась к игорному столу, понтировала и отыгралась; но, не довольствуясь этим, снова проиграла все, и когда пробило полночь, мы отправились ужинать. Меня нашла она грустным, хотя я прилагал все силы, чтобы этого не показать. Сама она была все такая же — красивая, веселая, смеющаяся, любящая.

Она решила, что развеселит меня, если расскажет в подробностях обо всех происшествиях

ночи, проведенной с К. К. и ее другом. Именно этого ей и не следовало делать, но разум человеческий имеет тот недостаток, что слишком часто полагает в другом ту же раскованность и свободу, какую ощущает в себе самом. Я не чаял, когда мы наконец пойдем спать и окончится это повествование, сладострастные подробности коего вовсе не производили на меня должного действия. Я боялся, что не сумею надлежащим образом выглядеть в постели — а чтобы так и случилось, довольно этого бояться. Влюбленный юноша никогда не подвергает сомнению способностей своей любви: коли он усомнится, любовь отомстит ему и оставит с носом.

Но в постели красота, ласки и чистота души очаровательной этой женщины развеяли мое дурное настроение. Ночи сделались короче, и нам не хватило времени поспать. Мы провели два часа в любви и расстались влюбленными. Она заставила меня обещать, что я зайду в ее дом для свиданий и возьму денег, дабы играть с ней в доле. Я отправился на Мурано, взял все золото, какое нашел, и, понтируя таким образом, какой в карточных терминах именуют «играть на квит», во весь остаток карнавала выигрывал по три-четыре раза на дню. Я ни разу не проиграл шестую карту. Когда б я ее проиграл, то утратил бы все свое состояние — две тысячи цехинов. Таким образом увеличил я скромное богатство дорогой своей М. М.; она же написала мне, что честь велит нам всем поужинать вчетвером в последний понедельник карнавала. Я согласился.

То был последний мой ужин с К. К. Она была очень весела; я сделал окончательный выбор и ухаживал за одной лишь М. М. К. К., нимало не смущаясь моим присутствием, была занята только новым своим поклонником.

Однако ж, предвидя неизбежное замешательство, я просил М. М. устроить все таким образом, чтобы посланник мог спокойно провести ночь с К. К., а я с ней, и она отлично с этим справилась.

После ужина посланник завел речь об игре в фараон; красавицы ее не знали \*, и чтобы показать им, что это такое, он велел принести карты и составил банк в сотню двойных луидоров, каковые старательно предоставил выиграть К. К. Та, не зная, что делать со всем этим золотом, просила милую свою подругу сохранить его до той минуты, пока она не выйдет из монастыря и не вступит в брак.

Сыграв партию, М. М. сказала, что у нее болит голова и она пойдет ляжет в алькове, и просила меня ее убаюкать. Девочку нашу мы оставили наедине с посланником. Когда шестью часами позже будильник возвестил конец нашей оргии, мы обнаружили их спящими. Что до меня, то я провел ночь с М. М. в любви и полном спокойствии, ни разу не вспомнив о К. К. Так завершился для нас карнавал.

1755–1756. ВЕНЕЦИЯ

## ТОМ IV

### ГЛАВА XI

Больная красавица. Я ее вылечиваю. Меня хотят погубить и строят козни. Происшествие у юной графини Бонафедде. Эрберия. Обыск у меня в доме. Беседа моя с г-ном де Брагадином. Я взят под стражу по приказу Государственных инквизиторов

Итак, отужинав в ранний час с г-ном де Брагадином, направляюсь я в свой новый дом для свиданий, поблаженствовать на свежем воздухе на балконе спальни. К удивлению своему, ступив на балкон, обнаружил я, что он занят. Какая-то девица, весьма красивая собою, встает и просит простить ее за то, что позволила себе подобную вольность.

— Это меня приняли вы утром за восковую статую, — говорит она. — Из-за комаров мы не зажигаем света, покуда окна открыты; но как только вы пожелаете лечь спать, мы их закроем и удалимся. Это моя младшая сестра, а матушка уже в постели.

Я отвечаю, что балкон к ее услугам, что еще рано и что я прошу только дозволить мне переодеться в шлафрок и присоединиться к их обществу. Два часа развлекала она меня разумными и приятными речами и в полночь ушла. Юная сестра ее зажгла свечу и тоже удалилась, пожелав мне доброй ночи.

Ложась спать, думал я об этой девушке: мне не верилось, что она больна. Говорила она звонким голосом, была весела, образованна и остроумна. Коли болезнь ее проистекала лишь из отсутствия того лекарства, какое Ригелини называл единственным и неповторимым, недоумевал я, то что за роковая случайность помешала ей излечиться в таком городе, как Венеция: ведь, невзирая на бледность, она представлялась мне вполне достойной пылкого любовника и достаточно умной, чтобы тем или иным образом принять наконец несравненное по сладости лекарство.

Назавтра, проснувшись, я звоню, и входит ко мне младшая сестра — прислуги в доме не было, а заводить своей я не хотел. Я спрашиваю горячей воды для бритья и спрашиваю о здоровье сестры; та отвечает, что сестра здорова и бледность ее не болезнь — разве только всякий раз, как она задыхалась, ей приходилось пускать кровь.

— Но это ей не мешает отлично есть и еще лучше спать, — заключает она.

При этих словах девочки доносятся звуки скрипки.

— Это сестра, — объясняет младшая, — она учится танцевать менуэт.

Я быстро одеваюсь и иду посмотреть: прелестная барышня танцует менуэт под присмотром старого учителя, который позволяет ей косолапить. Единственным недостатком девушки была лишь смертная белизна кожи, чересчур напоминавшей снег; ей не хватало живого румянца.

Учитель танцев приглашает меня станцевать менуэт со своей подопечной; я и сам не прочь, но прошу его играть *larguissimo*, в самом медленном темпе. Он отвечает, что барышня слишком утомится, однако та возражает, что вовсе не так слаба. Окончив менуэт, принуждена она была броситься в кресла, и на щеках ее явилось некое отдаленное подобие краски. Но танцовщику она сказала, что впредь желает танцевать только так. Когда мы остались одни, я объяснил ей, что человек этот учит ее не довольно хорошо и не исправляет ошибок. Я научил ее держать носки наружу, изящно подавать руку и приседать в такт, а через час, когда она заметно притомилась, я извинился и отправился на Мурано к М. М.

Ее застал я в глубокой печали. Отец К. К. умер, девушку взяли из монастыря и теперь выдают замуж за адвоката. Она оставила М. М. письмо ко мне, где говорила, что если мне снова угодно будет обещать ей жениться, когда я сочту это возможным, то она станет ждать и твердо отказывать всякому претенденту на ее руку. Без всяких околичностей я отвечал, что не занимаю никакого положения в обществе и, по всему судя, не могу надеяться вскорости его занять, а потому даю ей свободу и даже советую не отвергать возможного жениха, если, по ее мнению, он способен составить ее счастье. Несмотря на эту явную отставку, К. К. вышла замуж за\*\*\* лишь после бегства моего из Пьомби, когда никто не верил, что я смогу когда-нибудь возвратиться в Венецию. Я повстречал ее вновь лишь девятнадцать лет спустя. Когда б теперь жил я в Венеции, я бы, конечно, не женился на ней — в моих летах брак смехотворен, — но непременно соединил бы судьбу ее со своею.

Мне смешно, когда женщины, случается, называют мужчин вероломными и обвиняют их в непостоянстве. Они были бы правы, когда б могли доказать, что, клянясь им в верности, мы уже питаем намерение эту верность нарушить. Увы! Мы любим, не спрашиваясь у разума, и тем более разум ни при чем, когда мы прекращаем любить.

В эти же дни получил я письмо от посланника. Он просил меня направить все силы ума на то, чтобы вразумить М. М. Ничто, полагал он, не может быть неосторожней с моей стороны, как выкрасть ее и увезти в Париж, где, несмотря на все его покровительство, она не сможет себя чувствовать в полной безопасности. Подобное же письмо написал он и М. М., и бедняжка поведала мне свое огорчение.

Небольшое происшествие дало нам повод для некоторых размышлений.

— Только что похоронили у нас одну монахиню, — сказала М. М. — Умерла она позавчера, от чахотки, двадцати восьми лет от роду и святою смертью. Звали ее Мария Кончетта. Она была с тобою знакома и сказала имя твое К. К., когда ты во всякий праздничный день приходил сюда к мессе. К. К. не удержалась и просила ее хранить молчание. Та монахиня сказала, что ты опасный человек, и всякой девушке следует тебя опасаться. К. К. рассказала мне обо всем после твоего появления в костюме Пьеро, когда раскрылось твое имя.

— Как звали эту монахиню в миру?

— Марта С.

— Теперь мне все понятно.

И я поведал М. М. от начала до конца историю своих любовных походов с Нанеттой и Мартоном и заключил рассказ письмом, в котором та писала, что обязана мне, хотя и косвенно, спасением своей души.

Полуночные мои беседы на балконе с дочерью хозяйки и урок, что давал я ей всякое утро, произвели в восемь — десять дней два вполне естественных следствия. Во-первых, она больше не задыхалась, во-вторых, я в нее влюбился. Месячные к ней еще не пришли; но посылать за лекарем больше не было нужды. Ригелини навещал ее и, видя, что чувствует она себя лучше, предсказал ей еще до осени то благодеяние природы, без которого жизнь ее продолжалась лишь благодаря ухищрениям лекаря. Мать ее взирала на меня как на ангела Божьего, посланного излечить дочь, а та исполнена была благодарности, каковая у женщин лишь на крошечный шаг отстоит от любви. Я велел ей отказать от места своему учителю танцев.

Но вот прошли эти десять — двенадцать дней, и вдруг в тот самый момент, что я давал ей урок, она, казалось, едва не умерла на моих глазах. С ней случилось ее удушье — гораздо худшее, нежели, например, астма. Она, словно мертвая, рухнула мне на руки. Мать, привычная к подобному ее состоянию, немедленно послала за хирургом, а юная сестра стала расшнуровывать платье ее и юбку. Красота упругой ее груди, каковой не было нужды в красках, поразила меня. Я прикрыл ее со словами, что, попадись она на глаза хирургу, он не сумеет пустить кровь; но едва она заметила, что сам я с удовольствием держу руку поверх одеяла, она, глядя на меня умирающим взором, самым кротким образом оттолкнула ее.

Хирург явился, пустил ей скорей кровь из руки, и не прошло и минуты, как она ожила. Он сразу

положил ей компресс, и все было готово. Выпустил он едва четыре унции крови, и мать ее сказала, что большего никогда и не требовалось: я понял, что чудо вовсе не столь велико, как представляет Ригелини. Кровопускание ей делали два раза в неделю, а значит, за месяц теряла она три фунта крови — столько, сколько должна была терять при менструациях; поскольку же с той стороны сосуды были закупорены, природа, всегда заботящаяся о самосохранении, угрожала ей гибелью, если не облегчится она от избытка крови, мешающего свободному ее току.

К некоторому моему удивлению, едва хирург удалился, она сказала, что если мне будет угодно подождать ее минутку в зале, то она придет, и мы продолжим урок танцев. Она и в самом деле пришла и чувствовала себя прекрасно, словно ничего и не было.

Грудь ее, о которой получил я достойное свидетельство двух своих органов чувств, не давала мне покоя; она так взволновала меня, что домой я возвратился под вечер. Они с сестрой были в своей комнате. Она сказала, что придет подышать воздухом ко мне на балкон в два часа, а теперь ждет своего крестного, каковой был близким другом ее отца и вот уже восемь лет приходит всякий день к ней часа на полтора.

— Сколько ему лет?

— Между пятым и шестым десятком. Он женат. Это граф С. Ко мне он привязан нежно, но по-отцовски. Нынче он любит меня так же, как и в самом раннем детстве. Иногда и жена его приходит навестить меня или приглашает на обед. Будущей осенью я поеду с нею в деревню. Граф знает, что вы у нас живете, и ничего не имеет против. Он с вами незнаком, но если вам угодно, сегодня же вы с ним познакомитесь.

Речь эту выслушал я с удовольствием: я узнал все, что хотел, не имея нужды в нескромных вопросах. Дружба этого грека могла быть только плотской. То был муж графини, вместе с которой два года назад увидал я впервые М. М.

Граф оказался весьма учтив. Отеческим тоном поблагодарил он меня за участие в его крестнице и просил назавтра пожаловать вместе с нею к нему на обед, где он будет иметь счастье представить мне свою супругу. Я с удовольствием принял приглашение. Я всегда любил неожиданности, а встреча моя с графиней обещала быть неожиданностью занятой. Вел он себя как человек порядочный, и после ухода его я, на радость девушке, весьма его за это хвалил. Она сказала, что у него в руках все бумаги, позволяющие вернуть у дома Персико наследство ее семьи, сорок тысяч экю; четвертая часть этих денег принадлежала ей, не считая еще приданого матери, которым та желала распорядиться в пользу дочерей. Таким образом, супругу своему она принесет приданое в пятнадцать тысяч дукатов, и сестра ее столько же.

Девушка эта, желая влюбить меня в себя и удостовериться в моем постоянстве, не спешила оказывать мне милости, а когда я пытался их добиться, противилась и осыпала меня упреками, на которые не осмеливался я возражать; однако вскоре я заставил ее переменить поведение.

Назавтра я отправился с нею к графу, не предупредив, что знаком с графиней. Я полагал, она сделает вид, будто со мною незнакома — но ничуть не бывало. Она встретила меня радушно, словно старинного знакомого, и когда муж ее, слегка удивленный, спросил, давно ли мы знакомы, отвечала, что мы встречались два года назад в Ла Мире. День прошел очень весело.

Под вечер, возвращаясь с девушкой домой в моей гондоле и потребовав некоторых к себе милостей, получил я вместо них одни упреки и был столь ими обижен, что, доставив девушку домой, отправился ужинать к Тонине и провел у нее почти всю ночь, ибо Поверенный явился очень поздно. Назавтра, проспав до полудня, я не дал ей урока, и когда попросил за это прощения, она отвечала, что стесняться мне нечего. Вечером она не явилась на балкон, и я обиделся. На следующий день ухожу я из дому очень рано, никаких уроков, а вечером на балконе веду с нею равнодушные речи; однако ж наутро просыпаюсь от великого шума, выхожу из комнаты посмотреть, что случилось, и хозяйка говорит, что дочь снова задыхается. Скорей за хирургом.

Я вхожу к девушке, вижу ее умирающей, и сердце мое обливается кровью. Дело было в начале июля, она лежала в постели, укрытая одной лишь простыней. Только глаза ее еще могли говорить со мною. Я спрашиваю, есть ли у нее сердцебиение, кладу руку ей на грудь, целую в вершину холма, и у нее недостает сил мне противиться. Я целую ее ледяные губы, а рука моя спускается скорей полутора локтями ниже и завладевает совершенной там находкою. Она слабо отталкивает мою руку, но в глазах ее столько силы, что я понимаю неуважительность своего поступка. Тут является хирург, открывает ей вену, и она немедля начинает дышать. Ей хочется встать, но я советую ей полежать в постели и обещаю послать за своим обедом и отобедать подле нее; тогда она соглашается, а мать ее говорит, что постель пойдет ей только на пользу. Она надевает корсет и велит сестре положить поверх простыни легкое одеяло: простыня не скрывала вовсе очертаний ее фигуры.

Поступок мой пробудил во мне любовный пламень, и я, в решимости не упустить счастливого случая, буде он представится, прошу хозяйку послать кого-нибудь на кухню к г-ну де Брагадину сказать, чтобы прислали мне обед, а сам, сев у изголовья больной красавицы, убеждаю ее, что она непременно излечится, если только сумеет полюбить.

— Я уверена, что выздоровею; но могу ли я любить кого-нибудь, если сомневаюсь, что

любима?

Разговор наш становился все живее, и вот я уже кладу ей руку на бедро и прошу не прогонять меня; продолжая просить, проскальзываю я выше и достигаю до такого места, пощекотав которое, должен был, как мне казалось, доставить ей самое приятное ощущение. Однако ж она отодвигается и говорит мне с сердцем, что, быть может, именно то, что я сделал, и есть причина ее болезни. Я отвечаю, что такое возможно, и, убедившись через это признание, что достигну желаемого, преисполняюсь надежды вылечить ее — если только правда все то, что о ней говорят. Щадя стыдливость ее, я не задаю нескромных вопросов, объявляю, что люблю ее, и обещаю не требовать никакой иной пищи своему чувству, кроме той, какую она сама сочтет необходимым мне даровать. Она с большим аппетитом съела половину моего обеда, встала с постели, пока я одевался, чтобы идти в свет, а когда в два часа я вернулся, она уже сидела у меня на балконе.

Сидя напротив меня на балконе, она, проговорив со мною с четверть часа о любви, дозволила глазам моим насладиться всеми своими прелестями, которым лунный свет еще прибавлял привлекательности, и разрешила покрыть их поцелуями. В смятении, что пробудила в душе ее всепоглощающая страсть, и отдавшись на волю инстинкта, враждебного всяческим ухищрениям, она, прижимаясь тесно к моей груди, увлекла меня к счастью с таким пылом, что я со всею ясностью понял она полагает, будто получает от меня гораздо больше, нежели дает. Я заклал жертву, не обagrив алтаря кровью.

Сестра пришла за ней, говоря, что уже поздно и она хочет спать; та велела ей ложиться, и едва мы остались одни, как без всяких предисловий улеглись в постель. Провели мы вместе всю ночь: я движим был любовью и желанием ее излечить, она — благодарностью и самым необузданным сладострастием. На рассвете отправилась она спать в свою комнату, а я остался изнуренным, но так и не получившим облегчения: боязнь, что она может забеременеть, помешала мне испустить дух, не умирая. Она спала со мною три недели без перерыва, и ни разу не случилось с нею удушья, и ежемесячная благодать пришла к ней. Я бы женился на этой девушке, когда б к концу месяца не произошла со мною катастрофа, о которой я сейчас расскажу.

Быть может, читатель припомнит, что у меня были причины не любить аббата Кьяри, автора того самого сатирического романа, какой давал мне прочесть Муррей. С тех пор, как я объяснился с ним и дал понять, что отомщу за себя, прошел месяц. Аббат держался настороже. В это самое время получил я анонимное письмо, где говорилось, что мне лучше было бы подумать не о том, как поколотить аббата, а о самом себе, и что мне грозит величайшая и неотвратимая беда. Всякий, кто пишет анонимные письма, достоин презрения: это либо предатель, либо глупец; но небрежь предупреждением не следует никогда. Я совершил ошибку.

В это время свел со мною знакомство некто Мануцци, прежде мне неизвестный; главное его ремесло было оправщик камней, а сверх того, как обнаружилось позже, служил он шпионом Государственных инквизиторов. Он обещал продать мне в кредит бриллианты, поставив некоторые условия, из-за которых я принужден был пригласить его к себе домой. Разглядывая множество разбросанных там и сям книг, остановился он перед несколькими манускриптами, в которых речь шла о магии. Радуясь его изумлению, показал я ему те из них, что учили сводить знакомство с духами всех четырех первоэлементов.

Как легко может вообразить себе читатель, книги эти я презирал, но они у меня были. Пятью или шестью днями позже предатель этот явился ко мне со словами, что некий человек, имя которого он назвать не может, готов из любопытства купить пять моих книг за тысячу цехинов, но прежде желал бы взглянуть на них, дабы убедиться в их подлинности. Я вручил ему книги, обязав вернуть их ровно через сутки и в душе не придавая этому никакого значения. Назавтра он и впрямь вернул их, говоря, что незнакомец почел их фальшивыми; но через несколько лет я узнал, что носил он их секретарю Государственных инквизиторов, каковые таким образом удостоверились, что я отменный чародей.

В тот же роковой месяц г-же Меммо, матери гг. Андреа, Бернардо и Лоренцо, взбрело в голову, будто я склоняю детей ее к атеизму, и тревоги свои она поверила старому кавалеру Антонио Мочениго, дяде г-на де Брагадина, каковой имел на меня зуб и утверждал, что я посредством своей каббалистики якобы совратил его племянника. Дело относилось к ведению инквизиционного суда, но поскольку заточить меня в тюрьму церковной инквизиции было затруднительно, они решились принести жалобу Государственным инквизиторам, а те взялись заняться моим поведением. Этого было довольно, чтобы погубить меня.

Г-н Антонио Кондульмер, друг аббата Кьяри, а значит, мой враг и красный Государственный инквизитор, воспользовался случаем и представил меня нарушителем общественного спокойствия. Несколькими годами позже один секретарь посольства сказал мне, что некий доносчик, обзаведясь двумя свидетелями, обвинил меня в том, будто верю я в одного лишь дьявола. Они достоверно утверждали, что когда я проигрывал в карты, то есть в минуту, когда все верующие богохульствуют, я проклинал только дьявола. Меня обвинили в том, что я не соблюдаю посты, хожу лишь на красивые мессы, и есть достаточно причин считать меня франкмасоном. Сверх того, добавили свидетели,

посещаю я иностранных посланников, и поскольку вожу дружбу с тремя патрициями и, конечно же, знаю обо всем, что происходит в Сенате, то раскрываю тайну эту чужестранцам за большие деньги, каковые и проигрываю в карты на глазах у всех.

Выслушав все эти обиды, всемогущий трибунал постановил считать меня врагом отечества, заговорщиком и изрядным негодяем. На протяжении двух или трех недель подряд многие люди, которым не мог я не верить, советовали мне совершить путешествие за границу, ибо мною занимается трибунал. Нельзя было сказать большего: жить счастливо могут в Венеции лишь те, о чьем существовании грозный трибунал не подозревает; но я презрел все предупреждения. Когда б я стал обращать на них внимание, то начал бы беспокоиться, а я был враг всякого беспокойства. Я отвечал, что не чувствую никаких угрызений совести, а значит, не могу быть виноват, а коли я не виноват, то бояться мне нечего. Я был глупец. Я рассуждал как свободный человек. Сверх того, неопределенную беду заслоняла для меня беда действительная, гнетущая мысль мою днем и ночью. Я проигрывал каждый день, я увяз в долгах, заложил все свои драгоценности, вплоть до табакерок с портретами — их я, впрочем, вынул и передал г-же Мандзони, у которой хранились все мои важные бумаги и любовная переписка. Я видел, что за мною следят. Один старый сенатор сказал мне, что трибуналу известно, будто юная графиня Бонафедде сошла с ума от наркотиков и любовных зелий, каковыми я ее снабдил. Тогда она пребывала еще в лечебнице и в приступах безумия неизменно вспоминала меня и награждала проклятиями. Я должен поведать эту короткую историю читателю.

Юная эта графиня получила от меня несколько цехинов вскоре после возвращения моего в Венецию и решила, что сумеет заставить меня и впредь наносить ей, к вящей ее пользе, приятные визиты. Несколько раз я заходил к ней, дабы прекратить докучные ее записки, и всякий раз оставлял ей денег; но ни разу, не считая первого, не нашла она во мне снисхождения и не добилась знаков внимания. Прошел год, и она затеяла преступное дело; не могу обвинять ее в этом достоверно, но у меня довольно причин считать ее виновницей того, что случилось.

Она написала мне письмо и убедила, сославшись на весьма важное дело, прийти к ней в определенный час. Из любопытства явился я к ней в назначенное время. Она немедля бросилась мне на шею и объявила, что важным делом была любовь. Я посмеялся над нею. В тот раз была она красивее обыкновенного и чище. Она завела разговор о крепости Св. Андрея и так меня разозлила, что я уже почти готов был удовлетворить ее желаниям. Сняв плащ, спрашиваю я, дома ли ее отец, и она отвечает, что отец куда-то ушел. Мне случается нужда выйти, возвращаясь в ее комнату, я ошибаюсь дверью — и, к удивлению своему, обнаруживаю в комнате рядом самого графа с двумя подозрительными личностями.

— Дорогой граф, — говорю я, — только что дочь ваша сказала, будто вас нет дома.

— Это я велел ей так отвечать: у меня было дело до этих людей, но я его отложу на другой раз.

Я хотел было идти — но он просит меня подождать, отсылает тех двоих и говорит, что счастлив меня видеть. Затем он пускается рассказывать мне о своих горестях: Государственные инквизиторы лишили его пенсии, и теперь он был на грани того, чтобы оказаться со всем семейством на улице и просить милостыню. Живя в этом доме, он уже три года сутяжничал и ничего за него не платил; однако новую тяжбу завести уже не мог, и его вот-вот должны были выгнать вон. Когда бы только были у него деньги, чтобы заплатить за первые три месяца, он бы, по его словам, ночью съехал в другое место. Дело шло всего о двадцати дукатах; я вытаскиваю из кармана шесть цехинов, даю ему, и он, поцеловав меня и плача от счастья, зовет дочь, велит ей составить мне компанию, а сам берет плащ и уходит.

Я замечая, что комната эта сообщается с той, где я находился с дочерью графа, а дверь между ними приоткрыта.

— Ваш отец, — говорю я, — застал бы меня на месте преступления; нетрудно догадаться, что бы он сделал со мною с двумя своими сбирами. Тут верный заговор; спасся я только благодаря Господу.

Она все отрицает, пускается в слезы, бросается предо мной на колени, но я, не глядя на нее, беру свой плащ и уношу оттуда ноги. Больше я ни разу не ответил на ее записки и никогда с нею не встречался. Дело было летом. От жары, страсти, голода и нищеты разум ее помутился. Она настолько обезумела, что однажды в полдень выбежала нагишом на площадь Св. Петра, моля всех встречных и стражников, задержавших ее, проводить ее ко мне. Скверная эта история обошла весь город и доставила мне изрядные неприятности. Безумную держали под замком; лишь пять лет спустя разум возвратился к ней, но, выйдя из лечебницы, принуждена она была побираться по всей Венеции, равно как и братья ее, кроме старшего — того повстречал я в Мадриде двенадцатью годами позже, он служил гарсоном, адъютантом в отряде телохранителей Его Величества Короля Испанского.

Случилось все это уже год назад, но в том роковом июле месяце 1755 года дело снова вытащили на свет. Над головою моей сгустились черные тяжелые тучи, готовые поразить меня громом. Трибунал отдал приказ начальнику полиции, мессеру гранде, взять меня под стражу живым или мертвым: слова эти сопровождают всякий приказ об аресте, исходящий от грозного сего

триумвирата. Ничтожнейшее из велений его объявляется так, что грозит нарушителю смертью.

Близился праздник Св. Иакова, чье имя я ношу, и дня за три-четыре перед ним М. М. подарила мне несколько локтей серебряных кружев; их я должен был надеть накануне. Явившись к ней в красивом одеянии, я сказал, что завтра приду просить у нее денег взаймы: больше мне некуда было податься, а М. М. отложила пятьсот цехинов, когда я продал бриллианты.

В уверенности, что назавтра получу деньги, я провел весь день за картами и неизменно проигрывал, а ночью проиграл пятьсот цехинов под честное слово. Когда стало светать, отправился я успокоиться на Эрберию, Зеленой рынок. Место, именуемое Эрберией, лежит на набережной Большого канала, что пересекает весь город, и называется так оттого, что здесь и в самом деле торгуют зеленью, фруктами, цветами.

Те, кто отправляется сюда на прогулку в столь ранний час, уверяют, будто хотят доставить себе невинное удовольствие и поглядеть, как плывут к рынку две или три сотни лодок, полных зелени, всевозможнейших фруктов и цветов, разных в разное время года, — все это везут в столицу жители окрестных островков и продают задешево крупным торговцам; те с выгодой продают товар торговцам средней руки, а они — мелким, еще дороже, и уж мелкие разносят его за самую высокую цену по всему городу. Однако ж венецианская молодежь ходила на зеленый рынок вовсе не за этим удовольствием: оно было только предлогом.

Ходят туда волокиты и любезницы, что провели ночь в домах для свиданий, на постоянных дворах или в садах, предаваясь утехам застолья либо азарту игры. Характер гульбища этого показывает, что нация может меняться в главных своих чертах.

Венецианцев старых времен, для которых любовные связи были такой же глубокой тайной, как и политика, вытеснили нынче современные венецианцы, отличающиеся именно тем, что не желают ни из чего делать секрета. Когда мужчины приходят сюда в обществе женщины, они хотят пробудить зависть в равных себе и похвастать своими победами. Тот, кто приходит один, старается узнать что-нибудь новенькое либо заставить кого-нибудь ревновать. Женщины идут туда больше показаться, нежели поглядеть на других, и всячески стремятся изобразить, что не испытывают ни капли стыда. Кокетству здесь места нет: все наряды в беспорядке, и кажется, напротив, что в этом месте женщинам непременно надобно показаться с изъянами в убранстве — они как будто хотят, чтобы всякий встречный обратил на это внимание. Мужчины, ведя их под руку, должны всячески выказывать скуку перед давнишней снисходительностью своей дамы и делать вид, будто нимало не придают значения тому, что красотки выставляют напоказ разорванные старые туалеты — знаки мужских побед. У гуляющих здесь должен быть вид людей усталых и всей душой стремящихся в постель, спать.

Погуляв с полчаса, отправляюсь я к себе в дом для свиданий, ожидая, что все еще в постели. Вынимаю из кармана ключ — но в нем нет нужды. Дверь открыта; больше того, сломан замок. Поднявшись наверх, застаю я все семейство на ногах и слышу, как жалуется хозяйка. По ее словам, мессер гранде с целой шайкой сбиров ворвался силой в дом и перевернул все вверх дном, утверждая, что ищет будто бы важную контрабанду — чемодан, полный соли. Ему якобы известно, что вчера чемодан внесли сюда. Хозяйка говорит, что накануне действительно выгружен был с корабля чемодан, но принадлежит он графу С. и находится в нем одна только графская одежда. Мессер гранде осмотрел его и, не сказав ни слова, удалился. Побывал он и в моей комнате. Хозяйка желала получить удовлетворение; я понимал, что она права, и обещал в тот же день переговорить об этом с г-ном де Брагадином. Я отправился спать — но оскорбление, нанесенное этому дому, задело меня за живое, и уснул я всего на три или четыре часа.

Отправившись к г-ну де Брагадину, рассказываю я ему обо всем и требую мести. С живостью представляю я ему все доводы, отчего честная хозяйка моя вправе желать удовлетворения, соразмерного оскорблению, — ведь законы утверждали, что всякая семья, чье поведение безупречно, может жить в спокойствии. Произнес я все это в присутствии обоих друзей его и увидел, что все трое в задумчивости. Мудрый старик обещал мне дать ответ после обеда.

За обедом де Лаэ не проронил ни единого слова, и все они были печальны. Я отнес их грусть на счет дружбы, что они питали ко мне. Весь город не уставал дивиться привязанности ко мне трех этих почтенных людей. По общему мнению, она не могла возникнуть естественным путем — а значит, не обошлось здесь без колдовства. Трое друзей были благочестивы до крайности, я же был самый большой в Венеции вольнодумец. Добродетель может снисходить к пороку, но не любить его: так говорили все.

После обеда г-н де Брагадин пригласил меня и обоих друзей своих, от которых не было у него никаких секретов, в свой кабинет и с величайшим хладнокровием объявил, что мне должно думать не о том, как отомстить за обиду, учиненную мессером гранде дому, где я живу, но о том, чтобы найти надежное убежище.

— Чемодан с солью, — продолжал он, — всего лишь предлог. Приходили за тобой и искали тебя. Ангел-хранитель уберег тебя, теперь спасайся. Мне пришлось быть восемь месяцев Государственным инквизитором, и я знаю, каким образом совершаются предписанные трибуналом

аресты. Из-за ящика соли двери не выламывают. Может статься, тебя не нашли нарочно. Поверь мне, сын мой, отправляйся немедленно в Фузине, а оттуда скачи на почтовых без остановки во Флоренцию и оставайся там, покуда я не напишу, что ты можешь вернуться. Бери мою четырехвесельную гондолу и отправляйся. Если у тебя нужда в деньгах, возьми пока сто цехинов. Осторожность гласит, что тебе надо уехать.

Я отвечаю, что не чувствую за собой вины и потому трибунал мне не страшен, а значит, признавая всю благоразумность совета, последовать ему я не могу. Г-н де Брагадин возражает, что трибунал Государственных инквизиторов может признать меня виновным в преступлениях, неизвестных мне самому. Он предлагал мне спросить оракула, надобно ли мне последовать совету его или нет, но я отказываюсь и говорю, что оракула вопрошаю только в тех случаях, когда у меня есть сомнения. Наконец выдвигаю я последний довод: уехав, я покажу, что боюсь, а значит, что виноват, ибо невинный не знает угрызений совести и уж тем более не испытывает страха.

— Если безмолвие есть главная черта великого сего трибунала, — говорил я, — то после моего отъезда вы так и не узнаете, правильно я поступил или нет. Благоразумие, каковое, по мнению Вашего Превосходительства, велит мне бежать, станет помехой и к возвращению моему на родину. Так что ж, разве должен я навеки с нею расстаться?

Тогда он попытался уговорить меня переночевать, хотя бы в этот день, у него, в моих покоях — и мне и поныне стыдно, что я отказал ему в этом удовольствии.

Стража не может войти в дом патриция без прямого приказа трибунала; но трибунал никогда не дает подобных приказаний.

Я отвечал, что если и останусь ночевать у него, предосторожность эта доставит мне покой только ночью; если приказ об аресте моем отдан, днем меня найдут, где бы я ни находился, — В их власти арестовать меня, — заключил я, — но бояться мне не пристало.

Тогда добрый старик сказал, что мы, быть может, больше не свидимся; взволнованный, я заклинал его не огорчать меня. Он с минуту задумался над моей мольбой, а потом, улыбнувшись, заключил меня в объятия и произнес девиз стоической философии: *Fata viam inveniunt* \*.

Расцеловав его со слезами, я удалился, но предсказание его сбылось: больше мы с ним не виделись. Умер он спустя одиннадцать лет. Когда я выходил из дома его, в сердце моем не было ни тени страха — одна только печаль из-за долгов. У меня недостало духу отправиться на Мурано и забрать у М. М. пятьсот цехинов, которые мне немедленно пришлось бы уплатить тому, кто накануне их у меня выиграл; я предпочел отправиться к кредитору и просить его неделю подождать. Сделав это, возвратился я к себе и, утешив, как мог, хозяйку и поцеловав дочку, лег спать. Был поздний вечер 25 июля 1755 года.

На рассвете в комнату мою вошел мессер гранде. Проснуться, увидеть его и услышать из уст его вопрос, я ли Джакомо Казанова, было делом минуты. Не успел я отвечать, что имя, названное им, действительно принадлежит мне, как он велел отдать ему все записи мои, относящиеся и до меня самого, и до других, одеваться и следовать за ним. Я спросил, чьим именем отдает он мне этот приказ; именем трибунала — отвечал он.

## ГЛАВА XII

В тюрьме Пьомби. Землетрясение

От слова «Трибунал» душа моя окаменела; во мне осталась лишь телесная способность исполнять приказания. Бюро мое было открыто, бумаги лежали на столе, за которым я писал, и я сказал мессеру гранде, что он может их забрать. Кто-то из людей его поднес мешок, он сложил туда бумаги и объявил, что я должен еще отдать ему переплетенные рукописи, каковые должны у меня быть; я показал, где они лежат, и тут ясно понял, что оправщик камней Мануцци был презренный шпион, каковой втерся ко мне в дом и, пообещав купить для меня бриллианты и, как я говорил, перепродать мои книги, донес, что книги эти у меня есть. То был «Ключ Соломонов», «Зекор-бен», «Пикатрикс» и обширное наставление по влиянию планет, какое позволяло с помощью благовоний и заклинаний вступать в беседу с демонами всякого чина. Те, кто знал, что у меня есть такие книги, полагали меня чародеем, и я ничего не имел против. Мессер гранде забрал и книги, что лежали у меня на ночном столике, — Ариосто, Горация, Петрарку, «Философа-ратоборца», рукопись, что дала мне Матильда, «Картезианского привратника» и книжечку соблазнительных поз Аретино: о ней тоже донес Мануцци, ибо мессер гранде специально спросил и ее. У шпиона этого был облик честного человека — свойство в его ремесле необходимое; сын его сделал в Польше состояние, женившись на некоей Опеской, которую, говорят, уморил; но сам я об этом ничего не знаю и даже не верю, хоть он и вполне на это способен.

Итак, пока мессер гранде пожинал урожай из моих записок, книг и писем, я одевался — механически, ни быстро, ни медленно; потом умылся, побрился, К. Д. причесала меня, я надел кружевную рубашку и свой прелестный костюм, все это не задумываясь и не произнося ни слова, и не выпускавший меня из виду мессер гранде не осмелился возражать против того, что я одеваюсь,



словно на свадьбу.

Выйдя из комнаты, увидел я с удивлением в зале три или четыре десятка стражников. Какая честь! Дабы взять под стражу мою особу, сочли необходимым отправить столько людей, а ведь согласно аксиоме *ne Hercules quidem contra duos* \* довольно было послать двоих. Странно: в Лондоне все жители храбры, но если нужно кого-то арестовать, посылают одного человека, а в милом моем отечестве, где все трусы, посылают тридцать. Быть может, причина в том, что трус, принужденный нападать, боится больше того, на кого нападает, а тот оттого же становится храбрецом — и в самом деле, в Венеции не редкость, что человек защищается в одиночку против двух десятков сбиров и, поколотив их всех, спасается бегством. В Париже я однажды помог одному своему другу вырваться из рук сорока таких прохвостов и обратить их в бегство.

Мессер гранде усадил меня в гондолу и сам сел рядом, оставив при себе лишь четверых стражников; остальных он отослал. Привез он меня к себе и запер в комнате. Он предлагал мне кофе, но я отказался. В комнате провел я четыре часа и все время спал, разве что просыпался каждые четверть часа, дабы облегчиться от лишней жидкости; явление сие весьма необыкновенно, ибо недержанием я не страдал, жара стояла невыносимая, и я к тому же не ужинал; но тем не менее наполнил я уриною два больших ночных горшка. Прежде мне уже случалось убедиться, что неожиданное притеснение действует на меня как сильный наркотик, но только теперь я узнал, что, достигая высшей степени, служит оно и мочегонным. Оставляю решение проблемы этой физикам. В Праге, шесть лет назад, выпустив в свет рассказ о побеге моем из Пьомби, я немало смеялся, узнав, что прекрасные дамы сочли описание происшествия этого свинством, какое я мог бы и опустить. Быть может, я бы и опустил его, когда бы говорил с дамой; но публика не дама, и мне нравится служить к ее просвещению. А потом, никакое это не свинство; ничего в этом нет ни грязного, ни вонючего, а что свойством этим подобны мы свиньям, так подобны мы и в еде и питье, которых свинством еще никто не называл.

По всему сдается, что одновременно с разумом моим, явственно угасавшим от ужаса и утрачивавшим способность мыслить, и телу моему приходилось, словно под прессом, избавляться от большей части жидкости, каковая в постоянном своем круговороте приводит в действие наши мыслительные способности: вот отчего нежданный ужас и потрясение могут вызвать смерть прямо на месте и. Боже нас сохрани, отправить нас в Рай, вынув душу из жил.

Зазвонил колокол Третьего часа, Терца, и тут вошел ко мне начальник стражи и сказал, что получил приказ отправить меня в Пьомби, Свинцовую тюрьму. Я последовал за ним. Мы сели в другую гондолу и, сделав длинный крюк по малым каналам, оказались в Большом и вышли на тюремную набережную. Поднявшись по многим лестницам, прошли мы по высокому мосту с перилами, что через канал, именуемый *rio di palazzo*, дворцовым, соединяет тюрьмы с дворцом дожей. После моста миновали мы галерею, вошли в какую-то комнату, потом в другую, и там начальник стражи показал меня незнакомцу в одеждах патриция, каковой, оглядев меня, произнес:

— *E quello; mettetelo in deposito* \*.

Сия особа был секретарь гг. Инквизиторов, *circospetto* (осмотрительный) Доменико Кавалли; он, видно, стыдился говорить по-венециански в моем присутствии — приказ посадить меня в тюрьму произнес он на тосканском наречии. Тогда мессер гранде передал меня тюремному сторожу, что ожидал тут же со связкой ключей в руках; в сопровождении сторожа и двух стражников поднялся я по двум маленьким лестницам, прошел через одну галерею, потом через другую, отделенную от первой запертой дверью, потом через еще одну, в конце которой была дверь; сторож открыл ее другим ключом, и я оказался на большом, грязном и отвратительном чердаке длиною в шесть сажений и шириною в две; через высокое слуховое окно падал слабый свет. Я уже принял было этот чердак за свою тюрьму — но нет: человек этот, надзиратель, взял в руки толстый ключ, отворил толстую, обитую железом дверь высотой в три с половиною фута и с круглым отверстием посредине восьми дюймов в диаметре, и велел мне входить. В ту минуту я внимательно разглядывал железное устройство в виде лошадиной подковы, приклепанное к толстой перегородке; подкова была в дюйм толщиной и с расстоянием в шесть дюймов между параллельными ее концами. Пока я пытался понять, что бы это могло быть, он сказал мне с улыбкой:

— Я вижу, сударь, вы гадаете, для чего этот механизм? Могу объяснить. Когда Их Превосходительства велят кого-нибудь удушить, его сажает на табурет спиной к этому ошейнику и голову располагают так, чтобы железо захватило полшеи. Другие полшеи охватывают шелковым шнурком и пропускают его обоими концами вот в эту дыру, а там есть мельничка, к которой привязывают концы, и специальный человек крутит ее, куда осужденный не отдаст Богу душу: хвала Господу, исповедник остается с ним до самого конца.

— Весьма изобретательно; полагаю, сударь, вы и есть тот человек, кому выпала честь крутить мельничку.

Он промолчал. Росту во мне было пять футов девять дюймов, и мне пришлось сильно нагнуться, чтобы войти в дверь; сторож запер меня и спросил через решетку, что мне угодно на обед; получив ответ, что я еще об этом не думал, и заперев все двери, он удалился.

Удрученный и ошеломленный, облакачиваюсь я на решетку на уровне груди. Решетка была в два фута длины и ширины, из шести железных прутьев толщиной в дюйм; пересекаясь, образовывали они шестнадцать квадратных отверстий, в пять дюймов каждое. Камера была бы довольно освещена через нее, когда б не четырехугольная балка в полтора фута шириною, несущая кровлю: упираясь в стену под слуховым окном, что находилось почти напротив меня, она загораживала проникающий на чердак свет. Склонив голову — потолок был всего в пять с половиной футов высотой, — обошел я свою ужасную тюрьму и почти на ощупь определил, что она образует квадрат в две сажени длиной и шириною; четвертая стена камеры выдвигалась в сторону: решительно, там был альков и могла бы находиться кровать; но я не обнаружил ни кровати, ни какого-либо сиденья, ни стола, ни вообще обстановки, кроме лохани для естественных надобностей и дощечки в фут шириною, что висела на стене на высоте четырех футов. На нее положил я свой красивый шелковый плащ, прелестный костюм, который столь скверно обновил, и шляпу с белым пером, отделанную испанским кружевом. Жара стояла необычайная. Все существо мое пребывало в изумлении, и я отошел к решетке — единственному месту, где мог я облокотиться и отдохнуть; слухового окна мне видно не было, но виден был освещенный чердак и разгуливающие по нему крысы, жирные, как кролики. Мерзкие животные, самый вид которых был мне отвратителен, подходили, не выказывая ни малейшего страха, к самой моей решетке. При мысли, что они могут забраться ко мне, кровь застыла у меня в жилах, и я скорей закрыл внутренним ставнем отверстие в середине двери. Потом, впав в глубочайшую задумчивость, простоял неподвижно восемь часов кряду, не шевелясь, не произнося ни звука и по-прежнему облокотившись на решетку.

Пробило двадцать один час; я забеспокоился: никто не появлялся, не спрашивал, хочу ли я есть; мне не несли ни кровати, ни стула, ни хотя бы хлеба с водой. Аппетита у меня не было, но никто, казалось мне, не мог об этом знать; еще никогда не случалось мне ощущать такой горечи во рту, как сейчас; однако ж я пребывал в уверенности, что до захода солнца кто-нибудь придет непременно. Только услышав, что пробило уже двадцать четыре часа, стал я как одержимый вопить, бить ногами в дверь и ругаться; вся эта тщетная возня, которую понуждало производить необычайное мое положение, сопровождалась громкими криками. В яростных этих упражнениях провел я более часа, но никто не явился на мои бурные вопли, и не было никаких признаков тому, что кто-то их слышал, а потому закрыл я впотьмах решетку, боясь, как бы крысы не прыгнули ко мне в камеру. Повязав голову носовым платком, я растянулся на полу. Столь безжалостное забвение казалось мне невероятным — хотя бы даже решено было меня уморить. Не долее минуты размышлял я над тем, чем заслужил подобное обращение: ведь мне непонятна была даже причина ареста. Я был большой вольнодумец, обо всем говорил смело и думал об одних только наслаждениях, а потому не мог считать себя виноватым; однако ж я видел, что обращаются со мной как с преступником, и теперь избавлю читателя от описания всего, что, охваченный яростью, возмущением, отчаянием, произносил я и думал о подавлявшей меня ужасной деспотии. Однако ни черная злоба, ни сведавшая меня тоска, ни жесткий пол, на котором я лежал, не помешали мне уснуть: организм мой нуждался в сне, а когда организм принадлежит человеку молодому и здоровому, он умеет доставить себе все необходимое без всякого участия разума.

Разбудил меня полночный колокол. Ужасно пробуждение, когда заставляет оно пожалеть о пустяке — о грезах сновидений! Прошло целых три часа, а я, к удивлению своему, не ощутил никакого неудобства. Не двигаясь, лежа, как лежал, на левом боку, протянул я правую руку за носовым платком, который, помнилось мне, положил в том месте. Шаря вокруг себя рукою, я вдруг — о Боже! натыкаюсь на другую руку, холодную как лед! Ужас пронзил меня с головы до пят, волосы мои встали дыбом. Во всю жизнь душа моя не знала подобного страха, никогда я и не думал, что могу его испытать. Верных три или четыре минуты не мог я не только двинуться, но и думать. Придя немного в себя, я милостиво позволил себе предположить, что рука, которой я, казалось, коснулся, не более чем плод воображения; в твердом этом убеждении протягиваю я снова руку в том же направлении — и нахожу ту же руку, сжимаю ее в ужасе и с пронзительным криком отпускаю, отдернув свою. Меня бьет дрожь; но, собравшись с мыслями, прихожу я к выводу, что, покуда спал, рядом со мною положили труп, — я несколько не сомневался, что когда ложился на пол, там ничего не было. Воображению моему рисуется сразу тело какого-нибудь невинного бедняги, а быть может, и моего друга, которого, удавив, положили рядом со мною, дабы, пробудившись, нашел я перед собою пример участи, к какой надлежало мне готовиться. От подобной мысли я прихожу в ярость; в третий раз протягиваю я руку и, ухватившись за мертвеца, хочу встать, дабы притянуть его к себе и удостовериться в ужасном происшествии, но как только хочу опереться на левый локоть, та самая рука, что я сжимал в своей, вдруг оживает, отодвигается — и в тот же миг, к великому своему изумлению, я понимаю, что держал в правой руке всего лишь свою собственную левую, каковая под действием мягкой, податливой и шелковистой постели, на которой отдыхала бедная моя особа, отнялась, онемела и утратила подвижность, чувствительность и теплоту.

Приключение было забавно, но меня не развеселило. Напротив, оно доставило мне пищу для самых черных мыслей. Я обнаружил, что там, где я нахожусь, ложное представляется правдивым, а

значит, реальность должна казаться грезой; что способность к пониманию здесь вполнину утрачивается, а неверная фантазия приносит разум в жертву либо зыбкой надежде, либо мучительному отчаянию. В этом отношении я с самого начала стал держаться настороже и впервые за тридцать лет жизни призвал на помощь философию — семена ее давно покоились в моей душе, но до сих пор мне не представилось случая их обнаружить и найти им употребление. Полагаю, большая часть людей так и умирает, ни разу в жизни не подумав. Я просидел на полу до восьми часов, до предрассветных сумерек; солнце должно было встать в девять с четвертью. Мне не терпелось дожидаться утра: безошибочное, как мне казалось, предчувствие говорило, что меня отошлют домой; я пылал жаждой мщения и не скрывал этого от себя. Мне представлялось, будто я во главе мятежного народа свергаю правительство и истребляю аристократов; всех стирал я в порошок и, не довольствуясь тем, чтобы предать притеснителей моих в руки палачей, сам учинял резню. Таков человек: ему и в голову не приходит, что это язык не разума, но величайшего врага его — гнева.

Мне пришлось ждать меньше, чем я готовился, — вот уже и причина, чтобы утихла ярость. В восемь часов с половиной скрежет засовов в коридорах, что вели к моей темнице, нарушил незыблемую тишину этого ада для живых. Перед решеткой моей предстал тюремщик и спросил, достало ли мне времени подумать, чего я желаю на обед. Счастье, когда наглость низкой твари скрывается под маскою насмешки. Я отвечал, что желаю рисового супу, вареной говядины, жаркого, хлеба, воды и вина. Дуралей явно ждал жалоб и, не услышав их, удивился. Он ушел, но через четверть часа вернулся с недоумением, отчего не хочу я получить постель и все, что мне нужно.

— Коли вы надеетесь, что вас сюда посадили всего на одну ночь, то вы ошибаетесь, — заявил он.

— Тогда принесите мне все, что считаете необходимым.

— Куда мне пойти? Вот вам бумага и карандаш, напишите все, чего вы хотите.

Я написал, где ему взять для меня постель, рубашки, чулки, халат, домашние туфли, ночные колпаки, кресла, стол, расчески, зеркала, бритвы, носовые платки, мои книги, что забрал мессер гранде, чернила с перьями и бумагу. Мошенник, когда я прочел ему список, — сам он читать не умел, — велел мне вычеркнуть оттуда книги, чернила, бумагу, зеркало, бритву, ибо правила Пьюмби запрещали их иметь, и спросил денег, дабы купить мне обед. У меня было с собою три цехина, один я отдал ему. Он ушел с чердака, а еще через час, как я слышал, удалился совсем. Позже я узнал, что в этот час прислуживал он другим семерым заключенным, чьи темницы находились здесь, наверху, на удалении одна от другой, дабы помешать узникам сообщаться между собою.

К полудню явился тюремщик, а с ним пятеро стражей, назначенных прислуживать государственному преступнику. Темницу мою открыли и внесли мебель, что я велел, и обед. Кровать водрузили в альков, обед — на маленький столик. Прибор мой весь состоял из одной костяной ложки, какую тюремщик купил на мои деньги: вилки, ножи, равно как и все металлические предметы, были тут запрещены.

— Извольте сказать, — произнес он, — что вам угодно на обед завтра: я могу приходить сюда только однажды в день, на заре. Почтеннейший секретарь велел передать вам, что книги, какие вы просили, запрещены, и он пришлет вам те, что подобает.

— Поблагодарите его за то, что он сделал мне милость и поместил меня одного.

— Я передам ваше поручение, но насмешничать вам негоже.

— Я вовсе не смеюсь: полагаю, лучше быть одному, нежели в обществе тех злодеев, какие, должно быть, здесь сидят.

— Что вы, сударь! Злодеев? Мне было бы очень жаль, если б случилось по-вашему. Здесь находятся одни только порядочные люди, которых, однако, по известным только Их Превосходительствам причинам следует удалить от общества. Вас поместили одного, чтобы пуще наказать, и вы хотите, чтобы я передавал ваши благодарности?

— Я этого не знал.

Что невежда этот был прав, понял я со всей очевидностью несколько дней спустя. Мне стало ясно, что человек, которого заперли в одиночестве и лишили возможности себя занять каким бы то ни было делом, который сидит один в полутемном помещении и не видит, не может видеть чаще, чем раз в день, того, кто приносит ему поесть, и даже не может ходить, выпрямившись во весь рост, человек этот несчастнейший из смертных. Он жаждет попасть и в ад, коли в него верит, — лишь бы оказаться в обществе других людей. Со временем дошел я до того, что с радостью бы встретил убийцу, сумасшедшего, вонючего больного, хоть медведя. От одиночества в Свинцовой тюрьме впадают в отчаяние; но знают это только те, кто его испытал. Если узник причастен изысканной словесности, дайте ему письменный прибор и бумаги: горе его станет на девять десятых меньше.

Когда тюремщик удалился, я, поставив стол ближе к отверстию в двери, чтобы на него падало хоть немного света, уселся и решил пообедать в скудных лучах, льющихся из слухового окна; но смог проглотить только немного супу. Я был болен, и неудивительно: ведь уже сорок пять часов я ничего не ел. Весь день провел я в кресле, не испытывая больше ярости и в ожидании завтрашнего дня

настраивая дух свой на чтение милостиво мне обещанных книг. Ночью не смог я уснуть; на чердаке неприятно шуршали крысы, а часы собора Св. Марка били всякий час так, что, казалось, висели прямо в моей камере. И еще невыносимо страдал я и мучился от одного обстоятельства, о котором вряд ли многие из читателей моих имеют понятие: миллионы блох, жадных до крови моей и кожи, прокусывали ее с неведомым мне прежде ожесточением и радостно впивались в мое тело; проклятые насекомые доводили меня до судорог, вызывая произвольные сокращения мышц и отравляя мне кровь.

На рассвете явился Лоренцо (так звали тюремщика), распорядился, чтобы убрали мою постель, подмели и убрали камеру, а один из сборов его принес мне воды умыться. Я хотел было выйти на чердак, но Лоренцо сказал, что это запрещено. Он дал мне две толстых книги; я не стал их открывать, опасаясь, что не смогу сдержать первый порыв возмущения, какое могли они у меня вызвать, и шпион его заметит. Оставив мне пропитание и разрезав два лимона, Лоренцо удалился.

Я проглотил быстро суп, пока он не остыл, поместил одну из книг напротив света, льющегося из слухового окна через отверстие в двери, и увидел, что без труда смогу читать. Гляжу на заглавие и читаю: Град Мистический Сестры Марии де Хесус по прозванию из Агреды. Имя это я слышал впервые. Другую написал какой-то иезуит, его имя я забыл \*. Он устанавливал новый предмет для поклонения, особого и непосредственного — сердце Господа Нашего Иисуса Христа. Согласно этому сочинителю, из всех частей тела божественного нашего посредника между небом и людьми особо следовало почитать именно эту: нелепая идея безумца и невежды; с первой же страницы чтение это привело меня в ярость, ибо мне представлялось, что сердце — внутренность не более почтенная, нежели, например, легкое. Мистический град дольше задержал мое внимание.

Я прочел все, что породило необузданное и воспаленное воображение испанской девственницы — меланхолической, до крайности благочестивой, запертой в монастыре и имевшей в духовных наставниках невежд и льстецов. Всякое химерическое и чудовищное ее видение украшено было именем откровения; она была возлюбленной Пресвятой Девы и близкой ее подругой и получила от самого ГОСПОДА повеление создать жизнеописание божественной его матери; сведения и наставления, что были ей необходимы и какие нигде нельзя было прочесть, доставлял ей Святой Дух.

Итак, свой рассказ о Божьей Матери начинала она не с момента ее рождения, но с пречистого и непорочного ее зачатия во чреве святой Анны. Эта Сестра Мария из Агреды была настоятельница монастыря ордена Кордельеров, который сама и основала в своем городе. Поведав во всех подробностях о деяниях великой героини своей за девять месяцев, что предшествовали ее рождению, она объявила, что в трехлетнем возрасте та подметала жилище свое, спешествуемая тремя сотнями ангелов-слуг, которых приставил к ней Господь; водилествовал ими их ангельский князь Михаил, каковой летал от нее к Богу и от Бога к ней и исполнял их поручения друг к другу. Здравомыслящего читателя поражает в книге этой уверенность автора, фанатичного до крайности, в том, что здесь нет ни грани вымысла; вымыслу не под силу создать такое; все писано с полной верой. Это видения разгоряченного мозга, упоенного БОГОМ и без тени гордыни верующего, что все откровения его продиктованы не кем иным, как Святым Духом. Книга была напечатана с позволения Инквизиции. Я не мог прийти в себя от изумления. Творение сие не только что не усилило или не пробудило в душе моей ревностного усердия в вере, но, напротив, повергло меня в искушение почесть пустою выдумкой всю мистику, да и церковное учение тоже.

Книга эта была такой природы, что после нее нельзя было избежать последствий. Читателю, чей разум более восприимчив и привержен чудесному, нежели у меня, грозит опасность, читая ее сделаться таким же визионером и графоманом, как сия девственница. В необходимости хоть чем-нибудь заняться провел я неделю в чтении этого шедевра, рожденного умом возбужденным и склонным к небылицам; я ничего не говорил своему дураку-тюремщику, но выносить этого больше не мог. Едва уснув, я немедля обнаруживал, какую чуму поселила в рассудке моем, ослабевшем от меланхолии и скверной пищи, сестра из Агреды. Когда, проснувшись, припоминал я свои невероятные сновидения, то хохотал до упаду; мне приходило желание записать их, и, будь у меня все необходимое, я, быть может, сотворил бы на своем чердаке сочинение еще полоумней того, какое послал мне г-н Кавалли. С тех пор я понял: заблуждаются те, кто полагает, будто рассудок человеческий довольно силен; сила его относительна, и когда бы человек получше себя изучил, он бы обнаружил в себе одну только слабость. Я понял: хотя и редко случается человеку сойти с ума, однако ж это и вправду очень легко. Разум наш подобен пороку — воспламенить его не составляет труда, но вспыхивает он, тем не менее, лишь когда к нему поднесут огня; или стакану он разбивается тогда лишь, когда его разобьют. Книга этой испанки — верное средство свести человека с ума; но чтобы яд ее оказал свое действие, человека надобно заключить в Пьомби, в одиночную камеру, и лишить его всякого иного времяпрепровождения.

В ноябре 1767 года случилось мне ехать из Памплоны в Мадрид, и кучер мой Андреа Капелло остановился пообедать в каком-то городке древней Кастилии; город был столь печален и уродлив, что мне пришло желание узнать, как он называется. О, как же я хохотал, когда мне сказали, что это и

есть Агреда! Значит, сказал я себе, именно тут из головы той полоумной святой родился шедевр, какового, не имея я дела с г-ном Кавалли, мне бы никогда и не прочесть! Я стал расспрашивать об этой блаженной подруге матери создателя своего какого-то старого священника, и он, немедля преисполнившись ко мне величайшего почтения, показал то самое место, где она писала, и уверял, будто и отец, и мать, и сестра сей божественной жизнеописательницы — все были святые. Он сказал, что Испания хлопотала перед Римом о канонизации ее, наряду с преподобным Палафоксом. Так оно и было. Быть может, сей мистический град вдохновил падре Малагриду на его жизнеописание святой Анны, также продиктованное Духом Святым; однако бедный иезуит претерпел за это мученичество, а значит, когда Орден его возродится и обретет бывшее великолепие, его с большим основанием причислят к лику святых.

Не прошло и девяти-десяти дней, как деньги у меня кончились. Лоренцо спросил, куда ему за ними сходить, и я отвечал кратко: некуда. Молчание мое злило этого жадного и болтливого невежду. Назавтра он сказал, что Трибунал положил мне пятьдесят сольдо в день, а он сам будет моим казначеем, станет отчитываться передо мною всякий месяц и расходовать деньги так, как я ему укажу. Я велел приносить мне дважды в неделю «Лейденскую газету», но он отвечал, что это запрещено. Семидесяти пяти лир в месяц хватало мне с избытком, ибо есть я больше не мог. Страшная жара и истощение от недостатка пищи вконец лишили меня сил. То было в самый разгар лета, чума его заберит; лучи солнца раскаляли свинец, которым покрыта была крыша моей тюрьмы, с такой силой, что я чувствовал себя как в бане: сидел нагишом в креслах, а пот, выступавший на коже моей, стекал справа и слева на пол.

В две недели, что провел я в тюрьме, мне ни разу не случилось сходить на низ; когда же наконец сходил, то думал, что умру от боли; я и не подозревал, что такая бывает. Происходила она от геморроя. Именно здесь нажил я эту лютую болезнь, и так от нее и не излечился; время от времени сей подарок на память заставляет меня вспомнить о том, откуда он взялся, и я нисколько им не дорожу. Физика не знает лекарств против многих болезней, зато уж доставляет нам верные средства этими болезнями обзавестись. Впрочем, геморрой мой принес мне почет в России, где я оказался десять лет спустя: там так носятся с этой болезнью, что я не осмеливался даже на нее жаловаться. Подобная же вещь случилась со мною в Константинополе — у меня был насморк, и в присутствии какого-то турка я пожаловался на нездоровье; турок промолчал, но про себя подумал, что такой пес, как я, насморка недостоин.

В тот же день приступы озноба не оставили сомнений в том, что у меня лихорадка. Я не стал вставать и назавтра ничего Лоренцо не сказал; но на следующий день, обнаружив снова нетронутый обед, он спросил, как я себя чувствую.

— Превосходно.

— Неправда, сударь, ведь вы ничего не кушаете. Вы больны, и вы увидите, сколь великодушен Трибунал — вам бесплатно доставят лекаря, лекарства, лечение и хирурга.

Тремя часами позже явился он в одиночестве, держа в руках свечу, и привел какую-то важную особу; внушительное выражение выдавало в ней лекаря. У меня был приступ лихорадки, от которой уже третий день кровь моя пылала огнем. Лекарь стал расспрашивать меня, и я отвечал, что с исповедником и врачом привык беседовать наедине. Он велел Лоренцо выйти, тот не пожелал, и доктор удалился со словами, что я в смертельной опасности. Именно этого я и желал. Еще я находил в поступке своем некоторое удовлетворение — ведь он мог явить безжалостным тиранам, державшим меня в тюрьме всю их бесчеловечность.

Прошло четыре часа, и послышался лязг засовов. Держа факел в руках, вошел лекарь, а Лоренцо остался за дверью. Слабость моя была столь велика, что я воистину отдыхал. Когда человек по-настоящему болен, его не мучает скука. Я был безмерно рад, что негодяй, которого после объяснений его относительно железного ошейника я не выносил, остался снаружи.

Не прошло и четверти часа, как лекарь уже все обо мне знал:

— Если вы хотите выздороветь, надобно одолеть тоску, — сказал он.

— Напишите мне рецепт, как это сделать, и отнесите единственному аптекарю, что сумеет изготовить лекарство. Коли г-н Кавалли подарил меня «Сердцем Христовым» да «Мистическим Градом», он скверный физик.

— Вполне может статься, что два этих снадобья и произвели у вас лихорадку и геморрой; я вас не оставлю.

Он собственными руками сделал мне весьма замысловатого лимонаду и, велел пить его почаще, удалился. Ночью я спал, и снились мне всякие мистические несурезицы.

Назавтра, двумя часами поздней обычного, явился он ко мне вместе с Лоренцо и хирургом, каковой пустил мне кровь. Он оставил мне лекарство, велел принять его вечером, и бутылку бульону.

— Я получил разрешение перенести вас на чердак, — сказал он. — Там не так жарко и не такая духота, как здесь.

— Мне придется отказаться от этой милости: вы не знаете, сколько здесь крыс. Они непременно окажутся у меня в постели, а я их не выношу.

— Как жаль! Я сказал г-ну Кавалли, что он едва не уморил вас своими книгами, и он просил вернуть их, а взамен посылает вам Боэция. Вот он.

— Сочинитель этот лучше Сенеки, благодарю вас.

— Оставляю вам клистирную трубку и ячменной воды; поразвлекайтесь клистирами.

Четыре раза он навещал меня и поставил на ноги; аппетит вернулся ко мне, и к началу сентября я был здоров. Из всех моих подлинных горестей осталась лишь страшная жара, блохи и скука — ибо не мог же я читать Боэция в то время. Лоренцо сказал, что мне дозволено в то время, пока убирают постель и подметаю в камере — единственный способ уменьшить число пожирающих меня блох, выходить из камеры и умываться на чердаке. То была настоящая милость. В эти восемь — десять минут шагал я стремительно по чердаку, и крысы в ужасе прятались по норам. В тот самый день, когда позволено мне было облегчить таким образом свою участь, Лоренцо дал мне отчет в деньгах. У него оставалось двадцать пять или тридцать лир, которые мне запрещалось положить в свой кошелек. Я отдал деньги ему, велел заказать по себе мессы. Благодарил он меня таким слогом, словно он и есть тот священник, какой станет эти мессы читать. Так же поступал я каждый месяц, но ни разу не видел ни одной расписки от священника; нисколько не сомневаюсь, что самая малая из несправедливостей, какую мог совершить Лоренцо, — это присвоить мои деньги, а мессы читать самому, в кабаке.

Так я и жил, всякий день надеясь, что меня отошлют домой; всякий раз ложился я спать почти уверенный, что назавтра за мною придут и скажут, что я свободен; но надежды мои не сбывались, и тогда я рассуждал, что мне, должно быть, положен срок, и приходил к выводу, что отпустят меня не позднее 1-го октября, когда взойдут на царство новые Инквизиторы. Иными словами, я полагал, что заточение мое продлится столько же, сколько власть нынешних Инквизиторов: оттого-то и не видел я ни разу секретаря, каковой, когда б не было все решено, явился бы взглянуть на меня, убедить в том, что я совершил преступление, и огласить приговор. Рассуждение это представлялось мне безупречным, поскольку было естественным; но в Пьомби, где все противно естеству, то был скверный довод. Я воображал, будто Инквизиторы признали невиновность мою и собственную несправедливость, а потому, должно быть, держат меня здесь только для формы и чтобы не пострадало их доброе имя; но когда правление их закончится, они непременно должны выпустить меня на свободу. Я чувствовал даже, что могу простить им, забыть нанесенную мне обиду. Как могут они, говорил я себе, оставить меня здесь, на суд преемников своих, коли не смогут сообщить им ничего удовлетворительного, чтобы вынести мне приговор? Мне представлялось невозможным, чтобы они осудили меня и вынесли приговор, не сообщив мне о нем и не сказав причины моего заточения. Мне казалось, что права мои бесспорны, и рассуждал я соответственно; но все мои рассуждения не стоили ровно ничего против установлений Трибунала, ибо он непохож был ни на один из законных трибуналов, что существуют при всех правительствах мира. Когда наш Трибунал затевает процесс против преступника, он заранее уверен, что тот преступник: для чего ж тогда и разговаривать с ним? Когда же Трибунал уже вынес приговор, то для чего он станет сообщать преступнику дурные новости? Согласия от приговоренного не требуется; говорят, лучше сохранить ему надежду — ведь от того, что он все узнает, пребывание его в тюрьме не сократится ни на час; мудрый человек никому не дает отчета в своих делах, а все дела венецианского Трибунала — это чинить суд и расправу; виновный — это всего лишь механизм, которому для участия в деле нет никакой нужды в него вмешиваться; это гвоздь, которому, чтобы войти в доску, нет нужды ни в чем, кроме ударов молотка.

Частично мне были известны эти привычки колосса, под пятою которого я оказался; но есть на свете вещи, о которых никогда нельзя судить наверняка, если не испытал их сам. Если кому-то из читателей моих правила эти покажутся несправедливыми, я ему прощаю: по внешности они именно такими и представляются; но да будет ему известно, что порядки эти, единожды установленные людьми, превращаются в необходимость, ибо подобного свойства Трибунал без них существовать не может. Поддерживают их в силе сенаторы, каковых выбирают из самых именитых и славных в добродетели.

[...] \* В последнюю сентябрьскую ночь я не сомкнул глаз; мне не терпелось дожидаться нового дня, я нисколько не сомневался, что окажусь на свободе. Царство безжалостных людей, посадивших меня в тюрьму, окончилось. Но вот настало утро. Лоренцо принес мне еду и не поведал ничего нового. Пять или шесть дней не мог я оправиться от ярости и отчаяния. Мне представлялось, что по каким-то неведомым мне причинам меня, может статься, решили держать здесь до конца дней. Но я посмеялся над ужасной это мыслью: я знал, что в моей воле выйти отсюда очень скоро, стоит лишь решиться, рискуя жизнью, добыть себе свободу. Либо я буду убит, либо доведу дело до конца.

*Deliberata morte ferocior* \*\*, к началу ноября сложился у меня замысел силой покинуть камеру, в которой насильно же меня и держали; мысль эта овладела мною без остатка. Я стал искать, придумывать, изучать со всех сторон сотни способов добиться успеха в предприятии, каковое, должно быть, уже многие пытались осуществить прежде — но никто не сумел.

В те же дни благодаря одному необычайному происшествию понял я, сколь плачевно

состояние моей души.

Стоял я на чердаке и глядел вверх, на слуховое окно; перед взором моим была и толстенная балка. Лоренцо с парой своих людей как раз выходил из темницы, как вдруг я увидел, что огромная балка не то чтобы закачалась, но повернулась вправо, и тут же, двигаясь медленными скачками, встала обратно на место; одновременно ощутил я, что теряю равновесие, и убедился, что это подземный толчок; удивленные стражники тоже сказали, что это землетрясение. Обрадовавшись такому природному явлению, я промолчал, но когда четыре-пять секунд спустя колебания повторились, не смог удержаться и произнес такие слова: *un'altra, un'altra gran Dio, та pi forte\*\*\**. Стражники, перепугавшись этого, как им казалось, отчаянного бреда нечестивца и богохульника, в ужасе бежали. Позже, размышляя о своем поступке, я понял, что рассчитывал на возможность обрести свободу в том случае, если будет разрушен дворец дождей; дворец должен был обвалиться, а я, целехонький, живой, здоровый и свободный, выпасть из него прямо на красивую мостовую площади Св. Марка. Так начинал я сходить с ума. Толчок же имел происхождением то самое землетрясение, которое как раз тогда разрушило Лиссабон.

### ГЛАВА XIII

Всяческие происшествия. Товарищи по темнице. Я готовлю побег. Меня переводят в другую камеру

Читатель мой не сможет понять, как удалось мне бежать из подобного места, если я не подготовлю его и не опишу, как там все устроено. Тюрьма эта предназначена для содержания государственных преступников и располагается прямо на чердаке дворца дождей. Крыша дворца крыта не шифером и не кирпичом, но свинцовыми пластинами в три квадратных фута и толщиной в одну линию: отсюда и пошло название тюрьмы — Пьомби, Свинцовая. Войти туда можно только через дворцовые ворота, либо, как вели меня, через здание тюрем, по мосту, именуемому Мостом Вздохов; о нем я уже говорил. Подняться в Пьомби нельзя иначе, как через залу, в которой заседают Государственные инквизиторы; ключ от нее находится всегда у секретаря, привратник Пьомби, как только он спозаранку прислужит всем заключенным, непременно возвращает его секретарю. Прислуживают только на рассвете: позже спящие взад-вперед стражники слишком бросались бы в глаза множеству людей, у которых было дело до глав Совета Десяти — они всякий день восседают в соседней зале, именуемой «буссолою», тамбуром, а стражникам никак ее не обойти.

Тюрьмы расположены наверху, по противоположным сторонам дворца: три, в том числе и моя, смотрят на закат, четыре — на восход солнца. У тех, что смотрят на закат, желоб, идущий по краю крыши, выходит во двор палаццо; у тех, что смотрят на восход, он расположен перпендикулярно каналу, называемому *gio di palazzo*. С той стороны камеры весьма светлы, и в них можно распрямиться во весь рост — и отличие от моей тюрьмы, каковая звалась *il trave* \*. Пол темницы моей располагался точно над потолком залы Инквизиторов, где собираются они обыкновенно по ночам, после дневного заседания Совета Десяти, в который все трое входят.

Обо всем этом я знал и прекрасно представлял, как все расположено, а потому, поразмыслив, рассудил, что единственный путь к спасению, на котором возможна удача, — это проделать дыру в полу моей тюрьмы; но для этого нужны были инструменты, а в месте, где всякое сношение с внешним миром запрещено, где не дозволены ни посещения, ни переписка с кем бы то ни было, достать их дело непростое. У меня не было денег подкупить стражника, рассчитывать я мог только на себя самого. Даже если предположить, что тюремщик и двое его приспешников будут столь снисходительны, что позволят себя задуть (шпаги у меня не было), оставался еще один стражник, который, стоя у запертой двери на галерее, отпирал ее тогда лишь, когда товарищ его, желая выйти, произносил пароль. Бежать была единственная моя мысль; у Бозция не говорилось, как это сделать, и я перестал его читать. В уверенности, что способ бежать найдется, если только хорошенько подумать, думал я об этом днем и ночью. Я всегда верил: если придет в голову человеку некий замысел и если станет он заниматься только воплощением его, то, невзирая на любые трудности, непременно добьется своего; человек этот станет великим визирем, станет папой римским, он свергнет королевскую власть, если примется за дело вовремя — ибо человеку уже ничего не добиться, коли достиг он возраста, презренного для Фортуны: без ее помощи надеяться ему не на что. Надобно только рассчитывать на нее, пренебрегая в то же время ее превратностями; но сделать столь искусный расчет и есть самое трудное.

В середине ноября Лоренцо объявил, что в руках мессера Гранде оказался некий преступник, какого секретарь Бузинелло, новый *circospetto*, приказал поместить в самую скверную камеру, а стало быть, его посадят вместе со мною; когда же он возразил секретарю, добавил Лоренцо, что я почел за милость, когда поместили меня одного, тот отвечал, что за четыре месяца, проведенные здесь, я, должно быть, поумнел. Новость эта не огорчила меня, как не было неприятно и известие о назначении нового секретаря. Этот г-н Пьетро Бузинелло был славный человек: я знавал его в Париже, он тогда направлялся в Лондон в качестве Поверенного в делах Республики.

Час спустя после колокола Третьего часа послышался скрежет засовов, появился Лоренцо, а вслед за ним двое стражников ввели за ручные цепи плачущего юношу. Закрыв его в моей камере, они удалились, не сказав ни слова. Я сидел на постели, и ему не было меня видно. Удивление его меня позабавило. На свое счастье, был он роста в пять футов, а потому стоял прямо и внимательно разглядывал мои кресла, думая, должно быть, что поставлены они для него. Заметив на подоконнике решетки Боэция, утирает он слезы, открывает книгу и с досадой бросает ее, возмущенный, видно, тем, что написана она на латыни. Он идет в левый угол камеры и обнаруживает там, к изумлению своему, всякие пожитки; приближается к алькову, полагая увидеть там постель, протягивает руку, натывается на меня и просит прощения; я прошу его садиться — и вот мы уже знакомы.

— Кто вы? — спрашиваю его.

— Я родом из Виченцы, зовут меня Маджорин; отец мой — кучер семейства Поджана; пока мне не исполнилось одиннадцати лет, он посылал меня в школу, там я научился грамоте, потом поступил учеником к парикмахеру и в пять лет научился хорошо делать прически. Я поступил на службу к графу \*\* камердинером. Через два года вышла из монастыря единственная дочь графа, я стал причесывать ее и влюбился, и она в меня тоже. Поклявшись друг другу, что непременно поженимся, предались мы велению природы, и графиня забеременела. Ей восемнадцать, как и мне. От одной служанки не укрылось наше душевное согласие и беременность графини, и она объявила, что совесть и великое ее благочестие принуждают все рассказать отцу девушки; жена моя сумела заставить ее молчать и обещала, что на этой неделе откроет все отцу через духовника. Но к исповеди она не пошла, а предупредила обо всем меня, и мы решились бежать. Она запаслась изрядной суммой денег, взяла несколько бриллиантов своей покойной матери, и в эту ночь должны мы были ехать в Милан; однако после обеда призвал меня граф и дал какое-то письмо, сказав, что мне должно немедленно отправиться сюда, в Венецию, и передать его тому, кому было оно адресовано, в собственные руки. Говорил он с такой добротой и так покойно, что я никак не мог заподозрить того, что случилось дальше. Я пошел за плащом и по дороге попрощался с женою, заверив ее, что дело совсем пустячное и завтра я к ней вернусь. Она потеряла сознание. Сразу по прибытии отнес я письмо по назначению, особа эта велела мне подождать ответа, и, получив его, отправился я в кабачок перекусить и собирался немедленно ехать назад в Виченцу. Но когда я вышел из кабачка, меня взяли под стражу и отвели в караульню, и продержали там до тех пор, покуда не привели сюда. Полагаю, сударь, я могу считать юную графиню своей супругой.

— Вы ошибаетесь.

— Но так велела природа!

— Природа, если ее слушаться, велит человеку совершать глупости, за которые потом сажают в Пьомби.

— Так я в Пьомби?

— И вы, и я.

Тут он заплакал горячими слезами. Он был прелестный мальчик, искренний, честный, влюбленный до крайности, и в душе я прощал графине и возлагал вину на неосторожного отца — можно было найти женщину, чтобы причесывала дочь. Жалуясь и обливаясь слезами, говорил он об одной лишь своей бедняжке графине; мне было его бесконечно жаль. Он полагал, что кто-нибудь придет и принесет ему постель и еды, но я его разочаровал и оказался прав. Я дал ему поесть, но он не мог проглотить ни куска. Весь день напролет оплакивал он свою участь потому только, что не мог доставить утешение возлюбленной и не в силах был вообразить, что с нею теперь станет. В моих глазах она была уже невинна, и когда бы Инквизиторы проникли невидимками ко мне в камеру и слышали все, что поведал мне бедный мальчик, они, уверен, не только бы отпустили его, но, вопреки всем законам и обычаям, поженили бы влюбленных, а быть может, и посадили бы в тюрьму графа-отца, положившего солону у огня. Я отдал ему свой тюфяк: хотя он был чистоплотен, мне следовало опасаться сновидений влюбленного юноши. Он не сознавал ни того, сколь великий проступок совершил, ни того, что графу, дабы спасти честь семьи, невозможно было наказать его иначе чем втайне.

Назавтра принесли ему тюфяк и обед за пятнадцать сольдо, каковые из милости назначил ему Трибунал. Я сказал тюремщику, что моего обеда достанет на обоих, а деньги, определенные Трибуналом этому мальчику, он может употребить, заказав по три мессы в неделю за его здоровье. Лоренцо охотно взялся исполнить поручение, поздравил юношу с тем, что он оказался в моем обществе, и объявил, что мы можем по получасу в день гулять на чердаке. Я нашел, что прогулка эта весьма благотворна для моего здоровья — и для плана побега, каковой созрел у меня лишь одиннадцать месяцев спустя. В углу этого крысиного притона обнаружил я два сундука, вокруг которых разбросано было множество старой рухляди, а перед ними лежала большая куча тетрадей. Мне захотелось поразвлечься чтением, и я взял из них штук десять — двенадцать. Все это были процессы над преступниками; чтение оказалось весьма занятным, ибо то, что получил я дозволение прочесть, должно быть, держалось в свое время в великой тайне. Мне предстали невероятные ответы на вопросы касательно совращения девственниц, чересчур далеко зашедших любезностей



мужчин, служивших в приютах для девиц, деяний исповедников, обративших во зло доверчивость покаяницы, школьных учителей, уличенных в мужеложстве, и опекунов, обманувших своих подопечных; там были дела двух- и трехвековой давности, их стиль и нравы доставили мне несколько часов наслаждения. Среди валявшегося на земле хлама увидел я грелку, котел, кочергу, щипчики, старые подсвечники, глиняный горшок и оловянный клистир. Какой-нибудь знаменитый узник, подумал я, удостоился в свое время разрешения пользоваться всей этой утварью. Еще я увидел что-то вроде засова совершенно прямой прут толщиной в мой мизинец и длиной в полтора фута. Ни к чему из этого я не притронулся: не настало еще время на чем-то остановить выбор.

Одним прекрасным утром, ближе к концу месяца, товарища моего увели. Как сказал Лоренцо, его приговорили к заключению в тюрьмах, именуемых четверкою. Находятся эти темницы в здании тюрем и принадлежат Государственным инквизиторам. Тамошним узникам милостиво даровано право звать, когда нужно, тюремщика; там темно, но есть масляные лампы — камеры целиком из мрамора, и пожара бояться не приходится. Много позднее я узнал, что продержали там беднягу Маджорина пять лет, а после еще на десять отправили на Цериго. Умер он там или остался жив, не знаю. Он был мне добрым приятелем: это стало заметно, когда я, оставшись один, снова впал в тоску. Однако ж право гулять каждый день полчаса по чердаку у меня не отобрали. Я изучил все, что там валялось. Один из сундуков полон был хорошей бумаги, папок, неочиненных гусиных перьев и клубков ниток; другой оказался заперт. Взор мой упал на кусок мрамора — черного, полированного, толщиной в дюйм, длиной в шесть и шириною в три; я взял его просто так, на всякий случай, и положил в камере под рубашки.

Прошла неделя, как увели Маджорина, и Лоренцо объявил, что у меня, по всему судя, будет новый товарищ. По существу, тюремщик мой был попросту болтун, и оттого, что я никогда не задавал ему вопросов, начал выходить из терпения. Долг не велел ему болтать, а поскольку передо мною ему никак не удавалось выказать свою сдержанность, то он вообразил, будто я не расспрашиваю его потому только, что думаю, что он ничего не знает; уязвленный в своем самолюбии, он решил доказать мне, что я ошибаюсь, и стал молотить языком без всяких вопросов.

Ему кажется, говорил он, что гости у меня будут частенько: в остальных шести темницах везде было по два человека, и не таких, каких можно отправить в четверку. Наступила длинная пауза, и он, не дождавшись, пока я спрошу, что означает сей почет, объяснил, что в четверке держат вперемешку людей самого разного разбора; всем им, хоть они об этом и не знают, уже вынесен приговор; те же, кто, подобно мне, заключены в Пьомби и доверены его заботам, продолжал он, все люди величайших достоинств, и преступления их таковы, что никакому любопытному о них и не догадаться.

— Когда б вы только знали, сударь, каковы у вас товарищи по несчастью! Вот вы бы удивились, ведь о вас правду говорят, что вы человек умный; вы меня простите... Знаете, одного-то ума мало, чтобы сюда посадили. Вы меня понимаете... пятьдесят сольдо в день — это не шутка: простому горожанину дают три лиры, дворянину — четыре, а графу-чужеземцу — восемь: кому как не мне это знать, все через мои руки проходит.

Тут он произнес сам себе похвальное слово, все из отрицательных свойств:

— Я не вор, не предатель, не обманщик, не скупец, я не злой, не жестокий, как предшественники мои, а как выпью пинту лишнюю, так становлюсь лучше некуда; если б меня отец отправил в школу, я бы научился грамоте и стал, быть может, мессером гранде; но тут уж не моя вина. Сам г-н Андреа Дьедо меня уважает, а жена моя, ей всего двадцать четыре года, это она вам каждый день поесть готовит, так она разговаривает с ним запросто, и он ее к себе пускает без всяких церемоний, даже когда еще в постели — такой милости он ни одного сенатора не удостоивает. Я вам обещаю: все, кто у нас в первый раз окажутся, все у вас будут, правда, ненадолго, потому что секретарь как узнает от них самих все, что ему знать нужно, так и отправляет их по назначению либо в четверку, либо в какую крепость, либо в Левант, либо, если это иностранцы, из пределов государства — ведь наше правительство вообще не считает себя вправе распоряжаться подданными других государей, если только они не состоят у него на службе. Милосердие Трибунала беспримерно, сударь; нет другого такого на свете, чтобы столько мягкости проявлял к своим узникам; кто-то считает, что жестоко запрещать людям писать и принимать гостей, так это глупости, потому, что писанина да визиты — пустая трата времени; вы скажете, вам делать нечего, но нам-то, остальным, есть чем заняться.

Такой приблизительно речью удостоил меня этот палач; сказать по правде, она меня позабавила. Я понял, что будь он поумней, так был бы и злее, и решил обратить глупость его себе на пользу.

Назавтра привели мне нового товарища, с которым обошлись в первый день так же, как с Маджорином. Я убедился, что мне нужна еще одна костяная ложка — в первый день вновь прибывшего оставляли без еды, и мне приходилось о нем заботиться.

Этому человеку я вышел навстречу сразу, и он отвесил мне глубокий поклон. Еще больше почтения, нежели мой рост, внушила ему борода, каковая выросла у меня уже на четыре дюйма. Лоренцо частенько давал мне ножницы, чтобы постричь ногти на ногах; но за стрижку бороды мне

грозили самые страшные кары. Человек ко всему привыкает.

Вновь прибывший был мужчина лет пятидесяти, одного со мною роста, слегка сутулый, худой, с большим ртом и крупными нечистыми зубами; у него были маленькие карие глазки, длинные рыжие брови, на голове круглый черный парик, вонявший маслом; одет он был в костюм грубого, серого сукна. Он согласился разделить со мною обед, но держался настороже и во весь день не произнес ни слова. Я последовал его примеру. Но на следующий день он стал себя вести по-другому. На рассвете принесли ему собственную постель и простыни в мешке. Маджорин, когда бы не я, не смог бы даже переменить рубашку. Тюремщик спросил у соседа моего, что он желает на обед, и денег, чтобы его купить.

— У меня нет денег.

— У вас, такого богача, нет денег?

— Ни единого сольдо.

— Отлично. Тогда я вам сейчас принесу полтора фунта солдатских сухарей и горшок отличной воды. Как положено.

Прежде чем удалиться, он принес еду, и я остался наедине с этим привидением.

Он вздыхает, мне становится его жаль, и я нарушаю молчание.

— Не вздыхайте, сударь, пообедаете со мной; но, полагаю, вы совершили большую ошибку, попав сюда без денег.

— Есть у меня деньги; нельзя только, чтобы эти гарпии об этом узнали.

— Хороша прозорливость, из-за которой вы сидите на хлебе и воде! Могу ли спросить вас: известна ли вам причина вашего заточения?

— Да, сударь, известна, а чтобы вам ее понять, расскажу коротко о себе.

Зовут меня Згуальдо Нобили. Я сын крестьянина; отец обучил меня грамоте и после смерти оставил мне домик и немного прилегающей к нему земли. Родина моя — Фриули, в сутках езды от Удине. Десять лет назад решил я продать маленькое свое владение, оттого что ураган, именуемый *Corno*, чересчур часто разорял его, и поселился в Венеции. За дом получил я восемь тысяч лир в славных цехинах. Мне рассказывали, что в столице блаженной нашей Республики все честные люди пользуются истинной свободой и что человек изобретательный, имея мой капитал, может здесь жить в полнейшем достатке, давая деньги в рост. Я был уверен в бережливости своей, рассудительности и знании жизни, а потому решил заняться именно этим ремеслом. Сняв маленький домик в квартале *sanal regio*. Королевского канала я обставил его, поселился там один и за два весьма покойных года разбогател на десять тысяч лир, из которых тысячу истратил на свое обустройство, ибо не хотел ни в чем звать нужды. Я не сомневался, что пройдет немного времени, и я стану в десять раз богаче. В это время ссудил я два цехина одному жида под заклад множества книг в хороших переплетках. Среди них обнаружил я «Мудрость» Шаронову. Читать я никогда не любил, и не читал ничего, кроме церковных книг; но эта книга Мудрости показала мне, сколь счастливы умеющие читать! Вы, сударь, быть может, не знаете этой книги, она великолепна; прочитав ее, всякий поймет, что читать другие уже нет необходимости, ибо в ней содержится вся мудрость, какую надобно знать человеку; она очищает от всех с детства усвоенных предрассудков, избавляет от страха перед загробной жизнью, раскрывает глаза, указывает путь к счастью и приобщает учености. Непременно обзаведитесь этой книгою, а всякого, кто вам скажет, что она запрещена, можете почитать за дурака.

Из речи этой я понял, что за человек передо мною: я читал Шарона, хоть и не знал, что его перевели. Но каких только книг не переводят в Венеции! Шарон был большой почитатель Монтаня и задумал превзойти свой образец, но это ему не удалось. Он облек в педантическую форму многое из того, что Монтань располагает в беспорядке и что, будучи мимоходом обронено великим человеком, не привлекает взора цензуры;

Шарон же был священник и богослов, и осудили его по заслугам. Читают его мало. Дурак итальянец, что перевел его, не знал даже, что слово «мудрость» будет по-итальянски «*sapienza*»: Шарон имел наглость назвать книгу свою так же, как царь Соломон. Товарищ мой продолжал свой рассказ:

— Избавленный Шароном от угрызений совести и всех прежних заблуждений, повел я дело свое так, что в шесть лет нажил девять тысяч цехинов. Вы не должны удивляться: в богатом этом городе карты, разврат и безделье всех повергают в разорение и денежную нужду, и люди мудрые лишь пользуются мотовством безумцев.

Три года назад свел со мною знакомство некто граф Сериман, каковой, признав во мне человека благоразумного, просил взять у него пятьсот цехинов, пустить их в оборот и отдать ему половину прибыли. Потребовал он от меня всего лишь простую расписку, в которой я обязался вернуть данную мне сумму по первому требованию. В конце года я отдал ему семьдесят пять цехинов, что составило пятнадцать процентов, и он дал мне в них расписку, но остался недоволен. Он был не прав: у меня было довольно денег, и его цехины я в оборот не пускал. На второй год я из чистого великодушия поступил точно так же; но тут разговор наш принял скверный оборот, и он потребовал вернуть всю сумму. Я отвечал, что вычту из нее те сто пятьдесят цехинов, что он от меня

уже получил; однако он вошел во гнев и потребовал немедля полюбовной сделки и возвращения всей суммы. Ловкий адвокат взялся защищать меня и выгадал эти два года; три месяца назад мне предлагали уладить дело, но я отказался. Однако, опасаясь, как бы не учинили надо мною насилия, обратился я к аббату Джустиниани, управляющему делами маркиза де Монталлегре, испанского посланника, и он снял мне домик во владениях посольства, где можно было не бояться неожиданностей. Я с радостью отдал бы графу Сериману его деньги, но теперь я желал возместить те сто цехинов, в которые мне обошелся затеянный им против меня процесс. Неделю назад приходил ко мне мой адвокат вместе с адвокатом графа, и я показал им двести пятьдесят цехинов в кошель: их я готов был отдать, и ни сольдо больше. Удалились они оба недовольные. Три дня назад аббат Джустиниани известил меня, что посланник благоволил дозволить Государственным инквизиторам послать ко мне своих людей и описать мое имущество. Я не знал, что могут твориться подобные вещи. Я поместил все деньги свои в надежное место и храбро ожидал этих людей. Я никак не ожидал, что посланник позволит им схватить меня, но меня схватили. На рассвете явился ко мне мессер гранде и потребовал триста пятьдесят цехинов, а когда я отвечал, что у меня нет ни сольдо, взял меня под стражу; и вот я здесь.

Выслушав его повесть, задумался я над тем, сколь гнусного негодяя поместили вместе со мною и сколь великую честь негодяй этот мне оказал, полагая меня себе подобным и увидев по мне человека, способного восхититься всем тем, что он рассказал. В дурацких его речах, что держал он три дня кряду, беспрестанно цитируя Шарона, нашел я подтверждение пословице: *Guardati da colui che non ha letto che un libro solo* — Бойся того, кто прочел всего одну книгу. Шарон превратил его в безбожника, и он запросто этим хвастал. На четвертый день, спустя час после Терцы, явился за ним Лоренцо и велел спуститься вниз побеседовать с секретарем. Тот быстро оделся, причем вместо своих туфель надел мои, а я и не заметил. Спустившись вместе с Лоренцо, получасом позже он вернулся в слезах, вытащил из туфель своих два кошель с тремястами пятьюдесятью цехинами и в сопровождении Лоренцо понес их секретарю; потом снова поднялся, забрал свой плащ и ушел. Поздней Лоренцо сказал, что его отпустили восвояси. На следующий день пришли за его пожитками. Я и теперь думаю, что секретарь заставил его признаться в том, что деньги у него при себе, под угрозой пытки: в качестве угрозы пытка еще на что-то годится.

В первый день 1756 года получил я новогодние подарки, Лоренцо принес мне халат на лисьем меху, шелковое ватное одеяло и медвежью полость для ног: холод стоял столь же отчаянный, как и жара, что претерпел я в августе месяце. Передавая мне дары, Лоренцо сказал, что секретарь велел положить мне шесть цехинов в месяц, дабы мог я покупать книги, какие захочу, а также и газету, и что подарок прислал мне г-н де Брагадин. Я попросил у Лоренцо карандаш и написал на клочке бумаги: «Благодарю Трибунал за сострадание и г-на де Брагадина за добродетель».

Надобно побывать в моем положении, чтобы понять, какие чувства пробудило в душе моей это происшествие; в порыве чувствительности простил я своим гонителям и почти оставил замысел побега. Сколь податлив человек под гнетом несчастья и унижения! Лоренцо сказал, что г-н де Брагадин предстал перед тремя Инквизиторами и, плача, на коленях молил их сжалиться и, коли нахожусь я еще в числе живых, передать мне этот знак неизменной его любви; растроганные Инквизиторы не смогли ему отказать. Я не мешкая написал на бумаге названия всех книг, какие хотел получить.

В одно прекрасное утро, гуляя по чердаку, приметил я случайно длинный засов, что лежал на полу, и понял, что он мог бы послужить оружием для нападения и защиты; я поднял его, отнес в камеру и положил под одежду, рядом с куском черного мрамора. Едва оставшись один, я долго тер конец засова о мрамор и понял, что это отличный точильный камень: на конце, какой я тер, образовалась грань.

В подобном деле я был новичок, мне стало любопытно; кроме того, меня одушевляла надежда завладеть предметом, должно быть, строжайше здесь запрещенным; еще двигало мною тщеславное желание изготовить оружие без всяких необходимых для того инструментов и даже негодование из-за предстоящих трудностей — точить засов приходилось мне в полутьме, на высоте груди, камень невозможно было закрепить иначе, как зажав его в левой руке, масла, дабы увлажнить его и легче заострить, как мне хотелось, железный прут, у меня тоже не было, и использовал я только собственную слюну; но за две недели выточил я восемь пирамидальных граней, завершавшихся на конце отличным острием. Грани были длиною в полтора дюйма. Получился у меня восьмиугольный стилет столь правильной формы, что лучше не сделал бы и хороший кузнец. Нельзя даже вообразить, какие муки и заботы я перенес, каким пришлось мне запастись терпением, чтобы исполнить этот тяжкий труд, не имея другого инструмента, кроме никак не укрепленного камня; то была для меня такая пытка, *quam siculi non invenerunt tyranni* \*. Я не мог пошевелить правой рукой и, кажется, вывихнул плечо. Когда вскрылись пузыри, ладонь моя превратилась в сплошную рану — но, невзирая на боль, я не прекращал работы, мне хотелось довести ее до совершенства.

Гордый своим творением и так и не решив, зачем и как я мог бы его использовать, задумал я спрятать его в какое-нибудь такое место, где бы его не нашли даже при обыске; я решил положить

его в солому, которой были набиты мои кресла, но не сверху, где можно было, подняв подушку, заметить неровную выпуклость, а перевернув кресла вверх ножками: я засунул внутрь весь засов, да так хорошо, что обнаружить его можно было, только зная, что он там. Так ГОСПОДЬ готовил мне все необходимое для побега, каковой должен был стать если не чудом, то событием, достойным удивления. Признаюсь, я горд, что бежал; но гордость моя происходит не от того, что мне удалось это сделать — здесь большая доля везения, но от того, что почел я это осуществимым и имел мужество привести свой замысел в исполнение.

Три или четыре дня размышлял я о том, какое могу сделать употребление моему засову, превратившемуся в эспонтон толщиной в трость и длиною в двадцать дюймов; игольное острие его ясно доказывало — чтобы заточить железо, необязательно превращать его в сталь. Наконец я понял, что мне остается одно: проделать отверстие в полу под кроватью.

Я не сомневался, что подо мною находится та самая комната, где видел я г-на Кавалли, и что комнату эту всякое утро отпирают; я не сомневался, что как только отверстие будет готово, я без труда соскользну вниз посредством простынь, из которых сделаю что-то вроде веревки и закреплю верхний ее конец за ножку кровати. В комнате этой я спрячусь под большим столом Трибунала, а наутро, как только увижу, что дверь открыта, выйду и укроюсь в надежном месте, прежде чем успеют послать за мною погоню. Мне пришло в голову, что Лоренцо, быть может, оставлял на часах в этой комнате кого-то из своих стражников, так что мне придется его сразу убить, вонзив в глотку эспонтон. Придуманно все было хорошо; но пол камеры мог оказаться и двойным, и тройным, дело могло занять и месяц, и два; весьма нелегко было найти способ помешать стражникам на столь долгий срок делать в камере уборку. Если бы я им запретил подметать, у них бы возникли подозрения, тем более что прежде, пытаясь избавиться от блох, я потребовал, чтобы убирали каждый день; метла сама открыла бы им дыру, а я должен был быть в совершенной уверенности, что этой беды не случится.

А пока я запретил у себя подметать, не объясняя причины. Восемь — десять дней спустя Лоренцо спросил, почему я не даю убираться, и я отвечал, что пыль, поднимаясь с поля, попадает ко мне в легкие и может вызвать туберкулез.

— Мы станем поливать пол водой, — возразил он.

— Ни в коем случае: от сырости может случиться полнокровие.

Но еще через неделю он распорядился, чтобы у меня убрали; он велел вынести кровать из камеры и под тем предлогом, что почистить нужно везде, зажег свечу. Я понимал, что поступок его вызван подозрениями, но выказал полнейшее равнодушие. Тогда же замыслил я способ укрепить мой замысел. На следующее утро поранил я палец, запачкал носовой платок и стал ожидать Лоренцо, не поднимаясь с постели.

— У меня случился приступ кашля, — объявил я ему, — и такой сильный, что в груди лопнула вена и пошла, как видите, кровь; велите послать за лекарем.

Доктор явился, назначил мне кровопускание и прописал лекарство. Я сказал, что беда случилась со мною из-за Лоренцо, которому вздумалось подметать. Лекарь пустился упрекать его и рассказал, что по этой самой причине только что скончался от болезни груди один юный парикмахер; по его словам, пыль, если ее вдохнули, нельзя выдохнуть назад. Лоренцо клялся, что хотел оказать мне услугу и что не велит больше подметать до конца своей жизни. В душе я хохотал: когда б я даже подговорил лекаря, ему бы ничего лучше не сказать. Стражники, присутствовавшие при этом наставлении, были счастливы и к числу своих благодеяний прибавили еще одно: подметать только в тех камерах, к обитателям которых они относились скверно.

Когда доктор удалился, Лоренцо просил у меня прощения и уверял, что все остальные узники, хоть он и велит подметать у них в комнатах каждый день, чувствуют себя хорошо. Комнатами он называл камеры.

— Но дело это важное, — продолжал он, и я им объясню, как это важно, ведь я ко всем отношусь, как к собственным чадам.

Да и кровопускание мне было необходимо; я перестал страдать бессонницей и излечился от судорог, что приводили меня в ужас.

Я выиграл очень важное очко; но время начинать мое предприятие еще не пришло. Стоял холод, и если б я взялся за эспонтон, у меня бы неизбежно замерзли руки. Затея моя требовала ума предусмотрительного, полного решимости избежать всего, что возможно без труда предвидеть, храброго и отважного, ибо во всем, что было предусмотрено, но не произошло, следовало полагаться на случай. Положение человека, вынужденного так действовать, прискорбно; но верный и искусный расчет учит, что, добиваясь всего, *expedi* \* ставить на карту все.

Нескончаемые зимние ночи наводили на меня тоску. Девятнадцать томительных часов принужден я был проводить в совершенных потемках; а когда на улице стоял туман, что в Венеции не такая уж редкость, света, падавшего из окна через отверстие в двери, не хватало, чтобы осветить книгу, и я не мог читать. А когда я не мог читать, то думал только о своем побеге; мозг же, постоянно занятый одной и той же мыслью, может ввергнуться в безумие. Владей я масляной лампой, я был бы счастлив; я поразмыслил, как ее заполучить, и, к великой своей радости, придумал способ сделать

это хитростью. Чтобы изготовить лампу, мне нужны были ее составные части. Мне нужен был горшок, нитяные или ватные фитили, масло, кремнь, огниво, спички и трут. Горшком могла послужить глиняная кастрюлька; у меня такая была, мне в ней варили яйца с маслом. Я объявил, что от салата, заправленного обычным маслом, мне дурно, и велел купить себе лукского масла. Из стеганого своего одеяла добыл я довольно ваты, чтобы наделать фитилей. Я притворился, будто меня мучит сильнейшая зубная боль, и сказал Лоренцо, что мне надобно пемзы; что это такое, он не знал, и я заменил пемзу кремнем, объяснив, что если его на день замочить в крепком уксусе, а потом приложить к зубу, то действие он окажет то же самое — утишит боль. Лоренцо отвечал, что уксус у меня отменный, а камень я могу положить туда сам, и бросил мне туда три-четыре штуки. Огнивом должна была мне послужить стальная пряжка на ремне штанов. Оставалось добыть лишь серы да трут, и я готов был лопнуть от злости, не зная, откуда их взять. Но, подумав хорошенько, я при помощи фортуны обзавелся и ими. Вот как это было.

У меня было прежде что-то вроде кори, от которой, когда она подсохла, остался на руках лишай, и зуд его весьма меня беспокоил; я велел Лоренцо спросить у доктора лекарства против этого лишая. Назавтра принес он мне записку, показав ее сначала секретарю; лекарь написал: Один день выдержать диету, смазать четырьмя унциями миндального масла, и кожа будет здорова; либо смазать мазью из серного цвета, но это средство опасное.

— Мне все равно, опасное или нет, — сказал я Лоренцо, — купите мне этой мази и принесите завтра; или дайте серы, масло у меня есть, я сам сделаю мазь; есть у вас спички? Дайте немного.

Он вынул из кармана все спички, какие у него были, и отдал мне. Сколь легко утешить скорбящего!

Два или три часа кряду размышлял я о том, чем бы заменить трут единственное, чего мне недоставало и что я не знал, под каким предлогом спросить. И тут я вспомнил, что велел своему портному сделать мне на тафтяном костюме под мышками прокладку из трута и покрыть ее вошеной тканью, чтобы не проступало пятно пота, которое, особенно летом, портит в этом месте всякий костюм. Костюм лежал передо мною, совершенно новый; сердце мое колотилось портной мог забыть мой приказ; я колебался между страхом и надеждой. Довольно было сделать два шага, чтобы все стало ясно — но я не смел: мне было страшно, что не найду трута и придется распротиться со столь милой надеждой. Наконец, решившись, подхожу я к дощечке, где лежал костюм, и вдруг, посчитав себя недостойным подобной милости, падаю на колени и молю БОГА, чтобы портной не забыл моего приказания. После жаркой молитвы разворачиваю я свое одеяние, отпарываю вошеную ткань и обнаруживаю трут. Я был рад несказанно. Теперь было бы естественно возблагодарить БОГА: ведь я пустился на поиски трута, положившись на его благость; так я и поступил, и излил сердце.

Обдумав после сей благодарственный молебен, нашел я его вовсе не глупым; напротив, размышляя о том, как молился я вседержителю, отправляясь на поиски трута, почел я себя дураком. Я бы никогда не поступил так прежде, чем попасть в Пьюмби, не поступил бы и теперь; но когда тело лишено свободы, притупляются и свойства души. БОГА подобает просить о милостях, а не о том, чтобы он творил чудеса и переворачивал вверх дном природу. Я должен был быть уверен: если портной не положил трута под мышками, я его не найду, а если положил, то найду непременно. Чего ж я тогда хотел от создателя? Первой своей молитвой я хотел сказать только одно: Господи, сделай так, чтобы я нашел трут, даже если портной забыл его положить, а если он положил трут, то не вели ему исчезнуть. Впрочем, какой-нибудь богослов вполне мог бы счесть молитву мою благочестивой, святой и весьма разумной, ибо основанной, сказал бы он, на силе веры; и он был бы прав, как прав и я сам, не богослов, полагая ее нелепой. Напротив, мне не было нужды становиться великим богословом, дабы счесть похвальной благодарственную молитву. Я возблагодарил БОГА за то, что портному не отказала память, и, согласно всем установлениям святой философии, признательность моя была справедлива.

Едва оказался я обладателем трута, как немедля налил масла в кастрюльку, зажег фитиль — и предо мною была лампа. Что за удовольствие знать, что благоденствием этим ты обязан лишь самому себе! и преступить один из жесточайших запретов! Ночи перестали для меня существовать. Прощай, салат; я очень его любил, но не жалел о нем; мне представлялось, что масло создано единственно для того, чтобы давать нам свет. Сверлить пол решил я начинать в первый понедельник поста, ибо в суматохе карнавала следовало всякий день ожидать гостей. Я не ошибся. В прощенное воскресенье услышал я в полдень лязг засовов; явился Лоренцо, а с ним толстяк, в каком я немедля признал жида Габриеле Шалона, славного своим искусством помогать молодым людям добывать себе денег скверными делишками; мы были знакомы и обменялись приличествующими случаю приветствиями. Общество этого человека доставляло мне не самое большое удовольствие, но приходилось терпеть. Дверь заперли. Он велел было Лоренцо сходить к нему домой за обедом, постелью и всем необходимым, но тот отвечал, что об этом они поговорят завтра.

Жид этот был вертопрах, невежда, болтун и глупец, понимавший только в своем ремесле; для начала он поздравил меня с тем, что именно меня, и никого другого, избрали ему в товарищи. Вместо ответа я предложил ему половину своего обеда, но он отказался, говоря, что ест лишь чистую пищу и

подождет славного домашнего ужина.

— И когда вы намерены ужинать дома?

— Нынче вечером. Вы сами видели: когда я спросил свою постель, мне отвечали, что об этом разговор будет завтра. Ясно как день, это значит, что мне нет нужды в постели. Или вы полагаете, что такого человека, как я, могут оставить без пищи?

— Со мной обошлись точно так же.

— Пусть так; но меж нами есть некоторое различие; и, между нами говоря. Государственные инквизиторы дали маху, что велели меня арестовать, и теперь, должно быть, в затруднении, как исправить свою ошибку.

— Быть может, они назначат вам пенсию: такого человека, как вы, надобно беречь.

— Очень справедливое суждение. Нет на бирже маклера, который бы приносил больше пользы, чем я, для торговли в нашем государстве, и пятеро Мудрецов получили от советов моих немалую выгоду. То, что меня посадили в тюрьму событие необычайное, но вам повезло, для вас это удача.

— Удача? Для меня? Каким образом?

— И месяца не пройдет, как я вас отсюда вытащу. Я знаю, с кем поговорить и как поговорить.

— Стало быть, я на вас рассчитываю.

Этот безмозглый пройдоха почитал себя важной особой. Он пожелал сообщить, что обо мне говорят, стал пересказывать всевозможные разговоры самых больших дураков во всем городе и весьма мне наскучил. Я взял книгу, но он имел наглость просить меня не читать. Он страстно любил поговорить, но только о собственной персоне.

Лампу зажечь я не осмелился; с приближением ночи согласился он съесть хлеба и выпить кипрского вина, а потом улегся на моем тюфяке, что служил постелью всем вновь прибывшим. Назавтра принесли ему еды из дома и постель. Гиря эта висела на мне месяца два или больше: секретарю Трибунала не раз пришлось говорить с ним, вытаскивая на свет божий мошеннические его делишки и заставляя расторгнуть незаконные сделки, какие он заключил, и только после был он приговорен к четверке. Он сам признавался, что купил у г-на Доминико Микели процентные бумаги, которые могли перейти к покупателю лишь после смерти отца г-на Микели, кавалера Антонио.

— Продавец, правда, на этом потерял сто процентов, — сказал он, — но надобно принимать во внимание и то, что если б сын умер прежде отца, покупатель потерял бы все.

В конце концов, поняв, что от скверного этого соседства не избавиться, решился я зажечь лампу; он обещал хранить тайну, но молчал лишь до тех пор, пока оставался со мною, ибо Лоренцо о лампе узнал, хотя и ничего не предпринял. Коротко говоря, человек этот был мне в тягость и мешал готовить побег.

Еще он мешал мне развлекаться чтением; он был требователен, невежествен, хвастлив, суеверен, пуглив, временами впадал в отчаяние и раздражался слезами и еще хотел, чтобы я испускал одобрительные вопли всякий раз, как он доказывал, что тюрьма дурно отражается на его честном имени; я заверил, что за свое доброе имя он может не тревожиться, и он принял мою колкость за похвалу. Он был скуп, но сознаваться в этом не желал; однажды, желая показать ему его скупость, я сказал, что когда бы Государственные инквизиторы давали ему по сотне цехинов в день, но в то же время открыли тюремные двери, он бы никуда не ушел, дабы не потерять сто цехинов. Ему пришлось согласиться, и он сам над собою смеялся.

Как и все нынешние жида, был он талмудист и всячески показывал передо мною, что приверженность его своей религии основана на глубоких познаниях. Он был сын раввина и потому сведущ в обрядах; правда, впоследствии, приглядываясь к роду человеческому, я понял, что вообще большинство людей полагают главным в религии благочиние.

Жид сей был чрезвычайно толст и вечно лежал в постели; днем он спал, а потому случалось ему по ночам бодрствовать; я же, как ему было слышно, спал недурно. Однажды, когда я как раз сладко уснул, он вздумал меня разбудить.

— ГОСПОДИ, — спросил я, — ну что вам нужно? Для чего вы разбудили меня? Коли вы кончаетесь, я вам прощаю.

— Увы! дорогой друг, я не могу уснуть, сжальтесь надо мною и давайте немножко поболтаем.

— И вы зовете меня «дорогой друг»? Мерзкий вы человек! Бессонница ваша, должно быть, сущая пытка, верю, и мне вас жаль; но если в другой раз вы вздумаете облегчить свои муки, лишая меня величайшего из благ, каким дозволяет утешаться природа в удручающем меня величайшем из несчастий, я встану с постели и вас придушу.

— Простите великодушно, впредь я не стану вас будить, будьте надежны.

Может, я и не придушил бы его, но что верно, это то, что в искушение такое он меня вводил. Узник, покоящийся в сладких объятиях сна, более не узник, и спящий раб не ощущает во сне цепей рабства, равно как не правят во сне короли. А значит, узник не может не почитать болтуна, что будит его, за палача, который лишает его свободы и возвращает в ничтожество; к тому же спящему узнику обыкновенно снится, что он на свободе, и греза эта заслоняет от него действительность. Я не мог

нарадоваться, что не начинал трудов своих до появления этого человека. Он потребовал, чтобы в камере подметали, и прислуживавшие нам стражники, к веселью моему, объявили, что я от этого погибаю; но он был неумолим. Я притворился, что заболел от уборки, и если б я воспротивился, стражники не стали бы исполнять его приказа; но мне выгодней было явить снисходительность.

В Страстную среду Лоренцо предупредил, что после Терцы поднимется к нам г-н Чиркоспетто Сегретарио, Осмотрительный секретарь: то было обычное его посещение по случаю Пасхи, каковым поселяет он мир и покой в душах тех, кто желает получить Святое причастие, а одновременно выслушивает все жалобы узников на тюремщика.

— Вот, милостивые государи, ежели есть у вас какие на меня жалобы, так жалуйтесь, — заключил Лоренцо. — Оденьтесь в костюмы ваши, таково требование этикета.

Я велел Лоренцо привести мне на следующий день исповедника.

Итак, оделся я с ног до головы, а жид, облачившись, стал со мною прощаться: он несколько не сомневался, что как только поговорит с Чиркоспетто, тот сразу отпустит его на свободу; предчувствие его, сказал он, из тех, что не обманывают. С тем я его и поздравил. Явился секретарь, дверь камеры открыли, и жид, выйдя из нее, упал на колени; в продолжение четырех или пяти минут доносились до меня одни лишь рыдания и вопли, но секретарь не проронил ни слова. Жид возвратился в камеру, и Лоренцо велел мне выходить. Стоял мороз, и я со своей восьмимесячной бородой и в костюме, придуманном любовью и назначенном для июльской жары, являл собою в тот день фигуру скорее комическую, нежели внушающую сострадание. От страшного холода трясся я, словно тень от заходящего солнца, и был этим весьма недоволен единственно по той причине, что секретарь мог подумать, будто я дрожу от страха. Из камеры я вышел согнувшись, а потому нужда в поклоне отпала; выпрямившись, взглянул я на него без гордыни и без подобострастия, стоя недвижно и молча; Чиркоспетто также не двинулся и не произнес ни слова; немая эта сцена длилась минуты две. Убедившись, что я ничего не скажу, он на полдюйма склонил голову и удалился. Я возвратился в камеру, разделся и лег в постель, чтобы согреться. Жид был удивлен, отчего не сказал я ни слова секретарю; но молчание мое было много более красноречиво, нежели его собственные трусливые вопли. Узнику, подобному мне, в присутствии судьи своего следует лишь отвечать на вопросы, не более.

На следующий день явился ко мне исповедник-иезуит, а в Страстную субботу священник из собора Св. Марка причастил меня святых тайн. Исповедь моя показалась миссионеру излишне краткой, и, выслушав ее, почел он за благо, прежде чем отпустить мне грехи, долго меня увещевать.

— Молитесь ли вы Богу? — спросил он.

— Молюсь с утра до вечера и с вечера до утра, даже тогда, когда ем и сплю, ибо в том положении, в каком я нахожусь, все происходящее в душе моей, все мои волнения, нетерпение, даже заблуждения ума моего не могут быть не чем иным, как молитвой пред лицом мудрости Господней, ибо один он видит мое сердце.

Своеобычное мое учение о молитве иезуит встретил легкой улыбкой и отплатил метафизической речью такого свойства, какое нимало не сходствовало с моим. Я опровергнул бы все, когда бы он, искусный в своем ремесле, не сумел удивить меня настолько, что сделался я меньше блохи. Вот какое пророчество он произнес:

— Именно мы, — сказал он, — научили вас религии, какую вы исповедуете, а потому отправляйте ее по-нашему, молитесь Богу, как мы вас учили, и знайте: выйдете вы отсюда лишь в день святого вашего покровителя.

Сказав так, отпустил он мне грехи и удалился. Слова его произвели на меня действие невероятное; я пытался забыть их — но напрасно; я произвел смотр всем святым, каких обнаружил в календаре.

Иезуит тот был духовник г-на Фламинио Корнера, старого сенатора, а в то время — Государственного инквизитора. Сенатор был известный сочинитель, великий политик, человек очень набожный, ему принадлежали благочестивейшие и необыкновенные творения, писанные по-латыни. Слава его была безупречна.

Известие о том, что я выйду из тюрьмы в день своего святого покровителя, переданное человеком, каковой, быть может, знал это наверное, исполнило меня ликования — оттого, что, как я узнал, у меня есть святой покровитель и я ему небезразличен; но чтобы ему молиться, мне надобно было знать — кто он? Сам иезуит, когда б и знал, не мог бы мне этого сказать, ибо разгласил бы тайну. Посмотрим, смогу ли я угадать, сказал я себе. То не мог быть Св. Иаков Компостелльский, чье имя я ношу: в его-то праздник мессер гранде и ворвался ко мне в дверь. Взяв календарь, изучил я ближайших святых и обнаружил Св. Георгия, святого весьма почтенного, но о котором я никогда даже не вспоминал. Тогда обратился я к Св. Марку: праздник его наступал двадцать пятого числа, и я, как венецианец, мог полагаться на его заступничество; я обратил к нему свои мольбы, но напрасно. Праздник минул, а я остался там же, где и раньше. Я выбрал другого Св. Иакова, брата Иисуса Христа — его празднуют вместе со Св. Филиппом; но снова обманулся. Тогда положился я на Св. Антония, каковой, как говорят в Падуе, совершает в день тринадцать чудес, — и снова напрасно. Так,

переходя от одного к другому, постепенно привык я к мысли, что ждать заступничества святых — дело пустое, и убедился, что полагаться, мне надобно на единственного святого — на мой засов-эспонтон. Однако ж пророчество иезуита сбылось. Как увидит читатель, вышел я из тюрьмы в день Всех святых, и коли был у меня заступник, то праздник его, без сомнения, приходился на этот день, ибо тогда празднуются все.

Тремя-четырьмя неделями позже Пасхи избавили меня от жида; но домой беднягу не отправили, а приговорили к четверке, где пробыл он два года, а потом сослали до конца дней в Триест.

Едва остался я один, как принялся за дело с величайшей поспешностью. Я должен был торопиться: мог явиться еще какой-нибудь гость и потребовать, чтобы в камере подметали. Я отодвинул кровать, зажег лампу и улегся на пол с эспонтоном в руках, расстелив рядом с собой салфетку, чтобы собирать в нее щепочки дерева, в которое вгрызлся острым засовом; надобно было проделать отверстие в полу, ковыряя его железным прутом; когда начинал я работу, щепочки были не больше пшеничного зерна, но потом превратились в большие обломки дерева. Пол был из лиственничных досок шириною в шестнадцать дюймов; начал я со стыка двух досок; там не было ни гвоздей, ни железных скоб, и работа моя подвигалась равномерно. Потрудившись шесть часов, завязал я салфетку и отложил в сторону, собираясь назавтра вытряхнуть ее в глубине чердака, за кучей тетрадей. Объем щепок был в четыре или пять раз больший, нежели отверстия, из которого я их извлекал. Дуга окружности составляла приблизительно градусов тридцать, а диаметр ее был около десяти дюймов. Я поставил кровать на место, на следующий день вытряхнул салфетку и понял, что могу не бояться, что щепки мои кто-нибудь заметит.

На второй день обнаружил я под первой доской, толщиной в два дюйма, другую, по моему представлению, такую же. Гостей мне не случалось принимать ни разу, но страх, что несчастье это может произойти, мучил меня, и в три недели сумел я совершенно изрубить три доски и обнаружил под ними каменную поверхность из кусочков мрамора, какую в Венеции именуют *terrazzo marmorin*. Такой пол встречается обыкновенно во всех венецианских домах, кроме домов бедняков. Даже знатные синьоры предпочитают иметь *terrazzo*, а не паркет. В унынии увидел я, что засов мой его не берет; как ни нажимал я на острие, как ни надавливал — оно скользило. Неожиданность эта повергла меня в тоску. Я припомнил, что Ганнибал, как пишет Тит Ливий, проделал проход сквозь Альпы, размягчая скалы уксусом и затем раскалывая их ударами меча; я всегда считал, что это невозможно — не потому, что кислота недостаточна сильна, а из-за невероятного количества уксуса, какое должно было быть у него в запасе. Я полагал, что Ганнибалу помог не уксус, *acetum*, а *asceta*, что на падуанской латыни могло означать *ascia*, молоток; ошибка могла случиться по вине переписчиков. И все же я вылил в углубление бутылку крепкого уксусу, и назавтра, благодаря то ли уксусу, то ли великому терпению, понял, что добыюсь своего: надобно было не разбивать кусочки мрамора, но острием инструмента моего процарапывать скреплявший их цемент; к большому своему удовольствию увидел я, что трудней всего подавалась поверхность; в четыре дня одолел я и этот пол, не повредив острия своего эспонтона. Грани его только еще красивей блестели.

Под мраморной крошкой обнаружил я, как и ожидал, еще одну доску, должно быть, последнюю, то есть первую по порядку в кровле всего этого помещения, балки которой поддерживали потолок. Эту доску одолел с несколько большими трудностями — отверстие мое достигло уже десяти дюймов глубины. Всякую минуту поручал я себя милосердию Божьему. Вольнодумцы, полагающие, будто от молитвы нет никакого проку, сами не понимают, что говорят. Я знаю, что, помолившись ГОСПОДУ, всегда чувствовал себя сильней; одного этого довольно, чтобы доказать пользу молитвы, от чего бы не увеличивалась сила — непосредственно от БОГА, или же самая вера в него имела подобное физическое следствие.

Двадцать пятого числа июня Венецианская республика единственная празднует день чудесного явления Св. Марка-евангелиста в церкви дожа в виде эмблемы крылатого льва; событие это, случившееся в конце одиннадцатого века, указало мудрому Сенату, что время принести благодарность Св. Феодору, влияния коего оказалось недостаточно для содействия планам Сената в расширении границ, и признать покровителем города святого ученика апостола Павла, либо, согласно Евсевию, апостола Петра, посланца БОЖЬЕГО. В этот самый день в три часа пополудни лежал я на животе, совершенно голый и обливающийся потом и трудился над своею дырой, поставив в нее, чтобы было светлее, зажженную лампу, как вдруг в смертельном ужасе услышал лязг засовов в дверях первого коридора. Что за минута! Я задуваю лампу, оставляю эспонтон свой в дыре, швыряю туда же салфетку, встаю, спешно ставлю козлы и доски кровати в альков, бросаю на них тюфяк и матрацы и, не успев постелить простыни, падаю замертво на кровать в тот самый миг, когда Лоренцо уже начал открывать мою камеру. Случись это секундой ранее, он бы застал меня врасплох. Лоренцо едва на меня не наступил, я вскрикнул, и он, согнувшись, попятился назад, за дверь, и произнес напыщенно:

— Увы, БОЖЕ мой! мне вас жаль, сударь, жара здесь, как прямо в духовке. Вставайте и возблагодарите БОГА, он вам посылает отличное общество. Входите, входите, почтеннейший



синьор, — пригласил он несчастного, что шел за ним следом.

Палач этот не обращает ни малейшего внимания на мою наготу, и вот, огибая меня, входит почтеннейший, а я, сам не понимая, что творю, собираю простыни, швыряю их на постель и нигде не могу найти рубашки, надеть которую требовало приличие. Вновь прибывший решил, что попал в ад, и воскликнул:

— Где я? Куда меня привели? Что за жара! Что за вонь! Кто здесь?

Тут Лоренцо позвал его выйти и попросил меня надеть рубашку и идти на чердак; он сказал, что ему велено отправиться к узнику домой и принести постель и все, что тот прикажет, а до его возвращения можно гулять по чердаку, пока дверь камеры будет открыта и выветрится вонь, что идет всего лишь от масла. Каково же было мое удивление, когда я услышал слова его, что вонь от масла! Воняло и в самом деле от лампы: я погасил ее, не сняв нагара. Лоренцо ни о чем не спросил; значит, он все знал, жид обо всем ему рассказал. Как я был счастлив, что тот не мог рассказать ничего больше! В тот момент закралось в мою душу даже некоторое уважение к Лоренцо.

Я скорей взял другую рубашку и халат и вышел. Новый узник писал карандашом, что ему принести. Увидав меня, он первым произнес:

— А вот и Казанова.

Я в тот же миг узнал графа Фенароло, аббата из Бреши, обходительного человека лет пятидесяти, богатого и любимого во всяком хорошем обществе. Мы обнялись; я сказал, что ожидал повстречать здесь, наверху, кого угодно, только не его, и он не смог удержать слез; я плакал вместе с ним.

Едва остались мы одни, я сказал, что предложу ему альков, как только придет его постель, но если угодно ему доставить мне удовольствие, то пусть он откажется от алькова и не просит, чтобы в камере подметали; причину я сообщу ему на досуге. Я объяснил, отчего воняет в камере маслом, он обещал все хранить в тайне и изъявил большую радость, что посадили его вместе со мною. По его словам, никто не знал, какое преступление я совершил, а потому всяк пытался его угадать. Говорили, будто я основал новую религию, другие уверяли, будто г-жа Меммо внушила Трибуналу, что я наставляю сыновей ее в атеизме. Утверждали, будто г-н Антонио Кондульмер, Государственный инквизитор, посадил меня в тюрьму за нарушение общественного порядка, ибо я освистывал комедии аббата Кьяри, и будто я специально собирался ехать в Падуя, чтобы убить аббата.

У всех обвинений этих были известные основания, и потому выглядели они правдоподобно; но все это был чистый вымысел. Религия занимала меня не настолько, чтобы я задумал основать новое учение; трое сыновей г-жи Меммо были столь умны, что скорее могли не поддаться соблазну, но ввести в него других; а г-н Кондульмер, если б решился посадить в тюрьму всех, кто освистывал аббата Кьяри, наделал бы себе множество лишних хлопот. Что же до самого аббата, каковой был прежде иезуитом, то я ему простил. Знаменитый падре Ориго, сам иезуит, научил меня, как за себя отомстить: я хорошо отзывался об аббате в большом обществе, окружающие в ответ на похвалы мои произносили сатиры, и я, не испытывая ни малейших неудобств, оказывался отомщен.

Под вечер принесли аббату Фенароло постель, кресла, белье, ароматические воды, добрый обед и славного вина. Аббат до еды не дотронулся, я же пообедал с аппетитом. Кровать его поставили, не сдвигая моей, и дверь была заперта.

Для начала вытащил я из дыры лампу и салфетку, что упала в кастрюльку и вымокла в масле. Я от души расхохотался. Когда причины, каковые могли привести к трагедии, вызывают происшествие малозначительное, поневоле засмеешься; я привел все в полный порядок и зажег лампу, весьма позабавив аббата историей о том, как ее изготовил. Ночь провели мы без сна, не столько из-за миллиона пожиривших нас блох, сколько из-за сотни интересных разговоров, которым не было конца. Вот как, по собственным его словам, попал он в тюрьму:

— Вчера в двадцать часов мы трое — г-жа Алессандри, граф Паоло Мартиненго и я — уселись в гондолу и в двадцать один час прибыли в Фузине, а в двадцать четыре — в Падуя, где собирались посмотреть оперу и сразу же вернуться назад. Во втором акте злой Гений заставил меня пойти в залу, где играли в карты; там увидел я графа фон Розенберга, венского посланника, в поднятой маске, а в десяти шагах от него г-жу Рудзини, муж которой как раз собирается ехать посланником Республики к Венскому двору. Я поклонился обоим и уже было вышел, как тут посланник сказал мне громко: «Вы счастливцев, вы можете ухаживать за столь любезною дамой; в подобные минуты лицо, каковое я представляю, превращает прекраснейшую в мире страну, в каторгу для меня. Прошу вас, передайте ей, что в Вене законы, запрещающие мне разговаривать с нею, не будут иметь силы, и, повстречав ее в будущем году, я объявлю ей войну». Г-жа Рудзини, заметив, что речь идет о ней, спросила, что сказал граф, и я повторил слово в слово. «Отвечайте ему, — велела она, — что я принимаю объявление войны: посмотрим, кто из нас лучше умеет сражаться». Не подумав, что совершаю преступление, передал я графу ответ, простую любезность. После оперы съели мы цыпленка и в четырнадцать часов возвратились в Венецию. Я собирался уже лечь спать до двадцати часов, как тут явился *fante*, слуга, и передал мне записку с повелением прибыть в девятнадцать часов в буссолу: чиркоспетто Бузинелло, секретарь Совета Десяти, желает мне что-то сказать. Удивленный

приказом этим, ничего хорошего не сулившим, и весьма недовольный, что принужден ему повиноваться, явился я в назначенный час пред очи сего чиновника, а он, не говоря ни слова, велел отвести меня сюда.

Не было ничего невинней подобного проступка; но есть на свете законы, каковые люди могут преступить нечаянно, и тем не менее будут виновны. Я поздравил аббата с тем, что ему известно, какое он совершил преступление, чем оно грозит и как посадили его в тюрьму; проступок его был весьма незначителен, и я объяснил, что продержат его со мною всего неделю, а затем велят на полгода уехать к себе в Брешу. Он искренно отвечал, что не верит, будто его могут здесь держать целую неделю: человек, что не считает себя виновным, никогда не может поверить, что его накажут. Я не стал разочаровывать его — но случилось именно так, как я предупреждал. Я был преисполнен решимости поддержать его и, сколько мог, утешить в великом потрясении, какое вызвал у него арест. Я проникся горем его настолько, что во все время, проведенное с ним, ни разу не вспомнил о своем собственном.

Назавтра Лоренцо принес на рассвете кофе и обед для графа в большой корзине; аббат никак не мог взять в толк, как это можно вообразить, что человеку в такой час захочется есть. Нам дозволено было час гулять на чердаке, потом нас заперли снова. Блохи донимали нас, и из-за них он спросил, почему не позволяю я подметать в камере. Для меня нестерпима была мысль, что он может почесть меня свиньей либо кожу мою грубей, нежели его собственная; я все рассказал ему и даже показал. Он был удивлен и даже подавлен, что невольно принудил меня к столь важному признанию. Он ободрил меня, просил продолжать работу и, коли возможно, закончить отверстие в течение дня, дабы самому меня спустить и втянуть назад веревку: сам он не стремился усугубить вину свою побегом. Я показал ему модель приспособления, посредством которого, спустившись вниз, без сомнения, вытащу к себе простыню, что послужит мне веревкой; то была палочка, привязанная одним концом к длинной бечеве. Простыню я собрался закрепить на козлах своей кровати с помощью только этой палочки, пропустив ее под перекладной с двух сторон через петлю веревки. Привязанная к палочке бечева должна была спускаться до пола в комнате Инквизиторов, и, оказавшись там, я потянул бы ее на себя. Он не усомнился в результате и поздравил меня; предосторожность эта была совершенно для меня необходима: если б простыня осталась, как есть, она бы первым делом бросилась в глаза Лоренцо, который поднимался к нам всегда через эту комнату; Лоренцо, не мешкая, пустился бы меня искать, а найдя, взял бы под стражу. Благородный мой товарищ пребывал в убеждении, что мне надобно приостановить работу — приходилось тем более опасаться неожиданностей, что потребовалось бы еще несколько дней, дабы завершить дыру, а она стоила бы Лоренцо жизни. Но разве могла замедлить ревностное мое стремление к свободе мысль, что свобода эта будет куплена ценою его жизни? Даже если б вследствие моего побега погибли все стражники в Республике, да и во всем государстве, я действовал бы точно так же. Любовь к отечеству воистину обращается в призрак для человека, которого отечество подавляет.

Несмотря на мое доброе расположение духа, товарищ мой, случалось, впадал ненадолго в уныние. Он был влюблен в г-жу Алессандри, певицу и возлюбленную, либо супругу друга своего Мартиненго, и, похоже, пользовался взаимностью; но чем счастливей влюбленный, тем несчастней становится он, когда вырывают его из объятий предмета любви. Он вздыхал, слезы проступали в глазах его; он уверял, что женщина, которую он любит — средоточие всех добродетелей. Мне искренне было его жаль, и я не осмелился сказать ему в утешение, что любовь — всего лишь безделка: одни только глупцы обращают столь докучное утешение к влюбленным; да и неправда, что любовь всего лишь безделка.

Предсказанная мною неделя пролетела быстро, и я лишился столь приятного общества, однако не дал себе времени об этом жалеть. Ни разу не родилось у меня желания просить достойного этого человека хранить тайну: малейшее подозрение оскорбило бы чистую его душу.

Третьего числа июля Лоренцо велел ему после Терцы, каковой в этом месяце бьет в двенадцать часов, быть готовым на выход и по сей причине не принес ему обеда. Во всю неделю друг мой питался лишь супом, фруктами и вином с Канарских островов, зато я, к великому его удовольствию, обедал отменно, и он восхищался счастливым моим темпераментом. Последние три часа провели мы в изъявлениях самой нежной дружбы. Явился Лоренцо, проводил вниз обходительного этого человека и через четверть часа поднялся снова, дабы забрать все принадлежавшие ему вещи.

На следующий день Лоренцо дал мне отчет в тратах за июнь; оказалось, что у меня есть четыре лишних цехина, и я сказал, что дарю их его жене. Он заметно подобрел. Я не сказал, что то была плата за лампу; но он, должно быть, и сам это понял.

Отдавшись всецело работе, 23 августа завершил я наконец свое творение. Столь долгий труд имел объяснение вполне естественное. Когда стал я прорезать последнюю доску — по-прежнему с величайшей осторожностью, чтобы только сделать ее как можно тоньше, — подобрался я весьма близко к противоположной ее поверхности и, прильнув глазом к маленькой дырочке, приготовился увидеть комнату Инквизиторов; ее я и увидел, однако ж весьма недалеко от дырочки своей,

величиною не более мухи, увидел и расположенную перпендикулярно поверхности шириною около восьми дюймов. Именно этого я всегда и боялся: то была одна из балок, поддерживавших потолок. Я понял, что мне придется расширить отверстие в сторону, противоположную от балки, ибо иначе проход оставался столь узкий, что я со своей довольно пышной фигурой никогда бы в него не пролез. Я принужден был расширить отверстие на четверть, по-прежнему опасаясь, что расстояние между соседними балками окажется излишне узким. Расширив дыру и взглянув в другую дырочку того же размера, понял я, что БОГ благословил мой труд. Дырочки я заткнул, опасаясь, как бы не упали в комнату щепки, либо луч света от моей лампы, упав через них вниз, не дал знать какому-нибудь приметливому человеку о затеянной мной операции.

Бегство свое назначил я в ночь накануне праздника Св. Августина: я знал, что в этот день собирается Большой Совет, а значит, никого не будет в буссоле, смежной с той комнатой, через которую мне непременно нужно будет пройти. Итак, положил я выйти из тюрьмы в ночь на 27 число.

Но в полдень 25 числа случилось то, отчего бросает меня в дрожь даже сейчас, когда я пишу. Ровно в полдень услышал я лязг засовов; я едва не умер; сильнейшее сердцебиение в области тремя-четырьмя дюймами ниже обыкновенного заставило меня испугаться, что настал мой последний час. Вне себя бросился я в кресла. Лоренцо взошел на чердак, приблизил лицо свое к решетке и произнес восторженным голосом:

— Поздравляю, сударь, я вам принес хорошие вести.

Поначалу я решил, что весть эта — о моем освобождении, ибо никакой иной доброй вести ждать не приходилось, и понял, что погиб. Если дыру обнаружат, помилование наверное будет отменено.

Лоренцо входит и велит мне следовать за ним.

— Подождите, мне нужно одеться.

— Это неважно: вам всего лишь надобно перейти из этой гнусной темницы в другую, светлую и совсем новую, там через два окна видно вам будет пол-Венеции, там вы сможете распрямиться, там...

Но я больше не мог, я чувствовал, что сейчас умру.

— Дайте мне уксусу, — велел я, — и пойдите скажите г-ну секретарю, что я благодарю Трибунал за эту милость, — во имя БОГА умоляю оставить меня здесь.

— Вы что, смеетесь? Вы сошли с ума? Вас хотят вытащить из ада и поселить в Раю, а вы сопротивляетесь? Идемте, идемте, надобно повиноваться; вставайте, обопритесь на мою руку, а я велю перенести ваши пожитки и книги.

В удивлении и принужденный прекратить всяческие возражения, я поднялся, вышел из камеры и через минуту с некоторым облегчением услышал, как Лоренцо велит одному из подчиненных своих нести за мною кресла. Эспонтон мой, по обыкновению, был спрятан в соломе, а это всегда что-нибудь да значит. Мне бы еще хотелось чтобы последовала за мною и славная дыра, стойвшая мне таких усилий, и которую теперь должен я был покинуть; но это было невозможно. Тело мое двигалось вперед, но душа оставалась в камере.

Опершись о плечо тюремщика, каковой ухмылками своими, как ему представлялось, меня подбадривал, прошел я два узких коридора и, спустившись на три ступени, оказался в большой и весьма светлой зале и, пройдя в левый ее угол, вошел через маленькую дверцу в коридор шириною в два фута и длиною в двенадцать; через два зарешеченных окна его, что находились по правую руку от меня, отчетливо видны были крыши города, лежавшего с этой стороны, вплоть до Лидо. Однако в нынешнем моем положении красивый вид служил слабым утешением.

В конце этого коридора была дверь камеры; решетчатое ее окно располагалось напротив одного из тех окон, что освещали коридор, так что узник хотя и сидел под замком, однако ж мог наслаждаться большею частью этой ласкающей взор перспективы. Важней всего было то, что когда окно открывали, оттуда доносился легкий и свежий ветерок, умерявший невыносимую жару: то был истинный бальзам для несчастного, принужденного задыхаться в камере, особенно в это время года.

В тот момент, как нетрудно представить читателю, все эти наблюдения не пришли мне в голову. Едва оказался я в камере, как Лоренцо велел поставить туда мои кресла, и я немедля рухнул в них; затем он удалился со словами, что велит теперь же принести мне постель и все вещи.

Стоицизм Зенонов, атараксия учеников Пирроновых являют разуму картины весьма невероятные. Их восхваляют, над ними смеются, ими восхищаются, их предают поношению, и мудрецы соглашаются признать способности их лишь с оговорками. У всякого человека, что принужден судить о возможном и невозможном в области морали, есть причины делать это, отталкиваясь от себя самого: коли он искренен, то не признает любой душевной силы в ком бы то ни было, покуда не почувствует зародыш ее в себе. Я же на сей счет обнаруживаю в себе лишь одно: посредством долгого упражнения человек может обрести силу, каковая не позволит ему кричать от боли и придаст стойкости перед могуществом первых побуждений и порывов. Вот и все. *Abstine et sustine* \* — правила истинного философа, однако физическая боль, что мучит стоика, ничуть не меньше, нежели та, что терзает эпикурейца; горе же легче переносить не тому, кто его скрывает, но

тому, кто, жалуясь, доставляет себе подлинное облегчение. Если человек желает казаться равнодушным к событию, от которого зависит дальнейшая его судьба, он таков лишь с виду — конечно, коли он не круглый дурак и не буйно помешанный. Я тысячу раз прошу прощения у Сократа, но тот, кто хвастает, будто всегда умеет хранить спокойствие, — лжец. Я поверю Зенону во всем — пусть он только скажет, что нашел секрет, как помешать естеству своему бледнеть, краснеть, смеяться и плакать.

Я сидел в креслах, словно пораженный громом, и неподвижный, как статуя; я понимал, что все труды мои пошли прахом, но раскаиваться мне не в чем. У меня отняли надежду, и я не мог доставить себе иного облегчения, кроме как не думать, что со мною станет дальше.

Мысль моя обратилась к Богу; мне представлялось; что случившееся со мною есть прямое его наказание за то, что он дал мне время завершить труд, я же злоупотребил его милостью и на три дня отложил побег. Верно, я мог бы спуститься из камеры и тремя днями ранее, однако, как мне казалось, не заслужил подобного наказания: промедление мое вызвано было осторожностью, по зрелом размышлении; напротив, за предусмотрительность свою и осторожность заслуживал я вознаграждения, ибо, последуй я природному своему нетерпению, я бы презрел любые опасности.

Для того чтобы отвергнуть я причину, заставившую меня отложить побег до 27 августа, надобно было откровение; но чтение Марии из Агреды еще не вполне лишило меня рассудка.

#### ГЛАВА XIV

Подземные тюрьмы, именуемые Поцци, Колодцы. Месть Лоренцо. Я переписываюсь с другим узником, падре Бальби. Его нрав. Я замышляю побег вместе с ним. План побега. Я с помощью хитрости передаю ему свой эспонтон. Удача, Мне сажают в камеру негодяя; портрет его

Минутою позже два сбира принесли мне постель и удалились, собираясь тут же возвратиться с остальными пожитками; но минуло два часа, а никто не появлялся, хотя дверь камеры оставалась незапертой. Целый сонм мыслей роился в голове моей из-за этой задержки, но догадаться, что происходит, я не мог. Принужденный бояться всего, пытался я вернуть себе спокойствие, что позволило бы противостоять всякой неприятной неожиданности.

В том же дворце дождей, помимо Пьомби и четверки, в распоряжении Государственных инквизиторов есть еще девятнадцать ужасных подземных темниц; к ним приговаривают преступников, заслуживающих смерти. Все державные судьи на свете всегда почитали за милость оставить жизнь тому, кто заслуживал смерти, какой бы страшной мукой ни заменяли они смерть. По моему разумению, милостью можно почитать лишь то, что кажется таковою преступнику; но судьи оказывают ее без его согласия, и тем самым превращается она в несправедливость.

Эти девятнадцать подземных тюрем в точности напоминают могилы, но называются Поцци, Колодцы, ибо там всегда стоит на два фута морская вода, попадающая через то же зарешеченное отверстие, откуда проникает в камеры немного света; размером эти отверстия всего в квадратный фут. Узник, если только не нравится ему стоять целыми днями по колено в соленой воде, должен сидеть на козлах, где лежит его тюфяк и куда на рассвете кладут ему воду, суп и кусок хлеба; хлеб ему надобно съесть сразу, ибо, если он замешкается, жирнейшие морские крысы вырвут его из рук. В ужасающей этой тюрьме, к которой приговаривают обыкновенно человека до конца его дней, и на подобной пище многие доживают до глубокой старости. В то время как раз умер один негодяй, которого посадили туда сорока четырех лет от роду. Он был уверен, что заслуживал смерти, и, быть может, расценил заключение в тюрьму как милость. Есть люди, которые ничего, кроме смерти, не боятся. Человека, о каком веду я речь, звали Бегелен — он был француз. В чине капитана служил он в войсках Республики в 1716-м году, во время последней войны против турка, на Корфу, под командованием маршала графа фон Шуленбурга, что заставил Великого визиря снять осаду острова. Бегелен этот был шпион маршала и, переодевшись турком, бесстрашно отправлялся во вражескую армию; но одновременно он был и шпионом Великого визиря. Его разоблачили. За двойной шпионаж он, без сомнения, заслуживал смерти, и ему оказали милость, отправив умирать в Колодцы — да такую милость, что прожил он там тридцать семь лет. Там он, должно быть, все время скучал и хотел есть. Быть может, он сказал себе: *Dum vita superest, bene est* \*. Но в Шпилберге, в Моравии, видел я тюрьмы, куда заключали из милосердия приговоренных к смерти и где ни один негодяй не сумел продержаться и года; смерть в них такова, какую *Siculi non invenerunt tyranni* \*\*.

В те два часа, что я ждал, я, конечно, вообразил себе, среди прочего, и то, что меня могут отправить в Поцци. Несчастного, помещенного в такое место, где питается он лишь призрачными надеждами, неминуемо подстерегают также и неразумные страхи и паника. Трибуналу, что владел чердаками и подземельями огромного дворца, вполне могло прийти в голову отправить того, кто пытался избежать чистилища, напрямик в ад.

Наконец донеслись до меня чьи-то разъяренные шаги, и предо мною предстал Лоренцо с искаженным от гнева лицом. Для начала, брызжа слюной и проклиная Бога и всех святых, потребовал он, чтобы я отдал ему топор и инструменты, какими проделал отверстие в полу, и сказал, кто из

сбирив их принес. Я отвечал, не двигаясь с места, что не знаю, о чем он ведет речь. Тогда он велит меня обыскать. Услышав подобный приказ, я быстро поднимаюсь, раздеваюсь догола, пригрозив этим мерзавцам, и велю им исполнять их ремесло. Лоренцо велел обыскать мои матрацы, вытряхнуть тюфяк, заставил даже заглянуть в вонючую посудину. Схватив подушку от кресла, он и там не обнаружил ничего твердого и в досаде швырнул ее на пол.

— Вы не хотите сказать, где инструменты, которыми вы проделали дыру, произнес он, — что ж, вас заставят сознаться.

— Если правда, что я проделал в полу отверстие, то я скажу, что получил инструменты от вас и вернул их.

Ответ этот пришелся весьма по вкусу стражникам, которых он, видно, обозлил; сам же он взвыл, стал биться головой о стену, браниться и топтать ногами; я уж было решил, что он сходит с ума. Он вышел, а люди его принесли мне пожитки, книги и, бутылки — все, кроме лампы и камня. Прежде чем выйти из коридора, он закрыл оба окна, откуда доносилось до меня немного воздуха, и я оказался заперт в тесной камерке, где не было никакого иного отверстия. Признаюсь: после ухода Лоренцо я понял, что мы с ним квиты и я дешево отделался. Хотя он и знал свое ремесло, но не додумался перевернуть кресла, и засов остался у меня; возблагодарив Провидение, я понял, что могу еще на него рассчитывать и сделать орудием побега.

От величайшей жары и пережитого днем потрясения я не смог уснуть. Назавтра Лоренцо с раннего утра принес мне вина, превратившегося в уксус, вонючей воды, гнилого салата, испорченного мяса и очень черствого хлеба; убираться никто не стал, а когда я попросил его открыть окна, он даже не соблаговолил ответить. С того дня начали у меня производить необыкновенный обряд: стражник с железным шестом обходил камеру, выстукивая повсюду пол и стены, особенно под кроватью. Я заметил, что стражник выстукивал шестом все, но никогда не стучал в потолок. Из наблюдения этого родился у меня замысел выйти из камеры через крышу, однако ж для того, чтобы замысел этот созрел, необходимо было стечение обстоятельств, от меня не зависящих, ибо я ничего не мог сделать незаметно. Камера была совсем новая; малейшая царапина бросилась бы в глаза любому вошедшему стражнику.

То был ужасный день. К полудню началась сильная жара. Я решительно полагал, что задохнусь. Я находился в настоящей печке. Ни есть, ни пить было невозможно — обед был гнилой. От слабости, вызванной жаром и потом, стекавшим крупными каплями по моему телу, не мог я ни ходить, ни читать. Назавтра обед был ничуть не лучше: я сразу почуял вонь от телятины, что принес Лоренцо. Я спросил, велено ли ему умиротворить меня голодом и жарой, но он молча удалился. На следующий день повторилось то же самое. Я велел дать мне карандаш, чтобы кое-что написать секретарю, но тот, не ответив, удалился. С досады я съел суп и размочил хлеб в кипрском вине, намереваясь сохранить силы и назавтра убить его, вонзив эспонтон в глотку; дело зашло столь далеко, что, казалось мне, другого выхода у меня не было. Однако на следующий день, вместо того чтобы осуществить свой замысел, удовольствовался я клятвой убить его, когда меня выпустят на свободу; он засмеялся и молча ушел. Я начинал уже верить, что действует он по приказанию секретаря, каковому, должно быть, рассказал об исковерканной камере. Я не знал, что делать; терпение боролось во мне с отчаянием, я чувствовал, что скоро погибну от истощения.

Через неделю я громоподобным голосом спросил у него в присутствии стражников отчета в моих деньгах и назвал его презренным палачом. Он отвечал, что даст отчет завтра; но прежде чем ему запереть камеру, схватил я лохань с нечистотами и всем своим видом показал, что сейчас выплесну ее в коридор. Тогда велел он одному из стражников взять ее и, поскольку в воздухе распространилась вонь, открыл одно окно; но едва стражник переменял мне лохань, как он снова закрыл его и, не обращая внимания на мои крики, удалился. Вот в каком оказался я положении; заметив, однако, что добиться своего удалось мне только бранью, вознамерился я на следующий день обойтись с ним еще хуже.

Но назавтра ярость моя утихла. Прежде чем отчитаться мне в деньгах, вручил он мне корзину лимонов, посланную г-ном де Брагадином; еще увидел я большую бутылку воды, на вид хорошей, а на обед внешне весьма привлекательного цыпленка; к тому же стражник отворил оба окна. Когда представил он счет, я бросил взгляд на сумму и велел ему отдать остаток своей жене, а один цехин раздать своим помощникам, что находились здесь же; они благодарили меня. Оставшись со мною наедине, обратился он ко мне с довольно незлобивым видом и вот какой речью:

— Вы, сударь, уже изволили объявить, что получили от меня все необходимое для того, чтобы проделать в другой камере огромную дыру, так что это меня больше не интересует. Но не могли бы вы сделать милость и поведать мне, кто дал вам все необходимое, чтобы изготовить лампу?

— Вы же.

— Не думаю, что на сей раз запираюсь умней всего.

— Я говорю правду. Вы сами, своими руками, дали мне все, чего мне не хватало: масло, кремь и спички; остальное у меня было.

— Вы правы. Могли бы вы столь же легко убедить меня, что я вам дал и все, что нужно, дабы

проделать дыру?

— Могу; и без всякого труда. Все, что я здесь получал, я получал от вас.

— БОЖЕ, не погуби! Что я слышу? Скажите мне тогда, как это я вам дал топор.

— Я вам расскажу все, если пожелаете, но в присутствии секретаря.

— Ничего я не хочу больше знать, я вам верю. Помалкивайте и не забудьте я бедный человек, и у меня дети.

Схватившись за голову, он ушел.

Я остался весьма доволен: я нашел способ держать разбойника этого в страхе; без сомнения, побег мой должен был стоить ему жизни, а потому, понял я, собственный его интерес помешал ему рассказать высокому чиновнику о моем проступке.

Я велел Лоренцо купить мне все сочинения маркиза Маффеи; подобный расход пришелся ему не по душе, но возражать он не посмел. Он спросил, какая может быть у меня нужда в книгах, когда их здесь так много.

— Я уже все прочел, мне надобно новых.

— Я велю, чтобы вам давал книги кто-нибудь из тех, кто здесь сидит, если вы в обмен станете давать свои; так и деньги целей будут.

— Все эти книги — романы, а я их не люблю.

— Это ученые книги; если вы думаете, что вы тут единственная светлая голова, так вы ошибаетесь.

— Хочется верить. Что ж, посмотрим. Вот, я даю вашей светлой голове книгу. Принесите мне другую.

Я дал ему *rationarium* Пето, и четырьмя минутами позже принес он мне первый том Вольфа. Я был вполне доволен и отменил приказ покупать Маффеи; Лоренцо удалился удовлетворенный, что заставил меня внять голосу разума в столь важной статье расхода.

Я был в восторге — не столько от возможности разлечься ученым чтением, сколько оттого, что мне представлялся случай завязать переписку с человеком, каковой мог оказать мне помощь в побеге, замысел которого уже складывался у меня в голове; раскрыв книгу, обнаружил я листок бумаги и прочел правильное шестистишие, парафраз слов Сенеки: *Calamitosus est animus futuri anxius* \*. Я немедленно сочинил другое шестистишие. Еще прежде отрастил я себе ноготь на мизинце, чтобы прочищать ухо, и теперь остриг его заостренно и превратил в перо, а вместо чернил использовал черный сок тутовых ягод; стихи свои я написал на том же листке. Еще написал я список книг, что у меня были, и положил за корешок Вольфа. У всех итальянских книг, переплетенных в картон, образуется сзади под обложкой что-то наподобие кармана. На корешке книги, там, где пишут заглавие, поставил я *latet* \*\*. Ожидая в нетерпении ответа, уже назавтра сказал я Лоренцо, что прочел всю книгу и что если то же лицо пришлет мне другую, то доставит мне удовольствие. Он немедленно принес второй том.

В книгу вложена была записка, где сказано было по-латыни: «Мы оба, что находимся вместе в этой тюрьме, чувствуем удовольствие величайшее, ибо невежественный скряга доставляет нам беспримерный дар. Пишет вам Марино Бальби, венецианский дворянин и монах ордена сомасков. Товарищ мой — граф Андреа Асквини из Удине, столицы Фриули. Он велит вам передать, что все книги его, каталог которых найдете вы в сгибе переплета, в вашем распоряжении. Нам, сударь, следует всячески остерегаться, чтобы отношения наши не раскрыл Лоренцо».

Меня не удивило, что обоим нам пришла мысль послать друг другу список книг и положить письмо в щель за корешком книги, — это, казалось мне, всего лишь требование здравого смысла; странным показался мне совет быть осторожным, ибо само письмо с этими словами было попросту вложено в книгу. Лоренцо не только мог, он обязан был открыть книгу и увидеть записку; не умея читать, он положил бы ее в карман, и первый встречный священник на улице перевел бы ему ее на итальянский; все бы раскрылось, не успев родиться на свет. Я сразу же решил, что это падре Бальби, должно быть, человек честный и опрометчивый.

Прочитав список, я на другой половине листа написал, кто я такой, как взяли меня под стражу, о том, что преступление мое мне неизвестно и я питаю надежду, что вскорости меня отпустят домой. Получив новую книгу, нашел я в ней письмо падре Бальби на шестнадцати страницах. Граф Асквин не написал мне ни разу. Монах сей отвел душу и описал мне всю историю своего злосчастия. В Пьомби сидел он уже четыре года, для того что завел от трех бедных девиц, совсем невинных, трех бастардов и окрестил их, дав им свое имя. Отец настоятель в первый раз поправил его, во второй пригрозил, а на третий принес жалобу в Трибунал, и тот посадил его в тюрьму; настоятель же всякое утро посылал ему обед. Половину письма занимали его оправдания; нес он сущую околесицу. Настоятель, равно как и Трибунал, писал он, — не что иное, как настоящие тираны, ибо никаких прав на совесть его у них нет. Он писал, что уверен в своем отцовстве, а потому не мог лишиться бастардов тех преимуществ, что могут они извлечь из его имени; и что матери их хотя и бедны, но весьма почтенны, ибо до него не знали мужчины. Совесть, заключал он, велела ему публично признать своих детей, каких принесли ему честные девушки, дабы клеветники не приписали отцовства кому другому,

а кроме того, не мог он пойти наперекор естеству и нутру отца, каковое, чувствовал он, было расположено к бедным невинным младенцам. Настоятелю моему, писал он, не грозит впасть в тот же грех, ибо благочестивая его любовь простирается лишь на учеников.

Большого мне и не нужно было, чтобы понять, каков предо мною человек: чудак, сладострастник, рассуждает скверно, зол, глуп, неосторожен и неблагодарен. Объяснив, что без графа Асквина, семидесятилетнего старика, с его книгами и деньгами, было бы ему весьма скверно, он тут же на двух страницах злословил о нем, расписывая недостатки его и чудачества. Не будь я в тюрьме, я бы не стал отвечать человеку подобного нрава; но здесь, под крышей, приходилось из всего извлекать пользу. В кармашке за корешком нашел я карандаш, перья и бумагу и мог теперь писать со всеми удобствами.

Остаток длинного его послания посвящен был историям всех узников, что побывали в Пьомби за четыре года, проведенные им здесь. Он писал, что стражник Никколо втайне покупает ему все, что он захочет, и сообщает имена всех узников, а также и обо всем, что происходит в других камерах; в доказательство описывал он все, что ему известно об отверстии, какое я проделал. «Вас перевели в другую камеру, — писал он, — дабы в ту посадить патриция Приули, Великого Хана, и Лоренцо, призвав столяра и слесаря, целых два часа заделывал вашу дыру; ремесленникам, равно как и всем своим стражникам, приказал он молчать под страхом смерти. Никколо уверял меня, что, случись все днем позже, вас бы уже в камере не было, и побег ваш наделал бы много шума, а Лоренцо бы повесили: ведь хотя он и делал вид, что удивился, увидав дыру, и что сердит на вас, нет сомнения, что только он мог дать вам инструменты продолбить пол, и вы, должно быть, ему их вернули. Еще Никколо сказал, что г-н де Брагадин обещал ему тысячу цехинов, если сумеет он доставить вам способ отсюда выйти, и Лоренцо рассчитывает получить их, не потеряв в то же время места благодаря покровительству г-на Дьедо, друга его жены. Еще он говорит, что ни один стражник не осмелился донести о случившемся секретарю, из боязни, что Лоренцо, выпутавшись, отомстит доносчику и велит его прогнать. Прошу вас, доверьтесь мне и расскажите обстоятельно, как было дело, а главное — как удалось вам получить необходимые инструменты. Обещаю, что скромность моя будет столь же велика, как и любопытство».

В любопытстве его я не сомневался, зато за скромность опасался сильно: сама просьба обличала в нем человека весьма нескромного. Все же я решил не обижать его, ибо, представлялось мне, существо подобного толка будто нарочно создано для того, чтобы исполнить всякую мою просьбу и помочь мне выйти на свободу. Весь день провел я за ответом ему; однако ж одно сильное подозрение заставило меня повременить с отсылкой его; я подумал, что сам Лоренцо мог затеять эту перепалку, дабы хитростью узнать, кто дал мне инструменты и где они у меня. Я коротко отписал монаху, что проделал дыру большим ножом, который теперь лежит у меня в новой камере, под подоконником окна, выходящего в коридор, куда я сам его положил, когда входил. Ложное это признание успокоило мне душу: прошло три дня, а Лоренцо к подоконнику не подходил; когда б он перехватил мое письмо, то непременно бы это сделал.

Падре Бальби отвечал, что догадывался о моем ноже, ибо Никколо говорил, что меня, прежде чем запереть, не обыскивали; Лоренцо об этом узнал, и, когда бы побег мой удался, обстоятельство это, быть может, послужило бы к его спасению, ибо, считал он, получая человека из рук мессера гранде, естественно предположить, что его уже обыскали. Мессер гранде же мог бы сказать, что я у него на глазах вставал с постели, а потому он был уверен, что оружия у меня с собою нет. Завершалось письмо просьбой падре Бальби послать ему мой нож через Никколо, которому можно доверять.

Легкомыслие этого монаха было поразительно. Убедившись, что письма мои не перехватывают, я написал, что положиться в чем-то на его Никколо выше моих сил и тайну свою не могу я доверить даже бумаге. Впрочем, письма падре Бальби доставляли мне развлечение. В одном из них рассказывал он, по какой причине держали в Пьомби графа Асквина, каковой в довершение к своим семидесяти годам терпел неудобства из-за огромного живота и дурно сросшейся после давнишнего перелома ноги, а потому не мог передвигаться. Он писал, что граф этот был небогат и исполнял в Удине ремесло адвоката, защищая в городском совете крестьянское сословие против дворянства, что стремилось лишить крестьян права голоса на деревенских собраниях. Притязания крестьян нарушали общественный порядок, и дворяне обратились к Трибуналу Государственных инквизиторов, каковые велели графу Асквину отказаться от подобных клиентов. Граф же отвечал, что муниципальный кодекс доставляет ему право защищать конституцию, и приказа ослушался; но Инквизиторы, невзирая на кодекс, велели схватить его и посадить в Пьомби, где он и пребывает уже пять лет. Ему, как и мне, положено было пятьдесят сольдо в день, но с преимуществом самому распоряжаться деньгами. У монаха же вечно не было ни гроша, и по сему поводу много злобных слов написал он относительно скупости своего соседа. Падре Бальби сказал, что в камере по другую сторону залы находятся два дворянина из семи коммун, которых также взяли под стражу за неповиновение; старший из них сошел с ума, и его держат связанным. В другой камере сидели два нотариуса.

В те дни взят был под стражу один маркиз из Вероны, из рода Пиндемонте, каковой, получив приказ явиться в Трибунал, заслушался его. Синьор этот пользовался великим почетом, настолько, что слугам его дозволено было передавать ему письма в собственные руки. Продержали его здесь всего лишь неделю.

Когда подозрения мои рассеялись, стал я рассуждать так. Душа моя жаждала свободы. У меня был отличный эспонтон, но пользоваться им я не мог, ибо всякое утро камеру мою простукивали шестом во всех углах, кроме потолка. Значит, я мог рассчитывать, что выйду из камеры через потолок, если кто-то продолбит его снаружи. Человек этот мог бы спастись вместе со мною, если б помог мне в ту же ночь проделать дыру в большой крыше Дворца. Можно было надеяться на успех, если б вместе со мною отверстие проделывал кто-то еще. Оказавшись на крыше, я пойму, что делать дальше; стало быть, надобно было решаться и начинать. Я не видел никого другого, кто мог бы исполнить мои наставления, кроме этого монаха, что имел от роду тридцать восемь лет и не был лишен здравомыслия. Значит, мне следовало набраться духу, довериться ему во всем и подумать, как переправить ему засов. Для начала я спросил, хочется ли ему выйти на волю и ощущает ли он готовность пойти на все, дабы обрести свободу и бежать вместе со мною. Он отвечал, что и он сам, и товарищ его готовы были бы на все ради того, чтобы разбить свои цепи; но что это невозможно, а потому бесполезно об этом и думать; здесь он долго и в подробностях перечислял на протяжении четырех страниц всевозможные трудности: когда б я взялся все их устранить, то никогда бы не кончил. Я возражал, что трудности вообще и в целом занимают меня мало и что, составляя свой план, подумал я лишь о том, как разрешить трудности, с ним связанные, каковые не могу я доверить бумаге. Я обещал ему свободу, если даст он мне слово слепо исполнять все мои приказания. Он обещал, что все исполнит.

Тогда я отписал ему, что есть у меня заостренный железный прут длиною в двадцать дюймов и с его помощью сможет он пробить потолок камеры и из нее выйти; выйдя же, должен он проделать отверстие в разделяющей нас стене и, пробравшись через него, дойти до потолка моей камеры, продолбить его сверху и вытащить меня наружу. Как только вы все это сделаете, писал я, больше вам не придется делать ничего, остальное завершу я. Я вытащу наружу вас обоих, вас и графа Асквина.

Он отвечал, что если и вытащит меня из камеры, то я все равно останусь в тюрьме, разве что большей размером. Мы, писал он, окажемся на чердаке, и перед нами будут еще три запертые на ключ двери. Знаю, преподобный отец, отвечал я, и желаю, чтобы спаслись мы вовсе не через двери. План мой готов, я в нем уверен и прошу лишь в точности исполнять мои веления, а не делать мне замечаний. Подумайте лучше, каким образом передать мне в ваши руки мой железный прут длиною в двадцать дюймов, да так, чтобы передающий ни о чем не подозревал; когда что-нибудь придумаете, сообщите мне. А пока велите Лоренцо купить сорок — пятьдесят образцов, довольно больших, чтобы вся внутренность вашей камеры была ими покрыта. Гравюры эти, касающиеся до религии, послужат для того, чтобы Лоренцо не заподозрил о дыре, какую проделаете вы в потолке и через которую выйдете. Чтобы проделать отверстие, понадобится вам несколько дней; наутро повесите вы гравюру на прежнее место, и Лоренцо не заметит плоды ваших давешних трудов, и никто ни о чем не узнает. Сам я сделать этого не могу, ибо нахожусь под подозрением: никто не поверит, будто стал я благочестив настолько, что накупил гравюр. Сделайте, как я прошу, и подумайте, как мне передать вам прут.

Я тоже об этом думал и велел Лоренцо купить мне только что изданную Библию, фолиант, что включал в себя Вульгату и перевод Ветхого Завета семидесяти двух толковников. Книга эта пришла мне в голову по причине формата — я надеялся, что сумею поместить под корешком ее мой эспонтон и так послать его монаху; но когда я получил ее, то увидел, что в Библии ровно полтора фута, а засов мой на два дюйма длиннее. Монах написал, что камера его и так оклеена гравюрами; я сообщил ему о своем замысле с Библией и о сильном затруднении, возникшем из-за длины прута, укоротить который без кузнеца невозможно. Он, насмехаясь над бесплодным моим воображением, отвечал, что засов можно передать попросту в моей лисьей шубе. Лоренцо, писал он, рассказывал, будто есть у меня такая красивая шуба, и граф Асквин может, не вызывая никаких подозрений, попросить взглянуть на нее, дабы и ему купили такую же. Надобно только послать шубу свернутой. Я не сомневался, что по дороге Лоренцо ее развернет, ибо нести свернутую шубу трудней, нежели развернутую; но, дабы не отвратить монаха от замысла и в то же время показать, что я не столь легкомыслен, как он, написал я, чтобы прислали за шубой. На следующее утро Лоренцо спросил ее, и я отдал ему лису — свернутую, но без засова. Четверть часа спустя он вернул ее и сказал, что она была найдена красивой.

Назавтра монах написал письмо, каюсь, что дал дурной совет; но и мне выговаривал за то, что я этому совету последовал. Эспонтон, полагал он, пропал, ибо шубу Лоренцо принес развернутой, а прут, должно быть, положил к себе в карман. Значит, нет никакой надежды. Я утешил его, вывел из заблуждения и просил впредь быть поосторожней с советами. Тогда решился я послать монаху засов в Библии, но так, чтобы Лоренцо наверное не посмотрел на концы толстого тома. Я сказал



тюремщику, что желаю в день Св. Михаила доставить себе праздник и сделать два блюда макарон с маслом и сыром пармезаном — второе блюдо хочется мне подарить почтенной особе, что давала мне книги. Лоренцо на эти слова отвечал, что почтенная эта особа желала бы прочесть ту большую книгу, что стоила три цехина. Я отвечал, что pošлю книгу вместе с блюдом макарон, но прошу самое большое блюдо, какое есть у него дома, и хочу заправить макароны сам; он обещал исполнить все в точности. Пока же обернул я засов в бумагу и вставил за корешок Библии, поделив два лишних дюйма: каждый конец засова торчал из Библии на дюйм. Я был уверен, что когда поставлю на Библию большое блюдо макарон, полное масла, Лоренцо, боясь пролить его на книгу, не сможет оторвать от него глаз, а потому не успеет увидеть торчащие с двух сторон тома концы прута. Предупредив обо всем падре Бальби, просил я его половчее принять макароны из рук Лоренцо, и ни в каком случае не брать сначала блюдо, а потом Библию, но только все вместе: взяв блюдо, открывает он Лоренцо Библию, и тот без труда заметит выступающие концы.

В день Св. Михаила с раннего утра явился ко мне Лоренцо с большим котлом, где кипели макароны; для начала поставил я на жаровню масло, чтобы оно растопилось, и приготовил два своих блюда, посыпав их сыром пармезаном Лоренцо принес его уже натертым. Взяв дуршлаковую ложку, стал я наполнять блюда, поливая каждый слой макарон маслом и посыпая сыром, и кончил лишь тогда, когда увидел, что предназначенное монаху большое блюдо больше вместить не могло. Макароны плавали в масле до самых краев. Диаметр блюда был почти вдвое больше Библии. Я взял его, поставил на книгу, что лежала у дверей камеры, и поднял все вместе на ладонях, повернув корешок к Лоренцо; велел ему протянуть руки ладонями вверх, вручил я все честь по чести, медленно, чтобы масло из блюда не пролилось на Библию. Вручая сей важный груз, смотрел я Лоренцо прямо в глаза и, к большому своему удовольствию, не заметил, чтобы он хоть раз оторвал их от поверхности масла, каковое боялся пролить. Он хотел было отнести макароны, а после вернуться за Библией, но я со смехом возразил, что тогда дар мой утратит всю красоту. Наконец он взял его, жалуюсь, что я налил слишком много масла, и объявляя, что если на Библию прольется, так его вины здесь нет. Как только Библия оказалась у него в руках, я уже не сомневался в успехе: пока он держал ее, концы эспонтонна, что отлежали от взора моего на всю ширину книги, были для него невидимы; находились они на уровне плеч, и у него не было ни малейшей причины отворачиваться от масла и глядеть на какой-нибудь из них, ничем ему не интересный. Заботить его должно было одно: как удержать блюдо параллельно полу. Я провожал его взглядом, пока не увидел, как спускается он по трем ступеням, собираясь войти в тамбур перед камерой монаха. Падре Бальби высморкался три раза: то был условный сигнал, что все в целости вручено ему в руки. Лоренцо, возвратившись, сказал, что все передал, как подобает.

Падре Бальби понадобилась неделя, дабы проделать дыру в потолке; всякий день легко маскировал ее гравюрой, которую отклеивал и приклеивал назад хлебным мякишем.

Восьмого октября он написал, что во всю ночь долбил разделяющую нас стену, но удалось ему отколоть всего одну плитку; сгущая краски, описывал он, сколь трудно разбить кирпичи, скрепленные цементом, твердым как камень; он обещал продолжать работу, однако из письма в письмо повторял, что бежать нам не удастся и мы только ухудшим свое положение. Я отвечал, что уверен в обратном.

Увы! Я ни в чем не был уверен; но надобно было действовать либо оставить всякие попытки спастись. Как мог я сказать ему, что сам ничего не знаю? Я стремился выйти отсюда: вот и все, что я знал; и думал я лишь о том, чтобы предпринимать к этому шаги и двигаться вперед до тех пор, пока не встанет передо мною неодолимое препятствие. В великой книге, называемой опытом, прочел я и усвоил, что великие начинания надобно не обдумывать, но исполнять, не оспаривая у фортуны власти, какую имеет она над всяким деянием человеческим. Когда б сии высокие тайны нравственной философии поведал я падре Бальби, он бы почел меня безумцем.

Работа его подвигалась тяжело только в первую ночь; впоследствии чем больше извлекал он кирпичей, тем легче было ему вынимать другие. В конце концов он сосчитал, что вынул из стены тридцать шесть кирпичей.

Шестнадцатого октября в восемнадцать часов развлекался я переводом одной из Горациевых од, как вдруг услышал над головою топот и три слабых удара костяшками пальцев; я немедля отвечал таким же стуком: то был условный сигнал, свидетельство, что мы не ошиблись. Работал он до самого вечера и на завтра отписал, что если в потолке моем всего лишь два ряда досок, то он завершит работу в тот же день — доски были всего лишь в дюйм толщиной. Он обещал, что сделает желобок по кругу, как я его учил, и постарается ни в каком случае не продырявить насквозь последнюю доску; об этом я очень его просил: довольно было малейшей трещины внутри камеры, чтобы заподозрить, что потолок проломлен извне. Он уверял, что сделает такую ямку, чтобы, когда будет нужно, закончить ее в четверть часа. Я наметил уже на послезавтра ту минуту, когда, выйдя ночью из камеры, более в нее не вернусь: я не сомневался, что, имея товарища, в три или четыре часа сделаю отверстие в большой крыше Дворца дождей и поднимусь наверх, а там найду наилучший способ спуститься вниз, какой предоставит мне случай.

В тот же день — то был понедельник — в два часа пополудни падре Бальби как раз трудился, и

вдруг услышал я, как открывается дверь залы, смежной с моей камерой; кровь застыла у меня в жилах, но у меня все же хватило силы стукнуть два раза — по этому сигналу тревоги падре Бальби должен был скорей пройти через отверстие в стене и вернуться к себе в камеры. Через минуту Лоренцо, явившись, просил у меня прощения за то, что селит ко мне нищего негодяя. Я увидел, как стражники развязывают человека лет сорока — пятидесяти, низенького, тощего, уродливого, в скверной одежде и черном круглом парике. Я нисколько не усомнился, что он мошенник: Лоренцо отрекомендовал его так в его присутствии, и он ничуть не возмущился. Я отвечал Лоренцо, что подчиняюсь воле Трибунала, и он, велев принести соседу моему тюфяк и объявив, что Трибунал назначил ему десять сольдо в день, удалился. Новый мой товарищ отвечал:

— ГОСПОДЬ да расплатится за меня с Трибуналом.

В отчаянии от роковой этой помехи взглянул я на пройдоху; самая физиономия его выдавала мошенника. Я думал было заговорить с ним, но тут он сам принялся благодарить меня, что я велел принести ему тюфяк. Я сказал, что он будет обедать вместе со мною; поцеловав мне руку, он спросил, можно ли ему тем не менее брать те десять сольдо, что положены Трибуналом, и я отвечал, что можно. Тогда он, опустившись на колени, вытащил из кармана четки и стал озиаться кругом.

— Что вы ищете, друг мой?

— Простите великодушно: я ищу хоть какого образа dell'immacolata Vergine Maria, непорочной Девы Марии, ибо я христианин, либо на худой конец какого-нибудь жалкого распятия, ибо никогда еще не нуждался я в том, чтобы поручить себя Св. Франциску Ассизскому, имя которого недостойно ношу, столь сильно, как в теперешнюю минуту.

Я с трудом подавил хохот — не из-за христианского его благочестия, его я чтил, но из-за того, как обернул он свое увещание; для того, что просил он прощения, я понял, что принят за жида. Я дал ему поспешно собрание молитв Пресвятой Деве, и он, поцеловав образ ее, возвратил мне книгу и сказал скромно, что отец, надсмотрщик на галере, не потрудился обучить его грамоте. Он поведал, что весьма почитает пресвятые Четки, и пересказал множество совершенных ими чудес; я выслушал его с ангельским терпением. Он попросил дозволения прочесть соответствующие молитвы, расположив перед глазами святой образ, украшавший мой часослов. Я помолился вместе с ним, а после спросил, обедал ли он; он отвечал, что умирает с голоду. Я отдал ему все, что у меня было, и он, проглотив все с песьей прожорливостью и выпив все мое вино, захмелел, пустился плакать, а потом болтать языком вкривь и вкось. Я справился о причинах случившегося с ним несчастья, и вот что он рассказывал:

— Чему я всегда привержен был на этом свете, господин мой, так это славе нашей святой Республики и строгому исполнению ее законов; я всегда следил за лихоимством злодеев, что почитают ремесло свое в обмане и ущемлении прав государя своего, а также в том, чтобы скрывать свои делишки, а потому пытался раскрыть их тайны и всегда верно доносил мессеру гранде обо всем, что удалось мне обнаружить; мне за это исправно платили, верно, однако деньги, что я получал, никогда не приносили мне такого удовольствия, как чувство удовлетворения от того, что приношу я пользу достопочтенному Св. Марку-евангелисту. Я всегда насмеялся над предрассудками тех, кто почитает дурным прозвание шпиона; слово это отзывается скверно лишь в ушах людей, какие не любят правительство, ибо шпион есть не кто иной, как друг общественного блага, бич преступников и верный подданный своего государя. Служил я столь ревностно, что никогда чувство дружбы, какое имеет известное действие на других, не имело надо мною власти, а еще менее то, какое именуют благодарностью. Нередко клялся я молчать, дабы вырвать у кого-нибудь важную тайну, и едва узнавал ее, как исправно доносил мессеру гранде; духовник мой заверял, что я могу ее раскрыть — и не только потому, что, давая клятву молчать, не имел я намерения ее соблюсти, но потому, что нет такой клятвы, какую нельзя было бы нарушить пред лицом общественного блага. Я знаю: влекомый усердием своим, я мог бы выдать собственного отца, и естество мое не сумело бы этому воспротивиться.

Так вот, три недели назад заметил я на Изоле, островке, где я жил, мощный союз: входили в него четверо или пятеро именитых лиц города, каковые, я знал, были недовольны правительством из-за того, что перехватило оно и конфисковало некую контрабанду, и пришлось отцам города искупать ее тюрьмой. В заговоре этом участвовал и первый капеллан прихода, по рождению — подданный царствующей Императрицы. Я решился проникнуть в этот тайный заговор. Все эти люди собирались по вечерам в одной из комнат кабачка и, выпив и побеседовав между собою, расходились. В комнате этой стояла кровать, и однажды я, найдя двери открытыми, а комнату пустой, отважно решился спрятаться под этой кроватью. Меня, без сомнения, никто не видел. Под вечер явились мои заговорщики и заговорили о городе Изола, каковой, по их словам, находится под юрисдикцией отнюдь не Св. Марка, но княжества Триест, ибо его никоим образом нельзя рассматривать как часть венецианской Истрии. Капеллан сказал главе заговора, по имени Пьетро Паоло, что ежели ему угодно будет подписать послание и другие не откажутся последовать его примеру, то он собственной персоной отправится к имперскому посланнику, и Императрица не только завладеет городом, но и всех их вознаградит. Все отвечали капеллану, что готовы подписывать; он

взялся принести назавтра послание и немедля отбыть сюда, дабы передать его посланнику. Я решился развеять в дым гнусный их замысел, невзирая на то, что один из заговорщиков был мой крестник и духовное родство накладывало на меня узы нерушимые и еще более священные, чем нежели бы он был мой кровный брат.

Они удалились, и я, рассудив, что рисковать еще раз и прятаться назавтра снова под кровать мне незачем, не торопясь скрылся. Довольно было и того, что я узнал. В полночь сел я на корабль, на следующий день еще до полудня прибыл сюда, велел записать мне имена шести бунтовщиков и отнес запись к секретарю Государственных инквизиторов. Выслушав мой рассказ, велел он мне назавтра с раннего утра отправляться к мессеру гранде, каковой даст мне человека; с этим человеком должен я отправиться на Изолу и показать ему в лицо капеллана — по всему судя, он к тому времени еще не уедет; на этом дело мое кончалось. Я исполнил приказание: мессер дал мне человека, я отвез его на Изолу, показал капеллана и отправился по своим делам.

После обеда позвал меня крестник, чтобы я его побрил — я ведь цирюльник. Побрившись, дал он мне стакан отличного рефоско и несколько ломтей колбасы с чесноком и, как добрый друг, разделил со мною трапезу. Тут привязанность к крестнику завладела всецело моим сердцем, я взял его за руку и, плача, от чистого сердца посоветовал не знаться более с капелланом, а главное, никоим образом не подписывать известное ему послание; на это он мне отвечал, что капеллан ему не более друг, чем любой другой, и поклялся, будто ему неизвестно, о каком таком послании веду я речь. Тогда я, рассмеявшись, сказал, что пошутил, и удалился, раскаиваясь, что послушался голоса сердца.

Назавтра на острове не оказалось уже ни того человека, ни капеллана, а неделю спустя приехал я с Изолы сюда и зашел к мессеру гранде, каковой без всяких церемоний засадил меня в тюрьму. И вот я с вами, дорогой господин. Хвала Св. Франциску, что поместил меня вместе с добрым христианином, а по какой причине христианин этот тут находится, мне знать не интересно, я не любопытен. Зовут меня Сорадачи, а женат я на Легренци, дочери одного из секретарей Совета Десяти, каковая, презрев предрассудки, пожелала выйти за меня замуж. Она станет очень тревожиться, не зная, что со мною случилось, но, надеюсь, пробуду я тут недолго; скорей всего, я здесь только потому, что секретарю так удобней меня допросить.

Бесстыдный этот рассказ позволил мне узнать, что за чудовище предо мною, но я, выслушав его, сделал вид, будто мне его очень жаль, похвалил за патриотизм и предсказал ему скорое освобождение. Получасом позже он уснул, а я отписал обо всем падре Бальби: надобно было прервать на время нашу работу и дожидаться благоприятного случая. Назавтра велел я Лоренцо купить мне деревянное распятие, гравюру с образом Пресвятой Девы, а еще принести бутылку святой воды. Сорадачи спросил свои десять сольдо, и Лоренцо с презрительным видом дал ему двадцать. Я приказал принести мне вчетверо больше вина, а также чесноку, что был утехой моему товарищу. Лоренцо ушел, и я ловко вытащил из книги письмо падре Бальби. Он описывал, как в ужасе, ни живой, ни мертвый, возвратился в камеру и скорей заклеил дыру гравюрой. Когда бы Лоренцо решил посадить Сорадачи не со мною, а на его чердак, рассуждал он, все бы пропало: узника в камере он бы не увидел, зато увидел бы дыру.

Из рассказа Сорадачи о том, как он сюда попал, вывел я, что его непременно подвергнут допросам: посадить его под стражу секретарь мог только из подозрения в клевете либо по неясности доноса. Тогда решился я доверить ему два письма; когда б он передал их по назначению, они не причинили бы мне ни пользы, ни вреда, но если б предатель в знак верности своей отдал их секретарю, мне вышло бы добро. Два часа писал я карандашом эти письма. Назавтра Лоренцо принес мне распятие, образ Пресвятой Девы, бутылку святой воды и все, что я наказывал.

Накормив хорошенько этого негодяя, я сказал, что мне надобно просить его об одном одолжении, от которого зависит мое счастье.

— Рассчитываю на дружбу вашу и смелость, дорогой Сорадачи. Вот два письма; прошу, как только выпустят вас на свободу, отнесите их по адресам. От верности вашей зависит мое счастье. Вам надобно их спрятать, ибо если их найдут, когда станут выпускать вас отсюда, оба мы пропали. Поклянитесь на этом распятии и на этой Пресвятой Деве, что не предадите меня.

— Я готов, господин мой, поклясться в чем вы пожелаете: я слишком вам обязан, чтобы вас предать.

Тут он заплакал и стал сетовать на судьбу оттого, что я мог предположить в нем предателя. Я подарил ему рубашку и ночной колпак, а после обнажил голову, окропил темницу святой водой и произнес пред двумя святыми образами клятву с разными вполне бессмысленными, но устрашающими закланиями; потом, много раз перекрестившись, велел я ему встать на колени и произнести клятву в том, что он отнесет письма, да с такими проклятиями, что мурашки бежали по телу. После я отдал ему письма, и он самолично пожелал зашить их на спине куртки, меж тканью и подкладкой.

В душе я не сомневался, что он передаст их секретарю, но употребил все свое искусство, чтобы по поведению моему никак нельзя было догадаться о задуманной хитрости. Письма написаны были

так, чтобы доставить мне снисхождение Трибунала и даже уважение его. Писал я г-ну де Брагадину и г-ну аббату Гримани и велел им не беспокоиться и нимало не сожалеть о моей участи, ибо пребываю я в надежде скорого освобождения. Я писал, что, когда окажусь на свободе, они убедятся, что наказание принесло мне более блага, нежели вреда, ибо не было в Венеции человека, что нуждался бы более моего в исправлении. Я просил г-на де Брагадина прислать мне к зиме ботинки на меху, поскольку камера моя довольно высока и я могу в ней распрямиться и гулять. Мне не хотелось, чтобы Сорадачи знал, сколь эти письма невинны: ему могла прийти прихоть поступить как честный человек и доставить их по назначению.

## ГЛАВА XV

Предательство Сорадачи. Какие я нахожу способы его одурачить. Падре Бальби счастливо завершает труд. Я выхожу из камеры. Неуместные рассуждения графа Асквина. Мы отправляемся

Два-три дня спустя явился с Терцей Лоренцо и велел Сорадачи спускаться вместе с ним. Он все не возвращался, и я решил, что больше его не увижу; но, к некоторому моему удивлению, под конец дня его привели назад. Когда Лоренцо удалился, он рассказал, что секретарь заподозрил его в том, что он предупредил капеллана: сей служитель церкви так и не побывал у посланника, и никакого послания у него обнаружено не было. После долгого допроса, сказал он, посадили его в крошечную камеру и продержали там семь часов, а потом, связав снова, отвели связанным к секретарю, каковой требовал у него признания, что он рассказал кому-то на Изоле о том, что священник более туда не вернется; сознаться в этом он не мог, ибо никому не говорил ничего подобного. Наконец секретарь позвонил, и Сорадачи снова отвели ко мне.

В тоске душевной я понял, что его, быть может, не уберут от меня еще долго. Ночью описал я падре Бальби все эти происшествия. Именно в тюрьме приучился я писать в темноте.

На следующий день, проглотив свой бульон, решил я убедиться в том, на счет чего уже были у меня подозрения.

— Я хочу приписать кое-что к письму, адресованному г-ну де Брагадину, сказал я шпиону. — Дайте мне его, а потом зашьете обратно.

— Это опасно, — отвечал он, — вдруг кто-нибудь как раз придет и нас застанет.

— Пускай приходят. Отдайте мне письма. Тут чудовище это бросилось предо мною на колени и поклялось, что, представши во второй раз перед грозным секретарем, охватила его величайшая дрожь и невыносимая тяжесть в спине, в том самом месте, где были письма, и тогда секретарь спросил, что с ним такое, и он не смог удержаться и рассказал всю правду. Тогда секретарь позвонил, и Лоренцо, развязав его, снял с него куртку, и он расшил письма, а секретарь прочел их и положил в выдвижной ящик. Еще, прибавил он, секретарь сказал, что когда б он отнес эти письма, об этом стало бы известно, и подобный проступок стоил бы ему жизни.

Тут я притворился, будто мне плохо. Закрыв лицо руками, бросился я на кровать на колени перед распятием и Пресвятой Девой и молил отомстить чудовищу, что предало меня и нарушило торжественнейшую клятву. После улегся я на бок лицом к стене, и у меня достало терпения пролежать так целый день, не произнеся ни слова и сделав вид, будто не слышу рыданий, криков и покаянных воплей этого мерзавца. Замысел комедии уже сложился у меня в голове, и свою роль сыграл я блестяще. В ночь отписал я падре Бальби, чтобы явился он ровно в девятнадцать часов, ни минутой раньше, ни минутой позже, и завершил свой труд через четыре часа: когда пробьет двадцать три часа, он непременно должен был удалиться. Я предупредил, что свобода наша зависит от его точности и что бояться ему нечего.

Было двадцать пятое октября: приближались дни, когда мне надобно было либо осуществить свой замысел, либо распротиться с ним навсегда. Три первых дня ноября Государственные инквизиторы и даже секретарь проводили всякий год в какой-нибудь деревушке на терраферме, материке. Лоренцо в те три дня, что господы были на вакациях, по вечерам напивался, спал до Терцы и появлялся в Пьомби весьма поздно. Все это усвоил я еще год назад. Если хотел я бежать, то осторожность предписывала избрать одну из трех этих ночей: тогда я мог быть уверен, что бегство будет раскрыто лишь наутро и довольно поздно. Но еще и другая причина, весьма весомая, заставила меня принять это решение, хотя я и убедился, что товарищ мой негодяй; она, как мне представляется, заслуживает, чтобы о ней написать.

Когда у человека беда, величайшее утешение, какое может его поддержать, это надежда, что скоро беда пройдет; созерцающий счастливый миг, что положит конец его несчастью, надеется он, что миг сей не слишком далек, и отдал бы все на свете, чтобы узнать, когда же именно он наступит; но в какую минуту случится событие, зависящее от чьей-то воли, никто не может знать — если только этот кто-то не сказал сам. И все же человек, пребывая в нетерпении и слабости духа, в конце концов верит, что возможно угадать сей миг каким-либо магическим способом. Он говорит себе: БОГ должен это знать и БОГ может позволить, чтобы жребий открыл мне, когда это произойдет. Едва любопытный человек начнет так рассуждать, он станет без колебаний испытывать жребий, пусть даже и не

собирается слепо верить указаниям его. Так полагали те, кто в давние времена обращался к оракулам; так полагают и те, кто еще и в наши дни ищет ответа на вопросы свои у каббалы и кто надеется найти откровение в библейском стихе, либо в одном из стихов Вергилия: оттого-то и сделались столь знамениты *sortes virgilianae* \*, о которых сообщает нам множество сочинителей.

Я не знал, что надобно мне проделать, дабы судьба посредством Библии открыла, в какой миг обрету я снова свободу, а потому решился спросить о том божественную поэму «Неистовый Роланд» мессера Лодовико Ариосто, каковую читал добрую сотню раз, и здесь, на чердаке Дворца дождей, наслаждался ею по-прежнему. Я боготворил его гений и полагал, что он гораздо более, нежели Вергилий, подобает для предсказания моего счастья.

Когда пришла мне эта мысль, записал я короткий вопрос: я вопрошал пресловутый высший разум, в какой песни у Ариосто содержится предсказание относительно того дня, когда выйду я на свободу. Потом составил я обратную пирамиду из чисел, полученных из слов моего вопроса, и, вычтя из каждой пары цифр число девять, обнаружил, что окончательное число у меня девять. Так установил я, что искомое пророчество находится в девятой песни поэмы. Таким же образом узнал я, в какой станце находится это пророчество, и получил в результате число семь. Наконец, любопытствуя знать стих этой станцы, где находится оракул, я тем же способом получил число один. Теперь были у меня числа 9, 7, 1; я взял поэму и с замиранием сердца обнаружил в девятой песни, в седьмой станце, следующий первый стих:

*Tra il fin d'Ottobre, e il capo di Novembre \*\*.*

Точность стиха и уместность его представились мне столь поразительными, что я — не сказать, чтобы совершенно в это поверил, но, да простит мне читатель, вознамерился со своей стороны сделать все от меня зависящее, чтобы предсказания оракула сбылись. Что удивительно, так это то, что *tra il fin d'Ottobre, e il capo di Novembre* лежит одна лишь полночь, и, как увидит читатель, вышел я из тюрьмы тридцать первого октября как раз при звуке полночного колокола. Читателю, какой, прочтя правдивый мой рассказ, пожелает счесть меня суевернейшим на свете человеком, скажу я, что он ошибается. Рассказываю я обо всем этом потому только, что это правда и вещь необычайная, и еще потому, что, не придай я предсказанию значения, то, быть может, и не спасся бы. Тем, кто не достигнул еще учености, случай этот покажет, что многое из того, что свершилось на свете, без предсказаний никогда бы и не произошло. Свершившись, событие подтверждает пророчество и тем оказывает ему услугу. Если предсказание не сбывается, то грош ему цена; но я отсылаю снисходительного моего читателя к всеобщей истории: там обнаружит он множество событий, какие, не будь они предсказаны, никогда бы и не свершились. Прошу прощения за отступление.

Вот как провел я утро вплоть до девятнадцати часов, дабы поразить воображение этого злого и глупого животного и, внеся смятение в хлипкий его разум посредством удивительных картин, лишить его возможности меня погубить. Наутро, после того как Лоренцо удалился, велел я Сорадачи подойти и съесть супу. Негодяй лежал в постели и объявил Лоренцо, что болен. Когда б я его не позвал, он бы не дерзнул ко мне подойти. Он встал, распростерся на животе у ног моих, стал их целовать и, обливаясь слезами, сказал, что, если я не прощу его, он, без сомнения, в тот же день умрет; он чувствовал уже действие проклятия — Пресвятая Дева, каковую заклил я против него, начинала ему мстить; внутренности его раздираемы были коликами, а язык покрылся язвами. Он высунул его, и я увидел, что он действительно покрыт ящуром; был ли он болен еще накануне, не знаю.

Я не слишком внимательно его разглядывал, удостоверюсь, что он говорит правду: мне выгодно было делать вид, будто я ему верю, и даже подать ему надежду на прощение. Так что надобно было заставить его есть и пить. Быть может, предатель намерен был меня обмануть — однако я полон был решимости обмануть его сам, а значит, дело шло о том, чтобы убедиться, кто из нас двоих хитрее. Я подготовил такую атаку, против которой, я был уверен, ему не устоять.

Вмиг скроил я вдохновенную физиономию и велел ему сесть.

— Давайте съедим похлебку, — объявил я, — а после сообщу я вам, сколь вам повезло. Знайте: Пресвятая Дева Четок явилась мне на рассвете и приказывала простить вам. Вы не умрете, вы освободитесь вместе со мною.

Вытаращив глаза, съел он со мною суп — сидеть было не на чем, и он стоял на коленях, — а потом уселся на тюфяк и стал меня слушать. Вот какую я произнес речь:

— Предательство ваше ввергло меня в такую печаль, что во всю ночь не сумел я сомкнуть глаз: письма, что отдали вы секретарю, будучи прочитаны Государственными инквизиторами, обрекали меня провести здесь остаток дней своих. Признаюсь, единственным утешением служила мне уверенность, что не пройдет и трех дней, как вы на глазах у меня умрете. Преисполненный подобных чувств, недостойных христианина, ибо БОГ велит нам прощать ближнему, на рассвете я задремал, и тут воистину случилось мне видение. Я увидел, как Пресвятая Дева, та самая, образ которой перед вами, ожила, двинулась с места и, став передо мною, отворила уста и сказала такие слова: «Сорадачи чтит святые мои Четки, я благоволю ему и желаю, чтобы ты ему простил; проклятие, что навлек он на себя, в тот же миг утратит силу. В благодарность за благородный твой поступок велю я одному из ангелов своих, приняв человеческий облик, спуститься немедля с неба, проломить потолок

твоей камеры и в пять-шесть дней вывести тебя наружу. Ангел сей почнет труды свои нынче в девятнадцать часов и станет продолжать их, покуда не наступят полчаса до заката солнца, ибо возвратиться на небо должен он при свете дня. В сопровождении ангела моего ты выйдешь отсюда, выведешь с собою Сорадачи и станешь заботиться о нем — но при условии, что отстанет он от ремесла шпиона. Ты обо всем ему расскажешь». С этими словами Пресвятая Дева исчезла, а я пробудился.

Говорил я с самым серьезным видом и следил за выражением лица предателя; тот, казалось, остолбенел. Тут взял я свой часослов, окропил камеру святой водою и сделал вид, будто молюсь БОГУ; время от времени целовал я образ Девы. Прошел час, и животное это, не проронившее до сей поры ни звука, ни с того ни с сего спросило, в какой час должен ангел спуститься с небес и услышим ли мы, как он станет ломать нашу камеру.

— Не сомневаюсь: он явится в девятнадцать часов, мы услышим, как он работает, а в двадцать три часа он уйдет; по-моему, четырех часов работы с ангела довольно.

— А может, вам это все приснилось.

— Уверен, что нет. Есть ли в душе у вас решимость поклясться, что вы оставите ремесло шпиона?

Вместо ответа он уснул и, проснувшись двумя часами позже, спросил, нельзя ли ему обождать с клятвой оставить свое ремесло.

— Можете подождать, — отвечал я, — пока ангел не явится сюда, дабы увести меня с собою; но предупреждаю: коли не откажетесь вы клятвенно от скверного своего ремесла, я оставлю вас здесь, ибо так повелела мне Пресвятая Дева.

Тут у него, я заметил, отлегло от сердца: он был уверен, что ангел не придет. Вид у него был такой, будто ему меня жаль. Мне не терпелось услышать, как пробьет девятнадцать часов; комедия эта безмерно меня забавляла, я не сомневался, что от ангельского явления случится в жалком умишке этого животного сущее головокружение. Дело сорваться не могло — разве только Лоренцо, к величайшему сожалению моему, забыл бы отнести книгу.

В восемнадцать часов пришла мне охота пообедать; пил я только воду. Сорадачи выпил все вино, а на десерт съел весь, какой у меня был, чеснок — для него это было варенье. Едва пробило девятнадцать часов, бросился я на колени и приказал ему поступить так же, да таким голосом, что он вздрогнул. Он повиновался, глядя на меня дикими глазами, как на ненормального. Заслышав слабый шум, свидетельствовавший, что отверстие в стене пройдено, я произнес:

— Ангел идет.

Тут простерся я на животе и одновременно ударил его по плечам так, что и он оказался в той же позе. Шум от врезаемой доски стоял большой, и я с добрых четверть часа простирался ниц; ну не смешно ли было глядеть, как негодяй этот, боясь шевельнуться, застыл в подобной же позе? Но я не смеялся; речь шла о деле богоугодном: его следовало довести до помешательства, либо, по крайности, сделать бесноватым. Проклятая душа его могла стать человеческой, лишь если целиком затопить ее ужасом. Три с половиной часа напролет читали мы Четки, я по книге, он просто так, на память; временами он засыпал и ни разу не дерзнул открыть рот, только поглядывал на потолок, откуда доносился треск досок, в которые вгрызлся монах. В остолбенении своем кивал он презабавно головою образу Пресвятой Девы. Когда пробило двадцать три часа, я сказал, что теперь ангел должен удалиться, и велел Сорадачи делать, как я; мы простерлись на полу, падре Бальби удалился, и больше не доносилось до нас ни звука. Поднимаясь, увидал я на лице дрянного этого человека не столько разумное удивление, сколько смятение и ужас.

Для забавы я немного поговорил с ним — мне хотелось послушать, как станет он рассуждать. Речи его сопровождались непрекращающимися рыданиями и связаны были между собою самым причудливым образом: в ворохе его мыслей ни одна не имела развития и продолжения. Он повествовал о собственных грехах, об особенно чтимых святых, о ревностном своем поклонении Св. Марку, о долге перед государем и объяснял заслугами этими благодать, что ниспослала ему ныне Пресвятая Дева; мне пришлось вытерпеть тут долгий рассказ о чудесах Четок, о которых поведала ему жена — ее духовник был доминиканец. Еще он говорил, что не может себе представить, зачем он, такой невежда, мне сдался.

— Вы будете у меня в услужении, у вас будет все необходимое, и вы отстанете от опасного и гнусного шпионского ремесла.

— Но мы не сможем оставаться в Венеции.

— Конечно же нет. Вслед за ангелом последуем мы в одно из государств, что неподвластно Св. Марку. Угодно ли вам поклясться мне, что оставите свое ремесло? А если принесете вы клятву, то станете ли и в другой раз клятвopреступником?

— Коли я поклянусь, так больше уж клятвы не нарушу, это точно; но согласитесь: не стань я клятвopреступник, Пресвятая Дева не ниспослала бы вам благодати. В бесчестье моем — причина вашего счастья, а стало быть, вы мне обязаны, и предательство мое не может вам не нравиться.

— Нравится ли вам Иуда, что предал Иисуса Христа?

— Нет.

— Стало быть, вы понимаете, что все ненавидят предателей, но поклоняются в то же время Провидению, в чьей власти обернуть зло в добро. До сей поры, дорогой мой, вы были негодяй. Вы оскорбили БОГА и пресвятую Деву, и теперь не могу я принять вашей клятвы, если только вы не искупите свой грех.

— А в чем я согрешил?

— Вы согрешили гордыней: предположили, будто я должен быть обязан вам за то, что вы отдали мои письма секретарю.

— Как же мне искупить свой грех?

— А вот как. Завтра, когда придет Лоренцо, вы должны лежать не двигаясь на своем тюфяке, отвернувшись к стене и не глядя на Лоренцо. Если он к вам обратится, вы должны, не поворачиваясь, отвечать, что не смогли уснуть. Обещаете ли повиноваться?

— Обещаю сделать все так, как вы велите.

— Обещайте то же самое святому образу, живо.

— Обещаю вам. Пресвятая Дева, что, когда придет Лоренцо, я не взгляну на него и не двинусь со своего тюфяка.

— А я Пресвятая Дева, клянусь утробой Иисуса Христа, Бога вашего и сына, что если только увижу, как Сорадачи обернулся к Лоренцо, немедля подбегу к нему и придушу к чести вашей и славе.

Я спросил, нет ли у него возражений против моей клятвы, и он отвечал, что доволен ею. Тогда я дал ему поесть и велел ложиться спать: мне надобно было выспаться. В продолжение двух часов описывал я монаху всю эту историю и предупредил, что если труд его близок к завершению, то ему остается только прийти на крышу моей камеры, пробить насквозь доску и войти внутрь. Я писал, что выйдем мы из тюрьмы в ночь тридцать первого октября четвергом, считая его сотоварища и моего. То было двадцать восьмого числа. Назавтра монах на заре предупредил меня, что желобок готов и больше ему незачем подниматься на крышу моей камеры, кроме как для того, чтобы вскрыть потолок, а это, он был уверен, потребует четырех минут. Сорадачи отлично исполнил урок. Он сделал вид, будто спит, и Лоренцо с ним даже не заговаривал. Я не спускал с него глаз и если б увидел, что он оборачивается к Лоренцо, думаю, и в самом деле придушил бы его: чтобы меня выдать, ему довольно было лишь подмигнуть тюремщику.

Во весь день напролет держал я перед ним возвышенные речи, пробуждая в нем фанатизм; я оставлял его в покое, только когда видел, что он уже пьян и готов уснуть либо упасть в конвульсиях под действием совершенно чуждой и непривычной для мозгов его метафизики — ведь прежде все свои умственные способности направлял он на то, чтобы выдумывать шпионские хитрости.

Он сказал, что не понимает, как это ангелу приходится так долго работать, чтобы сделать в моей камере отверстие; я пришел было в замешательство, но тут же выпутался, объяснив, что работает он в обличье не ангела, но человека, и к тому же добавил, что насмешливой своей мыслью он немедля оскорбил Пресвятую Деву.

— Вот увидите, — сказал я, — из-за вашего греха ангел сегодня не придет. Вечно вы судите обо всем не как честный, набожный и благочестивый человек, но как злобный грешник; вам все чудится, что вы имеете дело с мессером гранде да сбирами.

Тут он пустился плакать, а когда пробило девятнадцать часов и ангел не пришел, он, к восторгу моему, впал в отчаяние. Я стал жаловаться, он сокрушался и до конца дня пребывал в унынии. Назавтра он повиновался мне обо всем, и когда Лоренцо спросил, здоров ли он, отвечал не оборачиваясь. То же повторилось и на следующий день, пока наконец в утро тридцать первого числа не увидел я Лоренцо в последний раз и не передал ему книгу, в которой предупреждал монаха, чтобы он приходил пробить потолок в семнадцать часов. Теперь я уже не опасался никаких помех: Лоренцо сам известил меня, что не только Инквизиторы, но даже и секретарь отправились в деревню. Мне не приходилось уже опасаться, что явится какой-нибудь новый гость; и больше мне уже не нужно было щадить гнусного этого мерзавца.

Однако мне, быть может, пред лицом кого-нибудь из читателей, кто мог бы составить пагубное впечатление о моей вере в Бога и нравственности по причине того, что злоупотребил я нашими священными таинствами, и заставил дурака этого произнести клятву, и солгал ему относительно явления Пресвятой Девы, — мне необходимо оправдательное слово.

Цель моя — поведать историю своего спасения правдиво, со всеми сопровождавшими его обстоятельствами, и я почел невозможным что-либо скрывать. Я не то чтобы исповедуюсь — никакого раскаяния я не испытываю и тем более не хвастаю, ибо к обману прибегнул лишь против собственной воли. Когда бы обладал я лучшими средствами, то, без сомнения, предпочел бы воспользоваться ими. Ради того, чтобы обрести свободу, я еще и сегодня, уверен, сделал бы то же самое, а может, и много больше.

Естество мое велело мне спастись, и вера не в силах была мне это запретить; мне нельзя было терять времени; надобно было сделать так, чтобы шпион, сидевший со мною и уже доставивший мне наглядный пример своего вероломства, оказался душевно неспособен

предупредить Лоренцо, что кто-то прорубает потолок камеры. Что мне было делать? В моем распоряжении было только два способа для этого; приходилось выбирать. Надобно было либо поступить так, как я, сковав душу этой сволочи ужасом, либо, как сделал бы на моем месте любой другой здравомыслящий и более жестокий, нежели я, человек, задушить его и удавить. Поступить так мне было бы много легче, да и опасаться особенно не приходилось: я бы сказал, будто он умер своей смертью, и никто бы не стал особенно трудиться, допытываясь, правда это или нет. Но каков же читатель, если мог он подумать, что лучше бы мне было его удавить! Коли найдется таковой, БОГ да откроет ему глаза: вера его никогда не станет моею. Я же полагаю, что исполнил свой долг: самая победа, коей увенчался мой подвиг, может служить доказательством того, что методы мои не были отвергнуты бессмертным Провидением. Что же до клятвы, какую дал я заботиться о нем до конца дней, то, слава Богу, он сам меня от нее избавил, ибо у него не достало храбрости спастись вместе со мною; но когда бы даже и достало, я, сознаюсь, не почел бы себя клятвопреступником, если б ее нарушил. При первом же подходящем случае я бы избавился от этого чудовища, пусть бы даже мне пришлось повесить его на любом суку. Поклявшись вечно опекать его, я знал, что вера его продлится не дольше, нежели восторженный его фанатизм, а тот должен был испариться в ту самую минуту, когда бы он увидел, что ангел — это монах. *Non merta fe chi non la serba altrui* \*. У человека гораздо более причин жертвовать всем во имя самосохранения, нежели у правителей во имя спасения Государства.

Когда Лоренцо ушел, я сказал Сорадачи, что в семнадцать часов придет Ангел и сделает в потолке моей камеры отверстие; он принесет ножницы, добавил я, и вы пострижете нам обоим бороды.

— А что, у ангела есть борода?

— Есть, сами увидите. После мы выйдем из камеры и станем проделывать дыру в крыше Дворца, а ночью спустимся на площадь Св. Марка и отправимся в Германию.

Он ничего не ответил. Поел он в одиночестве, ибо сердце мое и разум слишком поглощены были делом, и есть я был неспособен. Я не смог даже уснуть.

И вот бьет семнадцать часов, и является ангел. Сорадачи хотел было пасть ниц, но я сказал, что в этом более нет нужды. Менее чем в три минуты желобок был прорезан, к ногам моим упал отличный круглый кусок потолка, и падре Бальби соскользнул в мои объятия.

— Вот и завершились ваши труды — сказал я, целуя его, — теперь начнутся мои.

Он вернул мне эспонтоном и дал ножницы, а я вручил их Сорадачи, велев немедля постричь нам бороды. Животное это в полном изумлении уставилось на ангела, что больше походило на черта, и на сей раз я уже не смог сдержать смеха. Он совсем потерял голову, однако ж побрил нас обоих кончиками ножниц замечательно.

Мне не терпелось взглянуть, как здесь все расположено, и я, велев монаху побыть с Сорадачи — его мне не хотелось оставлять одного, — вышел наружу; отверстие в стене оказалось узко, но я в него прошел; теперь находился я на крыше темницы графа, вошел в нее и от души расцеловал несчастного старика. Я понял, что сложение этого человека отнюдь не предназначено для того, чтобы преодолевать трудности и опасности, какими неизбежно грозил подобный побег, впридачу по наклонной крыше, покрытой целиком свинцовыми пластинами. Он немедля спросил, каков мой план, и объявил, что, по его разумению, я совершаю слишком легкомысленные шаги.

— Мне довольно и того, — отвечал я, — чтобы шаги эти вели меня вперед, покуда не достигну я свободы или смерти.

Он пожал мне руку, но сказал, что если замыслил я проделать отверстие в крыше и, шагая по свинцовым плитам, искать, где бы спуститься, то он такого пути не видит — разве только у меня вырастут крылья.

— Мне, — прибавил он, — не достанет смелости идти с вами: я останусь здесь и стану за вас молиться.

Тогда я вышел и решил, подойдя поближе к боковым стенам чердака, проверить большую крышу. Когда удалось мне дотронуться до крыши — там, где она ближе всего подходит к полу, — уселся я посреди отходов чужих организмов, какими всегда полны чердаки в больших дворцах, и, попробовав доски острием своего засова, обнаружил, что они трухлявые. Все, к чему бы ни прикоснулся я эспонтоном, рассыпалось в прах. Убедившись, что менее чем за час сумею я проделать достаточно обширное отверстие, я возвратился в камеру и четыре часа кряду резал на полосы простыни, салфетки, матрасы и все, что у меня только было, дабы изготовить веревку. Я решил сам связать все куски вместе ткацким узлом: плохо затянутый узел мог развязаться, а человек, висящий в тот момент на веревке, сорвался бы вниз. В распоряжении моем оказалось сто сажень веревки. Есть в великих начинаниях моменты, которые решают все, и глава начинания тогда только достоин удачи, когда в этих моментах не доверяет никому, кроме себя.

Сделав веревку, связал я в узел свое платье, плащ, подбитый шелком, несколько рубашек, чулок, носовых платков, и мы втроем, неся с собою все эти пожитки, отправились в камеру графа. Граф первым делом поздравил Сорадачи с тем, что тот имел счастье оказаться вместе со мною в



тюрьме и теперь за мною следовать. Изумленный его вид смешил меня необычайно. Я более не стеснялся и послал ко всем чертям маску Тартюфа, какую целыми днями носил вот уже неделю, чтобы этот отъявленный негодяй меня не продал. Я видел: он убедился, что я обманул его, но ничего не мог понять; ему было невдомек, как сумел я сноситься с пресловутым ангелом, чтобы тот приходил и уходил, когда я захочу. Слушая графа, каковой объяснял нам, что мы со всею очевидностью подвергаемся смертельной опасности, прощелыга этот уже обмозговывал план, как бы избавиться от рискованного путешествия. Я сказал монаху, что пойду делать отверстие в углу чердака, и велел ему пока увязать свой узел с пожитками.

В два часа ночи отверстие мое было совершенно готово; без всякой посторонней помощи я разнес доски в пыль. Дыра была вдвое шире, чем нужно, и я обнажил целую свинцовую плиту. Монах помог ее поднять: сбоку она была заклепана либо согнута кровельным желобом из мрамора; но я, просунув эспонтон между желобом и плитой, отделил ее, а потом мы плечами своими отогнули ее ровно настолько, чтобы образовалось отверстие, в какое могли бы мы пройти. Высунув туда голову, увидел я с болью, что на улице ярко светит нарождающийся месяц — на завтра должен он был вступить в первую свою четверть. Помеху эту приходилось переносить терпеливо и подождать с выходом на крышу до полуночи, когда луна отправится освещать наших антиподов. В такую восхитительную ночь все благовоспитанное общество, должно быть, прогуливалось по площади Св. Марка, и я не мог рисковать, чтобы кто-нибудь заметил, как я прогуливаюсь по крыше. Всякий приметил бы на мостовой площади нашу длинную-длинную тень; все бы подняли головы вверх, и глазам их предстало бы весьма необыкновенное зрелище наших фигур, каковое привлекло бы всеобщее любопытство, и особенно любопытство мессера гранде, чьи сбиры, единственная охрана в центре Венеции, не ложились спать во всю ночь. Мессер гранде немедля нашел бы способ послать сюда наверх целую их шайку, и она бы испортила весь мой славный план. Итак, я решил бесповоротно, что выйдем мы отсюда лишь после того, как сядет луна. Я взывал к Божьей помощи, но не просил чудес. Отданный на волю Фортуны, я должен был доставить ей возможно меньшую поживу. Если бы предприятие мое провалилось, это должно было бы случиться не по моей вине: я был не вправе давать себе повод раскаиваться в том, что сделал ложный шаг. В пять часов луна наверное должна была зайти, солнце же вставало в тринадцать с половиной; оставалось семь часов полнейшей темноты, когда мы могли бы действовать.

Я сказал падре Бальби, что мы поболтаем три часа с графом Асквином; еще я велел ему пойти вперед одному и предупредить графа, что у меня большая нужда в тридцати цехинах, и я прошу меня ими ссудить: они могли оказаться мне столь же необходимы, как прежде для всего, что я уже совершил, был необходим эспонтон. Он исполнил мое поручение и четыремя минутами позже вернулся и сказал, чтобы я шел к графу один — он желает говорить со мною без свидетелей. Для начала бедный старик сказал мне ласково, что для побега мне деньги не нужны, что у него их нет, что у него большая семья, что если я погибну, деньги, одолженные мне, пропадут, и еще много привел доводов, призванных служить ширмою для скупости. Отвечал я ему полчаса. Доводы мои были превосходны, но с тех пор, как стоит мир, они еще никого не убедили: не в силах оратора искоренить чужую страсть. То был случай, какой именуют *polenti baculus* \*; но я был не столь жесток, чтобы употребить силу против несчастного старика. В конце концов сказал я ему, что коли он пожелает бежать с нами, я понесу его на закорках, как Эней Анхиза; но коли пожелает он остаться и молить БОГА, чтобы не оставил нас, то, предупреждал я, молитва его не поможет, ибо он станет молить БОГА об успехе дела, какому сам не захотел оказать участия обычными средствами. По голосу его понял я, что он плачет, и встревожился; он спросил, довольно ли с меня будет двух цехинов, и я отвечал, что с меня довольно будет всего. Он дал мне деньги и просил вернуть их, если, обойдя кругом крышу дворца, решусь я поступить как разумный человек и возвратиться в свою камеру. Я обещал, несколько удивленный, что он мог предположить, будто могу я принять решение вернуться: я не сомневался, что никогда уже не возвращусь обратно.

Я позвал спутников своих, и мы снесли пожитки к отверстию. Я поделил сто саженой веревки на две связки, и мы в продолжение двух часов болтали, вспоминая не без удовольствия все превратности судьбы, какие преодолели. Падре Бальби в первый раз явил мне свой милый нрав, повторив раз десять, что я нарушил слово, ибо в письмах уверял, что план мой готов и верен, тогда как никакого плана и не было; он имел наглость заявить, что, знай он заранее об этом, не стал бы вытаскивать меня из темницы. Граф с важностью, приличествующей своим семидесяти годам, говорил, что самое разумное мне было бы остаться здесь, ибо очевидно, что с крыши спуститься невозможно и что к тому же замысел мой опасен и может стоить мне жизни. Я ласково отвечал, что обе очевидности эти мне очевидными не кажутся; но поскольку по ремеслу своему он был адвокат, то, думая убедить меня, произнес целую речь. Единственное, что занимало его, были два цехина: когда б он уговорил меня остаться, я должен был бы их ему вернуть.

— У крыши, покрытой свинцовыми пластинами, — говорил он, — такой уклон, что идти по ней вы не сможете, ибо на ней трудно и выпрямиться. На крыше этой есть семь или восемь слуховых окошек, но все они забраны в железную решетку, и перед ними нельзя встать устойчиво, ибо

находятся они все далеко от края крыши. Веревки ваши будут бесполезны, ибо не найдется такого места, где можно было бы крепко привязать один конец, а даже если вы его и найдете, человек, что спускается с подобной высоты, не в силах висеть на руках, и некому будет сопровождать его до земли. Стало быть, одному из вас придется связать двух остальных поперек туловища и спустить вниз, как опускают ведро в колодезь; тот же, кто совершит сей труд, принужден будет остаться здесь и возвратиться в камеру. Кто из вас троих чувствует в себе силы совершить сей милосердный поступок? Но предположим, у кого-то из вас достанет героизма довольствоваться возвращением в тюрьму; но скажите, с какой стороны станете вы спускаться? Со стороны площади, у колонн, нельзя — вас заметят. Со стороны церкви нельзя — вы окажетесь заперты. Со стороны дворцового двора тоже нельзя — гвардейцы Арсеналотти беспрепятственно совершают там обход. Значит, спуститься можно только со стороны канала. У вас нет ни гондолы, ни лодки, которая бы вас поджидала; значит, вам придется броситься в воду и плыть до Св. Аполлонии; доберетесь вы туда в плачевном виде и не будете знать, куда податься в ночи, чтобы привести себя в готовность немедля бежать. Не забудьте, на свинцовых плитах скользко, и если вы упадете в канал, то непременно погибнете, даже если и умеете плавать: высота дворца столь велика, а канал столь неглубок, что, упав, вы не захлебнетесь, а разобьетесь. Три-четыре фута воды — это не тот объем жидкости, какой достаточен, чтобы смягчить стремительное падение твердого тела, что в него погрузится. Самая малая беда, какая вам грозит, — это переломать руки или ноги.

Сам на себя непохожий, выслушал я эту речь, весьма неосторожную, учитывая теперешний момент, с величайшим терпением. Я был возмущен упреками, что бросал мне без всякой пощады монах, и готов был резко ему отвечать; но тогда я разрушил бы все возведенное здание — я имел дело с трусом, который способен был отвечать, что не настолько еще отчаялся, чтобы презреть смерть; стало быть, мне пришлось бы отправляться в путь самому, а в одиночестве не мог я рассчитывать на успех. Я был мягок и щадил этих злодеев. Я объявил, что уверен в спасении, хотя и не могу сообщить в подробностях, что намерен предпринять. Графу Асквину я сказал, что мудрые его рассуждения заставят меня вести себя осторожней и что вера моя в БОГА столь велика, что заменяет мне все остальное.

Нередко, протягивая руку, проверял я, на месте ли Сорадачи: он по-прежнему не произносил ни слова; я представлял себе, что может проноситься в скверном его мозгу теперь, когда он понял, что я его обманул, и мне было смешно. В четыре с половиной велел я ему пойти посмотреть, в какой части неба находится месяц. Вернувшись, он объявил, что через полчаса его не будет видно и что стоит весьма густой туман, отчего свинцовые плиты, должно быть, стали весьма опасны.

— С меня, дорогой мой, довольно будет и того, чтобы туман был не масляный. Сверните свой плащ в узел с частью веревки, нам надобно поделить ее поровну.

И тут, к великому своему удивлению, я почувствовал, что человек этот пал к моим ногам и, схватив мои руки, стал их целовать, и со слезами сказал, что умоляет меня не желать ему гибели.

— Я уверен, — говорил он, — что упаду в канал; от меня вам не будет никакой пользы. Увы! Оставьте меня здесь, и я всю ночь напролет стану молиться за вас Св. Франциску. Убейте меня, воля ваша, но идти с вами я никогда не решусь.

Не знал дуралей, что общество его, как мне казалось, принесет мне несчастье.

— Вы правы, — отвечал я, — оставайтесь, но при одном условии: вы станете молиться Св. Франциску; а теперь ступайте возьмите мои книги, я хочу оставить их г-ну графу.

Он в мгновение ока повиновался. Книги мои стоили по меньшей мере сотню экю. Граф обещал вернуть их, когда я возвращусь назад.

— Будьте уверены, — сказал я, — больше вы меня здесь не увидите, и я очень рад, что трус этот не осмелился последовать за мною. Он бы стал мне помехой, да и к тому же трус недостоин разделить со мною и с падре Бальби честь от столь славного побега. Не правда ль, храбрый мой товарищ? — обратился я к монаху, думая уколоть его самолюбие.

— Это верно, — отвечал тот, — если только завтра не будет у него причин себя поздравить.

Тогда спросил я у графа перо, чернил и бумаги — несмотря на запрет, они у него были, ибо для Лоренцо все воспретительные законы не значили ровно ничего, и за экю он продал бы и самого Св. Марка. Тут написал я письмо, каковое, не имея возможности перечитать, ибо писал в темноте, оставил Сорадачи. Начал я письмо с девиза, показавшегося мне в нынешних обстоятельствах весьма уместным и означавшего гордо поднятую голову.

*Non moriar sed vivam, et narrabo opera domini \**

«Властителям нашим Государственным инквизиторам подобает делать все, дабы силою удерживать в тюрьме преступника; преступнику же, каковой, к счастью, не давал слова оставаться в тюрьме, также подобает делать все, дабы доставить себе свободу. Их право зиждется на правосудии, право преступника — на велении естества. Они не нуждались в согласии виновного, сажая его под замок, равно и он не нуждается в согласии Инквизиторов, спасаясь бегством.

Джакомо Казанова, что пишет слова эти в тоске сердечной, знает: прежде чем покинет он Отечество, с ним, быть может, случится несчастье, его поймут и доставят вновь в руки тех, чьего

карающего меча вознамерился он убежать. Когда случится так, молит он на коленях благородных своих судей о человечности и о том, чтобы не стала участь его еще более жестокой в наказание за поступок, совершенный единственно по велению разума и природы. Если будет он схвачен снова, то молит вернуть ему все его добро и все, что оставляет он в покинутой камере. Но когда повезет ему и он спасется, то дарует все, что оставил здесь, Франческо Сорадачи, каковой остается в тюрьме, ибо страшится подстерегающих меня опасностей и не любит свободу больше собственной жизни, подобно мне. Казанова взывает к великодушию и добродетели Их Превосходительств и молит не отнимать у несчастного принесенный ему дар. Писано за час до полуночи, без света в темнице графа Асквина октября 31 1756 года».

*Castigans castigavit te Deus, et morti non tradidit me \*\*.*

Я вручил письмо Сорадачи, велел отдать его не Лоренцо, но самому секретарю, каковой, без сомнения, не преминет подняться в камеру. Граф сказал ему, что письмо подействует непременно, однако ж если я вернусь, то ему придется все мне возвратить. Глупец отвечал, что хотел бы увидеть меня вновь и все вернуть.

Но настало время пускаться в путь. Луны больше не было видно. Я привязал падре Бальби на шею с одной стороны — половину веревок, а на другое плечо узел с его жалкими тряпками, и сам поступил так же. И вот оба мы, в жилетах и шляпах, отправились навстречу неизвестности.

*E quindi uscimmo a rimirar le stelle \*\*\* (Данте).*

## ГЛАВА XVI

Я выхожу из темницы. Жизнь моя подвергается опасности на крыше. Выйдя из Дворца дождей, сажусь я в лодку и прибываю на материк. Опасность, какой подвергает меня падре Бальби. Я принужден хитростью немедленно от него избавиться.

Я вышел первым, а за мною падре Бальби. Велел Сорадачи разогнуть, как была, свинцовую пластину, я отослал его молиться своему Св. Франциску. Опустившись на колени и встав на четвереньки, зажал я в кулаке эспонтон и воткнул его наискосок туда, где соединялись между собою плиты, так что, держась четырьмя пальцами за отогнутый край пластины, можно было взобраться на гребень крыши. Монах, дабы последовать за мною, ухватился правой рукой за пояс моих штанов, там, где пуговица, и благодаря этому выпала мне жалкая участь выючное и упряжное животное, да к тому ж поднимающееся по мокрому от тумана склону.

На середине подъема этого, довольно опасного, монах велел мне остановиться: один из узлов его отвязался от шеи и скатился вниз, быть может, не дальше, чем на кровельный желоб. Первым побуждением моим было искушение лягнуть его хорошенько — стоило мне сделать это, и он бы мигом отправился вслед за своим узлом. Но Господь дал мне сил сдержаться; наказание было бы слишком велико для обоих, ибо одному мне бы никогда и ни при каких условиях не спастись. Я спросил, какой узел упал, с веревкой или нет; и когда он отвечал, что в узле лежал его черный сюртук, две рубашки и драгоценный манускрипт, который нашел он в Пьомби и который, по словам его, должен был составить ему целое состояние, я со спокойствием произнес, что надобно быть терпеливым и идти своей дорогой. Он вздохнул и, по-прежнему повиснув у меня на задку, двинулся за мной.

Одолев таким образом пятнадцать или шестнадцать плит, оказался я на гребне крыши и, раздвинув ноги, уселся удобно на коньке. Монах тоже уселся позади меня. За спиной у нас находился островок Св. Георгия, а напротив, в двухстах шагах — множество куполов собора Св. Марка, что входит в состав Дворца дождей; то часовня Дожа, и ни один государь на свете не может похвастать подобной часовней. Я немедля освободился от своей ноши и сказал спутнику, что он может последовать моему примеру. Он довольно удачно поместил свою кучу веревок между ног, но шляпа его, каковую решился он поместить туда же, потеряла равновесие и, покувыркавшись подобающим образом, докатилась до желоба и свалилась в канал. Сотоварищ мой впал в отчаяние.

— Это дурное предзнаменование, — твердил он, — предприятие только в самом начале, а я уже без рубашки, без шляпы и без рукописи, где содержалась ценнейшая и никому не ведомая история всех дворцовых празднеств Республики.

Я был уже не так свиреп, как когда карабкался вверх, и отвечал спокойно, что в обоих случившихся с ним происшествиях нет ничего столь необыкновенного, чтобы человек суеверный смог почесть их за предзнаменования, что сам я таковыми их не полагаю и меня они не обескураживают; однако для него происшествия эти должны послужить последним уроком и научить его осторожности и разумению, и пусть он задумается, что когда бы шляпа его упала не справа, а слева, мы оба пропали бы, ибо тогда она бы оказалась во дворе палаццо, а там ее подобрали бы арсеналотти, дворцовая стража, и, рассудив, что на крыше Дворца дождей, должно быть, кто-то есть, не преминули бы, исполняя свой долг, нанести нам каким-нибудь образом визит.

Несколько минут поглядел я направо и налево, а потом велел монаху сидеть здесь с нашими узлами и не двигаться с места, покуда я не вернусь. Удалился я от этого места с одним только

эспонтоном в руках, сидя по-прежнему верхом на коньке и подвигаясь без всякого труда на зад. Почти час провел я, путешествуя там и сям, всматривался, наблюдал, изучал, но ни в одном из краев крыши не нашел ничего, за что можно было бы привязать конец веревки, дабы спуститься в такое место, где бы мог я чувствовать себя в безопасности. Я пребывал в величайшей задумчивости. О канале либо о дворе палаццо нечего было и думать. Церковь сверху являла взору лишь множество пропастей между куполами, и всякая из них была замкнута со всех сторон. Дабы попасть по ту сторону собора, в Сапониса, Канонический квартал, мне пришлось бы карабкаться по округлым вершинам: вполне естественно, что я отметил как дело невозможное все, что не представлялось мне исполнимым. Мне непременно следовало быть дерзким, но осторожным: нет, сколько мне кажется, в морали более неуловимой срединной точки.

Остановил я свой взор и обратился мыслью к одному слуховому окну, что находилось на высоте двух третей ската крыши, со стороны *gio di palazzo* \*. Располагалось оно достаточно далеко от места, откуда я вышел, и я не сомневался, что чердак, им освещаемый, не принадлежит уже к черте тюрем, каковую я одолел. Освещать это окно могло только какой-нибудь жилой либо нежилой чердак, находившийся над теми или иными покоем дворца, и на рассвете я, без сомнения, мог бы найти там открытые двери. Нас могли бы заметить дворцовые слуги либо прислуга семейства Дожа, но в душе я был уверен, что они поспешат выпустить нас и даже если признают в нас величайших государственных преступников, сделают что угодно, только не отдадут нас в руки инквизитора правосудия. Мысль эта побудила меня обследовать окошко снаружи, и я немедленно принялся за дело; подняв одну ногу, соскользнул я вниз и оказался на небольшом оконном козырьке длиной в три фута, а шириной в полтора. Тогда, крепко держась руками за козырек, нагнулся я хорошенько и приблизил голову к окну, вытянув шею. Я увидел, а еще лучше ощутил на ощупь тоненькую железную решетку, а за нею — окно из круглых стекол, скрепленных между собою маленькими свинцовыми пазами. Одолеть это окно ничего не стоило, хоть оно и было закрыто; но для решетки, пусть и тоненькой, надобен был напильник, а у меня, кроме эспонтона, другого инструмента не было.

Не зная, что предпринять, пребывал я в раздумье, смущении и печали, как вдруг событие совершенно естественное произвело на душу мою действие удивительное и поистине чудесное. Надеюсь, чистосердечная исповедь моя не уронит меня в глазах читателя, если он, как настоящий философ, поразмыслит о том, что человек, пребывая в беспокойстве и унынии, способен лишь на половину того, что мог бы совершить в покойном состоянии. Феномен, поразивший мой разум, был колокол Св. Марка, пробивший в тот миг полночь; дух мой претерпел мощную встряску и вышел из угнетавшей его опасной нерешительности. Колокол этот заставил меня вспомнить, что день, занимавшийся в тот миг, был днем Всех Святых, а среди них должен был находиться и мой заступник, если он у меня вообще был. Однако ж более всего прибавил мне физических сил тот мирской оракул, чье предсказание получил я от дорогого мне Ариосто: *Tra il fin d'Ottobre, e il capo di Novembre*. Когда вольнодумец от большого несчастья делается благочестивым, без суеверия тут обойтись почти невозможно. Звук колокола заговорил со мною, велел действовать и обещал победу. Растянувшись на животе до самой шеи и нагнув голову к решеточке, воткнул я свой засов в окружавшую ее оконную раму и решился раскрошить ее и вынуть решетку целиком. Не прошло и четверти часа, как дерево, из которого сделаны были четыре паза, разлетелось в щепки, а решетка осталась у меня в руках, и я положил ее рядом с окном. Не составило для меня труда и разбить застекленное окно; на кровь, лившуюся из левой моей руки, пораненной о разбитое стекло, я не обращал внимания.

С помощью эспонтона поднялся я прежним способом на конек пирамидальной крыши, оседлал его и направился к месту, где оставил своего спутника. Его нашел я в отчаянии, бешенстве и жестокой обиде; он бранил меня за то, что я бросил его тут в одиночестве на добрых два часа, и уверял, что ожидал лишь семи часов, дабы возвратиться в тюрьму.

- Что вы обо мне подумали?
- Я думал, вы упали куда-нибудь в пропасть.
- Но теперь вы видите, что я никуда не упал — и вы не рады?
- Что ж вы делали так долго?
- Сейчас увидите. Идите за мной.

Привязав на шею свои пожитки и веревки, стал я двигаться к слуховому окну. Когда достигли мы места, где окно находилось от нас по правую руку, я в точности описал монаху все, что успел сделать, и спросил совета, как нам попасть на чердак обоим. Я понимал, что для одного из нас это не составит труда — другой может спустить его на веревке; но я не понимал, как спуститься туда и другому: я не видел, как закрепить веревку, чтобы повиснуть на ней. Если б я просунулся в окно и попросту упал, то мог бы сломать себе ногу, ведь я не знал, с какой высоты совершу свой чересчур смелый прыжок. На всю эту разумную и произнесенную дружеским голосом речь монах отвечал, что мне стоит лишь спустить на чердак его, а потом у меня достанет времени подумать, как попасть туда самому. Я держал себя в руках настолько, чтобы не упрекать его за подлый ответ, но не настолько, чтобы не поспешить вывести его из затруднительного положения. Я немедленно распаковал свои

веревки, обвязал его под мышками через грудь, положил на живот и велел спускаться, пятясь, на козырек слухового окна, а сам по-прежнему сидел верхом на крыше с веревкой в руках; когда он добрался до козырька, я велел ему просунуть в окно ноги до бедер, опираясь локтями о козырек. Потом я, как и в первый раз, соскользнул по склону и, лежа на животе, сказал, чтобы он без боязни отпустил руки, ибо веревку я держу крепко. Оказавшись на полу чердака, он отвязался, и я, вытянув веревку к себе, понял, что расстояние от окошка до пола была в десять раз больше, чем длина моей руки. Прыгать было слишком высоко. Монах сказал, что я могу бросить внутрь веревки, но я поостерегся последовать этому дурацкому совету. Вернувшись на конек крыши и не зная, что предпринять, направился я еще в одно место около одного из куполов, куда еще не приближался. Я увидал площадку, выложенную свинцовыми плитами, рядом с нею — большое слуховое окно, закрытое ставнями, а на ней — кучу негашеной извести в чане, и сверх того, лопатку каменщика и лестницу, достаточно длинную, чтобы мне с ее помощью спуститься к своему сотоварищу; лестница эта одна из всего привлекла мое внимание. Я пропустил веревку через первую перекладину и, усевшись снова на конек крыши, дотащил лестницу до слухового окна. Теперь надобно было ее туда просунуть. Лестница была в двенадцать раз длинней моей руки.

Просовывая ее внутрь, столкнулся я с такими трудностями, что сильно пожалел о том, что лишил себя помощи монаха. Я спустил лестницу к кровельному желобу, так чтобы один ее конец находился у отверстия окна, а другой на треть длины лестницы выступал за край крыши. Тогда, соскользнув на козырек, оттянул я лестницу вбок, подтащил к себе и закрепил веревку на восьмой перекладине. После этого спустил я ее снова вниз и расположил опять параллельно слуховому окну; потом я потянул на себя веревку, но лестница никак не просовывалась далее пятой ступени: конец ее упирался в козырек окна, и никакая сила не могла бы заставить ее просунуться дальше. Совершенно необходимо было поднять другой ее конец — если он поднимется, то лестница с противоположной стороны опустится и, быть может, вся пройдет в окно. Я мог бы положить лестницу поперек входа, привязать к ней веревку и спуститься без всякой опасности; но тогда лестница осталась бы лежать на крыше и наутро показала бы сбирам и Лоренцо место, откуда, быть может, мне еще не удалось бы уйти.

Значит, надобно было втянуть в слуховое окно лестницу целиком; помочь мне было некому, и, чтобы поднять ее конец, пришлось мне решиться отправиться на желоб самому. Так я и сделал, и когда бы не беспримерная подмога Провидения, риск этот стоил бы мне жизни. Дерзнув отпустить лестницу, я бросил веревку третья ступень лестницы цеплялась за желоб, и я не боялся, что она упадет в канал, — потихоньку, с эспонтоном в руках, спустился рядом с лестницей на желоб; отложив эспонтон, я ловко повернулся так, чтобы слуховое окно находилось напротив меня, а правая моя рука лежала на лестнице. Носками опирался я о мраморный желоб: я не стоял, но лежал на животе. В этом положении у меня достало силы приподнять на полфута лестницу и одновременно толкнуть ее вперед. Я заметил с радостью, что она прошла в окно на добрый фут. Как понимает читатель, вес ее должен был существенно уменьшиться. Дело шло о том, чтобы поднять ее еще на два фута и на столько же просунуть внутрь: тогда я мог уже не сомневаться, что, вернувшись сразу на козырек окна и потянув на себя веревку, привязанную к ступени, просуну лестницу внутрь целиком. Дабы поднять ее на высоту двух футов, встал я на колени; но от усилия, какое хотел я предпринять, сообщив его лестнице, носки ног моих соскользнули и тело до самой груди свесилось с крыши; я повис на локтях. В тот ужасающий миг употребил я всю свою силу, чтобы закрепиться на локтях и затормозить боками; мне это удалось. Следя, как бы не потерять опоры, я при помощи рук, вплоть до запястий, в конце концов подтянулся и прочно утвердился на желобе животом. За лестницу опасаться было нечего: в два приема вошла она в окно более чем на три фута и держалась неподвижно. И вот, опираясь о желоб прочно запястьями и пахом, от низа живота до ляжек, понял я, что если удастся мне поднять правую ногу и поставить на желоб одно колено, а за ним другое, то я окажусь вне самой большой опасности. От усилия, какое предпринял я, исполняя свой замысел, случилась у меня нервная судорога; от такой боли пропадут силы и у богатыря. Случилась она как раз в ту минуту, когда правым коленом я уже касался желоба; болезненная судорога, то, что называется «свело ногу», словно сковало все мои члены: я застыл в неподвижности, ожидая пока она, как я знал по опыту, не пройдет сама собой. Страшная минута! Еще через две минуты попробовал я опереться о желоб коленом; слава Богу, это мне удалось, я подтянул второе колено и, едва успев отдышаться, выпрямился во весь рост, стоя на коленях, поднял, сколько смог, лестницу и сумел сделать так, что она встала параллельно отверстию окна. Я достаточно знал законы рычага и равновесия, а потому, взяв свой засов, поднялся обыкновенным способом к окошку и без труда сумел просунуть лестницу внутрь, а товарищ мой принял конец ее в руки. Сбросив на чердак веревки, свои пожитки, а также все щепки и обломки, я спустился туда сам; монах радостно встретил меня и заботливо втянул лестницу в окно. Плечом к плечу обошли мы в темноте помещение, в котором находились, — в нем было около тридцати шагов в длину и десяти в ширину.

В одном углу обнаружили мы двустворчатую дверь из железных полос; я повернул находившуюся посередине двери ручку, и она отворилась. Изучив на ощупь стены, попытались мы

пересечь комнату и наткнулись на большой стол, а вокруг него стояли табуреты и кресла. Мы возвратились туда, где нащупали окна, я открыл одно, распахнул ставни, и в свете звезд предстали нам пропасти меж куполами. Ни минуты не помышлял я о том, чтобы спуститься из окна вниз; мне хотелось знать, куда я попаду, а эти места были мне незнакомы. Я закрыл ставни, и мы, выйдя из залы, возвратились туда, где оставили свою ношу. Я не держался на ногах от усталости; рухнув на пол, я растянулся, положил под голову узел с веревками и в полном изнеможении, лишившись и телесных, и душевных сил, всем своим существом погрузился в приятнейшую дремоту; спать мне хотелось столь необоримо, что, казалось, я согласился бы умереть и не отказался бы от сна, даже если бы приближалась верная смерть — засыпая, ощутил я удовольствие неизъяснимое.

Сон мой продолжался три с половиной часа. Проснулся я от пронзительных воплей и крепких толчков монаха. Он сказал, что только что пробило двенадцать, и уму непостижимо, как могу я в нашем положении спать. Для него это действительно было непостижимо; но я уснул непроизвольно: естество мое, пребывавшее в полном упадке и в истощении — я не ел и не спал уже два дня, доставило себе отдых. Но сон этот восстановил мои силы, и я с радостью заметил, что тьма на чердаке несколько рассеялась.

Я поднялся с пола и произнес:

— Здесь уже не тюрьма, отсюда должен быть простой выход и найти его, должно быть, не составит труда.

Тут двинулись мы к стене, что напротив железной двери, и в одном весьма узком закоулке чердака я, как мне показалось, нащупал дверь. Под рукой я чувствую замочную скважину и, в надежде, что это не шкаф, вставляю в нее засов. После трех-четырёх попыток замок поддается, и я вижу маленькую комнатку, а на столе в ней нахожу ключ. Вставив его в дверь, я понимаю, что могу запереть ее. Открыв снова дверь, велю я монаху скорее забирать наши узлы, и как только он их приносит, запираю дверь и кладу ключ на место. Выйдя из комнатки, попадаю я на галерею с нишами, полными тетрадей. Мы были в архивах. Я нахожу короткую и узкую каменную лестницу, спускаюсь, вижу другую лестницу, а в конце ее — застекленную дверь; отворив ее, вижу я наконец перед собою знакомую залу: мы находились в канцелярии дожа. Я отворяю окно и вижу, что спуститься отсюда легко, но я попаду в лабиринт двориков, окружающих собор Св. Марка. Боже меня сохрани. На письменном столе вижу я железное орудие с деревянной ручкой и закругленным концом: таким пользуются секретари канцелярии, когда им нужно пробить отверстие в пергаменте и привязать к нему бечевкой свинцовую печать; я беру инструмент с собой. Открыв стол, нахожу я там переписанное письмо, в каковом сообщалось Генералу-Проведитору на Корфу о посылке трех тысяч цехинов на восстановление древней крепости. Я гляжу, не найдется ли там и денег, о которых идет речь, — но нет. Одному Богу известно, с каким удовольствием забрал бы я их себе и как посмеялся бы над монахом, если б он дерзнул упрекнуть меня в воровстве. Я увидел бы в деньгах дар Провидения, а кроме того, присвоил бы их по праву победителя.

Подойдя к дверям канцелярии, вставляю я свой засов в замочную скважину, но не проходит и минуты, как я понимаю, что двери им не открыть, и решаюсь проделать отверстие в одной из створок. Место я выбираю такое, чтобы в дереве было как можно меньше сучков. Я начинаю пробивать доску от щели, какая образуется при соединении ее с другой створкой, и дело подвигается хорошо. Монаху я велел вставлять в углубления, прорезанные эспонтоном, инструмент с деревянной ручкой, а потом, толкая его изо всей силы вправо и влево, резал, рубил, кромсал доску, не обращая внимания на то, что подобный способ прорубать дыру сопровождался страшным шумом; слышно его было, должно быть, издалека, и монах дрожал от страха. Я знал, какая опасность подстерегает меня, но теперь ею приходилось пренебречь.

В полчаса отверстие было уже довольно велико — на наше счастье, ибо сделать его шире мне было бы чрезвычайно трудно. Сучки торчали справа, слева, сверху, снизу: для них нужна была пила. Края и дыры были устрашающие — щепки, щетинившиеся отовсюду, грозили разорвать одежду и поранить кожу. Находилась отверстие на высоте пяти футов; я подставил табурет, монах встал на него, просунул в отверстие голову и сложенные руки, а я, стоя на другом табурете, схватил его сзади за ляжки, потом за ноги и вытолкнул наружу; там было очень темно, но я не беспокоился — расположение комнат было мне знакомо. Когда спутник мой оказался по ту сторону двери, я бросил ему все свое добро, а веревки оставил в канцелярии.

Тогда поставил я под дырою рядом два табурета, а на них сверху третий, и поднялся на него; отверстие теперь располагалось как раз на уровне моих ляжек. С трудом просунул я в дыру до паха, весь расцарапавшись, ибо была она узкой, а сзади некому было помочь мне протиснуться дальше, и велел монаху, взяв меня поперек живота, безжалостно тащить наружу — если понадобится, хоть по кусочкам. Он исполнил мой приказ, и я молча проглотил боль, что доставила раздираемая на боках и ляжках кожа.

Едва оказавшись снаружи, подобрал я скорей свои пожитки, спустился по двум лестницам и без всякого труда открыл дверь, что выходит в коридор, ведущий к большим вратам парадной лестницы, рядом с которыми расположен кабинет Savio alla scrittura \*. Врата эти были заперты, равно как и

двери залы о четырех дверях. Лестничные врата были толщиной с городские ворота; достаточно было взглянуть на них, чтобы убедиться — без копровой бабы либо петарды их не одолеть. Засов мой в тот миг, казалось, произнес: *hic fines posuit* \*\*, больше я тебе не понадобится; сей инструмент, добывший мне милую свободу, достоин того, чтобы висеть *ex-voto*, по обету, на алтаре божественного моего покровителя. Я уселся, исполненный мира и покоя, и сказал монаху, что труды мои завершились, а остальное зависит от БОГА либо от Фортуны:

*Abbia chi regge il ciel cura del resto*

*O la Fortuna se non tocca a lui* \*\*\*.

— Не знаю, — продолжал я, — придут ли нынче, в день Всех Святых, во дворец подметальщики, и придут ли завтра, в день Поминовения усопших. Если кто-нибудь придет, я выйду отсюда, как только увижу эти врата открытыми, и вы за мною; если же не придет никто, я не двинусь с места; а если я умру с голоду, то не знаю, как этому помочь.

Речь моя привела беднягу монаха в бешенство. Он обозвал меня сумасшедшим, бесноватым, совратителем, лжецом и не помню кем еще. Я выслушал его с терпением героя. Пробило тринадцать часов. С той минуты, когда пробудился я на чердаке под слуховым окном, и до сего момента прошел всего только час. Я немедленно занялся важным делом: переоделся с ног до головы. Падре Бальби походил на селянина, но был цел — на нем не было ни лохмотьев, ни крови; красный фланелевый жилет его и фиолетовые штаны из кожи совсем не пострадали. Мой же облик наводил жалость и ужас. Я был весь разодран и весь в крови. Когда оторвал я от ран, что были у меня на обоих коленях, шелковые чулки, раны стали кровоточить. Вот в какое состояние привели меня желоб и свинцовые плиты. Из-за дыры в дверях канцелярии у меня оказался порван жилет, рубашка, штаны, содрана кожа на бедрах и ляжках; весь я был покрыт ужасающими ссадинами. Я разорвал несколько носовых платков и, как сумел, сделал из них повязку и примотал ее бечевой — моток ее был у меня в кармане. Я надел свое красивое платье, выглядевшее в тот довольно холодный день уморительно, пригладил как мог и уложил в кошель волосы, надел белые чулки, кружевную рубашку — других у меня не было, — и, расставив две другие рубашки, носовые платки и чулки по карманам, выбросил за кресло свои рваные штаны и все остальное. Свой красивый плащ набросил я на плечи монаху, и он стал выглядеть словно краденый. У меня был вид человека, который после бала оказался в значных местах и его там изрядно потрепали. Повязки, выделявшиеся на коленях, портили все изящество моей фигуры.

Так вот наряженный, в красивой шляпе с золотой испанской пряжкой и белым пером на голове, я отворил окно, и немедленно физиономия моя была замечена бездельниками, что гуляли по двору палатки и, не умея взять в толк, как человек в такой одежде, как я, оказался в столь ранний час у этого окна, отправились предупредить ключника, у которого был ключ от этих дверей. Тот решил, что мог кого-нибудь случайно запереть здесь накануне, и, прихватив ключи, явился к нам. Обо всем этом узнал я только в Париже, пять или шесть месяцев спустя.

Недовольный, что меня заметили через окно, уселся я рядом с монахом, каковой нахально меня ругал, и тут до слуха моего донеслось звяканье ключей и шаги: кто-то поднимался по парадной лестнице. В волнении я поднимаюсь, гляжу через щель в больших вратах и вижу человека, одного, в черном парике и без шляпы; держа в руках связку ключей, он неторопливо поднимался по ступеням. Я самым строгим голосом велел монаху не раскрывать рта, держать сзади и без промедления следовать за мною. Сжав под одеждой свой эспонтон, встал я у врат так, чтобы в тот же миг, как они откроются, оказаться на лестнице. Я посылая ГОСПОДУ всяческие обеты, только чтобы человек этот не оказал никакого сопротивления, в противном случае мне пришлось бы перерезать ему глотку. Я полон был решимости это сделать.

Дверь отворилась, и от вида моего, заметил я, он словно остолбенел. Я стал спускаться с величайшей поспешностью, не остановившись и не сказав ключнику ни слова, и монах следом за мною. Не замедляя шага, но и не бегом, стал я спускаться по великолепной лестнице, именуемой лестницей Гигантов, и не обращал ни малейшего внимания на голос падре Бальби, что следовал за мною по пятам и без конца повторял и твердил:

— Идемте в церковь.

Церковные врата находились по правую руку, в двадцати шагах от лестницы.

Церкви в Венеции не обладают ни малейшей неприкосновенностью; в них не найдет убежища никто — ни уголовный преступник, ни гражданский; и если стражники получают приказ схватить человека, он отнюдь не станет, дабы воспрепятствовать им, укрываться в церкви. Монах это знал, но выбить из головы его это искушение было свыше сил. После он утверждал, что прибегнуть к алтарю его толкали религиозные чувства и мне следовало их уважать.

— Что ж вы не пошли в церковь один?

— У меня не достало духу вас покинуть.

Неприкосновенность, коей я искал, лежала за пределами границ Светлейшей Республики, и в тот самый миг начал я к ней приближаться; духом я уже достигнул ее, оставалось переместить к духу тело. Направившись напрямик к вратам Карты, главным во Дворце дождей, я, ни на кого не глядя

(тогда и на тебя самого глядят меньше), пересек piazzetta, малую площадь, добрался до набережной, сел в первую же попавшуюся там гондолу и громко сказал гондольеру на корме:

— Мне надо в Фузине, зови живо своего напарника.

Напарник немедля появился; я беззаботно усаживаюсь на подушку посредине, монах садится на банкетку, и гондола не мешкая отчаливает от берега. В немалой степени из-за фигуры монаха, без шляпы и в моем плаще, принимали меня не то за кудесника, не то за астролога.

Как только поравнялись мы с Таможнею, гондольеры мои пустились мощно раздвигать воды большого канала Джудекка: через него можно было попасть и в Фузине, и в Местре — именно туда-то мне и было нужно. Увидев, что находимся мы посредине канала, я высунул голову и спросил у гребца на корме:

— Как ты думаешь, будем ли мы в Местре прежде четырнадцати часов?

— Вы мне велели плыть в Фузине.

— Ты с ума сошел; я тебе сказал — в Местре. Второй гондольер сказал, что я ошибаюсь; и падре Бальби, великий ревнитель истины, тоже сказал, что я заблуждаюсь. Тогда, рассмеявшись, я признаю, что, должно быть, ошибся, но намерен был приказать, чтобы плыли в Местре. Никто из гребцов не против, а гондольер, к которому я обратился, говорит, что готов отвезти меня хоть в Англию.

— В Местре мы будем через три четверти часа, — прибавил он, — ибо вода и ветер помогают нам.

И тут оглянулся я назад, на прекрасный канал и, не заметив на нем ни единой лодки, восхитился замечательнейшим из дней, какого только можно пожелать, первыми лучами дивного солнца, что поднималось из-за горизонта, двумя молодыми гондольерами, что сильно и мощно гнали лодку вперед; еще я подумал о том, какую провел страшную ночь, и о том, где находился накануне, и обо всех благоприятных для меня совпадениях, — и душа моя исполнилась любви и вознеслась к милосердному БОГУ; настолько я был потрясен силою своей благодарности и умиления, что внезапно сердце мое, задыхаясь от избытка счастья, нашло себе путь к облегчению в обильных слезах. Я рыдал, я плакал, как дитя, которое насильно ведут в школу.

Милейший мой спутник, каковой прежде открыл рот лишь для того, чтобы согласиться с гондольерами, почел своим долгом утишить рыдания мои; однако ж прекрасный источник их был ему неведом, и от того, как взялся он за дело, я и вправду перестал плакать, и случился со мною приступ такого немислимого хохота, что он был в полном недоумении, а несколькими днями позже признался, что решил, будто я сошел с ума. Монах сей был глуп и по глупости своей злобен. Я понял, что предо мною тяжкая задача — оборотить глупость его себе на пользу; но глупец чуть было не погубил меня, хотя и не имел никакого к тому намерения. Никак он не желал поверить, что я велел плыть в Фузине, а намерен был попасть в Местре: он утверждал, что мысль эта посетила меня не прежде, чем оказались мы в большом канале.

Мы прибыли в Местре. На почте лошадей не оказалось, однако в трактире делла Кампана, у Колокола, не было недостатка в извозчиках, а они не хуже почтовых. Войдя на конюшню и убедившись, что лошади хороши, сговорился я с возницей, дал ему столько, сколько он запросил, и велел через час с четвертью быть в Тревизо. Не прошло и трех минут, как лошади были заложены, и я, полагая, что падре Бальби стоит у меня за спиной, обернулся и произнес только: Садимся.

Но падре Бальби не было. Я озираюсь, спрашиваю, где он — никто не знает. Я велю мальчику-конюшему пойти поискать его, полный решимости выговорить ему за задержку, даже если отошел он справить естественную нужду: в положении нашем и эту потребность приходилось отложить на потом. Мальчик, вернувшись, говорит, что его нигде нет. Я чувствовал себя, словно приговоренный. Я думаю было, не уехать ли одному; так и надобно было поступить, но я, послушавшись не сильных доводов разума, но слабой привязанности, бегу на улицу, расспрашиваю людей, вся площадь отвечает, что видела его, но никто не может сказать, куда он мог деться; я бегу под аркадами главной улицы, мне приходит мысль сунуть голову в один кофейный дом — и вот я вижу, как он у стойки пьет шоколад и болтает со служанкой. Заметив меня, он говорит, что служанка очень мила и приглашает взять тоже чашку шоколаду, а потом велит заплатить за свою, ибо у него нет ни сольдо. Я, сдержавшись, отвечаю, что не хочу шоколаду, велю ему поторапливаться и так сжимаю ему руку, что он было решил, будто я ему ее сломал. Я заплатил, и он вышел за мною следом. От гнева меня била дрожь. Я направляюсь к карете, что ожидала у дверей трактира, но, не пройдя и десятка шагов, наталкиваюсь на одного жителя Местре по имени Бальбо Томази; человек он был славный, но считался осведомителем Трибунала Инквизиторов. Он замечает меня и, подойдя, восклицает:

— Как, сударь, вы здесь? Счастлив вас видеть. Вы, стало быть, спаслись бегством, как это вам удалось?

— Я не спасался бегством, сударь, меня выпустили на свободу.

— Не может этого быть: вчера вечером был я дома у Гримани на Сан-Поле, мне бы сказали.

Пусть вообразит себе читатель, что творилось у меня на душе в ту минуту; я понимал, что меня



разоблачил человек, которого, как я полагал, наняли, дабы взять меня под стражу, а для этого ему довольно было лишь подмигнуть первому попавшемуся сбиру — Местре так и кишел ими. Велев ему говорить потише, я попросил пройти со мною на задний двор трактира. Он повиновался, а я, убедившись, что никто нас не видит, что рядом со мною канава, а за нею простирается широкое поле, взялся правой рукою за свой эспонтон, а левой — за его воротник. Но он, вырвавшись с большим проворством, перескочил канаву и со всех ног пустился в противоположном от города Местре направлении, время от времени оборачиваясь и посылая мне воздушные поцелуи, означавшие: Доброго пути, доброго пути, будьте покойны. Когда он скрылся из виду, я возблагодарил БОГА, что человек этот сумел вырваться у меня из рук и помешал мне совершить преступление: я бы перерезал ему глотку, а он не замышлял ничего дурного. Я находился в ужасном положении. В полном одиночестве объявил я войну всем силам Республики. Ради предусмотрительности и предосторожности приходилось жертвовать всем. Я положил свой эспонтон обратно в карман.

Угрюмый, как всякий человек, что только что избежал большой опасности, бросил я презрительный взгляд на труса, видевшего, что из-за него приключилось, и уселся в коляску. Тот сел рядом, не осмеливаясь больше заговаривать со мною. Я размышлял, как бы мне избавиться от этого несчастного. Мы прибыли в Тревизо, и я велел почтмейстеру держать для меня наготове пару лошадей, дабы ехать в семнадцать часов; но я вовсе не собирался продолжать путешествие свое на почтовых — во-первых, у меня не было денег, а во-вторых, я опасался погони. Трактирщик спросил, не желаю ли я позавтракать; мне необходимо было поесть, дабы остаться в живых, я умирал от истощения — но не осмелился согласиться. Четверть часа промедления могли стать для меня роковыми. Я боялся, что меня поймут снова, и этого я буду стыдиться всю оставшуюся жизнь, ибо умному человеку ничего не стоит сразиться на лоне природы с четырьмя сотнями тысяч человек, что хотят его отыскать. Если он не сумеет спрятаться, он просто дурак.

Выйдя через ворота Св. Фомы словно человек, отправляющийся на прогулку, и пройдя с милю по проезжей дороге, бросился я в поля с намерением не показываться оттуда, откуда нахожусь в венецианском государстве. Дабы пересечь границы его кратчайшим путем, следовало мне идти на Бассано, однако ж я выбрал самую длинную дорогу: у ближайшего выхода меня могли уже поджидать. Но я не сомневался, что никому и в голову не придет, что я, дабы покинуть пределы государства и попасть под юрисдикцию епископа Трентского, выберу самый длинный путь — на Фельтре.

Прошагав три часа пешком, рухнул я прямо на землю; я решительно больше не мог. Мне надобно было непременно подкрепиться — либо приготовить умереть на месте. Я велел монаху положить рядом со мною плащ и отправляться на видневшуюся вдали мызню, дабы купить за деньги какой-нибудь еды и принести мне сюда. Я дал ему сколько нужно денег, и он пошел исполнять мое поручение, прежде сообщив, что почитал меня помужественней. Бедняга был крепче меня; он тоже не спал, но накануне плотно поел, а нынче выпил шоколаду; к тому ж он был тощ, душу его не терзали осторожность и честь, и он был монах.

Хотя видневшийся дом и не был трактиром, добрая мызница послала мне со своею крестьянкою весьма сносный обед, что обошелся всего в тридцать сольдо. Почувствовав, что скоро меня сморит сон, пустился я снова в путь — направление было мне известно довольно хорошо. Четырьмя часами позже остановился я у какой-то деревушки и узнал, что нахожусь в двадцати четырех милях от Тревизо. Больше я не мог; щиколотки мои распухли, башмаки порвались. Через час должно было зайти солнце. Я улегся под купю деревьев и велел монаху сесть рядом.

— Нам, — объяснил я, — надобно идти в Барго ди Вальсугана, первый город по ту сторону границ венецианского государства. Там будем мы в безопасности, словно в Лондоне, там и отдохнем; но чтобы добраться нам до этого города, каковой лежит во владениях епископа Трентского, подобает взять необходимые предосторожности. Первая из них — расстаться. Вы пойдете через лес Мантелло, а я через горы, вы — самым легким и коротким путем, я — самым трудным и долгим, вы — с деньгами, я — без единого сольдо. Дарю вам свой плащ, обменяйте его на кафтан и шляпу, тогда все станут принимать вас за селянина: по счастью, таков у вас вид. Вот все деньги, что остались у меня от двух цехинов, взятых у графа Асквина, здесь семнадцать лир, берите; вы будете в Борго послезавтра вечером, я — сутки спустя. Вы будете дожидаться меня в первом же трактире по левую руку. В эту ночь необходимо мне выспаться в доброй постели, и с помощью Провидения я ее найду, только мне надобно быть покойным, а с вами я покоен быть не могу. Не сомневаюсь, что сейчас нас уже ищут повсюду, и приметы наши описаны столь хорошо, что в первом же трактире, куда осмелюсь мы войти вместе, нас возьмут под стражу. Вы видите, в каком плачевном состоянии я пребываю и сколь настоятельно мне нужно десять часов отдохнуть. Так прощайте. Ступайте и позвольте мне одному отправиться в здешние окрестности искать ночлега.

— Я ожидал уже, — отвечал монах, — что вы мне все это скажете; но я хочу только напомнить, что вы мне обещали, когда уговаривали проделать в вашей темнице дыру. Вы обещали, что мы больше не расстанемся; и не надейтесь, что я вас покину, ваша судьба отныне будет моею, а моя — вашей. За наши деньги мы найдем себе славный ночлег, а в трактиры не пойдем, и под стражу нас

никто не возьмет.

— Значит, вы твердо решили не следовать доброму совету, что я вам дал?

— Твердо.

— Это мы еще посмотрим.

Тут я поднялся, хоть и не без усилия, смерил его рост, отметил его на земле, а после вытащил из кармана эспонтон, лег на левый бок и начал самым хладнокровным образом рыть ямку, не отвечая ни на какие его вопросы. Покопав с четверть часа, я, печально глядя на него, объявил, что, как добрый христианин, полагаю своим долгом предупредить его, чтобы он препоручил себя Господу.

— Ибо я вас тут закопаю живьем, — продолжал я, — а если вы окажетесь сильнее, то сами меня закопаете. Только тупое ваше упрямство заставляет меня идти на эту крайность. Впрочем, можете спастись бегством, я за вами не побегу.

Он не отвечал ни слова, и я продолжил свой труд. Я начинал уже опасаться, как бы животное это, от которого я решил избавиться, не заставило меня довести дело до конца.

Наконец, то ли поразмыслив, то ли от страха, бросился он рядом со мною. Не зная, что он задумал, выставил я на него острие своего засова — но бояться было нечего. Он обещал сделать все, как я скажу. Тогда я поцеловал его, отдал все свои деньги и подтвердил, что обещаю вновь встретиться с ним в Борго. Хоть и остался я без единого сольдо, хоть и предстояло мне переправиться через две реки, я от души поздравил себя с тем, что сумел избавиться от спутника с подобным нравом. Теперь я уже не сомневался, что мне удастся покинуть Отечество.

1757. ПАРИЖ

## ТОМ V

### ГЛАВА II

Министр иностранных дел. Г-н де Булонь, генерал-контролер. Герцог де Шуазель. Аббат де Лавиль. Пари дю Верне. Учреждение лотереи. Брат мой переезжает из Дрездена в Париж; его принимают в Академию художеств

И вот снова я в достославном Париже и должен, лишась возможности полагаться на опоры в отечестве своем, составить себе здесь состояние. В этом городе провел я прежде два года, но, не имея в ту пору иных забот, кроме как наслаждаться жизнью, я не изучал его. На сей раз принужден я был кланяться тем, у кого гостила слепая Фортуна. Я видел: чтоб преуспеть, должно мне поставить на кон все свои дарования, физические и духовные, свести знакомство с людьми сановными и влиятельными, всегда владеть собой, перенимать мнения тех, кому, как я увижу, надобно будет понравиться. Дабы последовать этим принципам, понял я, должно мне беречься того, что именуют в Париже дурным обществом, отвлечься от прежних своих привычек и всякого рода притязаний, иначе можно нажить врагов, а они с легкостью ославят меня как человека, до важных должностей негодного. Вследствие подобных размышлений положил я за правило соблюдать в поступках и речах сдержанность, дабы казаться более сведущим в серьезных делах, нежели и сам мог бы вообразить. Что до денег, потребных на жизнь, то я мог рассчитывать на сто экю в месяц, каковые непременно будет мне высылать г. де Брагадин. Этого хватит. Оставалось лишь подумать о том, как хорошо одеться и сыскать приличное жилье, но для начала мне требовалась известная сумма — у меня не было ни порядочного платья, ни рубашек.

Итак, на другой день вновь отправился я в Бурбонский дворец. Я наперед знал, что швейцар скажет, будто министр занят, а потому прихватил с собою короткое письмо, которое оставил внизу. В нем извещал я о своем приезде и называл свой адрес. Большого и не требовалось. В ожидании ответа приходилось мне повсюду, куда бы я ни пришел, повествовать о своем побеге — повинность не из легких, ибо рассказ длился два часа, но я принужден был удовлетворять чужое любопытство; ведь причиной ему служил живой интерес, проявляемый к моей особе.

За ужином у Сильвии я был уже спокойнее, нежели накануне, все выказывали мне самое дружеское расположение; красота дочери ее поразила меня. В свои пятнадцать лет она была само совершенство. Я сделал комплимент матери, воспитавшей ее, но не подумал тогда, что следует поберечься; я еще не вполне пришел в себя и не мог вообразить, что ей вздумается испытать на мне силу своих чар. Отклонялся я пораньше: мне не терпелось узнать, что ответит министр на мою записку.

Ответ доставили в восемь часов. Министр писал, что будет свободен в два часа пополудни. Принял он меня так, как я и ожидал. Он не только изъявил удовольствие, что видит меня, одолевшего все невзгоды, но от души обрадовался, что может быть мне полезен. Он сказал, что, узнав из письма М. М. о моем побеге, немедля догадался, что направляюсь я прямо в Париж и именно ему нанесу первый визит. Он показал письмо, в котором сообщала она о моем аресте, и последнее, где излагала историю побега — так, как ей пересказали. Она писала, что отныне утратила надежду увидеть

когда-либо обоих мужчин, которым единственно могла себя верить, и жизнь стала ей в тягость. Она сетовала, что не в силах обрести утешения в религии. К. К., писала она, частенько навещает ее — она несчастна с человеком, за которого вышла замуж.

Просмотрев бегло рассказ М. М. о моем побеге и найдя все обстоятельства его искаженными, обещал я министру отписать, как все было на самом деле. Он поймал меня на слове, уверив, что перешлет рассказ мой нашей несчастной возлюбленной, и самым благородным образом вручил мне сверток с сотней луидоров. Он обещал попомнить обо мне и дать знать, когда ему надобно будет меня видеть. На эти деньги купил я все необходимое, а неделю позже послал ему историю побега, разрешив снимать с нее списки и использовать по его усмотрению, дабы возбудить ко мне участие лиц, что могут оказаться полезны. Три недели спустя, вызвав меня, он сказал, что говорил обо мне с г-ном Эриццо, венецианским посланником, и тот уверял, будто не желает мне зла, но из страха перед Государственными инквизиторами отказывался меня принять. Мне в нем не было ни малейшей нужды. Еще министр сказал, что вручил мою историю г-же маркизе, каковая помнит меня, и он доставит мне случай с нею поговорить; в конце беседы он добавил, что если я представлюсь г-ну де Шуазелю, то найду в нем благосклонный прием, равно как и в генерал-контролере г-не де Булоне, с чьей помощью и при некоторой сообразительности я сумею кое-чего добиться.

— Он сам вас просветит, — сказал он, — и вы увидите, что кого слушают, того и жалуют. Постарайтесь изобрести что-нибудь полезное для государственной казны, только не слишком сложное и исполнимое; коли записка ваша не будет слишком обширна, я вам скажу свое мнение.

Удалился я, исполненный признательности, но весьма озадаченный тем, как изыскать средства для увеличения королевских доходов. О финансах не имел я ни малейшего представления и теперь только терзался понапрасну: в голову приходили одни лишь новые налоги, все они представлялись либо гнусными, либо нелепыми, и я отбрасывал самую мысль о них.

Первый визит мой был к г-ну де Шуазелю, я отправился к нему, едва узнал, что он в Париже. Принял он меня за утренним туалетом, и пока его причесывали, что-то писал. Он был со мною столь учтив, что иногда на миг отрывался от письма и задавал вопрос: я отвечал ему, но все впустую — он не слушал меня и продолжал писать. Иногда он поднимал на меня глаза, но что толку? Глаза глядят, да не слышат. И все же герцог был человек великого ума.

Закончив письмо, он сказал мне по-итальянски, что г-н аббат де Бернис отчасти поведал ему о моем побеге.

— Расскажите же, как вам удалось бежать.

— На это надобно два часа, а Ваше Превосходительство, как мне кажется, не располагает временем.

— Расскажите коротко.

— Два часа надобно, если все сократить.

— Подробности расскажете в другой раз.

— Без подробностей история теряет всякий интерес.

— Отнюдь нет. Укоротить можно что угодно и как угодно.

— Отлично. Тогда слушайте, Ваше Превосходительство: Государственные инквизиторы посадили меня в Пьомби. Через год, три месяца и пять дней я продырявил крышу, проник через слуховое окно в канцелярию, выломал дверь, вышел на площадь, сел в гондолу, что доставила меня на материк, и отправился в Мюнхен. Оттуда прибыл я в Париж и теперь имею честь засвидетельствовать вам свое почтение.

— Но... что такое Пьомби?

— На объяснения. Ваше Сиятельство, надобно четверть часа.

— Как сумели вы продырявить крышу?

— На это полчаса.

— Почему вас поместили на самом верху?

— Еще полчаса.

— Ваша правда — весь смысл в подробностях. Ныне я должен ехать в Версаль. Рад буду при случае видеть вас. Подумайте пока, чем я могу быть вам полезен.

Выйдя от него, отправился я к г-ну де Булоню. Я увидел человека, отличного от герцога всем — наружностью, платьем, обхождением. Прежде всего он поздравил меня с тем, сколь высоко ценит меня аббат де Бернис, и похвалил мои финансовые способности. Я едва удержался, чтобы не прыснуть со смеху. С ним был восьмидесятилетний старец, на вид весьма умный и благородный.

— Сообщите мне ваши планы — хотите изустно, хотите письменно, — сказал он, — во мне вы найдете понятливого и заинтересованного слушателя. Это г-н Пари дю Верне, ему надобно двадцать миллионов на его военное училище. Их следует изыскать, не обременяя государство и не расстраивая королевской казны.

— Один Господь Бог, сударь, может творить из ничего.

— Я не Господь Бог, — отвечал г. дю Верне, — и однако ж иногда мне это удавалось. Но с тех пор много воды утекло.

— Да, я знаю, нынче все переменялось, — возразил я ему, — но все же есть у меня в голове один замысел; операция эта принесла бы Его Величеству доход в сто миллионов.

— А во что станет она королю?

— Ни во что, кроме расходов по сбору денег.

— Стало быть, эти средства доставит народ?

— Да, но сам, по доброй воле.

— Я знаю, что вы задумали.

— Я поистине в восхищении, сударь, ведь мыслями своими я ни с кем не делился.

— Коль завтра вы не званы, приходите ко мне на обед, и я покажу вам ваш проект; он красив, но сопряжен препятствиями почти неодолимыми. Но все же поговорим. Вы придете?

— Почту за честь.

— Итак, жду вас у себя, во дворце Плезанс.

Когда старец удалился, генерал-контролер весьма хвалил его дарования и великую честность. Он был брат Пари де Монмартеля, какового молва втайне считала отцом г-жи де Помпадур, ибо он был любовником г-жи Пуассон в одно время с г-ном Ле Норманом.

Я отправился на прогулку в Тюильри, размышляя над причудами фортуны. Надобно найти двадцать миллионов, говорят мне; я хвастаю, что могу раздобыть сто, сам не зная как, и вдруг прославленный, искушенный в делах муж приглашает меня на обед, дабы убедить, что план мой ему известен. Если он намерен что-то у меня выведать, ему это не удастся, когда же он раскроет карты, тут уж мне самому решать, угадал он или нет; коли пойму, о чем идет речь, может, что и добавлю; если ничего не пойму, буду загадочно молчать.

Аббат де Бернис представил меня финансистом, дабы обеспечить мне благосклонный прием; в противном случае я бы не был принят в свете. Я жалел, что не умею хотя бы изъясняться как финансист. Назавтра, печальный и серьезный, я взял карету и велел кучеру отвезти меня в Плезанс к г-ну дю Верне. Это сразу за Венсенном.

И вот я у дверей сего славного мужа, что сорока годами прежде спас Францию, ввергнутую в пучину невзгод систему Лоу. Войдя, нахожу я его у ярко пылающего камина в окружении семи-восьми гостей. Он представляет меня, именуя другом министра иностранных дел и генерал-контролера, а потом знакомит с этими господами. Трое или четверо из них были интенданты финансов. Я раскланиваюсь и в тот же миг вверяю себя Гарпократу.

Потолковав о том, что лед нынче на Сене толщиной в целый фут, что г-н де Фонтенель недавно скончался, что Дамьен не желает ни в чем признаваться и уголовный процесс этот встанет королю в пять миллионов, все заговорили о войне, отозвавшись с похвалою о г-не де Субизе, которого король поставил главнокомандующим. Отсюда перешли к расходам и средствам поправить дела. Полтора часа провел я в скуке: речи их были просто нашпигованы специальными терминами, и я ровно ничего не понимал. Еще полтора часа провел я за столом, открывая рот единственно для того, чтобы есть; затем перешли мы в залу, и тут г. дю Верне покинул гостей и провел меня вместе с приятной наружности мужчиной лет пятидесяти в кабинет. Мужчину, которого он мне представил, звали Кальзабиджи. Минуту позже туда вошли также два интенданта финансов. Г-н дю Верне с учтивой улыбкой вручил мне большую тетрадь и произнес:

— Вот ваш проект.

Прочитав на обложке: «Лотерея на девяносто номеров, из которых при ежемесячных тиражах выигрывают не более пяти» и т. д. и т. п., я возвращаю рукопись и без малейших колебаний объявляю, что это мой проект.

— Вас опередили, сударь, — говорит он, — проект этот представил г. де Кальзабиджи, он перед вами.

— Счастлив, сударь, что мнения наши совпали; но могу ли я узнать, по какой причине вы его отвергли?

— Против него выдвинуто было множество весьма правдоподобных доводов и ясных возражений на них не нашлось.

— Есть только один довод на свете, — отвечал я холодно, — каковой заставит меня умолкнуть: это если Его Величеству не угодно будет позволить своим подданным играть.

— Этот довод не в счет. Его Величество дозволит, но станут ли подданные играть?

— Не понимаю, отчего вы сомневаетесь: пусть только народ будет уверен, что, если выиграет, то получит деньги.

— Хорошо. Допустим, убедившись, что деньги выплатят, они станут играть. Но откуда взять обеспечение?

— Королевская казна. Указ Совета. Мне довольно, если будут считать, что Его Величество в состоянии уплатить сто миллионов.

— Сто миллионов? — Да, сударь. Надо всех ошеломить.

— Стало быть, вы полагаете, что король может проиграть?

— Допускаю; но сперва он получит сто пятьдесят миллионов. Вы знаете, что такое

политический расчет, и должны исходить из этой суммы.

— Милостивый государь, я не могу решать за всех. Согласитесь, при первом же тираже король, быть может, потеряет громадные деньги.

— Между тем, что возможно, и тем, что произошло, — расстояние бесконечное, но допустим. Если король проиграет при первом тираже большую сумму, успех лотереи обеспечен. О такой беде можно только мечтать. Силы человеческой природы рассчитываются, словно вероятности в математике. Как вам известно, все страховые общества богаты. Перед всеми математиками Европы я вам докажу, что единственно воля Господня может помешать королю получить на этой лотерее доход один к пяти. В этом весь секрет. Согласитесь, математическое доказательство для разума непреложно.

— Согласен. Но скажите, отчего бы не завести ограничительного реестра, Casteletto, дабы Его Величеству был обеспечен верный выигрыш?

— Никакой реестр не даст вам ясной и абсолютной уверенности в том, что король всегда останется в выигрыше. Ограничения позволяют сохранять лишь относительное равновесие: когда все ставят на одни и те же номера, то ежели номера эти выпадут, случится великий ущерб. Дабы уберечься от него, их объявляют «закрытыми». Но Casteletto может дать уверенность в выигрыше, только если откладывать тираж, пока все шансы не уравниваются. Но тогда лотерея не состоится, ибо тиража этого прождать можно с десятков лет, а, кроме того, позвольте вам заметить, сама лотерея превратится в форменное надувательство. Позорного этого титула позволит избежать единственно непреложный ежемесячный тираж — тогда публика будет уверена, что и противная сторона может проиграть.

— Не будете ли вы так любезны, чтобы выступить перед Советом?

— С удовольствием.

— И ответить на все возражения?

— Все до единого.

— Не угодно ли вам будет принести мне ваш план?

— Я представляю его, сударь, только когда предложение мое будет принято и я буду уверен, что его пустят в дело, а мне доставят те преимущества, какие я попрошу.

— Но ведь ваш план и тот, что лежит здесь, — одно и то же.

— Не думаю. В своем проекте я вывожу, сколько приблизительно дохода получит Его Величество в год, и привожу доказательство.

— Тогда можно будет продать лотерею какой-нибудь компании, а она станет выплачивать королю определенную сумму.

— Прошу прощения. Процветание лотереи зиждется только на силе предрассудка; он должен действовать безотказно. У меня нет желания участвовать в деле ради того, чтобы услужить некоему сообществу, каковое, желая увеличить доход, решит умножить число тиражей и ослабит к ним интерес. Я в этом убежден. Коли мне придется участвовать в лотерее, она будет либо королевской, либо ее не будет вовсе.

— Г-н де Кальзабиджи того же мнения.

— Весьма польщен.

— Есть ли у вас люди, что умеют вести реестры?

— Мне надобны одни только числительные машины, коих не может не быть во Франции.

— А каков, вы полагаете, будет выигрыш?

— Двадцать сверх ста от каждой ставки. Тот, кто уплатит королю шестифранковый эю, получит обратно пять, наплыв же будет такой, что *ceteris paribus* \* народ станет платить государю, по меньшей мере, пятьсот тысяч франков в месяц. Все это я докажу Совету — при условии, что члены его, признав истинность математических либо политических расчетов, уже не будут более увливать.

Довольный, что могу поддержать разговор о том, во что ввязался, я поднялся, дабы кой-куда сходить.

Вернувшись, я увидел, что все они стоят и обсуждают меж собою лотерею. Кальзабиджи, приблизившись ко мне, спросил приветливо, можно ли, по моему проекту, ставить на четыре цифры. Я отвечал, что публика вправе ставить хоть на пять номеров и что проект мой еще сильнее повышал ставки, ибо тот, кто играет «квинту» и «кватерну», должен непременно ставить и на «терну». Он сказал, что сам предусматривал простую «кватерну» с выигрышем пятьдесят тысяч к одному. Я мягко возразил, что во Франции много изрядных математиков, каковые, — обнаружив, что выигрыш различен для разных ставок, — изыщут способ для злоупотреблений. Тут он пожал мне руку, говоря, что желает со мною встретиться и все обсудить. Оставив адрес свой г-ну дю Верне, я на закате удалился, радуясь, что произвел на старика изрядное впечатление.

Тремя или четырьмя днями позже явился ко мне Кальзабиджи. Я уверил его, что не пришел сам, для того только, что не решился его беспокоить. Не обинуясь, он сказал, что я своими речами весьма поразил этих господ, и, по его убеждению, если бы мне угодно было похлопотать перед генерал-контролером, мы могли бы устроить лотерею и извлечь из того немалые выгоды.

— Без сомнения — отвечал я. — Однако ж сами они должны извлечь выгоду еще большую, и все же не торопятся; они не посылали за мною; а впрочем, мне есть чем заняться и кроме лотереи.

— Сегодня вы получите от них известия. Я знаю, что г. де Булонь говорил о вас с г-ном де Куртеем.

— Уверяю вас, я его об этом не просил. Учтивейшим образом позвал он у него отобедать, и я согласился. Мы как раз выходили из дому, когда получил я записку от аббата де Берниса, извещавшего, что, если завтра смогу я явиться в Версаль, он доставит мне случай говорить с маркизой; там же повстречаю и г-на де Булоня.

Записку я показал Кальзабиджи — не из тщеславия, но для пользы дела. Он сказал, что в моей власти даже и понудить дю Верне устроить лотерею.

— И коли вы не настолько богаты, чтобы презирать деньги, то обеспечите себе состояние. Вот уже два года мы изо всех сил стараемся довести дело до конца, а в ответ слышим одни только дурацкие возражения, каковые на прошлой неделе вы обратили в дым. Проект ваш конечно же имеет большое сходство с моим. Поверьте мне, и соединим наши усилия. Не забудьте — действуя в одиночку, вы столкнетесь с необоримыми трудностями: числительных машин, что вам нужны, в Париже не найти. Все тяготы сего предприятия возьмет на себя мой брат; убедите Совет, а дальше согласитесь получать половину доходов от управления лотереей и наслаждаться жизнью.

— Стало быть, проект принадлежит вашему брату.

— Да. Брат мой болен, но голова у него светлая. Мы сейчас зайдем к нему.

Я увидел человека, лежавшего в постели и с ног до головы покрытого лишаями; это, однако, не мешало ему с отменным аппетитом есть, писать, беседовать и во всех отношениях вести себя так, словно он был здоров. Он никому не показывался на глаза, ибо не только был обезображен лишаями, но и принужден беспрестанно чесаться то тут, то там, что в Париже почитается отвратительным; этого не прощают никогда, чешется ли человек по причине болезни, либо по взятому дурному обыкновению. Кальзабиджи сказал, что он так и лежит и никого не принимает, ибо кожа у него зудит и нет для него иного облегчения, чем вволю почесаться.

— Господь даровал мне ногти именно с этой целью, — сказал он.

— Вы, стало быть, верите в конечные причины, поздравляю. Однако ж осмелюсь предположить, что когда бы даже Господь и забыл даровать вам ногти, вы бы все равно чесались.

Тут он улыбнулся, и мы заговорили о деле. Не прошло и часу, как я убедился в великом его уме. Он был старший из братьев и холостяк. Прекрасный математик, он знал до тонкостей теорию и практику финансов, разбирался в торговых делах любой страны, был сведущ в истории, остроумен, обожал прекрасный пол и писал стихи. Родился он в Ливорно, служил в Неаполе при министерстве, а в Париж приехал вместе с г-ном де Л'Опиталем. Брат его был тоже человек весьма искусный, но уступал ему во всем.

Он показал мне кипу бумаг, где в подробностях изъяснил все, относящееся до лотереи.

— Если, по-вашему, вы сумеете без меня обойтись, поздравляю, однако вы только зря потешите свое самолюбие — опыта у вас нет, а без людей, искушенных в делах, теория ваша нисколько вам не поможет. Что вы станете делать, добившись указа? Когда будете докладывать дело в Совете, лучше всего вам было бы назначить им срок, по истечении которого вы умываете руки. Иначе они будут тянуть до второго пришествия. Уверяю вас, г. дю Верне будет рад, коль мы объединимся. Что же до математических расчетов равных шансов для всех ставок, то я вам докажу, что для «квартиры» их учитывать не надобно.

В твердом убеждении, что с ними надо быть заодно, но не показывать своей в том нужды, спустился я вниз вместе с младшим братом, каковой перед обедом хотел представить меня своей супруге. Я увидел старуху, что была известна во всем Париже под именем генеральши Ламот, славилась былою красотой и своими целебными каплями, и еще женщину в летах, каковую в Париже звали баронессой Бланш и каковая и теперь была любовницей г-на де Во; и еще одну, по прозванию Президентша, и еще, прекрасную, как ангел, — ее звали г-жою Радзетти. Она была уроженка Пьемонта, жена скрипача из Оперы и тогдашняя подружка г-на де Фонпертюи, интенданта королевских увеселений, а также многих других. Впервые за обедом голова у меня была занята важным делом. И я не только не блистал, но не раскрыл рта. Вечером у Сильвии я также всем показался рассеянным, несмотря на любовь, что все сильнее пробуждала во мне юная Баллетти.

На другой день отправился я спозаранок в Версаль, министр, г. де Бернис, встретив меня, весело сказал, что готов биться об заклад — без него я бы так и не узнал о своих талантах финансиста.

— Г. де Булонь сказал, что вы привели в изумление г-на дю Верне, одного из величайших мужей Франции. Отправляйтесь тотчас к нему, а в Париже будьте с ним пообходимейшей. Лотерею учредят, вам остается только извлечь из нее выгоду. Как только король отправится на охоту, будьте возле малых покоев, и когда случится благоприятный момент, я укажу на вас г-же маркизе. После ступайте в Министерство иностранных дел и представьтесь аббату де Лавиллю, начальнику канцелярии — он примет вас со всей благосклонностью.

Г. де Булонь обещал, что как только г-н дю Верне даст знать о согласии Совета Военного училища, он подготовит указ об учреждении лотереи и приглашал впредь сообщать и другие мои замыслы, буде таковые возникнут.

В полдень г-жа де Помпадур прошла в малые покои вместе с принцем де Субизом и моим покровителем, каковой сразу же обратил на меня внимание сиятельной дамы. Сделав согласно этикету реверанс, она сказала, что с большим интересом прочла историю моего побега.

— Эти господа, что из тех краев — весьма опасны, — заметила она с улыбкой. — Вы бываете у посла?

— Наилучший способ для меня выказать ему свое почтение — это не бывать у него вовсе.

— Надеюсь, теперь вы решите обосноваться у нас.

— Я могу только мечтать о таком счастье, но мне надобно покровительство. В вашей стране, я знаю, его оказывают единственно людям даровитым, и это приводит меня в уныние.

— Думаю, тревожиться вам не о чем — у вас есть добрые друзья. Рада буду при случае оказаться вам полезной.

Аббат де Лавиль принял меня отменно и, прощаясь, уверил, что вспомнит обо мне при первой возможности. Я отправился подкрепиться в трактир, там приблизился ко мне некий аббат и самым любезным образом осведомился, не угодно ли мне будет отобедать с ним. Учтивость не позволила мне отказаться. Садясь за стол, он поздравил меня с тем, какой прекрасный прием оказал мне аббат де Лавиль.

— Я сидел там и писал письмо, — сказал он, — но слышал почти все его любезные речи. Осмелюсь ли спросить, кто доставил вам расположение достойнейшего аббата?

— Если это вас так интересует, господин аббат, я не премину удовлетворить ваше любопытство.

— О, вовсе нет! Прошу меня извинить. После сей выходки мы говорили лишь о делах посторонних и приятных. Отправившись вместе в наемной карете в Париж, мы прибыли туда в восемь и расстались, представившись друг другу и обещав обменяться визитами. Он вышел на улице Добрых детей, а я отправился ужинать к Сильвии на улицу Маленького Льва. Та, женщина основательная, поздравила меня с новыми знакомствами и посоветовала всячески поддерживать их.

Дома обнаружил я записку от г-на дю Верне, каковой просил меня быть завтра в одиннадцать часов в Военном училище. В девять явился ко мне Кальзабиджи и принес от брата большую таблицу с математическим обоснованием всей лотереи, дабы я мог доложить дело в Совете. То был расчет вероятностей, постоянных и переменных величин — доказательство того, что я пытался обосновать. Суть состояла в том, что, если б в лотерее тянули не пять, но шесть номеров, шансы на выигрыш и проигрыш были бы равны. Но тянули пять, а потому всякий шестой номер — то есть семнадцать из девяноста имеющихся номеров — непременно должен был принести доход устроителям. Из этого следовало, что проводить лотерею из шести номеров невозможно, ибо расходы на нее составляют сто тысяч экю.

Получив подобные наставления и убедившись, что должен в строгости им следовать, отправился я в Военное училище: заседание тотчас началось. На него приглашен был г. д'Аламбер как величайший знаток всех областей математики. В его присутствии не было бы нужды, будь г. дю Верне один; но многие тугодумы не желали признавать действительность политических расчетов и отрицали очевидное. Заседание продолжалось три часа.

Мои рассуждения заняли всего полчаса; затем г. де Куртей подытожил сказанное мною, и следующий час прошел в пустых возражениях, которые я все с легкостью отклонил. Я изъяснил, что искусство расчетов состоит в нахождении одной-единственной формулы, выражающей взаимодействие нескольких величин, и что определение это равно справедливо и для морали и для математики. Я убедил их, что в противном случае не было бы на свете страховых обществ, богатых и процветающих, каковые смеются над превратностями фортуны и над робкими душами, боящимися ее. Под конец я объявил, что нет в мире честного и сведущего человека, который мог бы обещать, что под началом его лотерея станет приносить доход каждый тираж, а коли найдется таковой смельчак, его следует прогнать либо он не исполнит свои обещания, либо исполнит, но окажется плутом.

Г. дю Верне, поднявшись, заключил, что в крайнем случае всегда можно будет лотерею упразднить. Подписав бумагу, заготовленную г-ном дю Верне, господа эти удалились. Назавтра пришел ко мне Кальзабиджи и сказал, что дело сделано и остается только ждать указа. Я обещал ему наведываться всякий день к г-ну де Булоню и добиться для него должности управляющего лотереей, как только узнаю у г-на дю Верне, что причитается мне самому.

Предложили мне шесть контор по продаже билетов и пенсию в четыре тысячи франков от доходов с лотереи; я без колебаний согласился. То были проценты от ста тысяч франков, каковые я мог бы забрать, отказавшись от контор, — капитал этот служил мне залогом.

Указ Совета вышел неделю спустя. Управляющим назначен был Кальзабиджи; жалованья ему положили три тысячи франков за каждый тираж и еще годовую пенсию в четыре тысячи франков, как и мне, и предоставили главную лотерейную контору в особняке на улице Монмартр. Из шести своих

контор пять я тотчас продал, по две тысячи франков за каждую, а шестую, на улице Сен-Дени, открыл, роскошно обставив, посадив в ней приказчиком своего камердинера. То был молодой смысленый итальянец, прежде служивший камердинером у принца де Ла Католика, неаполитанского посланника. Назначен был день первого тиража и объявлено, что уплата выигрышей будет производиться через неделю в главной конторе.

Не прошло и суток, как я вывесил объявление, что выигрыши по билетам, на коих стоит моя подпись, будут выплачиваться в конторе на улице Сен-Дени на другой день после тиража. В результате все пожелали играть в моей конторе. Доход мой составлял шесть процентов от сбора. Пятьдесят или шестьдесят приказчиков из других контор по глупости своей отправились жаловаться на меня Кальзабиджи. Тот отвечал, что они вольны отплатить мне тем же, но для этого надобны деньги.

В первый тираж сбор мой составил 40 тысяч ливров. Через час после тиража приказчик принес мне расходную книгу и показал, что мы должны уплатить от семнадцати до восемнадцати тысяч ливров, причем все за «амбы»; я выдал ему деньги. Приказчик мой разбогател, ибо, хоть и не просил, а получал чаевые от каждого клиента, я отчета с него не требовал. Лотерея принесла дохода на 600 тысяч, при общем сборе в два миллиона. Один только Париж выложил 400 тысяч ливров. На другой день обедал я у г-на дю Верне вместе с Кальзабиджи, и мы с удовольствием слушали его сетования, что выигрыш слишком велик. На весь Париж выиграли всего 18–20 «терн» — ставки небольшие, но составившие тем не менее лотерее блестящую репутацию. Страсти разгорались, и мы поняли, что второй тираж даст двойной сбор. За столом, к немалому моему удовольствию, все стали в шутку бранить меня за проделанную мною операцию. Кальзабиджи уверял, что ловкий этот ход обеспечил мне ренту в 120 тысяч франков, разорив всех прочих сборщиков. Г. дю Верне отвечал, что частенько сам проделывал подобные штуки, и остальные сборщики вправе поступить так же — это только повысит престиж лотереи. Во второй раз «терна» на 40 тысяч ливров заставила меня одалживать деньги. Сбор принес 60 тысяч, но накануне тиража я обязан был сдавать кассу биржевому маклеру. В знатных домах, где я бывал, в фойе театров все, едва завидев меня, совали мне деньги и просили поставить за них как мне заблагорассудится и дать билеты, ибо они в том ничего не смыслят. Я носил с собой билеты на большие и малые суммы, предлагал их на выбор и возвращался домой с карманами, полными золота. Другие сборщики подобной привилегией не пользовались — то были не те люди, каких принимают в свете. Я один разъезжал в карете, это создавало мне имя и открывало кредит. В Париже всегда встречали, встречают и теперь по одежке; нет на свете другого места, где было бы так просто морочить людей. Но теперь, когда читатель вполне осведомлен о лотерее, я стану упоминать о ней только при случае.

Спустя месяц после приезда моего в Париж мой брат Франческо, художник, тот самый, с которым покинули мы этот город в 1752 году, прибыл из Дрездена с г-жою Сильвестр. Четыре года снимал он копии с лучших батальных полотен знаменитой Дрезденской галереи. Свиделись мы с радостью, но когда я предложил ему использовать свои связи в высшем свете, дабы доставить ему место в Академии, он отвечал, что не нуждается в протекции. Он написал картину, изображающую битву, выставил ее в Лувре и был единогласно принят в Академию, каковая дала за его полотно 12 тысяч ливров. Став академиком, брат мой прославился и за двадцать шесть лет заработал почти миллион, но роскошества и два неудачных брака разорили его.

### ГЛАВА III

Граф Тирета из Тревизо. Аббат де Ла Кост. Ламбертини, лжеплемянница папы. Прозвище, коим награждает она Тирету. Тетка и племянница. Беседа у камина. Казнь Дамьена. Оплотность Тиреты. Гнев г-жи ХХХ, примирение. Я познаю счастье с м-ль де ла М-р. Дочь Сильвии. М-ль де ла М-р выходит замуж, я ревную и принимаю отчаянное решение. Счастливая перемена

В начале марта предстал передо мною красивый юноша в сюртуке, приветливого, честного и благородного вида и с письмом в руке. Однако ж по тому, как он мне его подает, я враз примечаю, что он венецианец. Я распечатываю письмо — о радость! Оно было от любимой моей и почтенной г-жи Мандзони. Она рекомендовала мне подателя сего, графа Тирету из Тревизо, каковой сам поведаёт печальную свою историю, и посылала шкатулку, в которой, писала она, найду я свои бумаги; она не сомневалась, что нам не суждено больше свидеться.

Я тотчас поднялся и сказал, что если он рассчитывает на мою помощь, то лучшей рекомендации ему не сыскать.

— Скажите же, господин граф, чем я могу быть вам полезен.

— Я нуждаюсь в вашей дружбе. В прошлом году городской совет доверил мне опасную должность. Вместе с двумя другими дворянами моих лет меня сделали хранителем ссудной казны. По причине карнавальнх увеселений случилась у нас нужда в деньгах, и мы позаимствовали некую толику из кассы, надеясь вернуть все прежде, чем придется держать ответ. Надежды наши были напрасны. У двух моих товарищей отцы были побогаче моего и, немедля уплатив, вызволили их, я же



заплатить не мог и решился бежать. Г-жа Мандзони посоветовала мне броситься к вам в объятия и велела отвезти шкатулку: сегодня же она будет у вас. Прибыл я вчера, с лионским дилижансом; осталось у меня всего два луи, рубашки есть, а платье только то, что на мне. Мне двадцать пять лет, у меня железное здоровье, я полон решимости сделать все, чтобы жить, как подобает честному человеку; но я ничего не умею делать и нет у меня никаких дарований, разве что для своего удовольствия играю на флейтраверсе; других языков, кроме родного, я не знаю, о литературе не имею понятия. Что вам со мною делать? И еще скажу вам, что не тешу себя надеждой получить от кого-нибудь поддержку и менее всего от отца, каковой, дабы спасти честь семьи, распорядится моей долей наследства; о ней мне придется забыть.

Недолгая эта повесть подивила меня, но искренность понравилась. Я велел ему тотчас доставить свои пожитки в соседнюю со мной комнату, что была свободна, и сказать, чтобы принесли поесть.

— Платить вам за это не придется, дорогой граф, а я пока подумаю, что могу сделать для вас. Завтра поговорим. Я у себя никогда не обедаю. А теперь прощайте, у меня много дел; если же отправитесь гулять, берегитесь дурных знакомств, а главное, ничего о себе не рассказывайте. Полагаю, вы любите карты?

— Ненавижу, в них одна из причин моего разорения.

— А была и другая?

— Женщины.

— Женщины? Они для того и созданы, чтобы платить вам.

— Дай мне Бог встретить хоть одну такую. У нас там сплошь оборванки.

— Если вы не слишком щепетильны, в Париже вас ждет успех.

— Что значит щепетильны? Я никогда не стану сводником.

— Ну разумеется. Щепетильным я именую того, кто нежен только по любви, кому претит обнимать какую-нибудь старую развалину.

— Если дело только в этом, то я не щепетильны. Я готов полюбить богачку, и пусть она будет страшна, как смертный грех.

— Bravo. Вы на верном пути. Собираетесь ли вы отправиться к послу?

— Боже меня сохрани.

— Весь Париж теперь в трауре. Поднимитесь на третий этаж, там найдете портного. Закажите у него черный фрак и передайте от моего имени, что он вам нужен к завтрашнему утру. Прощайте.

Возвратившись к полуночи, я обнаружил в комнате шкатулку, где хранил письма и любезные сердцу миниатюры. Никогда во всю жизнь не отдал я в залог табакерки, не вынув из нее портрета. На другой день Тирета явился ко мне весь в черном.

— Вот видите, — сказал я, — как быстро все делается в Париже?

В эту минуту докладывают мне об аббате де ла Косте. Имени этого я не помнил, но велел звать. Предо мною тот самый аббат, что приметил меня у аббата де Лавиля. Я прошу извинить, что по недостатку времени не явился с визитом сам. Он хвалит мою лотерею и говорит, что слышал, будто бы я распродал в отели Келана билетов на две тысячи экю.

— Да, у меня в карманах их всегда на тысяч восемь или десять.

— Я тоже возьму на тысячу экю.

— Когда вам будет угодно. В моей конторе вы можете выбрать номера.

— Да мне все равно. Дайте, какие есть.

— Охотно. Прошу вас, выбирайте. Он выбирает и просит у меня бумаги и чернил, чтобы оставить расписку.

— О расписке не может быть и речи, — говорю я с улыбкой и отнимаю назад билеты, — я продаю только за наличные.

— Я вам принесу деньги завтра.

— Завтра же вам будут и билеты: они все записаны в конторе, и я не могу поступать иначе.

— Дайте тех, что нигде не записаны.

— Таких нет — ведь если они выиграют, мне придется платить из собственного кармана.

— Полагаю, вы могли бы рискнуть.

— А я так не полагаю.

Тут он заговаривает с Тиретой по-итальянски и предлагает представить его г-же де Ламбертини, вдове папского племянника. Я говорю, что поеду с ним, и мы отправляемся.

Мы выходим у дома ее на улице Кристин. Передо мною женщина на вид молодая, но я даю ей лет сорок: худощавая, черноглазая, живая, взбалмошная, очень смешливая, в общем, вполне еще привлекательная. Разговорив ее, я тотчас понимаю, что никакая она не вдова и не папская племянница, а искательница приключений из Модены. Тирете, как я вижу, она приглянулась. Она желает пригласить нас на обед, но мы просим нас извинить. Остается один Тирета. Высадив аббата на набережной Ферай, я отправляюсь обедать к Кальзабиджи.

После обеда он отвел меня в сторону и сказал, что г-н дю Верне велел предупредить меня, что

распродавать билеты от себя не дозволено.

— Стало быть, он держит меня за дурака либо за мошенника. Я буду жаловаться г-ну де Булоню.

— И напрасно; предупредить еще не значит обидеть.

— Вы сами оскорбляете меня, передавая подобные вещи. Но больше этому не бывать!

Он успокаивает меня и убеждает пойти вместе с ним к г-ну дю Верне. Честный старик, увидав, что я в гневе, просит у меня прощения и говорит, что некий аббат де ла Кост сообщил, будто бы я позволяю себе подобные вольности. Больше мне не доводилось встречать этого аббата; он был тот самый, которого спустя три года отправили до конца его дней на галеры за то, что он продавал билеты лотереи Треву, никогда не существовавшей.

На другой день после аббата визита зашел ко мне Тирета, только вернувшийся домой. Он сказал, что провел ночь с папской племянницей и что та, по всему судя, осталась им довольна, ибо предложила приютить его и содержать, при условии, что он скажет г-ну ле Нуару, ее любовнику, что доводится ей кузеном.

— Она уверяет, — прибавил он, — что господин этот найдет мне службу по откупам. Я отвечал, что я ваш близкий друг и не могу решиться, не испросив у вас совета. Она заклинала пригласить вас на обед в воскресенье к ней.

— Приду с удовольствием.

Я обнаружил, что женщина эта без ума от моего друга и окрестила его граф де Шестьраз; с тех пор в Париже его звали только так. Признав в нем господина подобного ленного имения, каковое слывет во Франции невероятным, она пожелала стать его госпожой. Живописав ночные его подвиги, как если б я был давнишний ее друг, она объявила, что хочет поместить юношу у себя и что г-н ле Нуар согласен и даже рад будет видеть ее кузена. Она ждала его к вечеру, и ей не терпелось представить Тирету.

После обеда она вновь завела разговор о достоинствах моего соотечественника, начала с ним заигрывать, и он, желая убедить меня в своей доблести, отдал ей должное в моем присутствии. Зрелище это не произвело на меня ни малейшего впечатления, но, увидав необычайное телосложение моего друга, я признал, что он может рассчитывать на успех повсюду, где только водятся любострастные женщины.

В три часа приехали две престарелые дамы, завзятые картежницы. Ламбертини представила им г. де Шестьраза, своего кузена. Знатное сие имя пробудило к нему особый интерес, тем паче, когда выяснилось, что бормочет он слова, какие никак нельзя разобрать. Хозяйка не преминула поведать на ушко подругам, каково происхождение сего прекрасного титула, и похвалиться необыкновенными богатствами его обладателя. «Невероятно!», восклицали матроны, лорнируя Тирету, а тот всем видом своим говорил: «Сударыни, и не сомневайтесь».

Подъезжает фиакр. Я вижу полную немолодую уже даму, племянницу, донельзя хорошенькую, и бледного человека в черном костюме и круглом парике. После объятий и поцелуев Ламбертини представляет им своего кузена Шестьраза, они дивятся подобному имени, но от суждений воздерживаются; замечают только, что весьма редко увидишь человека, который осмеливается жить в Париже, не зная ни слова по-французски, да еще непрестанно что-то лопочет, хотя никто его не понимает и все смеются. Ламбертини усадила всех за брелан; меня она не слишком уговаривала, но пожелала, чтоб дорогой кузен сидел рядом и играл с ней на пару. В картах он ничего не смыслит, но не беда, научится, она будет его наставницей. Прелестная барышня ни во что играть не умеет, и я предлагаю составить ей компанию у камелька. Тетка, смеясь, говорит, что вряд ли я найду такой предмет для беседы, чтобы заинтересовать девушку, но я должен быть снисходителен — она только месяц, как покинула монастырь.

Итак, едва игра началась, я уселся напротив нее у камина. Она первой нарушила молчание, спросив, кто тот красивый господин, что не знает по-французски.

— Он дворянин, мой соотечественник и покинул родину из-за дела чести. По-французски он станет говорить, как только выучится, и тогда уже никто не станет над ним потешаться. Я сожалею, что привел его сюда, мне его испортили меньше чем за сутки.

— Каким образом?

— Не смею сказать, вашей тете это может не понравиться.

— Я не собираюсь ни о чем ей докладывать, но, верно, любопытство мое неуместно.

— Мадемуазель, я виноват перед вами, но раскаиваюсь и потому скажу вам все. Г-жа Ламбертини переспала с ним и наградила его дурацким именем Шестьраз. Вот так. Мне досадно, ибо прежде он шалопаем не был.

Мог ли я предполагать, что в доме Ламбертини встречу девицу честную, благородную и совсем неопытную? К моему удивлению, лицо ее покрылось краской стыда. Я не верил своим глазам. Спустя две минуты она задает мне поразительный вопрос — такого я никак не ожидал:

— А что общего между Шестьразом и тем, что он переспал с госпожой?

— Он проделал шесть раз подряд то, чего от честного мужа дожدهшься только раз в неделю.

— И вы думаете, я настолько глупа, что стану все это пересказывать тете?

— Но есть и другая причина моей досады.

— Подождите, я сейчас вернусь.

Выйдя на минутку — по всему судя, от милой этой истории ей приспичило, она вернулась и постояла за тетиным стулом, разглядывая нашего героя, а потом, вся пылая, села на прежнее место.

— Так что еще, вы говорили, вас удручило?

— Смею ли я быть до конца откровенным?

— Вы уже столько сказали, что, мне кажется, вам нечего стесняться.

— Так знайте, что сегодня после обеда она принудила его проделать это в моем присутствии.

— Но раз вам это не понравилось, значит, вы приревновали.

— Отнюдь нет. Я почувствовал себя униженным из-за одного обстоятельства, о котором не смею упомянуть.

— Вы, верно, смеетесь надо мною, говоря «я не смею».

— Боже упаси, мадемуазель. Я увидал, что друг мой длинней меня на два дюйма.

— Мне кажется, совсем напротив, это вы выше его на два дюйма.

— Речь не о росте, а о совсем ином размере, каковой вы можете себе вообразить: у друга моего он чудовищный.

— Чудовищный! А вам какое дело? Что хорошего быть чудовищем?

— Истинная правда, однако ж многие женщины в этом отношении на вас не похожи, им по нраву чудовища.

— Я не вполне ясно представляю сей предмет и не могу взять в толк, какой размер называете вы чудовищным. К тому же мне странно, что вы могли из-за этого испытать унижение.

— Разве по мне скажешь?

— Когда я вошла и увидела вас, я ни о чем таком не думала. На вид вы сложены превосходно, но если вы сами знаете, что это не так, мне вас жаль.

— Пожалуйста, судите сами.

— Да это вы чудовище, я вас боюсь.

Тут она ушла и встала за тетиным стулом, но я не сомневался, что она вернется — не хватало еще, чтобы я и впрямь почел ее дурочкой или невинной! Я полагал, что она только притворяется, и, не желая вникать, хорошо или скверно играет она свою роль, был в восторге, что так удачно этой ролью воспользовался. Она пыталась меня одурачить, я наказал ее и, поскольку она мне приглянулась, был доволен, что наказание мое, очевидно, пришлось ей по душе. Мог ли я сомневаться в ее уме? Весь наш разговор вела она, мои слова и поступки проистекали из внешне благовидных ее замечаний.

Пятью-шестью минутами позже толстуха тетка, проиграв, объявила племяннице, что та приносит ей несчастье и не умеет себя вести, раз оставила меня одного. Та ничего не отвечала и с улыбкою воротилась ко мне.

— Когда бы тетя знала, что вы натворили, — сказала она, — она бы не стала упрекать меня в невежливости.

— Если б вы знали, как я удручен! В знак своего раскаяния я даже готов покинуть вас. Вы довольны?

— Если вы уйдете, тетя скажет, что я дурочка, что я вам наскучила.

— Тогда остаюсь. Так вы и впрямь прежде не представляли себе того, что я решил вас показать?

— Только очень смутно. Всего месяц, как тетя забрала меня из Мелена, — я воспитывалась в монастыре с восьми лет, а теперь мне семнадцать. Меня уговаривали принять постриг, но я не согласилась.

— Вы не сердитесь на меня за то, что я сделал? Если я согрешил, то по простодушию.

— Мне не на что обижаться, я сама виновата. Прошу вас только никому ничего не рассказывать.

— В моей скромности вы можете не сомневаться, это в моих интересах.

— Ваш урок пригодится мне на будущее. Но вы опять за свое! Прекратите или я уйду.

— Оставайтесь, уже все. Смотрите, здесь, на платке, верный знак моей улады.

— Что это?

— Вещество сие, попав в надлежащую печь, спустя девять месяцев выйдет из нее мальчиком либо девочкой.

— Понимаю. Вы отличный наставник. И излагаете все с таким видом, будто вы школьный учитель. Должна ли я благодарить вас за усердие?

— Вовсе нет. Вы должны простить меня, ибо я никогда бы не совершил ничего подобного, когда б не влюбился в вас с первого взгляда.

— Как мне это понимать — как объяснение в любви?

— Да, ангел мой. Пусть оно дерзко, зато не оставляет места сомнению. Когда б не страстная

моя любовь к вам, я был бы негодяй и заслуживал смерти. Смею ли я надеяться на взаимность?

— Я ничего не знаю. Знаю только, что теперь должна ненавидеть вас. Менее чем в час заставили вы меня пройти путь, каковой, я думала, совершают лишь после замужества. Я стала как нельзя более сведущей в том, о чем прежде боялась и думать. И раскаиваюсь, что позволила себя соблазнить. А отчего случилось, что теперь вы покойны и благодетельны?

— Оттого, что мы ведем разумные беседы. Любовь же после буйства страсти успокаивается. Смотрите.

— Опять! Урок продолжается? Но теперь вы совсем не такой страшный. Огонь сейчас потухнет.

Она подбрасывает полено в камин и становится на колени, дабы подгрести угли. Она слегка нагибается, я решительно протягиваю руку и под платьем немедленно обнаруживаю, что дверь на запоре и придется взломать ее, чтоб обрести счастье. Но она в тот же миг поднимается, садится и говорит чувствительно и нежно, что она дочь благородных родителей и полагала, что может требовать уважения к себе. Тут я тысячу раз прошу у нее прощения и под конец успокаиваю ее. Я сказал, что дерзновенной рукою удостоверился, что она еще ни с кем не познала счастья. Она ответила, что один только законный муж может сделать ее счастливой, и в знак прощения позволила осыпать ее руку поцелуями. Я бы продолжил, если б кто-то не вошел. То был г. ле Нуар, каковой, получив записку, приехал узнать, чего хочет от него Ламбертини.

Я вижу мужчину средних лет, простого и скромного; самым учтивым образом он просит всех не вставать и продолжать игру. Ламбертини представила меня, и, услышав мое имя, он осведомился, не художник ли я. Узнав, что я старший из братьев, он с похвалой отозвался о потерее и сказал, что г. дю Верне весьма ценит мою особу, но особенное его внимание привлек кузен, которого Ламбертини на сей раз представила как графа де Тирету. Я объяснил, что его мне рекомендовали и что он принужден был покинуть отчизну из-за дела чести. Ламбертини добавила, что хотела устроить его у себя, но не осмелилась, не испросив дозволения. Г-н ле Нуар отвечал, что она в своем доме хозяйка и ему будет приятно общество кузена. Он совершенно изъяснялся по-итальянски, и Тирета вздохнул с облегчением. Он отстал от игры, и мы вчетвером уселись у камина; милая барышня в свой черед принялась весьма рассудительно беседовать с г-ном ле Нуаром. Он стал расспрашивать ее о монастыре, а когда она назвала свое имя, заговорил о почтенном ее отце, которого знал когда-то. Отец ее был советник руанского парламента. Прелестная эта девица была высокого роста, белокурая от природы и с правильными чертами лица, на котором читалось чистосердечие и скромность. Большие голубые глаза навывкате, неизъяснимо нежные, светились огнем желаний, вспыхнувших в ее душе. Платье на пуговицах, подогнанное по фигуре, подчеркивало ее изящество и позволяло любоваться ее высокой грудью. Я видел, что г. ле Нуар, хотя и не говорил ничего, но, подобно мне, восхищался ее прелестями. Но у него не было случая выказать своего восхищения, как сделал это я. В восемь часов он уехал. Спустя полчаса удалилась и г-жа ХХХ со своею племянницей, каковую звали де ла М-р, и сопровождавшим их бледным мужчиной. Потом уехал и я вместе с Тиретой; он обещал перебраться сюда завтра же и сдержал слово.

Тремя или четырьмя днями позже переслали мне письмо, отправленное на адрес конторы. Оно было от м-ль де ла М-р. Вот список его:

«Г-жа ХХХ, моя тетка, сестра покойной моей матери, — ханжа, картежница, богачка, скряга и неправедница. Она не любит меня и, поскольку не сумела уговорить постричься в монахини, хочет выдать меня замуж за торговца из Дюнкерка, которого я совсем не знаю. Сама она, заметьте, тоже с ним не знакома: его расхваливал сват. Он готов получать от нее при жизни 1200 ливров в год, ибо уверен, что после ее смерти я унаследую пятьдесят тысяч экю. Но согласно завещанию моей матери она должна дать мне в приданное 25 т. Если после того, что случилось меж нами, вы не презираете меня, предлагаю вам свою руку и — 25 т. экю, а другие — 25 т. по смерти тетки. Не отвечайте мне, ибо я не знаю ни как, ни через кого, ни где получить ваше письмо. Ответ вы мне дадите сами в воскресенье у г-жи Ламбертини. Так у вас будет целых четыре дня на раздумье. Не знаю, люблю ли я вас, но знаю, что самолюбие велит предпочесть вас кому-либо другому. Я обязана снискать ваше уважение и заставить вас снискать мое. Впрочем, не сомневаюсь, с вами не будет мне жизнь в тягость. Если вы сочтете, что можете разделить счастье, о каком я мечтаю, то спешу уведомить — вам понадобится адвокат, ибо тетка моя скряга и сутяжница. Как только вы решитесь, вам надобно будет подыскать монастырь, где я укроюсь, прежде чем что-либо предпринять; иначе меня станут терзать всякую минуту, а я об этом даже думать не желаю. Если же предложение мое вам не подходит, я прошу оказать мне одну услугу и буду весьма признательна, если вы в ней не откажете. Потрудитесь не искать встреч со мною и избегать тех мест, где, по вашему разумению, я могу оказаться. Так вы поможете мне забыть вас. Знаете ли вы, что я могу обрести счастье, лишь выйдя за вас замуж или позабыв? Прощайте. Не сомневаюсь, что увижу вас в воскресенье».

Письмо растрогало меня. Я видел, что продиктовано оно добродетелью, гордостью и умом, что м-ль де ла М-р столь же рассудительна, сколь хороша собой. Мне было стыдно, что я соблазнил ее, я чувствовал, что достоин страшной кары, коли посмею отвергнуть ее столь благородно предложенную руку, понимал, что она дарит мне состояние, на какое я, находясь в здравом уме и твердой памяти, не

мог и надеяться; но сама мысль о браке заставляла меня содрогнуться; я слишком хорошо знал себя и предвидел, что от размеренной семейной жизни сделаюсь несчастен, а значит, будет несчастна и моя половина. Четыре дня нерешительности и колебаний убедили меня в том, что я не люблю ее; однако ж я был не в силах отвергнуть ее предложение и тем более сказать ей об этом. Все четыре дня я беспрестанно думал о ней, проникся глубоким уважением, раскаялся, что оскорбил ее, но так и не смог решиться и поправить свою ошибку; мысль о том, что в противном случае я стану ей ненавистен, терзала меня; сколь жалок человек, когда он принужден сделать выбор — и не может!

Боясь, как бы черт не потащил меня в комедию или в оперу и не дал встретиться с м-ль де ла М-р, я отправился обедать к Ламбертини, так ничего и не решив. Она была в церкви. Тирета в своей комнате играл на флейте; увидав меня, он немедля отложил ее, дабы вернуть деньги за свой черный фрак.

— Так ты разбогател? Прими мои поздравления.

— Вернее, соблезнования, ибо деньги эти ворованные; правда, я всего лишь соучастник. Здесь плутуют в карты и меня выучили пособлять; приходится брать свою долю, иначе прослывешь глупцом. Хозяйка моя и еще три-четыре таких же бабенки разоряют простаков. Мне претит это занятие, сил нет. Рано или поздно меня убьют или я кого-нибудь прикончу и поплачусь за это жизнью; так что постараюсь выбраться скорей из этого вертепа.

— Настоятельно тебе это советую, друг мой, и лучше бы тебе уйти отсюда сегодня, а не откладывать на завтра.

— Я не хочу спешить, иначе достойнейший г. ле Нуар, мой друг, который считает меня кузеном этой стервы, и не догадывается о ее гнусностях, что-нибудь заподозрит, а быть может, и бросит ее, узнав, какая причина понудила меня бежать. В пять-шесть дней я найду благовидный предлог и вернусь к тебе.

Ламбертини приметно обрадовалась, что я ненароком забрел пообедать; и объявила, что м-ль де ла М-р и ее тетка составят мне компанию. Я спросила, довольна ли она Шестьразом, и она отвечала, что он не всегда проживает в своем поместье, но она от того любит его не меньше.

Явилась г-жа ХХХ с племянницей; та старалась не показать, как приятно ей видеть меня. Она была в малом трауре и столь хороша, что я подивился собственной нерешительности. Спустился Тирета, и поскольку ничто не мешало мне выказывать склонность к м-ль де ла М-р, я принялся за нею ухаживать. Я объявил тетке, что когда б сумел сыскать подобную супругу, то отказался бы от холостяцкой жизни.

— Племянница моя, милостивый государь, девица честная и ласковая, но нет в ней ни ума, ни истинной веры.

— Об уме спорить не берусь, милая тетя, но за безбожие в монастыре не попрекали.

— Еще бы — они же все иезуитки. Благодать должна снизойти, милая племянница, благодать, но хватит об этом. Я хочу одного — чтоб ты сумела понравиться своему суженому.

— Разве мадемуазель выходит замуж?

— Ее жених приедет в начале будущего месяца.

— Он из судейских?

— Нет. Он купец и весьма богат.

— Г. ле Нуар сказал, что барышня — дочь советника, я не мог предположить неравного брака.

— Это все глупости. Если он честен, так и знатен, а уж как счастье в дом привести, это от нее самой зависит.

Беседа наша была в тягость прелестнице, которая слушала, не переча, и я заговорил о том, какая толпа соберется на Гревской площади поглазеть на казнь Дамьена; приметив, что всем любопытно взглянуть на страшное зрелище, я предложил им просторное окно, откуда нам будет видно всем пятерым. Они согласились сразу, с первого захода. Я дал слово заехать за ними; но окна у меня не было, и когда все поднялись из-за стола, я извинился неотложным делом, взял фиакр, помчался на Гревскую площадь и в четверть часа снял за три луидора прекрасное окно на антресоли, меж двух лестниц. Я уплатил и взял расписку, оговорив шестьсот франков неустойки. Окно было прямо напротив эшафота. Вернувшись к Ламбертини, я увидел, что она играет в записной пикет с Тиретой против г-жи ХХХ.

М-ль де ла М-р играла только в «комету», я предложил себя в партнеры, и мы уселись на другом конце залы, чтобы поговорить без помех. Я сказал, что, получив ее письмо, почел себя счастливейшим из смертных, восхитился ее умом и характером, каковы достойны обожания любого здравомыслящего мужчины.

— Вы станете моей женой, — сказал я, — и до последнего вздоха я буду благословлять ту счастливую смелость, с какой застал вашу невинность врасплох, ибо иначе вы никогда бы не отдали мне предпочтение перед сотней других мужчин, равных вам по рождению; никто из них не отверг бы вас и без приманки в 50 т. экю — они ничто в сравнении с вашими достоинствами и разумным образом мыслей. Теперь вам чувства мои известны, но не будем спешить; доверьтесь мне. Дайте мне время, чтобы купить дом, обставить его и завоевать такое положение, чтобы меня сочли достойным

назвать вас своей женою. Вообразите, я до сих пор живу в меблированных комнатах, а у вас есть родные, и я не желаю выглядеть авантюристом в столь важном деле.

— Но вы слышали — жених мой вот-вот придет, а когда он будет здесь, дело сладится быстро.

— Не настолько быстро, чтоб я не сумел в сутки избавить вас от всяческих притеснений, да так, что тетя и не догадается, что я тут замешан. Знайте, ангел мой, что министр иностранных дел, убедившись, что вы не желаете себе иного мужа, кроме меня, по первому моему ходатайству предоставит вам надежное убежище в одном из лучших парижских монастырей; он сам подыщет вам адвоката, и если завещание недвусмысленно, в считанные дни принудит вашу тетку выплатить вам приданое и внести залог за остаток наследства. Ни о чем не тревожьтесь, ждите дюнкеркского купца. Не сомневайтесь, я вас в беде не оставлю. В день подписания брачного договора вас в доме тетки не будет.

— Я уступаю и веряю себя вам; но, прошу вас, не придавайте слишком большого значения тому, что так сильно ранит мою стыдливость. Вы сказали, что я никогда бы не предложила вам жениться на себе или не встречаться более, когда б вы не повели себя вольно в прошлое воскресенье. Отчасти это верно, ибо без веских оснований я бы не стала, как безумная, ни с того ни с сего предлагать вам свою руку; но мы могли вступить в брак и иным путем, ибо, по правде сказать, я бы в любом случае отдала вам предпочтение перед кем бы то ни было.

Услыхав столь благородное объяснение, я принялся целовать ей руки в таком исступлении, что, случись под рукой нотариус и священник, готовый нас обвенчать, женился бы на ней, не прождав и четверти часа. Поглощенные беседой, мы не обратили внимания на ужасный шум, что поднялся в другом конце залы; я почел, что должен вмешаться, хотя бы для того, чтобы успокоить Тирету.

Я увидел открытую шкатулку, полную всякого рода украшений, и двух мужчин, что спорили с Тиретой, державшим в руках книгу. Я сразу не подумал, что это лотерея, но отчего вышел спор? Тирета объяснил, что это мошенники, которые выиграли у них посредством сей книги, тридцать или сорок луи, и протянул ее мне. Один из мужчин возразил, что это лотерея, притом самая что ни на есть честная.

— В книге, — сказал он, — тысяча двести страниц, двести призовых и тысяча пустых. Стало быть, одна страница выигрывает, а пять следующих проигрывают. Играющий ставит малый эю и сует наугад кончик иголки меж страниц закрытой книги. На том месте, куда попала игла, книгу раскрывают и смотрят. Если страница чистая, тот, кто ставил эю, проиграл, если призовая, ему выдают выигрыш, какой там написан, или его стоимость деньгами, она тоже там обозначена. Заметьте, самый малый приз стоит двенадцать франков, а есть выигрыши по шестьсот и один — в тысячу двести. Все эти дамы и господин играют уже час, получили немало призов, и госпожа вот эта выиграла кольцо за шесть луи, оно и сейчас было бы у нее, когда б она не предпочла взять приз деньгами, а их, решив продолжать, не проиграла.

— В конце концов, — сказала г-жа ХХХ, выигравшая кольцо, — нас тут шестеро, и эти господа со своей проклятой книгой выудили у нас все деньги. Конечно, мы все удивлены.

Тирета назвал мужчин мошенниками, и один из них отвечал, что в таком случае устроители лотереи Военного училища тоже мошенники. Тут Тирета закатил ему здоровенную оплеуху, а я, дабы покончить с этим делом, встал меж ними и приказал всем замолчать.

— Все лотереи, — сказал я, — выгодны их устроителям, но лотерея Военного училища принадлежит королю, а я ее главный сборщик. Поэтому я конфискую шкатулку, а вам предоставляю выбор. Либо вы возвращаете деньги, что выиграли у присутствующих, и я отпускаю вас вместе со шкатулкой, либо я посылаю за полицией и вас по моей жалобе препровождают в тюрьму, а завтра этим делом займется сам г. Берье, каковому я и отнесу завтра утром книгу. Вот тут и выяснится, должны ли мы почитать себя мошенниками, коли вы таковыми являетесь.

Увидав, что дело приняло скверный оборот, они решили вернуть деньги. Их заставили отдать сорок луи, хотя они клялись, что выиграли всего двадцать. Я в том не сомневался, но «*vae victis*» \*; я был зол на них и велел платить. Они хотели забрать книгу, но я не отдал. Они были рады, что смогли унести хотя бы шкатулку. Растроганные дамы сказали мне после, что я мог бы вернуть бедолагам их чародейскую книгу.

Назавтра явились они ко мне в восемь утра и, прося прощения, поднесли большой футляр с двадцатью четырьмя статуэтками саксонского фарфора, величиною в восемь дюймов. Тогда я возвратил им книгу, пригрозив, что если они еще раз посмеют появиться в Париже со своей лотереей, то я велю арестовать их. В тот же день отнес я самолично двадцать четыре прелестные фигурки м-ль де ла М-р. То был весьма богатый подарок, и тетка долго меня благодарила.

Через несколько дней, 28 марта, заехал я пораньше за дамами, что завтракали вместе с Тиретой у Ламбертини, и отвез их на Гревскую площадь; м-ль де ла М-р посадил я к себе на колени. Они встали втроем у окна, наклонившись вперед и опершись локтями на подоконник, чтоб не мешать нам смотреть. Перед окном были две ступеньки, они встали на вторую, а мы должны были примоститься на ней сзади, иначе ничего бы не увидели. Я не без причин уведомляю читателя об этих обстоятельствах.

Нам достало упорства битых четыре часа наблюдать сей страшный спектакль. Описывать его я не стану, это слишком долго, да к тому же всем ведомо. Дамьен был фанатик, что веря, будто вершит доброе дело, пытался убить Людовика XV. Он едва оцарапал ему кожу, но не все ли равно. Народ, собравшийся на казнь, кричал, что это чудовище, извергнутое адом, дабы погубить обожаемого монарха, лучшего из государей, какового по праву нарекли Возлюбленным. А меж тем то был тот самый народ, что уничтожил всю королевскую семью, все французское дворянство, всех, кто составлял цвет нации, благодаря кому прочие народы уважали ее, любили, брали с нее пример. Нет народа гнуснее французов, говаривал сам г. де Вольтер. Это хамелеон, вечно меняющий цвет, способный содеять все, что только повелит ему вождь, и добро, и зло.

Во время казни Дамьена принужден я был отвести глаза, услышав, как он возопил, лишившись половины тела, но Ламбертини и г-жа ХХХ отворачиваться не стали; но не жестокосердие было тому причиной. Они объявили, а я сделал вид, что поверил, будто не питали ни малейшей жалости к сему исчадию, настолько они любили Людовика XV. Но, по правде сказать, Тирета так занимал г-жу ХХХ во время казни, что, быть может, она из-за него не смела ни пошевелиться, ни повернуть головы.

Стоя за ней вплотную, он приподнял ей платье, дабы не наступить на подол, и правильно сделал. Но потом, скосив глаза, я увидел, что задрал он его высокомерно, и, решив не мешать предприятию моего друга и не смущать г-жу ХХХ, я так расположился за своей любимой, чтобы тетка не сомневалась, что ни я, ни племянница не можем увидеть того, что делал Тирета. Битых два часа слышал я шуршание юбок и, изрядно веселясь, позы своей не переменил. В душе я больше восхищался отменным аппетитом Тиреты, нежели дерзостью его, ибо самому мне доводилось свершать не менее отважные деяния.

Когда церемония завершилась и г-жа ХХХ выпрямилась, я обернулся. Я увидел, что приятель мой весел, свеж и невозмутим, как если б ничего не произошло; зато дама показалась мне задумчивей и серьезней обыкновенного. Роковым образом принуждена она была терпеливо сносить, не подавая вида, все выходки нахала, дабы не вызвать насмешек Ламбертини и не открыть племяннице тайнств, ей дотоле неведомых.

Я высадив Ламбертини у ворот, попросив оставить мне Тирету — у меня было до него дело. Затем у дома на улице Сент-Андре-дез-Ар высадив я г-жу ХХХ, каковая пригласила зайти к ней завтра: ей надо было со мною переговорить. Я заметил, что с моим другом она не попрощалась. Я повез его к Ланделю, торговцу вином из отели Бюсси; здесь за шесть франков с человека отменно кормили и постным и скромным.

— Что ты там делал за г-жою ХХХ? — спросил я его.

— Но ведь ни ты, ни остальные ничего не видели, я точно знаю.

— Допустим, но я, приметив начало маневров и догадавшись, что ты намерен предпринять, встал так, чтобы закрыть тебя от м-ль де ла М-р и от Ламбертини. Представляю, что ты натворил, и восторгаюсь твоим аппетитом, но г-жа ХХХ рассердилась не на шутку.

— Она притворяется; ведь если она два часа подряд стояла смирно, значит, я доставил ей удовольствие.

— Я тоже так думаю; но самолюбие ей, должно быть, твердит, что ты отнесся к ней без должного уважения, и это правда! Ты же видишь — она на тебя дуется и хочет завтра со мной переговорить.

— Но не станет же она рассказывать тебе об этих глупостях? Она ведь не совсем спятила!

— Отчего же нет? Ты не знаешь святош. Им только дай исповедаться кому-нибудь да поплакать, — особенно если уродливые. Возможно г-жа ХХХ потребует удовлетворения, и я за нее охотно вступлюсь.

— Не знаю, какого еще удовлетворения ей надобно. Если б была не согласна, лягнула бы меня, и я бы упал с лестницы навзничь.

— Я заметил, что Ламбертини дуется на тебя. Быть может, она тоже что-нибудь заметила и считает, что ты обошелся с ней неуважительно.

— Ламбертини дуется по другой причине. Вчера ночью я там такого наговорил, что сегодня вечером переезжаю.

— В самом деле?

— В самом деле. А случилось вот что. Вчера вечером один юнец, служащий по откупам, — его привела к нам на ужин старая чертовка-генуэзка, — проиграл в тьерсет сорок луи и, швырнув карты хозяйке в лицо, обозвал ее воровкой. Я схватил подсвечник и загасил об его физиономию, по правде, я ему едва глаз не выбил, но мимо попал. Он с криком бросился к шпаге, и, когда б генуэзка его не перехватила, случилось бы смертоубийство, ибо я свою обнажил. Увидав в зеркале шрам, бедняга так рассвирепел, что нельзя было его утешить иначе, нежели вернув деньги. Они их отдали, хоть я и упирался; ведь вернуть деньги — значит признаться в плутовстве. Из-за этого, когда юнец ушел, началась у нас с Ламбертини до крайности язвительная перепалка. Она уверяла, что, когда б я не вмешался, ничего бы и не случилось, сорок луидоров остались при нас, что оскорбили ее, а не меня; при должном хладнокровии, добавила генуэзка, мы бы еще долго тянули с него, а теперь, с пятном на

лице, что от свечки осталось, он может Бог знает что натворить. Бесчестные нравоучения этих мерзавок мне наскучили, я послал их подальше, и дражайшая хозяйка обозвала меня жалким оборванцем. Когда б ни пришел г. ле Нуар, я бы ее поколотил. Я объявил этому достойному человеку, что любовница его почитает меня за оборванца, что она б... и никакая мне не кузина и сегодня же я съеду. Сказав так, поднялся я в свою комнату и запер дверь. Через пару часов я отправлюсь за своими пожитками, а завтра утром приду к тебе пить кофе.

Тирета был прав. Получше узнав его натуру, я понял, что он не создан для того, чтобы пробавляться бесчестным ремеслом.

На другой день ближе к полудню отправился я пешком к г-же ХХХ и застал ее в обществе племянницы. Через четверть часа, велев девушке оставить нас одних, она повела речь так:

— Вы, конечно, удивитесь, сударь, услышав, что я вам скажу. Я решилась обратиться к вам с неслыханной жалобой; у меня нет времени на размышления, ибо случай вопиющий и не терпит отлагательства. Дабы решиться, мне достаточно было утвердиться во мнении, что я составила о вас при первом знакомстве. Я почитаю вас за человека умного, осмотрительного, честного и добронравного, а главное, исполненного истинной веры; если я ошибаюсь, то быть беде, ибо я чувствую себя обесчещенной и найду способ отомстить; а вам, его другу, выйдет от того досада.

— Уж не на Тирету ли вы жалуетесь?

— На него самого. Мерзавец этот нанес мне беспримерное оскорбление.

— Никогда бы не подумал, что он на такое способен. Какого же рода оскорбление это, сударыня? Доверьтесь мне.

— Сударь, этого я вам сказать не могу, но, надеюсь, вы догадаетесь сами. Вчера во время казни треклятого Дамьена он два часа кряду злоупотреблял странным образом тем, что находился позади меня.

— Я все понял, ни слова более. Вы правы, он виноват, он обманул вас; но, позвольте вам заметить, случай сей не так уж беспримерен и редок; полагаю, он заслуживает прощения: им овладела страсть, положение необычное, дьявол-искуситель столь близок, а грешник так молод. Преступление сие можно загладить многими способами, при полном согласии сторон. Тирета холост, принадлежит к знатному дворянскому роду, и брак с ним вполне возможен; если же замужество противно вашему образу мыслей, он может искупить вину свою преданной дружбой, добиться снисхождения, на деле доказав свое раскаяние. Подумайте, сударыня, ведь он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Ваши прелести заставили его потерять голову. Полагаю, он может надеяться заслужить прощение.

— Прощение? Слова ваши продиктованы христианским смирением и мудростью, но рассуждение основано на ложной посылке. Вы не знаете главного. Но увь! Как можно об этом догадаться?

Г-жа ХХХ уронила слезу, и я в тревоге не знал, что и думать. Может, он вытащил у нее кошелек? — спрашивал я себя. Утирая слезы, она продолжала:

— Вы измыслили проступок, коему, признаюсь, возможно, хоть и с трудом, отыскать оправдания, найти способ загладить вину; но этот грубиян обесчестил меня столь мерзко, что мне страшно и вспоминать о том, дабы не сойти с ума.

— Великий Боже! Что я слышу? Я весь дрожу. Помилосердствуйте, скажите, верно ли я понял вас?

— Полагаю, что да, ибо не знаю, что еще можно вообразить столь ужасного. Я вижу, вы взволнованы. Но все именно так и было. Простите, я плачу, обида и стыд — источник моих слез.

— И еще вера.

— Конечно. Она даже главный. Я не назвала его, не зная, столь ли вы набожны, как и я.

— Насколько сие в силах моих, да пребудет с нами Господь.

— Тогда приуготовьтесь к тому, что я погублю свою душу, ибо я намерена мстить.

— Оставьте замысел сей сударыня; никогда не смогу я стать вашим соучастником; если же вы не отринете его, то позвольте, по крайней мере, мне не знать о нем. Я обещаю, что ничего не скажу Тирете, хотя он живет у меня и законы гостеприимства требуют, чтобы я его предупредил.

— Я полагала, он живет у Ламбертини.

— Вчера он съехал. Там творились преступления. Я вытащил его из этого притона.

— Что вы говорите? Вы удивляете и наставляете меня. Я не желаю ему смерти, сударь, но согласитесь, он обязан дать удовлетворение.

— Согласен, но не вижу, какая кара могла бы соответствовать оскорблению. Я знаю один способ наказать его, который, ручаюсь, я мог бы доставить вам наверное.

— Объяснитесь же.

— Я застигну его врасплох, вручу вам и оставлю с вами наедине, пусть испытает силу справедливого вашего гнева; но при одном условии — втайне от него я буду находиться в соседней комнате, ибо я в ответе перед самим собою за его жизнь.

— Я согласна. Вы останетесь вот в этой комнате, а его препроводите в соседнюю, где я вас



встречу, но он не должен ничего знать.

— Он не будет знать даже, куда я его веду. Я не скажу ему, что мне ведомо его злодеяние. Под каким-нибудь предлогом я оставлю вас вдвоем.

— Когда вы намерены привести его? Мне не терпится его пристыдить. Уж я нагоню на него страху. Даже и не знаю, что он будет лепетать в свое оправдание.

Она любезно пригласила меня отобедать с нею и аббатом де Форжем, что пришел в час дня. Он был ученик славного епископа Оксерского, каковой был еще жив. За столом я столько распространялся о благодати, столько ссылался на блаженного Августина, что аббат и святоша его приняли меня за ярого янсениста, хоть я нимало на него не походил. М-ль де ла М-р на меня даже не взглянула, и я, решив, что у нее есть на то причины, ни разу к ней не обратился.

После обеда обещал я г-же ХХХ выдать ей преступника завтра же, когда мы будем возвращаться пешком из Французской комедии — в темноте он не распознает ее дома.

Тирета только посмеялся, когда я ему все рассказал, напустив на себя серьезнейший вид и упрекая его в ужаснейшем злодеянии, каковое посмел он содеять с дамой, со всех сторон достойной уважения.

— Никогда бы не поверил, — отвечал он, — что она решится кому-нибудь пожаловаться.

— Так ты не отрицаешь, что сотворил над ней это?

— Раз она так говорит, я спорить не буду, но умереть мне на месте, если могу в этом поклясться. В том положении, что я находился, иначе действовать мне было невозможно. Но я успокою ее и постараюсь обернуться побыстрее, чтоб не заставлять тебя ждать.

— Ни в коем случае. И в твоих и в моих интересах лучше, чтоб ты не торопился, ибо я уверен, что скучать не буду. Ты не должен знать, что я в доме; и даже если ты пробудешь с ней всего час, бери извозчика и уезжай. Они стоят на улице. Как ты догадываешься, вежливость не позволит г-же ХХХ оставить меня одного и без огня. Не забывай, она знатна, богата, набожна. Постарайся заслужить ее дружбу не склонив голову, но «*faciem ad faciem*» \*, как говаривал король Прусский \*\*. Надеюсь, ты добьешься успеха. Если она спросит, почему ты больше не живешь у Ламбертини, правды не говори. Твоя сдержанность понравится ей. Наконец, постарайся как следует загладить свое гнусное преступление.

— Я могу ей сказать только правду. Я не видел, куда вошел.

— Бесподобное объяснение; французенка вполне может им удовольствоваться.

Выйдя из комедии, отпустил я карету и отвел злодея к матроне, каковая встретила нас самым благородным образом, извинившись, что никогда не ужинает, но если б мы уведомили ее наперед, она бы нам что-нибудь высказала. Пересказав все новости, что услышал в фойе, я испросил дозволения отлучиться, ибо должен был повидать одного чужеземца в Испанской отели.

— Если я задержусь хотя на четверть часа, — сказал я Тирете, — не жди меня. На улице есть извозчики. Увидимся завтра.

Вместо того чтобы спуститься по лестнице, я прошел через коридор в соседнюю комнату. Не прошло и двух-трех минут, как появилась м-ль де ла М-р со свечой в руке и сказала с веселым видом, что с трудом верит, что это не сон.

— Тетя велела мне побыть с вами и передать горничной, чтоб без звонка не поднималась. Вы оставили Шестьраза наедине с нею, и она приказала мне говорить тихо, он не должен знать, что вы здесь. Что означают сии чудеса? Признаюсь, я сгораю от любопытства.

— Вы все узнаете, ангел мой, но мне холодно.

— Она велела растопить как следует камин. Что-то она расщедрилась. Видите, свечи.

Когда устроились мы у огня, я рассказал ей обо всем, что случилось, она слушала с величайшим вниманием, но никак не могла взять в толк, в чем заключалось злодеяние Тиреты. К своему немалому удовольствию, я объяснил ей все без обиняков, помогая жестами, отчего она засмеялась и покраснела. Я сказал, что тетя потребовала удовлетворения, и я все так подстроил, чтобы пока Тирета будет ее занимать, наверняка остаться с ней наедине; с этими словами принялся я в первый раз покрывать поцелуями хорошенькое ее личико, но иных вольностей себе не позволял, и она приняла поцелуи как непреложное доказательство моей нежности.

— Двух вещей я не понимаю, — сказала она. — Первая — как Шестьраз сумел сотворить подобное злодеяние с моей теткой: ведь его возможно совершить только при согласии стороны, что подверглась нападению. Если же согласия нет, это невозможно, из чего я заключаю, что раз злодеяние свершилось, любезная моя тетушка нимало ему не препятствовала.

— Разумеется, ведь она могла переменить позу.

— И даже без этого, мне кажется, в ее воле было не дать ему войти.

— А вот тут, ангел мой, вы ошибаетесь. Для настоящего мужчины не надобно ничего иного, кроме постоянной позы, и он без труда сокрушит преграду. Да и вход бывает разный, не думаю, что у вашей тети он был таков же, как, к примеру, у вас.

— Что до этого, то я и сотни Тирет не побоюсь. Другое, чего я не понимаю, как решилась она поведать вам о бесчестье, ведь если б у нее была хоть капля ума, она бы догадалась, что только

посмешишь вас, как посмешила меня. И тем более я не понимаю, что за удовлетворение может она потребовать от наглого сумасброда, который, должно быть, и забыл об этом. Полагаю, он попытался бы проделать это с любой особой, позади которой оказался, когда на него дурь нашла.

— Вы угадали: он сам признался, что знать не знал, куда вошел.

— Ну и скотина ваш друг.

— Что до того, какого рода удовлетворения жаждет ваша тетя и, должно быть, надеется добиться, то мне она не сказала; но полагаю, оно будет состоять в любовном объяснении по всей форме: Тирета искупит свой грех, совершенный по неведению, тем, что станет примерным любовником и проведет с вашей тетей сегодняшнюю ночь, как если б утром женился на ней.

— О! Тогда история станет вконец смешной. Я вам не верю. Она слишком заботится о своей душе, а потом, как сможет юноша разыгрывать влюбленного, глядя ей в лицо? Когда он проделывал с нею это на Гревской площади, он ее не видел. Да разве бывает лицо противнее, чем у тети? Кожа нечистая, глаза гноятся, зубы гнилые, изо рта воняет. Она омерзительна.

— Для такого парня, как он, это сущие пустяки, душа моя, в свои двадцать пять лет он всегда готов. Это я могу быть мужчиной только под действием ваших прелестей и мне не терпится законным путем вступить во владение ими.

— Я стану вам нежной и любящей женой, уверена, что похищу ваше сердце и никто до самой смерти не сможет у меня его отнять.

Прошел уже час, тетка все беседовала с Тиретой, и я понял, что дело серьезное.

— Давайте поедим, — сказал я.

— Есть только хлеб, сыр и ветчина и еще любимое тетино вино.

— Несите все, а то я от голода совсем ослабел. Едва успел я это сказать, как она уже ставит на низенький столик два прибора и несет все, что было. Сыр был из Рокфора, и ветчина отменная. Ее хватило бы на десятерых, но так как больше не было ничего, мы съели все подчистую с отменным аппетитом и опустошили две бутылки. Прекрасные девичьи глаза сияли от удовольствия, и мы провели за обильной трапезой не менее часа.

— А вам не хочется узнать, — спросил я, — что делают ваша тетя и Шестьраз — ведь они вместе уже два с половиной часа?

— Они, верно, играют, но тут есть дырочка. Ничего не вижу, кроме двух свечей, и фитили у них уже в дюйм длиною.

— А я что говорил? Дайте мне одеяло, я лягу здесь на канапе, а вы идите спать. Пойдемте посмотрим вашу постель.

Она провела меня в свою комнатку, и я увидел чудесную постель, налой и большое распятие. Я сказал, что кровать ей мала, она отвечала, что нет, и в доказательство вытянулась на ней во весь рост. Какая прелесть будет у меня жена!

— Ах, Бога ради, не двигайтесь! Позвольте мне расстегнуть платье, оно скрывает таинства, к которым мне не терпится прильнуть.

— Милый друг, я не в силах сопротивляться, но вы потом не станете меня любить.

Расстегнутое платье позволяло увидеть только половину ее прелестей, и она, не устояв перед моими мольбами, дозволила мне обнажить их все, впиться в них губами и, наконец, сгорая, как я, от страсти, раскрыла объятия, взяв клятву, что я не трону главного. Чего не обещаешь в такую минуту? Но какая женщина, если она и впрямь влюблена, потребует от любовника сдержать обещание, когда страсть в ней вытесняет рассудок? Проведя час в воспламенивших ее любовных забавах, о каких она дотоле не догадывалась, я показал, сколь удручен тем, что должен покинуть ее, не воздав ее прелестям тех почестей, коих они заслуживают. Я услышал, как она вздохнула.

Надобно было идти спать на канапе, камин уже погас, и я спросил у нее одеяло, ибо холод стоял лютый. Оставшись в ее постели и воздерживаясь, как обещал, я слишком легко мог уснуть. Она велела мне обождать в кровати, пока она подбросит полешко. Чтобы быстрее управиться, она не стала одеваться, и через минуту увидел я яркий огонь, но не столь сильный, какой зажгли во мне ее прелести: когда нагнулась она подкинуть дров, они стали воистину неотразимы. Я стремглав кинулся к ней, намереваясь нарушить клятву и зная, что у нее не останется сил устоять. Сжав ее в объятиях, я сказал, что мне будет очень плохо, если она не решится осчастливить меня пусть не по любви, но хотя из жалости.

— Вкусим же счастье, — отвечала она, — и знайте, что жалость здесь ни при чем.

Тут легли мы на канапе и расстались только на рассвете. Она снова разожгла огонь в камине, а потом ушла к себе, заперлась и легла спать, уснул и я.

К полудню разбудила меня г-жа ХХХ в игривом дезабилье.

— Доброе утро, сударыня. Что с моим другом?

— Он и мой друг. Я ему простила. Он самым убедительным образом доказал, что ошибся. Теперь отправился к себе. Не говорите ему, что провели здесь ночь, а то он подумает, что провели вы ее с моей племянницей. Я очень вам признательна. Надеюсь на вашу снисходительность, а особенно на вашу скромность.

— Не беспокойтесь, сударыня, мне достаточно знать, что вы простили его.

— А как иначе? С этим мальчиком ни один смертный не сравнится. Если бы вы знали, как он меня любит! Я в долгу перед ним. Я взяла его к себе на год на полный пансион, и стол и кров ему обеспечены. Поэтому мы сегодня же едем в ла Виллет, у меня там прелестный загородный домик. Зачем с самого начала давать пищу злым языкам? В ла Виллет всегда найдется для вас добрая комната, если вам вздумается заехать поужинать. Постель будет отменная. Жаль только, вы станете скучать, племянница моя большая зануда.

— Напротив, она весьма любезна; накормила меня вкусным ужином, составила компанию часов до трех.

— Умница. Как ей это удалось, ничего ведь не было?

— Мы съели все, что было, потом она пошла к себе, а я прекрасно выспался здесь.

— Я и не думала, что девица столь умна. Пойдем проведаем ее. Она заперлась. Ну, открывай, открывай. Чего ты заперлась, дуруха? Это господин честнейший человек.

Та отворила дверь, извинившись, что не одета, но она была чудо как хороша.

— Смотрите-ка, — сказала тетка, — она вовсе не дурна. Жаль только, что так глупа. Ты хорошо сделала, что покормила ужином г-на Казанову. Я играла всю ночь, а за игрой теряешь голову. Я вовсе запамятовала, что вы здесь, а что граф Тирета привык ужинать, не знала и не велела ничего готовить. Но впредь мы станем ужинать. Я взяла этого юношу на пансион. У него чудный характер, и он умен. Вот увидите, он скоро выучится говорить по-французски. Одевайся, племянница, нам надо собираться. После обеда мы едем в ла Виллет на всю весну. Послушай, милая. Нет надобности рассказывать моей сестре об этом приключении.

— Не беспокойтесь, дорогая тетя. Разве прежде я ей что-нибудь говорила?

— Вы только полюбуйтесь на эту дуру! Прежде! Можно подумать, что со мной такое приключается не впервые.

— Я хотела сказать, что никогда ни о чем ей не рассказываю.

— Мы пообедаем в два, и вы вместе с нами, и тотчас уедем. Тирета обещал принести свой чемоданчик. Мы все уместимся в один фиакр.

Я обещал непременно быть и поспешил домой. Мне не терпелось услышать, что расскажет Тирета. Пробудившись, он сказал, что запродавал себя на год за двадцать пять луи в месяц плюс стол и кров.

— Поздравляю. Она сказала, что ни один смертный с тобой не сравнится.

— Я для того трудился всю ночь; но, уверен, и ты время зря не терял.

— Одевайся, я тоже приглашен на обед и хочу посмотреть, как ты отбудешь в ла Виллет; я туда время от времени буду наезжать: твоя толстуха обещала отвести мне комнату.

Мы явились в два. Г-жа ХХХ вырядилась как юная девица и являла собою зрелище весьма комичное, а м-ль де ла М-р была прекрасна, как звезда. В четыре часа они уехали вместе с Тиретой, а я отправился в Итальянскую комедию.

Я был влюблен в эту барышню, но мысль о дочери Сильвии, с которой наслаждался я только ужинами в семейном кругу, гасила утоленное сполна чувство. Мы досадуем, когда женщины, нас любящие и уверенные, что любимы, отказывают нам в своих милостях; и мы не правы. Если они любят, значит, боятся нас потерять, а потому должны непрестанно распалить в нас желание обладать ими. Добившись своего, мы уже больше не будем их хотеть, ибо нельзя хотеть того, чем владеешь; стало быть, женщины правы, когда отказывают нам. Но если оба пола желают одного, почему тогда мужчина никогда не отвергает домогательства любимой женщины? Тут может быть только одна причина: мужчина, который любит и уверен во взаимности, более ценит удовольствие, какое может доставить предмету своей страсти, нежели то наслаждение, что может получить сам, а потому ему не терпится удовлетворить страсть. Женщина, что печется о своем интересе, должна более ценить то удовольствие, какое она получит, а не то, какое доставит; потому она и тянет, как может, ведь отдавшись, она боится лишиться того, что интересует ее в первую голову, — собственной услады. Чувство это свойственно женской природе, в нем единственная причина кокетства, которое разум прощает женщинам и не прощает мужчинам. Потому-то у мужчин оно встречается весьма редко.

Дочь Сильвии любила меня и знала, что я ее люблю, хоть и не признался пока в своем чувстве; но остерегалась выказывать мне любовь. Она боялась, что поощрит меня добиваться ее милостей, и, не ведая, достанет ли у нее сил противиться, страшилась потерять меня потом. Отец и мать прочили ее в жены Клеману, что вот уже три года учил ее играть на клавесине, и ей оставалось только повиноваться родительской воле; любить она его не любила, но и ненависти к нему не питала. Ей было приятно видеть своего суженого. Большая часть благвоспитанных девиц вступают в брак без всякой любви и весьма этим довольны. Они, похоже, знают наперед, что любовника из мужа не получится. Да и мужчины пребывают в этом убеждении, особенно парижане. Французы ревнуют любовниц и никогда — жен; но учитель музыки Клеман был явно влюблен в свою ученицу, и та радовалась, что я это приметил. Она знала, что, убедившись в этом, принужден я буду в конце концов

объясниться, и не ошиблась. После отъезда м-ль де ла М-р я решился, но впоследствии раскаялся. После моего признания Клеман получил отставку, но положение мое стало хуже некуда. Одни юнцы изъясняются в любви иначе, нежели пантомимой.

Через три дня после отъезда Тиреты отправился я в ла Виллет, отвезти ему скромные его пожитки, и был радушно встречен г-жой ХХХ. Мы как раз садились за стол, когда приехал аббат Форж. Сей ригорист, выказывавший мне в Париже великую дружбу, за обедом ни разу не взглянул в мою сторону, да и в сторону Тиреты тоже. Но тот за десертом потерял наконец терпение. Он первым поднялся из-за стола и просил г-жу ХХХ предупредить его всякий раз, как будет обедать этот господин; она тотчас удалась вместе с аббатом. Тирета повел меня показывать свою комнату — как нетрудно догадаться, смежную с комнатой г-жи ХХХ. Пока он раскладывал вещи, племянница повела меня показать, где я буду спать. То была премилая комнатка на первом этаже, напротив ее собственной. Я заметил ей, что мне не составит труда прийти, когда все лягут, но она отвечала, что постель у нее слишком узкая, а потому она придет ко мне сама.

Тут она рассказала, как тетя чудит из-за Тиреты.

— Она думает, мы не догадываемся, что он с ней спит. Сегодня в одиннадцать она позвонила и велела мне пойти спросить, как ему спалось. Увидав, что постель не смята, я осведомилась, неужто он всю ночь писал. Он отвечал «да» и просил ничего не говорить тете.

— На тебя он не заглядывается?

— Нет. Ну, знаешь, как он ни глуп, все же он должен понимать, что внушает презрение.

— Почему?

— Потому, что тетя ему платит.

— А ты мне разве не платишь?

— Плачу, но только той же монетой, что и ты. Тетка считала ее глупой, и она в это поверила. Она была умна и добродетельна, и мне бы никогда ее не соблазнить, когда б не воспитывалась она у бегинок.

Воротившись к Тирете, провел я у него целый час. Я спросил, доволен ли он своим положением.

— Удовольствия никакого, но мне это ничего не стоит, а потому я не печалюсь. На лицо мне нет нужды смотреть, притом она очень чистоплотная.

— Она о тебе заботится?

— Она задыхается от избытка чувств. Сегодня она не позволила мне сказать ей «доброе утро». Она объявила, что знает, как тяжело мне будет перенести ее отказ, но я должен думать не о наслаждении, а о своем здоровье.

Аббат Форж уехал, г-жа ХХХ осталась одна, и мы вошли в ее комнату. Почитая меня за сообщника, принялась самым отталкивающим образом сюсюкать с Тиретой. Но мой отважный друг столь щедро расточал ей ласки, что я пришел в восхищение. Она заверила, что аббата Форжа он больше не увидит. Тот объявил, что она погубила себя и для этого света, и для того, и пригрозил покинуть ее; она же поймала его на слове.

Актриса Кино, что покинула сцену и жила по соседству, приехала с визитом к г-же ХХХ, через четверть часа увидал я г-жу Фавар и аббата де Вуазенона, а еще через четверть часа — м-ль Амелен с красивым юношей, какового называла она своим племянником; имя его было Шалабр; он во всем на нее походил, но она не считала сие достаточным основанием, чтоб признать его сыном. Г-н Патон, пьемонтец, что был с нею, после долгих уговоров принялся метать банк и менее чем в два часа обобрал всех, кроме меня — я играть не стал. Меня занимала одна м-ль де ла М-р. Кроме того, банкOMET был явно нечист на руку, но Тирета ничего не понял, пока не проиграл все, что у него было, и еще сто луидоров под честное слово. Тогда банкOMET бросил карты, а Тирета на хорошем итальянском языке сказал ему, что он мошенник. Пьемонтец совершенно хладнокровно отвечал, что он лжет. Тут я объявил, что Тирета пошутил, и заставил его, смеясь, согласиться. Он удался в свою комнату. Дело последствий не имело, а то бы Тирете несдобровать \*.

В тот же вечер я как следует отчитал его. Я изъяснил, что, вступив в игру, он попадает в зависимость от ловкости банкOMETа: тот может оказаться плутом, но не трусом, а потому, дерзнув назвать его плутом, Тирета рисковал жизнью.

— Как! Безропотно позволить, чтобы меня обворовали?

— Да, раз сам сделал выбор. Мог не играть.

— Господь свидетель, я не стану платить ему сто луи.

— Советую заплатить их и не ждать, куда он их с тебя спросит.

Я лег и минут через сорок м-ль де ла М-р пришла в мои объятия; мы провели ночь много более сладостную, чем в первый раз.

Наутро, позавтракав с г-жой ХХХ и ее другом, воротился я в Париж. Через три или четыре дня пришел Тирета и сказал, что приехал торговец из Дюнкерка, он должен обедать у г-жи ХХХ, и она просит меня быть. Скрепя сердце я оделся. Я не мог примириться с этим браком, но и воспрепятствовать ему не мог. М-ль де ла М-р, как я заметил, нарядилась пышнее обычного.

— Жених и без того сочтет вас очаровательной, — сказал я.

— Тетя так не думает. Мне любопытно взглянуть на него, но я уповаю на вас и уверена, что ему моим мужем не быть.

Минутой позже он вошел вместе с банкиром Корнеманом, что сговаривался о браке. Я вижу красивого мужчину лет приблизительно сорока, с открытым лицом, одетого с отменной строгостью; он скромно и учтиво представился г-же ХХХ и взглянул на нареченную свою, лишь когда его к ней подвели. Увидав ее, он приметно смягчился и, не пытаясь блистать остроумием, сказал только, что желал бы произвести на нее то же впечатление, что она произвела на него. Она ответила изящным реверансом, не переставая серьезно и внимательно его разглядывать.

Мы садимся за стол, обедаем, беседуем обо всем на свете, но только не о свадьбе. Нареченные и не взглянут друг на друга, разве только случайно, и не перемолвились ни словом. После обеда барышня удалилась в свою комнату, а г-жа ХХХ затворилась в своем кабинете с г. Корнеманом и женихом. Вышли они часа через два, господам надобно было возвращаться в Париж, и она, велев позвать племянницу, при ней сказала гостью, что ждет его завтра и уверена, что барышня рада будет его видеть.

— Не так ли, милая племянница?

— Да, дорогая тетя. Я буду рада видеть завтра этого господина.

Когда б не этот ответ, он так бы и уехал, не услышав ни разу ее голоса.

— Ну, как тебе муж?

— Позвольте, тетя, отвечать вам завтра и, пожалуйста, сообразовывайте за обедом разговаривать со мною; быть может, внешность моя не оттолкнула его, но он не может судить о моем уме.

— Я боялась, что ты сморозишь глупость и испортишь благоприятное впечатление, что произвела на него.

— Тем лучше для него, если правда его отрезвит; тем хуже для нас обоих, коль мы решимся на брак, не узнав, хоть в малой степени, образ мыслей другого.

— Как он тебе показался?

— Он человек приятный, но подождем до завтра. Быть может, он меня и видеть не захочет, так я глупа.

— Я знаю, ты себя за умную считаешь, но потому-то ты и глупа, хоть г. Казанова и уверяет, что ты глубокая натура. Он смеется над тобою, милая племянница.

— Я уверена в обратном, милая тетя.

— Ну и ну. Что за чушь ты городишь.

— Прошу прощения, — вмешался я. — Барышня права, я нимало над нею не смеюсь и убежден, что завтра она будет блистать, о чем бы мы ни заговорили.

Так вы остаетесь? Я очень рада. Составим партию в пикет, я буду играть против вас обоих. Племянница сядет с вами вместе, ей надо учиться.

Тирета испросил у своей толстушки дозволения пойти в театр. В гости никто не пришел, мы играли до ужина и, послушав Тирету, что пожелал пересказать нам спектакль, отправились спать.

К удивлению моему, м-ль де ла М-р явилась ко мне одетой.

— Я пойду разденусь, — сказала она, — как только мы поговорим. Скажи мне прямо, я должна соглашаться на брак?

— Тебе по нраву г. Х?

— Он мне не противен.

— Тогда соглашайся.

— Довольно. Прощай. С этой минуты наша любовь кончилась, останемся друзьями. Я буду спать у себя.

— Станем друзьями завтра.

— Нет, лучше мне умереть и тебе тоже. Пусть мне тяжело, ничего не поделаешь. Коли я должна стать ему женой, мне надобно увериться, что я буду достойна его. Быть может, я обрету счастье. Не удерживай, пусти меня! Ты знаешь, как я тебя люблю.

— Ну хоть один поцелуй.

— Увы! нет.

— Ты плачешь.

— Нет. Бога ради, дай мне уйти.

— Сердце мое, ты будешь плакать у себя. Я в отчаянии. Останься. Я женюсь на тебе.

— Нет, теперь я уже не согласна.

С этими словами вырвалась она из моих рук и убежала, оставив меня сгорать со стыда. Я не смог сомкнуть глаз. Я был сам себе отвратителен. Я не знал, чем я провинился больше — тем, что соблазнил ее, или тем, что оставил другому.

Назавтра она блистала за обедом. Столь рассудительно беседовала она со своим женихом, что он, как я понял, был в восторге от того, какое сокровище ему досталось. Чтобы не участвовать в

разговоре, я, по обыкновению, сослался на зубную боль. Подавленный, разбитый после мучительной ночи, я, к удивлению своему, понял, что люблю, ревную, тоскую. М-ль де ла М-р не удостаивала меня ни словом, ни взглядом, она была права, сердиться мне было не на что.

После обеда г-жа ХХХ пригласила в свою комнату племянницу и г-на Х и, выйдя через час, велела поздравить барышню: через неделю та станет женою сего достойного господина и в тот же день уедет с ним в Дюнкерк.

— Завтра, — прибавила она, — все мы приглашены на обед к г-ну Корнеману, где и будет подписан брачный контракт.

Не берусь изъяснить читателю, в сколь жалком состоянии я пребывал.

Надумали ехать во Французскую комедию; их было четверо, и я отговорился. Я воротился в Париж и, решив, что у меня лихорадка, тотчас улегся в постель, но желанный покой не снизошел на меня, жестокое раскаяние ввергло в ад. Я понял, что должен помешать этому браку или приготовиться к смерти. Зная, что м-ль де ла М-р любит меня, я не мог поверить, что она станет противиться, узнав, что отказ будет стоить мне жизни. С этой мыслью встал я с постели и написал самое отчаянное письмо, какое только может продиктовать смятенная страсть. Облегчив душу, я уснул, а утром отправил письмо Тирете, велел тайком передать его барышне и уведомить ее, что я не уйду из дому, покуда не дождусь ответа. Через четыре часа я получил ответ и прочитал, дрожа:

«Милый друг, уже поздно. Полно ждать. Приходите обедать к г-ну Корнеману и знайте, что через несколько недель мы поймем, что одержали над собой великую победу. Любовь останется только в памяти нашей. Прошу вас более мне не писать».

Я испил чашу до дна. Решительный отказ и жестокое повеление не писать более привели меня в бешенство. Я решил, будто изменница влюбилась в купца, и, вообразив это, задумал убить его. Сотни способов исполнить гнусный мой замысел, один чернее другого, теснились в душе моей, раздираемой любовью и ревностью, замутненной гневом, стыдом и досадой. Сей ангел представлялся мне чудовищем, достойным ненависти, ветреницей, достойной наказания. Мне пришел на ум один верный способ отомстить, и я, хотя и почел его бесчестным, без колебаний решил прибегнуть к нему. Я замыслил отыскать супруга ее, каковой остановился у Корнемана, открыть ему все, что было между барышней и мною, и если этого окажется недостаточно, дабы отвратить его от намерения жениться, объявить, что один из нас должен умереть, наконец, если он презрит мой вызов, убить его.

Твердо вознамерившись исполнить чудовищный свой замысел, о котором нынче совестно мне вспоминать, я ужинаю с волчьим аппетитом, потом ложусь и сплю до утра как убитый. Наутро планы мои остаются прежними. Я одеваюсь и с заряженными пистолетами в карманах отправляюсь к Корнеману на улицу Грен-Сен-Лазар. Соперник мой еще спал, я жду. Четверть часа спустя выходит он ко мне с расprostертыми объятиями, обнимает и говорит, что ждал моего прихода; я друг его невесты, и он должен был догадаться, как я к нему отношусь, а он всегда будет разделять ее чувства ко мне.

Прямодушие этого честного малого, его открытое лицо, искренние слова вмиг лишают меня способности завести разговор, с которым я явился. Оторопев, я не знаю, что и сказать. К счастью, он дает мне время прийти в себя. Он проговорил без остановки добрых четверть часа, пока не пришел г. Корнеман и не подали кофе. Когда настал мой черед говорить, я не произнес ничего бесчестного.

Вышел я из этого дома другим человеком, нежели вошел, и немало был этим поражен; я радовался, что не исполнил своего замысла, и сгорал от стыда и унижения, — ведь по одной случайности не стал я злодеем и подлецом. Повстречав брата, провел я с ним все утро и повез его обедать к Сильвии, где пробыл до полуночи. Я понял, что дочь ее сумеет заставить меня забыть м-ль де ла М-р, с которой мне до свадьбы лучше было не видеться.

На другой день сложил я в шляпную коробку всякие нужные мелочи и поехал в Версаль на поклон к министрам.

## ГЛАВА V

Граф де Ла Тур д'Овернь и госпожа д'Юрфе. Камилла. Я влюблен в любовницу графа; нелепое происшествие излечивает меня. Граф де Сен-Жермен

Несмотря на зарождающуюся эту любовь, во мне не угасла склонность к продажным красавицам, блиставшим на главных гульбищах и привлекавшим общее внимание; более всего занимали меня содержанки и те, что делали вид, будто для публики они единственно танцуют, поют или играют комедию. Почитая себя в остальном совершенно свободными, они пользовались своими правами, отдаваясь то по любви, то за деньги, а то и так и так одновременно. Я без труда стал для них своим человеком. Театральные фойе — благодатный рынок, где всякий охотник может поупражняться в искусстве завязывать интриги. Приятная сия школа принесла мне немалую пользу; для начала свел я дружбу с их записными любовниками, овладел умением не выказывать ни малейших притязаний и особливо представлять пусть не ветреником, но ветрогоном. Надобно было

всегда иметь наготове кошелек, но речь шла о сущей безделице, расход невелик, а удовольствие большое. Я знал, что так или иначе своего добьюсь.

Камилла, актриса и танцовщица Итальянской комедии, каковую полюбил я еще семь лет тому в Фонтебло, привлекала меня более других благодаря утехам, что находил я в ее загородном домике за Белой заставой; она жила там со своим любовником графом д'Эгревилем, изрядно ко мне расположенным. Он был братом маркизу де Гамашу и графине дю Рюмен, хорош собой, обходителен, богат. Он ничему так не радовался, как если у его любовницы собиралось множество гостей. Она любила его одного, но, умная и оборотистая, не разочаровывала никого, кто имел к ней склонность; не скупясь на ласки и не расточая их попусту, она кружила головы всем знакомым, не опасаясь ни нескромности, ни всегда оскорбительного разрыва.

После возлюбленного более других отличала она графа де Ла Тур д'Оверня. Сей знатный вельможа обожал ее, но был не довольно богат, чтобы оставить ее целиком для себя, и принужден был довольствоваться объедками с чужого стола. Его прозвали Нумером вторым. Для него она почти задаром содержала девчонку, бывшую свою служанку, которую, приметив его к ней расположение, можно сказать, ему подарила. Ла Тур д'Овернь снял для нее меблированную комнату на улице Таран и уверял, что любит ее как подарок дражайшей Камиллы; частенько он брал ее с собою ужинать на Белую заставу. Пятнадцати лет, скромная, наивная простушка, она говорила любовнику, что не простит ему измены, разве только с Камиллой, которой надобно уступать, ибо ей обязана она своим счастьем. Я так влюбился в эту девочку, что нередко приходил ужинать к Камилле единственно в надежде увидеть ее и насладиться наивными ее речами, потешавшими все общество. Я, как мог, обуздывал себя, но был столь увлечен, что вставал из-за стола в тоске, не видя для себя возможности излечиться от страсти обычным путем. Я бы сделался посмешищем, если б кто догадался о моей любви, а Камилла принялась бы издеваться надо мной без всякой жалости. Но однажды случай исцелил меня, и вот как.

Домик Камиллы был за Белой заставой, и когда после ужина гости стали расходиться, я послал за извозчиком, дабы воротиться домой. Мы засиделись за столом до часу ночи, и слуга мой объявил, что фиакра теперь не сыскать. Ла Тур д'Овернь предложил отвезти меня, сказав, что никакого неудобства тут не будет, хотя карета его была двухместная.

— Малышка, — сказал он, — сядет к нам на колени. Я, разумеется, соглашаюсь, и вот я в карете, граф слева от меня, Бабета сверху. Охваченный желанием, хочу я воспользоваться случаем и, не теряя времени, ибо карета ехала быстро, беру ее руку, пожимаю, она пожимает мою, в знак благодарности я подношу ручку ее к губам, покрываю беззвучными поцелуями и, горя нетерпением убедить ее в моем пыле, действую так, чтоб доставить себе великую усладу — и тут раздается голос Ла Тур д'Оверня:

— Благодарю вас, дорогой друг, за любезное обхождение, свойственное вашему народу; я и не рассчитывал удостоиться его; надеюсь, вы не обознались.

Услыхав эти страшные слова, вытягиваю я руку — и касаюсь рукава его камзола; в такие минуты присутствие духа сохранить невозможно, тем паче он засмеялся, а это любого выбьет из колеи. Я отпускаю руку, не в силах ни смеяться, ни оправдываться. Бабета спрашивала друга, для чего он так развеселился, но едва тот пытался объяснить, как его вновь разбирал смех, а я чувствовал себя круглым дураком. По счастью, карета остановилась, слуга мой открыл дверцу, я вышел и поднялся к себе, пожелав им спокойной ночи; Ла Тур д'Овернь вежливо поклонился в ответ, хохоча до упаду. Сам я начал смеяться лишь через полчаса — история и впрямь была нелепая, но к тому же грустная и досадная, ведь мне предстояло сносить ото всех насмешки.

Три или четыре дня спустя решил я напроситься на завтрак к любезному вельможе, ибо Камилла уже посылала справиться о моем здоровье. Приключение это не могло мне воспрепятствовать бывать у нее, но сперва я хотел разузнать, как к нему отнеслись.

Увидав меня, милейший Ла Тур расхохотался. Посмеявшись вволю, он расцеловал меня, изображая девицу. Я просил его, наполовину в шутку, наполовину всерьез, забыть эту глупость, ибо не знал, как оправдаться.

— К чему говорить об оправданиях? — отвечал он. — Все мы вас любим, а забавное сие происшествие составило и составляет утеху наших вечеров.

— Так о нем все знают?

— А вы сомневались? Камилла смеялась до слез. Приходите вечерком, я приведу Бабету; смешная, она уверяет, что вы не ошиблись.

— Она права.

— Как так права? Расскажите кому-нибудь другому. Слишком много чести для меня, я вам не верю. Но вы избрали верную тактику.

Именно ее я и придерживался вечером за столом, притворно удивляясь нескромности Ла Тура и уверяя, что излечился от страсти, которую к нему питал. Бабета называла меня грязной свиньей и отказывалась верить в мое исцеление. Происшествие это по неведомой причине отвратило меня от девчонки и внушило дружеские чувства к Ла Тур д'Оверню, который по праву пользовался всеобщей

любовью. Но дружба наша едва не окончилась пагубно.

Однажды в понедельник в фойе Итальянской комедии этот милейший человек попросил меня одолжить сотню луидоров, обещая вернуть их в субботу.

— У меня столько нет, — отвечал я. — Кошелек мой в вашем распоряжении, там луидоров десять — двенадцать.

— Мне нужно сто и немедля, я проиграл их вчера вечером под честное слово у принцессы Ангальтской\*.

— У меня нет.

— У сборщика лотереи должно быть больше тысячи.

— Верно, но касса для меня священна; через неделю я должен сдать ее маклеру.

— Ну и сдадите, в субботу я верну вам долг. Возьмите из кассы сто луи и положите взамен мое честное слово. Стоит оно сотни луидоров?

При этих словах я поворачиваюсь, прошу его обождать, иду в контору на улицу Сен-Дени, беру сто луи и приношу ему. Наступает суббота, его нет; в воскресенье утром я закладываю перстень, вношу в кассу нужную сумму и на другой день сдаю ее маклеру. Дня через три-четыре в амфитеатре Французской комедии Ла Тур д'Овернь подходит ко мне с извинениями. В ответ я показываю руку без перстня и говорю, что заложил его, дабы спасти свою честь. Он с грустным видом отвечает, что его подвели, но в следующую субботу он непременно вернет деньги:

— Даю вам, — говорит он, — свое честное слово.

— Ваше честное слово хранится в моей кассе, позвольте мне более на него не полагаться; вернете сто луидоров, когда сможете.

Тут доблестный вельможа смертельно побледнел.

— Честное слово, любезный Казанова, — сказал он, — мне дороже жизни. Я верну вам сто луидоров завтра в девять утра в ста шагах от кафе, что в конце Елисейских полей. Я отдам их вам наедине, без свидетелей; надеюсь, вы непременно придете и прихватите с собой шпагу, а я прихвачу свою.

— Досадно, господин граф, что вы хотите заставить меня столь дорого заплатить за красное словцо. Вы оказываете мне честь, но я предпочитаю попросить у вас прощения и покончить с нелепой этой историей.

— Нет, я виноват больше вашего, и вину эту можно смыть только кровью. Вы придете?

— Да.

За ужином у Сильвии я был грустен — я любил этого славного человека, но не меньше любил и себя. Я чувствовал, что не прав, словцо и впрямь было грубовато, но не явиться на свидание не мог.

Я вошел в кафе вскоре после него; мы позавтракали, он расплатился, и мы двинулись к площади Звезды. Убедившись, что нас никто не видит, он благородным жестом протянул мне сверток с сотней луидоров, сказал, что мы будем драться до первой крови, и, отступив на четыре шага, обнажил шпагу. Вместо ответа я обнажил свою и, сблизившись, тотчас сделал выпад. Уверенный, что ранил его в грудь, я отскочил назад и потребовал от него держать слово. Покорный, словно агнец, он опустил шпагу, поднес руку к груди, отнял ее, всю обогрелую кровью, и сказал: «Я удовлетворен». Пока он прилаживал к ране платок, я произнес все приличествующие случаю учтивые слова. Взглянув на острие шпаги, я обрадовался — лишь самый кончик был в крови. Я предложил графу проводить его домой, но он не пожелал. Он просил меня молчать о происшедшем и считать его на будущее своим другом. Обняв его со слезами на глазах, я воротился домой до крайности опечаленный — я получил добрый урок светского обхождения. Об этом деле никто не прознал. Неделю спустя мы вместе ужинали у Камиллы.

В те дни получил я двенадцать тысяч франков от аббата де Лавиля, награду за поручение, исполненное мною в Дюнкерке. Камилла сказала, что Ла Тур д'Оверня уложила в постель ломота в бедрах и что, если я не против, мы можем завтра утром проведать его. Я согласился, мы пришли и после завтрака я с самым серьезным видом объявил, что если он доверится мне, я его вылечу, ибо причина его болей — не ломота в бедрах, но влажный дух, коего я изгоню печатью Соломона и пятью словами. Он расхохотался, но сказал, что я могу делать все, что мне заблагорассудится.

— Тогда я пойду куплю кисточку, — сказал я ему.

— Я пошлю слугу.

— Нет, я должен быть уверен, что купили не торгуясь, а потом, мне надобны еще кое-какие снадобья.

Я принес селитры, серного цвета, ртути, кисточку и сказал графу, что требуется малая толика его мочи — совсем свежей. Они с Камиллой рассмеялись, но я с серьезным видом протянул ему сосуд, задернул шторы, и он исполнил мою просьбу. Сделав раствор, я сказал Камилле, что она должна растирать бедро графу, покуда я буду произносить заклинание, но если она рассмеется, все пропало. Добрых четверть часа они смеялись без умолку, но потом, взяв пример с меня, успокоились. Ла Тур подставил бедро Камилле, и та, войдя в роль, принялась усиленно растирать больного, пока я вполголоса бормотал слова, кои они не могли понять, ибо я и сам их не понимал. Я чуть было не



испортил дело, увидав, какие гримасы корчит Камилла, чтобы не расхохотаться, — смешнее не бывает. Наконец я сказал «довольно», окунул кисточку в раствор и одним движением начертил знак Соломона: пятиконечную звезду величиной в пять линий. Потом, обмотав ему бедро тремя салфетками, я обещал, что он выздоровеет, если сутки пробудет в постели, не снимая повязки. Мне понравилось, что они больше не смеялись. Они были озадачены.

Четыре или пять дней спустя, когда я уже обо всем подзабыл, услышал я в восемь утра стук копыт под окном. Выглянув, я увидел, как Ла Тур д'Овернь слезает с коня и входит в дом.

— Вы были так уверены в себе, — сказал он, обнимая меня, — что даже не зашли удостовериться, помогла ли мне ваша чудодейственная операция.

— Конечно, уверен, но будь у меня побольше времени, я бы вас навестил.

— Могу ли я принять ванну?

— Никаких ванн, покуда не почувствуете себя совсем здоровым.

— Слушаюсь. Все кругом дивятся, ведь я не мог не поведать о чуде всем своим знакомым. Иные вольнодумцы подняли меня на смех, но пусть себе говорят, что хотят.

— Вам надлежало быть осмотрительнее, вы же знаете Париж. Теперь я прослышу шарлатаном.

— Да никто так не думает. А я пришел просить вас об одолжении.

— Что вам угодно?

— Моя тетка — признанный знаток абстрактных наук, великий химик, женщина умная, богатая, владеет большим состоянием; знакомство с нею ничего, кроме пользы, не принесет. Она сгорает от желания видеть вас, уверяет, что все про вас знает и вы не тот, кем слывете в Париже. Она заклинала меня привести вас к ней на обед; надеюсь, вы противиться не станете. Ее имя — маркиза д'Юрфе.

Я не был с нею знаком, но имя д'Юрфе произвело на меня впечатление, я знал историю знаменитого Анн д'Юрфе, прославившегося в конце XVI века. Дама сия была вдова его правнука, и я подумал, что, став членом этой семьи, она могла приобщиться высоких таинств науки, что весьма меня занимала, хоть я и почитал ее пустой химерой. Я отвечал Ла Тур д'Оверню, что поеду к тетке его, когда ему будет угодно, но только не на обед, разве что мы будем троим.

— У нее за обедом всякий день бывает двенадцать персон, — возразил он, вы увидите самых примечательных людей Парижа.

— Именно этого я и не хочу, мне претит репутация чародея, каковую вы по доброте душевной мне создали.

— Напротив, все вас знают и почитают. Герцогиня де Лораге говорила, что четыре или пять лет назад вы постоянно ездили в Пале-Рояль, проводили целые дни с герцогиней Орлеанской; г-жа де Буфлер, г-жа де Бло и сам Мельфор помнят вас. Напрасно вы не возобновили прежних знакомств. Вы так ловко исцелили меня, что, уверяю вас, можете составить огромное состояние. Я знаю в Париже сотню человек из высшего света, мужчин и женщин, что отдадут любые деньги, только бы их вылечили.

Рассуждал Ла Тур правильно, но я-то знал, что исцеление его совершеннейшая глупость, удавшаяся случайно, и отнюдь не стремился к известности. Я сказал, что решительно не хочу выставлять себя на всеобщее обозрение и готов нанести визит госпоже маркизе в любой день и час, когда она пожелает, но только втайне и никак иначе. Воротившись в полночь домой, нашел я записку от графа; он просил меня быть завтра в полдень в Тюильри на террасе Капуцинов, там он встретится со мной и отвезет обедать к тетке; он уверял, что мы будем одни и для всех остальных двери будут закрыты.

На свидание пришли мы вовремя и отправились вместе к почтенной даме. Она жила на набережной Театинцев, неподалеку от особняка Буйонов. Госпожа д'Юрфе, красивая, хотя и в годах, приняла меня благороднейшим образом, с изысканностью, отличавшей придворных времен Регентства. Часа полтора мы беседовали о посторонних предметах, без слов согласившись, что надобно получше узнать друг друга. Оба мы хотели побольше выпытать у собеседника. Мне было нетрудно изображать профана — я им был. Госпожа д'Юрфе сдерживала любопытство, но я прекрасно видел, что ей не терпится блеснуть своими познаниями. В два часа нам троим подали обед, что готовили каждый день на двенадцать персон. После обеда Ла Тур д'Овернь покинул нас, дабы навестить принца Тюренна, у коего поутру был сильный жар, и госпожа д'Юрфе тотчас завела речь о химии, алхимии, магии и прочей блажи. Когда добрались мы до Великого Деяния и я по наивности осведомился, знакомо ли ей первичное вещество, только вежливость не позволила ей рассмеяться мне в лицо: с очаровательной улыбкой она отвечала, что обладает тем, что зовется философским камнем, и все таинства ведомы ей. Она показала мне свою библиотеку, унаследованную от великого Юрфе и супруги его Рене Савойской; ее пополнила она рукописями, стоившими сто тысяч франков. Более других почитала она Парацельса, каковой, уверяла она, не был ни мужчиной, ни женщиной, и к несчастью отравился чрезмерной дозой жизненного эликсира. Она показала мне небольшой список, где по-французски ясными словами изъяснялось Великое Деяние. Она сказала, что не держит его под замком потому, что оно зашифровано, а ключ от шифра ведом ей

одной.

— Так вы, сударыня, не верите в стеганографию?

— Нет, сударь, и если желаете, я готова подарить вам копию.

Я поблагодарил и положил список в карман. Из библиотеки прошли мы в лабораторию, что положительно меня сразила; маркиза показала мне вещество, каковое держала на огне пятнадцать лет; оно должно было томиться еще года четыре или пять. То был порошок, способный мгновенно обратить в золото любой металл. Она показала мне трубку, по которой уголь, влекомый собственной тяжестью, равномерно подавался в огонь и поддерживал в печи постоянную температуру, так что маркизе случалось по три месяца не заходить в лабораторию, не опасаясь, что все потухнет. Внизу был небольшой зольник, куда ссыпался пепел. Обжиг ртути был для нее детской забавой; она показала мне прокаленное вещество и прибавила, что я могу посмотреть сию операцию как только захочу. Она показала мне «дерево Дианы» славного Таллиамеда, ее учителя. Таллиамед, как всем ведомо, — это ученый Майе, но госпожа д'Юрфе уверяла, что он отнюдь не умер в Марселе, как всех убедил аббат Ле Мезерье, но жив и, добавила она с улыбкой, частенько шлет ей письма. Если бы регент, герцог Орлеанский, послушался его, он был бы жив и поныне. Она сказала, что регент был первый ее друг, он прозвал ее Эгерией и собственноручно выдал замуж за маркиза д'Юрфе.

Были у нее изъяснения Рамона Люлля с толкованием сочинений Арно де Вильнева, подытожившего писания Роджера Бэкона и Гебера, которые, по мнению ее, были живы до сих пор. Сей бесценный манускрипт держала она в шкатулке из слоновой кости, ключ от которой хранила у себя; лаборатория также была ото всех заперта. Она показала мне бочонок, наполненный платиной из Пинто, — ее могла она превратить в чистое золото, когда ей заблагорассудится. Господин Вуд самолично преподнес ей бочонок в 1743 году. Она поместила платину в четыре различных сосуда: в трех первых серная, азотная и соляная кислота не смогли разъесть ее, но в четвертом была налита царская водка, и платина не устояла. Маркиза плавил ее огненным зеркалом — иначе металл этот не плавился, что, по ее мнению, доказывало превосходство его над всеми другими, и над золотом тоже. Она показала, что под действием нашатыря платина выпадает в осадок, чего с золотом не бывает.

Под атанором огонь горел уже пятнадцать лет. Его башня была наполнена черным углем, из чего я заключил, что маркиза была там пару дней назад. Оборотившись к «дереву Дианы», я почтительнейше осведомился, согласна ли она с тем, что это детская забава. Она с достоинством отвечала, что создала его для собственного увеселения посредством серебра, ртути и азотного спирта, совместно кристаллизуемых, и что дерево, произрастанием металлов рожденное, показывало в малом то великое, что может создать природа; но, присовокупила она, в ее власти создать настоящее солнечное дерево, каковое будет приносить золотые плоды, пока не кончится один ингредиент, что смешивается с шестью «прокаженными» металлами в зависимости от их количества. Я со всей скромностью отвечал, что не считаю сие возможным без посредства философского камня. Госпожа д'Юрфе только улыбнулась в ответ. Она показала мне фарфоровую плошку с селитрой, ртутью и серой и тарелку с неразлагаемой солью.

— Полагаю, — сказала маркиза, — ингредиенты эти вам знакомы.

— Разумеется, — ответил я, — если это соль мочи.

— Вы угадали.

— Восхищен вашей проницательностью, сударыня. Вы сделали анализ амальгамы, которой я начертал пентаграмму на бедре вашего племянника, но никакой винный камень не откроет вам слов, придающих ей силу.

— Для этого в нем нет нужды, достаточно открыть рукопись одного из адептов, что хранится у меня в комнате, я вам покажу, в ней приводятся эти слова. Я промолчал, и мы покинули лабораторию. Войдя в комнату, она достала из шкатулки черную книгу, положила ее на стол и принялась искать фосфор; покуда она искала, я за ее спиной открыл книгу, сплошь испещренную пентаграммами, и, по счастью, увидел ту, что начертал на бедре ее племянника, в окружении имен Духов планет, за исключением двух, Сатурна и Марса; я быстро захлопнул книгу. Об этих Духах знал я от Агриппы и, как ни в чем не бывало, подошел к маркизе, которая вскоре нашла фосфор; вид его меня порядком удивил, но об этом в другой раз.

Госпожа д'Юрфе устроилась на канапе, усадила меня рядом и спросила, знакомы ли мне талисманы графа де Трев.

— Я не слыхал о них, но мне знакомы Полифиловы талисманы.

— Говорят, меж ними нет разницы.

— Не уверен.

— Мы это узнаем, коль вы напишете слова, которые произнесли, рисуя пентаграмму на бедре моего племянника. Если я обнаружу их в книге против того же талисмана, значит, так оно и есть.

— Согласен, это будет убедительное доказательство. Сейчас напишу.

Я написал имена Духов, госпожа маркиза нашла нужную пентаграмму, прочла мне имена, и я, разыгрывая удивление, протянул ей листок бумаги, где она, к вящему своему удовольствию, прочла

те же самые имена.

— Вот видите, — сказала она, — у Полифила и графа де Трева учение одно.

— Я соглашусь, сударыня, если обнаружу в книге способ названия имен злых духов. Известна ли вам теория планетарных часов?

— По-моему, да, но она для этой операции не надобна.

— Тысяча извинений. Я начертал на бедре господина де Ла Тур д'Оверня Соломонову пентаграмму в час Венеры, и если б я не начал с Анаэля, духа сей планеты, все пошло бы насмарку.

— Этого я не ведала. А после Анаэля?

— Потом надо двигаться к Меркурию, от Меркурия к Луне, от Луны к Юпитеру, от Юпитера к Солнцу. Получается, как видите, магический цикл Зороастра. Я пропустил только Сатурн и Марс, которые наука из этой операции исключает.

— А если бы вы, к примеру, начали операцию в час Луны?

— Тогда бы я избрал направление: Юпитер — Солнце — Анаэль, то есть Венера, и наконец Меркурий.

— Я вижу, сударь, что теория планетарных часов известна вам до тонкостей.

— Без этого, сударыня, невозможно заниматься магией, нет времени все вычислять. Но все это нетрудно. Всякий, кто пожелает, за месяц обретет надлежащий опыт. Гораздо сложнее само учение, — но нет ничего недостижимого. По утрам я не выхожу из дома, не уточнив, сколько нынче минут в часе, и не сверив часы, ибо одна минута может стать решающей.

— Осмелюсь ли я просить вас познакомить меня с сей теорией?

— Вы найдете ее у Артефия, а в более ясном изложении — у Сандивония.

— У меня они есть, но по-латыни.

— Я сделаю для вас перевод.

— Вы будете столь любезны?

— Вы столько мне показали, сударыня, что я просто вынужден сделать это, по причинам, о коих я, вероятно, смогу поведать вам завтра.

— Отчего не сегодня?

— Оттого, что сперва я должен узнать имя вашего Духа.

— Вы уверены, что у меня есть Дух?

— Должен быть, если вы и впрямь обладаете философским камнем.

— Это так.

— Поклянитесь клятвой ордена.

— Я не решаюсь, и вы знаете почему.

— Завтра я постараюсь развеять ваши сомнения. То была клятва розенкрейцеров, каковую нельзя произносить, не уверившись в собеседнике; госпожа д'Юрфе опасалась совершить нескромность, а я, в свою очередь, подыгрывал ей. Я тянул время, но клятва эта была мне знакома. Мужчины могут давать ее друг другу без стеснения, но даме, подобной госпоже д'Юрфе, затруднительно произнести ее перед мужчиной, которого видит в первый раз в жизни.

— В нашем святом Писании, — сказала она, — эта клятва сокрыта. «Он поклялся, — гласит священная книга, — возложив руку ему на бедро». Но это не бедро. И потому мужчина никогда так не клянется женщине, ибо у женщины нет Слова.

В девять вечера граф де Ла Тур д'Овернь зашел к тетке и был изрядно удивлен, что я все еще у нее. Он сказал, что лихорадка у его кузена, принца Тюренна, разыгралась пуще прежнего и появились признаки оспы. Он сказал, что пришел проститься, ибо теперь он намерен ухаживать за больным и целый месяц не будет ее навещать. Г-жа д'Юрфе похвалила его рвение и вручила ладанку, взяв обещание вернуть ее, когда принц выздоровеет. Она велела повесить ладанку больному на шею крест-накрест и не сомневаться в скором исцелении — сыпь благополучно сойдет. Он обещал, взял ладанку и ушел.

Тогда я сказал маркизе, что, конечно, не знаю, что было в ладанке, но если это магическое средство, то в его силу я не верю, ибо она не дала племяннику никаких наставлений относительно часов. Она отвечала, что то был электризм, и я принес свои извинения.

Маркиза объявила, что ценит мою скромность, но полагает, что я не буду разочарован, согласившись познакомиться с друзьями ее. Она сказала, что будет приглашать их на обед по очереди, дабы потом я мог с приятствием встречаться со всеми. Согласно уговору, на следующий день обедал я с г-ном Гереном и его племянницей, которые мне вовсе не понравились. В другой день — с ирландцем Макартни, старомодным физиком, нагнавшим на меня тоску. В другой день велела они швейцару впустить монаха, а тот, заведя речь о литературе, наговорил гадостей о Вольтере, которого я в ту пору любил, и о «Духе законов», отказывая при том славному Монтескье в авторстве. Он приписывал сие творение какому-нибудь злоязычному монаху. В другой день обедал я с кавалером д'Арзиньи, носившим титул старшины петиметров; он сохранил учтивость обхождения времен Людовика XIV и помнил уйму стародавних анекдотов. Меня он изрядно позабавил; он румянился, носил помпоны на платье по моде минувшего века и уверял, что нежно привязан к

любовнице, для которой снимал загородный домик; каждый вечер он ужинал там в компании ее подружек, юных и прелестных, которые ради него покидали любое общество; он же, несмотря на это, не покушался изменить ей и проводил с нею всякую ночь. Обходительный этот человек, уже дряхлый и трясущийся, был столь кроток, столь своеобразен, что я не усомнился в его словах. Одет он был с превеликим тщанием. Изрядный букет нарциссов и тубероз в верхней петлице, да еще крепкий запах амбры, исходивший от помады, которой прилеплялись накладные волосы (брови были насурьмлены, зубы вставные), создавали сильнейший аромат, который г-же д'Юрфе был по нраву, а мне вовсе нестерпим. В противном случае я искал бы его общества как можно чаще. Г-н д'Арзиньи был убежденный и на диво благостный эпикуреец; он уверял, что согласился бы получать девяносто палочных ударов всякое утро, если б был уверен, что тем продлит себе жизнь еще на сутки, и чем больше будет стариться, тем более жестокою порку готов себе задавать.

В другой день обедал я с г-ном Шароном, советником Большой палаты Парламента, который докладывал дело на процессе г-жи д'Юрфе против ее дочери, г-жи дю Шатле, каковую она ненавидела. Старый советник был ее счастливым возлюбленным сорок лет назад, а потому считал своим долгом держать ее сторону. Судейские во Франции были пристрастны и чувствовали себя вправе быть пристрастными к тем, кто пользовался их благосклонностью, поскольку право судить купили себе за деньги. Этот крючкотвор мне порядком надоел.

Но в другой день прониклись мы взаимной симпатией с господином де Виармом, молодым советником, племянником маркизы; он пришел на обед со своею супругой. Милейшая чета, племянник, признанный умница — весь Париж читал его «Представление Королю о злоупотреблениях по службе». Он уверял, что назначение советника Парламента — противиться королевским указам, даже благим. Доводы, кои приводил он в защиту этого принципа, были те же, что всегда выдвигает меньшинство во всяком сообществе. Я не буду докучать читателю пересказом их.

Самый приятный обед был с госпожой де Жержи; ее сопровождал славный авантюрист граф де Сен-Жермен. Вместо того, чтобы есть, он непрестанно говорил, и я слушал его с великим вниманием, ибо лучшего рассказчика не встречал. Он показывал, что сведущ во всем, он хотел удивлять — и положительно удивлял. Держался он самоуверенно, но это не раздражало, ибо человек он был ученый, знавший множество языков, отменный музыкант, отменный химик, хорош собой; он умел расположить к себе женщин, ибо снабжал их пудрой, придававшей коже красоты, и в то же время льстил надеждой если не омолодить их, что, как он уверял, невозможно, то сохранить их нынешний облик посредством воды, чрезвычайно дорого ему стоившей; ее он преподносил в подарок. Этот необычайный человек, прирожденный обманщик, безо всякого стеснения, как о чем-то само собою разумеющемся, говорил, что ему триста лет, что он владеет панацеей от всех болезней, что у природы нет от него тайн, что он умеет плавить бриллианты и из десяти-двенадцати маленьких сделать один большой, того же веса и притом чистойшей воды. Для него это сущий пустяк. Несмотря на бахвальство, противоречия и явную ложь, я решительно не мог почтись его за обыкновенного нахала, но и уважения к нему не испытывал; против своей воли счел я его человеком удивительным — ибо он меня удивил. У меня еще будет случай говорить о нем.

После того как г-жа д'Юрфе свела меня со всеми, я сказал, что буду обедать у нее, когда она пожелает, но только наедине, за исключением родственников ее и Сен-Жермена, чье красноречие и бахвальство забавляли меня. Этот человек, обедавший в лучших домах Парижа, никогда ни к чему не притрагивался. Он уверял, что поддерживает жизнь особою пищей, и с ним охотно примирялись, ибо он был душою всякого застолья.

Я сумел до тонкостей изучить госпожу д'Юрфе, что почитала меня за истинного адепта, укрывшегося под маской посредственности; она еще более укрепилась в этих химерических мыслях пять или шесть недель спустя, когда осведомилась, расшифровал ли я манускрипт, где изъяснялось Великое Деяние. Я ответил, что расшифровал и вследствие этого прочел и что верну его, дав слово чести, что не снял копию.

— Ничего нового я там не обнаружил, — сказал я.

— Извините, сударь, но это никак невозможно без шифра.

— Прикажете назвать вам ключ, сударыня?

— Сделайте милость.

Я произношу слово, не принадлежавшее ни к одному языку, и повергаю ее в изумление. Она сказала, что это слишком, поскольку считала, что одна знает это слово; его хранила она в памяти и никогда не доверяла бумаге.

Я мог сказать ей правду, что те же подсчеты, какие помогли расшифровать рукопись, открыли и ключ, но мне взбрело на ум объявить, что его сообщил Дух мне. Ложным этим признанием я поработил г-жу д'Юрфе. В тот день она предалась мне душой, и я злоупотребил своей властью. Всякий раз, как я вспоминаю об этом, грусть и стыд охватывают меня, и ныне я совершаю покаяние, обязав себя говорить в Мемуарах правду. Великим заблуждением госпожи д'Юрфе была вера в возможность общения с Духами, называемыми стихийными. За это отдала бы она все свое имение; она встречала уже мошенников, что пробуждали в ней надежду указать верный путь. Узнав меня, она

уверилась, что достигла цели — ведь я дал столь убедительное доказательство своей тайной власти.

— Я не знала, — сказала она, — что ваш Дух властен принудить моего выдать тайну.

— Ему принуждать ни к чему, он сам все знает, такова природа его.

— Ведомы ли ему тайны, сокрытые в моей душе?

— Без сомнения, и он откроет их мне, если я его спрошу.

— Вы можете спрашивать, когда хотите?

— В любой момент, если есть бумага и чернила; я могу заставить его отвечать вам, назвав вам его имя. Его зовут Паралис. Составьте вопрос, как если б вы обращались к простому смертному, спросите, как сумел я расшифровать ваш манускрипт, и вы увидите, как я заставлю его вам отвечать.

Дрожа от радости, г-жа д'Юрфе задает вопрос; я записываю его цифрами, составляю, как всегда, пирамиду и помогаю ей извлечь ответ, который она сама обращает в буквы. Она видит только согласные, но посредством другой операции отыскивает с моей помощью гласные, составляет слова и получает совершенно ясный ответ, ее сразивший. Перед глазами своими видит она слово, необходимое для расшифровки манускрипта.

Я покинул ее, унося с собой ее душу, сердце, разум и остатки здравого смысла.

## ГЛАВА VI

Ложное и противоречивое представление г-жи д'Юрфе о моей власти. Мой брат женится; проект, сочиненный в день свадьбы. Я отправляюсь в Голландию по финансовым делам <...>

Принц Тюрэнн оправился от оспы, граф де Ла Тур д'Овернь с ним расстался и, зная любовь тетушки к абстрактным наукам, не удивился, обнаружив, что я сделался единственным ее другом. Я с удовольствием виделся за обедом с ним и другими родственниками, их доброе отношение трогало меня. То были ее братья г. де Понкарре и г. де Виарм, избранный в ту пору купеческим старшиной, а также сын его, о котором уже, кажется, случилось мне говорить. Дочь маркизы, г-жа дю Шатле, сделалась из-за процесса заклятым ее врагом, и даже имени ее в доме не поминали.

Ла Тур д'Овернь понужден был в то время отправиться в булонский полк в Бретань, и мы почти всякий день обедали вдвоем. Челядь маркизы глядела на меня, как на ее мужа; они рассудили, что я непременно ей муж, — так истолковали они, отчего мы столько времени проводим вместе. Почитая меня богатым, госпожа д'Юрфе вообразила, будто я доставил себе место при лотерее Военного училища не иначе, как для маскирования.

Она полагала, что я не только владею философским камнем, но и вожусь со стихийными Духами, а потому могу перевернуть Землю, составить счастье или несчастье Франции. Необходимость скрываться она приписывала весьма основательному страху угодить в тюрьму, за решетку, что, верила она, было неминуемо, когда бы министерство сумело меня распознать. Все эти сумасбродства внушал ей по ночам Дух, а воспаленная фантазия заставляла принимать на веру. Выказывая легковёрность несравненную, она объявила однажды, будто Дух сообщил ей, что, поскольку она женщина, ей не дано сноситься с Духами стихий, но что в моей власти с помощью известной мне операции переселить ее душу в тело ребенка мужского пола, рожденного от философского соития бессмертного со смертной либо смертного мужа с божественной супругой.

Поддерживая безумные эти мечты, я не считал, что обманываю ее, — она обманывалась сама, и разубедить ее было невозможно. Если б я, как истинно честный человек, сказал ей, что это вздор, она бы мне попросту не поверила, и я решил, что все должно идти своим чередом. Особенно нравилось мне, что меня почитает за величайшего из Розенкрейцеров и могущественнейшего из людей высокородная дама, состоящая в родстве с самыми знатными французскими фамилиями и к тому же богатая — и более ценными бумагами, нежели восемьдесятю тысячами годового дохода, что приносили ей имение и дома в Париже. Я ясно видел, что в случае надобности мне ни в чем не будет отказа, и хоть я не строил планов завладеть ее богатствами, ни всеми, ни частью, я не в силах был отказаться от этой власти.

Г-жа д'Юрфе была скупа. Тратила она никак не более тридцати тысяч ливров в год, а с остальными сбережениями, составлявшими вдвое большую сумму, играла на бирже. Биржевый маклер покупал для нее королевские процентные бумаги, когда они шли по самой низшей цене, и продавал, когда их курс повышался. Таким способом преумножила она свое состояние. Она много раз говорила, что готова отдать все, чем владеет, дабы стать мужчиной, и знает, что зависит это от меня.

Я сказал ей однажды, что и в самом деле могу осуществить сию операцию, но никогда не отважусь, поскольку принужден буду умертвить ее.

— Я знаю, — отвечала она, — знаю даже, какую смерть мне придется принять, и я готова.

— И какой вам представляется, сударыня, ваша кончина?

— Я умру от снадобья, что унесло Парацельса, — живо ответствовала она.

— И вы полагаете, душа его перенеслась в иное тело?

— Нет. Но знаю почему. Он не был ни мужчиной, ни женщиной, а надобно непременно быть тем или другим.

— Правда ваша, но известен ли вам состав снадобья и что без вмешательства Саламандры изготовить его невозможно?

— Так, наверное, и есть, но этого я не знала. Прошу вас, спросите у каббалы, есть ли у кого в Париже это снадобье?

Я тотчас понял, что она считает, будто снадобье есть у нее, и, не колеблясь, составил нужный ответ, изобразив глубокое удивление. Она ничуть не поразилась, а, напротив, восторжествовала.

— Вот видите, — сказала она, — не хватает единственно ребенка, носителя божественного семени. Я знаю, это в вашей власти, и не верю, что вам не достанет мужества решиться из-за неуместной жалости к дряхлому моему остоу.

При этих словах я встал и отошел к окну, что выходило на набережную; так простоял я полчетверти часа, размышляя над ее безумствами. Когда я воротился к столу, за которым она сидела, она посмотрела на меня внимательно и взволнованно воскликнула:

— Возможно ли, друг мой? У вас на глазах слезы! Я не стал ее разубеждать, взял со вздохом шапку и ушел. Ее карета всякий день была в моем распоряжении и теперь ждала меня у ворот.

Брат мой был принят единодушно в Академию — на выставке его батальное полотно заслужило одобрение всех ценителей. Академия сама решила приобрести картину и уплатила брату пятьсот луидоров, что он за нее спросил. Он влюбился в Коралину и женился бы на ней, когда б она ему не изменила. Он так оскорбился, что, желая отнять у нее всякую надежду на примирение, меньше чем в неделю женился на танцовщице из кордебалета Итальянской комедии. Свадьбу пожелал устроить г-н де Санси, церковный казначей, весьма любивший эту девушку; в знак благодарности за благое дело, что совершил мой брат, женившись на ней, г-н де Санси доставил ему заказы на картины от всех своих друзей, открыв дорогу к богатству, которого он добился, и великой славе, которую он завоевал.

Во время свадьбы г-н Корнеман завел со мной разговор о нехватке денег в казне, побуждая обратиться к генерал-контролеру и предложить действенное средство. Он сказал, что если уступить по сходной цене королевские процентные бумаги амстердамской торговой компании, то можно взамен получить бумаги другого государства, не воспрещенные к продаже как французские, кои можно будет легко обратить в деньги. Я просил его никому об этом деле не рассказывать и обещал им заняться.

На другое утро я немедленно отправился к своему покровителю аббату, каковой счел оборот превосходным и посоветовал мне самому ехать в Голландию с рекомендательным письмом от герцога де Шуазеля к господину д'Афри, которому можно было бы перевести на несколько миллионов ценных бумаг и сбыть по моему усмотрению. Он велел сперва обсудить дело с г-ном де Булоном и, главное, держаться поувереннее. Он убеждал, что если я не стану просить денег вперед, то мне дадут столько рекомендательных писем, сколько я захочу.

Я сразу загорелся. В тот же день повидал я генерал-контролера, каковой, найдя идею мою превосходной, сказал, что герцог де Шуазель должен быть завтра с утра в Инвалидном доме и мне надобно переговорить с ним без отлагательства и вручить записку, каковую он сейчас напишет. Он обещал отправить послу на двадцать миллионов ценных бумаг — на худой конец, они вернутся обратно во Францию. Я, нахмурившись, отвечал, что, если не требовать лишнего, бумаги, надеюсь, не вернутся. Он возразил, что скоро заключат мир, а потому я должен уступать бумаги с самой малой скидкой; в этом деле я буду подчиняться посланнику, каковой получит надлежащие указания.

Я был столь горд поручением, что во всю ночь не сомкнул глаз. Герцог де Шуазель славился быстротой в делах; едва он прочел записку г-на де Булоня и пять минут меня послушал, как приказал составить письмо к г-ну д'Афри, прочел его про себя, подписал, запечатал, вручил мне и пожелал счастливого пути. В тот же день выправил я паспорт у г-на Беркенроде, попрощался с Манон Баллетти и всеми друзьями, за исключением госпожи д'Юрфе, у которой должен был провести весь завтрашний день, и доверил подписывать лотерейные билеты моему верному приказчику. <...>

Получив у г-на Корнемана переводной вексель на три тысячи флоринов на жида Боаса, придворного банкира в Гааге, я отправился в путь; в два дня доехал до Анвера и там сел на яхту, что доставила утром меня в Роттердам, где я отоспался. На следующий день, в Сочельник, прибыл я в Гаагу и остановился у Жаке, в трактире «Английский парламент». Я немедленно отправился с визитом к г-ну д'Афри и явился в тот самый момент, когда он читал письмо герцога де Шуазеля, извещавшего обо мне и моем деле. Он оставил меня обедать вместе с г-ном Кудербахом, поверенным короля Польского, курфюрста Саксонского, и побуждал меня приложить все усилия, присовокупив, однако, что сомневается в успехе, поскольку у голландцев были все основания полагать, что мир так быстро не заключат. <...>

Г-н д'Афри приехал с ответным визитом в «Английский парламент» и, не застав меня, запискою просил его навестить — у него есть для меня новости. Я пришел, пообедал и узнал из послания, полученного им от г-на де Булоня, что он может предоставить в мое распоряжение двадцать миллионов только из расчета восьми процентов убытка, ибо мир вот-вот будет заключен. Посол посмеялся над этим, и я тоже. Он посоветовал мне не доверяться жидам, самый честный из которых

всего лишь меньший плут, и предложил рекомендательное письмо к Пелсу в Амстердам, каковое я с благодарностью принял; дабы помочь продать акции гетеборгской Индийской компании, он представил меня шведскому посланнику. Тот адресовал меня к г-ну Д. О.

Я отправился накануне праздника Иоанна апостола по причине собрания самых ревностных франкмасонов Голландии. Ввел меня граф Тот, брат того барона, что упустил свое счастье в Константинополе. <...>

## ГЛАВА VII

Удача сопутствует мне в Голландии. Я возвращаюсь в Париж с юным Помпеати

Прошло несколько времени, и г-н Д. О. сообщил мне, что они вместе с Пелсом и хозяевами шести других торговых домов порешили по поводу моих двадцати миллионов. Они давали десять миллионов наличными и семь ценными бумагами, то есть с уступкой в пять и шесть процентов, вместе с одним процентом комиссионных. Кроме того, они отказывались от миллиона двухсот тысяч флоринов, каковые французская Индийская компания должна была голландской. Я отправил списки договора г-ну де Булоню и г-ну д'Афри, требуя скорого ответа. Неделю спустя г-н де Куртей прислал мне распоряжение г-на де Булоня; сделку расторгнуть и воротиться в Париж, ежели ничего более сделать не могу. И вновь мне твердили, что мир неминуемо заключат. <...>

Спустя неделю г-н Д. О. сказал свое последнее слово: Франция потеряет всего девять процентов при продаже двадцати миллионов при условии, что я не требую куртажа с покупателей. Я отправил с нарочным копии договора г-ну д'Афри, умоляя переслать их за мой счет генерал-контролеру вместе с письмом, где пригрозил, что дело сорвется, если он хоть на день позже представит г-ну д'Афри право дозволить мне заключить сделку. Я с той же силой убеждал г-на де Куртея и г-на герцога, уведомив, что ничего не выгадаю, но все одно заключу договор, уверенный, что мне возместят расходы и не откажут в Версале в моих законных комиссионных. <...>

Через десять-двенадцать дней после отправки ультиматума я получил письмо от г-на де Булоня, сообщавшего, что посол получил все необходимые для заключения сделки распоряжения, и тот со своей стороны все подтвердил. Он напоминал, чтобы я принял все меры предосторожности: королевские процентные бумаги он выдаст, только получив восемнадцать миллионов двести тысяч франков звонкой монетой. <...> Наутро мы покончили с послом все дела. <...>

Десятого числа февраля воротился я в Париж и снял себе прекрасную квартиру на улице Контес-д'Артуа неподалеку от улицы Монторгей.

## ГЛАВА VIII

Покровитель оказывает мне благосклонный прием. Заблуждения г-жи д'Юрфе

<...> Первый визит нанес я своему покровителю, у которого застал большое общество; увидал я и посла венецианского, каковой сделал вид, будто меня не узнал.

— Давно ли вы приехали? — сказал министр, протянув мне руку.

— Только что вышел из почтовой коляски.

— Так отправляйтесь в Версаль, там вы найдете герцога де Шуазеля и генерал-контролера. Вы сотворили чудо — пусть теперь вам поклоняются. Потом возвращайтесь ко мне. Скажите г-ну герцогу, что я отправил Вольтеру королевскую грамоту, жалующую его званием палатного дворянина.

В Версаль в полдень не ездят, но так всегда изъясняются министры, когда они в Париже. Как будто Версаль тут, за углом. Я отправился к госпоже д'Юрфе.

Первые слова ее были, что Дух уведомил ее, что сегодня она меня увидит.

— Вчера Корнеман сказал мне, что вы совершили невозможное. Я уверена, что вы сами учли эти двадцать миллионов. Фондовые ценности поднялись, на будущей неделе в обороте будет по меньшей мере сто миллионов. Простите, что я осмелилась преподнести вам двенадцать тысяч франков. Это такая безделица.

Не было нужды разубеждать ее. Она велела сказать швейцару, что ее ни для кого нет, и мы начали разговор. Она задрожала от радости, когда я между прочим обмолвился, что привез с собою мальчика лет пятнадцати и хочу отдать его в лучший парижский пансион.

— Я помещу его к Виару вместе с моими племянниками, — сказала она. — Как его зовут? Где он? Я знаю, что это за мальчик. Мне не терпится его увидеть. Почему вы не остановились с ним у меня?

— Я представлю вам его послезавтра, завтра я буду в Версале.

— Он говорит по-французски? Пока я улажу дела с пансионом, пусть он поживет здесь.

— Об этом мы поговорим послезавтра. Зайдя в контору, где все было в полном порядке, я направился в Итальянскую комедию, где играла Сильвия. Она была в своей уборной вместе с дочерью. Она сказала, что наслышана о выгодной сделке, которую заключил я в Голландии, и изрядно удивилась, услышав в ответ, что я старался ради ее дочери. Та покраснела. <...>

За ужином у Сильвии я блаженствовал. Меня ласкали как родного сына, а я, в свой черед, уверял их, что и хочу быть им сыном. Мне казалось, что состоянием своим я обязан их связям и неизменной дружбе. Я уговорил мать, отца, дочь и двух сыновей принять подарки, что я им привез. Самый дорогой был у меня в кармане, и я вручил его матери, а та передала его дочери. То были серьги, обошедшие мне в шесть тысяч флоринов. Три дня спустя подарил я ей ящичек, где она обнаружила две штуки великолепного ситца, две — тончайшего полотна и вышивные кружева из Фландрии, что зовут английскими. Марио, заядлому курильщику, вручил я отделанную золотом трубку, а другу моему — красивую табакерку. Младшему, которого любил до безумия, я подарил часы. Я уже рассказывал об этом юноше, таланты коего никак не соответствовали его положению. Но был ли я довольно богат, чтоб делать такие подарки? Конечно же нет. Именно потому я делал их, что сомневался в будущем. Будь я в нем уверен, я бы повременил.

Рано утром поехал я в Версаль. Г-н герцог де Шуазель принял меня, как и в прошлый раз: его причесывали, он писал. На сей раз он отложил перо. Холодно поздравив меня, он сказал, что если я смогу добиться займа в сто миллионов флоринов из четырех процентов, то получу дворянство. Я отвечал, что поразмыслю над этим, как только увижу, каково будет вознаграждение за мои труды.

— Все говорят, что вы заработали 200 тысяч флоринов.

— Разговоры — не доказательство. Я имею право на комиссионные.

— Хорошо. Идите объясняйтесь с генерал-контролером.

Г-н де Булонь прервал работу и радушно встретил меня, но когда я сказал, что он должен мне 100 тысяч флоринов, только улыбнулся.

— Я знаю, — сказал он, — что вы привезли вексель на сто тысяч экю.

— Ваша правда, но никакого отношения к этим делам он не имеет. Тут и говорить нечего. Я могу сослаться на г-на д'Афри. У меня есть верный проект, как увеличить королевские доходы на двадцать миллионов, и так, чтобы никто не стал жаловаться.

— Осуществите его, и я добьюсь, чтобы король пожаловал вам пенсию в сто тысяч франков и дворянские грамоты, если вы захотите принять французское подданство.

Я отправился в малые покои, где маркиза де Помпадур репетировала балет. Она приветствовала меня и сказала, что я ловкий негодник, коего господу из тех краев недооценили. Она не позабыла, что я сказал ей в Фонтебло восемь лет назад. Я отвечал, что все блага приходят из центра и я надеюсь добраться туда, заручившись ее помощью. <...>

Приехав к г-же д'Юрфе, обнаружил я своего мальчишку в ее объятиях. Она принялась извиняться, что похитила его, но я все обратил в шутку. Я сказал мальчику, что он должен относиться к г-же маркизе как к своей повелительнице и открыть ей сердце. Она объявила, что уложила его с собой, но что впредь ей придется лишиться себя этого удовольствия, коли он не даст обещания вести себя примерно. Я восхитился, юнец покраснел и просил объяснить ему, чем он провинился.

Маркиза сказала, что пригласила на обед Сен-Жермена, — она знала, что чернокнижник этот забавляет меня. Он пришел, сел за стол — как всегда, не есть, а разглагольствовать. Без зазрения совести рассказывал он самые невероятные вещи, и надобно было принимать все за чистую монету, ибо он уверял, что сам был тому свидетелем или играл главную роль; но когда он вспоминал, как обедал с членами Тридентского собора, я не мог не хмыкнуть.

Госпожа д'Юрфе носила на шее большой магнит, оправленный в железо. Она уверяла, что рано или поздно он притянет молнию и она вознесется к солнцу.

— Несомненно, — отвечал плут, — но я один в мире могу тысячекратно усилить притяжение магнита в сравнении с тем, что могут заурядные физики.

Я холодно возразил, что готов поставить 20 тысяч экю, что он даже не удвоит силы магнита, что на шее у хозяйки. Маркиза не дозволила ему принять пари, а потом наедине сказала мне, что я бы проиграл, поскольку Сен-Жермен чародей. Я спорить не стал.

Несколько дней спустя мнимый этот чародей поехал в королевский замок Шамбор, где король предоставил ему жилье и сто тысяч франков, дабы он мог без помех работать над красителями, что должны были обогатить все суконные фабрики Франции. Он покорила государя, оборудовав в Трианоне лабораторию, изрядно его забавлявшую, — король, к несчастью, скучал везде, кроме как на охоте. Алхимика представила ему маркиза де Помпадур, дабы приохотить к химии; после того как Сен-Жермен подарил ей молодильную воду, она во всем ему доверялась. Принимая, согласно предписанию, чудодейственную воду, нельзя было вернуть молодость сей правдолюбец соглашался, что это невозможно, — но единственно увереешься от старости, сохранить себя на века «in status quo» \*. Маркиза уверяла монарха, будто и вправду чувствует, что не стареет.

Король показывал герцогу де Де-Пону алмаз чистейшей воды весом в двенадцать каратов, который носил на пальце, — он верил, что собственноручно изготовил его, посвященный в тайнства обманщиком. Он уверял, что расплавил двадцать четыре карата мелких брильянтов, которые соединились в один, но после огранки алмаз уменьшился вдвое. Уверовав в учение алхимика, он отвел ему в Шамборе те самые покои, что всю жизнь отводил славному маршалу Саксонскому. Историю эту я сам слышал из уст герцога, когда имел честь отужинать с ним и шведским графом



Левенхупом в Меце, в трактире «Король Дагобер».

Перед тем, как покинуть госпожу д'Юрфе, я признался, что, быть может, именно в этом мальчишке ей суждено возродиться, но она все испортит, если не дожидется его возмужания.

Она поместила его в пансион к Виару, дала всевозможных учителей и назвала графом Арандаю, хотя родился он в Барейте и мать его отроду не знавала испанца с таким именем. Я навестил его лишь три или четыре месяца спустя, когда устроился. Я все боялся какого-нибудь досадного недоразумения из-за имени, которым наградила его духовидица без моего ведома.

Приехал повидать меня Тирета в изящном экипаже. Он сказал, что г-жа ХХХ решила выйти за него замуж, но он никогда не согласится, хоть она и предлагает ему все свое состояние. Он мог бы отправиться с ней в Тревизо, расплатиться с долгами и жить там в свое удовольствие. Судьба помешала ему воспользоваться моим добрым советом.

Решив снять загородный домик, я, осмотрев многие, нашел подходящий в Малой Польше. Был он превосходно обставлен и находился в ста шагах от заставы Мадлен, на горюшке, рядом с «Королевской охотой», за садом герцога де Граммона. Владелец назвал его «Щегольской Варшавой». Два сада — один на уровне второго этажа, трое хозяйских покоев, бани, конюшня на двадцать лошадей и большая кухня со всевозможной утварью. Хозяин дома прозывался «Король масла» и иначе не расписывался. Сам Людовик XV прозвал его так, когда однажды отведал его масло и нашел его превосходным. Он сдал мне дом за сто луидоров в год и предоставил отменную кухарку по имени Ла Перль, каковой доверил мебель и посуду на шесть персон, уговорившись, что она будет выдавать ее, когда понадобится, по одному су за унцию. Он подрядился поставлять любые вина по самой сходной цене — дешевле, чем в Париже, поскольку закупал их в провинции. За заставой все дешевле. Еще он обещал недорогого сена для лошадей, одним словом, всего, ибо жил я в пригороде и ввозную пошлину платить было не нужно.

Спустя неделю или того меньше был у меня добрый кучер, два экипажа, пять лошадей, конюхи, два отличных ливрейных лакея. Госпожа д'Юрфе — ее я первую пригласил на обед — была очарована моим домом. Она решила, что все это ради нее, а я ее не разубеждал. Я не отрицал, что малыш Аранда принадлежит Великому ордену, что тайна его рождения скрыта от всех, что он лишь на временном моем попечении, что ему суждено принять смерть и продолжить жить. Я почитал за лучшее соглашаться со всеми ее фантазиями, а она уверяла, что тайны ей открывает Дух, беседующий с ней по ночам. Я отвез ее домой и оставил наверху блаженства. <...>

## ГЛАВА X

Новые неурядицы. Ж.-Ж. Руссо. Я основываю коммерческое предприятие

Аббат де Бернис, к которому ездил я с визитом раз в неделю, сказал мне как-то, что генерал-контролер постоянно справляется обо мне и я напрасно им пренебрегаю. Он посоветовал мне забыть о притязаниях и сообщить тот способ увеличить государственные доходы, о каком я упоминал. Высоко ценя советы человека, коему обязан был состоянием, я отправился к генерал-контролеру и, доверившись его порядочности, представил проект. Речь шла о новом законе, который должен был утвердить Парламент, в силу чего все непрямые наследники отказались бы от доходов за первый год в пользу короля. Он распространялся бы и на дарственные, совершенные «inter vivos» \*, и не мог обидеть наследников они могли себе вообразить, что завещатель умер годом позже. Министр сказал, что никаких сложностей с моим проектом не будет, убрал его в секретный портфель и уверил, что будущность моя обеспечена. Неделю спустя он ушел в отставку, а когда я представился его преемнику Силузету, тот холодно объявил, что, когда зайдет речь об издании закона, меня известят. Он вступил в силу два года спустя, и надо мной посмеялись, когда, объявив о своем авторстве, я заикнулся о правах.

Вскоре после того умер папа римский, его преемник венецианец Редзониго тотчас сделал кардиналом моего покровителя де Берниса, а король сослал его в Суассон через два дня, как он получил шапку; и вот я без покровителя, но довольно богат, чтоб перенести этот удар. Знаменитый аббат, увенчанный славой за то, что уничтожил дело рук кардинала де Ришелье, в согласии с принцем Кауницем обратил старинную вражду Бурбонов и Австрийцев в счастливый союз, избавил от ужасов войны Италию, что становилась полем сражений при всяком раздоре между двумя царствующими домами, и за это первым получил кардинальскую шапку от папы, каковой в бытность свою епископом Падуанским смог по достоинству оценить его, словом, благородный этот аббат, скончавшийся в прошлом году в Риме и высоко чтимый Пием VI, получил отставку за то, что, когда король спросил у него совета, отвечал, что не считает принца де Субиза самым подходящим человеком на пост главнокомандующего. Едва Помпадур услышала об этом от короля, она постаралась избавиться от аббата. Немилость его всех огорчила, но народ утешился куплетами. Странная нация; она забывает о горестях, посмеявшись над стихами или песенками. В мое время сочинителей эпиграмм и куплетов, что потешались над правительством и министрами, упекали в Бастилию, но это не мешало остроумцам развлекать компании (слова «клуб» тогда еще не знали)

язвительными сатирами. Некто, я запомнил его имя, присвоил себе стихи Кребийона-сына и предпочел отправиться в тюрьму, нежели отказаться от авторства. Помянутый Кребийон объявил герцогу де Шуазелю, что сочинил подобные стихи, но что узник также мог их сочинить. Это словцо автора «Софы» всех рассмешило, и ему ничего не сделали.

Мой Бог! Все изменилось вдруг:

Юпитер закивал согласно, /Король

Плутон кокеткам лучший друг, / г-н де Булонь

Венера судит самовластно / Помпадур

Марс нацепил себе клобук /герцог де Клермон, аббат де Сен

Жермен-де-Пре

Ну а Меркурий взял кирасу / Маршал де Ришелье

Славный кардинал де Берни провел десять лет в изгнании «procul negotiis» \*\*, но в несчастии, как я сам узнал от него в Риме лет через пятнадцать. Говорят, лучше быть министром, чем королем, но, «saeteris paribus» \*\*\*, я нахожу, что нет ничего глупее этого изречения, если, как полагается, примерить его к себе. Это все равно, что уверять: зависимость предпочтительней независимости. Кардинала ко двору не вернули — не было случая, чтоб Людовик XV вернул отставленного от дел министра; но после смерти Редзониго он принужден был поехать на конклав и остался до конца жизни посланником в Риме.

В ту пору г-же д'Юрфе пришла охота познакомиться с Жан-Жаком Руссо, и мы отправились к нему с визитом в Монморанси, прихватив ноты, которые он превосходно переписывал. Ему платили вдвое больше, чем любому другому, но он ручался, что не будет ошибок. Тем он и жил.

Мы увидели человека, который рассуждал здраво, держался просто и скромно, но ничто, ни внешность его, ни ум, не поражали своеобычностью. Особой учтивостью он не отличался. Он был не слишком приветлив, и этого было достаточно, чтобы г-жа д'Юрфе сочла его невежей. Видели мы и женщину, о которой уже были наслышаны. Но она едва на нас взглянула. Мы воротились в Париж, смеясь над странностями философа. Но вот точное описание визита, что нанес ему принц де Конти, отец нынешнего, которого звали в ту пору граф де ла Марш.

Принц, сама любезность, нарочно является один в Монморанси, чтобы провести день в приятной беседе с философом, уже тогда знаменитым. Он находит его в парке, заводит разговор, изъясняет, что пришел к нему отобедать и провести целый день, поговорить вволю.

— Ваше Высочество, кушанья у меня самые простые, но прикажу поставить еще один прибор.

Он уходит, возвращается и, погуляв с принцем часа два-три, ведет его в гостиную, где накрыт стол. Принц видит на столе три прибора.

— Кого еще вы намереваетесь посадить за стол? — вопрошает он. — Я полагал, что мы будем обедать вдвоем.

— Ваше Высочество, это мое второе я. Она не жена мне, не любовница, не служанка, не мать, не дочь, она для меня все.

— Я верю вам, друг мой, но я пришел единственно, чтоб пообедать с вами, а посему оставляю вас наедине с вашим всем. Прощайте, Вот какие глупости совершают философы, когда, желая быть оригинальными, чудят. Та женщина была мадемуазель Ле-Вассер, которую он удостоил чести носить свое имя — почти точную анаграмму ее собственного.

В те дни видел я провал комедии французской, именуемой «Дочь Аристида». Автором ее была г-жа де Графиньи. Достойная женщина с горя скончалась через пять дней после премьеры. Аббат Вуазенон был донельзя опечален: он побудил ее представить пьесу на суд публики и, возможно, помог в написании ее — равно как «Перуанских писем» и «Сении». В ту самую пору мать Редзониго умерла от радости, узнав, что сын ее стал папой. Сие доказывает, что женщины чувствительней нас, но слабей здоровьем. <...>

Зачарованный подобной жизнью и нуждаясь для поддержания ее в 100 тысячах ливров ренты, я частенько ломал голову над тем, как упрочить свое положение. Прожектер, с коим свел я знакомство у Кальзабиджи, показался мне посланцем богов, что обеспечит мне доход даже свыше моих желаний. Он поведал, какие баснословные барыши приносят шелковые мануфактуры и чего может добиться состоятельный человек, который рискнет завести фабрику набивных шелковых тканей на манер пекинских. Он доказал мне, что шелка наши отменные, краски яркие, рисовальщики искусней азиатов и это не дело, а клад. Он убедил меня, что если запросить за ткани, что красивей китайских, цену на треть меньшую, они пойдут в Европе нарасхват, а заводчик, несмотря на дешевизну, все равно зарабатывает сто на сто. Он изрядно меня заинтересовал, сказав, что сам рисовальщик и художник и готов показать образцы, плоды своих трудов. Я предложил ему прийти завтра ко мне обедать, захватив образцы; сперва посмотрим их, потом поговорим о деле. Он пришел, я взглянул — и был поражен. Золотая и серебряная листва превосходила красотой китайский шелк, что так дорого продавался в Париже и повсюду. Я заключил, что дело это нетрудное, если приложить рисунок к ткани, то мастерицам, которых я найму и буду оплачивать поденно, останется только раскрашивать, как им объяснят, и изготовят они столько штук, сколько я захочу, в

зависимости от их числа.

Идея стать хозяином мануфактуры пришла мне по душе. Я тешил себя мыслью, что подобный способ обогащения заслужит всяческое одобрение у правительства. Но я все же решил ничего не предпринимать, не разведав всего как следует, не узнав доходов и расходов, не взяв на жалование и не заручившись помощью верных людей — на них я бы мог всецело положиться и оставить себе только присматривать за всем и следить, чтобы каждый был при деле.

Я пригласил своего знакомца пожить у меня недельку. Я хотел, чтоб он при мне рисовал и раскрашивал ткани всех цветов. Он резво со всем управился и все мне оставил, сказав, что если я сомневаюсь в стойкости красок, то могу их как угодно испытывать. Образчики эти я пять или шесть дней таскал в карманах, и все знакомые восхищались их красотой и моим проектом. Я решился завести мануфактуру и спросил совета у моего знакомца, который должен был стать управляющим.

Решив снять дом за оградой Тампля, я нанес визит принцу де Конти, который, горячо одоббив мое предприятие, обещал протекцию и всяческие послабления, каких я только мог желать. В доме, что я снял всего за тысячу экю в год, была большая зала, где должны были трудиться работницы, занимаясь каждая своим делом. Другая зала предназначалась под склад, а прочие — под жилье для старших служащих и меня, если вдруг взбредет мне такая охота.

Я поделил дело на тридцать паев, пять отдал художнику-рисовальщику, будущему управляющему, двадцать пять оставил за собой, дабы переуступить компаньонам в зависимости от их вкладов. Один пай пошел врачу, который поручился за складского сторожа, что переехал в особняк со всем своим семейством, а сам я нанял четырех лакеев, двух служанок и привратника. Пришлось отдать еще один пай счетоводу, который привел двух конторщиков; он также поселился в особняке. Я управился скорее, чем в три недели, многочисленные столяры сколачивали шкафы для лавки и мастерили все прочее в большой зале. Управляющему предоставил я найти двадцать красильщиц, коим должен был платить по субботам; завез в лавку двести-триста штук прочной тафты, турецкого шелка и камлота белого, желтого и зеленого, дабы наносить на них рисунок; отобрал я их сам и платил за все наличными.

Мы с управляющим прикинули, что если сбыт наладится только через год, то надобно 10 тысяч экю; столько у меня было. Я всегда мог продать пай по двадцать тысяч франков, но надеялся, что этого делать не придется, ибо рассчитывал на 200 тысяч ренты.

Я знал, конечно, что если сбыта не будет, то я разорюсь, но чего мне было бояться? Я видел, как хороши ткани, слышал от всех, что я не должен так дешево их отдавать. На дом менее чем в месяц ушло около 60 тысяч, и каждую неделю я обязался выкладывать еще 1200. Г-жа д'Юрфе смеялась, решив, что я пускаю всем пыль в глаза, дабы сохранить инкогнито. Изрядно порадовал меня — а должен был напугать — вид двадцати девиц всех возрастов, от восемнадцати до двадцати пяти лет, скромниц, по большей части хорошеньких, внимательно слушавших художника, обучавшего их ремеслу. Самые дорогие стоили мне всего двадцать четыре су в день, и все слыли честными; их отбирала святоша, жена управляющего, и я с радостью доставил ей это удовольствие в уверенности, что обращаю ее в сообщницу, если мне вдруг какую-нибудь захочется. Но Манон Баллетти задрожала, узнав, что я стал владельцем сего гарема. Она долго на меня дулась, хотя и знала, что по вечерам все они идут ужинать и спать к себе домой. <...>

## ГЛАВА XI

Мои мастерицы. Г-жа Баре. Меня обкрадывают, сажают, выпускают. Я уезжаю в Голландию. «Об уме» Гельвеция

Я жил жизнью счастливого человека, но счастлив не был. Большие расходы предвещали беду. Могла бы выручить мануфактура, но война подкосила торговлю. У меня в лавке было четыреста штук готовых тканей — и никакой надежды сбыть их до заключения мира; столь вожделенный мир никак не наступал, и надо было ставить точку. Я написал Эстер, чтобы она убедила отца войти со мной в долю, прислать своего приказчика и оплатить половину расходов. Г-н Д. О. отвечал, что если я согласен перевезти мануфактуру в Голландию, он все возьмет на себя, а мне будет выплачивать половину доходов. Я любил Париж и отказался.

Я много тратил на домик в Малой Польше, но губили меня иные траты, чудовищные, никому не ведомые. Разобрала меня охота познакомиться покороче с работницами, в коих находил я всяческие достоинства; но я был нетерпелив, торговаться не желал, и они заставили меня дорого заплатить за любопытство. Все брали пример с первой и, увидав, что пробудили во мне желание, требовали дом с обстановкой. Дня через три каприз проходил, новенькая всегда казалась мне притягательней своей предшественницы. Ту я больше не видал, но продолжал содержать. Г-жа д'Юрфе, почитая меня богачом, мне не препятствовала; она была счастлива, что я, советуясь с Духом, помогал ей совершать магические обряды. Манон Баллетти терзала меня ревностью и справедливыми попреками. Она не понимала, почему я до сих пор не женился, коли вправду ее люблю; она уверяла, что я обманываю ее. В ту пору мать ее, иссохнув, умерла на ее и моих руках. За десять минут до

кончины она завещала мне дочь. От чистого сердца поклялся я взять ее в жены, но, как говорится в подобных случаях, судьба рассудила иначе. Три дня оставался я с несчастными, разделяя их скорбь.

В те самые дни жестокая болезнь свела в могилу любовницу друга моего Тиреты. За четыре дня до смерти она выставила его, дабы позаботиться о душе, и подарила дорогой перстень и двести луи. Тирета, испросив у нее прощения за все, уложил пожитки и принес мне в Малую Польшу грустную весть. Я поселил его в Тампле, а спустя четыре недели, одоббив намерение его отправиться искать счастья в Индии, дал рекомендательное письмо к г. Д. О. в Амстердам. Менее чем в две недели тот доставил ему место писаря на корабле Индийской компании, отплывавшем в Батавию. Тирета непременно бы разбогател, если б вел себя примерно; но он впутался в заговор, был принужден спастись и испытать многие несчастья. От одного из его родичей узнал я в 1788 году, что он теперь в Бенгалии, весьма богат, но не может изъять свои капиталы, дабы воротиться на родину и жить счастливо. Не знаю, что с ним случилось.

В начале ноября явился в мануфактуру мою придворный служитель герцога д'Эльбефа, с дочкой своей, дабы купить отрез на подвенечное платье. Прелестное ее личико ослепило меня. Дочка выбрала штуку блестящего атласа, и я увидал, как легко и радостно стало у нее на душе, когда отец обрадовался, узнав цену; но, услышав от приказчика, что надо покупать всю штуку, она так опечалилась, что мне сделалось донельзя больно. Так было заведено в лавке — продавать штуками. Я сбежал в кабинет, дабы не делать исключения из правил, и ничего бы не случилось, когда б дочка не попросила управляющего проводить ее ко мне. Она вошла в слезах и безо всяких околичностей объявила, что я богат и могу сам купить штуку, а ей уступить несколько локтей на платье. Я взглянул на отца, всем своим видом просившего извинения за дочкину дерзость — так ведут себя только дети. Я отвечал, что ценю прямоту, и приказал отрезать сколько нужно на платье. Дочка звонко расцеловала меня и вконец приворожила, а отец давился от смеха, так ему все казалось забавным. Уплатив за ткань, он пригласил меня на свадьбу.

— Я выдаю ее замуж в воскресенье, — сказал он, — будет ужин, танцы, вы мне окажете честь. Имя мое Жильбер, я контролер в доме герцога д'Эльбефа, улица Сен-Никез.

Я обещал прийти.

Я пришел, но ни есть, ни танцевать не мог. Весь вечер я был в исступлении от красоты юной Жильбер, да и как мне было найти верный тон в этом обществе? Там были одни герцогские служители с женами и дочерьми, я не знал никого, никто меня не знал, я сидел дурак дураком. На подобных сборищах умник частенько кажется глупцом. Все поздравляли новобрачную, она благодарила, и особливо смеялись, если кто чего не дослышал. Муж, тощий и грустный, восхищался, что жена так ловко веселит компанию. Не ревность вызывал он во мне, но жалость, ясно было, что женился он по расчету. Мне пришла охота порасспросить новобрачную, и случай подвернулся — она села со мной после контрданса. Она принялась благодарить меня, ведь ее красивое платье расхваливали все наперебой.

— Но я уверен, что вам не терпится скинуть его, я знаю, что такое любовь.

— Странно: все в один голос твердят о любви, но этого самого Баре представили мне всего неделю назад, прежде я о нем и не слыхала.

— А почему вас выдают замуж столь поспешно?

— Отец все делает скоро.

— Ваш муж, верно, богат?

— Нет, но может разбогатеть. Послезавтра мы откроем лавочку, будем торговать шелковыми чулками на углу улицы Сент-Оноре и Прувер. Надеюсь, вы будете покупать у нас чулки.

— Будьте покойны, я обещаю вам сделать почин, пусть даже придется провести ночь у дверей вашей лавки.

Она прыснула, позвала мужа, все рассказала, и он с благодарностью отвечал, что это принесет им счастье. Он уверил меня, что его чулки ни за что не распушатся.

Во вторник спозаранку подождал я на улице Прувер, когда лавочка откроется, и вошел. Служанка спрашивает, что мне угодно, и просит зайти позже, хозяева-то спят.

— Я подожду здесь. Принеси мне кофе.

— Не такая я дура, чтобы вас одного в лавке оставить.

Она была права.

Наконец спускается Баре, ругает ее, что не разбудила, посылает сказать жене, что я здесь, раскладывает предо мною товары, показывает жилеты, перчатки, панталоны, покуда не спускается его жена, свежая, как роза, сияющая ослепительно белой кожей, и, прося прощения, что не одета, благодарит, что сдержал слово.

Роста Баре была среднего, от роду ей было семнадцать лет; хотя и не писаная она была красавица, но один Рафаэль мог бы вообразить и запечатлеть на холсте подобную прелесть — она сильнее, нежели красота, воспламеняет созданное для любви сердце. Глаза ее, смех, всегда полуоткрытый рот, внимание, с каким она слушала, пленительная нежность, природная живость, отсутствие кокетства и бездна очарования, силу которого она, казалось, не сознавала, — все

ввергало меня в иступление; я восторгался этим шедевром природы, владельцем коего случай или низменный расчет сделали человека жалкого, тщедушного, невзрачного, которого гораздо больше занимали чулки, чем сокровище, что подарил ему Гименей.

Набрав чулок и жилетов на двадцать пять луидоров и увидав, как зарделось от радости личико прекрасной галантерейщицы, я сказал служанке, что дам ей шесть франков, когда она доставит мне покупки в Малую Польшу. Я удалился, влюбленный по уши, но никакого плана не составил, мне это показалось весьма трудным сразу после свадьбы.

На следующее воскресенье Баре сам принес мне покупки. Я протянул ему шесть франков для служанки, он сказал, что не считает зазорным оставить их себе. Я предложил ему позавтракать свежими яйцами и маслом и поинтересовался, отчего он не взял с собою жену. Он отвечал, что она его о том просила, но он не осмелился, боясь вызвать мое недовольство. Я уверил его, что, напротив, нахожу ее очаровательной.

— Вы слишком добры.

Когда я вихрем проносился мимо лавочки в карете, то на ходу посылая ей поцелуй, ибо чулок мне не требовалось, да и не хотелось смешиваться с ветрогонями, что вечно толпились у прилавка. О хорошенькой торговке уже судачили в Пале-Рояле и Тюильри, мне приятно было слышать, что она корчит скромницу, поджидая какого-нибудь простофилю.

Дней через восемь-десять, увидав, что я еду со стороны Нового моста, она машет мне рукой. Я дергаю за шнурок, она просит меня войти. Супруг с бесконечными расшаркиваниями объявляет мне, что хотел мне первому показать панталоны разных цветов, которые только что получил. Они были в Париже в большой моде. Ни один щеголь не мог выйти утром из дому иначе как в панталонах. Когда юноша хорошо сложен, это вправду красиво, но панталоны должны быть по фигуре, ни длинные, ни короткие, ни широки, ни узки. Я велел заказать на меня три-четыре пары, обещав заплатить вперед. Он уверил, что у него все размеры имеются, и просил подняться наверх примерить, велел жене помочь мне.

Момент был решительный. Я поднимаюсь, она за мной, я прошу прощения, что мне придется раздеться, она отвечает, что охотно мне поможет, представив, что она мой слуга. Я тотчас соглашаюсь, расстегиваю пряжку на туфлях и позволяю торговке стянуть с меня за низ штаны, освобождаюсь от них со всей осторожностью, чтоб не расстаться с подштанниками. Она сама примеряла мне панталоны, снимала их, коль они не годились, оставаясь все время в рамках приличий: на протяжении сей приятной процедуры заставлял себя соблюдать их и я. Она нашла, что четыре пары мне хороши, и я не осмелился перечить. Она требовала с меня шестнадцать луидоров, я отсчитал их и сказал, что буду рад, коль она не сочтет за труд доставить их мне, когда ей будет удобно. Она поспешила вниз, дабы порадовать мужа и доказать, что умеет торговать. Когда я спустился, он сказал, что принесет панталоны в ближайшее воскресенье вместе с женой, а я отвечал, что еще большее удовольствие доставит он мне, если останется обедать. Он возразил, что у него в два часа неотложное дело и он может принять приглашение, только если я соглашусь его отпустить, а в пять он непременно вернется за женой. Я сказал, что он волен поступать, как хочет, поскольку до шести я свободен. Так и порешили — к превеликому моему удовольствию.

В воскресенье супруги сдержали слово. Я тотчас приказал никого не пускать и, горя от нетерпения, велел подать обед в полдень. Изысканные блюда и тонкие вина развеселили чету, и муж сам предложил жене одной возвращаться домой, если он вдруг задержится.

— Ну тогда я отвезу ее в шесть часов, сделав кружок по бульварам, — сказал я ему.

Решено было, что она под вечер будет ждать его дома, и он удалился, донельзя довольный, обнаружив у двери извозчика и узнав, что тому заплачено за весь день. И вот я наедине с сокровищем, которым буду владеть до вечера.

Едва муж вышел за порог, я поздравил жену, что ей достался такой покладистый супруг.

— Характер у него отменный, вы, должно быть, счастливы с ним.

— Счастлива? Вашими бы устами... Тут на душе должно быть покойно, а у мужа столь слабое здоровье, что я должна заботиться о нем, как о больном, да еще долги, что наставляют нас на всем экономить. Мы пришли пешком, чтоб сберечь двадцать четыре су. Доходов от лавочки без долгов бы хватило, а так не хватает. Мы мало продаем.

— Да у вас уйма покупателей, как ни проезжаю, вечно в лавке народ толпится.

— Это не покупатели, а бездельники, охальники, распутники, вечно пошlostями мне докучают. У них ни гроша за душой, и мы смотрим в оба, чтоб они чего не стянули. Если б мы стали в долг отпускать, они бы всю лавочку опустошили. Чтоб их отвадить, приходится грубить, но все попусту. Их ничем не проймешь. Когда муж в лавке, я ухожу, но он часто отлучается. Денег нет, и торговля идет худо, а мы должны по субботам платить мастерам. Нам придется их рассчитать — срок векселя подошел. В субботу надобно заплатить 600 франков, а у нас только 200.

— Странно, что сразу после свадьбы вы так нуждаетесь. Родитель ваш должен был знать все наперед, да ведь и приданое за вами не могли не дать.

— Приданое мое — 6000 франков, 4000 наличными. На них муж открыл лавочку и уплатил

долги. У нас товаров в три раза больше, чем мы должны, но капитал без оборота мертв.

— Ваши речи огорчают меня; коли не заключат мира, боюсь, день ото дня печалей будет больше, да и хлопот прибавится.

— Да, ведь когда муж поправится, у нас могут дети пойти.

— Как! Здоровье не позволяет ему исполнять супружеские обязанности?

— Именно, но меня это не заботит.

— Не понимаю. Не может мужчина рядом с вами хворать, если только он не при смерти.

— Он не при смерти, но признаков жизни не подает. Слово рассмешило меня, и от восторга я стал ее обнимать, да все нежнее, ибо она, покорная, как овечка, ничуть не противилась. Я ободрил ее, обещав, что пособлю с векселем, который надо было учесть в субботу, повел в будуар, где все было готово для развязки любовной истории.

Она сперва свела меня с ума, не препятствуя ни ласкам моим, ни любопытству, а потом, к моему изумлению, приняла вид, отличный от того, что предвещает величайшее наслаждение.

— Как, — вскричал я, — мог ли я ожидать отказа, когда читал в ваших глазах, что вы разделяете мою страсть?

— Глаза мои вас не обманули, но что скажет муж, найдя меня отличной от той, что я была вчера?

Увидав мое недоумение, она побуждает меня удостовериться.

— В моей ли власти распорядиться плодами Гименея, покуда законный супруг не отведал их хоть единожды?

— Нет, ангел мой, нет, я жалею, я обожаю тебя, приди в мои объятия и не бойся. Плод будет цел, но это уму непостижимо.

Три часа предавались мы сотням сладостных безумств, изобретенных, что бы там не говорили, для разжигания страсти. Баре поклялась, что будет моей, как только убедит мужа, что он уже выздоровел, и большего я добиться не мог. Покатав по бульварам, я высадил ее у дверей и сунул ей в руку сверток с двадцатью пятью золотыми.

Я влюбился в нее так, как никогда еще, казалось мне, не влюблялся; три или четыре раза в день проезжал я мимо лавочки, не обращая внимания на кучера, твердившего, что такие крюки вконец замучат лошадей. Мне нравилось, как она посылает воздушные поцелуи, как внимательно смотрит, не едет ли карета. Мы условились, что она подаст мне знак остановиться, только когда муж разрушит преграду, препятствующую нашему счастью. Роковой день вскоре наступил. По ее знаку я остановился. Встав на ступеньку кареты, она велела мне ждать ее в церкви Сен-Жермен-л'Оксеруа. Сгорая от любопытства, что она скажет, еду туда, и через четверть часа она приходит, накинув на голову капюшон, садится в карету, просит отвезти ее в торговые ряды во Дворец Правосудия, ей надо кое-что купить. У меня были свои дела, но «*amare et sapere vix deo conceditur*» \*. Я велю кучеру ехать на площадь Дофина. Плакал мой кошелек, но того требовала любовь.

Во Дворце она заходила во все лавочки, куда пригожая торговка зазывала ее, величая принцессой. Мог ли я спорить? Ей так хотелось взглянуть на драгоценности, уборы, украшения, что стремительно выкладывали перед нами, услышать медоточивые речи: «Вы хоть одним глазком посмотрите, краса моя ненаглядная. Ах, как вам они идут. Они для малого траура, к послезавтра их осветлят». Тут Баре, оборотившись ко мне, соглашалась, что вещь действительно чудесная, если только не слишком дорогая, а я охотно поддавался на обман и убеждал ее, что не может быть слишком дорого то, что ей нравится. Но пока она выбирала перчатки и митенки, злодейка судьба подстроила встречу, о которой мне пришлось пожалеть четыре года спустя. Цепь событий никогда не обрывается.

Я увидел слева интересную девочку лет двенадцати-тринадцати и уродливую старуху, презрительно смотревшую на пряжки со стразами, которыми та любовалась; она, казалось, грустила, что не может их купить. Я слышу, она говорит старухе, что до смерти хочет пряжек. Старуха вырывает их у нее из рук и порывается уйти. Торговка говорит малышке, что отдаст пряжки задешево, но та отвечает, что ей все равно. Выйдя из лавки, она низко приседает перед моей принцессой, а та называет ее «королевишной», говорит, что она красива, как ангел, и целует в обе щеки. Она спрашивает у старухи ее имя, та отвечает: м-ль де Буленвилле, ее племянница.

— И у вас хватает жестокости, — говорю я старой тетке, — отказать такой хорошенькой племяннице в паре пряжек, которых ей до смерти хочется? Можно, я их ей подарю?

С этими словами я кладу пряжки в руки девочке, она краснеет и смотрит на тетку. Та ласковым голосом велит ей принять их и поцеловать меня. Торговка объявляет, что пряжки стоят всего-навсего три луидора, и дело принимает комический оборот, ибо тетка в ярости кричит, что та хотела отдать их за два. Торговка уверяет, что сказала три. Старуха, чувствуя себя в полном праве, не желала, чтоб мошенница-торговка нагло пользовалась моей добротой, и велела девочке вернуть пряжки; но сама все испортила, добавив, что если я изволю дать ее племяннице три луи, она купит в другой лавке пряжки в два раза краше. Мне было все равно, я кладу, не сдержав улыбку, три луидора перед девочкой, которая все еще сжимает пряжки, но торговка хватает монеты, крича продано-куплено,

товар — барышне, деньги — ей. Тетка честит ее мошенницей, та ее — сводней, прохожие останавливаются, и, предвидя неприятности, я ласково выпроваживаю тетку и племянницу, которая от радости, что получила красивые пряжки, и думать забыла, что меня заставили выложить лишний луидор. В свое время мы с ней еще встретимся.

Я отвез назад к церкви Баре, принудившую меня выкинуть на ветер двадцать луидоров, о которых ее муженек убивался бы еще пуще меня. По дороге она сказала, что сможет провести в Малой Польше дней пять-шесть, и муж сам попросит меня об этой услуге.

— Когда?

— Не позже, чем завтра. Зайдите за чулками, у меня будет мигрень, а муж с вами переговорит.

Я пришел и, не увидев ее, спросил, что с ней. Муж ответил, что она нездорова, лежит в постели и ей бы надо поехать на несколько дней в деревню, на свежий воздух. Я предложил ему пожить в Малой Польше, он изобразил на лице улыбку.

— Прошу вас, сделайте одолжение, — сказал я, — а пока заверните мне дюжину чулок.

Я поднимаюсь, она лежит в постели веселая, несмотря на притворную мигрень. Я говорю ей, что все в порядке, она сейчас сама все узнает. Поднимается муж с моими чулками, объявляет, что я по доброте душевной согласился приютить ее на несколько дней; она благодарит, она уверена, что свежий воздух исцелит ее, я заранее извиняюсь, что дела не позволяют составить ей компанию, но у нее ни в чем не будет нужды, муж сможет каждый день ужинать с ней, а утром уходить, когда захочет. После долгих расшаркиваний Баре решил, что вызовет сестру, пока жена будет у меня. Перед уходом я обещал, что сегодня же накажу людям встречать их как хозяев, буду я дома или нет. Через два дня, вернувшись домой в полночь, я узнал от кухарки, что супруги плотно поужинали и легли почивать. Я известил ее, что впредь все дни буду обедать и ужинать дома и меня ни для кого нет.

Проснувшись утром, я узнал, что Баре ушел спозаранок, сказав, что воротится к ужину, а жена еще спит. Я тотчас отправился к ней с визитом, и, сто раз поздравив друг друга, что видимся наконец без помех, мы позавтракали, я запер дверь, и мы предались любви.

С удивлением обнаружив, что она все та же, что была в прошлый раз, я начал говорить, что надеялся..., но она оборвала мои сетования. Она объявила, что муж полагает, будто сделал то, чего не сделал, и мы должны рассеять его сомнения, оказав ему сию немаловажную услугу. Итак, Амур помог Баре принести первую жертву Гименею, и я никогда не видел столь окровавленного алтаря. Я почувствовал, что юная особа испытывает наслаждение, доказывая мне свою отвагу, убеждаясь, что пробудила в моей душе подлинную страсть. Сто раз клялся я ей в вечной верности; она исполнила меня радости, уверив, что весьма на это рассчитывает. Мы покинули постель, дабы одеться, и пообедали, блаженствуя вдвоем, зная наперед, что пробудим огонь желаний, чтоб угасить его новыми ласками, — Как сумела ты, — спросил я ее за десертом, — сохранить себя для Гименя до семнадцати лет, когда ты вся исполнена венерина огня?

— Я никогда не любила, вот и все. Меня любили, но домогались тщетно. Мой родитель, быть может, подумал иное, когда месяц назад я попросила его скорей сыскать мне мужа.

— А отчего ты его торопила?

— Потому, что знала, что герцог д'Эльбеф, воротившись из деревни, принудит меня выйти замуж за одного мерзавца, который упорно этого домогался.

— Кого же ты так испугалась?

— Это один из его любимчиков. Грязная отвратная скотина. Гадина! Он спит со своим хозяином, который в восемьдесят четыре года решил, что стал женщиной и может жить только с таким супругом.

— Хорош ли он собой?

— Его почитают красавцем, а у меня с души воротит.

Чаровница Баре провела у меня восемь дней, столь же счастливых, как первый. Мало видел я столь прелестных женщин и никогда — столь белокожих. Нежные груди, гладкий живот, округлые и высокие бедра, чей изгиб, продолжавший линию ног, не смог бы начертать ни один геометр, являли моим ненасытным взорам красоту, неподвластную никаким философским дефинициям. Я непрестанно любовался ею и грустил, что не мог удовлетворить все рожденные ею желания. Алтарь, где пламя мое возносилось к небу, украшало руно тончайших золотых завитков. Тщетно пальцы мои пытались их распрямить; волосы упорно принимали прежнюю форму, доказывая, что их не развить. Баре разделяла мое упоение и порывы в полнейшем спокойствии, отдаваясь власти Венеры, лишь когда трепет охватывал все прелестное ее существо. Тогда становилась она как мертвая и, казалось, приходила в себя лишь за тем, чтобы уверить, что еще живая. Через два или три дня, после того как она воротилась к себе, вручил я ей два векселя на Мезьера, по пять тысяч франков каждый. Муж ее избавился от долгов, сумел сохранить дело и работников и дождался конца войны.

В начале ноября продал я десять паев моей фабрики господину Гарнье с улицы Мель за пятьдесят тысяч франков, уступив ему треть готовых тканей, что были в лавке, и взяв на службу его контролера, которому платила компания. Через три дня, как подписали контракт, я получил деньги, но врач, стороживший лавку, обчистил ее и скрылся; уму непостижимый грабеж, разве что он был в

сговоре с художником. В довершение всего Гарнье вчинил иск, требуя вернуть 50 тысяч. Я отвечал, что ничего ему не должен, поскольку контролер его уже работал, а посему ущерб касается равно всех сотоварищей. Мне присоветовали судиться. Гарнье тотчас объявил договор недействительным и, пуще того, обвинил меня в мошенничестве. Торговец, поручившийся за врача, тем часом обанкротился. Гарнье наложил арест на все имущество, что было в доме, где фабрика, у «Короля масла» оказались лошади мои и экипажи, что были в Малой Польше. Перед лицом стольких неприятностей я рассчитал всех мастериц, приказчиков и слуг, что были при мануфактуре. Остался один художник, которому жаловаться было не на что, он никогда не забывал получить свою долю от продажи тканей. Прокурор мой был честный человек, но вот адвокат, каждодневно уверявший меня, что дело верное, оказался плут. Гарнье прислал мне треклятое судебное постановление, где предписывалось мне все уплатить; я немедля отнес бумагу адвокату, который уверил, что в тот же день обжалует ее, но ничего не сделал, а денежки, выданные мной на судебные расходы, прикарманил. У меня увели две других повестки и без ведома моего постановили взять меня за неявкой под стражу. Арестовали меня в восемь утра на улице Сен-Дени в собственной моей карете, начальник сбиров сел рядом, другой сбир уселся на облучок и принудил кучера везти меня в Фор л'Эвек.

Там секретарь суда первым делом объявил, что, уплатив 50 тысяч либо предоставив поручительство, я могу сразу вернуться домой, но ни денег, ни готового ручательства у меня не было, и я остался в тюрьме. Когда я сказал секретарю, что получил всего одну повестку, он ответил, что так часто бывает, но доказать это трудно. Я попросил, чтобы мне принесли в камеру письменные принадлежности, дабы известить адвоката и прокурора, а потом всех моих друзей, от г-жи д'Юрфе до брата, что недавно женился. Первым явился прокурор, адвокат ограничился тем, что отписал мне, уверяя, что составил жалобу и я заставлю дорого заплатить противную сторону за незаконный арест, если перетерплю несколько дней и предоставлю ему действовать. Манон Баллетти прислала со своим братом серьги, г-жа дю Рюмен — адвоката, известного честностью, присокупив, что в случае нужды готова завтра прислать 500 луидоров, брат отмолчался. Г-жа д'Юрфе отвечала, что ждет меня к обеду. Я решил, что она спятила. К одиннадцати в камере было полно народу. Баре, узнав о моем аресте, со слезами на глазах предложил в уплату свою лавочку. Мне сообщают, что прибыла дама в фиакре, она не появляется, я спрашиваю, почему ее не пускают. Мне отвечают, что она, переговорив с секретарем, уехала. По описанию я догадался, что то была г-жа д'Юрфе.

Я был крепко раздосадован, что сидел под замком, это роняло меня в глазах парижан, да и тюремные неудобства изрядно раздражали. Имея тридцать тысяч наличными и драгоценностей на шестьдесят, я мог внести залог и тотчас выйти, но никак не мог решиться, хотя адвокат г-жи дю Рюмен уговаривал меня освободиться любым способом. Он уверял, что достаточно заплатить всего половину, деньги останутся в канцелярии вплоть до судебного решения апелляционного суда, каковое, без сомнения, будет благоприятным.

Пока мы так спорили, тюремщик объявил, что я свободен и некая дама ждет меня у ворот в карете. Я послал Ледюка — так звали моего слугу — узнать, кто она, и, узнав, что это г-жа д'Юрфе, откланялся. Был полдень. Я провел прескверные четыре часа.

Г-жа д'Юрфе встретила меня с большим достоинством. Сидевший с ней в берлине один из президентов Парламента просил у меня извинения за своих соотечественников и страну, где подвергают чужеземцев подобным поношениям. Я коротко поблагодарил маркизу, сказав, что рад быть ее должником, но плодами великодушного ее поступка поживится Гарнье. Она, улыбнувшись, отвечала, что не так легко ему будет поживиться, но об этом мы поговорим за обедом. Она посоветовала прогуляться в Тюильри и Пале-Рояле, дабы развеять слух о моем аресте. Я последовал ее совету, обещав, что ворочусь к двум часам.

Показавшись на людях на двух главных парижских гульбищах, где, как я приметил (но не подал вида), все знакомые смотрели на меня с удивлением, отнес я сережки милой моей Манон, каковая, увидав меня, вскрикнула от неожиданности. Поблагодарив ее, уверив семейство, что арестовали меня предательски и я поквитаюсь со злоумышленниками, я покинул ее, пригласив поужинать вместе, и отправился на обед к г-же д'Юрфе; та посмешила меня, поклявшись, будто Дух открыл ей, что я нарочно дал себя арестовать, дабы по причинам, мне одному ведомым, заставить говорить о себе. Она рассказала, что, узнав от секретаря Фор л'Эвека, в чем дело, вернулась домой за бумагами Парижского муниципалитета, стоившими тысяч сто, и внесла их как залог; но что Гарнье, прежде чем он получит деньги, придется иметь дело с ней, если я не сумею прежде его вразумить.

Она посоветовала, не мешкая, преследовать адвоката по закону: ведь ясно было, что он не подал на обжалование. Уходя, я уверил ее, что в скором времени она получит залог обратно.

Показавшись в фойе двух театров, я отправился ужинать с Манон Баллетти; она была счастлива, что имела случай выказать свое нежное ко мне отношение. Я донельзя обрадовал ее, сказав, что покончил с мануфактурой, ибо она полагала, что если я никак не решаюсь жениться, то виной тому мастерицы.

Весь следующий день провел я у г-жи дю Рюмен. Я понимал, скольким ей обязан, но она того



не создавала; напротив, ей казалось, что никогда она не сможет вполне отблагодарить за предсказания, удерживающие ее от ложных шагов. Несмотря на весь свой ум, она в это свято верила. Мне было горько, что я не могу разубедить ее, досадно, что обманываю и что без этого обмана она не относилась бы ко мне с подобным почтением.

Заклучение, хотя и недолгое, отвратило меня от Парижа и заставило до скончания дней бесповоротно возненавидеть всяческие процессы. А я ввязался сразу в два — против Гарнье и против адвоката. Тоска снедала душу, пока я не по своей воле ходатайствовал, тратил деньги на адвокатов, терял время, которое, полагал я, с пользой можно употребить только на удовольствия. В этом мучительном состоянии задумал я добиться прочного положения, чтоб наслаждаться покоем. Я решил все бросить, отправиться снова в Голландию, дабы встать на ноги, и, воротившись в Париж, обратит в пожизненную ренту для двух человек весь капитал, что я смогу составить. Эти двое должны были быть я и моя жена, а женой — Манон Баллетти. Я сообщил ей свой план, и ей не терпелось, чтоб я принялся за дело.

Прежде всего отказался я от домика в Малой Польше, который оставался за мною лишь до конца года, и получил 80 тысяч ливров от Военного училища, что служили залогом за контору на улице Сен-Дени. Так покончил я со смехотворной должностью сборщика лотереи. Я подарил контору приказчику, который успел жениться, и тем обеспечил его будущность. Ручательство за него дал, как всегда бывает, друг его жены, но бедняга через два года умер.

Не желая впутывать г-жу д'Юрфе в процесс против Гарнье, отправился я в Версаль просить большого ее друга аббата де Лавиля стать посредником к мировой. Аббат, признав ее неправоту, занялся этим делом и через несколько дней отписал, чтобы я сам повидался с Гарнье, уверяя, что он будет сговорчив. Я приехал к нему в Рюэль, в загородный дом в четырех лье от Парижа, что обошелся ему в 400 тысяч франков. Человек этот, бывший повар г-на д'Аржансона, сколотил состояние на провианте в предпоследнюю войну. Жил он в роскоши, но, к несчастью, в свои семьдесят лет увлекался женщинами. Я застал у него трех прелестных девиц, сестер из хорошей семьи, как потом узнал. Они были бедны, и он их содержал. За столом я почувствовал в них скромность и благородство, скрывающиеся за самоуничижением, что рождает нищета в чувствительных сердцах. Нужда заставляла их обхаживать старого распутного холостяка, выносить, быть может, его мерзкие ласки. После обеда он уснул, а когда проснулся, мы удалились обсудить дела.

Узнав, что я уезжаю и, возможно, в Париж не вернусь, а он воспрепятствовать мне не в силах, он понял, что маркиз д'Юрфе затаскает его по судам, будет сутяжничать, сколько ей заблагорассудится и, быть может, выиграет дело. Он оставил меня ночевать и наутро дал окончательный ответ: либо он получает 25 тысяч, либо будет судиться до самой смерти. Я отвечал, что сумму эту он получит у нотариуса г-жи д'Юрфе, как только высвободит залог из канцелярии Фор л'Эвека.

Г-жа д'Юрфе только тогда согласилась, что я правильно сделал, пойдя на мировую с Гарнье, когда я сказал, будто орден требует от меня не уезжать из Парижа, не уладив сперва дела, дабы не показалось, что я уезжаю, чтобы не платить долгов.

Я пошел проститься к герцогу де Шуазелю; он сказал, что напишет г-ну д'Арфи, чтобы тот поспособствовал моим переговорам, если сумею я добиться займа из пяти процентов, все равно, у Генеральных штатов или частной компании. Он заверил, что я могу всех убеждать, что зимой заключат мир, и обещал не допустить ущемления моих прав, когда я ворочусь во Францию. Говоря так, он знал, что мира не будет, но у меня никаких планов не было, и я жалел, что передал г-ну де Булоню свой проект касательно наследств — новый контролер Силует, видимо, обошел его вниманием.

Я продал лошадей, кареты и всю обстановку и поручился за брата, который задолжал портному, но был уверен, что скоро сможет расплатиться: он кончал сразу несколько картин, которых заказчики ждали с нетерпением.

Манон я оставил в слезах, но был уверен, что ворочусь в Париж и непременно сделаю ее счастливой.

Я отправился, взяв векселя на сто тысяч и на столько же драгоценностей, один в своей почтовой коляске; впереди ехал Ледюк, любивший мчаться во весь опор. То был испанец восемнадцати лет, я любил его за то, что никто лучше его не причесывал. Лакей-швейцарец, также ехавший верхом, служил мне за посыльного. Было первое декабря 1759 года. Я положил в карету трактат Эльвеция «Об уме», какового прежде не успел прочесть. Прочтя же, я весьма поразился, что он наделал столько шуму, что Парламент осудил его и сделал все, чтоб разорить автора, человека весьма приятного и гораздо более разумного, нежели его творение. Я не увидел ничего нового ни в исторической части, касающейся нрава народов, где нашел пустые рассказы, ни в зависимости морали от способности рассуждать. Об этом уже многожды было говорено и переговорено, и Блез Паскаль сказал куда больше, хотя и осторожней. Чтоб остаться во Франции, Эльвеций принужден был отречься. Сладкую жизнь, каковую он вел, он предпочел чести своей и философии, то есть

собственному разуму. Жена, с душою более возвышенной, склоняла мужа продать все, что у них было, и ехать в Голландию, нежели перенести позор отречения; но он предпочел любой удел изгнанию. Быть может, он послушался бы жены, если б предвидел, что отречение выставит книгу его на посмешище. Отрекшись, он тем самым объявил, будто не ведал, что писал, будто он пошутил и рассуждения его основаны на ложных посылках. Но многие умы не стали ждать, пока он себя опровергнет, чтоб презреть его доводы. Что! раз во всех делах человек оказывается рабом собственных интересов, то чувство благодарности должно почитаться смехотворным, и ни один поступок не может нас ни вознести, ни унижить? Подлецы не заслуживают презрения, а честные люди уважения? Жалкая философия!

Можно было бы доказать Эльвецию, что неправда, будто во всех делах наши собственные интересы — главный движитель и советчик. Странно, что Эльвений не признает добродетели. Неужто он никогда не считал себя честным человеком? Забавно, если выпустить книгу заставило его чувство скромности. Стоит ли вызывать неприязнь, чтобы не прослыть гордецом? Скромность тогда только добродетель, когда она естественна; если же она наигранна или вызвана строгим воспитанием, то это просто лицемерие. Я не знал человека, более скромного от природы, нежели славный д'Аламбер. <...>

1760. ШВЕЙЦАРИЯ.

## ТОМ VI

### ГЛАВА VIII

Берн. Я уезжаю в Базель

<...> Разумный человек, жаждущий знаний, должен читать, а потом путешествовать, дабы усовершенствоваться в науках. Дурное знание хуже невежества. Монтень говорил, что учиться надо умеючи. Но вот что приключилось со мною в трактире.

Одна из служанок, говорившая на романском, показалась мне редкостной птицей, она походила на чулочницу, что я имел в Малой Польше; она сразила меня. Звали ее Ратон. Я предложил ей шесть франков за угождение, но она отвергла их, сказав, что честная. Я велел закладывать лошадей. Увидав, что я уезжаю, улыбнувшись и потупившись, она призналась, что у нее нужда в двух луидорах и если я соизволю ей их дать и ехать только утром, она придет ночью ко мне в постель.

— Я остаюсь, но обещаю быть покладистой.

— Вы останетесь довольны.

Когда все легли, она пришла, робкая, испуганная, и тем сильнее распалила меня. Желая справиться нужду, я спросил, где тут местечко, и она указала на озеро. Я беру свечу, иду и, делая свои дела, читаю глупости, что всегда там пишут слева, справа. И вот что прочел я справа от себя: «Сего 10 августа 1760. Неделю назад Ратон наградила меня чертовым перелоем, и он вконец меня замучил».

Двух Ратон тут быть не могло; я возблагодарил Господа и готов был поверить в чудеса. С веселым видом возвращаюсь я в комнату. Ратон уже легла, тем лучше. Сказав спасибо, что сняла рубашку, каковую швырнула в альков, я иду, беру ее, а девица тут встревожилась. Она говорит, что на рубашке обычная грязь, но я-то вижу, в чем дело. Я осыпаю ее упреками, она ничего не отвечает, плача одевается и уходит.

Вот так я спасся. Кабы мне не приспичило да не это предуведомление, я бы погиб, мне бы в голову не пришло осматривать такую девицу, кровь с молоком.

Утром приехал я в Рош, дабы познакомиться со славным Галлером.

### ГЛАВА IX

Галлер. Жительство мое в Лозанне. Лорд Росбури. Юная Саконе. Рассуждение о красоте. Юная богословка

Я увидал человека шести футов росту и приятной наружности, каковой, прочитав письмо от г-на де Мюра, оказал мне честь своим гостеприимством и открыл предо мною сокровищницы своих познаний; отвечал он весьма точно и, казалось мне, преувеличенно скромно, ибо, наставляя меня, держался, словно ученик, и так задавал ученые вопросы, что в них самих без труда находил я сведения, позволявшие мне не ошибиться с ответом. Галлер был великий физиолог, медик, анатом; подобно Морганьи, какового звал он своим учителем, он открыл новое во внутреннем строении человека. Он показал мне, пока я гостил, большое число писем от него и от Понтедера, профессора ботаники того же университета, ибо Галлер был весьма сведущ в ботанике. Услыхав, что я знаю этих великих людей, вскормивших меня молоком учености, он мягко посетовал, что письма Понтедера совсем неразборчивы, а латинский язык его темен. Один берлинский академик написал ему, что

пруссский король, прочтя его послание, не помышляет более о повсеместном запрещении латыни. «Тот государь, — писал ему Галлер, что сумеет изгнать из литературной республики язык Цицерона и Горация, воздвигнет нерушимый памятник своему невежеству. Если у людей образованных должен быть общий язык, чтоб делиться знаниями, из мертвых самый подходящий конечно же латынь, ибо царство греческого и арабского кончилось».

Галлер сочинял изрядные стихи на манер Пиндара и был отменный политик, которого многожды отличало отечество. И жил он по совести, уверял, что единственный способ давать советы — доказывать их действенность собственным примером. Добрый гражданин, он должен был вследствие этого быть превосходным отцом семейства; и я признал его за такового. Жена его, с которой сочетался он браком после того, как потерял первую, была красива, на лице ее запечатлелся ум; прелестная его дочка восемнадцати лет за столом молчала и лишь несколько раз вполголоса заговаривала с сидевшим рядом юношей. После обеда, оставшись с хозяином наедине, я спросил, кто был тот молодой человек, что сидел рядом с дочерью.

— Это ее наставник.

— Такой наставник и такая ученица легко могут полюбить друг друга.

— Дай-то Бог!

Достойный Сократа ответ изъяснил мне глупость и грубость слов моих. Я открыл томик его сочинений в одну восьмую листа и прочел: *Utrum memoria post mortem dubito* \*.

— Так вы не верите, — спросил я его, — что память — главнейшая часть души?

Мудрецу пришлось лукавить, ибо он не хотел, чтобы кто-то усомнился в его правоте. За обедом я спросил, часто ли посещает его г. де Вольтер. Он, улынувшись, отвечал стихами великого певца разума: «*Vetabo qui Cereris sacrum vulgarit arcanae sub iisdem sit trabibus*» \*\*. После этого в те три дня, что провел у него, я уже более не заговаривал о религии. Когда я сказал, что был бы счастлив познакомиться с великим Вольтером, он без малейшей иронии отвечал, что я в полном праве желать знакомства с сим мужем, но, противно законам физики, многим великим он кажется издали, а не вблизи \*\*\*.

Стол у г-на Галлера был весьма обильный, а сам он соблюдал умеренность. Пил он одну только воду и рюмочку ликера на десерт разбавлял стаканом воды. Он много рассказывал мне о Буграве, чьим любимым учеником был. Он уверял, что Буграве был величайший врач после Гиппократов и величайший химик из всех, кто жил до и после него.

— Отчего же не дожил он до старости?

— Оттого что *contra vim mortis nullum est medicamen in hortis* \*; не родись Буграв врачом, он умер бы четырнадцать лет от злокачественного нарыва, что не мог вылечить ни один врач. Он исцелился, растираясь собственной мочой, в которой растворял обычную соль.

— Г-жа говорила мне, что у него был философский камень.

— Так говорят, но я в это не верю.

— А возможно ли добыть его?

— Тридцать лет я тружусь, чтобы доказать, что это невозможно, но уверенности в том у меня нет. Нельзя быть хорошим химиком, отрицая физическую возможность Великого деяния.

Расставаясь, он просил меня отписать свое мнение о великом Вольтере и тем положил начало нашей переписке на французском. У меня двадцать два письма от него, причем последнее было отослано за полгода до его кончины, также преждевременной. Чем больше я старею, тем жальче мне моих бумаг. Они истинное сокровище, что привязывает меня к жизни и заставляет ненавидеть смерть.

Только что прочел я в Берне «Элоизу» Ж.-Ж. Руссо и хотел узнать мнение г-на Галлера. Он сказал, что той малости, какую он прочел, дабы доставить удовольствие своему другу, с него довольно, чтоб судить обо всем сочинении.

— Это наихудший из романов, ибо он самый красноречивый. Вы посетите кантон Во. Чудесный край, но не ждите увидеть там оригиналы блестящих портретов, изображенных Руссо. Руссо счел, что в романе дозволено лгать. Ваш Петрарка не лгал. У меня имеются его латинские сочинения, их никто не читает, ибо латынь его нехороша, и напрасно. Петрарка был ученый, а вовсе не обманщик, и любил он достойнейшую Лауру, как всякий мужчина любит женщину. Если б Лаура осчастливила Петрарку, он бы прославил ее.

Так г-н Галлер рассказывал мне о Петрарке, переводя разговор от Руссо, чье красноречие претило ему по той причине, что, желая блеснуть, он вечно пускал в ход антитезы да парадоксы. Исполнив швейцарец был светилом первой величины, но тем никогда не чванился ни в семье своей, ни в обществе людей, собравшихся повеселиться и не нуждающихся для того в ученых рассуждениях. Он применялся ко всем окружающим, был любезен, никого не обижал. Как умел он нравиться всем? Не знаю. Легче сказать, чего он был лишен, чем исчислить его достоинства. Не было в нем тех слабостей, что свойственны умникам и ученым мужам.

Нравы его были суровы, но он скрывал суровость их. Споры нет, он презирал невежд, кои, забыв о ничтожестве своем, судят обо всем вкривь и вкось, да еще пытаются осмеивать тех, кто

что-то знает; но презрения своего он не выказывал. Он слишком хорошо знал, что глупцы ненавидят тех, кто их презирает, и не хотел, чтобы его ненавидели. Г-н Галлер был ученый и не желал скрывать свой ум, пользоваться понапрасну своей репутацией; говорил он красно и хорошо и не мешал гостям блеснуть умом. Он никогда не рассказывал о своих трудах, а когда его спрашивали, переводил разговор на другое; и когда держался он противоположного мнения, то возражал скрепя сердце.

Приехав в Лозанну и чувствуя себя вправе хотя бы на день сохранить инкогнито, я послушался веления сердца и тотчас отправился к Дюбуа, не спрашивая ни у кого, где ее дом; так подробно она мне нарисовала, по каким улицам идти, дабы до нее добраться. Жила она там с матерью, но, к великому моему удивлению, увидал я у них и Лебеля. Она не дала мне выказать изумления. Вскричав, бросилась она мне на шею, а мать приветствовала меня, как подобает. Я спросил у Лебеля, как поживает г-н посол и давно ли он в Лозанне.

Честный малый дружелюбно отвечал, что здоровье посла отменное, что приехал он в Лозанну сегодня утром по делам, пришел к матери Дюбуа после обеда и был весьма удивлен, застав дочь.

— Намерения мои вам известны, — сказал он, — и коли вы между собой решите, то отпишите мне, я приеду за ней и увезу в Золотурн, где мы и поженимся.

На столь ясное и честное объяснение я отвечал, что ни в чем не намерен препятствовать желаниям моей милой, а она в свою очередь сказала, что никогда меня не покинет, если я сам не дам ей отставки. Сочтя слова наши слишком туманными, он сказал напрямик, что ему нужен решительный ответ; на это я, намеренный вовсе поставить крест на его предложении, отвечал, что дней через десять-двенадцать ему отпишу. На другой день он с раннего утра отбыл в Золотурн.

После его ухода мать моей служанки, которой здравый смысл заменял ум, начала нас урезонивать такими словами, что нужны были для наших голов, ибо мы настолько были влюблены, что и помыслить не могли о разлуке. Покуда мы с милой условились, что она всякий день будет ждать меня до полуночи и мы все решим, как я обещал Лебелю. У нее была своя комната и отменная постель, и ужином она покормила меня недурным. Утром мы были влюблены пуще прежнего и вовсе не желали думать о Лебеле.

И все же был один разговор.

Читатель верно помнит, что служанка моя обещала мне прощать измены при условии, что я ничего не утаю. Утаивать мне было нечего, но за ужином я рассказал ей случай с Ратон.

— Мы оба должны радоваться, — сказала она, — ведь если б ты ненароком не пошел по нужде туда, где прочел спасительное уведомление, ты бы погубил здоровье и, не распознав болезнь, заразил меня.

— Не исключено, и я был бы в отчаянии.

— Знаю, и еще больше огорчен от того, что я не стала бы жаловаться.

— Я вижу одно средство избежать подобного несчастья. Коль я тебе изменю, то в наказание лишу себя твоих ласк.

— Так ты накажешь меня. Если б ты меня и вправду любил, то, думаю, знал бы другое средство.

— Какое?

— Не изменять мне.

— Ты права. Прости. Впредь буду пользоваться им.

— Думаю, тебе это будет непросто.

Вот какие диалоги сочиняет любовь, но ей за это не платят.

Утром в трактире, когда я, совсем одетый, хотел пойти разносить рекомендательные письма, увидал я барона де Берше, дядю моего друга Бавуа.

— Я знаю, — сказал он, — что племянник обязан вам своим положением, что он в почете, будет произведен в генералы при первой okazji и вся моя семья, как и я, счастлива будет познакомиться с вами. Я пришел предложить вам свои услуги и просить нынче же отобедать у меня; приходите всякий раз, как будете свободны, но покорнейше прошу вас никому не говорить, что он перешел в католичество, ибо по здешним понятиям это почитается бесчестьем, а бесчестье падает рикошетом на всю родню.

Я обещал не упоминать об этом обстоятельстве и прийти к нему суп есть. Все особы, к коим меня адресовали, показались мне честными, благородными, исполненными учтивости и всевозможных дарований. Более других приглянулась мне г-жа де Жантиль Лангалери, но у меня не было времени на ухаживания. Каждодневные обеды и ужины, на которые я из вежливости не мог не идти, стесняли меня до невозможности. Я провел в городке две недели, совершенно не чувствуя себя свободным именно потому, что все бешено хотели наслаждаться свободой. Лишь однажды смог я провести ночь с моей служанкой, мне не терпелось поехать с ней в Женеву; все желали дать мне рекомендательные письма к г-ну де Вольтеру и при этом изъясняли, что никто не в силах сносить его желчный нрав.

— Как, сударыня, неужто и с вами, любезно согласившимися играть с ним в его пьесах, г-н де Вольтер не мил, не ласков, не обходителен, не приветлив?

— Все нет, сударь. На репетициях он нас бранил; мы все говорили не так, как он хотел, мы нечетко произносили слова, ему не нравились ни тон, ни манера, а на спектакле было еще хуже. Сколько шуму из-за пропущенного или добавленного слога, испортившего стих! Он внушал нам страх: та ненатурально смеялась, другая в «Альзире», притворно плакала.

— Он хотел, чтоб вы взаправду плакали?

— Вот именно, он требовал, чтоб проливали настоящие слезы; он уверял, что актер может заставить плакать зрителя, если только плачет взаправду.

— И, думаю, он прав; но мудрый, рассудительный писатель не обращается так строго с любителями. Подобных вещей можно требовать только с настоящих актеров, но таков недостаток всех авторов. Им вечно кажется, что актер не произносит слова с должной выразительностью, не передает их подлинного смысла.

— Однажды я сказала ему, устав от придирок, что не моя вина, если слова его не звучат, как подобает.

— Я уверен, что он только посмеялся.

— Посмеялся? Скажите лучше надсмеялся. Он нахален, груб, невыносим в конце концов.

— Но вы простили ему все недостатки, я в этом уверен.

— Не будьте так уверены, мы его изгнали.

— Изгнали?

— Да, изгнали; он вдруг покинул снятые им дома и отправился жить туда, где вы его найдете; больше он не бывает у нас, даже когда его приглашают, ведь мы почитаем его великий талант и лишь в отместку довели до белого каления, дабы научить вести себя. Заговорите с ним о Лозанне, и вы услышите, что он о нас скажет, пусть даже, по своему обыкновению, в шутку.

Я часто встречал лорда Росбури, что некогда безответно влюбился в мою служанку. То был красивый юноша, самый молчаливый из всех, кого я знал. Мне тотчас сказали, что он умен, образован, ничем не опечален; в обществе, на вечерах, балах, обедах он только кланялся из вежливости; когда с ним заговаривали, он отвечал очень кратко и на хорошем французском, но со смущением, показывавшим, что любой вопрос его стеснял. Обедая у него, я спросил его о чем-то, что касалось его родины и требовало пяти-шести фраз; он, покраснев, все отменно изъяснил. Славный Фокс, которому тогда было двадцать лет, присутствовал на обеде, развеселил лорда, но он говорил по-английски. Я видел сего герцога в Турине восемь месяцев спустя, он влюбился в г-жу Мартен, жену банкира, которая сумела развязать ему язык.

В кантоне повстречал я девочку лет одиннадцати-двенадцати, чья красота поразила меня. То была дочь г-жи де Саконе, с которой свел я знакомство в Берне. Не знаю, какова была судьба этой девочки, что вотще произвела на меня столь сильное впечатление.

Ничто из сущего никогда не имело надо мной такой власти, как прекрасное женское или девичье лицо. Говорят, что сила в красоте. Согласен, ибо то, что меня влечет, мне, конечно, кажется прекрасным, но таково ли оно в действительности? Приходится в этом сомневаться, ибо то, что кажется мне прекрасным, не всегда вызывает общее одобрение. Значит, совершенной красоты не существует, либо сила эта сокрыта не в ней. Все, кто говорил когда-либо о красоте, уходили от ответа; они должны были держаться слова, что унаследовали мы от греков и римлян: форма. Красота, выходит, не что иное, как воплощенная форма. Все, что не красиво, не имеет формы, «бесформенное» противоположно «pulcrum» \* или «formosum» \*\*. Мы правильно делаем, определяя значение понятий, но когда оно заключено в самом слове, к чему искать еще? Если слово «форма» латинское, посмотрим, что оно значит в латыни, а не во французском, где, кстати, часто говорят «бесформенный» вместо «безобразный», не замечая, что противоположное по значению слово должно указывать на существование формы, которая не что иное, как красота. Заметим, что во французском и в латыни «безобразный» значит «безликий». Это тело без образа, без наружности.

Выходит, абсолютную власть надо мною всегда имела одухотворенная красота, та, что сокрыта в лице женщины. В нем таится ее прелесть, и потому сфинксы, коих видим мы в Риме и Версале, почти что заставляют нас влюбиться в их тела, воистину бесформенные. Созерцая лица их, мы начинаем находить красивой самую их безобразность. Но что такое красота? Мы ничего о ней не знаем, а когда хотим подчинить ее законам или определить эти законы, то, подобно Сократу, изъясняемся околичностями. Я знаю только, что наружность, чарующая, сводящая меня с ума, рождающая любовь, и есть красота. Это то, что я вижу, так говорит мое зрение. Если б глаза обладали даром речи, они изъяснились бы красноречивей меня.

Ни один художник не превзошел Рафаэля в искусстве рисовать прекрасные лица, но если б у Рафаэля спросили, что такое красота, чьи законы он так хорошо знал, он отвечал бы, что не знает ничего, что знает сие до тонкостей, что он творил красоту, когда видел ее перед собой. Это лицо мне нравится, ответил бы он, значит, оно прекрасно. Он возблагодарил бы Господа за прирожденное чувство красоты. Но «omne pulcrum difficile» \*. Почитают лишь тех художников, что в совершенстве отображали красоту, число их невелико. Если мы возжелаем освободить художника от обязанности делать творения свои прекрасными, то каждый сможет стать живописцем, ибо нет ничего проще, чем

порождать уродство. Художник, в коем нет искры Божьей, добивается этого звания силой. Заметим, как мало хороших художников среди тех, кто предается искусству создания портретов. Это самый что ни на есть земной жанр. Есть три рода портретов — похожие и уродливые; по мне, за последние надобно расплачиваться палкой, ибо наглецы никогда не признаются, что обезобразили человека или хотя бы сделали менее красивым. Другие, достоинства которых несомненны, абсолютно похожи, даже до удивления, ибо кажется, что лица вот-вот заговорят.

Но редко, и очень редко те, что идеально похожи и вместе с тем сообщают неуловимый оттенок красоты лицу, на них запечатленному. Подобные художники достойны состояния, что они наживают. Таков был парижанин Натье; ему было восемьдесят лет, когда я свел с ним знакомство в пятидесятом году нынешнего столетия. Он писал портрет уродливой женщины; у нее было в точности такое лицо, как он изобразил на холсте, и, несмотря на то, на портрете она всем казалась красавицей. Внимательно разглядывали и не могли увидеть разность. Он добавлял и убавлял, но что — неведомо.

— В чем секрет волшебства? — спросил я однажды Натье, каковой только что нарисовал уродливых дочерей короля прекрасными, как звезды.

— В том, что красота, которой все поклоняются, не проникая в ее сущность, божественна по природе своей; видите ли, грань между телесной красотой и уродством столь тонка, что кажется неодолимой тем, кто несведущ в нашем искусстве.

Греческим живописцам нравилось изображать Венеру, богиню красоты, косоглазой. Толковники могут говорить, что угодно. Они были не правы. Косые глаза могут быть прекрасны, но мне жаль, что они косят, мне они нравятся меньше.

На девятый день житья моего в Лозанне я поужинал и провел ночь с моей служанкой, а утром, когда пил кофе с ней и ее матерью, сказал, что приближается час разлуки. Мать отвечала, что, по совести говоря, надобно вразумить Лебеля, пока я не уехал, и показала письмо честного малого, пришедшее накануне. Он просил ее растолковать мне, что если я не решусь уступить ему ее дочь прежде, чем покину Лозанну, то еще трудней мне будет отважиться на это в разлуке, тем паче, если она подарит мне живой залог своей нежности, каковой усилит мою привязанность. Он писал, что, конечно, от слова своего не отказывается, но он почитал бы себя совершенно счастливым, если б мог сказать, что взял жену, с которой сочетался законным браком, из рук матери.

Добрая женщина вся в слезах покинула нас, и я остался с моей милой рассуждать об этом важном деле. И у нее достало смелости сказать, что надо немедля писать Лебелю, чтоб он более не помышлял о ней или, напротив, тотчас приезжал.

— Если я отпишу, чтоб он и думать о тебе забыл, я должен на тебе жениться.

— Нет.

Произнеся это «нет», она оставила меня одного. Поразмыслив четверть часа, написал я Лебелю короткое письмо, уведомляя, что вдова Дюбуа по доброй воле согласилась отдать ему руку и я ей ни в чем не препятствую и желаю счастья. По такому случаю я его просил немедля приехать из Золотурна, дабы мать благословила их в моем присутствии.

Я вошел в комнату ее матери и протянул письмо, сказав, что, если она его одобряет, ей надо только поставить подпись рядом с моей. Прочтя и перечтя его, пока мать лила слезы, она подняла на меня свои прекрасные глаза, помедлила минуту, а потом подписала. Я просил тогда родительницу сыскать верного человека, чтоб немедля послать в Золотурн. Человек явился и тотчас отправился с моим письмом.

— Мы еще свидимся до приезда Лебеля, — сказал я своей милой.

Я воротился в трактир и заперся, снедаемый грустью, приказав всем говорить, что нездоров. Через четыре дня ввечеру предстал предо мной Лебель, обнял меня и удалился, присовокупив, что будет ждать меня у своей нареченной. Я просил уволить меня от этого, заверив, что завтра мы пообедаем вместе. Я распорядился все приготовить, чтоб уехать после обеда, и утром со всеми попрощался. В полдень Лебель зашел за мной.

Обед наш не был грустен, но и веселым не был. При расставании я попросил бывшую мою служанку вернуть кольцо, что я ей дал, взамен ста луидоров, как мы уговаривались; она печально взяла их.

— Не хочется отдавать, — сказала она, — я не нуждаюсь сейчас в деньгах.

— Тогда, — отвечал я, — я вам его возвращаю, но обещайте никогда не продавать его и оставьте у себя сто луи — жалкую награду за услуги, что вы мне оказали.

Она протянула мне обручальное кольцо, что осталось от первого брака, и ушла, не в силах сдержать слезы. Я тоже прослезился.

— Вы вступаете, — сказал я Лебелю, — во владение сокровищем, что превыше любых похвал. Скоро вы узнаете истинную его цену. Она будет любить вас одного, заботиться о доме, ничего не станет скрывать; она умна и всегда развлечет вас, развеет даже призрак хандры, коль она вздумает на вас напасть.

Войдя вместе с ним в комнату матери, чтоб попрощаться напоследок, она просила меня

отложить отъезд и последний раз поужинать вместе, я же отвечал, что запряженные лошади ждут у ворот и отсрочка вызовет пересуды, но обещал подождать ее вместе с женихом и матью в трактире в двух милях отсюда по Женевской дороге, где мы могли побыть сколько угодно; Лебель счел, что увеселительная прогулка придется ему по душе.

Когда я воротился в трактир, все было готово, и я немедленно тронулся в путь и остановился в условленном месте, где тотчас заказал ужин на четверых. Через час они приехали. Меня подивил веселый, довольный вид новобрачной и особенно непринужденность, с какой распахнула она мне объятия. Она меня смутила, она оказалась умней меня. Но я все же нашел силы подыграть; мне казалось невозможным, чтоб она вдруг, в одночасье перепрыгнула от любви к дружбе; я решил последовать ее примеру — к чему отказываться от проявлений дружбы, не выходящих, как все считают, за пределы дозволенного.

За ужином мне показалось, что Лебель скорее радуется тому, что получил такую женщину, чем праву насладиться ею, удовлетворить жгучую страсть, коей мог бы к ней пылать. К подобному человеку я ревности не испытывал. Еще я увидел, что веселость моей милой проистекала из желания сообщить ее мне, убедить суженого, что она ни в чем не обманет его ожиданий. Она, верно, была донельзя довольна, что достигла прочного, устойчивого положения, нашла прибежище от капризов фортуны.

Размышления эти привели меня к концу ужина, длившегося два часа, в то же состояние духа, что и бывшую мою служанку. Я снисходительно взирал на нее как на принадлежавшее мне некогда сокровище, что, составив мое счастье, нынче составит счастье другого с полного моего согласия. Я мнил, что отблагодарил служанку по заслугам ее, подобно великодушному мусульманину, отпускающего любимого раба на волю в награду за преданность: Я глядел на нее, смеялся ее выходкам, и воспоминание о былых наслаждениях вытесняло реальность, не пробуждая ни горечи, ни сожаления, что я утратил прежние права. Мне даже досадно стало, когда, взглянув на Лебеда, я понял, что ему не под силу меня заменить. Читая мои мысли, она сказала мне глазами, что ее это не заботит.

После ужина Лебель объявил, что непременно должен вернуться в Лозанну, дабы послезавтра быть в Золотурне, и я обнял его, уверив в вечной дружбе. Когда он садился в карету вместе с матерью, моя милая, спускаясь со мною по лестнице, сказала с привычной откровенностью, что не будет счастлива, пока рана не зарубцуется.

— Лебель, — произнесла она, — может завоевать лишь уважение мое и дружбу, но я все равно буду всецело принадлежать ему. Знай, что я любила только тебя, ты один дал мне познать силу чувств и невозможность им противостоять, когда ничто тебя не сковывает. Встретившись вновь, ты подал мне надежду, но станем добрыми друзьями, порадуемся сделанному нынче выбору; что до тебя, то, я уверена, — в скором времени новый предмет, более или менее достойный занять мое место, развеет твою тоску. Не знаю, беременна ли я, но коли это так, не беспокойся, я буду заботиться о ребенке, ты забереешь его у меня, когда пожелаешь. Вчера мы условились на сей счет, чтобы не было никаких сомнений, когда я буду рожать. Мы договорились пожениться, как только будем в Золотурне, но довершим брак лишь через два месяца, так мы будем знать наверняка, что ребенок твой, если я рожу до апреля месяца, а все будут пребывать в уверенности, что ребенок — законный плод Гименея. Он сам предложил этот мудрый план, что внесет спокойствие в дом, избавит мужа от всяких сомнений в этом темном деле, ведь он доверяет зову крови не больше моего; но муж будет любить нашего ребенка, как своего собственного, и если ты мне напишешь, я дам тебе знать и о беременности своей, и о семейной нашей жизни. Если мне посчастливится подарить тебе дитя, будь то сын или дочь, оно станет мне воспоминанием не в пример дорожке кольца. Но мы плачем, а Лебель смотрит на нас и смеется.

В ответ я ждал ее в объятиях и передал в объятия сидевшего в карете мужа, каковой сказал, что долгий наш разговор доставил ему искреннее удовольствие. Они уехали, и служанки, уставшие стоять с подсвечниками в руках, были тем весьма довольны. Я пошел спать.

Когда наутро я проснулся, некий женевский пастор осведомился, нет ли у меня для него места в карете. Я согласился. Ехать было всего десять миль, но он хотел пообедать в полдень, и я не стал перечить.

Красноречивый этот человек, богослов по призванию, изрядно забавлял меня до самой Женевы, с легкостью отвечая на все вопросы, как нельзя более каверзные, что я задавал ему касательно религии. Для него не было тайн, все было разумно; я никогда не встречал священника, столь удобно исповедовавшего христианство, как этот добрый человек, чьи нравы, как узнал я в Женеве, были кристально чисты; но я уверился также, что в его вероисповедании не было ничего особенного — он лишь держался доктрины своей Церкви. Я убеждал его, что он только на словах кальвинист, ибо не верит в единосущность Христа и Бога-отца, а он отвечал, что Кальвин никогда не считал себя непогрешимым, как наш папа; я возразил, что мы считаем папу непогрешимым, лишь когда он вещает «ex cathedra» \*, и, сославшись на Евангелие, принудил его замолчать. Он покраснел, когда я поставил ему в укор, что Кальвин считал папу Антихристом из Апокалипсиса, и отвечал, что

никак невозможно уничтожить сей предрассудок в Женеве, разве только правительство прикажет вымарать надпись на церкви, которую все читают, и где глава римской Церкви именуется именно так. Он сказал, что народ повсюду глуп и невежествен, но что племянница его, которой двадцать лет, судит иначе, нежели простонародье.

— Мне хочется вас с ней свести. Прехорошенький богослов у меня растет, доложу я вам.

— С величайшим удовольствием познакомлюсь с ней, сударь, но упаси меня Господь от ученых диспутов.

— Она силком втянет вас в прения, и вы останетесь довольны, уверяю вас.

Я спросил адрес, но он оставлять его не стал, а сказал, что сам зайдет за мною в трактир и ответит к себе. Я остановился в «Весак», комнату мне отвели превосходную. Было 20 августа 1760 года.

Подойдя к окну, я случайно взглянул на стекло и увидел надпись, сделанную острием алмаза: «Ты забудешь и Генриетту». Я тотчас вспомнил миг, когда она начертала эти слова, и волосы мои встали дыбом. Мы останавливались именно в этой комнате, когда она покинула меня, чтобы вернуться во Францию. Я бросился в кресло и отдался нахлынувшим воспоминаниям. Ах! Любезная Генриетта! Благородная нежная Генриетта, я так тебя любил, где ты? Никогда более не слышал я о тебе и никого не расспрашивал. Сравнивая себя теперешнего с тем, каким был прежде, я видел, что еще менее достоин обладать ею. Я умел еще любить, но не было во мне ни былого пыла, ни чувствительности, оправдывающей сердечные заблуждения, ни мягкого нрава, ни известной честности; и, что пугало меня, я не чувствовал прежней силы. Но мне показалось, что одно воспоминание о Генриетте возвратило ее. Покинутый моей милой, испытал я вдруг такое воодушевление, что, не раздумывая, кинулся бы к ней, если б знал, где ее искать, хотя и помнил все ее запреты.

С утра пораньше отправился я к банкиру Троншену, у которого хранились мои деньги. Показав мой счет, он выдал мне, как я хотел, кредитивы на Марсель, Геную, Флоренцию и Рим. Я взял наличных денег двенадцать тысяч франков. Всего у меня было пятьдесят тысяч французских экю. Разнеся рекомендательные письма по адресам, я вернулся в «Весы», горя нетерпением увидеть г-на де Вольтера.

В комнате своей застал я пастора. Он пригласил меня на обед, присовокупив, что у него встречу я г-на Вилара Шандье, каковой после сопроводит к г-ну де Вольтеру; там меня уже несколько дней ждут. Наскоро принарядившись, я отправился к пастору, где нашел прелюбопытнейшее общество; в первую голову заинтересовала меня юная племянница-богослов, к которой дядя обратился за десертом так:

— Что вы делали утром, дражайшая племянница?

— Я читала блаженного Августина, но, не сойдясь с ним во мнении касательно шестнадцатого наставления, оставила книгу; и мне кажется, я опровергла его весьма быстро.

— А о чем речь?

— Он уверяет, будто дева Мария зачала Иисуса через уши. Сие невозможно по трем причинам. Во-первых, Господь бесплотен и не нуждается в отверстиях, дабы проникнуть в тело Богоматери. Во-вторых, слуховые трубы никак не сообщаются с маткой. В-третьих, если она понесла через уши, то и родить должна была так же, а в сем случае, — сказала она, глядя на меня, — вам пришлось бы считать ее девой и во время, и после родов.

Гости были ошарашены, да и я не меньше, но вида подавать было нельзя. Божественный дух теологии умеет возвыситься над всеми плотскими чувствами — во всяком случае, приходится полагать, что умеет. Ученая племянница не боялась злоупотребить своей привилегией и, конечно, не сомневалась в собственном благочестии. И она ждала от меня ответа.

— Я бы согласился с вами, мадемуазель, когда бы, как богослов, позволил себе поверять разумом чудо, но, не будучи богословом, я, с вашего позволения, удовольствуюсь тем, что, восхищаясь вами, осужу блаженного Августина, вознамерившегося исследовать чудо Благовещения. Я твердо уверен в одном — если б Пресвятая Дева была глухой, то воплощения сына Божьего бы не свершилось. Разумеется, у слуховых нервов нет никаких ответвлений к матке и с анатомической точки зрения нельзя постичь, как сие могло случиться, но это чудо.

Она очень любезно ответила, что я рассуждаю как великий богослов, и дядя поблагодарил меня за преподанный племяннице добрый урок. Гости понуждали ее болтать без умолку, но она не блистала. Коньком ее был Новый Завет. Мне придется еще вспомнить о ней, когда ворочусь из Женевы.

Мы отправились к г-ну де Вольтеру, который только что отобедал. Он был окружен дамами и господами, и потому я был представлен с великой торжественностью. Но в доме Вольтера торжественность могла сослужить только дурную службу.

## ГЛАВА X



Г-н де Вольтер: мои беседы с великим человеком. Сцена, разыгравшаяся по поводу Ариосто. Герцог де Виллар. Синдик и три его красотики. Спор у Вольтера. Экс-ле-Бен

— Нынче, — сказал я ему, — самый счастливый момент моей жизни. Наконец я вижу вас, дорогой учитель; вот уже двенадцать лет, сударь, как я ваш ученик.

— Сделайте одолжение, оставайтесь им и впредь, а лет через двадцать не забудьте принести мне мое жалование.

— Обещаю, а вы обещайте дождаться меня.

— Даю вам слово, и я скорей с жизнью расстанусь, чем его нарушу.

Общий смех одобрил первую Вольтерову остроуту. Так уж заведено. Насмешники вечно поддерживают одного в ущерб другому, и тот, за кого они, всегда уверен в победе; подобная клика не редкость и в избранном обществе. Я был готов к этому, но не терял надежды попытаться счастья. Вольтеру представляют двух новоприбывших англичан. Он встает со словами:

— Вы англичане, я желал бы быть вашим соплеменником.

Дурной комплимент, ибо он понуждал их отвечать, что они желали бы быть французами, а им, может статься, не хотелось лгать, а сказать правду было совестно. Благородному человеку, мне кажется, позволительно ставить свою нацию выше других.

Едва сев, он вновь меня поддел, с вежливой улыбкой заметив, что как венецианец я должен, конечно, знать графа Альгаротти.

— Я знаю его, но не как венецианец, ибо семеро из восьми дорогих моих соотечественников и не ведают о его существовании.

— Я должен был сказать — как литератор.

— Я знаю его, поскольку мы провели с ним два месяца в Падуе, семь лет назад, и я, найдя в нем вашего почитателя, проникся к нему почтением.

— Мы с ним добрые друзья, но, чтобы заслужить всеобщее уважение, ему нет нужды быть чьим-либо почитателем.

— Не начни он с почитания, он не прославился бы. Почитатель Ньютона, он научил дам беседовать о свете.

— И впрямь научил?

— Не так, как г-н Фонтенель в своей «Множественности миров», но все-таки скорее научил.

— Спорить не стану. Если встретите его в Болонье, не сочтите за труд передать, что я жду его «Писем о России». Он может переслать их посредством миланского банкира Бианки. Мне говорили, что итальянцам не нравится его язык.

— Еще бы. Он пишет не на итальянском, а на изобретенном им самим языке, зараженном галлицизмами; жалкое зрелище.

— Но разве французские обороты не украшают ваш язык?

— Они делают его невыносимым, каким был бы французский, нашпигованный итальянскими словесами, даже если б на нем писали Вы.

— Вы правы, надобно блюсти чистоту языка. Порицали же Тита Ливия, уверяя, что его латынь отдает падуанским.

— Аббат Ладзарини говорил мне, когда я учился писать, что предпочитает Тита Ливия Саллюстию.

— Аббат Ладзарини, автор трагедии «Юный Улисс»? Вы, верно, были тогда совсем ребенком, я хотел бы быть с ним знаком; но я близко знал аббата Конти, что был другом Ньютона, — четыре его трагедии охватывают всю римскую историю.

— Я тоже знал и почитал его. Оказавшись в обществе сих великих мужей, я радовался, что молод; нынче, встретившись с вами, мне кажется, что я родился только вчера, но это меня не унижает. Я хотел бы быть младшим братом всему человечеству.

— Быть патриархом не в пример хуже. Осмелюсь спросить, какой род литературы вы избрали?

— Никакой, но время терпит. Пока я вволю читаю и не без удовольствия изучаю людей, путешествуя.

— Это недурной способ узнать их, но книга слишком обширна. Легче достичь той же цели, читая историю.

— Она вводит в заблуждение, искажает факты, нагоняет тоску, а исследовать мир мимоходом забавляет меня. Гораций, которого я знаю наизусть, служит мне дорожником, и повсюду я его нахожу.

— Альгаротти тоже знает его назубок. Вы, верно, любите поэзию?

— Это моя страсть.

— Вы сочинили много сонетов?

— Десять или двенадцать, которые мне нравятся, и две или три тысячи, которые я, по правде говоря, и не перечитывал.

— В Италии все без ума от сонетов.

— Да, если считать безумным желание придать мысли гармонический строй, выставить ее в наилучшем свете. Сонет труден, господин де Вольтер, ибо не дозволено ни продолжить мысль сверх

четырнадцати стихов, ни сократить ее.

— Это прокрустово ложе. Потому так мало у вас хороших сонетов. У нас нет ни одного, но тому виной наш язык.

— И французский гений — ведь вы воображаете, что растянутая мысль теряет силу и блеск.

— Вы иного мнения?

— Простите. Смотря какая мысль. Острога словца, к примеру, недостаточно для сонета.

— Кого из итальянских поэтов вы более всех любите?

— Ариосто; и не могу сказать, что люблю его более других, ибо люблю его одного. Но читал я всех. Когда я прочел, пятнадцать лет назад, как дурно вы о нем отзываетесь, сразу сказал, что вы откажетесь от своих слов, когда его прочтете.

— Спасибо, что решили, будто я его не читал. Я читал, но был молод, дурно знал ваш язык и, настроенный итальянскими книжниками, почитателями Тассо, имел несчастье напечатать суждение, которое искренне почитал своим. Но это было не так. Я обожаю Ариосто.

— Я вздыхаю с облегчением. Так предайте огню книгу, где вы выставили его на посмешище.

— Уже все мои книги предавались огню; но сейчас я покажу вам, как надо каяться.

И тут Вольтер меня поразил. Он прочел наизусть два больших отрывка из тридцать четвертой и тридцать пятой песни сего божественного поэта, где повествуется о беседе Астольфа со святым Иоанном-апостолом, не опустив ни одного стиха, ни в едином слове не нарушив просодию; он открыл передо мной их красоты, рассуждая как истинно великий человек. Ничего более возвышенного ни в силах изобрести ни один из итальянских толкователей. Я слушал не дыша, ни разу не моргнув, вотще надеясь найти ошибку; оборотившись ко всем, я сказал, что я вне себя от удивления, что я поведаю всей Италии о моем искреннем восхищении.

— Я сам поведаю всей Европе, — сказал он, — что покорнейше винюсь перед величайшим гением, какого она породила.

Жадный на хвалу, он дал мне на другой день свой перевод стансов Ариосто «Что случается меж князьями и государями». Вот он:

Попы и кесари, как им наскучит драться, Святым крестом клянясь, торопятся брататься, А час пройдет — гляди, опять друг друга мнут.

Их клятвам краток век, лишь несколько минут.

Их уверенья — ложь, нет веры их обетам, Божатся их уста, да сердце лжет при этом.

Свидетелей-Богов их не смущает взгляд.

Они лишь выгоду свою как Бога чтят.

(Перевод Е. Костюкович.)

После чтения, снискавшего г. де Вольтеру рукоплескания всех присутствовавших, хотя ни один из них не разумел по-итальянски, г-жа Дени, его племянница, спросила, не кажется ли мне, что тот большой отрывок, какой прочел дядя, один из самых прекрасных у великого поэта.

— Да, сударыня, но не самый прекрасный.

— Значит, известен самый прекрасный?

— Разумеется, иначе синьора Лудовико не стали бы обожествлять.

— Его, значит, причислили к лику святых, а я и не знала.

Тут все засмеялись, и Вольтер первый, но я сохранял полнейшую серьезность. Уязвленный моей серьезностью, Вольтер произнес:

— Я знаю, отчего вы не смеетесь. Вы считаете, что его прозвали божественным из-за одного отрывка, недоступного смертным.

— Именно.

— Так откуда он?

— Тридцать шесть последних октав двадцать третьей песни, где описывается механика того, как Роланд сходит с ума. Покуда существует мир, никто не знал, как сходят с ума, за исключением Ариосто, каковой сумел это записать, а к концу жизни сам сделался сумасшедшим. Эти октавы, я уверен, заставили вас содрогнуться, они внушают страх.

— Припоминаю, они заставляют бояться любви. Мне не терпится перечесть их.

— Быть может, г-н Казанова любезно согласится прочесть их, — сказала г-жа Дени, хитро взглянув на дядю.

— Отчего бы нет, сударыня, если вы соблаговолите меня выслушать.

— Так вы взяли труд выучить их наизусть?

— Я читаю Ариосто два или три раза в год с пятнадцатилетнего возраста, он отложился у меня в памяти без малейшего труда, можно сказать, помимо моей воли, за исключением генеалогии и исторических рассуждений, утомляющих ум и не трогающих сердце. Один Гораций остался в моей душе без изъятий, хотя в «Посланиях» многие стихи излишне прозаичны.

— Гораций куда ни шло, — добавил Вольтер, — но Ариосто — это слишком, ведь там сорок шесть больших песен.

— Скажите лучше — пятьдесят одна. Вольтер онемел.

— Хорошо, хорошо, — продолжала г-жа Дени, — и так тридцать шесть октав, внушающих трепет и заслуживших автору титул божественного.

Тут я прочел их, но не декламируя, как принято у нас в Италии. Ариосто нравится и без вечно монотонного напева, который всяк норовит завести. Французы справедливо находят сей напев несносным. Я прочел их, как если б то была проза, оживляя их голосом, глазами, меняя тон, чтоб выразить нужное чувство. Все видели и чувствовали, как сдерживаю я рыдания, и плакали, но когда я дошел до октавы:

Poiche allargare il freno al dolor puote  
Che resta solo senza altrui rispetto  
Giu dagli occhi rigando per le gote  
Sparge un fiume di lacrime sul petto \*

— слезы выступили у меня на глазах столь властно и обильно, что все кругом заплакали, г-жа Дени задрожала, Вольтер бросился мне на шею; но он не мог прервать меня, ибо Роланд, дабы окончательно обезуметь, должен был заметить, что лежит на том самом ложе, где некогда Анджелика, обнаженная, оказалась в объятиях счастливого сверх меры Медора, о чем говорилось в следующей октаве. Уже не жалоба и печаль звучали в моем голосе, но ужас, порожденный неистовством, что вкупе с его чудной силой содейали разрушения, кои под силу только трусу или молнии. После чтения принимал я с печальным видом всеобщие похвалы. Вольтер вскричал:

— Я всегда говорил: хотите, чтобы все плакали, плачьте, но чтобы плакать, надобно чувствовать, и тогда нахлынут слезы.

Он меня обнимал, благодарил, обещал завтра прочесть мне те же октавы и так же плакать. Он сдержал слово.

Продолжая разговор об Ариосто, г-жа Дени удивилась, как Рим не занес его в Индекс. Вольтер возразил, что, напротив, Лев X в своей булле отлучил от церкви тех, кто посмеет его осудить. Могущественные семьи Эсте и Медичи поддерживали его.

— Иначе, — добавил он, — одного стиха о дарственной, по которой Константин отдал Рим Сильвестру, где говорится, что она «puzza forte» \*\*, достало бы для запрещения поэмы.

Я сказал, извинившись, что еще большие крики вызвал стих, где Ариосто выражает сомнение, что род людской воскреснет после конца света.

— Ариосто, — продолжал я, рассказывая об отшельнике, каковой досаждал Африканцу, желая помешать Родомонту овладеть Изабеллой, вдовой Зербина, пишет, что Африканец, устав от наставлений, хватает его и швыряет так далеко, что тот врезается в скалу и остается лежать мертвым, усыпленный так:

Che al novissimo di forse fia desto \*\*\*.

Вот это «forse», что поэт вставил как риторическое украшение, вызвало крики, изрядно посмешившие поэта.

— Жаль, — сказала г-жа Дени, что Ариосто не мог обойтись без гипербол.

— Помолчите, племянница, все они умны, и все они прекрасны.

Мы рассуждали о прочих материях, все больше литературных, и, наконец, разговор зашел о «Шотландке», представленной в Золотурне. Здесь знали обо всем. Вольтер сказал, что если я не прочь играть у него, то он напишет г-ну де Шавиньи, чтобы тот разрешил г-же приехать играть Линдану, а сам он возьмет роль Монроза. Я поблагодарил, сказав, что госпожа нынче в Базеле и к тому же я завтра должен ехать. Тут он раскричался, возмутил все общество и объявил, что я нанесу ему оскорбление, если не останусь хотя бы на неделю. Я отвечал, что приехал из Женевы единственно ради него, других дел у меня нет.

— Вы явились говорить или слушать?

— Главным образом, слушать.

— Так побудьте хотя дня три, приходите непременно обедать, и мы поговорим.

Я обещал и, откланявшись, отправился в трактир, ибо мне надобно было написать много писем.

Через четверть часа городской синдик, чье имя я не назову и каковой провел весь день у Вольтера, зашел просить меня отужинать с ним.

— Я присутствовал, — сказал он, — при вашем споре с великим человеком, но вступать не стал. Мне бы хотелось побеседовать с вами часок без помех.

Я обнял его и, извинившись, что он застал меня в ночном колпаке, сказал, что он волен провести со мной хоть всю ночь.

Милейший этот человек пробыл у меня два часа, не сказав ни слова о литературе, но, чтобы понравиться мне, он в том не нуждался. Он был великий последователь Эпикура и Сократа; история за историей, смеемся вволю, беседуем об утехах, какие можно доставить себе, живя в Женеве, — так провели мы время до полуночи. Расставаясь, он пригласил отужинать у него завтра, уверяя, что ужин будет веселый. Я обещал ждать его в трактире. Он просил никому не говорить о нашей вечеринке.

Утром юный Фокс зашел ко мне в комнату с двумя англичанами, которых я видел у г. де

Вольтера. Они предложили составить партию в пятнадцать, по два луидора, и я, проиграв меньше чем за час полсотни, бросил карты. Мы пошли осматривать Женеву, а к обеду прибыли в Делис. Туда как раз приехал герцог де Виллар — показаться Троншену, что десять лет сберегал его жизнь своим искусством.

За обедом я молчал, но потом Вольтер вовлек меня в разговор о правлении венецианском, заранее зная, что я должен быть им недоволен; я обманул его ожидания. Я тщился доказать, что нет на земле страны, где можно наслаждаться большей свободой. Увидав, что предмет сей мне не по нраву, он взял меня с собою и повел в сад, который, как он сказал, разбил сам. Главная аллея оканчивалась у источника, и он сказал, что здесь берет начало Рона, кою он ниспосылает Франции. Он дал мне полюбоваться прекрасным видом на Женеву и на Белый Зуб, выше которого нет горы в Альпах.

Переведя разговор на итальянскую литературу, начал он нести околесицу с умом и знанием дела, всякий раз заключая рассуждения вздорным выводом. Я ему не перечил. Он вещал о Гомере, Данте и Петрарке, и всем известно, что думает он о сих великих гениях. Не в силах удержаться от записывания мыслей своих, он сам себе вредил. Я не сказал ничего, кроме того, что, если б сии творцы не снискали уважения у всех, кто их изучал, их не вознесли бы на ту высоту, какую они занимают.

Герцог де Виллар и славный врач Троншен присоединились к нам. Троншен, высокий, хорошо сложенный, лицом пригожий, обходительный, красноречивый, но не болтун, знающий физик, умница, врач, любимый ученик Буграве, не перенявший ни ученый жаргон, ни шарлатанство столпов медицины, очаровал меня. Он лечил по преимуществу диетой, но, чтоб пользоваться ею, надобно быть великим философом. Это он исцелил от венериной болезни чахоточного посредством молока ослицы, которой произвели тридцать ртутных растираний трое или четверо здоровенных крючников. Я пишу, как мне рассказывали, но сам с трудом в это верю.

Персона герцога де Виллара заняла внимание мое без остатка. Увидав лицо его и осанку, я было подумал, что предо мной женщина лет семидесяти, одетая мужчиной, худая, иссохшая, изможденная, что в молодости, верно, была красавицей. Красные щеки наруганы, губы крашены кармином, брови сурью, зубы вставные, волосы накладные и прилеплены к голове помадой из амбры, а большой букет в верхней бутоньерке доходит до подбородка. Манеры жеманные, голос до того сладкий, что речи не сразу понятны. При всем том был он исполнен вежества, любезен, церемонен, словно во времена Регентства. Мне говорили, что в молодости он любил женщин, а в старости предпочел избрать роль женщины для трех или четырех любимчиков, что состояли у него на службе и по очереди наслаждались высокой честью спать с ним. Герцог сей был губернатором Прованса. Всю спину ему изъел антонов огонь, и согласно законам природы он десять лет назад должен был скончаться, но Троншен посредством диеты продлил его жизнь, питал язвы, которые иначе отмерли бы и унесли с собой герцога. Вот что значит беречь жизнь.

Я проводил Вольтера в спальню, где он переменял парик и шапку, что всегда носил, остерегаясь простуды. Я увидал на большом столе «Summa» \* Фомы Аквинского и итальянских поэтов, и среди них «Secchia rapita» \*\* Тассони.

— Это, — сказал он, — единственная на всю Италию трагикомическая поэма. Тассони был монах, остроумец и весьма сведущий изобретательный поэт.

— Пусть так, но не ученый, поскольку, осмеивая систему Коперника, утверждал, что она не объясняет ни лунные месяцы, ни затмения.

— Где он сморозил подобную глупость?

— В своих «Discorsi academici» \*\*\*.

— У меня нет их, но будут. Он записал название.

— Но Тассони, — продолжал он, — совсем раскритиковал вашего Петрарку.

— И тем опорочил и вкус свой, и творения, подобно Муратори.

— А вот и он. Согласитесь, познания его безграничны.

— Est ubi peccat \*\*\*\*.

Он открыл одну дверь, и я увидал архив, почти сотню громадных связок.

— Вот, — сказал он, — моя переписка. Тут почти пятьдесят тысяч писем, на которые я ответил.

— Остались ли копии ответов?

— По большей части. Этим занимается слуга, нарочно для того нанятый.

— Я знаю издателей, что дадут немалые деньги, только чтобы заполнить это сокровище.

— Берегитесь издателей, коли вздумаете предложить что-нибудь на суд публики — ежели еще не начали.

— Начну, когда состарюсь.

И я привел к слову макаронический стих Мерлина Кокаи.

— Что это?

— Строка из знаменитой поэмы в двадцать четыре песни.

— Знаменитой?

- Менее, чем она того заслуживает, но, чтобы оценить ее, надобно знать мантуанский диалект.
- Я пойму. Добудьте мне ее.
- Завтра я вам поднесу.
- Буду премного вам обязан.

За нами пришли, увели нас из спальни, и два часа мы провели за общей беседой: великий поэт блистал, веселя своих приближенных, и снискал шумные похвалы; хоть был он язвитель, а порою желчен, но, вечно смеясь, вызывал одобрительный смех. Жил он, ничего не скажешь, на широкую ногу, только у него одного хорошо и кормили. Было ему тогда шестьдесят шесть лет, и имел он сто двадцать тысяч ливров дохода. Неправы те, кто уверял и уверяют, будто он разбогател, надувая книгопродавцов. Напротив, книгопродавцы вечно обманывали его, за выключением Крамеров, коих он обогатил. Он дарил им свои сочинения, и потому они повсеместно расходились. Когда я там был, он подарил им «Принцессу Вавилонскую», прелестную сказку, каковую написал в три дня.

Эпикуреец-синдик зашел, как обещал, за мной в «Весы». Он привез меня в дом, что по правую руку на соседней улице, поднимающейся в гору, и представил трем девицам, созданным для любви, хоть и не писаным красавицам; две из них были сестры. Ласковый, учтивый прием, умные лица, веселый вид без обмана. Полчаса перед ужином прошли в разговорах благопристойных, хотя и вольных, но за ужином синдик задал тон беседе, и я понял, что случится потом: Под предлогом изрядной жары мы, дабы насладиться прохладой, зная наперед, что нас никто не потревожит, разделись почти до природного нашего состояния. У меня не было причины не последовать примеру всех четверых. Какая оргия! Столь бурно мы веселились, что, прочитав «Игрек» Грекура, я взялся растолковывать каждой девице в свой черед, в чем смысл наставления: «gaudeant bene nati» \*. Я видел, что синдик гордится подарком, что преподнес в моем лице трем девицам, — как я заметил, те, видно, с ним беспрестанно постились, ведь вожделем он только в уме. Страсть принудила их в час пополуночи помочь мне кончить, в чем я воистину испытывал нужду. Я целовал по очереди шесть прекрасных ручек, снизошедших до сего дела, унижительного для всякой женщины, что создана для любви, но не может исполнить свою роль в разыгранном нами фарсе: ведь, согласившись пощадить их, я, помогаемый сластолюбивым синдиком, оказал им ответную любезность. Они без конца меня благодарили и донельзя обрадовались, когда синдик пригласил меня прийти завтра.

Но я и сам тысячекратно изъявил свою признательность, когда тот доставил меня обратно. Он сказал, что самолично воспитал всех трех девиц и что я первый мужчина, с которым он их познакомил. Он просил меня по-прежнему соблюдать осторожность, дабы они не забеременели, — несчастье это будет для него губительным в столь разборчивом и щепетильном в этом отношении городе, как Женева.

Утром написал я г. де Вольтеру послание белыми стихами, которые потребовали от меня более сил, чем если бы они были рифмованные. Я отправил их ему вместе с поэмой Теофила Фоленго, и совершенно напрасно; я должен был угадать, что она ему не понравится. Затем спустился я к г. Фоксу, куда пришли два англичанина и предложили мне отыгаться. Я спустил сто луидоров. После обеда они уехали в Лозанну.

Зная от синдика, что девицы были небогатые, я пошел к ювелиру, дабы расплавить шесть золотых дублонов, и велел немедля сделать три шарика, по две унции каждый. Я знал, как поднести их не обидев.

В полдень я пошел к г. де Вольтеру, он никого не принимал, но г-жа Дени меня утешила. Она была умна, начитанна, был у нее вкус, но без заносчивости; и она была заклятый враг прусского короля. Она осведомилась, как поживает моя прекрасная служанка, и была рада узнать, что дворецкий после женился на ней. Она просила меня рассказать, как я бежал из тюрьмы, и я обещал исполнить ее желание в другой день.

Г-н де Вольтер к столу не вышел. Он появился только к пяти, держа в руке письмо.

— Знаете ли вы, — спросил он меня, — маркиза Альбергатти Капачелли, сенатора из Болоньи, и графа Парадизи?

— Парадизи не знаю, а г-на Альбергатти только в лицо и по наслышке, он не сенатор, а один из сорока, уроженец Болоньи, где их не сорок, а пятьдесят.

— Помилосердствуйте! Уж очень головоломно.

— Вы с ним знакомы?

— Нет, но он прислал мне пьесы Гольдони, болонские колбасы, перевод моего «Танкреда» и намерен навестить меня.

— Он не приедет, он не так глуп.

— Почему глуп? И впрямь глупо ездить ко мне с визитами.

— Я говорю об одном Альбергатти. Он знает, что повредит во мнении, кое, быть может, вы составили о нем. Он уверен, что, если навестит вас, вы распознаете его ничтожество или величие, и прощай иллюзии. Но вообще-то он добрый дворянин с доходом в шесть тысяч цехинов и обожает театр. Он изрядный комедиант, сочинитель прескучных комедий в прозе.

— Знатный титул. Но как он пятьдесят и сорок?

— Так же, как полдень в Базеле в одиннадцать.

— Понимаю. Как в вашем Совете Десяти семнадцать.

— Именно. Но проклятые сорок в Болонье — другое дело.

— Почему проклятые?

— Они не облагаются податями и посему творят, что хотят, а потом перебираются в соседнюю страну и живут припеваючи на свои доходы.

— Это благодать, а не проклятие, но продолжим. Маркиз Альбергатти конечно же порядочный литератор.

— Он хорошо пишет на родном языке, но утомляет читателя, ибо слушает одного себя, и притом велеречив. К тому же в голове у него хоть шаром покати.

— Он актер, вы сказали.

— Превосходный, коли играет свое, особенно в роли любовников.

— Красив ли он?

— На сцене, но не в жизни. Лицо невыразительное.

— Но пьесы его имеют успех.

— Отнюдь нет. Их бы освистали бы, если б поняли.

— А что вы скажете о Гольдони?

— Это наш Мольер.

— Почему он именуется поэтом герцога Пармского?

— Чтобы обзавестись каким-нибудь титулом, ибо герцог о том не ведает. Еще он именуется адвокатом, но он только мог бы быть им. Он хороший комик, вот и все. Я с ним в дружбе, и вся Венеция это знает. В обществе он, не блещет, он пошлый и приторный, как мальва.

— Он мне писал. Он нуждается, хочет покинуть Венецию. Это, верно, не по нраву хозяевам театров, где играют его пьесы.

— Поговаривали, не дать ли ему пенсион, но решили отказать. Подумали, что, получив пенсион, он перестанет писать.

— Кумы отказали в пенсионе Гомеру, испугавшись, что все слепцы будут просить денег.

Мы весело провели день. Он поблагодарил меня за «Макароникон» и обещал прочесть его. Он представил мне иезуита, коего держал на службе, и присовокупил, что зовут его Адам, но он не первый из людей; мне сказали, что он с увлечением сражается с ним в трик-трак и, проиграв, любит запустить иезуиту в лицо кости и стаканчик.

Воротившись вечером в трактир, я тотчас получил три золотых шарика, а минуту спустя объявился дражайший синдик и повез меня на оргию.

По пути он рассуждал о чувстве стыдливости, не позволяющем выставлять напоказ части тела, что сызмальства нас приучили скрывать. Он сказал, что зачастую стыдливость проистекает из добродетели, но сия добродетель еще слабее, нежели сила воспитания, ибо не умеет противостоять нападению, когда задирщик с умом берется за дело. Самый простой способ, по его разумению, — не обращать на добродетель внимания, ни во что не ставить ни на словах, ни на деле, осмеивать ее; надо заставить врага врасплох, перепрыгнуть через баррикады стыда — и победа обеспечена, бесстыдство нападающего враз уничтожит стыдливость атакованного.

Климент Александрийский, ученый и философ, сказал он, говорит, что стыдливость, каковая должна обитать в голове женщины, на самом деле находится в ее рубашке, ибо как с них все снимешь, так тени стыдливости не увидишь.

Мы застали трех девиц сидящими на софе в легких платьях и устроились напротив в креслах без подлокотников. Полчаса пред ужином прошли в веселых разговорах во вчерашнем вкусе и обильных поцелуях. Сшибка началась после ужина.

Удостоверившись, что служанка не придет более мешать нам, мы отбросили стеснения. Сперва синдик извлек из кармана сверток с тонкими английскими чехлами, расхваливая это чудесное охранительное средство против беды, что может принести ужасные терзания. Оно было им знакомо, и они веселились, глядя, какую форму принимало надутое приспособление: но я сказал, что, разумеется, ставлю честь их выше даже красоты, но никогда не решусь познать с ними счастье, закутавшись в мертвую кожу.

— Вот, — сказал я, доставая из кармана три золотых шарика, — что охранит вас от всех неприятных последствий. Пятнадцатилетний опыт позволяет уверить, что с этими шариками вам нечего опасаться и не нужны будут более сии жалкие чехлы. Почтите меня вашим полным доверием и примите от венецианца, обожающего вас, этот скромный дар.

— Мы вам весьма признательны, — отвечала младшая из сестер, — но как пользоваться сим прелестным шариком, дабы уберечься от пагубной беременности?

— Шарик должен всего-навсего находиться в глубине алтаря любви во время поединка. Антипатическая сила металла препятствует зачатию.

— Но, — заметила кузина, — маленький шарик легко может вылететь прежде времени.

— Отнюдь, если действовать умело. Есть позиция, при которой шарик, влекомый собственной

тяжестью, не может выскользнуть.

— Покажите-ка нам ее, — сказал синдик, взяв свечу, чтобы осветить мне, когда я буду класть шарик.

Очаровательная кузина зашла слишком далеко, чтоб отступить и отвергнуть столь желанное доказательство. Я уложил ее у изножья постели так, что шарик, который я засунул, был не в силах выпасть наружу, но он выпал после, и она заметила, что я сплутывал, но не подала виду. Она подхватила его рукой и предложила двум сестрам самим удостовериться. Они отдались с интересом и охотой.

Синдик, не веря в силу шарика, не пожелал ему довериться. Он ограничился ролью зрителя, и жаловаться ему не пришлось. Передохнув полчаса, я продолжил празднество без шариков, уверив, что им нечего опасаться, и сдержал слово.

При расставании я увидал, что девицы опечалены, им казалось, они в долгу передо мной. Они спрашивали синдика, осыпая его ласками, как угадал он, что я достоин быть посвящен в их великую тайну.

Перед уходом синдик побудил девиц просить меня еще на день задержаться в Женеве ради них, и я согласился. Завтрашний день был у меня занят. Притом я изрядно нуждался в отдыхе. Синдик, наговорив множество любезностей, отвез меня в трактир.

После глубокого десятичасового сна почувствовал я в себе силы пойти насладиться обществом любезнейшего г. де Вольтера, но великий человек пожелал в тот день быть насмешливым, колким и желчным. Он знал, что я завтра уезжаю.

За столом он сперва объявил, что благодарит меня за подаренного ему, разумеется, с самыми благими намерениями, Мерлина Кокаи, но отнюдь не за похвалы, какие расточал я поэме, ибо я причиной тому, что он потратил четыре часа на чтение глупостей. Волосы мои встали дыбом, но я сдержался и весьма спокойно отвечал, что, быть может, в другой раз он сочтет ее достойной еще больших похвал, нежели мои. Я привел ему много примеров, когда одного прочтения бывает недостаточно.

— Это правда, но вашего Мерлина я оставляю вам. Я поставил его к «Девственнице» Шаплена.

— Которая нравится всем ценителям, хоть слог ее дурен. И поэма хороша, и Шаплен поэт истинный, его гений внятен мне.

Мое признание, верно, пришлось ему не по нраву, и я должен был о том догадаться, когда он объявил, что поставит «Макароникон», что я ему дал, рядом с «Девственницей». Я знал также, что отвратная поэма с тем же названием, гуляющая по свету, слыла за его сочинение, но, поскольку он от нее отрекся, я думал, он не подаст виду, что слова мои ему неприятны; но отнюдь — он стал язвительно меня опровергать, и я сделался язвительным и сам. Я сказал, что заслуга Шаплена в умении сделать предмет приятным, не домогаясь расположения читательского нечестивыми мерзостями.

— Так, — произнес я, — полагал мой учитель г. де Кребийон.

— Вы ссылаетесь на великого судью. Но чему, скажите, мой собрат Кребийон учил вас?

— Он научил меня менее чем в два года изъясняться по-французски. Дабы выразить ему мою признательность, я перевел его «Радамиста» на итальянский александрийским стихом. Я первым из итальянцев осмелился использовать сей размер.

— Первым, прошу прощения, был мой друг Пьер Якопо Мартелло.

— Нет, это я прошу прощения.

— Черт! Да у меня в комнате стоят его сочинения, напечатанные в Болонье.

— Вы могли читать только четырнадцатисложники без чередования мужских и женских рифм. При этом он полагал, что передает александрийский стих, его предисловие меня рассмешило. Вы, верно, его опустили.

— Сударь, я весьма люблю читать предисловия. Мартелло доказывает, что его стих звучит для итальянского уха так, как александрийский для французского.

— Он грубо ошибался; судите сами: у вас в мужских стихах двенадцать слогов, а в женских тринадцать, в мартеллианском стихе всегда четырнадцать, если только он не кончается на долгий слог, каковой в конце стиха всегда равен двум. Заметьте, что первое полустишие у Мартелло всегда состоит из семи слогов, тогда как во французском александрийском стихе их шесть, и только шесть. Либо ваш друг Пьер Якопо глух, либо на ухо нечист.

— А вы, выходит, соблюдаете все наши правила, предписанные теорией?

— Все, несмотря на трудности; ибо почти большая часть слов наших оканчивается кратким слогом.

— Имел ли успех ваш новый размер?

— Он не понравился, поскольку никто не умел читать стихов моих, но когда я самолично выступал с ними в обществе, то всегда торжествовал.

— Вы не припомните какой-либо отрывок из вашего «Радамиста»?

— Сколько угодно.

Я прочел ему тогда ту же сцену, что прочел Кребийону за десять лет до того белым стихом, и

мне показалось, что он поражен. Он объявил, что не замечает никаких трудностей, и это была для меня высшая хвала. В ответ он прочел мне отрывок из своего «Танкреда», тогда еще не напечатанного, которого потом по справедливости признали шедевром.

И все бы кончилось промеж нами хорошо, но один стих из Горация, который я привел в подтверждение его слов, понудил его объявить, что Гораций был главным его наставником в театральном ремесле, ибо заповеди его не стареют.

— Вы нарушаете только одну, — сказал я, — но как истинно великий муж.

— Какую?

— Вы не пишете «contentus paucis lectoribus» \*.

— Если б он, как я, сражался с суеверием, и он писал бы для всего мира.

— Вы могли бы, мне кажется, избавить себя от непосильного бремени, ибо никогда вам его не победить, а, победив, скажите на милость, чем вы его замените?

— Мне это нравится. Когда я освобождаю род людской от лютого зверя, терзающего его, надо ли спрашивать, кем я его заменяю?

— Он не терзает его, напротив, он необходим для самого его существования.

— Любя человечество, я хотел бы видеть его счастливым и свободным, как я; а суеверие несовместно со свободой. Или вы находите, что неволя может составить счастье народное?

— Так вы хотите, чтоб народ был господином?

— Боже сохрани. Править должен один.

— Тогда суеверие необходимо, ибо без него народ не будет повиноваться государю.

— Никаких государей, ибо это слово напоминает о деспотии, кою я обязан ненавидеть так же, как рабство.

— Чего тогда вы хотите? Если вам хочется, чтобы правил один, он не может быть никем иным, нежели государем.

— Я хочу, чтоб он повелевал свободным народом, чтоб он был его главой, но не государем, ибо никогда он не будет править самовластно.

— Аддисон ответит вам, что подобного государя, подобного правителя нет в природе. Я согласен с Гоббсом. Из двух зол надо выбирать меньшее. Без суеверия народ станет философом, а философы не желают повиноваться. Счастлив единственно народ угнетенный, задавленный, посаженный на цепь.

— Если б вы читали мои сочинения, то обнаружили бы доказательства того, что суеверие — враг королей.

— Читал ли я вас? Читал и перечитывал, и особливо, когда держался противоположного мнения. Ваша главная страсть — любовь к человечеству. Et ubi ressas \*\*. Любовь ослепляет вас. Любите человечество, но умеете любить его таким, каково оно есть. Оно не способно принять благодеяния, коими вы желаете его осыпать; расточая их, вы делаете его несчастным, озлобляете пуще прежнего. Оставьте ему лютого зверя, зверь этот дорог ему. Я никогда так не смеялся, как при виде Дон Кихота, с трудом отбивающегося от каторжников, коих великодушно освободил.

— А свободны ли вы в Венеции?

— Насколько сие возможно при аристократическом образе правления. Мы пользуемся меньшей свободой, нежели англичане, но мы довольны. Мое заключение, к примеру, было самым откровенным произволом, но я знал, что сам злоупотреблял свободой, мне временами казалось, что они были правы, отправив меня в тюрьму без должных формальностей.

— Вот потому-то никто в Венеции не свободен.

— Возможно, но согласитесь, чтобы быть свободным, достаточно чувствовать себя таковым.

— Так просто вы меня не убедите. Даже аристократы, государственные мужи несвободны, ибо, к примеру, не могут без дозволения путешествовать.

— Они сами поставили над собой закон, дабы оградить свое владычество. Сочтете ли вы несвободным жителя Берна, что подчиняется законам против роскоши? Ведь он сам законодатель.

Чтоб сменить тему, он осведомился, откуда я приехал.

— Я прибыл из Роша. Я был бы весьма огорчен, если б покинул Швейцарию, не повидав славного Галлера. Я почитаю долгом своим засвидетельствовать уважение ученым, моим современникам, вы остались на сладкое.

— Г-н Галлер должен был вам понравиться.

— Я провел у него три чудесных дня.

— Поздравляю. Этот великий муж достоин преклонения.

— И я так думаю; вы относитесь к нему по справедливости, и мне жаль его, ибо он не столь беспристрастен.

— Ах, ах! Очень возможно, что оба мы ошибаемся.

При сем ответе, удачном лишь стремительностью своей, все кругом заплодировали.

О литературе более не говорили, и я онемел, покуда г. де Вольтер не удалился; тогда я подошел к г-же Дени и спросил, не будет ли у нее каких поручений в Рим.



Я уехал вполне довольный тем, что в последний день сумел урезонить такого атлета. Но у меня осталось к нему неприязненное чувство, которое десять лет кряду понуждало критиковать все, что доводилось читать старого и нового, вышедшего и выходящего из-под пера великого этого человека. Ныне я в том раскаиваюсь, хотя, перечитывая все, что я написал против него, нахожу хулы свои основательными. Лучше было бы молчать, уважить его и презреть собственные суждения. Я должен был понять, что, если бы не насмешки, обидевшие меня в третий день, я почитал бы его воистину великим. Одна эта мысль должна была принудить меня к молчанию, но человек во гневе почитает себя правым. Потомки, читая, причислят меня к сонму зоилов и, верно, не прочтут моих нынешних покорнейших извинений.

Часть ночи и следующего дня я провел, записывая три свои беседы с ним, каковые сейчас изложил вкратце. Вечером синдик зашел за мною и мы поехали ужинать к его девицам.

Пять часов, проведенных совместно, предавались мы всем безумствам, какие только мог я измыслить. Я обещал, расставаясь, навестить их на обратном пути из Рима, и сдержал слово. Я уехал из Женевы на другой день, отобедав с любезным моим синдиком; он проводил меня до Аннеси, где я провел ночь. Назавтра пообедал я в Экс-ле-Бене, намереваясь заночевать в Шамбери, но судьба тому воспротивилась. <...>

1763. МАРСЕЛЬ

1762–1763 \*

## ТОМ IX

### ГЛАВА III

Приезд в Марсель. Г-жа д'Юрфе. Мою племянницу радушно принимает г-жа Одибер. Я отделяюсь от брата и от Пассано. Перерождение. Отъезд г-жи д'Юрфе. Верность Марколины

Племянница, сделавшись моею любовницей, распалила меня. Сердце кровью обливалось при мысли, что Марсель станет могилой нашей любви. Единственное, что я мог поделать, — ехать совсем малыми перегонами. Из Антиба мы за три часа добрались до Фрежюса и там остановились; я сказал Пассано, чтобы он ужинал вместе с моим братом и шел спать, а для себя и двух моих девочек я заказал изысканный ужин и тонкие вина. Мы засиделись за столом до полуночи, и часовая стрелка сделала полный оборот, пока я предавался любовным безумствам и спал; все то же самое было в Ле-Люке, Бриньоле, Обани, где я провел с ней шестую и последнюю восхитительную ночь.

Сразу по приезде в Марсель повез я ее к г-же Одибер, отправив Пассано с братцем в «Тринадцать кантонов» и велел им взять номер, ничего не сказывая г-же д'Юрфе, которая уже три недели ожидала меня в этом трактире.

У г-жи Одибер племянница моя и свела знакомство с Лакруа; та была женщина умная и ловкая, любила ее с детских лет, и племянница с ее помощью надеялась вымолить у отца прощение и воротиться в лоно семьи. Мы условились, что, оставив ее в карете вместе с Марколиной, я поднимусь к даме, с которой был знаком прежде, и разумею, где ей остановиться на то время, пока она будет предпринимать все должные шаги для счастливого осуществления своего замысла.

Я поднимаюсь к г-же Одибер, которая, увидав меня в окно и любопытствуя, кто мог приехать к ней на почтовых, вышла навстречу. Припомнив, кто я такой, она согласилась переговорить со мною в комнате наедине и узнать, чего мне надобно. Я вкратце рассказываю ей все, как было: как несчастье принудило Кроче покинуть мадемуазель П. П., как мне посчастливилось выручить ее из беды, а затем свести в Генуе с одним человеком, который менее чем через две недели будет иметь честь просить ее руки у родителя ее, и как сейчас я рад, что могу исполнить приятный долг — передать на ее попечение это спасенное мною прелестное создание.

— Так где ж она?

— В моей карете, где занавески укрывают ее от прохожих.

— Так приведите ее и предоставьте все хлопоты мне. Никто не узнает, что она у меня. Мне не терпится обнять ее.

Я спускаюсь, велю ей надвинуть капюшон на глаза и препровождаю в объятия благоразумной подруги, наслаждаясь сей воистину театральной развязкой. Объятия, поцелуи, слезы радости с раскаянием пополам, даже я прослезился. Клермон принес ее пожитки из кареты, и я ушел, обещав наведываться каждый день.

Я сажусь обратно в карету, сказав сперва кучеру, куда ехать дальше. То был дом достойнейшего старца, у которого я так счастливо приютил Розали. Я выхожу к нему, наспех уговариваюсь, чтобы Марколине отвели комнату, кормили ее, ухаживали за ней, как за принцессой. Он клянется, что приставит к ней собственную племянницу, уверяет, что из дому ей выходить не дозволит и никого не допустит в ее покои, кои тотчас мне показывает — весьма изрядные.

Я помогаю ей выйти из кареты и приказываю Клермону следовать за нами с кофром.

— Вот твой дом, — говорю я ей. — Я приду завтра удостовериться, не нужно ли тебе чего, и мы вместе поужинаем. Вот твои деньги, обращенные в золото, здесь они тебе не понадобятся, но побереги их — тысяча дукатов сделает тебя в Венеции почтенной дамой. Не плачь, милая Марколина, сердце мое навеки принадлежит тебе. Прощай, до завтрашнего вечера.

Старик вручил мне ключ от дверей, и я погнал рысью в «Тринадцать кантонов». Там меня ждали и тотчас проводили в комнаты, каковые г-жа д'Юрфе велела отвести мне рядом со своими. Немедля явился Бруньоль и сказал, что госпожа велела мне кланяться и передать, что она одна и ей не терпится увидеть меня.

Я нагнал бы тоску на читателя, если б стал в подробностях описывать наше свидание, ибо в суждениях бедной женщины, заморочившей себе голову самым что ни на есть лживым и призрачным учением, не было ни складу, ни ладу, а я лгал направо и налево, не заботясь ни о правде, ни о правдоподобию. Я предавался без удержу любострастию, я любил эту жизнь и не считал зазорным попользоваться женскими бреднями — ведь она только того и желала, чтоб кто-нибудь ее одурачил. Я предпочитал, чтоб это был я, и ломал комедию. Первым делом она спросила у меня, где Кверилинт, и поразилась, узнав, что он в трактире.

— Так, значит, он переродит меня! Прочь сомнения! Мой Гений еженощно твердит мне о том. Спросите Паралиса, достойны ли мои дары того, чтобы глава розенкрейцеров получил их из рук Серамиды.

Что за дары, я не знал, попросить показать не мог и потому ответствен, что их должно сперва освятить в планетарные часы, благоприятные обрядам, кои нам надлежало совершить, и до того самому Кверилинту не подобает видеть их. Услыхав это, она тотчас повела меня в соседнюю комнату, где извлекла из секретера семь свертков, кои розенкрейцер должен был получить как приношение семи планетам. В каждом свертке лежало семь фунтов металла, подвластного одной из планет, и драгоценный камень в семь каратов, подвластный ей же: алмаз, рубин, изумруд, сапфир, хризолит, топаз и опал.

Решивши действовать таким образом, чтобы ничего из этого не попало в руки геноуэца, я объявил, что мы обязаны во всем слушаться Паралиса и приступить к освящению, поместив священные дары в нарочно изготовленный ларец. В день можно было освящать только один из них и начать следовало с Солнца. Была пятница, надлежало ждать до послезавтра, и я в субботу велел изготовить ларец с семью отделениями. За освящением мы проводили наедине с г-жой д'Юрфе по три часа в день и окончили обряды через неделю, в субботу. Все это время я сажал за стол с нами Пассано и моего братца, который не мог уразуметь ничего из ее речей и рта не открывал. Г-жа д'Юрфе почитала его за недоумка и полагала, что мы намереваемся вложить в его тело душу сиффа, дабы произвести на свет полубога-получеловека. Посвятив меня в свое открытие, она сказала, что постарается примириться с ним, только бы он после сей операции вел себя в присутствии ее как существо разумное.

Я изрядно веселился, видя как братец в отчаянии от того, что его почитают недоумком, пытался разуверить г-жу д'Юрфе и сказать что-нибудь разумное, отчего выглядел в глазах ее еще большим олухом. Я смеялся при мысли о том, как плохо сыграл бы он эту роль, если б я наперед его о том попросил, но дуралею все на пользу, — маркиза для собственного удовольствия одела его с той скромной роскошью, какую мог бы себе позволить аббат, отпрыск наизнатнейшего французского рода. Но более всего обеды с г-жой д'Юрфе удручали Пассано, который должен был отвечать на ее возвышенные речи и, не зная, что сказать, всякий раз увиливал. Он боялся напиться, зевал, забывал о приличиях и правилах обхождения, кои полагается соблюдать за столом. Г-жа д'Юрфе говорила мне, что, верно, великое несчастье угрожает ордену, раз сей великий муж столь рассеян.

Когда принес я маркизе шкатулку и всё вместе с ней приуготовил, дабы приступить в воскресенье к освящению, я получил от оракула повеление семь дней подряд спать в деревне, воздерживаться от связей с земными женщинами и каждую ночь, в час Луны, поклоняться ей в чистом поле, дабы самому приуготовиться к таинству перерождения, буде сверхъестественные силы помешают Кверилинту самому свершить его. Потому г-жа д'Юрфе не только не удивилась, что я не ночью в трактире, но благодарила меня за труды, призванные обеспечить счастливый исход операции.

Итак, в субботу, на другой день по приезде в Марсель, я отправился к г-же Одибер, где увидел с радостью, что м-ль П. П. весьма довольна тем, сколь дружески приняла та к сердцу ее интересы. Она переговорила с ее отцом, призналась, что дочь его у нее и мечтает единственно заслужить его прощение и воротиться в лоно семьи, дабы стать супругой богатого молодого геноуэца, каковой может принять ее только из родительских рук, с таким почтением он относится к ее семье. Отец отвечал, что сам приедет за нею послезавтра, чтоб отвезти к сестре, жившей безотлучно в своем домишке в Сен-Луи, в двух малых лье от города. Она сможет спокойно дожидаться там жениха, не тревожась, что появление ее наделает шуму. М-ль П. П. удивлялась, что родитель не получил еще никаких от него известий. Я сказал, что навещать ее в Сен-Луи не буду, но мы непременно повидаемся после приезда г-на Н. Н., и я не покину Марсель, пока не погуляю на свадьбе.

Потом я отправился к Марколине — мне не терпелось ее обнять. Она радовалась, как дитя, и сказала, что почитала бы себя счастливой во всем, если бы могла изъясняться, понимать, что говорит прислуживающая ей добрая женщина. Я признал ее правоту, но не видел, как помочь делу; сыскать ей служанку, знавшую итальянский, было непросто. Она до слез расчувствовалась, когда я передал ей привет от племянницы и добавил, что уже завтра та сможет обнять своего отца. Она уже знала, что никакая она мне не племянница.

Изысканный ужин напомнил мне о Розали, история которой доставила превеликое удовольствие Марколине, она сказала, что я, похоже, путешествую единственно для того, чтобы составить счастье бедных девиц — лишь бы они были хорошенькие. Марколина очаровала меня аппетитом, с каким она ела. В Марселе кормят отменно, только птица никуда не годная, но можно обойтись без нее; мы мирились с чесноком, который суят для вкуса куда надо и куда не надо. В постели Марколины была восхитительна. Уж восемь лет, как я не наслаждался венецианскими любовными сумасбродствами, а девица была само совершенство. Я смеялся над братом, который имел глупость влюбиться в нее. Выезжать я с ней не мог, но хотел, чтоб она развлекалась, и потому велел хозяину отпускать ее в театр со своей племянницей, а по вечерам готовить для меня ужин. На другой день я одел ее с головы до ног, купив все, о чем она только могла мечтать, чтобы ей блистать не хуже других.

Назавтра она сказала, что спектакль бесконечно ей понравился, хоть она ровно ничего не поняла, а послезавтра удивила меня, объявив, что явился мой братец, уселся рядом с ней в ложе и наговорил ей столько грубостей, что, будь они в Венеции, она бы отхлестала его по щекам. Она решила, что он следит за ней и боялась всяческих неприятностей.

Воротившись в трактир, прошел я сразу в его комнату и увидел у постели Пассано хирурга, собиравшего перед уходом инструменты.

— Что все это значит? Вы нездоровы?

— Я заработал нечто, что сделает меня вперед осмотрительнее.

— Не поздно ли, в шестьдесят-то лет?

— Самое время.

— От вас мазью воняет.

— Я не покину комнаты.

— А что прикажете сказать маркизе, почитающей вас за величайшего из чернокнижников?

— Видал я вашу маркизу... Оставьте меня в покое.

Этот подлец никогда не разговаривал со мной таким тоном. Я сдержался и подошел к брату, тот брлся.

— Что это тебя вчера понесло в театр к Марколине?

— Я хотел наставить ее на путь истинный, сказать, что не собираюсь быть при ней сводником.

— Ты оскорбил ее и меня. Ты жалкий глупец, ты всем обязан юной этой прелестнице, когда б не она, я бы и не посмотрел в твою сторону — и ты смеешь докучать ей своими глупостями?

— Я разорился ради нее, я не могу воротиться в Венецию, я жить без нее не могу, а вы ее у меня отняли. По какому праву вы завладели ей?

— По праву любви, осел, и по праву сильного. И потому со мной она обрела счастье и не хочет со мной расставаться.

— Вы приворожили ее, а потом поступите, как со всеми остальными. В конце-то концов, разве не волен я говорить с ней повсюду, где только встречу?

— Не придется тебе с ней говорить. Я тебе это обещаю. Сказав так, сажусь я в фиакр и еду к адвокату, узнать, могу ли я отправить в тюрьму чужеземного аббата, который мне задолжал, хотя никакими бумагами я подтвердить этого не могу.

— Раз он иностранец, вы можете оставить залог и держать его под арестом в трактире, где он находится, покуда он не заплатит или не докажет, что ничего вам не должен. Он вам много задолжал?

— Двенадцать луидоров.

— Тогда едем к судье, вы внесете двенадцать луидоров и тотчас получите право приставить к нему караульного. Где он остановился?

— В том же трактире, что и я, и мне не с руки отдавать его там под стражу. Я хочу отправить его в трактир поплоче, в «Сент-Бом», и там приставлю к нему караульного. Вот вам двенадцать луидоров залога, ежайте за ордером, а в полдень увидимся.

— Сблаговолите назвать свое имя и его.

Проделав это, возвращаюсь я в «Тринадцать кантонов» и вижу, что брат оделся и собрался уходить.

— Едем, — говорю, — к Марколине. Вы при мне объяснитесь.

— Охотно.

Он садится со мной в фиакр, и я велю кучеру везти нас в трактир «Сент-Бом». Мы приезжаем, и я прошу брата обождать, сказав, что сейчас ворочусь с Марколиной, а сам отправляюсь к адвокату,

который уже получил ордер и начал действовать по закону. Затем возвращаюсь я в «Тринадцать кантонов», запикиваю в баул все его пожитки и отвожу их ему в «Сент-Бом», где он сидит в комнате под охраной и беседует с трактирщиком, который ничего не может взять в толк. Но потом он увидел баул, а я, отведя его в сторону, поведал свою басню, и он, удовольствовавшись этим, удалился. Войдя к брату, я сказал ему, чтобы он завтра же готов был покинуть Марсель; дорогу до Парижа я ему оплачу, но если он не хочет ехать по своей воле, я от него отступаюсь, зная, что есть у меня способ изгнать его из Марселя.

Трус расплакался и сказал, что поедет в Париж.

— Значит, завтра утром ты едешь в Лион, но сперва напиши мне расписку, что ты должен подателю ее двенадцать луидоров.

— Зачем?

— Затем, что я так хочу. Не спорь, завтра утром я дам тебе двенадцать луидоров и порву расписку.

— Я принужден слепо повиноваться вам.

— Ничего другого тебе не остается.

Он написал расписку. Я тотчас пошел взять ему место в дилижансе, а на другой день отправился вместе с адвокатом снять арест и забрать мои двенадцать луи, каковые отнес брату. Он немедля уехал, взяв рекомендательное письмо к г. Боно, какового я просил денег брату не давать и отправить в Париж дилижансом. Я вручил ему двенадцать луидоров, больше, чем нужно, и порвал расписку. Так я от него отделался. Мы встретились с ним в Париже месяц спустя, и в свой черед я расскажу, как он воротился в Венецию.

Но еще за день до того, перед тем, как обедать с г-жою д'Юрфе, но уже отправив братовы пожитки в «Сент-Бом», пошел я переговорить с Пассано и выведать причину дурного его настроения.

— Дурное мое настроение проистекает от того, что вы намерены прикарманить двадцать или тридцать тысяч экю золотом и бриллиантами, кои маркиза предназначила мне в дар.

— Все может стать. Но вам до того дела нет. Скажу вам одно: я помешаю безумной ее идее дарить вам золото и бриллианты. Коль вы их домогаетесь, идите жалуйтесь маркизе, я вас не держу.

— Так я, значит, буду для вас таскать каштаны из огня и все даром? Ну уж нет. Я хочу тысячу луидоров.

— С чем вас и поздравляю.

Я поднимаюсь к маркизе, объявляю, что кушать подано, но обедать мы будем вдвоем, ибо важные причины принудили меня отослать аббата.

— Бог с ним, дураком. А Кверилинт?

— После обеда спросим совета у Паралиса. У меня возникли подозрения на его счет.

— У меня тоже. Мне кажется, он переменялся. Где он?

— Лежит в постели с мерзкой болезнью, кою я не смею вам назвать.

— Уму непостижимо. Это деяние черных сил, но такого, сколько я знаю, никогда еще не случалось.

— Никогда, но сперва поедим. У нас сегодня будет много дел после освящения олова.

— Тем лучше. Придется совершить Оромазисов очистительный обряд, ужас-то ведь какой! Он должен был перевоплотить меня через четыре дня, а сам в таком ужасном состоянии?

— Давайте обедать, прошу вас.

— Я боюсь, что наступит час Юпитера.

— Ни о чем не беспокойтесь.

После Юпитерова обряда Оромазисов я перенес на другой день и без помех занялся кабалой, а маркиза переводила цифры в буквы. Оракул поведал, что семь саламандр отнесли истинного Кверилинта на Млечный Путь, а в постели в комнате на первом этаже лежал коварный Сен-Жермен, которому гномида сообщила ужасную болезнь, дабы стал он палачом Серамиды и та скончалась бы от недуга прежде назначенного срока. Оракул гласил, что Серамида должна предоставить Парализе Галтинару (то бишь мне) отделаться от Сен-Жермена и не сомневаться в счастливом исходе перерождения, ибо сам Кверилинт ниспослет мне силу с Млечного Пути на седьмой день моего поклонения Луне. Наконец, оракул решил, что я должен оплодотворить Серамиду спустя два дня по завершении обрядов, когда прелестная Ундина омоет нас в ванной в той самой комнате, где мы сейчас находились.

Обязавшись переродить милую мою Серамиду, я подумал — зачем без нужды рисковать. Маркиза была пригожая, но старая. Могло стать, что у меня не хватит пороку ей соответствовать. В тридцать восемь лет роковое это несчастье стало частенько меня подстерегать. Прекрасной Ундиной, ниспосланной Луною, была Марколина, которой надлежало помочь мне в купальне обрести мужскую силу. Тут сомневаться не приходилось. Читатель увидит, как я пособил ей спуститься с небес.

Я получил записку от г-жи Одибер и перед тем, как ехать ужинать к Марколине, посетил ее. Она радостно сообщила мне, что г-н П. П. получил из Генуи письмо от Н. Н., каковой просит отдать его

дочь замуж за своего единственного сына, ту самую, что была ему представлена у г-на Паретти кавалером де Сейнгальтом (то бишь мною), каковой должен был отвезти ее в Марсель и вернуть в лоно семьи.

— Г-н П. П., — сказала г-жа Одибер, — исполнен к вам самой глубокой признательности, какую только может питать любящий родитель к тому, кто по-отечески позаботился о дочери его. Дочь расписала ему вас в самых лучших красках, и ему не терпится с вами познакомиться. Скажите, когда бы вы могли поужинать у меня? Дочери не будет.

— С превеликим удовольствием, ибо супруг м-ль П. П. по справедливости еще больше будет почитать жену, узнав, что я дружен с ее отцом, но только на ужин я остаться не могу; я приду, когда вы скажете, в шесть часов, пробуду с вами до восьми, и мы сведем знакомство до приезда жениха.

Мы условились на послезавтра, и я отправился к Марколине рассказать ей последние новости и о том, каким манером намереваюсь я завтра избавиться от брата, — читателю о том уже известно.

Послезавтра, как сели мы обедать, маркиза, улыбаясь, протянула мне длинное письмо, которое этот подлец Пассано написал ей на прескверном французском — но что-то разобрать было можно. Он извел восемь страниц, дабы убедить ее, что я обманщик, и в доказательство сей непреложной истины пересказал всю историю как есть, не упуская ни малейших обстоятельств, кои могли бы мне повредить. Еще он писал, что я приехал в Марсель с двумя девицами, он не знал, где я держу их, но уж, конечно, я отправлялся с ними спать каждую ночь.

Я спросил у маркизы, возвращая письмо, достало ли у нее терпения дочесть до конца, а она отвечала, что ровно ничего не поняла, ибо пишет он на тарабарском наречии, да и не старалась она понять — ибо ничего там не может быть, кроме измышлений, призванных сбить ее с пути истинного в тот самый момент, когда ей никак нельзя от него отступить. Такая ее осмотрительность весьма пришлась мне по душе, ибо я не хотел, чтобы она заподозрила Ундину, без которой я не смог бы завести телесный свой механизм.

Пообедав и наскоро совершив все обряды, потребные для укрепления духа бедной моей маркизы, я отправился к банкиру, выправил вексель на сто луидоров на Лион на имя Боно, и отослал ему с уведомлением, что эти сто луи Пассано надлежит выплатить в обмен на мое письмо, кое Пассано должен предъявить для получения ста луидоров в тот самый день, каковой будет означен в письме. Если он представит его после означенного дня, то в уплате следует отказать.

Предприняв это, я написал Боно нижеследующее письмо, которое Пассано должен был ему вручить:

«По предъявлению сего уплатите г-ну Пассано сто луидоров, если вам его представят сегодня, 30 апреля 1763 года. По истечении этого срока распоряжение мое теряет силу».

С письмом в руке я вошел в комнату предателя, которому за час до того скальпелем продырявили пах.

— Предатель, — говорю я ему. — Г-жа д'Юрфе не стала читать ваше письмо, но я прочел его. И вот что я вам предлагаю — но только без возражений, времени у меня нет. Либо вы немедленно перебираетесь в больницу, нам тут таких хворых, как вы, не надобно, либо через час отправляетесь в Лион и едете без остановок, ибо даю я вам всего шестьдесят часов на сорок перегонов. В Лионе вы немедля относите г-ну Боно сие письмо, и он по предъявлению его уплатит вам сто луи я вам их дарю; потом делайте, что хотите, ибо у меня вы больше не служите. Я вам дарю карету, что мы выкупили в Антибе, и вот еще двадцать пять луидоров на дорогу. Выбирайте. Но учтите, что, если вы предпочтете больницу, я вам заплачу за месяц — и все, ибо с сегодняшнего дня вы уволены.

Поразмыслив немного, он объявляет, что поедет в Лион, хоть и рискуя жизнью, ибо болен крепко. Тогда я позвал Клермона, чтоб он собрал его вещи, и упредил трактирщика, что постоялец съезжает — пусть немедля пошлет за почтовой упряжкой. Потом дал я Клермону письмо к Боно и двадцать пять луи, дабы он вручил их Пассано прямо перед отъездом, когда увидит, что тот сел в карету. Покончив с сим предприятием, я отправился к любимой. Мне надо было о многом переговорить с Марколиной, в которую, я чувствовал, день ото дня все сильнее влюблялся. Всякий день она твердила мне, что ей, чтобы быть совершенно счастливой, еще бы понимать по-французски да иметь хотя тень надежды, что я возьму ее с собой в Англию.

Я ей того не обещал, и мне становилось грустно при мысли, что придется расстаться с девицей, исполненной любострастия и обходительности, которую врожденный темперамент делал ненасытной в постели и за столом, — она ела, как я, а пила еще больше. Она от души обрадовалась, что я отделался от Пассано и братца, и заклинала ходить с ней изредка в комедию, где все наперебой выспрашивали у прислужницы, кто она такая, и сердились, что она запрещала отвечать. Я обещал пойти с ней на следующей неделе.

— Ибо нынче, — сказал я, — я все дни напролет занят одной магической операцией, и мне понадобится твоя помощь. Я одену тебя мальчиком, и в таком виде ты предстанешь перед маркизой, с которой я проживаю, и вручишь ей письмо. Не побоишься?

— Нет. Ведь ты там будешь?

— Да. Она к тебе обратится, но ты по-французски не говоришь, ответить не сможешь и

сойдешь за немую. Так в письме и будет сказано. Еще там будет написано, что ты сможешь ей и мне омыться; она примет твои услуги, и в тот час, как она велит, ты разденешь ее догола, разденешься сама и разотрешь ее от носков до бедер, не более. Пока ты в ванне будешь все это с ней проделывать, я скину одежду и крепко обниму маркизу, а ты покамест будешь только смотреть. Когда я отстранюсь, ты ласковыми ручками своими омоешь любовные места ее и вытрешь насухо. Потом ты окажешь мне ту же услугу, и я хорошенько обниму ее второй раз. После второго раза ты опять омоешь сперва ее, потом меня и покроешь флорентийскими поцелуями инструментом, коим я недвусмысленно выкажу ей свою нежность. Я обниму ее в третий раз, и тут ты послужишь нам, лаская обоих до конца поединка. Тогда ты в последний раз совершишь омовение, вытрешь нас, оденешься, возьмешь то, что она тебе даст, и вернешься сюда. Через час я приду.

— Я все сделаю, как ты хочешь, но знай, мне это будет стоить дорого.

— А мне? Хотеть-то я буду тебя, а не старуху, которую ты увидишь.

— Она и впрямь старуха?

— Скоро семьдесят стукнет.

— Так много? Мне жаль тебя, бедняжка Джакометто. А после ты приедешь ужинать и спать со мной?

— Ну конечно.

— В добрый час.

В назначенный день повстречался я у г-жи Одибер с родителем бывшей моей племянницы и все ему рассказал как на духу, за исключением того, что спал с ней. Он обнимал меня и тысячекратно благодарил, уверяя, что я сделал для нее больше, чем он сам бы сумел. Он сказал, что получил и другое послание, куда было вложено письмо от сына, исполненное почтительности и уважения.

— Он никакого приданого не просит, — прибавил он, — но я дам за ней сорок тысяч экю, и мы сыграем свадьбу здесь, ибо брак этот делает честь нашей семье. В Марселе всякий знает г-на Н. Н., и завтра я обо всем расскажу жене, которая ради такого счастливого случая дарует дочке полное свое прощение.

Я обещался прийти на свадьбу вместе с г-жой Одибер, которая знала меня как заядлого игрока и удивлялась, что я у нее не бываю, ибо у нее играли по-крупному, но я приехал в Марсель созидать, а не разрушать. Всему свой черед.

Марколине сшили зеленую бархатную куртку до пояса и такие же штанишки, я купил ей зеленые чулки, сафьяновые туфельки и перчатки того же цвета, зеленую сетку на испанский лад с длинной кисточкой сзади, укрывшую ее пышные черные волосы. В этом костюме она была столь восхитительна, что, показись она на улицах Марселя, за ней бы все пошли следом, ведь за версту было видно, какого она пола. Я отвез ее после ужина к себе, одетую в женское платье, дабы показать, где ей укрыться в моей комнате после операции в тот день, когда я буду ее производить.

В субботу с обрядами было покончено, и я посредством оракула назначил перерождение Серамиды на вторник на часы Солнца, Венеры и Меркурия, что в планетарной системе алхимиков идут один за другим, как то воображал Птолемей. То должны были быть девятый, десятый и одиннадцатый час дня, ибо во вторник первый час принадлежит Марсу. В начале мая час длится шестьдесят пять минут; и читатель, пусть он и не алхимик, видит, что я должен был совершить сие деяние с г-жой д'Юрфе с полтретьего до без пяти шесть. В понедельник, когда наступила ночь, повел я в час Луны г-жу д'Юрфе на берег моря, сопровождаемый Клермоном, каковой нес ларец весом в пятьдесят фунтов. Убедившись, что за нами никто не следит, я сказал г-же д'Юрфе, что время пришло, и велел Клермону поставить ларец и дожидаться нас в карете. Мы обратились с приличной молитвой к Селене и швырнули ларец в море — к великой радости г-жи д'Юрфе, но еще большей моей, ибо в преданном морю ларце покоилось пятьдесят фунтов свинца. Другой был в моей комнате, укрытый от нескромных взоров. Воротившись в «Тринадцать кантонов», оставил я маркизу, сказав, что ворочусь в трактир после того, как вознесу благодарность Луне в том самом месте, где семикратно поклонялся ей.

Я пришел ужинать к Марколине и, пока она переряжалась, начертап римскими квасцами на белой бумаге печатными буквами:

«Я нем, но я не глух. Я покинул Рону, чтоб искупать вас. Час настал».

— Вот это письмо, — сказал я Марколине, — ты вручишь его маркизе, как только предстанешь перед ней.

Мы выходим из дома, никем не замеченные пробираемся в трактир, а потом я в своей комнате прячу ее в шкаф. Я надеваю халат и вхожу к маркизе, дабы сообщить ей, что Селена назвала час и перерождение должно начаться завтра до трех и завершиться не позднее полшестого, чтоб не осквернить час Луны, следующий за часом Меркурия.

— Распорядитесь, сударыня, чтобы после обеда тут, у изножия вашей кровати, была приуготовлена ванна, а Бруньоль не входил к вам до ночи.

— Я отпущу его на весь вечер, но Селена обещала нам Ундину.

- Это правда, но я ее не видел.
- Спросите оракула.
- Как вам будет угодно.

Она сама составляет вопрос, прося дух Паралиса не откладывать деяние, пусть даже Ундины и не появится, она готова омыться сама. Оракул отвечает, что предначертания Оромазиса неотвратимы и сомнения ее напрасны. Тут маркиза встает и совершает очистительный обряд. Мне трудно было жалеть эту женщину, уж очень она была смешная. Она поцеловала меня и сказала:

— Завтра, милый Галтинард, вы станете мне мужем и отцом. Пусть ученые разгадывают сию тайну.

Я прикрываю дверь, извлекаю из шкафа Ундину, каковая, раздевшись, ложится ко мне в постель, хорошенько усвоив, что должна побережь мои силы. Мы проспали всю ночь, не взглянув друг на друга. Утром, перед тем как позвать Клермона, я покормил ее завтраком и упредил, чтобы после деяния она возвращалась в шкаф нельзя было, чтобы кто-нибудь увидал, как она в таком виде покидает трактир. Я наново повторил ей урок, посоветовал быть веселой и ласковой, помнить, что она немая, но не глухая, и точно в половине третьего войти и, преклонив колена, протянуть бумагу маркизе.

Обед был заказан к двенадцати, и, войдя в комнату маркизы, я увидал у изножия кровати ванну, на две трети наполненную водой. Маркизы не было, но через две или три минуты она вышла из туалетной комнаты с нарумяненными щеками, в тончайшей кружевной накидке и старомодном богатом платье, шитом золотом и серебром; шелковая ажурная косынка прикрывала грудь, краше которой не было во Франции сорок лет назад. В ушах изумрудные серьги, на шее ожерелье из семи аквамаринов, увенчанных изумрудом чистой воды, а цепочка была из сверкающих алмазов, в полтора карата каждый, числом восемнадцать или двадцать. На пальце у нее был карбункул, мне хорошо известный — она ценила его в миллион, но он был поддельный; все же прочие камни, коих я до тех пор не видал, были, как я потом удостоверился, отменные.

Увидав Серамиду в таковом убранстве, я понял, что должен польстить ее самолюбию, и опустился на колени, чтоб облобызать ее руку; но она, не потерпев этого, обняла меня. Сказав Бруньолю, что до шести он свободен, мы принялись беседовать, пока не подали обед.

Одному Клермону было дозволено прислуживать нам за столом, а она ничего, кроме рыбы, в тот день не пожелала. В полвторого велел я Клермону запереть ото всех наши комнаты и тоже отправляться погулять до шести, если есть у него охота. Госпожа начала волноваться, да и я стал выказывать признаки нетерпения, смотрел на часы, исчислял наново планетарные часы и твердил только одно:

— Теперь время Марса, час Солнца еще не наступил.

Наконец часы пробили два часа с половиною, и спустя две или три минуты явилась прекрасная Ундины с улыбкой на устах и, мерным шагом подойдя к Серамиде, опустилась на колени и протянула листок. Увидав, что я не встаю, она продолжает сидеть, но поднимает Духа стихий, приняв листок, и с удивлением видит, что он с обеих сторон белый. Я тотчас протягиваю ей перо, она понимает, что должна посоветоваться с оракулом. Она вопрошает его, что это за листок. Я беру у нее перо, преобразую вопрос в числовую пирамиду, она расшифровывает ее и получает: «В воде написанное в воде читается».

— Все ясно, — говорит она, поднявшись, подходит к ванне, опускает листок, развернув сперва, и читает буквы белее бумаги:

«Я нем, но я не глух. Я покинул Рону, чтоб искупать вас, час Оромазиса настал».

— Так искупай меня, дивный Дух, — произносит Серамида, кладет листок на стол и опускается на ложе.

Тогда Марколины послушно снимает с нее чулки, потом платье, потом рубашку, нежно погружает ноги ее в ванну и, мгновенно скинув одежду, входит в воду по колени, тогда как я сам раздеваюсь и молю Духа обтереть ноги Серамиды и быть божественным свидетелем моего с ней соединения во славу бессмертного Оромазиса, короля саламандр.

Едва произнес я молитву, как немая, но отнюдь не глухая Ундины исполнила просьбу, и я познал Серамиду, восхищаясь прелестями Марколины, коих дотолде мне не случалось столь сладостно зреть.

Серамида была пригожая, но такая, как я сейчас; без Ундины деяние бы не свершилось. Серамида меж тем была нежной, влюбленной, привлекательной, отнюдь не отталкивающей, и я не испытывал отвращения.

— Теперь подождем часа Венеры, — произнес я, кончив.

Ундины очистила нас от следов любви; она обнимает супругу мою, омывает ей ляжки, ласкает, целует, потом то же проделывает со мной. Серамида вне себя от счастья, восхищается прелестями сего божественного создания, приглашает меня насладиться ими, я нахожу, что никакая земная женщина не может с нею сравниться. Серамида ласкается пуще, Венерин час настает, и, возбужденный Ундиной, иду я в другой раз на приступ еще более продолжительный, ибо час-то

длится шестьдесят пять минут. Я вступаю на поле брани, тружусь полчаса, обливаясь потом, утомляя Серамиду, но кончить не могу, а плутовать стыжусь; она утирает мне со лба пот, что стекает с волос, смешавшись с помадой и пудрой, Ундина дерзновенно ласкает меня, сохраняя силы, меня оставляющие, когда я касаюсь дряхлого тела; природа отвергает негодные средства, избранные мной для достижения цели. Через час я наконец решаю кончить, изобразив все обыкновенные проявления счастливого исхода. Выйдя из боя победителем, еще полным сил, я не позволил маркизе сомневаться в моей доблести. Она сочла бы, что Анаэль несправедлив: он донес бы на меня Венере как на фальшивомонометчика.

Даже Марколина обманулась. Начался третий час, надлежало убажить Меркурия. Четверть времени провели мы в ванне, погрузившись до чресел. Ундина чаровала Серамиду ласками, о коих регент, герцог Орлеанский, даже не подозревал; маркиза сочла их свойственными речным духам и восхищалась тем, как женский дух трудился нежными пальчиками. Исполнившись признательности, она просила восхитительное создание осыпать меня дарами своими, и тут-то Марколина выказала все, чем славятся питомцы венецианской школы. Она обернулась лесбиянкой и, видя, что я восстал, подбодрила убажить Меркурия; но вновь все то же: хоть молния и сверкает, гром никак не грянет. Я видел, что труд мой уязвлял Ундину, видел, что Серамида мечтала окончить поединок, длить его я больше не мог и решил обмануть ее второй раз агонией и конвульсиями, а затем полной неподвижностью, неизбежным следствием потрясения, кое Серамида сочла беспримерным, как она мне потом сказала.

Сделав вид, что пришел в себя, вошел я в ванну и совершил короткое омовение. Я начал одеваться, Марколина принялась помогать маркизе, пожиравшей ее влюбленными глазами. Марколина быстренько облачилась, и Серамида, вдохновленная своим Гением, сняла кольцо и повесила его на шею прекрасной купальщице, каковая, поцеловав ее по-флорентийски, убежала и спряталась в шкафу. Серамида спросила оракула, успешно ли свершилось деяние. Испугавшись вопроса, я отвечал, что солнечное семя проникло в ее душу и она родит в начале февраля себя самое, но только мужеского полу, а для того она должна сто семь часов лежать в постели.

Исполнившись счастья, она сочла повеление отдыхать сто семь часов исполненным божественной мудрости. Я поцеловал ее, сказав, что проведу ночь за городом, дабы забрать остаток снадобий, оставшихся после свершения лунных обрядов, и обещал обедать с нею завтра.

Я от души забавлялся с Марколиной до половины восьмого, ибо должен был дожидаться ночи, чтобы выскользнуть с ней незамеченным из трактира. Я скинул красивый свадебный наряд, надел фрак и довез ее в фиакре до дому, прихватив ларец с небесными дарами, которые я честно заработал. Оба мы умирали с голоду, но отменный ужин обещал вернуть нас к жизни. Марколина сбросила зеленую куртку, облачилась в женское платье, отдав мне великолепное ожерелье.

— Я продам его, моя милая, и верну тебе деньги.

— Сколько может оно стоить?

— Не менее тысячи цехинов. Ты вернешься в Венецию обладательницей пяти тысяч дукатов звонкой монетой, там сыщешь мужа, будешь поживать с ним в свое удовольствие.

— Я отдам тебе все эти пять тысяч, только возьми меня с собой, милый друг, я буду любить тебя сильнее жизни, холить, как родное дитя, и никогда не стану ревновать.

— Мы еще поговорим об этом, хорошая ты моя, но сейчас, раз мы как следует подкрепились, пойдем в постель, я хочу тебя как никогда.

— Ты, верно, устал.

— Устал, но не от любви, ибо, слава тебе господи, всего только раз смог.

— Мне показалось два. Какая милая старушка! До сих пор не лишена приятности. Лет пятьдесят назад она, верно, была первой красавицей Франции. Но старость гонит любовь.

— Ты изрядно распяляла меня, а она охлаждала с еще большей силою.

— Ты что, всякий раз ставишь перед собой юную девицу, когда хочешь с ней полюбезничать?

— Отнюдь нет, прежде не требовалось делать ей ребенка мужеского полу.

— Так ты, значит, подрядился сделать ей дитя? Держи меня, я помру со смеху. Она небось и впрямь решила, что беременна?

— Ну, разумеется, ведь она знает, что приняла от меня семя.

— Смех, да и только! Но что за глупость — на три раза подрядиться?

— Я думал, что, глядя на тебя, легко с этим справлюсь, но ошибся. Под руками была дряблая кожа, перед глазами совсем иное, и миг блаженства никак не наступал. Этой ночью ты убедишься в истинности моих слов. Живо в постель, говорят тебе!

— Лечу!

Сила контраста была столь велика, что я провел с Марколиной ночь, подобную тем, что проводил в Парме с Генриеттой и в Мурано с М. М. Я не покидал постель четырнадцать часов и четыре из них посвятил любви. Я велел Марколине принарядиться и ждать меня перед началом представления. Большого удовольствия я не мог ей доставить.

Г-жу д'Юрфе застал я в постели, всю разодетую, причесанную на манер молоденьких и такую



довольную, какой я ее никогда не видал. Она объявила, что обязана мне счастьем, и принялась совершенно здраво изъяснять безумные свои идеи.

— Женитесь на мне, — говорила она, — вы будете опекуном моего ребенка, вашего сына, и тем самым сохраните мне мое достояние, станете хозяином всего, что я должна унаследовать от г. де Понкарре, моего брата — он уже стар и долго не протянет. Если не вы позаботитесь обо мне в феврале месяце, когда я возрожусь в мужском обличи, то кто же? Бог знает, в чьи руки я попаду. Меня признают незаконнорожденным, лишат восьмидесяти тысяч ренты, а вы можете мне их сохранить. Подумайте хорошенько, Галтинард. Я уже чувствую себя мужчиной в душе и признаюсь, влюбилась в Ундину, мне хотелось бы знать, смогу я лечь с ней через четырнадцать или пятнадцать лет. А почему нет, коли будет на то воля Оромазисова? Что за прелестное создание! Доводилось ли вам видеть подобную красавицу? Жаль, что она немая. Должно быть, ее любовник — водяной. Но, конечно, все водяные немые, в воде ведь не поговоришь. Странно даже, почему она не глухая. Я дивилась, отчего вы до нее не дотрагиваетесь. Кожа немислимо нежная. Слюна благоуханная. Водяные изъясняются знаками, их язык можно выучить. Как бы мне хотелось поболтать с этим существом! Прошу вас, посоветуйтесь с оракулом, спросите, когда я должна родить; если же вы не можете жениться на мне, тогда, мне кажется, надобно продать все, что у меня есть, дабы обеспечить мою будущность, когда я возрожусь, ведь в раннем детстве я ничего не буду знать и понадобятся деньги, чтобы дать мне образование. Распродав все, можно получить ренту на огромную сумму, поместить ее в надежные руки, и тогда одних процентов достанет на все мои надобности.

Я отвечал, что оракул будет единственным нашим вожатым, и я ни за что не потерплю, чтоб ее объявили незаконнорожденным, когда она изменит пол и станет моим сыном; на том она успокоилась. Рассуждения ее были чрезвычайно справедливы, но покоились они на бессмыслице, и ничего, кроме жалости, она у меня не вызывала. Если какой-нибудь читатель найдет, что я как честный человек обязан был разубедить ее, то мне жаль его; это было немислимо, но даже если б я и мог, то все равно бы не стал, чтоб не делать ее несчастной. Такая, как она есть, она могла питаться одними химерами.

Я надел самый свой щегольской фрак, чтобы в первый раз повести Марколину в театр. Случайно получилось, что сестры Рангони, дочери римского посланника, сели в нашу ложу. Я знал их по первому своему приезду в Марсель и представил им Марколину как свою племянницу, говорящую только по-итальянски. Наконец-то Марколина почувствовала себя счастливой, она могла поговорить с французенкой на родном венецианском наречии, исполненном изящества. Младшая из сестер, что намного превосходила старшую красотой, через несколько лет стала принцессой Гонзаго Сольферино. Князь, супруг ее, обладавший склонностью к изящной словесности и даже талантом, несмотря на бедность свою, был отпрыском рода Гонзаго, сыном Леопольда, тоже небогатого, и Медини, сестры того Медини, что умер в лондонской тюрьме в 1787 году. Бабета Рангони, дочь жалкого торгового посланника, марсельского купца, была тем не менее достойна княжеского титула и внешностью своей и обхождением. Ее фамилия, Рангони, блистала в веренице княжеских имен, заполняющих альманахи. Тщеславный муж радовался, что читатель альманахов решит, будто жена его происходит из прославленного моденского рода. Тщеславие вполне невинное. Те же альманахи превращают Медини, мать означенного принца, в Медичи. Подобные обманы, рожденные дворянской спесью, никому вреда не причиняют. Восемнадцать лет назад повстречал я князя в Венеции, он жил на весьма основательный пенсион, что положила ему императрица Мария-Терезия; надеюсь, что покойный император Иосиф его не отобрал, ибо князь заслуживает его и нравом своим, и литературным дарованием.

Весь спектакль Марколина болтала с прелестной младшей Рангони, каковая упрасивала меня привезти ее к ней, но я просил меня уволить. Я думал, как мне спровадить в Лион госпожу д'Юрфе, — в Марселе она была мне ни к чему и только мешала.

На третий день после перевоплощения она просила меня узнать у Паралиса, где должна приуготовиться к смерти, то бишь к родам, и, воспользовавшись сей возможностью, извлек я предсказание, повелевающее совершить обряд поклонения духам воды на двух реках в течение одного только часа, после чего все и решится, а себе предписал три искупительных обряда, дабы умиловить Сатурна за то, что слишком жестоко обошелся с лже-Кверилинтом, а Серамиде в них вмешиваться не должно, а надобно поклониться ундинам.

Нарочито задумавшись, где же сливаются две реки, я услышал от нее самой, что Лион омывают Рона и Сона и нет ничего проще, чем исполнить обряд в сем городе: я согласился. Задав вопрос, какие для того нужны приуготовления, получил я ответ, что надобно только вылить бутылку морской воды в каждую реку за две недели до обряда, каковую церемонию Серамида может свершить самолично в первый Лунный час любого дня.

— Значит, надобно здесь наполнить бутылки, ибо все прочие французские морские порты находятся в отдалении; я уеду, как только смогу покинуть постель, и буду ждать вас в Лионе. Раз вы здесь должны умиловить Сатурна, вам со мной отправляться не след.

Я признал ее правоту, изобразив, как тяжело мне отпускать ее одну; принес назавтра две

запечатанные бутылки, наполненные соленой средиземноморской водой, уговорился, что она выльет их в реки пятнадцатого мая, обещав прибыть в Лион до того, как истекнут две недели; отъезд мы назначили на послезавтра, одиннадцатое мая. Я записал ей все Лунные часы и начертил, где ей остановиться на ночлег в Авиньоне.

После отъезда ее я перебрался к Марколине. Я вручил ей в тот же день четыреста шестьдесят луидоров, которые вместе с теми ста сорока, что она выиграла в бириби, составили ровно шестьсот. На другой день после отъезда маркизы в Марсель прибыл г. Н. Н. с письмом от Розалии Паретти, каковое он мне тотчас принес. Она писала, что я должен самолично представить подателя письма отцу моей племянницы, чтоб ни ее, ни моей чести не было урона. Розалия была права, но, поскольку девица племянницей мне не доводилась, дело это было не простое. Но я тем не менее объявил Н. Н., несколько его озадачив, что сперва представлю его г-же Одибер, близкой подруге его нареченной, а затем оба мы представим его будущему тестю, каковой отвезет его к дочери, живущей в двух лье от Марселя.

Н. Н. остановился в «Тридцати кантонах», где ему тотчас сказали мой адрес; он был в восторге, видя, что приближается исполнение заветных его желаний, и еще больше возрадовался, увидав, как приняла его г-жа Одибер. Она тотчас взяла накидку, села вместе с ним в мою карету и повезла нас к г. Н. Н., который, прочтя письмо, представил подателя его своей супруге, заранее им упрежденной, такими словами:

— Милая женушка, вот наш зять.

Я был изрядно удивлен, когда этот ловкий умный человек, следуя наставлениям г-жи Одибер, представил меня своей жене, назвав меня кузенком, тем самым, что путешествовал с их дочерью. Она наговорила мне любезностей, и все затруднения враз исчезли. Он тотчас послал нарочного известить сестру, что завтра придет обедать с женой, будущим зятем, г-жой Одибер и одним из кузенов, ей незнакомым. Отправив нарочного, он пригласил нас, а г-жа Одибер вызвалась всех отвезти. Она сказала, что со мной сейчас другая моя племянница, с которой его дочка очень дружна и ей приятно будет повидаться. Он пришел в восторг. Восхитившись умом этой женщины, я обрадовался, что смогу доставить удовольствие Марколине, и искренне поблагодарил г-жу Одибер, которая ушла, сказав, что ждет нас завтра в десять.

Я же привез к себе г-на Н. Н., каковой отправился в комедию с Марколиной; она любила поболтать и потому не выносила общества французов, которые говорили только на своем языке. После спектакля г. Н. Н. отужинал с нами, и за столом я известил Марколину, что завтра ей предстоит обедать с милой своей подружкой; я думал, она с ума от радости сойдет. После ухода г-на Н. Н. мы тотчас легли, чтоб встать утром пораньше. Завтра не заставило себя ждать. В назначенный час мы были у г-жи Одибер, которая изъяснялась по-итальянски и нашла, что Марколина — суший клад; она обласкала ее и попеняла, что я не представил ее раньше. В одиннадцать мы приехали в Сен-Луи, где я наслаждался превосходной театральной развязкой. М-ль П. П. с чувством собственного достоинства, смешанного с почтением и нежностью, наилюбезнейшим образом встретила жениха, поблагодарила меня, что я взял труд представить его ее отцу, и, отбросив всякую серьезность, расцеловала Марколину, которая была донельзя удивлена, что милая подружка сразу с ней не поздоровалась.

За обедом все были довольны и веселы. Я смеялся в душе, когда меня спрашивали, чем я опечален. Я казался грустным оттого только, что молчал, и вовсе не думал печалиться. То был один из прекраснейших моментов моей жизни. В подобные минуты рассудок пребывает в божественном покое, что дарит истинное блаженство; я чувствовал себя автором превосходной комедии, радовался тому, что добрые дела мои перевешивают злые и что хоть я и не родился королем, но умею делать людей счастливыми. Не было за столом человека, который не был бы мне обязан весельем своим; мысль эта составляла мою усладу, и я желал молча предаваться ей.

М-ль П. П. воротилась в Марсель вместе с отцом, матерью и женихом, которого г. П. П. пожелал поселить у себя, а я вернулся вместе с г-жой Одибер, каковая взяла с меня слово прийти к ней ужинать с Марколиной. Положили сыграть свадьбу, когда придет ответ на письмо, которое г. П. П. послал отцу своего будущего зятя. Нас пригласили на венчание, чем Марколина была весьма польщена. Каким счастьем было мне видеть по возвращении из Сен-Луи, что юную венецианку охватило любовное неистовство. Такой бывает, или должна быть, всякая девица, живущая с любимым человеком, который заботится о ней; вся благодарность ее обращается в любовь, и удвоенные ласки вознаграждают любовника.

За ужином у г-жи Одибер некий юноша, богатый виноторговец, имевший собственное дело и проживший год в Венеции, был пленен чарами сидевшей рядом с ним Марколины, которая забавляла всех прелестной своей болтовней. Я по натуре до крайности ревнив, но, когда предугадываю, что нынешний соперник способен составить счастье моей любовницы, ревность стихает. На первый раз я всего лишь осведомился у г-жи Одибер, что это за юноша, и с радостью услышал, что человек он порядочный, что у него сто тысяч экю и большие винные погреба в Марселе и Сете.

На другой день в театре зашел он в нашу ложу, и мне приятно было видеть, что Марколина встретила его весьма любезно. Я пригласил его отужинать с нами, он был почтителен, пылок и нежен.

Когда он уходил, я сказал, что надеюсь, что он еще почтит нас своим посещением, и, оставшись наедине с Марколиной, поздравил ее с одержанной победой, изъяснив, что у нее будет почти такое же состояние, как у м-ль П. П.; но вместо благодарности она разъярилась.

— Если хочешь отделаться от меня, — произнесла она, — то отошли в Венецию; я не желаю выходить замуж.

— Успокойся, ангел мой, мне отделяться от тебя? Что за выражения! Разве я дал тебе хоть малейший повод думать, что ты мне в тягость? Этот красивый, обходительный, молодой и богатый человек любит тебя, мне показалось, что тебе он по сердцу, и, желая видеть тебя счастливой, неподвластной прихотям фортуны, я издалека намекнул на возможность удачной партии, а ты грубишь? Не плачь, милая Марколина, не бреди душу.

— Я плачу от того, что ты вообразил, что я его люблю.

— Да будет тебе, больше не воображай. Успокойся и пойдем в постель.

В единый миг она перешла от слез к смеху и ласкам, и более мы о виноторговце не говорили. На другой день в театре он вошел в нашу ложу, и Марколина была с ним вежлива, но сдержанна. Я не осмелился пригласить его на ужин. Дома Марколина поблагодарила меня, что я его не позвал, сказав, что немало того опасалась. Мне было довольно, чтобы определиться на будущее. Назавтра г-жа Одибер пришла к нам с визитом, дабы от имени виноторговца пригласить нас к нему на ужин; я тотчас оборотился к Марколине спросить, рада ли она приглашению, та отвечала, что почтет за счастье находиться везде, где будет г-жа Одибер. Итак, она ввечеру заехала за нами и отвезла к купцу, который никого более на ужин не звал. Мы увидели холостяцкий дом, где не хватало только одного — женщины, чтоб принимала в нем гостей и сделалась хозяйкой. За изысканным ужином молодой человек попеременно оказывал знаки внимания г-же Одибер и Марколине, а та блистала, переняв изящные и благородные манеры м-ль П. П. Веселая, благопристойная, порядочная, она без труда воспламенила честного купца.

На следующий же день г-жа Одибер прислала мне записку, попросив навестить ее. Я пришел и с некоторым удивлением услышал, что виноторговец просит руки Марколины. Я, недолго думая, отвечал, что весьма этому рад и под хорошее ручательство дам за ней десять тысяч экую, но вот говорить с ней не буду.

— Я пришлю ее к вам, сударыня, и коль вы добьетесь ее согласия, я сдержу слово; но на меня не ссылайтесь, а то все испортите.

— Я сама заеду за ней, мы вместе пообедаем, а перед спектаклем вы ее заберете.

На другой день она приехала, и Марколина, которую я наперед уведомил, отправилась к ней обедать. Часов в пять я был у дамы и, увидав, что Марколина в чудесном настроении, не знал, что и предполагать. Они были вдвоем, г-жа Одибер отзывалась в сторону меня не стала, я тем паче, и к началу представления мы уехали. По дороге Марколина принялась на все лады расхваливать добрый нрав этой женщины, а о деле ни слова, но в середине спектакля я обо всем догадался. Я увидел юношу в амфитеатре, а в нашей ложе, где было два свободных места, он так и не объявился.

Что за радость для Марколины, что я за ужином был пуще прежнего пылок и нежен! Только в постели в сладостной откровенности пересказала она речи г-жи Одибер.

— Я ей только одно отвечала, — сказала она, — что выйду замуж, если ты прикажешь. Но я все же благодарна тебе за десять тысяч экую, что ты готов был мне преподнести. Ты все на меня свалил, а я на тебя. Я уеду в Венецию, когда ты пожелаешь, если не хочешь брать меня с собой в Англию, но замуж не выйду. Мы не увидим более этого господина, хоть он и мил донельзя; я могла бы полюбить его, если б не было тебя.

Мы и впрямь больше о нем не слыхали. Настал день свадьбы м-ль П. П.; мы были приглашены, и Марколина появилась там со мною, пусть без бриллиантов, но разодетая столь пышно, как только могла желать.

#### ГЛАВА IV

*Antecedentibus sublatis \**

Я покидаю Марсель <...>. Отъезд г-жи д'Юрфе из Лиона

<...> Мы выехали из Валанса в пять утра и, добравшись под вечер в Лион, остановились в «Парке». Я тотчас поспешил на площадь Белькур к г-же д'Юрфе, каковая, как всегда, объявила, будто не сомневалась, что я нынче приеду. Она захотела узнать, правильно ли совершила обряды, и Паралис, разумеется, все одобрил, и она была, весьма польщена; обняв малыша д'Аранда, я обещал, что буду у нее завтра в десять.

Мы посвятили день совместным трудам, дабы получить должные наставления касательно ее родов, завещания, того, как изыскать способ, чтобы ей, возродившись в мужском облици, не оказаться нищей. Оракул решил, что ей надлежит умереть в Париже, все завещать сыну, и отпрыск ее не будет незаконнорожденным, ибо Паралис обещал, что по приезде в Лондон я пошлю ей дворянина, каковой женится на ней. Наконец, оракул повелел ей собираться и через три дня ехать в

Париж, взяв с собой маленького д'Аранда, которого я должен отвезти в Лондон и сдать матери с рук на руки. Его подлинное происхождение не было для нее тайной, ибо маленький мерзавец ей все рассказал. Но я воспользовался тем же средством, каким поборол нескромные откровения Кортичелли и Пассано. Мне не терпелось вернуть неблагодарного мальчишку матери, что беспрестанно слала мне наглые письма. В голове у меня созрел замысел отнять у нее мою дочь, которой должно было исполниться десять лет и которая стала, как уверяла мать, чудом красоты, изящества и ума. <...>

1764–1765. ГЕРМАНИЯ. РОССИЯ. ПОЛЬША

## ТОМ X

### ГЛАВА II

<...> Бегство из Лондона. Граф Сен-Жермен. Везель

<...> Я высадился в Кале и тотчас улегся в постель в «Золотой руке», где стояла моя почтовая коляска. Лучший врач Кале безотлагательно явился предложить свои услуги. Лихорадка, усиленная венериной отравой, что растеклась по членам, привела меня в такое состояние, что врач уж не чаял видеть меня живым. На третий день я дошел до крайности. Четвертое кровопускание отняло последние силы и ввергло на сутки в летаргический сон, за коим последовал спасительный кризис, вернувший меня к жизни; но только строгий режим позволил мне уехать через две недели после прибытия.

Слабый, опечаленный тем, что принужден был покинуть Лондон, причинив г. Лейгу значительный ущерб, что принужден был бежать, что негр мой предал меня, что вынужден оставить намерение ехать в Португалию, что не знаю, куда податься, что здоровье расстроено настолько, что выздоровление сомнительно, вид ужасный, кожа желтая, весь в язвах от кельтской влаги и надо озаботиться, как от них избавиться, — сел я в почтовую коляску вместе с крестником моим Датури, что устроился позади; был он мне за слугу и исполнял сии обязанности отменно. Я отписал в Венецию, чтобы перевели мне в Брюссель вексель на сто фунтов стерлингов, который я должен был получить в Лондоне, куда писать не осмеливался. Я переменял лошадей в Гравелине и заночевал в «Консьержери» в Дюнкерке.

Первый, кого увидал я, выйдя из коляски, был торговец С., муж Терезы, о которой читатель, верно, помнит, племянницы любовницы Тиреты, каковую любил я лет семь тому назад. Он узнает меня, дивится, что я так переменялся; я отвечаю, что едва оправился от тяжелой болезни, спрашиваю о жене, он говорит, что у нее все хорошо, и покорнейше просит завтра у него отобедать. Я отговариваюсь, что должен рано утром уезжать, но он слушать ничего не желает, хочет, чтобы я повидал жену его и трех карапузов, коими он обзавелся, и раз уж я решил утром ехать, он приведет тогда жену и все семейство. Что делать? Я согласился.

Читатель, верно, помнит, как я любил Терезу и решил жениться на ней. Вспомнив об этом, я еще горше опечалился — ясно, каково будет ей видеть меня таким.

Она явилась через четверть часа с мужем и тремя сыновьями; первенцу было шесть лет. После обычных любезностей и слишком уместных вопросов о здоровье, раздражавших меня, она отослала двух младшеньких, оставив обедать старшего, ибо имела веские основания полагать, что мне любопытно будет на него посмотреть. Мальчуган был чудный, и поскольку он во всем походил на мать, муж никогда не сомневался в том, что он его — и по закону и по крови. В душе я смеялся тому, что встречал сыновей своих по всей Европе. За столом она рассказала мне о Тирете. Он поступил на службу в голландскую Индийскую компанию, оказался замешан в мятеже, случившемся в Батавии, был изобличен и едва не повешен, но ему посчастливилось, подобно мне, спастись бегством. В этом мире, ища приключений, нетрудно попасть на виселицу из-за пустяка, коли в душе ты шалопай и не довольно осторожен.

Утром поехал я через Ипр в Турне, где, увидав двух конюхов, выгуливавших лошадей, спросил, чьи они.

— Господина графа де Сен-Жермена, чернокнижника, что живет тут уже месяц и никуда не выходит. Он обогатит наш край, заведет фабрики. Все проезжие желают видеть его, но он никого не принимает.

После такого ответа взяла меня охота повстречаться с ним. Остановившись в трактире, я немедленно написал ему записку, уведомив о намерении своем и попросив указать удобное для него время; Вот ответ, каковой я сохранил и только перевел на французский:

«Занятия мои не позволяют ни с кем видаться, но вы исключение. Приходите, когда угодно, вас проведут в мою комнату. Вам не надо называть, ни вашего имени, ни моего. Не предлагаю вам разделить мой обед, ибо трапеза моя никого не насытит, а вас тем паче, если сохранили вы прежний аппетит».

Я отправился к нему в девять. Он завел бороду длиною в дюйм и двадцать перегонных кубов, наполненных жидкостями, часть из которых настаивалась на песке при комнатной температуре. Он сказал, что трудится над красителями для собственного увеселения, заводит шляпную фабрику, дабы доставить удовольствие графу Кобенцлу, полномочному послу императрицы Марии-Терезии в Брюсселе. Он сказал, что ему выдали всего лишь двадцать пять тысяч флоринов, денег этих недостаточно, но он добавит своих. Мы заговорили о г-же д'Юрфе, и он сказал, что она отравилась, приняв чрезмерную дозу универсального эликсира.

— Из завещания ее следует, — сказал он, — что она полагала, будто беременна, и могла бы быть таковой, если б ко мне обратилась. Это одна из простейших операций, но никогда нельзя быть уверенным, будет плод мужским или женским.

Узнав, что я болен, он заклинал меня остаться в Турне всего на три дня и делать все, как он скажет. Он уверял, что к отъезду моему все бубоны спадут. Он дал бы мне затем пятнадцать пилюль, чтоб принимать их по одной, и за пятнадцать дней я бы вконец исцелился. Я поблагодарил за все и от всего отказался. Затем он показал мне архей, каковой именовал он Атоэфиром. То была белая жидкость в маленькой колбе, похожей на все прочие. Они были запечатаны воском. Услыхав, что сие не что иное, как универсальное природное начало, и доказательством тому то, что оно мгновенно испарится из колбы, если проделать наималейшее отверстие в воске, я просил показать мне сие на опыте. Тогда он дал мне колбу и булавку, сказав, чтобы я удостоверился сам. Я проколол воск, и колба в тот же миг опустела.

— Поразительно, но для чего оно потребно?

— Этого я вам открыть не могу.

Не желая, по обыкновению своему, отпускать меня, не удивив, он спросил, есть ли у меня мелкие деньги, и я вытащил монету из кармана и положил на стол. Тогда он поднялся, не объясняя вовсе, что намерен делать. Он взял раскаленный уголь и положил его на металлическую пластину, затем попросил монету в двенадцать су, что была у меня, положил сверху черную крупинку и сунул монету на уголь, затем принялся раздувать уголь через трубку, и менее чем в две минуты я своими глазами увидел, как монета покраснела. Он сказал мне обождать, покуда она остынет, что и сделалось вмиг. Затем он, улыбаясь, велел мне взять монету назад, ведь она моя. Я тотчас увидел, что она золотая, и, хотя был уверен, что он стянул мою, подменив золотой, которую нетрудно было сперва побелить, я не стал упрекать его. Изъявив свое восхищение, я сказал, что в другой раз, чтобы наверное удивить самого пронизательного человека, он должен заранее уведомить, что намерен произвести трансмутацию, дабы здравомыслящий человек внимательно осмотрел серебряную монету, прежде чем поместить ее на раскаленный уголь. Он отвечал, что те, кто сомневается в его искусстве, недостойны беседовать с ним. То была обыкновенная его манера. Такова последняя моя встреча со знаменитым и ученым обманщиком, что умер в Шлезвиге тому шесть или семь лет. Монета в двенадцать су была из чистого золота. Два месяца спустя я подарил ее лорду маршалу Киту в Берлине, каковой ею заинтересовался.

Я уехал из Турне назавтра, в четыре утра, и остановился в Брюсселе, дожидаясь ответа на письмо, что я отправил г-ну де Брагадину с просьбой перевести мне туда вексель, который должен был получить в Лондоне. Письмо пришло через пять дней после приезда моего, вместе с векселем на двести голландских дукатов на г-жу Нетин. Я думал задержаться здесь, чтобы пройти меркуриальное лечение, но тут Датури сказал, что, как он только что узнал от одного канатоходца, его отец, мать и вся семья были в Брауншвейге, и если я пожелаю поехать туда, уверял он, то получу всяческое вспоможение и буду чувствовать себя как дома. Он вмиг меня убедил. Я знал наследного принца, который ныне правит, да и любопытно мне было через двадцать один год увидеть мать Датури. Итак, я немедленно выехал из Брюсселя, но в Рурмонде почувствовал себя так скверно, что подумал, что не смогу продолжить путь. Проезжая через Льеж, повстречал я г-жу Малинган, вдовую, нищую. Тридцать шесть часов в постели, казалось, возвратили мне силы, и я отправился в почтовой коляске своей, немало на нее досадуя, ибо почтовые лошади не приучены поддерживать оглобли; я решил избавиться от нее в Везеле. Едва добравшись до трактира, лег я в постель и велел Датури договориться обменять ее на какой-нибудь четырехколесный экипаж.

Утром, к крайнему своему удивлению, увидел я в своей комнате генерала Беквича. Задав приличествующие случаю вопросы и осведомившись о моем здоровье, генерал сказал, что купит сам коляску и даст мне покойную карету, дабы путешествовать по всей Германии; вмиг все было сделано, но, когда честный англичанин в подробностях узнал от меня, в каком я состоянии, он убедил меня лечиться в Везеле, где проживал молодой медик, обучавшийся в Лейдене, человек весьма искусный и сведущий. Нет ничего легче, чем заставить переменить мнение и намерения человека большого, грустного, планов никаких не имеющего, что ищет счастья и, согласно максиме «sequere Deum» \*, не знает, где оно его ждет. Г-н Беквич, чей полк стоял гарнизоном в городе, тотчас велел послать за доктором Пиперсом и пожелал присутствовать и при исповеди моей, и даже при осмотре. Мне не хочется возмущать читателя описанием того жалкого состояния, в коем я пребывал. Юный медик, сама доброта, просил меня переехать к нему, обещал всяческую заботу его матери и сестер и

уверял, что вылечит меня в шесть недель, коли соглашусь я следовать его предписаниям. Генерал побуждал на то решиться, да мне и самому этого хотелось, — ведь я желал предаваться увеселениям в Брауншвейге, а не являться туда развалиной, не владея своими членами. Итак, я согласился, не взирая на сына, что домогался чести вылечить меня у себя. Об оплате доктор Пипер уговариваться не захотел. Он сказал, что перед отъездом я дам ему, сколько сочту нужным, и он безусловно этим удовольствуется. Он отправился, дабы приготовить для меня свою комнату — у него она была одна, — и сказал, что через час я могу перебираться. Я велел свезти туда мои пожитки, и в портшезе приехал к нему, прикрывая лицо платком, стыдясь показаться матери и сестре честного врача, что ожидал меня в окружении нескольких барышень, на которых я и взглянуть не осмеливался.

Едва добрался я до комнаты, как Датури раздел меня, и я лег в постель.

### ГЛАВА III

Выздоровление. Датури избивают солдаты. Отъезд в Брауншвейг. Редегонда. Брауншвейг. Наследный принц. Жид. Житье в Вольфенбюттеле. Библиотека. Берлин. Кальзабиджи и берлинская потеря. Девица Беланже

В обеденное время доктор зашел ко мне в комнату с матерью и одной из сестер, которые уверили, что всячески будут обо мне заботиться. Добросердечие было написано на их лицах.

Когда они удалились, врач изложил методу, коей собирался следовать, дабы вернуть мне здоровье. Потогонный отвар и меркуриальные пилюли должны были изгнать заразу, что сводила меня в могилу. Надлежало выдерживать строжайшую диету и ничем себя не утруждать. Я уверил его, что буду покорно повиноваться всем предписаниям. Он обещал читать мне газету два раза в неделю и тотчас сообщил, что скончалась г-жа де Помпадур.

И вот я приговорен к отдыху, целительному, по уверениям врача, и в то же время губительному, ибо я чувствовал, что впрямь помираю со скуки. Даже доктор испугался и просил меня не препятствовать, чтобы сестра его приходила работать в мою комнату с двумя или тремя девицами, добрыми своими подружками. Кровать помещалась в алькове, полог задергивался, и они никак не могли мне докучать. Я просил его доставить мне такую утеху, и сестра была рада сделать мне одолжение, ибо комната, что я занимал, была единственной, где окна выходили на улицу. Но предупредительность врача оказалась роковой для Датури.

Юноша, получивший воспитание в цирке, не мог не скучать, проводя весь день со мной; а потому, увидав, что у меня изрядное общество и я могу обойтись без него, почел за благо поразвлечься и целыми днями шатался там и сям. На третий день жительство нашего в Везеле его принесли ввечеру домой, всего избитого. Он забрел в караульню повеселиться с солдатами, они начали искать с ним ссоры и изрядно его поколотили. На него было жалко смотреть. Весь окровавленный, без трех зубов, он поведал, плача, о своей беде и взывал о мщении. Я послал врача уведомить об этом деле генерала Беквича, каковой пришел сказать мне, что не знает, чем тут помочь, и единственно какую услугу может оказать, это отправить парня на излечение в лазарет. Все кости были целы, он поправился через неделю, и я отослал его в Брауншвейг с паспортом от генерала Соломона. Три зуба, что он потерял в потасовке, охраняли его от опасности попасть в солдаты, грозившей, если б все были целы. Он отправился пешком, и я обещал навестить его, как только буду в состоянии ехать.

Парень он был красивый, ладно сбитый. Читал с трудом, выучили его только плясать на канате и запускать потешные огни. Был он смел и примерно честен. К вину питал особую склонность, а к прекрасному полу вполне обычную. Я знавал многих людей, которые были обязаны счастьем женщинам, несмотря на свое к ним равнодушие.

Через месяц я почувствовал себя в полном здравии и был в состоянии ехать, хотя изрядно исхудал. Мнение, что составили о моей особе в доме доктора Пиперса, характеру моему отнюдь не соответствовало. Он почитал меня за терпеливейшего в мире человека, а сестра с ее премилыми подружками — за наискромнейшего. Все добродетели мои проистекали из болезни. Дабы судить о человеке, надобно исследовать его поведение, когда он здоров и волен, больным или в тюрьме он совсем иной.

Я преподнес платье девице Пиперс и дал двадцать луидоров врачу. Накануне отъезда получил я письмо от г-жи дю Рюмен, которая, узнав от друга моего Баллетти, что я нуждаюсь в деньгах, послала мне вексель на шестьсот флоринов на Амстердамский банк. Она писала, что я отдам ей эту сумму, когда смогу; но она скончалась прежде, чем я сумел расплатиться с долгом.

Решив ехать в Брауншвейг, не мог я перебороть искушения заехать в Ганновер. Когда я вспоминал о Габриель, то по-прежнему любил ее. Останавливаться там я не помышлял, ибо не был более богат, да к тому же надлежало щадить не до конца восстановленное здоровье. Я желал единственно нанести недолгий визит в ее поместье, что, сказывала она, находится неподалеку от Штокена. Да и любопытно мне было на нее взглянуть.

Итак, решился я ехать на рассвете один в карете, кою английский генерал променял мне на

коляску, но сему не суждено было случиться.

Записка от генерала, в которой просил он меня на ужин, где я встречу своих соотечественников, вынудила принять приглашение. Коль засидимся допоздна, так поеду попозже, решаю я. И я иду к г. Беквичу, обещав доктору воздерживаться от излишеств.

Что за диво, войдя в комнату, вижу я Редегонду, что из Пармы, со своей сухой матерью. Та сперва меня не признала, но дочь сразу ко мне обратилась, сказав, что я изрядно похудел. Я отвечал, что она стала краше прежнего, и так оно и было. В ее лета полтора года только прибавили очарования. Я поведал, что избавился от тяжкого недуга и завтра утром еду в Брауншвейг.

— И мы тоже, — отвечала она, взглянув на мать.

Генерал, радуясь, что мы знакомы, добавляет, что мы можем ехать вместе, но я, улыбаясь, возражаю, что это будет затруднительно, если госпожа матушка не переменяла своих правил.

— Ни на йоту, — отвечает она.

Гости хотели продолжать игру. Генерал метал, банк был невелик. Были еще две или три дамы и офицеры, играли по маленькой. Мне предлагают карты, я благодарю, сказав, что в дороге не играю.

После конца тальи генерал говорит, что знает, отчего я не играю, и достает из бумажника английские банковые билеты.

— Это, — говорит, — те самые банковые билеты, коими вы расплатились со мной полгода назад в Лондоне. Постарайтесь отыгратья. Здесь 400 фунтов стерлингов.

— У меня нет желания, — отвечаю, — столько проигрывать. Я поставлю полсотни гиней, и тоже бумажных, чтобы доставить вам удовольствие.

С этими словами вытаскиваю я из кошелька, где у меня было 200 золотых дукатов, вексель, присланный графиней дю Рюмен.

Он продолжает метать, и после третьей тальи я выигрываю пятьдесят гиней, каковые, когда я прекращаю понтировать, он тотчас выплачивает английскими билетами. Тут доложили, что ужин подан, и мы сели за стол.

Редегонда, изрядно выучившая французский, забавляла все общество. Она ехала из Брюсселя на службу к герцогу Брауншвейгскому, ее нанял второй солисткой Николини. Она жаловалась, что почтовые колымаги вконец ее замучили и в Брауншвейг она доберется совсем больной.

— Так вот, кстати, кавалер де Сейнгальт, — говорят ей генерал, — совсем один, в превосходной карете. Езжайте с ним.

Редегонда улыбается. Мать Редегондова спрашивает, сколько в карете мест, генерал отвечает за меня, что два. Мать объявляет, что это невозможно, она свою дочь ни с кем наедине не оставит. Тут раздается всеобщий смех, а Редегонда, посмеявшись, молвит, что мать вечно боится, что ее убьют.

Перешли на другие материи, и до часу весело сидели за столом. Редегонда, не заставив долго себя упрашивать, села за клавесин и спела арию, доставившую удовольствие всему обществу.

Когда я собрался уходить, генерал просил меня к завтраку, сказав, что почтовая карета отходит только в полдень и я должен оказать любезность прекрасной соотечественнице, а она, со своей стороны, попрекала меня за некие мои поступки во Флоренции и Турине, хотя ей не в чем было меня упрекать; но я сдался и пошел, наконец, спать, имея в том великую нужду.

Утром в девять часов прощаюсь я с лекарем и всем его семейством и иду завтракать к генералу, приказав закладывать и подать карету к его дому, ибо непременно хотел ехать после завтрака. Через полчаса является Редегонда с матерью и, к удивлению моему, еще и с братом, что служил у меня во Флоренции лакеем.

После завтрака, весьма оживленного, карета меня ждет, я раскланиваюсь с генералом и гостями, вышедшими из зала, дабы проводить меня. Редегонда, спросив, удобна ли моя карета, садится в нее, и я так же попросту сажусь без всяких задних мыслей; но я немало был удивлен, когда кучер тронул рысью, едва я сел. Я готов был крикнуть «Стой!», но, увидав, что Редегонда хохочет во все горло, позволил ему ехать, решив, что прикажу остановиться, когда Редегонда, отсмеявшись, скажет «довольно». Но не тут-то было. Мы проехали уже полмили, когда она заговорила.

— Я так смеялась, вообразив, как истолкует матушка эту нежданную шутку, ведь я хотела только на минутку сесть в карету; затем я смеялась над кучером, который, конечно, без вашего ведома, похитил меня.

— Ну конечно.

— Матушка, верно, подумает обратное. Разве это не забавно?

— Весьма, но мне это нравится. Милая Редегонда, я отвезу вас в Брауншвейг, и вам здесь будет покойней, чем в почтовой колымаге.

— О! Шутка заходит слишком далеко. Мы остановимся на первой же станции и подождем почту.

— Как вам будет угодно, но я, право слово, не буду столь любезен.

— Как! У вас достанет сил бросить меня одну на станции?

— Никогда, прелестная Редегонда. Вы знаете, я всегда вас любил. Я повторяю, я готов отвезти вас в Брауншвейг.

— Если вы меня любите, вы подождете и передадите меня прямо в руки матушки, которая уже, верно, в отчаянии.

— Душа моя, на это не надейтесь.

Юная сумасбродка вновь принялась смеяться, а пока она смеялась, я в подробностях продумывал любезный моему сердцу замысел — отвезти ее в Брауншвейг.

Мы добрались до станции, лошадей не было; почтарь у меня быстро сделался сговорчивым и, перекусив, едем мы до следующей станции в сумерках, по скверной дороге. Я требую лошадей, не беря во внимание, что там говорит Редегонда. Я знал, что почтовая карета доберется сюда до полуночи и мать завладеет дочерью. Это в мои планы не входило. Я ехал всю ночь и остановился в Липпштадте, где, несмотря на неурочный час, приказал подать поесть. Редегонда хотела спать, да и я не меньше, но ей пришлось смириться, когда я мягко сказал, что спать мы будем в Миндене. И тут она улыбнулась, ибо знала, что ее ждет. Там мы поужинали и провели пять часов в одной постели. Она лишь для виду заставила себя упрашивать. Была б у нее честная мать, когда я свел с ней знакомство во Флоренции у Палези, не связался бы я с Кортичелли, принесшей мне столько горестей. После слишком краткого роздыха в Миндене остановился я вечером в Ганновере, где мы отменно поели в превосходном трактире. Я повстречал там того самого полового, что был в цюрихском трактире, когда я прислуживал за столом дамам из Золотурна. Мисс Чудлай обедала там с герцогом Кингстонским, потом поехала в Берлин. Им подали на десерт большое блюдо лимонного мороженого, от которого они откушали самую малость, чем мы и попользовались; потом легли в кровать, постеленную на французский лад.

Утром нас разбудил стук подъехавшей почтовой кареты. Редегонда не желает, чтоб мать застала ее в постели, я зову полового, чтоб сказать ему, чтоб он не вел в нашу комнату даму, каковая, выйдя из кареты, будет нас спрашивать, но слишком поздно. В ту минуту, как я распахиваю дверь, входит мать с сыном и застаёт нас обоих в рубашках. Я велел ее сыну подождать с той стороны и затворил дверь. Мать принимается ругаться, сетовать, что мы ее одурачили, угрожать мне, если я не ворочу ей дочь. Дочь, в подробностях ей все рассказав, убеждает, что один только случай понудил ее уехать со мной. Наконец мать соблаговолила поверить.

— Но, — говорит она дочери, — ты не можешь отрицать, мерзавка, что спала с ним.

Она, смеясь, отвечает, что все было совсем не так, и нет в том ничего дурного, когда люди спят. Она начинает целовать ее и совершенно успокаивает, сказав, что сейчас оденется и поедет вместе с ней в Брауншвейг в карете.

После примирения я оделся, приказал подать лошадей, и, угостив всех завтраком, отправился в Брауншвейг, куда прибыл на три часа раньше них. Редегонда отбила у меня охоту ехать с визитом к Габриель, что должна была жить с матерью и двумя сестрами в поместье, о котором рассказывала.

Я остановился в хорошем трактире и немедленно дал знать Датури о своем приезде. Он появился, щегольски одетый, горя нетерпением представить меня великолепному г. Николини, главному антрепренеру представлений в городе и при дворе. Человек этот, знавший дело до тонкостей, пользовавшийся благоволением великодушного принца, своего повелителя, чья любовница, Анна, доводилась ему дочерью, жил в роскоши. Он чуть не силком хотел приютить меня, но я сумел отговориться. И все же я обещал обедать у него, соблазненный не только превосходным поваром, но и притягательным обществом, способным доставить большее удовольствие, нежели собрание знатных особ, где веселость, стесненная этикетом, угасает. Гостями Николини были люди, наделенные талантами. Истинные виртуозы, музыканты и танцовщики обоего полу являли самую усладительную для меня картину. Я только выздоравливал, был стеснен в деньгах. Иначе я никогда бы не покинул так скоро гостеприимный Брауншвейг. На другой день за обедом была и Редегонда. Все уже знали, не ведаю откуда, что от Везеля до Ганновера она ехала со мной.

Послезавтра кронцпринц Прусский прибыл из Потсдама, дабы увидеться с будущей своей супругою, дочерью владетельного герцога. Он взял ее в жены год спустя, и всем ведомы худые следствия сего брака: любовный каприз очаровательной принцессы стоил головы смельчаку, соблазнившему ее или давшему себя соблазнить. В последнем случае она весьма была не права, обвинив его.

При дворе задавали пышные празднества, и наследный принц Брауншвейгский, ныне царствующий, меня обласкал. Я познакомился с ним в Сохо-Сквер на званом загородном ужине, накануне принятия его в сословие лондонских мещан.

Минуло двадцать два года, как я любил мать Датури. Помня красоту ее, мне любопытно было ее видеть. Время так жестоко ее обезобразило, что я подосадовал, что принудил ее принять меня. Ей явно стыдно было своего уродства, но уродство ее позволяло мне не краснеть за прошлую неверность. Своеобычный женский лик слишком скоро делается из прекрасного уродливым.

На большой равнине неподалеку от города наследный принц задал смотр шести тысячам пехотинцев, служивших в брауншвейгской армии. Я там был; весь день лило как из ведра, зрителей, иностранцев и местных дворян, особенно дам, было преизрядное число; среди прочих увидел я мисс Кудлай, осведомившуюся, давно ли я покинул Лондон. Славная дама одела муслиновое платье



прямо поверх рубашки, и ливень так изрядно ее вымочил, что на вид она казалась вовсе голой. Видно было, что это ей по душе. Прочие дамы укрывались от потопа под навесами. Дождь не мог воспрепятствовать маневрам войск, которые не страшатся огня.

Не имея никаких дел в Брауншвейге, я подумал, не уехать ли мне, чтобы отправиться в Берлин и с наибольшим приятствием провести там остаток лета. Мне нужен был сюртук, я покупаю сукно у жида, который предлагает учесть заграничные векселя, если они у меня есть. Что может быть проще? У меня было заемное письмо на пятьдесят луидоров на Амстердамский банк, что прислала г-жа де Рюмен; я достаю его из бумажника и предлагаю, израильтянину. Изучив его хорошенько, он говорит, что вернется через полчаса и уплатит голландскими дукатами. Он возвращается с деньгами. Письмо было на мое имя, Сейнгальт, так я и расписываюсь в получении, и он уходит довольный, что выгадал два процента, обычный процент при учете векселей, выданных на Амстердамский банк. Но на другой день является ко мне утром в комнату тот же самый жид и просит вернуть ему деньги и забрать вексель либо дать ему залог, покуда с почтой он не получит ответа, примет ли вексель банкир, на которого он выписан.

Удивленный таковым нахальством и уверенный в правоте своей, я говорю, что он спятил, что я ручаюсь за вексель и никакого залога ему не дам. Он отвечает, что непременно хочет денег или залога, иначе добьется моего ареста, ибо ему все про меня известно. Тут мне кровь ударяет в голову, я хватаю трость и, отвесив пять или шесть ударов, вышвыриваю его прочь, затворяю дверь и одеваюсь, дабы идти на обед к Николини. Я никому не рассказываю об этом происшествии.

Решив уезжать через два или три дня, назавтра прогуливаюсь я пешком в окрестностях города и встречаю наследного принца, что едет в одиночестве верхом, только стремянный следует за ним в сотне шагов. Я отвешиваю поклон, вижу, что он останавливается, и подхожу.

— Так вы точно решили уезжать? — ласковым голосом говорит мне милейший принц. — Я узнал об этом утром от одного жида, который явился сказать, что вы избili его палкой за то, что он потребовал залога за учтенный вексель, сомневаясь, не фальшивый ли он.

— Я в точности не помню. Ваше Высочество, что сделал я, поддавшись приступу более чем праведного гнева; мерзавец этот посмел угрожать, что воспрепятствует моему отъезду, сказав, что ему все про меня ведомо, но я знаю, что честь запрещает мне забрать письмо и дать залог, и один тиран может воспрепятствовать моему отъезду.

— Вы правы, это было бы несправедливо, но жид боится потерять сто дукатов; он говорит, что не дал бы их вам, если б вы не упомянули мое имя.

— Он лжет.

— Он говорит, что вы подписались чужим титулом.

— Он опять лжет.

— Так или иначе, жид был избит, как он уверяет, и боится остаться в накладе. Мне жаль этого дурня, и я хочу помешать ему искать средства задержать вас здесь, покуда он не узнает, что в Амстердаме благополучно приняли вексель, что вы перевели на него. Я сегодня же велю забрать у него помянутый вексель, ибо нимало не сомневаюсь в его подлинности. Итак, вы вольны ехать, когда вздумаете. Прощайте, г. де Сейнгальт, счастливого пути.

После сих любезностей принц тронул коня, не дожидаясь моего ответа. А я мог бы ответить, что раз Его Высочество собственноручно забирает мой вексель у еврея, тот решит, что принц милует меня, весь город в это поверит и честь моя пострадает.

Принцам, наделенным чистым сердцем и благородной душой, зачастую не хватает тонкости, дабы пощадить самолюбие особы, коей желают они выказать знак несомненного своего уважения. Поступок принца проистекал от чрезмерного его великодушия. Он не мог бы поступить иначе, почитай он меня за мошенника, но желая тем не менее выказать, что прощает меня и один потерпит ущерб от мошенничества моего. А быть может, он именно так и думает, сказал я себе в следующий миг, когда расстался с ним. К чему он вмешивается? К чему не презрел подлые, безумные наветы? Жида он пожалел или меня? Если меня, то я обязан преподать ему урок, не оскорбив доблестного мужа.

Я поразмыслил так же, воротившись к себе, над концовкой диалога. Я нашел, что его пожелание счастливого пути было тут крайне неуместно. В устах принца, коего обязан я был почитать как государя, любезность становилась приказом уезжать.

Итак, я решил не оставаться в Брауншвейге, ибо, оставаясь, мог вызвать неблагоприятные толки, и не уезжать, ибо мог дать принцу повод подумать, что, уезжая, попользовался его добротой и прикарманил полсотни луидоров, каковые, если б был виноват, должен был бы возвратить жида.

После сих рассуждений, сплетенных осторожностью, умудренных честью и достойных более трезвого ума, нежели мой, велю я закладывать, собираю чемодан, обедаю, расплачиваюсь с хозяином и, не озаботившись ни с кем проститься, еду в Вольфенбюттель с намерением провести там неделю и зная, что скучать не буду, ибо там находится третья библиотека Европы. Я давно уже горел желанием исследовать ее на досуге.

Ученый профессор-библиотекарь, отменно вежливый, ибо в вежливости его не было ничего нарочитого или принужденного, сказал мне при первом моем посещении, что не только велит

человеку обслуживать меня в библиотеке, выдавать все книги, что я попрошу, но и приносить их ко мне в комнату, не выключая рукописи, что составляют главное богатство этой славной библиотеки. Я провел неделю, выходя оттуда единственно затем, чтобы пойти в комнату, а выходил из комнаты единственно, чтобы туда воротиться. Я вновь свиделся с библиотекарем лишь на восьмой день, дабы за час до отъезда поблагодарить его. Жил я в совершеннейшем покое, не помышляя ни о прошлом, ни о будущем, труды помогали забыть, что существует настоящее. Нынче я вижу — чтобы жить в миру как истинному мудрецу, мне довольно было стечения малозначительных обстоятельств, ибо добродетель всегда притягивала меня более, нежели порок. Если я грешил, так только от веселости сердечной. Я увез из Вольфенбюттеля изрядное число ученых суждений об «Илиаде» и «Одиссее», которые не встречаются ни у кого из толкователей, неведомы великому Попу. Часть из них вошла в мой перевод «Илиады», остальное затерялось тут и здесь. Я не сожгу ничего, даже эти Мемуары, хотя часто о том думаю. Я предвижу, что никогда не выберу момента.

Я воротился в Брауншвейг в тот же трактир и тотчас послал уведомить о том крестника моего Датури. Как я был доволен, убедившись, что никто в Брауншвейге не знал, что я провел неделю в пяти лье отсюда! Он сказал, что, как говорили, перед отъездом забрал я у жида вексель, о котором больше речи не было. Я все же был уверен, что пришел ответ из Амстердама и что наследный принц знал, что я в Вольфенбюттеле. Крестник просил меня обедать у Николини. Это само собой разумелось, поскольку я с ним не прощался, а хотел завтра уезжать. И вот что приключилось за обедом, послужив к вящему моему удовлетворению.

Мы принялись за жаркое, когда вошел камердинер наследного принца вместе с глупым жидом, коего я в приступе гнева проучил за наглость.

— Мне велено, сударь, — сказал он, — просить у вас прощения за то, что заподозрил, будто вексель ваш на Амстердамский банк подложный. Я был наказан, потеряв два процента, что заработал бы, оставь я его у себя.

Я отвечал, что другого наказания ему не желаю.

Директор Николини не преминул поставить себе в заслугу, что Его Высочество повелел принести мне извинения у него дома, и я охотно польстил его тщеславию. Вечеру я спросил, не будет ли каких поручений в Берлин, и откланялся, но вот что задержало меня еще на день.

В трактире нашел я записку от Редегонды, где она сетовала, что, живя в Брауншвейге, я ни разу ее не навестил, и приглашала позавтракать с ней в загородном домике, о котором все мне изъяснила. Она писала, что будет там не с матерью, а с одной давней моей знакомой, которую я буду рад повидать. Она просила меня быть вовремя.

Я любил Редегонду и не бывал у нее в Брауншвейге не только из-за матери ее, но и для того, что не в состоянии был преподнести ей какой-либо красивый подарок. Я решил непременно быть, любопытствуя также увидеть девицу, какую называла она давней моей знакомой.

Итак, в назначенный час явился я в указанный дом и увидал ее, красивую и прелестную, в гостиной на первом этаже вместе с юной «виртуозкой», которую я знал ребенком в тот самый год, когда заточили меня в Пьомби. Я изобразил удовольствие от встречи с ней, но, занявшись единственно Редегондой, рассыпался в извинениях, затем в похвалах прелестному домику, где увидал ее. Она сказала, что сняла его на полгода, но никогда в нем не ночевала.

После кофе пошли мы погулять по саду и повстречали принца, который, милостиво улыбаясь, просил у Редегонды прощения, что ненароком прервал нашу беседу.

Я сразу все понял, понял, для чего красавица велела мне в записке своей не опаздывать. В десять или двенадцать дней Редегонда покорила милейшего принца, который всегда питал склонность к прекрасному полу, но в первый год брака с сестрой английского короля полагал необходимым соблюдать инкогнито в привязанностях своих. Мы погуляли часок, беседуя о Лондоне и Берлине и ни единым словом не обмолвившись ни о векселе, ни о жиде. Я порадовал его, расхвалив Вольфенбюттельскую библиотеку, и изрядно посмешил, сказав, что, кабы не превосходная духовная пища, тамошний скверный стол уморил бы меня.

Распрощавшись самым любезнейшим образом с Редегондой, он сел на коня в ста шагах от домика. Оставшись наедине со своей соотечественницей, весьма далекий от того, чтоб домогаться ее милостей, советовал я ей нежно любить особу, только что нас покинувшую; но она ни в чем не хотела признаться.

Остаток дня провел я в трактире и на рассвете уехал.

В Магдебурге офицер, коему вручил я письмо генерала Беквича, показал мне все потайные ходы крепости и три дня развлекал меня обществом девок и игроков. Я поберег здоровье и честно наполнил кошелек.

Я направился напрямик в Берлин, не озаботившись сделать остановку в Потсдаме, раз короля там не было. Песчаные дороги принудили меня потратить три дня на то, чтобы проехать восемнадцать малых немецких миль.

Остановился я в «Городе Париже». В сем трактире я нашел все для себя потребное в рассуждении услуги и экономии. Хозяйка, француженка Рюфен, знала дело отменно, и дом

пользовался самой доброй славой. Через полчаса после моего приезда она зашла ко мне в комнату, дабы осведомиться, доволен ли я, и обо всем уговориться. Она держала общий стол, а с тех, кто желал обедать у себя, брала вдвое. Я сказал, что не желаю есть за общим столом, а, обедая в комнате, не желаю платить лишнего, и она вольна уменьшить мне порцию; она согласилась с условием, что ужинать я буду за ее столом, где будут одни друзья, и совершенно бесплатно. Любезность за любезность, я согласился, изъявив всячески дружеское свое расположение. Устав с дороги, я отужинал у нее только на следующий день. У нее был муж, занимавшийся кухней и никогда не садившийся за стол, и сын, который также не приходил. Я ужинал с пожилым господином, весьма рассудительным и мягким в обращении, занимавшим соседнюю комнату, по имени барон Трейден; сестра его была замужем за герцогом Курляндским, Иоганном Эрнстом Биреном — или Бираном. Любезный этот господин стал мне другом и оставался им в те два месяца, что провел я в Берлине. Был еще купец из Гамбурга Грехе с молодою женой, которую привез он в Берлин подивиться на двор короля-воина. Жена была столь же мила, как и муж. Я усердно ухаживал за ней, честь по чести. Был еще один весельчак по имени Ноэль, единственный и любимейший повар Прусского короля. Он редко приходил ужинать с доброй своей подругой г-жой Рюфен, ибо крайне редко бывал свободен. Пособлял Ноэлю всего один поваренок, и другого повара у Прусского короля никогда не было. Я знавал в Ангулеме его родителя, прославившегося отменными паштетами. Ноэль, нынешний посланник французской Директории в Гааге, как мне говорили, сын того повара, что некогда мне полюбился. Не будь Ноэль столь искусен, славный медик атеист Ламетри не скончался бы от несварения, отобедав у милорда Тирконеля, ибо отменный паштет, стоивший ему жизни, был изготовлен Ноэлем. Ламетри частенько ужинал с Рюфен при жизни своей, и я досадовал, что мне не довелось свести с ним знакомство. Он был человек ученый и донельзя веселый. Умер он смеясь, хотя уверяют, что нет смерти мучительней, чем от несварения. Вольтер говорил мне, что, по его мнению, в мире не было атеиста столь заклятого и основательного, и я, прочтя сочинения его, согласился. Сам король Прусский произнес ему в Академии надгробное слово, где сказал, что нет ничего удивительного, что Ламетри признавал только материю, в нем одном соединился весь сущий в мире разум.

Только королю, что мнит себя оратором, позволительно излагать столь шуточные мысли в скорбной надгробной речи. Король Прусский не был при том атеистом, но это неважно, ибо вера в Бога никогда не влияла ни на нравы его, ни на дела. Некоторые полагают, что атеист, каковой в помыслах своих обращается к Богу, лучше деиста, который о нем и не вспоминает.

Свой первый визит в Берлине нанес я Кальзабиджи, младшему брату того, с кем объединился в 1757 году в Париже для учреждения лотереи Военного училища, названной после смерти Пари дю Верне королевской лотереей.

Кальзабиджи, коего повстречал я в Берлине, покинул Париж и жену, которую все именовали по-прежнему генеральшей ла Мот, и учредил подобную лотерею в Брюсселе, где, пожелав жить в роскоши, в 1762 году обанкротился, несмотря на всяческую помощь графа Кобенцла. Принужденный уехать, прибыл он в Берлин в весьма жалком виде и представился королю Прусскому. Изрядный красноречивый, он убедил короля завести лотерею в государстве, доверить ему ведать ею да еще пожаловать звонкий титул тайного советника. Он обещал Его Величеству доход не менее чем в 200 000 экю, а себе просил только десять процентов от сбора и оплату тиражных расходов.

Все ему было даровано. Уже два года как лотерея была учреждена, тиражи шли своим чередом, ни одного убыточного пока, по счастью, не было, но король, зная, что неудача может воспоследовать, и опасаясь ее, уведомил Кальзабиджи, что более не желает держать лотерею. Он уступал ее ему, довольствуясь 100 000 экю; столько стоила ему Итальянская опера.

Я явился к Кальзабиджи в тот самый день, когда король повелел объявить ему сей несправедливый приговор.

Вспомняв былые наши успехи и злключения, он поведал мне о происшествии, коего никак не ждал. Он сказал, что нынешний тираж будет еще королевским, но он должен будет напечатать в афишах, что к последующим тиражам Его Величество касательства не имеет. Он нуждался в обеспечении в два миллиона экю, предвидя, что иначе лотерея прогорит, ибо никто не захочет делать ставки, не зная наверняка, что ему выплатят выигрыш. Он предложил мне десять тысяч экю в год, коль я сумею убедить короля оставить лотерею за собой, напомнив, как семь лет назад, приехав в Париж, я смог доказать совету Военного училища, что выигрыш будет верным, и побуждал повторить сей подвиг.

— Это доброе знамение, — уверял он, — и нет тут никакого суеверия, я знаю, что сам ангел-хранитель лотереи привел вас в Берлин именно вчера.

Я посмеялся над бреднями и пожалел его. Я втолковываю, что невозможно переубедить человека, вбившего в голову «я боюсь и более бояться не желаю». Он просит меня остаться обедать и представляет г-жу Кальзабиджи. Я вдвойне удивлен. Во-первых, я полагал, что генеральша ла Мот еще жива, во-вторых, в г-же Кальзабиджи признал я девицу Беланже. Я произношу обычные любезности, спрашиваю, как поживает ее матушка, она вздыхает и просит не вспоминать о ее семье,

не берeditь раны.

В Париже я знал г-жу де Беланже, вдову биржевого маклера; у нее была только эта хорошенькая дочь, дела ее, мне казалось, шли неплохо. Видя, что она замужем и, похоже, жалуется на судьбу, я ничего не могу взять в толк и особо не любопытствую, но добрый друг, заставив меня оценить искусство повара, пожелал, чтоб я оценил его лошадей и щегольский экипаж. Он просил меня сопровождать дражайшую супругу в прогулке по парку и остаться на ужин, ибо это была главная их трапеза. У него было много дел, тираж был послезавтра.

Когда мы сели в карету, я попросил ее изъяснить, какая счастливая случайность сделала ее женой моего друга.

— Жена его, — отвечала она, — еще жива и потому я не имею несчастья быть ему женой; но весь Берлин почитает меня за таковую. После кончины матушки, тому уже три года, я осталась без гроша, поскольку она жила на пожизненный пенсион. Не имея вовсе таких богатых родственников, чтоб прибегнуть к их помощи, и не желая приобретать вспоможение ценой своего счастья, прожила я два года на деньги, что выручила от продажи мебели и вещей, принадлежавших бедной матушке; я поселилась у доброй женщины, каковая вышивала на пальцах и тем жила. Я платила ей столько-то в месяц и училась. Выходила я из дому только к мессе и умирала с тоски. Чем скорее таяли деньги, тем сильнее уповала я на божественное провидение, но когда не осталось ни единого су, обратилась к г-ну Бреа, генуэзцу, полагая, что он не способен меня обмануть. Я просила сыскать мне место горничной в хорошем доме, уверив, что обладаю всеми необходимыми для того талантами. Он обещал подумать и пять или шесть дней спустя предложил мне вот какое место и сумел убедить принять его.

Он прочел мне письмо г-на Кальзабиджи, коего я до того не знала, в котором он просил прислать к нему в Берлин честную девицу из хорошей семьи, воспитанную и пригожую, ибо имел намерение обходиться с ней как с супругою и заключить брак по смерти старой жены своей, жить которой оставалось недолго. Поскольку нельзя было предполагать, чтобы барышня сия оказалась богата, велел он выдать ей пятьдесят луидоров на обзаведение и еще пятьдесят на дорогу до Берлина со служанкой. Г-н Бреа был формально уполномочен поручиться за г-на Кальзабиджи, что тот примет ее как свою жену и как таковую представит всем, кто вхож в его дом. У нее будет горничная, ею самой нанятая, собственный выезд, наряды, приличествующие ее положению, и, по обыкновению, столько-то на булавки. Он обязался предоставить ей полную свободу по истечении года, буде общество его или Берлин придутся ей не по душе, и в таком случае выдать сто луидоров, оставив все им подаренное или пошитое для нее. Но если барышня согласится остаться, ожидая, когда он женится на ней, он напишет дарственную на 10 000 экю, кои, став его супругою, она принесет ему в приданое, а если он до того времени умрет, то десять тысяч выплатят ей из оставшегося имущества.

На таких дивных условиях, продолжала она, г. Бреа убедил меня покинуть отечество и приехать сюда на позор, ибо, хотя все и впрямь относятся ко мне с почтением, как к законной супруге его, но, без сомнения, знают, что я ею не являюсь. Вот уже полгода, как я приехала и уже полгода несчастна.

— Несчастлива? Разве не исполнил он условия, оговоренные вами с г. Бреа?

— Он исполнил их все, но расстроенное здоровье не позволяет ему надеяться пережить жену, а раз так, десять тысяч, им на меня записанные, не будут считаться приданым, и если он умрет, я не получу ничего, поскольку он по уши в долгах и многочисленные кредиторы, имея предо мной преимущество, заберут все имущество в уплату. Да к тому же он невыносим, ибо слишком меня любит. Постарайтесь меня понять. Он мало-помалу убивает себя, а меня приводит в отчаяние.

— В любом случае вы можете воротиться в Париж через полгода или же поступать, как вам вздумается, когда обретете свободу. Вы получите сто луидоров, обзаведетесь нарядами.

— В конце концов я обещаю себя, как воротившись в Париж, так и оставшись здесь. Я такая несчастная, и виной тому добряк Бреа, но я зла на него не держу, ибо он не ведал, что у его друга нет ничего, кроме долгов. Теперь, когда король откажется от своего ручательства, лотерея прогорит, и тут Кальзабиджи неминуемо обанкротится.

М-ль Беланже нимало не преувеличивала, и я принужден был согласиться, что положение ее самое плачевное. Я советовал ей попытаться продать обязательство, что выдал ей Кальзабиджи, на 10 000 экю. Он, верно, не будет чинить препон. Она отвечала, что уже думала о том, но тут потребен друг, ибо она предвидела, что убыток при продаже будет велик. Я обещал подумать.

Ужинали мы вчетвером. Четвертым был молодой человек, служивший в Castelletto \* Парижской лотереи и следовавший за Кальзабиджи сначала в Брюссель, а затем в Берлин. Мне казалось, что он влюблен в м-ль Беланже, но расположения ее не добился. Он держал Castelletto и был главным распорядителем лотереи. За десертом Кальзабиджи спросил моего мнения о проекте, им составленном, каковой он хотел напечатать, дабы раздобыть обеспечение в два миллиона, необходимое для поддержания кредита. Тут госпожа отправилась почивать.

Женщина эта, ей было тогда всего лет двадцать пять — двадцать шесть, вызывала всяческое

сочувствие. Она не блистала умом, но знала светское обхождение, что в женщине важнее, чем ум. Признание ее пробудило во мне одни дружеские чувства, чему я был рад.

Проект Кальзабиджи был краток и ясен. Он предлагал всем, чье имя было общеизвестно, не вносить деньги в лотерейную казну, а подписаться на некую сумму, не ставящую под сомнение их платежеспособность. Если бы тираж лотереи принес убытки, подписчики должны были бы возместить их, уплатив свою часть согласно доле каждого, и тем же способом они бы делили доход от каждого тиража. Я обещал ему к завтрашнему дню написать свои соображения. Обеспечение должно было составить три миллиона экю. Я расстался с ним до завтрашнего обеда.

Вот какой вид, во всем отличный от первоначального, придал я его проекту.

1. Для обеспечения достаточно одного миллиона.
2. Миллион этот делится на сто паев, по десять тысяч экю.
3. Каждый пайщик заверяет свою подпись у нотариуса, который ручается за его платежеспособность.
4. Дивиденды уплачиваются через три дня после тиража.
5. В случае утери пайщик вновь вводится во владение паем через посредство нотариуса.
6. Казначей, избранный четвертью пятыми от общего числа пайщиков, контролирует казначей лотереи, у которого хранится выручка в наличных деньгах.
7. Выигрыш по билетам уплачивается на следующий день после тиража.
8. Накануне тиража казначей лотереи отсчитывает выручку казначей пайщиков и запирает кассу тремя различными ключами, из коих первый остается у него, другой у второго казначея, а третий у генерального директора лотереи.
9. Сборщики принимают ставки только на отдельный номер, амбу или терну; от кватерны отказываются, ибо она может ввергнуть лотерею в слишком большой расход.
10. На номер, амбу и терну нельзя ставить ни более одного экю, ни менее четырех грошей, и за двадцать четыре часа до тиража ставки более не принимаются.
11. Десятая часть сбора принадлежит г-ну де Кальзабиджи, генеральному директору лотереи, но все расходы по ее проведению относятся на его счет.
12. Он имеет право на два пая без поручительства нотариуса.

Когда Кальзабиджи прочел мой проект, я по лицу увидел, что он недоволен; но я предсказал ему, что он найдет пайщиков лишь на таких условиях или еще худших.

Он низвел лотерею до уровня бириби; роскошества его раздражали, все знали, что он наделал долгов, и король не мог не опасаться какого-либо мошенничества, хотя и держал там своего контролера, умевшего вести счета.

Состоялся последний тираж под королевское ручательство, и номера, выброшенные колесом фортуны, обрадовали весь город. Лотерея потеряла двадцать тысяч экю сверх сбора, и король Прусский немедленно послал их тайному советнику Кальзабиджи. Поговаривали, что когда его известили об убытках, он расхохотался, сказав, что ждал того и радуется, что ущерб невелик в сравнении с тем, что могло бы быть.

Я почел своим долгом поужинать с директором, дабы утешить его. Он был в унынии. Он пришел к печальному, но основательному заключению, что злосчастный тираж умножит его трудности и найти богачей, желающих вложить деньги в лотерею, будет отныне не просто. В первый раз лотерея проиграла, и случилось это удивительно не вовремя.

Но он не отчаялся, и назавтра принялся хлопотать, печатно уведомив публику, что лотерейные конторы будут закрыты, покуда не будут собраны средства для ограждения интересов тех, кто намерен по-прежнему рисковать деньгами.

#### ГЛАВА IV

Милорд Кит. Встреча с королем Прусским в саду Сан-Суси. Беседа моя с государем. Г-жа Дени. Померанские кадеты. Ламбер. Я еду в Митаву. Меня отменно принимают при дворе. Хозяйственная инспекция

На пятый день по приезде в Берлин отправился я с визитом к милорду маршалу, каковой по смерти брата стал зваться Кит. Виделся я с ним в последний раз в Лондоне, куда он прибыл из Шотландии, вступив во владение своими именами, конфискованными за то, что последовал за королем Яковом. У короля Прусского достало влияния добиться для него сей милости. Он жил тогда в Берлине, почивал на лаврах, наслаждался покоем и милостивою монаршей и в свои восемьдесят лет ни во что более не вмешивался.

Простой, как прежде, в общении, он сказал, что рад видеть меня, не преминул осведомиться, проездом ли я в Берлине или думаю пожить здесь сколько-то времени. Мои злоключения были ему отчасти известны, и я сказал, что охотно тут обоснуюсь, если король сыщет мне местечко, соответствующее скромным моим дарованиям, и решит оставить при себе. Но когда я просил его покровительства, он сказал, что, предупредив короля, принесет мне более вреда, чем пользы.

Полагая, что разбирается в людях лучше всех, он предпочитал сам судить о них и частенько распознавал великие достоинства, где их никто не мог предполагать, и наоборот. Он посоветовал написать государю, что я мечтаю о чести беседовать с ним.

— Когда будете с ним говорить, можете невзначай сослаться на меня, и тогда, я думаю, он спросит у меня о вас, и мой ответ вам не повредит.

— Мне, человеку неизвестному, писать королю, с коим не имею никаких сношений! Мне в голову не мог прийти подобный шаг.

— Вы желаете с ним беседовать? Вот повод. В письме вы должны единственно объявить о своем желании.

— Ответит ли он?

— Не сомневайтесь. Он отвечает всем. Он напишет, где и в каком часу угодно ему будет принять вас. Действуйте. Его Величество нынче в Сан-Суси. Мне любопытно, как сложится беседа ваша с монархом, который, как видите, не боится обмануться.

Я не помедлил и дня. Я написал ему как можно проще, хотя и очень почтительно. Я спрашивал, где и когда я могу представиться Его Величеству, и, подписавшись «Венецианец», указал адрес трактира, где проживал я. Через день получил я письмо, написанное секретарем, но подписанное «Федерик». Он писал, что король получил мое письмо и велел известить меня, что будет в саду Сан-Суси в четыре часа.

Я являюсь к трем, одетый в черное. Через узкую дверь вхожу во двор замка и не вижу никого, ни часового, ни привратника, ни лакея. Всюду полная тишина. Поднимаюсь по невысокой лестнице, отворяю дверь и оказываюсь в картинной галерее. Человек, оказавшийся зрителем, предлагает показать ее, но я благодарю, сказав, что ожидаю короля, написавшего мне, что будет в саду.

— У него сейчас небольшой концерт, — сказал он мне, — где он, по обыкновению, после обеда играет на флейте. Он назначил вам час?

— Да, ровно в четыре. Он, быть может, забудет.

— Король ничего не забывает. Он спустится в четыре, вам лучше подождать в саду.

Я иду туда и в скором времени он появляется в сопровождении своего чтеца Ката и великолепной испанской ищейки. Увидав меня, он подходит и, развязно приподняв старую шляпу, называет меня по имени и страшным голосом спрашивает, что мне от него надобно. Пораженный таким приемом, я замираю, смотрю на него и не могу слова молвить.

— Ну, что ж вы молчите? Разве не вы мне писали?

— Да, Сир, но ничего более не помню, я и помыслить не мог, что величие короля ослепит меня. В другой раз со мной этого не случится. Милорд маршал должен был предупредить меня.

— Так он вас знает? Давайте пройдемся. О чем вы хотели со мной говорить? Что скажете об этом саде?

Спросив, о чем я желаю говорить с ним, он тотчас велит мне говорить о саде. Любому другому я бы ответил, что ничего в садах не смыслю, но раз король счел меня за знатока, я не мог обмануть его ожиданий. Боясь, что выкажу дурной вкус, отвечаю, что нахожу его великолепным.

— Но, — говорит он, — сады Версаля гораздо красивее.

— Разумеется, Сир, но, быть может, из-за обилия вод.

— Верно; но если здесь нет вод, так не по моей вине. Чтоб пустить их, я напрасно израсходовал триста тысяч экю.

— Триста тысяч экю? Если б вы, Ваше Величество, израсходовали их разом, воды было бы в избытке.

— А! Я вижу, вы архитектор-гидравлик. Должен ли я был признаться, что он ошибается? Я боюсь разонравиться ему. Я опускаю голову. Это ни да, ни нет. Но король не пожелал, слава тебе Господи, беседовать со мной об этой науке, основания коей были мне неведомы. Безо всякого перерыва он спрашивает, какой флот может выставить Венецианская республика на случай войны.

— Двадцать линейных кораблей. Сир, и изрядное число галер.

— А сухопутного войска?

— Семьдесят тысяч человек, Сир, и все ее подданные, по одному от селения.

— Быть того не может. Вы, верно, желаете посмешить меня, рассказывая подобные басни. Но вы, конечно, финансист. Скажите, что вы думаете о налогах?

Я впервые беседовал с королем. Его слог, неожиданные выходки, перескоки с пятого на десятое породили во мне чувство, будто я принужден играть в сцене из итальянской импровизированной комедии, где партер освистывает растерявшегося актера. И я отвечал надменному монарху, приняв вид финансиста и состроив подобающее лицо, что могу изложить теорию налогов.

— Это мне и надобно, дела вас не касаются.

— Налоги бывают трех родов, согласно производимому ими действию: разорительные, необходимые, к несчастью, и превосходные во всех отношениях.

— Мне это нравится. Продолжайте.

— Разорительный налог — королевский, необходимый — военный, превосходный народный.

— Что все это значит?  
Приходилось изъясняться обиняками, ибо сочинял на ходу.

— Королевский налог. Сир, это налог, коим государь облагает подданных, чтоб наполнить свои сундуки.

— И вы утверждаете, что он разорительный.

— Разумеется, Сир, ибо он губит обращение, душу коммерции и опору государства.

— Но военный вы считаете необходимым.

— К несчастью. Сир, ибо война — несчастье.

— Возможно. А народный?

— Превосходный во всех отношениях, ибо король одной рукой берет у народа, а другой возвращает в виде полезнейших заведений и установлений для его же блага.

— Вы, разумеется, знаете Кальзабиджи?

— Не могу не знать. Сир. Семь лет назад мы учредили с ним в Париже генуэзскую лотерею.

— А она к какому разряду относится? Ибо, согласитесь, это налог.

— Разумеется, Сир. Это превосходный налог, если король предназначает выигрыш для содержания какого-нибудь полезного заведения.

— Но король может проиграть.

— В одном случае из десяти.

— Точен ли этот расчет?

— Точен, Сир, как все политические расчеты.

— Они часто ошибочны.

— Простите, Ваше Величество. Они никогда не обманывают, если не вмешивается Господь.

— Что до нравственных расчетов, то я, пожалуй, с вами соглашусь, но не нравится мне ваша генуэзская лотерея. Я почитаю ее мошенничеством и не желаю иметь к ней касательства, если даже у меня будет физическая уверенность, что никогда не проиграю.

— Вы, Ваше Величество, рассуждаете, как мудрец, ибо невежественный народ играет, поддавшись приманчивой надежде.

После сего диалога, который, конечно, делает честь образу мыслей великого государя, он чуток сплеховал, но врасплах меня не застал. Он входит под своды колоннады, останавливается, оглядывает меня с головы до ног и, поразмыслив, изрекает:

— А вы красивый мужчина.

— Возможно ли, Сир, что после беседы на ученые темы вы обнаружили во мне одно из тех достоинств, коими славятся ваши гренадеры?

Ласково улыбнувшись, он сказал, что раз лорд маршал Кит меня знает, он с ним поговорит, и с самым милостивым видом приподнял на прощание шляпу, с каковой никогда не расставался.

Дня через три-четыре лорд-маршал сообщил мне добрую весть, что я понравился королю, который сказал, что подумает, какое занятие мне можно приискать. Мне было весьма любопытно, что за место он мне доставит, спешить было некуда, и я решился ждать. Когда я не ужинал у Кальзабиджи, мне доставляло истинное удовольствие видеть барона Трейдена за столом у хозяйки, погода стояла прекрасная, и прогулка по парку помогала с приятствием проводить день.

Кальзабиджи вскоре получил от государя дозволение проводить лотерею от чьего угодно имени, уплачивая вперед шесть тысяч экю с каждого тиража; и он немедля открыл лотерейные конторы, бесстыдно уведомив публику, что проводит лотерею на собственный кошт. Потеря им доверия не помешала публике играть, и такой был наплыв, что сбор принес ему доход почти в сто тысяч экю, с помощью коих он уплатил добрую часть долгов; еще он забрал у любовницы обязательство на десять тысяч экю и дал взамен деньгами. Жид Эфраим взял на хранение капитал, уплачивая ей шесть процентов годовых.

После сего счастливого тиража Кальзабиджи нетрудно было найти поручителей на миллион, поделенный на тысячу паев, и лотерея шла своим чередом еще два или три года, но под конец он все-таки обанкротился и отправился умирать в Италию, Любовница его вышла замуж и воротилась в Париж.

В ту пору герцогиня Брауншвейгская, сестра короля, пожаловала к нему с визитом вместе с дочерью, на которой через год женился кронпринц. По этому случаю король прибыл в Берлин и в ее честь в Шарлотенбурге была представлена итальянская опера. Я видел в тот день Прусского короля, одетого в придворный наряд, — люстриновый камзол, расшитый золотыми позументами, и черные чулки. Выглядел он весьма комично. Он вошел в зрительную залу, держа шляпу под мышкой и ведя под руку сестру; все взоры были обращены на него, одни старики могли вспомнить, что видели его на людях без мундира и сапог.

На спектакле я был изрядно удивлен, увидав, что танцует знаменитая Дени. Я не знал, что она состоит на службе у короля, и, пользуясь правом давнишнего знакомства, решил завтра же отправиться к ней с визитом.

Когда мне было двенадцать лет, матушка моя должна была ехать в Саксонию и отослала меня

на несколько дней в Венецию с добрейшим доктором Гоцци. Отправившись в комедию, я более всего дивился восьмилетней девчужке, которая в конце представления с чарующей прелестью танцевала менуэт. Девочка, дочь актера, игравшего Панталоне, так меня пленила, что я потом зашел в уборную, где она переодевалась, чтоб ее поздравить. Я был в сутане, и она удивилась, когда отец велел ей встать, чтоб я мог поцеловать ее. Она повиновалась с превеликим изяществом, а я был весьма неловок. Но я так обрадовался, что не мог удержаться и, взяв из рук торговки украшениями, бывшей там, колечко, которое девочке приглянулось, но показалось слишком дорогим, преподнес его ей. Она подошла тогда, чтоб снова поцеловать меня, и лицо ее сияло благодарностью. Я дал торговке цехин за кольцо и воротился к доктору, ждавшему меня в ложе. Я был в самом жалком состоянии, ибо цехин тот принадлежал доктору, моему наставнику, и хотя я чувствовал себя бесповоротно влюбленным в хорошенькую дочку Панталоне, я еще сильнее чувствовал, что поступил глупо во всех отношениях — и потому, что распорядился деньгами, мне не принадлежащими, и потому, что потратил их как простофиля, получив один только поцелуй.

Я должен был вернуть назавтра доктору цехин и, не зная, где занять денег, всю ночь ворочался; назавтра все открылось, и матушка сама дала цехин моему учителю; но мне до сих пор смешно вспомнить, как я от стыда сгорал. Та же торговка, что продала мне в театре кольцо, заявила к нам в час обеда. Показав украшения, кои все сочли чрезмерно дорогими, она стала меня нахваливать, сказав, что я не счел дорогим колечко, кое преподнес Панталончине. Сего было достаточно, чтоб расспросить меня с пристрастием. Я думал прекратить дознание, сказав, что одна любовь была причиной моего проступка, и уверив матушку, что в первый и последний раз сбился с пути истинного. При слове любовь все засмеялись и принялись так жестоко надо мной насмеяться, что я решил навсегда заречься, но, вспомнив о Дзанетте, вздохнул: ее так называли в честь моей матери, ее крестной.

Дав мне цехин, матушка спросила, не пригласить ли ее на ужин, но бабушка воспротивилась, и я был ей благодарен. На другой день я возвратился со своим наставником в Падую, где Беттина заставила меня позабыть Панталончину.

С того приключения и до встречи в Шарлотенбурге я ее более не видал. Двадцать семь лет минуло. Ей должно быть теперь тридцать пять. Если б мне не сказали имени, я б ее не узнал, ибо в восемь лет черты лица еще не могли определиться. Мне не терпелось увидеть ее наедине, узнать, помнит ли она ту историю, ибо я почитал невероятным, чтобы она сумела меня признать. Я поинтересовался, с ней ли муж ее Дени, и мне ответили, что король принудил его уехать, ибо он дурно с ней обходился.

Итак, на другой день еду к ней, велю доложить, и она вежливо меня принимает, заметив все же, что не припомнит, когда имела счастье видеть меня.

И тогда я мало-помалу пробудил в ней жгучее любопытство, рассказывая о ее семье, детстве, о том, как прелестна она была, как чаровала Венецию, танцую менуэт; она прервала меня, сказав, что ей было тогда всего шесть лет, и я отвечал, что конечно же не более, ибо мне было всего десять, когда я влюбился в нее.

— Я никогда вам того не говорил, но я не мог забыть, как вы, повинувшись отцу, поцеловали меня в награду за мой скромный подарок.

— Молчите. Вы подарили мне кольцо. Вы были в сутане. И я всегда помнила о вас. Неужели это вы?

— Это я.

— Я так счастлива. Но я не узнаю вас, как вы смогли узнать меня?

— Никак; если б мне не сказали ваше имя, я б не вспомнил о вас.

— За двадцать лет, мой друг, можно и перемениться.

— Скажите лучше, в шесть лет вы еще не были сами собой.

— Вы можете засвидетельствовать, что мне всего двадцать шесть, хотя злые языки набавляют мне лишний десяток.

— Пусть говорят, что угодно. Вы в самом расцвете лет, вы созданы для любви, и я почитаю себя счастливейшим из смертных, что могу наконец признаться, что вы были первой, кто зажег в моей душе огонь страстей.

Тут мы оба расчувствовались; но опыт научил нас, что надо на том остановиться и повременить.

Дени, красивая, молодая, свежая, убавляла себе десять лет, она знала, что я это знаю, и все одно требовала от меня подтверждений; она бы меня возненавидела, если б я, как последний глупец, вздумал отстаивать правду, известную ей ничуть не хуже, чем мне. Ее не интересовало, что я о ней подумаю, то была моя забота. Быть может, она полагала, что я должен быть ей признателен, что столь извинительной ложью она помогла мне сбросить десяток лет, и объявляла, что готова вживе сие засвидетельствовать. Мне это было безразлично. Убавлять возраст — обязанность актрис, ибо они знают, что публика презреет их талант, проведая, что они состарились.

С такой великолепной искренностью открыла она мне свою слабость, что я почел это добрым



знамением и не сомневался, что она благосклонно отнесется к моей страсти и не заставит понапрасну вздыхать. Она показала мне дом, и, видя, в какой роскоши она живет, я осведомился, есть ли у нее близкий друг; она отвечала с улыбкой, что весь Берлин в том убежден, но что люди ошибаются в ее друге: он скорее заменяет ей отца, нежели любовника.

— Но вы достойны истинного возлюбленного, мне кажется невозможным, чтоб у вас его не было.

— Уверяю вас, меня это не заботит. Я подвержена судорогам, составляющим несчастье моей жизни. Я хотела поехать на воды в Теплице, где, как меня уверяли, я поправлюсь, а король не дозволил; но я поеду на следующий год.

Она видела мой пыл и, казалось, была довольна моей сдержанностью; я спросил, не будут ли ей в тягость частые мои посещения. Она, смеясь, отвечала, что, если я не против, она назовется моей племянницей или кузиной. На что я без смеха возразил, что это вполне вероятно, и она, возможно, мне сестра. Обсуждая это, заговорили мы о дружеских чувствах, кои отец ее всегда испытывал к моей матери, и незаметно перешли к ласкам, для родственников вполне невинным. Я откланялся, когда почувствовал, что зайду слишком далеко. Провожая меня до лестницы, она спросила, не желаю ли я завтра отобедать у нее. Я с благодарностью согласился.

Распаленный, возвращался я в трактир, размышляя о совпадениях, и порешил в итоге, что я в долгу перед божественным провидением и должен согласиться, что родился под счастливой звездой.

На другой день я приехал к Дени, когда все приглашенные были в сборе. Первым бросился мне на шею и расцеловал юный танцовщик по имени Обри, которого я знал в Париже фигурантом в опере, а в Венеции первым танцовщиком, знаменитым тем, что стал любовником одной из первых дам и любимчиком ее мужа, каковой иначе не простил бы жене, что она осмелилась соперничать с ним. Обри играл один против двоих и столь успешно, что спал между ними. Государственные инквизиторы с началом Великого поста выслали его в Триест. Десять лет спустя встречаю я его у Дени, и он представляет мне свою супругу, тоже танцовщицу, по прозванию Сантина, на которой женился в Петербурге, откуда они возвращались, чтоб провести зиму в Париже. После Обри ко мне подходит толстяк и объявляет, что мы дружны вот уже двадцать пять лет, но тогда были так молоды, что не признаем друг друга.

— Мы познакомились в Падуе, — говорит он, — у доктора Гоцци, я Джузеппе да Лольо.

— Как же, помню. Вы были на службе у российской императрицы и славились как искусный виолончелист.

— Так точно. Нынче я возвращаюсь на родину, дабы более не покидать ее; и позвольте представить вам мою жену. Родилась она в Петербурге, она единственная дочь славного учителя музыки, скрипача Мадониса. Через неделю я буду в Дрездене, где рад буду обнять г-жу Казанову, вашу матушку.

Я счастлив был оказаться в этом избранном обществе, но видел, что воспоминания двадцатипятилетней давности не по душе пленительной г-же Дени. Переведя разговор на события в Петербурге, что возвели на трон Екатерину Великую, да Лольо открыл нам, что был отчасти замешан в заговоре и потому благоразумно просил отставки, но он довольно разбогател, чтобы провести остаток жизни на родине, ни от кого не завися.

Тогда Дени поведала, что десять или двенадцать дней назад ей представили некоего пьемонтца по имени Одар, каковой также покинул Петербург, после того как свил нить всего заговора. Государыня императрица велела ему уехать, наградив сотней тысяч рублей.

Сей господин отправился в Пьемонт приобрести имение, рассчитывая жить долго, богато и покойно — было ему всего-то сорок пять лет, — но выбрал скверное место. Два или три года спустя в комнату влетела молния и убила его. Если удар этот направила рука невидимая и всемогущая, то, конечно, не рука ангела-хранителя российской империи, решившего отметить за смерть императора Петра III, — если бы этот несчастный государь жил и правил, он причинил бы тысячи бедствий.

Екатерина, жена его, отослала, щедро наградив, всех чужеземцев, что помогли ей избавиться от супруга, бывшего врагом ей, сыну ее и всему русскому народу; и отблагодарила всех русских, споспешествовавших восхождению ее на престол. Она отправила путешествовать всех вельмож, коим сия революция прихлала не по нраву.

Да Лольо и милая его жена подали мне мысль поехать в Россию, если Прусский король не сыщет мне приличного занятия. Они уверили, что там я составлю себе состояние, и дали превосходные письма.

После отъезда их из Берлина я добился благосклонности Дени. Близость наша началась однажды вечером, когда у нее сделались судороги, длившиеся всю ночь. Я провел ночь у ее изголовья и утром был награжден за двадцатилетнюю преданность. Любовная наша связь длилась до моего отъезда из Берлина. Через шесть лет она возобновилась во Флоренции, о чем я расскажу в своем месте.

Через несколько дней после отъезда да Лольо она любезно предложила сопровождать меня в Потсдам, чтоб показать все, достойное обозрения. Никто о нас не злословил, поскольку она всем

рассказала, что я ее дядя, а я ее иначе как любезная племянница не называл. Ее друг генерал на сей счет подозрений не питал или не желал питать.

В Потсдаме мы видели, как король задал на плацу смотр первому батальону, где у каждого солдата в кармане штанов лежали золотые часы. Так король вознаграждал отвагу, с которой они покорили его, как Цезарь в Вифинии покорил Никомеда. Тайны из этого не делали.

Окна в номере, где мы остановились, выходили на галерею, которой пользовался король, покидая замок. Ставни были затворены, и трактирщица изъяснила нам причину. Она поведала, что Реджана, прехорошенькая танцовщица, жила в том же номере, что мы, и король, проходя однажды утром, увидал ее голой и немедля приказал закрыть ставни; с тех пор минуло четыре года, но их уже более не растворяли. Он испугался ее прелестей. После любовной связи с Барбариной Его Величество стал относиться к женщинам сугубо отрицательно. Мы потом видели в королевской опочивальне портрет ее, а также девицы Кошуа, сестры комедиантки, на коей женился маркиз д'Аржанс, и императрицы Марии-Терезии в девичестве; желание сделаться императором пробудило любовь к ней.

Восхитившись красотой и великолепием дворцовых покоев, поражаешься, как живет он сам. Мы увидали в углу комнаты за ширмой узкую кровать. Ни халата, ни тужелья; бывший там лакей показал нам ночной колпак, который король надевал, когда простужался; обыкновенно он оставался в шляпе, что, верно, вовсе не удобно. В той же комнате возле канапе стоял стол, где лежали письменные принадлежности и наполовину обгоревшие тетради; мы узнали, что то была история минувшей войны, и пожар, погубивший тетради, так огорчил Его Величество, что он оставил свой труд. Но впоследствии он, верно, вновь за него принялся, ибо по смерти его сочинение напечатали, но никто к нему интереса не выказал.

Через пять или шесть недель после короткой беседы моей со славным монархом милорд маршал сказал, что король предлагает мне место наставника в кадетском корпусе для дворянских недорослей из Померании, недавно им учрежденном. Числом их было пятнадцать, и он желал дать им пятерых наставников, из чего выходило, что каждый получал троих, да еще шестьсот эку жалования, а столовался с учениками. Посему счастливый наставник должен был тратиться только на платье. У него не было других обязанностей, кроме как всюду сопровождать воспитанников и особливо при дворе в дни празднеств, облачившись в мундир с позументами. Мне надлежало как можно скорее решиться, ибо четверо уже заступили, а государь ждать не любил. Я спросил милорда, где помещается коллегийум, дабы посмотреть место, и обещал дать ответ не позже, чем послезавтра.

Мне понадобилось все хладнокровие, отнюдь мне не свойственное, чтобы удержаться от смеха, услышав столь вздорное предложение от столь рассудительного человека. Но я еще более удивился, увидав, где живет пятнадцать дворян из богатой Померании. Я увидал три или четыре залы, почти без мебели, клетушки, где стояла убогая кровать, стол и пара деревянных стульев, юных кадетов двенадцати-тринадцати лет, скверно причесанных, одетых в скверные мундиры, смахивавших на крестьян. Меж ними видел я наставников, показавшихся мне их слугами, которые глядели на меня со вниманием, не смея вообразить, что я могу оказаться товарищем, коего они ожидают. Когда я собрался уходить, один из воспитателей глянул в окно и сказал:

— Вон скачет король.

Его Величество поднимается вместе с другом своим К. Ицилиусом и начинает все осматривать, видит меня и ни слова мне не говорит. На шее моей сиял орденский крест, я был в щегольском фраке из тафты. Но у меня руки опустились, когда я увидал, как Фридрих Великий во гневе вперился в ночной горшок, стоявший у постели кадета и являвший любопытному взору вековечный осадок, изрядно, видать, вонючий.

— Чья это постель? — спросил король.

— Моя, Сир, — отвечал один из кадетов.

— Ладно, но до вас мне дела нет. Где ваш наставник?

Тут счастливчик предстал пред светлые очи, и государь, назвав его дураком, устроил ему изрядную головомойку. Единственное, в чем он смилостивился, так это в том, что сказал, что у него есть прислуга и его дело наблюдать за чистотой в доме.

Поглядев на бесчеловечную эту сцену, я бочком-бочком в дверь и поспешил к милорду маршалу: мне не терпелось поблагодарить его за великую удачу, какую небо ниспослало мне через его посредство. Он посмеялся, когда я в подробностях поведал ему все происшествие, и сказал, что был прав, презрев эту должность, но прибавил, что я должен непременно поблагодарить короля перед тем, как покинуть Берлин. Он все-таки сам вызвался уведомить Его Величество, что это место мне не подходит. Я сказал милорду, что думаю отправиться в Россию и начал взаправду готовиться к путешествию. Барон Трейден ободрил меня, обещав рекомендовать герцогине Курляндской, своей сестре, и я немедля отписал г-ну де Брагадину, чтоб получить рекомендацию к петербургскому банкиру, каковой будет мне ежемесячно выплачивать сумму, достаточную, чтоб жить безбедно.

Приличия требовали, чтобы я взял с собой слугу, и вот судьба послала мне его, когда я оказался в затруднении. Заявляется к Рюфен юный лотарингец, держа в руках узелок — другой

поклажи у него не было. Он сообщает, что зовут его Ламбер, что он только что прибыл в Берлин и намерен остановиться у нее.

— Пожалуйста, сударь, но вы будете платить за каждый день.

— Сударыня, у меня нет ни гроша, но мне вышлют, когда я напишу, где поселился.

— Сударь, у меня для вас места нет.

Увидав, что он, разобидевшись, уходит, я сказал, что за этот день за него заплачу, и спросил, что у него в мешке.

— Две рубахи, — ответил он, — и два десятка книг по математике.

Я препроводил его в свою комнату и, узнав изрядную его ученость, спросил, по какому случаю очутился он в таком положении.

— В Страсбурге, — отвечал он, — кадет такого-то полка дал мне в кофейне пощечину. На другой день явился я к нему в комнату и убил на месте. Я тотчас воротился в комнату, в которой проживал, сунул в мешок книги и рубашки и покинул город с двумя луидорами и паспортом в кармане. Я шел всю дорогу пешком и денег мне достало до сегодняшнего утра. Завтра я отпишу в Люневиль матушке, и я уверен, она пришлет мне денег. Я рассчитываю поступить здесь на службу в инженерный корпус, ибо полагаю, что могу быть полезен, а на худой конец пойду в солдаты.

Я сказал, что поселю его в каморке для прислуги и дам денег на пропитание, покуда не получит он от матери желанного вспомоществования. Он поцеловал мне руку.

Я не почел его за обманщика затем, что он заикался, но все же тотчас отписал в Страсбург г-ну Шаумбургу, чтоб проведать истинно ли происшествие, о коем он рассказал.

Назавтра поговорил я с офицером инженерного корпуса, который сказал, что молодых образованных людей так много в полку, что их более не принимают, если только они не соглашаются служить солдатами. Мне стало жаль, что парень принужден будет избрать сей путь. Я проводил с ним часы, с циркулем и линейкой в руках, и, видя обширные познания его, вознамерился взять с собой в Петербург и сказал ему о том. Он отвечал, что я составлю его счастье и что охотно станет прислуживать мне в дороге. Он дурно изъяснялся по-французски, но поскольку был родом из Лотарингии, меня это не удивляло; но я поразился, что он не только не знал латыни, но и, написав письмо под мою диктовку, сделал ошибки во всех словах. Я посмеялся, он не устыдился. Он сказал, что в школе учил одну геометрию да математику, радуясь, что скучная грамматика никакого касательства до этих наук не имеет. Сведущий в вычислениях, во всех прочих материях парень был круглым невеждой. Он не знал правил обхождения и по ухваткам своим и поведению выглядел совершеннейшей деревенщиной.

Дней через десять-двенадцать г. Шаумбург написал мне из Страсбурга, что о Ламбере никто не слыхивал и в названном полку ни один кадет не был ни ранен, ни убит. Когда я показал ему письмо, укоряя за ложь, он отвечал, что, желая поступить на воинскую службу, надумал прослыть храбрецом, и я должен извинить его, что он рассказывал, будто мать вышлет денег. Ни от кого он помощи не ждал и принялся уверять, что будет мне верен и никогда более не обманет. Я посмеялся и сказал, что мы уедем дней через пять или шесть.

Я отправился в Потсдам с бароном Бодиссоном, венецианцем, каковой намеревался продать королю картину Андреа дель Сарто, чтоб предстать перед Его Величеством, как то советовал лорд маршал.

Государь прогуливался на плацу. Увидав меня, он тотчас направился в мою сторону, чтоб спросить, когда я намереваюсь ехать в Петербург.

— Дней через пять или шесть. Сир, с дозволения Вашего Величества.

— Счастливого пути. Но чего ищете вы в тех краях?

— Того, что искал здесь. Сир, — понравиться господину.

— Вас рекомендовали императрице.

— Нет, Сир, только банкиру.

— Правду, сказать, это много лучше. Коль будете возвращаться тем же путем, рад буду узнать от вас о тамошних новостях. Прощайте.

Таковы были две беседы мои с великим монархом, коего я более не видал. Распроцавшись со знакомыми и получив от барона Трейдена письмо к г. Кайзерлингу, великому канцлеру Митавы, и еще одно, к г-же герцогине, я провел последний вечер с милой Дени, купившей мою почтовую коляску. Я отправился с двумя сотнями дукатов в кармане, которых хватило бы до конца поездки, если б я не оставил половину в Данциге на разудалой пирушке с молодыми купцами. Незадача эта не позволила подольше задержаться в Кенигсберге, где у меня были рекомендации к губернатору, фельдмаршалу Левальду. Я только на день остановился, чтоб иметь честь пообедать с сим любезным старцем, каковой дал мне письмо в Ригу к генералу Воейкову.

У меня было довольно денег, чтоб пожаловать в Митаву знатным господином, и, наняв четырехместную карету, запряженную шестерней, я в три дня доехал до Мемеля вместе с Ламбером. В трактире я встретил флорентийскую «виртуозку» по имени Брегонци, которая стала расточать мне ласки, уверяя, что я любил ее, будучи еще ребенком и аббатом. Обстоятельства, о коих она

поведала, делали историю вполне правдоподобной, но я никак не мог вспомнить ее лица. Я повстречал ее шесть лет спустя во Флоренции в ту пору, когда вновь повстречал Дени, жившую у нее.

На другой день после отъезда из Мемеля, в полдень, человек, что стоял в одиночестве в чистом поле и в коем я тотчас распознал жида, объявляет мне, будто я нахожусь на участке земли, принадлежащем Польше, и должен заплатить пошлину за товары, кои могу везти; я возражаю, что никаких товаров со мной нет, а он отвечает, что обязан сделать досмотр. Я говорю, что он спятил, и велю кучеру трогать. Жид хватает лошадей под уздцы, кучер не смеет отхлестать прохвоста кнутом, я выхожу с тростью в одной руке и пистолетом в другой, и тот удирает, получив несколько добрых ударов, но во время стычки спутник мой даже не потрудился покинуть карету. Он сказал, что не хотел, чтобы жид мог сказать, что нас было двое против одного.

Через два дня после сего происшествия приехал я в Митаву и остановился напротив замка. В кошельке у меня осталось три дуката.

Наутро в девять часов я отправился к г. Кайзерлингу, который, прочтя письмо барона Трейдена, тотчас представил меня своей супруге и откланялся, чтоб поехать ко двору и отвезти г-же герцогине письмо от ее брата.

Г-жа Кайзерлинг велела подать шоколад, каковой принесла горничная-полька ослепительной красоты. Она стояла предо мною с подносом в руке, опустив глаза, как будто позволяя вволю любоваться редкостной ее красотой. И тут взяла меня охота, я не сдержался, извлек из кармана три последних моих дуката и, возвращая чашку, незаметно положил на поднос, продолжая беседовать с барыней о Берлине.

Через полчаса канцлер воротился и известил, что герцогиня не может теперь меня принять, но приглашает на ужин и бал. От бала я тотчас отказываюсь, сказав правду, что у меня одни летние камзолы да еще черный. Стоял октябрь, и было уже холодно. Канцлер вернулся ко двору, а я вернулся в трактир.

Через полчаса явился камергер, дабы приветствовать меня от имени Его Высочества и сказать, что будет дан бал-маскарад и я могу прийти в домино. Его нетрудно сыскать у жидов.

— Был объявлен бал, но послали гоффурьеров известить дворянство, что будет маскарад, поскольку иностранец, прибывший проездом в Митаву, отослал свой багаж вперед.

Я выказал сожаление, что послужил причиной этой перемены, но он уверил, что, напротив, бал-маскарад, более вольный, нравился всем не в пример больше. Назвав час, он удалился.

Прусские деньги не имели хождения в России, и явившийся жид осведомился, не осталось ли у меня фридрихсталеров, предлагая обменять их на дукаты без какого-либо ущерба для меня. Я возразил, что у меня одни дукаты, он ответил, что сие ему известно и даже то, что я отдаю их задаром. Я не понял, что он имеет в виду, а он прибавил, что готов ссудить двести дукатов, коли я согласен возратить их рублями в Петербурге. Несколько удивленный услужливостью жида, я сказал, что с меня довольно будет ста, и он тут же мне их отсчитал. Я выдал ему вексель на банкира Деметрио Папанелополо, к которому меня адресовал да Лольо. Он поблагодарил и ушел, обещав прислать домино. Ламбер поспешил за ним, чтоб приказать еще и чулки. Вернувшись, он объявил, что тот рассказал хозяину, что я швыряю деньги на ветер и дал три дуката горничной г-жи Кайзерлинг.

Так вот, ничто в мире не бывает ни просто, ни трудно само по себе, а зависит единственно от наших деяний и прихоти фортуны. Я ни гроша бы ни сыскал в Митаве без этого сумасбродства с тремя дукатами. Чудо, что девица тут же все рассказала, и жид, чтоб заработать на обмене, помчался предлагать дукаты знатному господину, который сорил ими.

Я велел к назначенному часу доставить меня ко двору, где сперва г. Кайзерлинг представил меня герцогине, а она меня герцогу, знаменитому Бирону или Бирену, который был фаворитом императрицы Анны Иоанновны и регентом Российским после ее смерти, а затем сослан на двадцать лет в Сибирь. В нем было шесть футов росту и видно было, что прежде был красив, но старость губит красоту. Два дня спустя я имел с ним долгую беседу.

Через четверть часа после прибытия моего начался бал. Открывался он полонезом, и герцогиня почла необходимым оказать мне, как иностранцу, честь, избрав меня в партнеры. Я этого танца не знал, но он настолько прост, что любой, не учась, умеет его танцевать. Это настоящая процессия, где шествует множество пар, поворачивая за первой направо или налево. Несмотря на однообразие па, танец помогает паре выказать свое изящество. Это самый величественный и простой из танцев, где приглашенные на бал могут явить себя во всем блеске.

После полонеза танцевали менуэты, и одна дама, скорее старая, чем молодая, спросила, умею ли я танцевать «любезного победителя». Я отвечал «да», ничуть не удивившись желанию дамы, ибо она, возможно, с блеском танцевала его в молодые годы. Со времен Регентства его более не танцевали. Все юные дамы были в восхищении.

После главного контрданса, который я танцевал с девицей Мантейфель, самой красивой из четырех фрейлин герцогини, та велела сказать, что сейчас подадут ужин. Я тотчас отправился предложить ей руку и оказался рядом с ней за столом на двенадцать персон, где я был единственный

мужчина. Остальные одиннадцать были пожилые дамы. Я удивился, что в маленькой Митаве столько знатных матрон. Герцогиня выказывала мне внимание, вовлекая в беседу, и в конце ужина преподнесла бокал напитка, который я принял за токайское, но то было всего лишь выдержанное английское пиво. Я расхвалил его. Мы вернулись в залу.

Юный камергер, что пригласил меня на бал, познакомил меня с прекрасной половиной местного дворянства, но у меня не достало времени ни за кем поухаживать.

На другой день обедал я у г. Кайзерлинга, а Ламбера отправил к жиду, чтоб ему сыскали приличный наряд.

На следующий день я был приглашен ко двору герцога на обед, где были одни мужчины. Старый князь беспрестанно понуждал меня говорить. В конце обеда зашла речь о богатствах сего края, заключенных в рудах и минералах, и я позволил себе сказать, что богатства эти, от добычи зависящие, неверные, и, чтоб подкрепить свое мнение, принялся рассуждать о сих материях, как если б я знал их до тонкостей и в теории, и на практике. Пожилой камергер, управлявший рудниками Курляндии и Семигалии, покорно выслушав все, что подсказало мне воодушевление, углубился в сей предмет, возражая мне, но в то же время соглашаясь со всем, что я мог сказать дельного об экономии, от коей зависят доходы от добычи.

Если б я знал, начав говорить как знаток, что слушает меня знаток подлинный, я бы, разумеется, был сдержанней в речах, ибо ничего в этом деле не смыслил; и много потерял бы, не сумев пустить пыль в глаза. Сам герцог отнесся с уважением к моим познаниям.

После обеда он проводил меня в кабинет, где просил задержаться на две недели, если я не очень тороплюсь в Петербург. Я объявил, что всецело к его услугам, и он сказал, что камергер, который спорил со мной, покажет мне все заведения, что были во владениях его, и он будет благодарен за все замечания об экономном управлении ими, кои я соблаговолю написать. Я сразу согласился, и отъезд назначили назавтра. Герцог, весьма довольный тем, что я пошел ему навстречу, велел позвать камергера, обещавшего ждать меня на рассвете у ворот трактира в карете, запряженной шестеркой лошадей.

Придя домой, я немедля собрался и велел Ламберу взять с собой готовальню; узнав, в чем дело, он уверил меня, что, хотя наука сия ему неведома, он готов споспешествовать мне в силу своего разумения.

Мы отправились в назначенный час, трое в карете, слуга на запятках, двое других верхами впереди, с саблями и ружьями. Каждые два или три часа мы переменили лошадей и чем-нибудь подкреплялись, попивая доброе рейнское или французское вино, коего у нас в карете был изрядный запас.

Мы употребили на поездку две недели, побывали в пяти селениях, где проживали те, кто работал в рудниках, медных или железных. К чему быть знатоком, всюду можно что-нибудь взять на заметку, пораскинуть умом, в первую голову насчет экономии, о чем особо просил меня герцог. В одном заведении я переделывал то, что почитал ненужным, в другом велел увеличить число работников, чтоб увеличить доход. В главный рудник, где работали тридцать человек, я велел отвести канал от небольшой речки, так, чтоб вода, падая сверху при подъеме шлюза, вертела три колеса, позволявших управителю сберечь двадцать человек; а Ламбер по моим указаниям написал превосходный план работ, замерил высоты, начертил шлюз и колеса, поставил собственноручно земляные знаки, слева и справа, чтоб разметить весь канал целиком. Посредством многочисленных каналов я осушал обширные низменности, чтоб добывать во множестве серы и купороса, коими пропитаны земли, которые мы объезжали.

Я воротился в Митаву в восторге, что, оказывается, не бахвалился, а говорил дело и открыл в себе таланты, о коих не подозревал. Весь следующий день приводил я в порядок свои наблюдения и отдал сделать увеличенные копии с рисунков, которые и присовокупил.

Послезавтра я представил герцогу свои замечания, за которые он умел выказать мне величайшую признательность, и распрощался, поблагодарив за оказанную честь. Он сказал, что прикажет отвезти меня в Ригу в одной из своих карет и даст письмо к сыну, принцу Карлу, что стоял там гарнизоном. Благородный старец, умудренный опытом, спросил, угодно ли мне получить в подарок перстень или его стоимость деньгами. Я отвечал князю, что предпочту деньги, хотя и рад был бы удостоиться чести поцеловать его руку. Он дал мне тогда билет с предписанием казначею уплатить по предъявлению одного четырехста альбрехтталеров. Я получил их голландскими дукатами, отчеканенными в Митаве. Альбрехтталер стоит полдуката. Я отправился поцеловать руку г-же герцогине и во второй раз пообедал у г. Кайзерлинга.

Наутро знакомый мне молодой камергер принес письмо от герцога к сыну и пожелал счастливого пути, сказав, что придворная карета ждет меня у ворот трактира, чтоб отвезти в Ригу. Я отправился, весьма довольный, с заикой Ламбером, и, переменив на полдороге лошадей, приехал в полдень в Ригу, где сразу отослал письмо герцога его сыну, генерал-майору русской службы, камергеру, кавалеру ордена Александра Невского.

Octo rejets \*

## ГЛАВА V

Жительство мое в Риге. Кампиони. Сент-Элен. Драгон. Прибытие императрицы. Я покидаю Ригу и приезжаю в Петербург. Визиты и знакомства. Я покупаю Заиру

Князь Карл Бирон, младший сын владетельного герцога, генерал-майор русской службы, кавалер ордена Александра Невского, уведомленный отцом, принял меня превосходно. Тридцать шесть лет, лицо приятное, хотя и не красивое, учтивый, непринужденный, хорошо говоривший по-французски, он в нескольких словах изъяснил мне, что я могу ждать от него, если намерен пожить сколько-нибудь в Риге. К моим услугам его стол, общество, увеселения, советы, кошелек, но не дом, ибо жил он стесненно; он тотчас сыскал мне весьма удобное пристанище; он тотчас явился ко мне и принудил отобедать с ним, не дав времени переодеться. Первый, кого я с удивлением увидал, был Кампиони, танцовщик, о коем, как верно помнит читатель, я уже говорил в сих Мемуарах раза два или три. Человек этот был много выше ремесла своего. Душа общества, весельчак, повеса, человек без предрассудков, он любил женщин, хороший стол, крупную игру, был осмотрителен, сдержан, смел, жил не тужил и когда фортуна ему благоволила, и когда поворачивалась спиной. Мы оба были рады встрече. Из других гостей был там барон де Сент-Элен из Савойи с молодой женой, не дурной лицом, но препустейшей. Барон, здоровенный толстяк, был игрок, обжора, пьяница, владевший искусством делать долги и уговаривать заимодавцев обождать. Других талантов у него не было, и во всем остальном он был глуп как пень. Был там еще княжеский адъютант, преданный ему телом и душой. Барышня лет двадцати, юная, высокая, худощавая, сидела рядом с хозяином за обедом; то была его любовница. Бледная, томная, задумчивая, она почти Ничего не ела, все было ей не по вкусу, да к тому же она уверяла, что нездорова. На лице было написано неудовольствие. Князь время от времени пытался развеселить ее, рассмешить, уговаривал выпить рюмку; она всем гнушалась и даже досадовала на него; а князь за то над ней потешался и выставлял в смешном виде ее жеманства. Несмотря на это, мы весело провели за столом полтора часа. После обеда князь был занят и, сказав, что за неимением лучшего я могу столоваться у него утром и вечером, вверил меня Кампиони.

Мой давний друг и соотечественник проводил меня до дому и, прежде чем показать Ригу, повез к себе познакомиться с женой и семейством. Я не знал, что он второй раз женился. Его лжеблагодарная была англичанка, весьма любезная, сухопарая, умная, но не так меня заинтересовавшая, как его одиннадцатилетняя дочь, смышленная не по летам, а вдобавок хорошенькая; она изрядно танцевала и пела арии, подыгрывая себе на мандолине. Девочка, быть может слишком ласковая, тотчас меня покорила; отец поздравил ее, а мать оскорбила, назвав психухой. Кровная обида для столь рано созревшей девочки.

На прогулке Кампиони обо всем мне поведал, начав с себя.

— Вот уже десять лет, — сказал он, — как я живу с этой женщиной. Бетти, что так вам понравилась, не моя дочь, в отличие от других. Я покинул Петербург два года назад и живу здесь, открыв школу танцев; ученики и ученицы ее делают мне честь. Я играю у князя, то выигрываю, то проигрываю, но никогда не выигрываю столько, чтоб расплатиться с заимодавцем, который преследует меня из-за векселя, что я подписал в Петербурге. Он может засадить меня в тюрьму, и я всякий день того страшусь. Вексель на пятьсот рублей. Он не желает получать долг частями. Я жду ледостава, и тогда я смогу в одиночку ускользнуть и отправлюсь в Польшу, откуда пошлю жене денег на жизнь. Барон Сент-Элен тоже сбежит, затем что отделяется от заимодавцев пустыми обещаниями. Князь, к которому мы каждый день ходим, нам весьма полезен, ибо у него мы можем играть, но, ежели случится беда и нужны будут деньги, чтоб нас вызволить, он ничем помочь не сможет, ибо сам в долгу как в шелку, а повседневные расходы его изрядно превышают доходы. Он играет и вечно проигрывает. Любовница дорого ему обходится и огорчает своим норовом, требуя, чтоб он сдержал слово. Он обещал выдать ее замуж по прошествии двух лет и с таким уговором она позволила сделать ей двух детей. Она более не допускает его, боясь, что сделает ей третьего. Тем она изрядно ему досаждала, всегда она мрачная, и иной не бывает. Он нашел поручика, который согласен на ней жениться, а ей подавай майора.

На другой день князь задал обед генерал-аншефу Воейкову, к коему у меня было письмо от маршала Левальда, баронессе Корф из Митавы, г-же Ифтиновой и одной красивой барышне, что вскоре вышла замуж за того самого барона Будберга, коего я встречал во Флоренции, Турине, Аугсбурге и Страсбурге и о котором, кажется, забывал доселе упомянуть. Знакомства эти помогли мне с приятностью провести три недели, а особенно генерал Воейков, который был в Венеции пятьдесят лет назад, когда еще русских звали москвитянами, а строитель Петербурга был еще жив. Он посмешил меня, расхваливая венецианцев тех времен, полагая, что они остались все теми же.

От английского купца Колинза я узнал тогда, что лжебарон Генау, всучивший мне в Лондоне подложный вексель, был повешен в Португалии. Он был родом из Ливонии, сын бедного торговца и служил у отца приказчиком.

Тогда один русский, ездивший в Польшу по делам государевым, возвращаясь в Петербург, на

беду свою остановился в Риге, где проиграл в фараон у принца Курляндского двадцать тысяч рублей под честное слово. Метал Кампиони. Русский подписал векселя на эту сумму, но, приехав в Петербург, немедля отправился в коммерц-коллегию опротестовывать собственные векселя, объявив их не имеющими силы, вследствие чего не только выигравшие лишились крупной суммы, на кою рассчитывали, но было запрещено также играть под страхом суровых наказаний во всех домах штаб-офицеров. Этот самый русский, содейвавший подлость, выдавал секреты Елизаветы Петровны, когда она вела войну с Прусским королем, сообщая ее племяннику Петру, наследнику престола, обо всех приказах, кои она посылала генералам. Петр, в свою очередь, все передавал Прусскому королю, пред которым преклонялся. После смерти Елизаветы Петр III поставил его во главе коммерц-коллегии, обнаружив самым непотребным образом, чем он ему обязан. Но неверный министр в том для себя бесчестия не узрел. Метал Кампиони, но банк держал князь, а я вошел в долю из десяти процентов, каковы должен был получить, когда этот русский оплатит первый вексель; но я прямо за столом сказал князю, что не верю, что русский заплатит, и охотно уступлю свою долю за сотню рублей, а князь, поймав меня на слове, уплатил мне их, и так я единственный оказался в выигрыше.

В ту пору императрица Екатерина II, желая посмотреть государство, властительницей коего сделалась, и себя показать, проезжала через Ригу по пути в Варшаву, где добилась великого торжества, посадив на престол Станислава Понятовского, давнего своего знакомца. В Риге я впервые увидел великую государыню. Я был свидетелем, с какой ласковостью и приветливостью принимала она в большой зале изъявления верноподданнических чувств от ливонского дворянства, как целовалась она с благородными девицами, подходившими облобызать ей руку. Окружали ее Орловы и еще трое или четверо других, бывших во главе заговора. Для увеселения верных своих служителей она милостиво соизволила сказать, что намерена держать небольшой банк в фараон на десять тысяч рублей. В тот же миг принесли золото и карты. Екатерина села, взяла в руки колоду, сделала вид, что тасует, дала снять первому попавшемуся и имела удовольствие видеть, как банк был сорван после первой тальи. Так, по крайней мере, должно было быть, если понтирующие не сошли с ума, ведь раз колода не стасована, то, увидав первую, все тотчас поняли, какая карта выигрышная. На следующий день она уехала в Митаву, где ее встречали деревянными триумфальными арками — или камень там был редок, или не достало времени соорудить что-либо более основательное.

Но на другой день в полдень тревога охватила всех, когда узнали, что в Петербурге едва не случилась революция. Попытались силой освободить из Шлиссельбургской крепости, где он содержался, несчастного Иоанна Иоанновича, который был провозглашен в колыбели императором, а лишен престола Елизаветой Петровной. Два офицера из крепостной охраны, коим был вверен славный узник, убили мученика-императора, чтоб воспрепятствовать похищению его, и схватили смельчака, измыслившего сие великое предприятие, которое в случае удачи вознесло бы его на вершину судьбы. Мученическая смерть императора произвела такое волнение в городе, что осмотнительный Панин, опасаясь бунта, стал немедля слать гонца за гонцом, дабы известить государыню, что ей надобно быть в столице. По той причине Екатерина покинула Митаву через сутки после приезда и вместо того, чтоб отправиться в Варшаву, понеслась во весь опор в Петербург, где застала мир и порядок. Повинуясь государственным интересам, она наградила убийц несчастного императора и велела отрубить голову честолюбцу, который токмо из желания возвыситься покушался свергнуть ее.

Все разговоры, что она была заодно с убийцами, — чистая клевета. Душа у нее была властная, но не черная. Когда я увидел ее в Риге, ей было тридцать пять лет и царствовала она уже два года. Она не была красива, но по праву нравилась всем, кто знал ее: высокая, хорошо сложенная, приветливая, обходительная и, главное, всегда спокойная.

В ту пору из Петербурга приехал приятель барона де Сент-Элена, направлявшийся в Польшу. То был маркиз Драгон, прозывавшийся д'Арагон, неаполитанец, великий игрок, красавец, храбрец, всегда готовый со шпагой в руках дать ответ тому, кто искал с ним ссоры, если он того был достоин. Он покидал Россию затем, что Орловы убедили императрицу запретить азартные игры. Многие дивились, что запрету способствовали те самые Орловы, что только игрой и жили, пока не преуспели другим манером, гораздо более рискованным; но ничего удивительного в том не было. Орловы знали, что игрок, вынужденный кормиться игрой, не может не плутовать, и потому имели все резоны запретить промысел, в коем преуспевали одни плуты. Они бы так не поступили, когда бы не купались в роскоши. Но сердце у них было доброе. Алексей получил шрам, что у него на лице, в кабацкой драке — за нож схватился человек, которого он обыграл. Едва Алексей разбогател, он первым возвысил того, кто его расплосовал.

Так этот самый Драгон, неаполитанец, обладавший двумя талантами: искусно держать карты и шпагу, покинул в 1759 году вместе с бароном де Сент-Элен Копенгаген и приехал в Петербург через Стокгольм и Выборг, что в Ингермаландии. Тогда царствовала Елизавета, но одним из первых лиц был Петр, герцог Голштинский, объявленный ею наследником. Драгону вздумалось прийти в фехтовальную залу, куда князь частенько хаживал поупражняться на рапирах. Своими

неаполитанскими приемами Драгон всех побил. Великий герцог Петр осерчал на неаполитанского маркиза, явившегося в Петербург учить русских фехтованию. И вот однажды он взял рапиру, предложил Драгону стать в позицию, наголову разбил его в двухчасовом поединке и удалился, гордый, что поверг неаполитанца, превозмогшего российских забияк, и тем доказал, что всех искуснее.

После ухода князя Драгон без церемоний объявил, что позволил побить себя, боясь доставить ему неудовольствие. Хвастливые слова тотчас были переданы великому герцогу, который взбеленился и поклялся, что заставит его выказать свое умение, велел иностранцу завтра же быть в фехтовальной зале.

Драгон д'Арагон пришел, и князь, увидав его, начал упрекать за такие речи. Драгон не стал отпираться, и сказал, что боялся выказать ему неуважение; но князь отвечал, что прикажет выгнать его из Петербурга, если он не будет сражаться, как похвалялся.

— Как будет угодно Вашей Светлости, — произнес неаполитанец, — тогда вы не нанесете мне ни одного укола, и надеюсь, что не прогневаетесь, а окажете мне честь покровительством вашим.

Они фехтовали все утро и так и сяк, и великий герцог никак не мог достать Драгона. В конце концов князь швырнул рапиру, сделал его своим учителем фехтования и майором в гвардейском полку Голштинии. Вскоре маркиз испросил дозволения держать при дворе банк в фараон и в три или четыре года заработал сто тысяч рублей, которые и взял с собой ко двору нового короля, Станислава, где дозволялись любые игры. По приезде в Ригу Сент-Элен представил его принцу Карлу, который просил его завтра с рапирой в руках показать свое искусство ему и нескольким его друзьям. Я был в их числе. Он всем нанес уколы. Я был раздосадован его дьявольским умением, ибо знал свою силу, и в сердцах сказал, что не побоюсь сразиться с ним на шпагах. Он тотчас меня успокоил, сказав, что на шпагах дерется совсем иначе. На другой день маркиз уехал, а в Варшаве повстречал шулеров, которые не стали меряться с ним силами в фехтовании, а вчистую обыграли за полгода.

За неделю до отъезда моего из Риги, где я прожил два месяца, Кампиони тайно бежал с помощью милейшего принца Карла, а еще через три-четыре дня за ним последовал барон де Сент-Элен, также позабыв распрощаться с заимодавцами. Он написал англичанину Колинзу, коему должен был тысячу экю, что как честный человек оставляет свои долги там, где их сделал. Мне еще придется вспомнить об этих трех персонажах в ближайшие два-три года. Кампиони оставил мне дормез, чем принудил ехать в Петербург шестериком. С немалым огорчением распрощался я с дочерью его Бетти, а с ее матерью я переписывался все время, что жил в Петербурге. Я покинул Ригу 15 декабря в жестокий мороз, но я его даже не почувствовал. Я ехал день и ночь, не покидая дормеза, и добрался за шестьдесят часов. Быстрота сия проистекала от того, что в Риге я оплатил наперед все перемены, выправив подорожную у губернатора Ливонии маршала Брауна. Путь этот примерно равен дороге от Парижа до Лиона, ибо французская миля равна примерно четырем верстам с четвертью. Рядом с кучером сидел лакей-француз, каковой предложил прислуживать мне до Петербурга даром, прося только дозволения ехать на облучке. Он превосходно мне служил, хотя был худо одет, три ночи и два дня терпел жестокий мороз и все-таки чувствовал себя отменно. Я вновь встретил его в Петербурге спустя три месяца — он сидел в ливрее рядом со мной за столом у г. Чернышева, будучи «учителем» \* молодого графа, сидевшего рядом с ним. Мне еще представится случай изъясниться о природе российских «учителей». Слово это значит «наставник».

Юный Ламбер, лежавший рядом со мной в дормезе, только и делал, что ел, пил и спал и ни слова не проронил, ибо мог говорить, заикаясь, об одной математике, что не всечасно меня занимало. Ни шутики, ни жалобы, ни единого замечания о том, что видишь в пути; он был скучен и глуп и потому никогда не скучал. В Риге, где я никому его не представил, ибо сие было никак не возможно, он ничего другого не делал, кроме как ходил в залу к учителю фехтования, где свел знакомство с бездельниками и ходил с ними в кабак накачиваться пивом; не знаю, где он брал на то деньги, хоть и небольшие.

За всю недолгую дорогу от Риги до Петербурга я только раз задержался на полчаса в Нарве, где надо было предъявить паспорт, коего у меня не было. Я объявил губернатору, что, будучи венецианцем и путешествуя для собственного удовольствия, я никогда не видел нужды в паспорте, ибо моя республика ни с какой державой не воюет, а российского посланника в Венеции нет.

— Ежели ваше превосходительство, — сказал я, — усматривает какие-либо препятствия, я готов воротиться назад, но я пожалуюсь маршалу Брауну, который выписал мне подорожную, зная, что никакого паспорта у меня нет.

Губернатор поразмыслил немного и выдал мне нечто вроде паспорта; он до сих пор у меня хранится и с ним я въехал в Петербург, хотя никто его у меня не спросил и даже не заглянул в карету. От Копорья до Петербурга нет нигде пристанища; пообедать или переночевать можно только в частном доме, а не на станции. Край этот пустынный и даже по-русски здесь не говорят. Говорят в Ингермаландии на особом языке, ни на какой другой не похожий. Крестьяне сей губернии развлекаются тем, что ташут, что могут у путников, коль те оставят карету на миг без присмотра.



Я въехал в Петербург вместе с первыми лучами солнца, позолотившими небосвод. Поскольку то был день зимнего солнцеворота и я видел его восход над бескрайней равниной ровно в девять часов двадцать четыре минуты, то могу уверить читателя, что самая долгая ночь в той стороне длится восемнадцать часов и три четверти.

Я остановился на большой и красивой улице, что называется Миллионная. Мне сдали недорого две хорошие комнаты, где сперва не было никакой мебели, но потом принесли две кровати, четыре стула и два столика. Я увидел печи огромных размеров и решил, что нужна уйма дров, чтоб их протопить — отнюдь нет; только в России владеют искусством класть печи, как в Венеции — обустроить водоем или источник. Я исследовал в летнее время внутренность квадратной печи высотой в двенадцать футов и шириной в шесть, что была в углу большой залы. Я осмотрел ее от очага, где сжигали поленья, до самого верху, где начинался дымовник, по которому дым шел в трубу, я увидел, говорю, печные обороты, что, извиваясь, поднимаются вверх. Печи эти целый день сохраняют тепло в комнате, которую обогревают, благодаря отверстию наверху у основания трубы, кое слуга закрывает, потянув за веревочку, как только убедится, что весь дым от дров вышел. Как только через маленькое оконце в низу печи он видит, что все дрова стали углями, он преграждает ход теплу и вверх и вниз. Крайне редко печь топят два раза в день, кроме как у вельмож, где слугам запрещено закрывать вьюшку. Причина мудрого сего запрета вот какая.

Если случится хозяину, воротившись домой уставшим с охоты или с дороги, приказать истопить ему перед сном печь, а слуга по оплошности или второпях закроет вьюшку, когда еще не весь дым вышел, спящий не проснется более. Он отдаст Богу душу через три-четыре часа, стена с закрытыми глазами. Утром входят в комнату, чуют угарный дух, видят покойника, открывают поддувало внизу, оттуда вырывается облако дыма и тотчас заполняет залу, распахивают двери и окна, но хозяина уже не воскресить, тщетно ищут слугу, каковой ударился в бега, и непременно находят, с легкостью удивительной, и вешают, хоть он и божится, что не имел злого умысла. Средство верное, ибо без этого мудрого установления любой слуга мог бы безнаказанно отравить своего господина.

Уговорившись, сколько причитается с меня за дрова и стол, и найдя цену весьма умеренной (чего уж нет более, все так же дорого, как в Лондоне), я купил комод и большой стол, чтоб на нем писать и разложить бумаги и книги.

Я обнаружил, что в Петербурге, все, кроме простонародья, говорят на немецком языке, который я с трудом понимал, но мог изъясниться, подобно тому, как сейчас. Сразу после обеда хозяин сообщил, что при дворе дают бал-маскарад, *gratis* \*, на пять тысяч человек. Длился он шестьдесят часов. Была тогда суббота. Хозяин дал мне требуемый билет, каковой надо было только показать у ворот императорского дворца. Я решаю идти, вспомнив о домино, купленном в Митаве. Я посылаю за маской, и носильщики доставляют меня ко двору, где вижу великое множество людей, танцующих в комнатах, где играли всякие оркестры. Я обхожу комнаты, вижу буфетные, где все, кто желал утолить голод или жажду, ели и пили. Вижу всюду веселие, непринужденность, роскошь, обилие свечей, от коих было светло, как днем, во всех уголках, куда б я ни заглядывал. Всё, по справедливости, кажется мне пышным, великолепным и достойным восхищения. Три или четыре часа проходят незаметно. Я слышу, как рядом маска говорит соседу:

— Гляди, гляди, государыня; она думает, что ее никто не признает, но ты сейчас увидишь Григория Григорьевича Орлова: ему велено следовать за нею поодаль; его домино стоит подороже десяти «купеек», не то, что на ней.

Я следую за ней и убеждаюсь сам, ибо сотни масок повторили то же, делая вид, что не узнают ее. Те, кто взаправду не признал государыню, натыкались на нее, пробираясь сквозь толпу; и я воображал, как должна она быть довольна, уверившись, что никто ее не узнает. Я видел, как частенько подсаживалась она к людям, которые беседовали промеж собой по-русски и, быть может, говорили о ней. Так она могла услышать нечто неприятное, но получала редкостную возможность узнать правду, не лгая себя надеждой услышать ее из уст тех, кто обхаживал ее без маски. Я видел издали маску, которую окрестили Орловым — он не терял ее из виду; но его все признавали по высокому росту и голове, опущенной долу.

Я вхожу в залу, где танцуют кадрили, и с удовольствием вижу, что танцуют ее изрядно, на французский манер, но меня отвлекает вошедший в залу мужчина, одетый венецианцем — баута, черный плащ, белая маска, заломленная шляпа. Я уверяюсь, что он и впрямь венецианец — чужеземцу никогда не одеться так, как мы. По случайности он становится посмотреть на танцы рядом со мной. Мне взбрело на ум обратиться к нему по-французски; я говорю, что видел в Европе многих людей, одетых венецианцами, но его наряд настолько хорош, что я готов принять его за венецианца.

— А я и вправду из Венеции.

— Я тоже.

— Я не шучу.

— Я тем более.

— Тогда перейдем на венецианский.

— Начинайте, я отвечу.

Он начинает разговор и по слову «Sabato», что значит «суббота», я понимаю, что он не из Венеции.

— Вы, — говорю, — венецианец, но не из столицы, иначе сказал бы «Sabo».

— Так и есть, а, судя по вашему выговору, вы действительно из столицы. Я полагал, что в Петербурге нет другого венецианца, кроме Бернарди.

— Всякий может ошибиться.

— Я граф Вольпати из Тревизо.

— Скажите мне ваш адрес, я назову свое имя у вас, здесь я этого сделать не могу.

— Извольте.

Я покидаю его и спустя два-три часа меня привлекает девица, одетая в домино, окруженная толпой масок, она писклявит на парижский лад, как на балу в Опере. Я не узнаю ее по голосу, но по речам уверяюсь, что эта маска хорошая моя знакомая, ибо непрестанно слышу словечки и обороты, что я ввел в моду в парижских домах: «Хорошенькое дело! Дорогуша!» Обилие подобных фраз, моего собственного изготовления, пробуждает во мне любопытство. Я молча стою рядом и терпеливо жду, когда она снимет маску, чтоб украдкой увидеть ее лицо, и через час удача мне улыбнулась. Ей нужно было высморкаться и я узнал, пораженный, Баре, чулочницу с улицы Сент-Оноре, на чьей свадьбе в особняке Эльбефов я гулял семь лет назад. Какими судьбами в Петербурге? Угасшая страсть пробуждается во мне, я подхожу и говорю тоненько, что я ее друг из особняка Эльбефов.

Она замолкает, не зная, что отвечать. Я говорю ей на ухо: Жильбер, Баре, те вещи, что могла знать только она и ее возлюбленный, в ней пробуждается любопытство, она говорит со мной одним. Я напоминаю ей об улице Прувер, она понимает, что мне все про нее известно, поднимается, покидает общество, оставляет окружавших ее и принимается прогуливаться со мной, заклиная назвать себя, когда я говорю, что имел счастье быть ее возлюбленным. Она умоляет никому не сказывать то, что знаю о ней, говорит, что уехала из Парижа с г. де л'Англадом, советником руанского Парламента, коего она покинула ради директора комической оперы, каковой взял ее с собой в Петербург как актрису, что прозывается она теперь л'Англад, а содержит ее граф Ржевуский, польский посол. — Но кто вы?

Уверившись, что она не сможет отгадать, я открыл лицо. Узнав меня, она сошла с ума от радости, сказала, что меня привел в Петербург ее ангел-хранитель, ибо Ржевускому надобно возвращаться в Польшу, что только такому человеку, как я, она могла довериться, дабы покинуть Россию, каковую терпеть не могла, где принуждена заниматься ремеслом, для коего не создана, ибо не умела ни представлять, ни петь. Она сказала мне адрес и час, и я оставил ее веселиться на балу, чрезвычайно обрадованный встречей.

Я отправился в буфетную, где отменно поел и выпил, затем вновь воротился в толпу, где увидал, что Ланглад беседует с Вольпати. Он видел ее со мной и захотел выведать мое имя, но, храня тайну, как я велел, она отвечала, что я ее муж, и так ко мне обратилась. Она сказала, что маска не поверила правде. Признание юной сумасбродки было из тех, что делают на балах. Проведши там немало часов, я решил воротиться в трактир, сел в портшез и отправился спать, намереваясь потом пойти к мессе. Отправляли службу в католическом храме длиннородые монахи-францисканцы. Пospав как следует, я открываю глаза и удивляюсь, что никак не рассветет. Поворачиваюсь на другой бок, засыпаю, но через четверть часа пробуждаюсь, сетуя, что так помалу сплю. Светает, я встаю в уверенности, что дурно провел ночь, зову людей, одеваюсь, посылаю за парикмахером и велю слуге поторопиться, ибо хочу поспеть к воскресной службе; он отвечает, что сегодня понедельник и я провел в постели двадцать семь часов; уразумев, в чем дело, я смеюсь и убеждаюсь, что все правда, раз я умираю с голода. Вот единственный день моей жизни, который я и впрямь, могу сказать, потерял. Я велел отнести себя к Деметрию Папанелопуло, греческому купцу, у которого был открыт кредит на сто рублей в месяц. С рекомендательным письмом от Даль Ольо я был принят исключительно радушно; он просил меня обедать у него все дни и тотчас уплатил за прошедший месяц, присовокупив, что учел мой митавский вексель. Он сыскал мне слугу, за коего поручился, и карету за восемнадцать рублей в месяц, что составляло чуть более шести цехинов. Такая дешевизна меня подивила; но нынче все не так. Он оставил меня обедать и за столом я свел знакомство с юным Бернарди, чей отец был отравлен по подозрению, о коем не должно распространяться. Юноша прибыл в Петербург ходатайствовать об уплате денег, что причитались покойному отцу за бриллианты, проданные императрице Елизавете. Он жил на полном пансионе у Папанелопуло. После обеда явился граф Вольпати и поведал о случае на балу, когда он повстречал неведомого венецианца, обещавшего нанести ему визит. Поскольку он узнал меня по имени, то сразу вообразил, что это я, когда купец меня представил, и я не стал отпираться.

Граф собирался уезжать, как о том уже пропечатали в газете; таков обычай в России — выдавать паспорт спустя две недели, как публику известят об отъезде. По этой причине купцы охотно поверяют чужеземцам на слово, а чужеземцы крепко думают, прежде чем залезть в долги, ибо надеяться им не на что. Бернарди мечтал поскорей избавиться от графа Вольпати, любовника некоей танцовщицы по имени Фузи, от которой мог надеяться кой-чего добиться только после его отъезда.

Эта самая Фузи после отъезда графа так ловко окрутила неопытного влюбленного, что женила на себе, уронив юнца в глазах императрицы, велевшей заплатить ему, но не пожелавшей слушать тех, кто просил для него места. Два года после моего отъезда он умер, и я не знаю, что стало со вдовой.

На другой день я отнес письмо Петру Ивановичу Мелиссино, тогда полковнику, а ныне генералу от артиллерии. Письмо было от г-жи Даль Ольо, чьим любовником он был. Он принял меня ласково, представил любезной своей супруге и раз навсегда просил непременно ужинать у него. Хозяйство он вел на французский лад, у него играли и ужинали без церемоний. Я свел знакомство со старшим его братом, прокурором Синода, женатым на княжне Долгорукой; играли в фараон, общество состояло из людей, не привыкших ни сетовать на проигрыш, ни бахвалиться выигрышем, а посему уверенных, что правительство не дознается, что нарушают закон, запрещающий игры. Держал банк барон Лефорт, сын славного Лефорта. Тот, кого я видел, был тогда в немилости из-за лотереи, которую устроил в Москве для увеселения придворных в честь восшествия на престол императрицы, под собственное ее обеспечение. Лотерея лопнула из-за нерадивых служителей, клевета сделала виновным барона. Я играл по маленькой и выиграл несколько рублей. За ужином мы сидели рядом, свели знакомство, и, когда я посетил его, он сам поведал мне о своих невзгодах. Заговорив об игре, я с похвалой отозвался о благородной невозмутимости, с которой князь \*\*\* проиграл ему тысячу рублей. Он рассмеялся и сказал, что изрядный игрок, невозмутимостью коего я так восхищался, никогда не платит.

— А долг чести?

— Честь от сего не страдает. Существует негласный уговор, что платить аль нет — дело самого проигравшего, и никто тут не указ. Выигравший выставит себя на посмешище, потребовав уплаты.

— Но тогда банкромет принужден отказывать тем, кто играет под честное слово.

— Да, и никто не в обиде. Либо игрок уходит, либо оставляет залог прямо на кону. Юноши из лучших семей выучились плутовать и похваляются тем; некто Матюшкин уверяет, что никакому иноземному мошеннику его не обыграть. Он нынче получил дозволение отправиться на три года путешествовать и рассчитывает вернуться богачом.

Я познакомился у Мелиссино с молодым гвардейским офицером Зиновьевым, родственником Орловых, который свел меня с английским посланником Макартни, красивым и умным юношей, исполненным ума, имевшим слабость влюбиться в девицу Хитрово, фрейлину императрицы, и дерзость сделать ей ребенка. Императрица сочла сию английскую вольность недопустимой, простила девицу, превосходно танцевавшую на императорском театре, и настояла на отзыве посланника. Я звал брата фрейлины, уже тогда офицера, красивого юношу, подававшего большие надежды. На том самом дворянском придворном спектакле, где танцевала Хитрово, видел я также танец девицы Сиверс, ныне княгини Н. Н., которую повстречал четыре года назад в Дрездене вместе с дочерью ее, превосходно воспитанной, искусной рисовальщицей. Девица Сиверс очаровала меня. Я влюбился, но не имел случая объясниться, не быв ей представлен. Танцевала она отменно. Кастрато Путини пользовался ее благосклонностью, заслужив ее своим талантом и умом. Он жил там же у графа Сиверса. Именно Путини вызвал в Петербург венецианского регента Галуппи по прозванию Буранелло, каковой прибыл на следующий год, когда я уезжал.

Деметрио Папанелопуло познакомил меня с кабинет-министром Алсуфьевым, большим и толстым, единственным образованным человеком из всех, с кем свел я знакомство в России, ибо он черпал знания не из Вольтеровых книг, а учился в юности в Упсале. Этот редкостный муж, любивший женщин, вино и изысканный стол, пригласил меня на обед к Локателли в Екатерингоф, в государев дом, пожалованный в пожизненное владение престарелому директору театров. Он удивился, увидав меня, а я того пуще, увидав, что он стал ресторатором, ибо именно этим он и занимался в Екатерингофе, где по рублю с головы, без вина, кормил всех приезжих превосходным обедом. Г-н Алсуфьев представил меня другому статс-секретарю, Теплому, любителю пригожих мальчиков; он выслужился, удавив Петра III, который лимонадом спасся от мышьяка. Третьему статс-секретарю, Гелагину, проведшему двадцать лет в Сибири, меня представила его любовница, танцовщица Мекур, каковой я отнес письмо от Сантины, мы с ней познакомились проездом в Берлине. Письмо Даль Ольо сделало меня своим человеком в доме кастрата Луини, обладавшего чудным голосом, красивого, обходительного, гурмана и хлебосола. Колонна, первая певица, была его любовницей. Они жили вместе, чтоб изводить друг друга. Я ни разу ни видел их в добром согласии. У Луини я свел знакомство с другим кастратом — любезным и ловким, по имени Миллико, вхожему к обер-егермейстеру Нарышкину. Он рассказал обо мне вельможе, человеку любезному, ценителю изящной словесности, и тот изъявил желание со мной познакомиться. Он был мужем известной всем Марии Павловны. За роскошным столом обер-егермейстера я познакомился с «калогером» \* Платоном, ныне архиепископом новгородским, а тогда духовником императрицы. Этот русский монах знал греческий, говорил на латыни и французском, был красив, умен и конечно же преуспел в стране, где никогда дворянство не опускалось до того, чтоб домогаться церковных должностей.

Я отнес письмо Даль Ольо княгине д'Ашковой, что жила в трех верстах от Петербурга; ее

удалили от двора после того, как она помогла императрице взойти на престол, рассчитывая править вместе с ней. Екатерина умерила ее честолюбие. Княгиня носила траур по мужу, скончавшемуся в Варшаве. Она замолвила обо мне слово перед гр. Паниным и спустя три дня прислала записку, известив, что я могу явиться к нему, когда мне будет угодно. Я восхитился императрицей: она наложила опалу на княгиню д'Ашкову, но не препятствовала первому министру ездить к ней каждый вечер. Я слышал от лиц, заслуживающих всяческого доверия, что граф Панин был не любовником г-же Д'Ашковой, а отцом. Княгиня стала нынче президентом Академии наук. Ученые мужи сгорели бы со стыда, что ими правит женщина, когда бы не признали в ней Минерву. Единственное, чего России не хватает, — это чтобы какая-нибудь великая женщина командовала войском.

Меня поразила одна вещь, кою наблюдал я вместе с Мелиссино: как на Крещение крестят детей в Неве, покрытой пятифутовым льдом. Их крестят прямо в реке, окуная в проруби. Случилось в тот день, что поп, совершавший обряд, выпустил в воде ребенка из рук.

— «Другой», — сказал он.

Что значит: «дайте мне другого», но что особо меня восхитило, так это радость отца и матери утопшего младенца, который, столь счастливо умерев, конечно, не мог отправиться никуда, кроме как в рай.

Я отнес письмо от флорентийки, г-жи Бригонци, у которой ужинал в Мемеле, к ее подруге, коей, как она уверяла, я могу быть полезен. Подруга ее была венецианкой, звали ее г-жа Рокколини; она покинула Венецию, дабы петь на петербургском театре, не зная ни музыки, ни азов ремесла. Императрица, посмеявшись над таким сумасбродством, сказала, что для нее нет места; но что тогда сделала синьора Виченца (так ее звали)? Она завела нежную дружбу с одной французенкой, женой французского купца Проте, жившей у обер-егермейстера. Женщина эта была любовницей вельможи и наперсницей его жены Марии Павловны, которая мужа не любила и была в восторге, что французенка избавляет ее от исполнения супружеского долга, если б того вдруг обуял подобный каприз. Но Проте была тогда первой красавицей Петербурга. В расцвете лет, она соединяла изысканную галантность с тонким вкусом. Ни одна женщина не могла сравниться с ней в умении одеваться, общительность ее привораживала; стоило назвать в Петербурге ее имя, как все наперебой завидовали счастью обер-егермейстера. И у такой женщины синьора Виченца сделалась наперсницей. Она приглашала к себе тех, кто влюблялся в ее подругу и заслуживал внимания, а Проте никогда не отказывалась навестить ее. Синьора Виченца без зазрения принимала дары и с той, и с другой стороны.

Увидав синьору Виченцу, я тотчас ее признал, но с той поры минуло двадцать лет, и она не удивилась, что я предпочел забыть, что было промеж нами, а сама напоминать не стала. Это ее брат, Монтеллато, выйдя как-то ночью из Ридотто, хотел зарезать меня на площади Святого Марка; это у нее составили заговор, который стоил бы мне жизни, если б я не выпрыгнул в окно. Она встретила меня как дорогого соотечественника, как старинного друга, встреченного на чужбине, в подробностях поведала о своих горестях, превознося собственное мужество. Она уверяла, что ни в ком не нуждается и водит знакомство с прелестнейшими женщинами Петербурга.

— Я удивляюсь, — сказала она, — так часто обедать у Нарышкина и не познакомиться с красавицей Проте, его душенькой; приходите пить завтра кофе ко мне и вы увидите чудо.

Я прихожу и вижу: она превыше всяческих похвал. Деньгами я был не богат и мог полагаться только на свой ум, чтоб понравиться ей; я спрашиваю, как ее имя, она говорит «Проте», я отвечаю, что, значит, «Проме»; я изъясняю игру слов, шучу, рассказываю истории, даю понять, какой огонь зажгла она в моей душе, не отчаиваюсь стать со временем счастливейшим из смертных, и вот мы друзья. С тех пор, бывая у обер-егермейстера, я всегда заходил к ней в комнату до и после обеда.

В ту пору польский посол воротился в Варшаву, и я принужден был покончить любовь с л'Англад, принявшей лестное предложение графа Брюса. Я перестал посещать ее. Сия прелестница умерла через полгода от оспы. Я желал добиться благосклонности Проте и для того пригласил на обед к Локателли в Екатерингоф Луини с Колонной, гвардейского офицера Зиновьева, Проте и синьору Виченцу с ее любовником-скрипачом. За удалой пирушкой гости распалились, после кофе парочки возжелали уединения, и я начал сблизиться с красавицей, но не настаивал на главном за недостатком времени. Мы пошли посмотреть, что Луини добудет на охоте: он взял с собой собак и ружья. Отойдя от государева дома шагов на сто, я указал Зиновьеву крестьянку поразительной красоты; он видит ее, согласно кивает, мы направляемся к ней, она, спасаясь бегством, влетает в избу, мы вослед и видим отца, мать, все семейство ее, а она забилась в угол, как кролик, боящийся, что его растерзают псы.

Зиновьев, который, заметим в скобках, через двадцать лет приехал в Мадрид в звании императорского посланника, долго разговаривает с отцом по-русски; я понимаю, что речь идет о девушке, раз отец подзывает ее и она, покорная, послушная, подходит и становится рядом. Через четверть часа он за порог, и я с ним, дав старику рубль. Зиновьев объясняет, что спросил у отца, не хочет ли он отдать дочь в услужение, и что отец согласился, но требовал сто рублей за ее девство.

— Сами видите, — сказал он, — тут дело не выгорит.

— Как так? А коли я выложу сто рублей?  
— Она будет вам служить и вы будете вольны спать с ней.  
— А ежели она не захочет?  
— А! Так не бывает. Вы барин — велите ее высечь.  
— Допустим, она противиться не станет. А коли я наслажусь ею и пуще прежнего разохочусь, я вправе её у себя оставить?  
— Сколько вам повторять, вы сделаетесь её барином и можете приказать арестовать ее, коли она сбежит, ежели только вам не возвернут заплаченные за нее сто рублей.  
— А какое жалование ей положить?  
— Ни гроша. Кормите, поите, отпускайте в баню по субботам и в церковь по воскресеньям.  
— А когда я покину Петербург, волен ли я понудить ее ехать со мной?  
— Нет, если только не получите особое дозволение, оставив залог. Пусть она ваша холопка, а все государева крепостная.

— Отлично. Окажите мне услугу. Я дам сто рублей и возьму ее к себе; уверяю вас, я не буду обращаться с ней, как с рабой; но мне нужна ваша помощь — я не хочу остаться в дураках.

— Я с ними сам потолкую и, уверяю вас, меня не обманут. Вам угодно сейчас этим заняться?

— Отнюдь. Лучше завтра, не хочу, чтоб другие о том прознали. В девять утра я у вас.

Мы возвратились в Петербург в фаэтоне, а наутро в названный час я был у Зиновьева, который был рад услужить мне. По дороге он объявил, что будь у меня охота, он берется в несколько дней составить мне сераль — из стольких девушек, сколько я пожелаю. Я дал ему сто рублей.

Мы приезжаем к крестьянину, дочь там. Зиновьев все ему растолковывает, крестьянин благодарит Николая-угодника за ниспосланную милость, обращается к дочери, та смотрит на меня и произносит «да». Тогда Зиновьев говорит, что я должен удостовериться, что она девственна, ибо должен расписаться, что таковой взял ее на службу. По причине воспитания я чувствовал себя уязвленным, что принужден нанести ей подобный afront, но Зиновьев ободрил меня, сказав, что ей будет в радость, коль я засвидетельствую перед родителями, что она девка честная. Тогда я сел, поставил ее промеж ног, сунул руку и уверился, что она целая; но правду сказать, я все одно не стал бы изобличать ее. Зиновьев отсчитал отцу сто рублей, который дал их дочери, а та вручила матери. Тут вошли мой слуга и кучер, подписью своей засвидетельствовать то, про что не знали. Девушка, которую я стал звать Заирой, села в карету и поехала с нами в Петербург как была, в платье из грубого холста и без рубашки. Поблагодарив Зиновьева, я четыре дня не выходил из дому и не расставался с ней, пока не одел ее на французский манер, красиво, но без роскоши. Незнание русского мучило меня, но она менее чем в три месяца выучила итальянский, прескверно, но довольно, чтоб изъяснить, чего ей надобно. Она полюбила меня, затем стала ревновать и однажды чуть не убила, как читатель увидит из следующей главы.

## ГЛАВА VI

Кревкер. Бомбах. Путешествие в Москву. Продолжение петербургских моих приключений

В тот день, как привез я Заиру, я отослал Ламбера. Он всякий день напивался, я не знал, что с ним делать. Его могли только забрать в солдаты. Я выправил ему паспорт и дал денег до Берлина. Семь лет спустя в Гориции я узнал, что он поступил в австрийскую службу.

В мае месяце Заира так похорошела, что когда меня взяла охота поехать в Москву, я побоялся оставить ее в Петербурге и взял с собой, решив обойтись без слуги. Я получал неизъяснимое удовольствие, когда слышал, как она говорит по-венециански. По субботам я ходил с ней в русские бани, дабы помыться в обществе еще человек сорока, мужчин и женщин, вовсе нагих, кои ни на кого не смотрели и считали, что никто на них не смотрит. Подобное бесстыдство проистекало из чистоты нравов. Я дивился, что никто не глядит на Заиру, что казалась мне ожившей статуей Психеи, виденной на вилле Боргезе. Грудь ее еще наливалась, ей было всего тринадцать лет и не было заметно явственных следов созревания. Бела как снег, а черные волосы еще пушистый блеск придавали белизне. Если б не проклятая ее неотступная ревность, да не слепая вера в гадание на картах, кои она всякий день раскладывала, я бы никогда с ней не расстался.

Один молодой француз, красивый лицом, по имени Кревкер, чье воспитание, по всему было видно, не уступало происхождению его, приехал в Петербург в сопровождении парижской девки, что звалась ла Ривьер, молодой и отнюдь не уродины, но не обладавшей никаким иным талантом или воспитанием, кроме того, что получают в Париже все девки, живущие своими прелестями.

Юноша доставил мне письмо от принца Курляндского Карла, который отписал, что коли я смогу быть чем-нибудь полезен этой паре, то тем доставлю ему удовольствие. Он принес мне письмо со своею красоткой, в девять утра, когда я завтракал с Заирой.

— Я к вашим услугам, — сказал я, — скажите, чем могу быть вам полезен.

— Позволив пользоваться вашим обществом и вашими знакомствами.

— Я чужестранец, и общество мое мало что значит, я нанесу вам визит, вы приходите ко мне,

когда вздумается; но я дома не обедаю. Что до моих знакомств, то вы понимаете, что, будучи иностранцем, я поступлю против правил, если представлю вас с сударыней. Она вам жена? Меня спросят, кто вы, по какому делу в Петербурге. Что должен я отвечать? Странно, что принц Карл адресовал вас именно ко мне.

— Я лотарингский дворянин. Я приехал сюда, чтоб развлечься; девица ла Ривьер — моя любовница.

— Под такими титулами я вряд ли смогу вас представить, да к тому же, я полагаю, вы вполне можете обозреть местные нравы и развлечься без чьей-либо помощи. Спектакли, гуляния, даже придворные празднества доступны всем. Я смею думать, денег у вас предостаточно.

— Их-то у меня и нет и ждать неоткуда.

— От меня тем паче. Вы меня удивляете. Что за сумасбродство ехать сюда без гроша?

— Она уверила меня, что нам достанет денег, чтобы перебиваться со дня на день. Из Парижа мы уехали без единого су и пока все подтверждает ее правоту. Мы уже много где были.

— Так, значит, казной ведает она.

— Моя казна, — отвечала она, — карманы моих друзей.

— Понимаю и думаю, что вы находите их в любом краю; во имя подобной дружбы я охотно открыл бы вам свой кошелек, но я не столь богат.

Гамбуржец Бомбах, которого я знал в Англии, куда он удрал, наделав долгов, переехал в Петербург, где ему посчастливилось поступить на военную службу; сын богатого купца, он завел дом, прислугу, выезд, любил женщин, хороший стол, карты, занимал деньги у всех кругом. Он был уродливый, живой и умный, как все распутники. Он заявляется ко мне и прерывает беседу нашу с необыкновенной путешественницей, хранившей деньги в карманах друзей. Я представляю друг другу голубчиков и посвящаю его во все, за исключением одного пункта: денежного. Бомбах в восторге от приключения, любезничает с ла Ривьер, та принимает его ухаживания как подобает, и через четверть часа меня разбирает смех: я вижу, что она была права. Бомбах приглашает их завтра на обед и умоляет ехать с ним сегодня в Красный кабак откусать без затей; он зовет и меня, я соглашаюсь. Заира спрашивает, о чем речь, ибо по-французски не понимает, я объясняю. Она объявляет, что тоже хочет в Красный кабак, я не перечу, зная ее ревность и боясь, что она, как всегда, будет дуться, плакать, сетовать и принудит меня, как не раз бывало, ее поколотить; то было единственное средство уверить её в любви моей. После побоев она делалась нежной, и любовь скрепляла примирение.

Бомбах, донельзя довольный, отправился, чтоб покончить с делами, обещав воротиться в одиннадцать, и пока Заира одевалась, ла Ривьер принялась изъяснять мне, что я ровно ничего не смыслю в светском обхождении. Но меня подивило, что любовник ее нимало не стыдился своего положения. Он извинялся тем, что любил шлюху, но я не мог принять сего оправдания.

Пирушка вышла веселая, Бомбах глаз не сводил с искательницы приключений, Заира не слезала с моих колен, Кревкер ел, смеялся кстати и некстати и отправился пройтись; красотка предложила Бомбаху сыграть партию в пятнадцать, он самым галантным образом проиграл двадцать пять рублей и уплатил их, потребовав взамен всего один поцелуй. Заира, радуясь, что веселится с нами, что я не изменяю ей, стала потешаться над любовником французенки, не желавшим ревновать ее. Она не могла взять в толк, как терпит та подобную самоуверенность.

— Но я вот уверен в тебе, а ты меня все-таки любишь.

— Все потому, что я не давала тебе повода считать меня б...

Назавтра я один отправился к Бомбаху, зная, что наверняка встречу у него молодых русских офицеров, которые начали бы мне досаждать, обольщая Заиру на ихнем языке. Я застал у Бомбаха чету путешественников и двух братьев Луниных, в ту пору поручиков, ныне генералов. Младший из братьев был белокур и красив, он был любимчиком статс-секретаря Теплова и, умный малый, не только плевал на предрассудки, но и поставил себе за правило добиваться ласками любви и уважения всех порядочных людей, с коими встречался. Предположив в гамбуржце Бомбахе те же склонности, что и в г-не Теплове, и не ошибившись, он решил, что унижит меня, ежели не отнесется ко мне соответственно. Посему он сел за стол рядом со мной и так кокетничал за обедом, что я, право слово, принял его за девицу, одетую парнем.

После обеда, сидя у огня между Луниным и путешественницей-французенкой, я объявил ему о своих подозрениях, на что он, оскорбившись, тотчас показал, чем превосходит он слабый пол, и, возжелав удостовериться, могу ли я остаться равнодушным к его красоте, завладел мною и, решив, что понравился, приступил к решительным действиям, дабы составить свое и мое счастье. И сие неминуемо бы свершилось, если б ла Ривьер, оскорбившись, что юноша в ее присутствии попирает ее законные права, не вцепилась в него, понудив отложить сей подвиг до другого времени.

Их стычка изрядно меня посмешила, но поскольку я не был тут безучастным свидетелем, то почел долгом вмешаться. Я спросил у девки, по какому праву лезет она в наши дела, а Лунин принял это за изъявление моего к нему расположения. Он выставил напоказ свои прелести, обнажил красивую белую грудь и подзадорил девку сделать то же, от чего она отказалась, обозвав нас мужеложниками, на что в ответ мы именовали ее б..., и она нас покинула. Мы с юным россиянином

явили друг другу доказательства самой нежной дружбы и поклялись хранить ее вечно.

Лунин-старший, Кревкер и Бомбах, ходившие гулять, воротились ввечеру с двумя или тремя приятелями, которые легко заставили француженку забыть дурное наше с ней обхождение.

Бомбах держал банк в фараон до одиннадцати часов, покуда деньги не кончились, и мы сели ужинать. Потом началась великая оргия. Ла Ривьер противостояла Бомбаху, Лунину-старшему и двум молодым офицерам, его друзьям. Кревкер отправился спать. Единственно мы с моим новым другом вели себя разумно, спокойно наблюдая за поединками, где позы менялись часто и быстро, а любовница бедняги Кревкера держалась крепко. Оскорбившись, что она интересуется нас только как зрителей, она время от времени жестоко нас поносила, но мы презрели ее насмешки. Мы напоминали двух добродетельных старцев, кои снисходительно взирают на безумства буйной молодости. Расстались мы за час до рассвета.

Я являюсь домой, вхожу в комнату и по чистой случайности увертываюсь от бутылки, которою Заира запустила мне в голову; она бы меня убила, попав в висок. Она задела мне лицо. Безумица в бешенстве бросается оземь, колотится головой об пол; я бегу к ней, насильно хватаю, спрашиваю, что с ней, и, решив, что она лишилась разума, думаю кликать людей. Она утихомиривается, но раздражается потоком слез, называя меня предателем и душегубцем. Чтоб уличить меня в преступлении, она показывает мне каре из двадцати пяти карт и читает по ним, что гульба задержала меня на всю ночь. Она показывает мне непотребную девицу, постель, поединки, все, вплоть до моих противоестественных забав. Я ничего такого не вижу, но она воображает, что видит все.

Дав ей вволю наговориться, дабы утишить бешеную ревность, я швырнул в огонь ее треклятую ворожбу и, глядя в глаза, чтоб она почувствовала и гнев мой и жалость, растолковал ей, что она чуть меня не прикончила, и объявил, что завтра же мы навсегда расстанемся. Я говорю, что и впрямь провел ночь у Бомбаха, где была девка, но отрекаться, как то и было, ото всех распутств, что она мне вменяла. После чего, нуждаясь в отдыхе, я раздеваюсь, ложусь и засыпаю, чтоб она там ни делала легши рядом, чтоб заслужить прощение и уверить в своем раскаянии.

Спустя пять или шесть часов я просыпаюсь, и видя, что она дремлет, одеваюсь, раздумывая, как избавиться от девицы, которая очень даже может прикончить меня в приступе гнева. Но как исполнить сие намерение, видя, как она, раскаявшись, на коленях, отчаянно молит о прощении и жалости, клянется, что всегда будет кроткой, как агнец? А посему я заключил ее в объятия и выказал несомненное свидетельство своего благорасположения, взяв с нее слово, что не будет раскладывать карты, покуда живет у меня. Через три дня после сего происшествия я думал ехать в Москву и исполнил ее радостью, уверив, что возьму с собой. Три вещи покорили сердце Заиры. Первая та, что я частенько возил ее в Екатерингоф повидать родителей и всегда оставлял им рубль, вторая, что сажал ее за стол с гостями, и третья, что поколотил ее три или четыре раза, когда она хотела воспрепятствовать моему уходу.

Странный этот русский обычай — бить слугу, чтоб выучить его уму-разуму! Слова тут силы не имеют, убеждает только плеть. Слуга, рабская душа, почешет в затылке после порки и решит: «Барин меня не гонит, раз бьет, значит, любит, я должен верно ему служить».

Папанелопуло посмеялся надо мной, когда я сказал в начале жительство моего в Петербурге, что доволен своим козаком, знающим французский. Я хочу снискать его приязнь ласкою и буду токмо словами наставлять его, когда он напьется винной водки до умопомрачения.

— Коль не будете его бить, — сказал он, — он однажды сам вас излупит.

Что и случилось. Однажды, когда он так упился, что не мог мне прислуживать, я грубо изругал его и с угрозой взмахнул палкой. Он тотчас кинулся и ухватился за нее, и если б я не повалил его в тот же миг, наверняка бы поднял на меня руку. Я немедля его выставил. Нет в мире лучшего слуги, чем россиянин, неумолимый в работе, спящий на пороге господской опочивальни, дабы явиться по первому зову, всегда послушен, не перечит, коль провинится, вовсе не способен украсть; но он звереет либо дуреет, выпив стакан крепкого зелья, и этот порок присущ всей нации. Кучеру частенько приходится ждать всю ночь у ворот в жестокий мороз, лошадей сторожить; он не знает другого средства перетерпеть, как выпить водки. Ему случается, опрокинув стакан-другой, уснуть на снегу, и бывает, уже не просыпается. Он замерзает насмерть. И так часто отмораживают ухо, нос (одна кость остается), щеку, губу, что за великое несчастье сие не почитают. Некий русский увидал, что я лишусь уха, когда я приехал на санях в Петергоф в сухой мороз. Он бросился тереть меня пригоршней снега, пока не спас ушную раковину. На вопрос, как он узнал, что мне грозит беда, он отвечал, что это тотчас видно, поскольку помертвелый орган враз белеет. Что меня удивило, и до сих пор кажется невероятным, это что отмороженный орган иногда восстанавливается. Принц Курляндский Карл уверял меня, что как-то в Сибири отморозил нос, а летом все прошло. Многие «мозики» меня также в том уверяли.

В ту пору императрица приказала возвести просторную деревянную арену во всю ширину площади перед ее дворцом, построенным флорентийским зодчим Растрелли. Арена на сто тысяч зрителей была творением архитектора Ринальди, жившего в Петербурге уже полсотни лет и даже не думавшего возвращаться на родину, в Рим. В строении сем Екатерина решила задать карусель для

всех доблестных витязей ее империи. Четыре кадрили, по сотне всадников в каждой, богато одетых в костюмы того народа, каковой они представляли, должны были преломить копья за награды великой ценности. Всю империю оповестили о великолепном празднестве, который давала государыня; и князья, графы, бароны начали уже съезжаться из самых дальних городов, взяв лучших коней. Принц Карл Курляндский отписал мне, что тоже приедет. Положили, что праздник состоится в первый погожий день, какой только будет; мудрое решение, ибо вовсе погожий день, без дождя, ветра или нависших туч — редкое для Петербурга явление. В Италии мы ждем всегда хорошей погоды, в России — дурной. Мне смешно, когда русские, путешествуя по Европе, хвалятся своим климатом. За весь 1765 год в России не выдалось ни одного погожего дня; доказательство тому, что карусель так и не состоялась. Подмостки укрыли, и праздник состоялся на следующий год. Витязи провели зиму в Петербурге, а у кого на то денег не достало, воротился домой. Среди них принц Карл Курляндский.

Все было готово для путешествия в Москву. Я сел с Заирой в дормез, сзади устроился слуга, говоривший по-русски и немецки. За восемьдесят рублей «шевошик» подрядился доставить меня в Москву за шесть дней и семь ночей, заложив шестерку коней. Это было недорого, и поелику я почтовых не брал, то не мог домогаться ехать шибче, ибо пути было 72 почтовых перегона, около пятисот итальянских миль. Я почел сие невозможным, но то были его дела.

Мы отправились, когда выстрел из крепостной пушки известил, что день кончился; то был конец мая, когда в Петербурге вовсе нет ночи. Кабы не пушечный выстрел, возвещающий, что солнце зашло, никто б о том не догадался. Можно в полночь читать письмо, и луна не делает ночь светлей. Говорят, красиво, а по мне одна доука. Этот бесконечный день длится восемь недель. Никто об эту пору свечей не зажигает. В Москве иначе. Из-за разности в четыре с половиной градуса широты с Петербургом в полночь все-таки потребны свечи.

Мы добрались в Новгород за двое суток, где «шевошик» дал нам пять часов роздыху. Тут произошел случай, удививший меня. Мы пригласили человека выпить рюмку, а он с грустью сказал Заире, что одна из лошадей не хочет есть, и он в отчаянии, ибо, не поевши, она не побежит. Мы пошли вместе с ним на конюшню, и увидели, что лошадь недвижна, угрюма, от ясель отворачивается. Хозяин начал говорить с ней самым ласковым голосом и, глядя нежно и уважительно, убеждал скотину соизволить поесть. После сих речей он облобызал лошадь, взял ее голову и ткнул в ясли; но все впустую. Мужик зарыдал, да так, что я чуть со смеху не помер, ибо видел, что он пытается разжалобить лошадь. Отплакавшись, он опять поцеловал лошадь и сунул мордой в кормушку; все тщетно. Тут русский, озлившись, на упрямую скотину, клянется отплатить ей. Он выволакивает ее из конюшни, привязывает бедное животное к столбу, берет дубину и добрых четверть часа лупит из всех сил. Устав, он ведет ее на конюшню, сует мордой в корыто, и вот лошадь с жадностью набрасывается на корм, а «шевошик» смеется, скачет, выкидывает коленца от радости. Я был до крайности удивлен. Я подумал, что такое может случиться единственно в России, где палку настолько почитают, что она может творить чудеса. Но, думаю, с ослом того бы не приключилось, он лучше переносит побои, нежели лошади. Мне говорили, что нынче в России палка не в такой чести, как прежде. К несчастью, она все более входит в употребление во Франции. С Петра I, во гневе в кровь избивавшего палкой генералов, как мне рассказывал один русский офицер, повелось, что поручик должен терпеливо сносить побои от капитана, капитан от майора, майор от подполковника, тот от полковника, а тот, в свою очередь, от генерала. Нынче все переменялось. Мне о том поведал в Риге генерал Воейков, питомец великого Петра, родившийся еще до основания Петербурга.

Я, кажется, ничего не сказал об этом славном граде, существование коего и поныне, по здравому размышлению, кажется мне непрочным. Только гений великого мужа, коему в радость обуздывать природу, мог замыслить возвести город, будущую столицу обширнейшей империи, в столь неблагоприятном месте, где сами почвы противятся усилиям тех, кто тщится воздвигать на них каменные дворцы, кои строятся повсеместно с непомерными расходами. Говорят, нынче город возмужал, и заслуга сия принадлежит Екатерине Великой, но в 1765 году я застал его еще в пору детства. Все казалось мне нарочно построенными руинами. Мостили улицы, наперед зная, что через полгода их придется мостить вновь. Я видел город, который торопливый муж возвел наспех; и вправду, царь Петр родил его в девять месяцев. Девять месяцев ушли именно на роды, зачат он был наверняка задолго до того. Созерцая Петербург, я вспоминал пословицу: *Canis faestinans caecos edit satulos \**, но минутой спустя, восхитившись великим замыслом, и исполняясь уважения, рек: *Diu parturit laena sed leonet \*\**. Я предвижу, что век спустя Петербург будет великолепен, но поднимется по меньшей мере на две сажени и потому огромные дворцы не рухнут за недостатком свай. Воспретят варварскую архитектуру, занесенную французскими зодчими, коим только кукольные домики строить, не станет г-на Бецкого, человека, впрочем, неглупого, и более не будут предпочитать Растрелли и Ринальди какого-нибудь парижанина Ла Мота, который изрядно подивил Петербург, соорудив дом в четыре этажа, где была та, по его разумению, великая достопримечательность, что нельзя было ни увидеть, ни догадаться, где лестницы.

Мы приехали в Москву, как возчик нам и обещал. Невозможно добраться скорее, не переменяя лошадей; на почтовых едут резвее.



— Императрица Елизавета, — сказал случившийся при том человек, — проделала весь путь за пятьдесят два часа.

— Разумеется, — прибавил другой русский, — человек старого закала, она издала «Указ», предписав потребное на то время; она доехала б еще скорее, если б повелела.

В мое время и впрямь не дозволялось сомневаться в непогрешимости «указа» (что значит «декрет»), тот, кто осмеливался выказать сомнение в его исполнимости, почитался виновным в оскорблении Его Величества. В Петербурге я ехал по деревянному мосту вместе с Мелиссино, Папанелопуло и еще тремя-четырьмя спутниками; один из них, услышав, что я порицаю мост за уродство, сказал, что его сделают каменным к такому-то дню по случаю празднества, когда должна была проехать по нему императрица. Поелику до названного дня оставалось всего три недели, я сказал, что это невозможно, русский косо на меня взглянул и добавил, что сомневаться в сем не приходится затем, что на сей предмет издан указ; я хотел возразить, но Папанелопуло сжал мне руку, дав знак молчать. В конце концов мост так и не построили, но и я оказался не прав, ибо за неделю до срока императрица издала иной указ, в коем милостиво повелеть соизволила, дабы означенный мост был построен в следующем году.

Российские цари всегда и во всем почитают себя самодержцами и иного языка знать не желают. Я однажды видел императрицу, одетую в мужское платье, чтоб кататься верхом. Обер-штальмейстер князь Репнин держал лошадь под узцы, чтоб она могла сесть, как вдруг лошадь с такой силой лягнула его, что сломала ему лодыжку. Государыня с удивленным видом приказала увести лошадь и повелела, под страхом смертной казни, чтоб подлая скотина не попадалась ей впредь на глаза. Все придворные и поныне получают воинские чины, что говорит о природе правления. У кучера императрицы чин полковника, как и у главного повара, кастрат Луини был подполковник, а художник Торелли только капитан, ибо получал всего восемьсот рублей в год. Часовые, стоящие у входа в покои императрицы со скрещенными ружьями, спрашивают у каждого, кто желает пройти, в каком он чине, чтоб знать, разнять им ружья или нет; «Какой ранг?» — слово это. Когда меня спросили о том впервые и объяснили значение слов, я не знал, что сказать, но бывший там офицер осведомился, какой мой доход, и когда я ответил три тысячи рублей, тотчас произвел меня в генералы и меня пропустили. В этой зале я увидел минуту спустя, как государыня, входя, остановилась на пороге, сбросила перчатки и протянула свои прекрасные руки часовым для поцелуя. Подобным благодушным обхождением завоевывала она преданность войск, коими командовал Григорий Григорьевич Орлов, обеспечивавших безопасность ее особы на случай бунта.

Вот что увидел я, когда впервые последовал за нею на службу в часовню. «Прото-папа» епископ встретил ее у дверей, чтоб предложить святой воды, она поцеловала его перстень, в то время как владыка с бородою в аршин склонился, дабы облобызать руку своей повелительнице — мирской владычице и патриарху в одном лице. Во время службы она не являла напускного благочестия; она была выше лицемерия и удостаивала улыбкой то одного, то другого из присутствующих, обращалась время от времени к своему фавориту, хоть сказать ей было нечего, она желала польстить ему, выказать, что особо отличает его, ставит надо всеми.

Я услышал однажды, как она, выходя из оперы, где давали «Олимпиаду» Метастазиио, сказала такие слова:

— Опера доставила всем преизрядное удовольствие, и я рада тому; но мне было скучно. Музыка чудесная вещь, но я не понимаю, как можно без памяти любить ее, если только нет ни срочных дел, ни мыслей. Я нынче пригласила Буранелло; интересно, сумеет ли он пробудить во мне интерес к музыке.

Она всегда так рассуждала. Я потом расскажу, как она беседовала со мной по возвращению из Москвы. Мы остановились в отменном трактире, где мне отвели две комнаты и поставили карету в сарай. После обеда я нанял двухместный экипаж и слугу, что знал французский. Карета моя была запряжена четверкой лошадей, ибо в городе Москве четыре города и надо объехать изрядное число дурно или вовсе не мощеных улиц, когда отправляешься с визитами. У меня было пять или шесть писем, я хотел их все разнести; зная, что мне не придется выходить, я взял с собой любезную мою Заиру, девочку тринадцати лет, которую все занимало. Не помню, что за православный праздник был в тот день, но всегда буду помнить оглушительный перезвон колоколов, что слышал я на всех улицах, ибо церкви были на каждом шагу. В ту пору сеяли пшеницу и смеялись над нами, что мы сеем на восемь месяцев раньше, хотя в том нет никакой нужды, только урожаи губить. Я не знаю, кто тут прав, быть может, и мы и они.

Я развез все письма, кои получил в Петербурге от обер-егермейстера, от князя Репнина, от моего банкира Папанелопуло и от брата Мелиссино. На следующее утро ко мне явились с визитом все, к кому меня адресовали. Все пригласили меня на обед с моей душенькой. Я принял приглашение г-на Димидова, пришедшего первым, и обещал остальным быть у них все следующие дни попеременно. Заира, узнав о предназначенной ей роли, была счастлива доказать, что достойна такого с моей стороны уважения. Хорошенькая, как ангелочек, она была утехой всякого общества, и никто не вникал, дочь она мне, любовница или служанка. В этом отношении, да и во многих прочих

делах, русский народ покладистый. Те, кто не видал Москвы, России не видал, кто знает русских по Петербургу, не знает их вовсе, ибо при дворе они во всем отличны от естественного своего состояния. В Петербурге все иностранцы. Горожане московские, в первую голову богатые, жалеют тех, кого служба, интерес или честолюбие понудили покинуть отечество, ибо отечество для них — Москва, а Петербург — источник бед и разорений. Не ведаю, справедливо ли сие, я с их слов сказываю.

За неделю я все осмотрел: фабрики, церкви, памятники старины, собрания редкостей, и по естественной истории тож, библиотеки, кои меня ничем не удивили, славный Колокол, и еще заметил, что их колокола не раскачиваются, как наши, а накрепко прикреплены. Звонят в них посредством веревки, привязанной за язык. Я нашел, что женщины в Москве красивей, чем в Петербурге. Обхождение их ласковое и весьма свободное, и чтобы добиться милости поцеловать их в уста, достаточно сделать вид, что желаешь облобызать ручку. Что до еды, она тут обильная, но не довольно лакомая. Стол открыт для всех друзей, и приятель может, не церемонясь, привести с собой человек пять-шесть, приходящих иногда к концу обеда. Не может такого быть, чтоб русский сказал: «Мы уже отобедали, вы припозднились». Нет в их душе той скверны, что понуждает произносить подобные речи. Это забота повара, и обед возобновляется, хозяин или хозяйка потчуют «гостей». Есть у них восхитительный напиток, название которого я запомнил, лучше чем шербет, что пьют в Константинополе в домах знатных вельмож. Челяди своей, весьма многочисленной, пить дают не простую воду, а такую, что на вкус не противна, пользительна, сытна и столь дешева, что большая бочка им обходится в рубль. Я заметил, что особливо почитают они Николу-угодника. Они молят Бога только через посредство сего святого, образ коего непременно находится в углу комнаты, где хозяин принимает гостей. Вошедший первый кладет образу, второй хозяину; ежели там образа не случится, русский, оглядев комнату, замирает, не зная, что и сказать, и вовсе теряет голову. Русские в большинстве своем суеверней прочих христиан. Язык у них иллирийский, но служба вся на греческом; народ не понимает ничего, а невежественные попы рады держать его в невежестве. Я никак не мог втолковать одному «калогеру», знавшему латынь, что единственная причина, по которой мы, в Римской церкви, крестимся слева направо, а в Греческой справа налево, это то, что мы говорим «spiritus sancti» \*, а они по-гречески «агиос пнеума».

— Если б вы говорили, — сказал я, — «пнеума агиос», вы бы крестились, как мы, или мы, как вы, если б произносили «sancti spiritus».

Он отвечал, что прилагательное должно предшествовать существительному, ибо нельзя произнести имя Божие, не предварив его хвалебным эпитетом. Такого рода почти и все прочие различия меж двумя сектами, не говоря о нагромождении лжи, что видел я и у них и у нас.

Мы возвратились в Петербург так же, как приехали; но Заира предпочла бы, чтоб мы вовсе не покидали Москву. Находясь подле меня во все часы дня и ночи, она так меня возлюбила, что я горестно думал о времени, когда принужден буду ее покинуть. На другой день по приезде свозил я ее в Екатерингоф, где она показала родителю полученные от меня подарки, расписав во всех подробностях, с каким почетом принимали ее, почитая за мою дочь, чем изрядно повеселила старика.

Первая новость, услышанная мною при дворе, была та, что государыня указом повелела воздвигнуть храм Господень на Морской, насупротив моей квартиры. В архитекторы избран был ею Ринальди. Сей философ спросил, какую эмблему поместить над порталом собора, а императрица отвечала, что никакой не надобно, пусть только напишет большими буквами Бог на том языке, на каком пожелает.

— Я изображу треугольник.

— Никакого треугольника. Бог и весь сказ. Другой новостью был побег Бомбаха, пойманного в Митаве, где он мнил себя в безопасности; но г-н Симолин арестовал его. Бедный безумец содержался под стражей и дела его были плохи, ибо сие почиталось дезертирством. Его все же помиловали, отправив служить на Камчатку. Кривкер и его любовница уехали с деньгами, а флорентийский авантюрист по имени Билиоти бежал, забрав у Папанелопуло 18 тысяч рублей, но некто Бори, человек Папанелопуло, также настиг того в Митаве и воротил в Петербург, где он сидит в остроге. Теми днями приехал принц Карл Курляндский и немедля дал мне знать. Я отправился к нему с визитом. Дом, где он проживал, принадлежал г-ну Димидову, владельцу железных рудников, коему восхотелось построить его целиком из железа. Стены, лестницы, двери, полы, перегородки, потолки, крыша, все было железное, за исключением мебели. Пожара он не боялся. Князь привез с собой любовницу, такую же сварливую, кою более терпеть не мог, ибо она и впрямь была несносна, а он достоин жалости, поелику не мог он от нее отделаться иначе, как сыскав ей мужа, а такой муж, какого она желала, никак не находился. Я нанес ему визит, но она так мне наскучила, жалуясь на принца, что я туда более ни ногой. Когда принц навестил меня, увидал мою Заиру и поразмыслил, насколько дешевле обрел я свое счастье, он узнал, как должен всякий умный человек, нуждающийся в любви, выбирать сожительницу, но глупая склонность к роскоши все портит, и сладкий плод делает горьким.

Меня почитали счастливым, мне нравилось слыть таковым, но счастлив я не был. После тюремного заключения завелся у меня геморрой, разыгрывавшийся раза три или четыре в год, но в

Петербурге стало не до шуток. Нестерпимая каждодневная боль в заду делала меня грустным и несчастным. Восьмидесятилетний доктор Синопиус, коего я позвал, сказал грустную новость, что у меня там образовался свищ, что называется неполным. Другого средства, кроме как жестокая операция, не было. Он уверял, что надо без промедления лечь под нож. Сперва требовалось определить местоположение свища, и он на другой день привел ко мне искусного хирурга, каковой исследовал мои внутренности, засунув в анус турунду из корпии, пропитанную маслом; вытащив ее наружу, он уяснил глубину и размеры свища, поглядев, в каком месте турунда была замарана сочащеюся жидкостью. Устье свища, сказал хирург, открывалось на два пальца от сфинктера. Основание полости могло быть весьма широким; боль проистекала от того, что едкая лимфа, заполнявшая полость, разъедала ткани, чтобы проделать выход, который сделает свищ полным и облегчит операцию. Когда сие само собой произойдет, сказал он, боли облегчатся, но я принужден буду терпеть неудобства из-за беспрестанного подтекания гноя. Он посоветовал мне набраться терпения и подождать этой милости от природы. Думая меня утешить, он сказал, что для местных жителей полный свищ в заду болезнь самая обыкновенная; они пьют превосходную воду Невы, что целебными свойствами обладает и из тела вредные жидкости изгоняет. По сей причине в России поздравляют тех, кто мучается от геморроя. Неполный свищ, понудивший меня соблюдать диету, оказал на меня, быть может, благотворное действие.

Артиллерийский полковник Мелиссино пригласил меня на воинский смотр в трех верстах от Петербурга, где генерал-аншеф Алексей Орлов угощал самых важных гостей за столом на восемьдесят персон. На учениях намеревались показать, как палят из пушки двадцать раз в минуту. Я присутствовал при том вместе с принцем Курляндским и восхищался, что все в точности так и было. Полевое орудие, кое обслуживали шесть бомбардиров, в минуту двадцать раз зарядили и столько же выстрелов произвели по врагу. Я наблюдал за сим с часами с секундной стрелкою в руках. Три секунды: пушка чистится за первую, заряжается за вторую и стреляет на третью.

За столом я оказался рядом с секретарем французского посольства, который возжелал пить на русский манер и сочтя, что венгерское вино напоминает легкомысленное шампанское, пил толико усердно, что, встав из-за стола, на ногах не держался. Граф Орлов выручил его, велел пить, покуда не сблует, и тогда его уснувшего унесли.

За веселым застольем изведаль образчики того, что в тамошних краях остроумием почитается, «*Fecundi calicas quem non fecere disertum*» \*. По-русски я не разумел, и г. Зиновьев, сидевший рядом, изъяснял мне шутки сотрапезников, вызывавшие рукоплескания. Со стаканом в руках возносили блистательные здравицы в чью-нибудь честь, а тот обязан был с блеском отвечать.

Мелиссино встал, держа кубок, наполненный венгерским вином. Все замолчали, чтоб послушать, что он такое скажет. Он пил за здоровье генерала Орлова, сидевшего насупротив него на другом краю стола. Он сказал так:

— Желаю тебе умереть в тот день, как станешь богат. Все принялись хлопать. Он восхвалял великую щедрость Орлова. Можно было возбранить его, но за веселым столом нечего придирается. Ответ Орлова показался мне более мудрым и благородным, хотя опять же татарским, ибо вновь речь шла о смерти. Он тоже поднялся с кубком в руках:

— Желаю тебе умереть только от моей руки.

Рукоплескания еще сильнее.

У русских энергичный разящий ум. Их не заботят ни красота, ни изящество слога, они тотчас берут быка за рога.

В ту пору Вольтер прислал императрице свою «Философию истории», писанную нарочно для нее, с посвящением в шесть строк. Через месяц доставили морем целый тираж названного сочинения, что без остатка разошелся в неделю. У всех россиян, знавших французский, лежала на столе эта книга. Главами вольтерьянцев были двое вельмож, люди большого ума, Строганов и Шувалов. Я читал стихи первого, столь же изрядные, что у его кумира, а спустя двадцать лет превосходной дифирамб второго; но сюжетом его была смерть Вольтера, что изрядно меня подивило, ибо сей жанр досель не употреблялся для печальных тем. В то время образованные русские, военные и статские знали, читали, славил одного Вольтера и полагали, прочтя все сочиненное им, что стали столь же учеными, как их апостол; я убеждал их, что надобно читать книги, из коих Вольтер черпал премудрость, и, быть может, они узнают больше него. «Не приведи Господь, — сказал мне в Риме один мудрец, — оспаривать человека, который прочел всего одну книгу». Таковы были русские в те времена, но мне сказали, и я верю, что нынче они поосновательней будут. Я познакомился в Дрездене с князем Белосельским, который, быв посланником в Турине, воротился в Россию. Сей князь надумал геометрически описать разум, исследовать метафизику: его небольшое сочинение классифицировало душу и ум; чем больше я его читаю, тем более возвышенным нахожу. Прискорбно, что атеист мог бы употребить его во вред.

Вот еще образчик поведения графа Панина, наставника Павла Петровича, наследника престола, столь ему послушного, что даже в опере он не осмеливался рукоплескать арии Луини, не испросив на то дозволения.

Когда гонец доставил весть о скоростижной кончине императора Римского Франца I, императрица была в Красном Селе, а граф и министр во дворце в Петербурге с августейшим учеником, коему было тогда одиннадцать лет. В полдень гонец вручает послание министру, стоявшему насупротив кольца придворных, и я был из их числа, Павел Петрович стоял по правую руку от него. Он распечатывает, читает про себя, потом говорит, ни к кому не обращаясь:

— Важное известие. Император Римский почил в бозе. Большой придворный траур, который вы, Ваше Высочество, — говорит он, глядя на великого князя, будете носить на три месяца дольше, чем императрица.

— Почему так долго?

— Поскольку вы герцог Голштинский и восседаете в имперском совете, привилегия, — добавил он (оборотившись ко всем присутствующим), — коей толико вождеделел Петр Первый, но так и не мог добиться.

Я наблюдал, с каким вниманием великий князь слушал своего ментора, как старался скрыть радость. Сия метода обучения пленила меня. Ронять идеи в младенческую душу и предоставлять ее самой себе. Я расхвалил ее князю Лобковицу, бывшему там, каковой весьма и весьма оценил мое замечание. Князя Лобковица все любили, ему отдавали предпочтение перед предшественником его Эстерхази, и этим все сказано, ибо тот при дворе погоду делал. Веселость и любезность князя Лобковица оживляли любое общество. Он ухаживал за графиней Брюс, признанной красавицей, и никто не почитал его несчастливым в любви.

Тогда задали смотр инфантерии в двенадцати или четырнадцать «верстах» от Петербурга; прибыла императрица и все придворные дамы и первые сановники; в двух или трех соседних деревнях дома были, но в столь малом числе, что сыскать пристанище оказалось делом затруднительным; но я все ж таки решил поехать, дабы доставить заодно удовольствие Заире, которая искала случая появиться вместе со мною. Празднество должно было длиться три дня, показывали фейерверк, изготовленный Мелиссино, как миной крепость взрывают, и множество воинских маневров на обширной равнине, что обещало преинтереснейшее зрелище. Я поехал с Заирой в дормезе, не заботясь, будет у меня хорошее или скверное жилье. То было время солнцестояния и ночи не было вовсе.

Мы добрались к восьми утра на место; где в первый день до полудня производились многообразные маневры, после чего подъехали к кабаку и велели, подать нам обед в карету, ибо дом был так набит, что примоститься не было возможности. После кучер мой обходит всю округу в поисках пристанища, но ничего не находит; я о том нимало не печалюсь и, не желая возвращаться в Петербург, решаю ночевать в карете. Так и жил я три дня и все весьма меня одобряли, ибо многие деньги растратили, а устроились скверно. Мелиссино сказал, что государыня сочла уловку мою весьма разумной. Дом у меня был на колесах, и я располагался в самых верных местах, дабы с удобствами обозревать маневры, производимые в тот день. Вдобавок карета моя была прямо-таки создана для того, чтоб миловаться с любимой, ибо то был дормез. У меня одного на смотре был такой экипаж, ко мне являлись с визитами, Заира блистательно поддерживала честь дома, беседуя по-русски, а я к досаде своей ни слова не разумел. Руссо, великий Жан-Жак Руссо, сказал как-то наобум, что русский язык есть испорченный греческий. Подобная оплошность не пристала истинному гению, и все же он ее допустил.

Те три дня я частенько беседовал с графом Тотом, братом того, что служил в Константинополе и звался бароном. Мы сошлись в Париже, потом в Гааге, где я имел честь оказать ему услугу. Он покинул пределы Франции, чтоб избежать дела чести с офицерами, своими сотоварищами, сражавшимися под Минденом. Он приехал в Петербург вместе с г-жой Салтыковой, с коей свел знакомство в Париже и влюбился. Он проживал у нее, был принят при дворе, всем пришелся по нраву. Был он весел, умен, хорош собой. Два или три года спустя он получил высочайшее повеление покинуть Петербург, когда из-за польской смуты началась война с Турцией. Уверяли, что он переписывался со своим братом, который в Дарданеллах тщился помешать проходу российского флота под водительством Алексея Орлова. Не ведаю, что стало с ним после отъезда из России.

Он изрядно мне услужил, ссудив пятьсот рублей, кои я не имел случая ему возвернуть, но я еще пока не умер.

В ту пору г-н Маруцци, греческий купец, что имел в Венеции торговый дом, но теперь вовсе отошел от дел, приехал в Петербург, был представлен ко двору и как человек приятный стал вхож в лучшие дома. Императрица отличала его, ибо остановила на нем выбор, желая сделать его доверенным лицом в Венеции. Он ухаживал за графиней Брюс, но соперники нимало его не опасались; богач, он денег швырять не умел, а россиянки скупость почитают за великий грех и никому его не прощают.

Я в те дни ездил в Царское Село, Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт; надо везде побывать, когда путешествуешь и желаешь потом с полным правом сказать, что был там-то. Я писал о различных материях, чтоб попытаться поступить на государственную службу, и представлял свои сочинения на суд императрице, но усилия мои были тщетны. В России уважительно относятся только

к тем, кого нарочно пригласили. Тех, кто прибыл по своей охоте, ни во что не ставят. Может, они и правы.

## ГЛАВА VII

Я встречаюсь с царицей. Мои беседы с великой государыней. Девица Вальвиль. Я расстаюсь с Заирой. Отъезд из Петербурга и прибытие мое в Варшаву. Князя Адам Чарторьский и Сулковский. Станислав Понятовский, король Польский Станислав-Август I. Театральные интриги. Браницкий

Я надумал уезжать с наступлением осени, а г. Панин, равно как и г. Алсуфьев, все твердили, что я не должен отправляться в путь, пока не вправе буду объявить, что говорил с императрицей. Я отвечал, что сам о том сокрушаюсь, но, не сыскав никого, кто желал бы меня представить, я могу только сетовать на свою злую долю.

Наконец г. Панин самолично велел мне погулять спозаранку в Летнем саду, куда она частенько хаживала, и где, повстречав меня ненароком, по всей вероятности, заведет разговор. Я дал понять, что желал бы повстречать Ее Императорское Величество, когда он будет рядом. Он указал день, и я пришел.

Прогуливаясь в одиночестве, я осматривал статуи, обрамлявшие аллеи, сделанные из дурного камня и пресквернейшим образом, но донельзя забавные, коль прочесть надпись, выбитую внизу. На плачущей статуе было высечено имя Демокрита, на смеющейся — Гераклита, длиннобородый старик назывался Сапфо, а старуха с отвисшей грудью — Авиценна. Прочие надписи были в том же роде. Тут я увидел в середине аллеи приближающуюся ко мне государыню, впереди граф Григорий Орлов, позади две дамы. По левую руку шел граф Панин, она беседовала с ним. Я вдвинулся в живую изгородь, дабы пропустить ее; поравнявшись, она, улыбаясь, спросила, пленился ли я красотой статуй; я отвечал, пойдя следом, что их тут поставили, дабы одурачить глупцов или посмешить тех, кто немного знал историю.

— Я знаю единственное, — отвечала она, — что дорогую мою тетю обманули, но она не изволила разбираться в сих плутнях; однако смею надеяться, что все прочее, вами у нас увиденное, не показалось столь смехотворным.

Я погрешил бы против истины и вежества, если б, услышав изъяснения от дамы такого ранга, не принялся доказывать, что в России смешного ничтожно мало в сравнении с тем, что восхищения достойно; и почти час толковал о том, что примечательного обнаружил в Петербурге.

Упомянул я к слову о короле Прусском, воздав ему хвалу, но почтительнейше посетовав, что государь никогда не дослушивал до конца ответ на вопросы, кои сам задавал. Она премило улыбнулась и велела рассказать о моих с ним беседах, что я и сделал. Она любезно сказала, что никогда не видала меня на «куртаге». «Куртаг» — это концерт, где поют и музицируют; он бывает во дворце каждое воскресенье, и всякий может прийти. Гуляя, она приветливо обращалась к тем, кого желала удостоить этой чести. Я отвечал, что был там всего один раз, ибо на беду свою не люблю музыку. Тут она, смеясь, сказала, взглянув на Панина, что знает еще одного человека, у которого та же беда. То была она. Она перестала слушать меня, дабы поговорить с подошедшим г. Бецким, Панин покинул ее, и я вышел из сада, донельзя обрадованный оказанной мне честью.

Государыня, роста невысокого, но прекрасно сложенная, с царственной осанкой, обладала искусством пробуждать любовь всех, кто искал знакомства с нею. Красавицей она не была, но умела понравиться обходительностью, ласкою и умом, избегая казаться высокомерной. Коли она и впрямь была скромна, то, значит, она истинная героиня, ибо ей было от чего возгордиться.

Несколько дней спустя г. Панин сказал, что императрица дважды справлялась обо мне и он уверен, что я ей понравился. Он советовал сыскать случай увидеть ее и уверил, что, поелику я ей по вкусу, она велит мне приблизиться всякий раз, когда увидит, и коли я пожелаю поступить на службу, она может попомнить обо мне.

Хоть я и сам не ведал, для какой службы могу быть годен, да еще в стране чужой, немилой, я обрадовался, узнав, что смею надеяться получить доступ ко двору. И я стал непременно гулять поутру в саду. Вот обстоятельное описание второй нашей беседы. Увидав меня издали, она через молодого офицера велела мне подойти.

Поскольку все только и говорили о карусели, коей препятствовала дурная погода, она спросила, чтобы что-нибудь спросить, устраивают ли подобного рода празднества в Венеции, и я немало порассказал о том, какие празднества там затевают, какие нет и какие в иных местах не увидишь, изрядно ее позабавив; к сему я присовокупил, что на родине моей климат более счастливый, нежели в России, что там обыкновенно стоят погожие дни, а в Петербурге они редки, хотя всякий иноземец скажет, что здешний год моложе, чем во всех прочих странах.

— Это верно, — отвечала она, — у вас он на одиннадцать дней старше.

— Не было бы, — продолжал я, — деянием, достойным Вашего Величества, принять григорианский календарь? Все протестанты с тем примирились, да и Англия, отбросив четырнадцать лет назад одиннадцать последних дней февраля, выгадали на том несколько миллионов. При таком

всеобщем согласии Европа дивится, что старый стиль все еще существует в стране, где государь явный глава церкви и есть Академия наук. Многие полагают, Ваше Величество, что бессмертный Петр, повелевший считать год с первого января, повел бы заодно отменить старый стиль, если б не счел необходимым сообразовываться с англичанами, способствовавших процветанию торговли в обширной вашей империи.

— Вам известно, — сказала с любезным и лукавым видом, — что великий Петр не был ученым.

— Я полагаю. Ваше Величество, что он был больше, нежели ученым. Государь сей был истинным и возвышенным гением. Вместо учености была в нем необычайная проницательность, позволявшая справедливо судить обо всем, что окружало его, что могло споспешествовать благу его подданных. Гений не позволял ему поступить опрометчиво, давал силу и мужество искоренять злоупотребления.

Императрица намеревалась ответить, когда увидела двух дам и велела их позвать.

— В другой раз я охотно продолжу разговор наш, — сказала она и оборотилась к дамам.

Другой раз представился через восемь или десять дней, когда я уже решил, что она более не желает со мной беседовать, ибо она видела меня, но не подзывала.

Она начала разговор с того, что желание мое, на увеличение славы российской направленное, уже исполнено.

— На всех письмах, — сказала она, — что отправляем в чужие страны, на всех законах, могущих для истории интерес представить, мы, подписываясь, ставим две даты, одну под другой, и все знают, что та, что на одиннадцать дней больше, по новому стилю дается.

— Но, — осмелился я возразить, — по скончанию века дней станет двенадцать.

— Отнюдь, все уже предусмотрено. Последний год нынешнего столетия, который по григорианской реформе не будет у вас високосным, и у нас таковым не будет. А посему никакой разницы, по сути, между нами не останется. Убавив эту малость, мы воспрепятствуем увеличению ошибки, не так ли? Даже хорошо, что ошибка составляет одиннадцать дней, ибо именно столько прибавляют всякий год к лунной эпохе, и мы можем считать, что у нас та же эпоха, что у вас, но с разницей в год. А в последние одиннадцать дней тропического года они совпадают. Что касается празднования Пасхи, то пусть говорят, что хотят. У вас равноденствие двадцать первого марта, у нас десятого, и все те же споры с астрономами; то вы правы, то мы, ибо равноденствие частенько запаздывает или наступает раньше на день, два или три; но когда мы уверены в равноденствии, мартовский лунный цикл становится пустяшным делом. Видите, вы не во всем даже согласны с евреями, у коих, как уверяют, лунное исчисление в точности соответствует солнечному. В конце концов, разница в праздновании Пасхи не повреждает общественный порядок, не смущает народ, не вынуждает переменять важнейшие законы, до правительства касательство имеющие.

— Суждения Вашего Величества исполнены мудрости и великого восхищения достойны; но что до Рождества...

— Только в этом Рим прав, ибо мы, вы верно хотите сказать, не празднуем его в дни зимнего солнцеворота, как должно. Нам это ведомо. Позвольте вам заметить, что это сушая безделица. Лучше допускать сию небольшую оплошность, чем нанести подданным моим великую обиду, убавив на одиннадцать дней календарь и тем лишив дней рождения или именин два или три миллиона душ, а пуще того всех, ибо скажут, что по своему неслыханному тиранству я убавила всем жизнь на одиннадцать дней. В голос никто сетовать не будет, сие здесь не в чести, но на ухо друг другу будут твердить, что я в Бога не верую и покушаюсь на непогрешимость Никейского Собора. Столь глупая смехотворная хула отнюдь не рассмешит меня. У меня найдутся и более приятные поводы для веселья.

Она насладились моим удивлением и оставила меня пребывать в нем. Я почувствовал, что она наверняка постаралась исследовать сей предмет, дабы блеснуть передо мной или посоветовалась с каким-нибудь астрономом после нашей последней беседы, когда я заговорил о реформе календаря. Г-н Алсуфьев сказал мне через несколько дней, что, возможно, императрица прочла небольшой трактат на сию тему, где изъяснялось то, что она изложила, а может, и поболее, и посему она превосходно в сем деле разбиралась.

Мнение свое она высказывала весьма скромно, но определенно, и, казалось, невозможно сбить ее с толку или вывести из себя, всегдашняя улыбка ее свидетельствовала о ровности характера. Поведение сие вошло у нее в привычку и, верно, без труда давалось, но от того не менее заслуживает уважения, ибо для того потребна сила духа, превосходящая дюжинную природу человеческую. Обхождение государыни, во всем противоположное обхождению короля Прусского, свидетельствовало о более обширном гении. Напускная доброта, коей она всех ободряла, обеспечивала ей успех, тогда как резкость другого могла его и в убытке оставить. Исследуя жизнь короля Прусского, восхищаешься отвагою его, но видишь, что без помощи фортуны ему бы не устоять; исследуя жизнь самодержицы Российской, убеждаешься, что она не полагалась на слепое божество. Она довела до конца предприятия, кои вся Европа почитала великими, куда она не взошла на престол; казалось, она пожелала убедить мир, что почитает их ничтожными.

Я прочел в одном из нынешних журналов, где журналисты удаляются от обязанности своей, дабы привлечь к себе внимание, высказывают мысли свои, не заботясь о том, что могут оскорбить читателя, что Екатерина II скончалась счастливо, как жила. Скончалась она, как всем про то ведомо, скоропостижно. А щелкопер, именуя сие счастливой смертью, дает понять, не говоря того напрямую, что хотел бы себе подобной кончины. В добрый час; на вкус и цвет товарищей нет, мы можем лишь пожелать, чтоб она настигла его в миг сладостный. Но смерть может быть счастливой единственно, если тот, кого она сразила, хотел ее; а кто сказал ему, что для Екатерины она была желанной? Ежели он предполагает сие, зная глубокий ум, в коем никто не мог ей отказать, то осмелюсь спросить, на каком основании решает он, что глубокий ум внезапную смерть за счастливейшую почитает? Не судит ли он по себе? Не будь он глупцом, он убоялся бы ошибиться; а коли он ошибается, значит, и впрямь глупец. Из сего следует, что наш журналист равно достоин титула глупца, ошибается он или нет. Чтоб в сем удостовериться, спросим теперь почившую в бозе императрицу.

— Довольны ли вы, Ваше Величество, внезапною вашею кончиной?

— Какая чушь! Подобный вопрос возможно задать женщине отчаявшейся либо слабой здоровьем, боящейся мучительной смерти от долгой, тяжкой болезни. Но ни то, ни другое ко мне не относится, я была счастлива и чувствовала себя превосходно. Худшего несчастья случиться не могло, ибо сей единственной вещи я не могла предугадать, будучи в здравом уме. Несчастье помешало мне окончить сотню дел, кои я завершила бы без малейшего затруднения, если б Господь ниспослал мне хоть какую болезнь, понудившую вспомнить о смерти; уверяю вас, я разглядела бы приближение ее безо всякого врача. Но свершилось иное. Я услышала небесный глас, повелевший отправиться в самое далекое путешествие, не имея времени на сборы, не будучи готовой к тому. Можно ли почесть меня счастливой за тем, что я отошла не мучаясь? Те, кто полагают, что у меня не достало бы сил подчиниться с миром естественному закону, коему подвластны все смертные, верно углядели трусость в душе моей, но я за всю жизнь никому не давала повода меня в сем подозревать. Могу поклясться, что, став ныне бесплотной тенью, я была бы довольна и счастлива, если б жестокая Божья воля, сразившая меня, даровала мне ясность мысли за сутки до кончины. Я бы не сетовала на несправедливость.

— Как, Ваше Величество! Вы обвиняете Бога в несправедливости?

— Нет ничего проще, ибо я осуждена на вечную муку. Скажите, может ли осужденный, даже если на земле он был самым виновным из людей, почесть правым приговор, обрекающий его на вечные терзания?

— И впрямь, я полагаю, что сие невозможно, ибо признав, что осуждены по справедливости, вы тем отчасти утешитесь.

— Весьма резонно, а осужденный принужден вечно оставаться безутешным.

— А ведь находятся философы, что вследствие таковой смерти вас счастливой именуют.

— Скажите лучше, глупцы, ибо слова мои доказывают, что скоропостижная кончина — горе мое, даже если б я сейчас почитала себя счастливой.

— Вне всякого сомнения. Осмелюсь спросить, допускаете ли вы, Ваше Величество, чтоб за злосчастной смертью воспоследовало вечное блаженство или за счастливой — телесные муки?

— Ни то, ни другое не является возможным. Вечное блаженство следует за нисходящим на душу покоем, в момент, когда она покидает брентную плоть, а на вечную муку обречен отлетевший дух, раздираемый угрызениями либо тщетными сожалениями. Но довольно, положенная мне кара не позволяет более говорить с вами.

— Помилосердствуйте, что это за кара?

— Скука. Прощайте.

После столь долгого поэтического отступления читатель будет мне признателен за возвращение к предмету моего рассказа.

Узнав от г-на Панина, что через пару дней императрица поедет в Красное Село, я отправился показаться ей, предвидя, что другого случая уже не будет. Итак, я в саду, но собирается дождь, я намереваюсь уходить, когда она спсылает за мной и велит проводить в залу первого этажа, где прогуливалась с Григорием Григорьевичем и еще одной дамой.

— Я забыла спросить, — молвила она, с наилучшим участием, полагаете ли вы, что сие исправление календаря от ошибок избавлено?

— Само исправление допускает погрешность, Ваше Величество, но она столь мала, что скажется на солнечном годе лишь на протяжении девяти-десяти тысяч лет.

— Я того же мнения и потому полагаю, что папа Григорий не должен был в том признаваться. Законодателю не к лицу ни слабость, ни мелочность. Меня смех разобрал несколько дней назад, когда я поняла, что, если б исправление не изничтожило ошибку на корню, отменив високосный год в конце столетия, человечество получило бы лишний год через пятьдесят тысяч лет; за это время пора равноденствия сто тридцать раз отодвигалась бы вспять, пройдясь по всем дням в году, а Рождество пришлось бы десять-двенадцать тысяч раз праздновать летом. Римская церковь охотно повиновалась великому первосвященнику в сем мудром предприятии; моя же, строго блюдущая

древние обычаи, не столь послушна.

— Я все же осмелюсь думать, что она покорилась бы Вашему Величеству.

— Не сомневаюсь, но как огорчилось бы духовенство, лишившись праздников сотни святых и великомучениц, что приходится на эти одиннадцать дней! У вас их всего по одному на день, а у нас десяток, дюжина. Я вам больше скажу, все древние государства привязаны к древним установлениям, полагая, что, коли они сохраняются, значит, хороши. Меня уверяли, что в республике вашей новый год начинается первого марта; мне сие обыкновение представляется отнюдь не варварством, а благородным свидетельством древности вашей. Да и то сказать, по мнению моему, год разумней начинать первого марта, нежели первого января. Но не возникает ли тут какой путаницы?

— Никакой, Ваше Величество. Две буквы М. В., кои мы добавляем к дате в январе и феврале, исключают ошибку.

— И гербы в Венеции другие, не соблюдающие вовсе правил геральдики; рисунок на них, говоря начистоту, нельзя почитать гербовым щитом. Да и покровителя вашего. Евангелиста, вы изображаете в престранном обличьи, и в пяти латинских словах, с коими вы к нему обращаетесь, есть, как мне сказывали, грамматическая ошибка. Но вы и впрямь не делите двадцать четыре часа, что в сутках, на два раза по двенадцать?

— Да, Ваше Величество, и начинаем отсчитывать их с наступлением ночи.

— Вот видите, какова сила привычки? Вам это кажется удобным, тогда как мне представляется изрядно неудобным.

— Поглядев на часы, вы, Ваше Величество, всегда будете знать, сколько еще длиться дню, вам не надобно для того ждать выстрела крепостной пушки, оповещающей народ, что солнце перешло в другое полушарие.

— Это правда, но у вас одно преимущество — вы всегда знаете час скончания дня, а у нас два. Мы уверены, что всегда в двенадцать часов дня наступит полдень, а в двенадцать ночи — полночь.

Она завела разговор о нравах венецианцев, их страсти к азартным играм и спросила к слову, прижилась ли у нас генуэзская лотерея.

— Меня хотели убедить, — сказала она, — чтоб я допустила ее в моем государстве, я согласилась бы, но токмо при условии, что наименьшая ставка будет в один рубль, дабы помешать играть беднякам, кои, не умея считать, уверуют, что легко угадать три цифры.

После сего изъяснения, из глубокой мудрости проистекающего, я мог только покорнейше кивнуть. То была последняя беседа моя с великой женщиной, умевшей править тридцать пять лет, не допустив ни одного существенного промаха, соблюдадая во всем умеренность.

Перед отъездом я устроил в Екатеринбург для друзей праздник с фейерверком, не стоившим мне ничего. То был подарок друга моего Мелиссино, но ужин мой на тридцать персон был отменно вкусен, а бал великолепен. Хоть кошелек мой изрядно истощился, я почел своим долгом выказать друзьям признательность за всю их обо мне заботу.

Поелику я уехал с комедианткой Вальвиль, надлежит поведать теперь читателю, каким манером я свел с ней знакомство.

Я отправился в одиночестве во французскую комедию и сел в ложе третьего яруса рядом с прехорошенькой дамой, мне незнакомой, что была совершенно одна. Я завел с ней разговор, браня или хваля игру актеров и актрис, и она, отвечая, пленила меня умом, как прежде — красотой. Очарованный ею, я осмелился к концу пьесы спросить, русская ли она.

— Я парижанка, — был мне ответ, — и комедиантка по профессии. Сценическое имя мое Вальвиль, и ежели оно вам не знакомо, я ничуть не удивлюсь — я только месяц как приехала и всего раз играла субретку в «Любовных безумствах».

— Почему только раз?

— Затем, что не имела счастья понравиться государыне. Но поскольку ангажировали меня на год, она велела платить мне по сто рублей в месяц, а через год выдадут паспорт, денег на дорогу, и я уеду.

— Императрица, верно, полагает, что милостиво обошлась с вами, платя, хоть вы и не работаете.

— Как иначе ей думать, она ведь не актриса. Откуда ей знать, что, не играя, я теряю много больше, чем получаю от нее, ибо забываю начатки ремесла, в коем не довольно еще сильна.

— Надо известить ее о том.

— Я мечтаю об аудиенции.

— В том нужды нет. У вас, конечно, есть любовник.

— Никого.

— Невероятно.

На следующее утро я посылаю ей таковое письмо:

«Я желал бы, сударыня, завязать с вами интригу. Вы пробудили во мне докучные желания и я вызываю вас — дайте мне удовлетворение. Я прошу у вас ужина и желаю знать наперед, во что он



мне станет. Намереваясь ехать в Варшаву в следующем месяце, я предлагаю вам место в дормезе, что причинит только то неудобство, что я буду спать рядом с вами. Я знаю способ получить для вас паспорт. Подателю сего ведено ждать ответа, который, надеюсь, будет столь же ясен, как мое письмо».

Вот ответ, полученный мною через два часа:

«Обладая, милостивый государь, великим умением распутывать с легкостью любую интригу, особливо когда узлы затянуты наспех, я без труда соглашаюсь завязать ее. Что до желаний, кои я в вас пробудила, то мне досадно, коль они вам докучают, ибо мне они льстят, и я соглашусь удовлетворить их с тем, чтоб сильнее разжечь. Требуемый вами ужин будет готов сегодня вечером, а после мы поторгуемся, что за ним воспоследует. Место в вашем дормезе будет мне тем более дорого, если кроме паспорта вы сумеете добыть мне денег на дорогу до Парижа. Надеюсь, что сии слова покажутся вам столь же ясными, как ваши собственные. Прощайте, сударь, до вечера».

Я застал сию Вальвиль одну в прелестной ее квартирке, обратился к ней запросто, и она приняла меня, как старого товарища. Заговорив сразу о том, что занимало ее пуще всего, она сказала, что почтет за счастье ехать со мной, но сомневается, что я смогу добыть ей дозволение. Я отвечал, что уверен в том, коли она подаст прошение императрице, как я его составлю; она просила написать его, принеся бумагу и чернила. Вот сии несколько строк:

«Ваше Императорское Величество! Умоляю Вас вспомнить о том, что, оставаясь здесь год без дела, я забуду ремесло свое, тем паче, что еще не довольно выучилась ему. Вследствие сего щедрость Ваша вредна для меня более, нежели полезна; я буду сверх меры Вам признательна за милостивое дозволение уехать».

— Как? — сказала она. — И все?

— Ни слова более.

— Ты ни о чем не пишешь, ни о паспорте, ни о прогонных, а я небогата.

— Подай сие прошение, и либо дурей меня на свете нет, либо ты получишь не только денег на дорогу, но и жалование за год.

— Это уж слишком.

— Все так и будет. Ты не знаешь императрицу, а я знаю. Сделай копию и подай собственноручно.

— Я сама перепису. У меня отменно разборчивый почерк. Мне кажется, я сама сие сочинила, так это на меня похоже. Думаю, ты лицедей получше моего, и я хочу сегодня же взять у тебя первый урок. Пойдем ужинать.

После весьма изысканного ужина, который Вальвиль приправила сотней шуточек на парижском жаргоне, отменно известном, она уступила мне безо всяких церемоний. Я только на минуту сошел вниз, чтоб отпустить карету и втолковать кучеру, что он должен сказать Заире, кою я уведомил, что еду в Кронштадт, где и заночую. То был украинец, верность коего я уже многожды испытывал; но я сразу понял, что, став любовником Вальвиль, я не смогу более держать Заиру.

Я обнаружил в комедиантке тот же характер и те же достоинства, что во всех французских девках, прельстительных, по-своему воспитанных, домогающихся права принадлежать одному; они желают быть на содержании и титул любовницы ставят выше звания жены.

Она поведала в антрактах некоторые свои приключения, кои позволили мне угадать всю ее историю, не слишком, впрочем, долгую. Актер Клерваль, приехавший в Париж, дабы набрать труппу для петербургского придворного театра, случайно повстречав ее и оценив ее ум, убедил, что она прирожденная актриса, хотя сама о том не ведает. Сия мысль ослепила ее, и она подписала ангажемент с вербовщиком, не озаботившись удостовериться в своих способностях. Она уехала из Парижа вместе с ним и шестью другими актерами и актрисами; среди коих лишь она одна ни разу не выходила на сцену.

— Я решила, — рассказывала она, — что тут, как у нас, девица нанимается в оперу, в хор или в балет, не умея ни петь, ни танцевать, и совершенно также можно сделаться актрисой. Как иначе могла я думать, ежели сам Клерваль уверял меня, что я создана для того, чтобы блистать на театре, и доказал сие, взяв меня с собой? Прежде чем записать меня, он единственно пожелал послушать мое чтение и велел выучить наизусть три или четыре сцены из разных пьес, кои разыграл в моей комнате вместе со мной, — он, как вы знаете, превосходно представляет слуг; он нашел во мне отменную субретку и, конечно, не желал меня обмануть, а обманулся сам. Через две недели по приезду сюда я дебютировала и, что называется, провалилась, но плевать я на то хотела, мне стыдиться нечего.

— Ты, быть может, испугалась.

— Испугалась? Вовсе нет. Клерваль клялся, что, выкажи я испуг, государыня, коя сама доброта, почла бы своим долгом ободрить меня.

Я покинул ее утром, после того как она своей рукой переписала прошение и сделала это превосходно. Она уверила, что завтра самолично подаст его, и я обещал прийти к ней другой раз ужинать, как только расстанусь с Заирой, о которой ей рассказал. Она меня одобрила.

Французские девки, служительницы Венеры, сметливые и обхождению наученные, все такие, как Вальвильша, — без страстей, без темперамента и потому любить не способны. Они умеют угождать и действуют по раз заведенному порядку. Мастерницы своего дела, они с одинаковой легкостью, шутя, заводят и порывают связи. И это не легкомыслие, а жизненный принцип. Если он не наилучший, то, по меньшей мере, самый удобный.

Воротившись домой, я нашел Заиру внешне спокойной, но грустной; это печалило меня больше, чем гнев, ибо я любил ее; но надлежало кончать и приуготовиться к боли, кою причинят мне ее слезы. Зная, что я намерен уехать и, не будучи русским, не могу взять ее с собой, она беспокоилась о судьбе своей. Она должна была перейти к тому, кому я отдам ее паспорт, и сие весьма ее занимало. Я провел с ней весь день и всю ночь, выказывая ей нежность мою и печаль от предстоящей разлуки.

Архитектор Ринальди, муж, умудренный семьюдесятью годами, из коих сорок провел в России, был влюблен в нее; он беспрестанно твердил, что я доставлю ему великое удовольствие, коль уезжая, ее ему уступлю, и предлагал вдвое против того, что я за нее уплатил, а я ему на то отвечал, что оставлю Заиру только тому, с кем она захочет быть по доброй воле, ибо намерен подарить ей все деньги, кои уплатит мне тот, кто приобретет ее. Ринальди сие пришлось не по вкусу, ибо он не льстился понравиться ей; но все же надежды не терял.

Он явился ко мне в то самое утро, что я назначил, дабы покончить дело, и, хорошо зная русский, изъяснил девчонке свои чувства. Она отвечала по-итальянски, что будет принадлежать тому, кому я отдам ее паспорт, и посему ему надобно обращаться ко мне, а она себе не хозяйка; ей никто не противен, никто не мил. Не сумев добиться от нас решительного ответа, честный старик откланялся после обеда, ни на что особо не надеясь, но всецело на меня полагаясь.

После его ухода я просил ее сказать мне от чистого сердца, будет ли она держать на меня зло, коли я оставлю ее сему достойнейшему человеку, каковой будет обращаться с ней, как с дочерью.

Она намеревалась ответить, когда принесли письмо от этой Вальвиль, просившей меня поскорее прибыть, чтоб услышать приятные вести. Я приказал немедля закладывать лошадей.

— Хорошо, — спокойно сказала Заира, — поезжай по своим делам, а когда вернешься, я дам тебе окончательный ответ.

Вальвиль была совершенно счастлива. Она дождалась императрицу, когда та шла из часовни в свои покои, и на вопрос, что ей надобно, подала прошение. Государыня прочла его на ходу и, милостиво улыбувшись, велела обождать. Через несколько минут ей передали то же самое прошение, на коем императрица отписала статс-секретарю Гелагину. Она начертала внутри четыре строки по-русски, кои Гелагин самолично ей перевел, когда она поспешила отнести ему прошение. Государыня приказала выдать комедиантке Вальвиль паспорт, жалование за год и сто голландских гульденов на дорогу. Она была уверена, что за две недели все получит, поскольку управа благочиния выдавала паспорт через две недели, как пропечатывают весть об отъезде.

Вальвиль, исполнившись признательности, уверила меня в дружбе своей, и мы назначили время отъезда. Я объявил о своем через городскую газету спустя три или четыре дня. Поелику я обещал Заире вернуться, то покинул актрису, уверив, что буду жить с ней, как только устрою в хорошие руки юную девицу, кою принужден оставить в Петербурге.

За ужином Заира была весела, а после спросила возвратит ли г-н Ринальди, взяв ее в дом, те сто рублей что я уплатил отцу ее; я ответил да.

— Но теперь, — сказала она, — я небось стою дороже со всеми обновами, что ты мне оставляешь, да и по-итальянски могу изъясниться.

— Ну, конечно, малышечка милая, но я не желаю, чтоб обо мне говорили, что я на тебе нажился, тем более что я решил подарить тебе эти сто рублей, что получу от него, вручив твой паспорт.

— Коли ты решил одарить меня, что тебе не отвезти меня вместе с паспортом к родному батюшке? Тогда ты воистину будешь щедр. Раз г-н Ринальди любит меня, тебе надобно единственно сказать, чтоб он приехал за мной к батюшке. Он говорит по-русски, они сойдутся в цене, я противиться не стану. Ты не осерчаешь, коль я не достанусь ему задаром?

— Да нет же, дитятко мое, совсем напротив. Я рад пособить семейству твоему, ибо г-н Ринальди богат.

— Век тебя буду помнить. Идем в опочивальню. Поутру ты отвезешь меня в Екатеринбург. Идем в опочивальню.

Вот и вся история расставания моего с девицей, благодаря коей я столь благонаравно вел себя в Петербурге. Зиновьев уверял, что, оставив залог, я мог бы уехать с ней, и вызывался доставить мне эту радость. Я отказался, помыслив о последствиях. Я любил ее и сам бы стал ее рабом, но, быть может, я б о том и тревожиться не стал, если б в ту самую пору не влюбился в Вальвиль.

Все утро Заира собирала пожитки, то плача, то смеясь, и каждый раз видела слезы у меня на глазах, когда, оторвавшись от своего сундучка, бежала меня поцеловать.

Когда я отвез ее к отцу, вручив ему ее паспорт, все семейство бросилось передо мной на

колени, молясь на меня, как на Бога. Но в избе Заира выглядела прескверно, ибо за постель они почитали сенник, где все спали вповалку.

Когда я обо всем поведал г-ну Ринальди, он ничуть не обиделся. Он сказал, что надеется заполучить ее, и, заручившись ее согласием, без труда столкнется с родителями о цене; он немедленно поехал к ней, но добился толку лишь после моего отъезда; она видела от него только хорошее и жила у него до самой его смерти.

После сей печальной разлуки единственной подругой моей стала Вальвиль, и недели через три или четыре все было готово к отъезду. Я взял в услужение армянского купца, каковой ссудил мне сто дукатов и отменно готовил восточные кушанья. Я заручился рекомендательным письмом от польского поверенного к князю Августу Сулковскому, а от англиканского пастора к князю Адаму Чарторыскому и, сунув в дормез перину и одеяла, улегся вместе с Вальвильшей, коя сочла сей способ путешествовать столь же приятным, сколь комичным, ибо мы положительно улеглись в постель.

На другой день мы остановились в Копорье пообедать, имея в карете изрядный запас провизии и доброго вина. Через два дня мы повстречали славного регента Галуппи, прозванного Буранелло, каковой направлялся в Петербург с двумя друзьями и «виртуозкой». Он меня не знал и был изрядно удивлен, обнаружив в трактире, где он остановился, добрый венецианский обед, а впридачу и меня, приветствовавшего его на родном языке. Узнав мое имя, он долго меня обнимал.

Дождь испортил дороги, и мы целую неделю добирались до Риги, где я так и не нашел принца Карла Курляндского. Еще четыре дня ехали до Кенигсберга, где Вальвиль была принуждена меня покинуть — ее ждали в Берлине. Я оставил ей армянина, коему она любезно уплатила сто дукатов, мною ему должных. Через два года я повстречал ее в Париже, о чем расскажу в свой черед. Мы расстались весело, никакие грустные мысли, вечный спутник разлук, не омрачали хорошее наше настроение. Мы сделались любовниками лишь затем, что не ставили любовь ни во что; но мы прониклись друг к другу самой искренней дружбой. В местечке Кляйне Роп, что под Ригой, где мы остановились и заночевали, она предложила мне все свои деньги и драгоценности. Мы нашли приют у графини Ловенвальд, коей я вручил письмо от княгини Долгорукой. В гувернантках при ее детях состояла красивая англичанка, жена Кампиони, с коей я познакомился в Риге в прошлом году. Она рассказала, что супруг ее в Варшаве и живет у Виллье. Она дала мне письмо для него, где просила не забывать ее. Я обещал понудить его прислать ей денег и сдержал слово.

В Кенигсберге я продал дормез и, оставшись один, нанял место в карете и поехал в Варшаву. Попутчиками моими было трое поляков, изъяснявшихся только по-немецки; от того я изрядно скучал все шесть дней, что длилось сие пренеприятнейшее путешествие. Я остановился в трактире Виллье, где знал, что встречу давнего своего приятеля Кампиони.

Я нашел его в добром здравии, дела его были неплохи. Он держал школу танцев, и изрядное число учеников и учениц доставляли ему пропитание. Он обрадовался известиям о Фанни и ее детях и послал денег, но не подумал выписать ее в Варшаву, как она надеялась. Он мне поведал, что славный маркиз Дарагон покинул Варшаву, спустив все деньги, выигранные в России; он повстречал еще худших шулеров, чем сам. Варшава кишела ими, но всех более преуспевал Томатис, хозяин оперы-буфф и миланской танцовщицы по имени Катаи, коя своими прелестями и отчасти талантом услаждала город и двор; Томатис повелевал ею всецело. Азартные игры были дозволены, и Кампиони назвал мне всех, что держали открытые игрецкие дома. То была некая Джиропольди из Вероны, жившая с лотарингским офицером по имени Башелье, что метал банк. Танцовщица, коя была в Вене любовницей славного Афлизио, приманивала, завлекала гостей. Хозяйка выдавала ее за девственницу, но она была та самая, что родила Афлизио дочку, каковую он отдал в Венеции на воспитание в приют Мендиканти и что была с ним в Болонье, когда его арестовали по приказу эрцгерцога Леопольда, великого герцога Тосканского, отправив коротать остаток дней на галерах. Другой игрецкий дом держал с одной саксонкой знатный шулер майор Саби, о коем я довольно рассказывал во время второго путешествия моего в Амстердам. Был там и барон Сент-Элен, но он славился другим талантом — делать долги и убеждать займодавцев повременить; он остановился в том же трактире со своей женой, миловидной и честной, которая до его дел никакого касательства не имела. Он поведал мне и о многих иных искателях счастья, общества коих я для собственного блага должен был избегать.

На другой день я нанял лакея и карету на месяц, положительно необходимую в Варшаве, где нельзя ходить пешком. Было это в конце октября 1765 года.

Первым делом я отнес письмо от англиканского пастора князю Адаму Чарторыскому, генералу Земель Подольских. Он восседал за большим столом, усеянным тетрадами, в окружении сорока или пятнадцати человек, в просторной библиотеке, кою превратил в свою опочивальню. А он был женат на красавице графине Флеминг, каковой так и не удосужился сделать ребенка, ибо не любил ее за удобу.

Прочтя письмо на четырех страницах, он благороднейшим образом сказал мне на изысканном французском, что относится с величайшим почтением к особе, меня рекомендовавшей, и, будучи

сильно занят, просит меня отужинать с ним, «если у меня нет других дел».

Я сел обратно в карету и велел везти меня к дому князя Сулковского, что был тогда избран послом ко двору Людовика XV. Князь был старшим из четырех братьев, имел глубокий ум и уйму прожектов, превосходнейших, но все в духе аббата де Сен-Пьера. Он в тот момент выходил, чтоб отправиться в кадетский корпус, и, прочитав письмо, сказал, что ему о многом надо со мной потолковать. «Если у меня нет других дел», он будет рад отобедать со мной наедине в четыре часа. Я отвечал, что почту сие за честь.

Оттуда я направился к купцу по имени Кемпинский, каковой по поручению Папанелопуло должен был платить мне помесечно пятьдесят дукатов. Услыхав от лакея, что на театре репетируют новую оперу и вход свободный, я пошел и провел там три часа; никто меня не знал, да и я никого. Актрисы и танцовщицы показались мне прехорошенькими, но лучше всех Катаи, коя танцевала с большой важностью, не знала ни единого па, но вызывала всеобщие рукоплескания; особенно усердствовал князь Репнин, русский посол, чувствовавший себя хозяином.

Князь Сулковский продержал меня за столом четыре часа, вконец уморив, расспрашивая обо всем, кроме того, что я знал. Его коньком были политика и торговля и, поняв, что ничего из меня не вытянешь, блеснул ученостью. Он весьма ко мне расположился, я полагаю, именно потому, что нашел во мне всего лишь скромного слушателя.

К девяти часам, «не имея других дел», — как сказали мне все польские вельможи, — я отправился к князю Адаму, каковой, представив меня, назвал мне всех присутствующих. Там были монсеньор Красицкий, князь-епископ Вармский, великий коронный писарь Ржевуский, петербургский любовник бедняжки л'Англад, умершей вскоре от оспы; вильненский воевода Огинский, генерал Роникер и еще двое, чьих имен я не запомнил; последней он представил жену, показавшуюся мне прелестной. Через четверть часа входит красивый вельможа и все встают. Князь Адам представляет меня и тут же говорит холодно:

— Это король.

Конечно, когда чужеземец так сталкивается лицом к лицу с монархом, он не оробеет, блеск величия его не ослепит, но уж конечно удивится и смешается от подобной простоты. Отбросив мысль об обмане, я шагнул вперед и намерился преклонить колени, но Его Величество подал мне руку для поцелуя с самым ласковым видом. Он хотел из вежливости что-то спросить, но князь Адам протянул ему послание английского пастора, хорошо ему известного. Прочтя его все также стоя, милейший князь принялся расспрашивать меня об императрице и ее приближенных, я начал входить в подробности, кои бесконечно его интересовали. Через четверть часа пригласили к столу, и король, не прерывая беседу нашу, повел меня к столу и усадил по правую от себя руку. Стол был круглый. Все ели, кроме короля, у которого, видно, не было аппетита, и меня, который бы и не почувствовал голода, если б даже и не пообедал у князя Сулковского, так я был горд, что все со вниманием слушали меня одного.

После ужина король с большим изяществом и самым приятным манером изъяснился о том, что я рассказывал. Перед тем как удалиться, он объявил, что всегда будет рад видеть меня при дворе. Князь Адам сказал, когда я уходил, что, если я желаю быть представленным отцу его, мне надобно прийти к нему завтра к одиннадцати часам.

Король Польский был среднего роста, но отменно сложен. Лицо некрасивое, но умное и значительное. Он был близорук и, когда молчал, мог показаться грустным, но когда заговаривал, то блистал красноречием и вселял в слушателей веселость тонкими своими шутками.

Весьма довольный таким началом, я воротился в трактир, где застал у Кампиони развеселую компанию девок и игроков, еще не кончивших ужин. Я задержался на часок, более из любопытства, нежели из пристрастия, потом ушел.

На другое утро, в назначенный час, я познакомился с человеком необыкновенным, славным российским воеводою. Он был в шлафроке, окружали его дворяне в национальных одеждах, все в сапогах, все усатые, головы бритые. Он стоял, беседуя то с тем, то с другим, любезно, но сурово. Как только сын, уведомивший его загодя, представил меня, чело воеводы прояснилось, он принял меня безо всякого чванства или панибратства. Писаным красавцем он не был, но лицом пригож, обхождения самого благороднейшего и говорил красно. Он не смущал, не ободрял, он старался узнать человека, с которым знакомился, таким, как он есть. Услыхав, что в России я ничего другого не делал, кроме как развлекался и знакомился со двором, он счел, что в Польше у меня других дел нет, и обещал, что со всеми меня сведет. Он сказал, что, раз я холост и одинок, он будет рад видеть меня за своим столом утром и вечером, все дни, как я буду свободен.

Удалившись за ширму, он велел одеваться, и, выйдя в мундире своего полка, одетый на французский манер в белом парике с косицей и длинными баками, в наряде времен покойного короля Августа III, он со всеми вкруговую раскланялся и отправился на половину супруги своей, госпожи воеводши, каковая еще не вполне оправилась от болезни, что унесла бы ее, если б не заботы доктора Реймана, ученика великого Буграве. Она была из д'Ёнховых, угасшего рода, и, единственная их наследница, принесла в приданое несметное состояние. Женившись на ней, он покинул

Мальтийский орден. Он завоевал супругу в конном бою на пистолетах, когда, добившись от дамы обещания руки и сердца, имел счастье застрелить соперника. Детей у него было всего двое — князь Адам и княгиня Любомирская, ныне вдовствующая, кою тогда звали «Стражникова», по должности, кою супруг ее занимал в польском войске.

Сей князь, воевода российский и брат его, великий канцлер литовский, были главными зачинщиками польских волнений, кои только тогда начинались. Братья, недовольные тем, сколько мало значит их слово при дворе, где король во всем слушался фаворита, графа фон Брюля, первого министра, встали во главе заговора, чтоб свергнуть его и посадить на престол при содействии России юношу, их племянника, каковой, приехав в Петербург в свите посла, умел добиться благосклонности великой княгини, коя вскоре сделалась императрицей, а в нынешнем 1797 году в бозе почил. Сей юноша был Станислав Понятовский, сын Констанции Чарторыской, их сестры, и славного Понятовского, сподвижника Карла XII. Фортуна пожелала, чтоб он безо всякой крамолы взошел на трон коего «*dignus fluisset si non regnasset*» \*.

Король, коего они намеревались низложить, скончался, и посему заговорщики принялись действовать в открытую; я не стану утомлять читателя, пересказывая историю воцарения Станислава, который к приезду моему царствовал уже почти два года. Я увидел блистательную Варшаву. Готовились к открытию сейма, горя нетерпением узнать, что потребует Екатерина II за то, что поспособствовала Польше посадить себе короля из Пястов.

Когда наступило время обеда, я увидел, что у воеводы российского три стола, каждый на тридцать либо сорок кувертов. Князь Адам уведомил меня, что я должен всегда садиться за один стол с его отцом. Он представил меня в тот день красавице княгине, сестре своей, и многим воеводам и старостам, коим я впоследствии нанес визиты, и менее, чем в две недели стал вхож в первейшие дома, и потому дня не проходило, чтоб я не был приглашен на парадный обед или на бал к тем или другим.

Не имея довольно денег, дабы померяться силами с игроками или доставить себе приятное знакомство с актеркой из французского или итальянского театра, я воспылил интересом к библиотеке монсеньора Залуского, епископа Киевского, и в особенности к нему самому. Я чуть не всякое утро хаживал туда и получил подлинные свидетельства обо всех интригах и тайных кознях, потрясавших прежде правление, коего сей прелат был главнейшей опорой. Но преданность его оказалась напрасной. Как многих других, российское самодержавие схватило епископа на глазах короля, слишком слабого, чтоб противиться, и сослало в Сибирь. Случилось это через несколько месяцев после моего отъезда.

Итак, жизнь я вел весьма однообразную. Вторую половину дня сживал я у князя воеводы российского, чтоб составить ему партию в «три семерки», итальянскую игру, изрядно им любимую, в кою я играл мастерски, и князь никогда не был так доволен, как если брал верх надо мною.

Но, несмотря на разумный образ жизни и экономию, спустя три месяца я залез в долги, рассчитывать было не на что. Пятидесяти цехинов в месяц, что я получал из Венеции, мне не хватало. Карета, жилье, двое слуг, да еще быть одетым с иголочки, и я впал в нужду, а никому открыться не желал. Я был прав. Когда в стесненных обстоятельствах обращаются к богачу, то, получив вспоможествование, теряют уважение, а, получив отказ, обретают презрение.

Но вот каким путем фортуна послала мне двести дукатов. Госпожа Шмит, кою король имел основания содержать во дворце, пригласила меня на ужин, уведомив, что будет государь. Я был рад увидеть милейшего епископа Красицкого, аббата Джигиотти и некоторых прочих, знавших по верхам словесность итальянскую. Король, коего на людях я никогда не видал в дурном настроении, да к тому же весьма сведущий, помнивший классиков, как никто из монархов, принялся сыпать анекдотами о древнеримских книжниках, затыкая мне рот ссылками на манускрипты схоластов, кои, быть может, Его Величество и выдумывал. Беседа была общей; я один, быв в скверном расположении духа, да еще не обедав, набросился на еду, как волк, отвечая только да и нет, когда того требовала вежливость. Тут зашел разговор о Горации, и каждый привел одну или две сентенции, славя глубину философии великого певца разума, а аббат Джигиотти принудил меня заговорить, сказав, что мне не пристало отмалчиваться, коль я не держусь противоположного мнения.

— Ежели вы принимаете мое молчание за одобрение того предпочтения, кое выказываете одной мысли Горация перед остальными, я позволю заметить, что знаю более тонкие суждения о придворном обхождении, нежели «*nes cum venari volet poemata ranges*» \*\*, что вам так нравится, кое смахивает на сатиру и лишено изящества.

— Не просто соединить изящество с сатирой.

— Только не для Горация, который именно тем и нравился Августу, что делает честь монарху, каковой, покровительствуя ученым, обессмертил свое имя и побудил державных венценосцев в том ему подражать, взяв его имя или сокрыв его.

Польский король, который при восшествии на престол принял имя Август, посуровел и не сдержал вопроса.

— Кто же эти державные венценосцы, — осведомился он, — что приняли имя Август, сокрыв

его?

— Первый король шведский, который звался Густав; это точная анаграмма имени Август.

— Анекдот забавен. Где вы его нашли?

— В рукописи одного упсальского профессора в Вольфенбюттеле.

Тут король от всей души рассмеялся, ибо в начале ужина сам ссылался на манускрипты. Но, отсмеявшись, он продолжил разговор, спросив, какие стихи Горация, не рукописные, а известные всем, кажутся мне образчиком изящества, делающего сатиру приятной.

— Я мог бы, Сир, много их привести, но вот, к примеру, стих, прекрасный своей скромностью. «*Coram rege sua de paupertate tacentes plus quam poscentes ferent*» \*.

— Это верно, — улыбнулся король, а г-жа Шмит попросила епископа перевести ей отрывок.

— «Те, кто в присутствии короля не говорят о нуждах своих, — отвечал он ей, — получают больше, чем те, кто сетует без конца».

Дама объявила, что никакой сатиры в том не усматривает. Я же, все сказав, понужден был молчать. Тут король сам перевел разговор на Ариосто, сказав, что желал бы читать его вместе со мною. Я, поклонившись, отвечал вместе с Горацием: «*Tempora queram*» \*\*.

На следующий день, выходя из церкви, великодушный и несчастливейший Станислав Август, протянув мне руку для поцелуя, сунул мятый сверток, велел благодарить Горация и никому о том не рассказывать. Я обнаружил в нем двести золотых дукатов и уплатил долги. С тех пор я почти каждое утро являлся в так называемую гардеробную, где король, пока его причесывали, охотно беседовал со всеми, кто приходил развлечь его. Но он так и не вспомнил об Ариосто. Он понимал итальянский, но недостаточно, чтоб говорить, и еще менее, чтоб оценить великого поэта. Когда я думаю об этом князе, о великих его достоинствах, хорошо мне известных, мне кажется невозможным, чтоб он наделал столько ошибок, став королем. То, что он пережил свою родину, быть может, наименьшая из них. Не найдя друга, который решился бы убить его, он, смею думать, должен был покончить с собой; незачем было искать палача среди друзей, ибо, как Костюшко, какой-нибудь русский мог обеспечить ему бессмертие.

Варшава устроила блистательный карнавал. Чужеземцы съезжались со всех концов Европы единственно за тем, чтоб увидеть счастливого смертного, ставшего королем, хотя никто ему в колыбели того бы не предрек. Увидав его, побеседовав с ним, всяк уверял, что не правы те, кто почитает Фортуна слепой и безумной. Но с каким усердием показывался он на людях! Я видел, как он тревожится, что еще остались в Варшаве инородцы, ему не знакомые. Никто при том не должен был ему представляться, двор был открыт для всех, и когда он видел новые лица, то первый заговаривал.

Вот случай, произошедший со мной в конце января, который, мне кажется, должно записать, что б ни подумал читатель о моем образе мыслей. Речь идет о сне, и я уже как-то признавался, что всегда был несколько суеверен.

Мне снилось, за обедом в доброй компании кто-то из сотрапезников пустил в меня бутылкой, разбив в кровь лицо, а я пронзаю обидчика шпагой и сажусь в карету, чтоб уехать. Вот и все, но вот что в тот же день напомнило мне сон.

Принц Карл Курляндский, прибыв в те дни в Варшаву, позвал меня с собой на обед к графу Понинскому, тогдашнему коронному дворецкому, тому самому, что вызвал впоследствии столько о себе толков, сделался князем, затем был осужден и жестоко опозорен. У него был в Варшаве чудный дом, любезное семейство. Я к нему не ездил, ибо его не любили ни король, ни родственники его.

В середине обеда бутылка шампанского, до которой никто не дотрагивался, взорвалась, осколок попал мне в лоб, рассек вену и хлынувшая потоком кровь залила лицо, одежду, стол. Я вскочил, все тоже, сразу перевязку, меняют скатерть и садимся за стол кончить обед. Вот и все.

Я в растерянности, но не из-за происшествия, а из-за сна, о котором я бы без этого пустяжного случая и не вспомнил бы. Другой наверняка пересказал бы всем свой сон, но я вечно боялся прослыть духовидцем или глупцом. Да и сам я не придавал ему большого значения, ибо сон отличался от яви в главных своих обстоятельствах. Остальное сбылось позже.

Бинетти, кою я покинул в Лондоне, приехала в Варшаву с мужем своим и танцовщиком Пиком. Прибыли они из Вены, а направлялись в Петербург. Она привезла рекомендательное письмо к князю, брату короля, австрийскому генералу, что находился в ту пору в Варшаве. Я услышал о том в день ее приезда, за обедом у князя воеводы, от самого короля, сказавшего, что хочет предложить им за тысячу дукатов задержаться на неделю в Варшаве и выказать свое искусство.

Желая повидать ее и первым сообщить замечательную весть, я поутру поспешил в трактир Виллье. Изрядно удивившись, что повстречала меня в Варшаве, а еще больше известию, что судьба посылает ей тысячу дукатов, она кликнула Пика, который не очень-то поверил; но спустя полчаса явился князь Понятовский, чтоб сообщить ей о желании Его Величества, и она согласилась. В три дня Пик поставил балет, а костюмы, декорации, оркестр, статистов, в общем все, достал расторопный Томатис, который не постоял перед расходами, дабы доставить удовольствие щедрому государю. Пара так понравилась, что ее оставили на год, не ограничивая ни в чем; но сие пришлось не по вкусу Катаи — мало того, что Бинетти затмевала ее, она вдобавок поклонников у нее уводила. Посему

Томатис принялся чинить Бинетти всякие театральные пакости, сделав первых танцовщиц заклятыми врагами. Через десять или двенадцать дней у Бинетти был дом, обставленный с великим изяществом, простая и золоченая посуда, погребок, наполненный отменными винами, превосходный повар и толпа воздыхателей, и среди них стольник Мошинский и коронный подстолий Браницкий, друг короля, проживавший в соседних с ним покоях.

Театральный партер поделился на две партии, ибо Катаи, хотя талант ее был ничто в сравнении с новенькой, ни в чем не желала ей уступать. Она танцевала в первом балете, а Бинетти во втором, и те, кто рукоплескал первой, смолкали при появлении второй, равно как другая партия безмолствовала, когда танцевала первая. Издавна многим был я обязан Бинетти, но еще в большем долгу был я пред Катаи, за которую стояло семейство Чарторьских, их сторонники и все, кто от них зависел; князь Любомирский, коронный стражник, всегда особо меня отличавший, был промеж них главный ее почитатель. Следственно, не мог я перебежать в лагерь чаровницы Бинетти, без боязни снискать презрение тех, к коим мне должно было относиться с превеликим почтением.

Бинетти горько упрекала меня и тщетны были мои оправдания. Она требовала, чтоб я более театр не посещал, сказав, не вдаваясь в объяснения, что так отомстит Томатису, что он закается строить козни. Она величала меня старейшиной друзей ее, да к тому же я все еще ее любил, а Катаи вовсе меня не привлекала; она была красивей Бинетти, но страдала падучей.

Вот каким жестоким манером Бинетти дала изведать бедняге Томатису силу своей ненависти.

Ксаверий Браницкий, коронный подстолий, кавалер ордена Белого Орла, полковник уланов, молодой красавец, шесть лет служивший во Франции, друг короля, приехавший из Берлина, где вел переговоры с Фридрихом Великим как посланник нового Польского государя, был первым любовником Бинетти. Ему открыла она свои горести, ему поручила отмстить директору театра, каковой не упускал случая досадить ей. Браницкий, верно, в ответ поклялся исполнить ее волю и, ежели случай не представится, изыскать его. Но избрал поляк образ действий необычный и необыкновенный.

Двадцатого февраля пан Браницкий был в опере и, против обыкновения, после второго балета прошел в уборную, где переодевалась Катаи, дабы поухаживать за ней. При ней был один Томатис, который там и остался. Он счел, и она тоже, что, поссорившись с Бинетти, Браницкий явился уверить ее в победе, коя была ей ни к чему; но все же она была весьма ласкова с вельможей, пренебрегать милостями коего было вовсе не безопасно.

Опера давно кончилась. Катаи собралась домой и галантный подстолий предложил ей руку, чтоб проводить до кареты, стоявшей у дверей, а Томатис пошел следом. Я тоже стоял у входа, поджидая свою, снег валил хлопьями. Выходит Катаи, лакей распахивает дверцу ее визави, она садится, за ней пан Браницкий, а Томатис стоит в растерянности. Вельможа велит ему садиться в его карету и ехать следом; Томатис отвечает, что ни в какую карету, кроме как в свою, не сядет, и покорнейше просит его выйти. Подстолий кричит кучеру:

«Пошел!», Томатис: «Стой!» — кучер слушается хозяина. Тут подстолий, принужденный сойти, велит своему гусару дать невеже пощечину, что тот и делает, да так споро, что бедняга Томатис и вспомнить не успел, что у него на поясе шпага, коей должно пронзить бесчестного палача. Он сел в визави и отправился домой, где, верно, переваривая пощечину, не смог как следует отужинать. Я был к нему зван, но, быв свидетелем сего скандального происшествия, не осмелился ехать. Я поехал домой в грусти и печали, боясь, что и на меня падает позор бесчестной сей пощечины. Я размышлял, не был ли измыслен афронт самой Бинетти, но, рассудив, как дело шло, счел сие невозможным, ибо ни Бинетти, ни Браницкий не могли предугадать дерзости Томатиса.

## ГЛАВА VIII

Дуэль с Браницким. Поездка во Львов и возвращение в Варшаву. Я получаю от короля повеление покинуть страну. Я уезжаю вместе с незнакомкой

Поразмыслив дома о сем печальном приключении, я счел, что Браницкий, сев в визави Томатиса, не погрешил против правил галантности. Он не стал церемониться, но он поступил бы так же, будь Томатис близким его другом; он мог угадать итальянскую ревность, но не подобное сопротивление; если б угадал, то не довел бы дело до афронта, понуждающего убить обидчика. Оскорбление требовало отмщения, он распалился и избрал первое, что пришло в голову, пощечину! Это было слишком, но все же меньшее из зол. Закопи он Томатиса, его сочли бы убийцей, ведь челядь Браницкого не дала бы актеру обнажить шпагу.

И все-таки я полагал, что Томатис должен был убить слугу, пусть даже рискуя жизнью. Для этого надобно меньше смелости, чем понудить коронного подстолия покинуть карету. Мне казалось, что Томатис напрасно не подумал, что Браницкий вскипит, и не был настороже, когда случился сей афронт. Виной всему, полагал я, Катаи, не должна она была позволять подстолию подсаживать ее в карету.

На другой день новость была на устах у всех. Томатис неделю не показывался, умоляя короля

и всех своих покровителей о мести, но тщетно. Сам король не знал, какого рода удовлетворение можно доставить чужеземцу, ибо Браницкий уверял, что ответил обидой за обиду. Томатис признался мне по секрету, что нашел бы способ отметить, если б сие не было ему столь разорительно. Он получил с двух спектаклей сорок тысяч цехинов, коих наверняка бы лишился, если б, отмстив, принужден был покинуть пределы королевства. Единственным ему утешением было то, что знатные шляхтичи, коим он был предан, стали относиться к нему с особым ласкательством и сам король в театре, за столом, на гульбищах, всюду милостиво с ним беседовал.

Одна Бинетти радовалась сему происшествию и торжествовала. Когда я пришел повидать ее, она стала насмехаться, соблезновать, что вот, мол, с приятелем моим такая беда приключилась; она мне докучала, но я не знал наверняка, что Браницкий был ею возбужден, не угадал, что она и на меня затаила злобу; но если б и знал, то посмеялся над нею, ибо подстолий не властен был ни вред мне причинить, ни добро содейть. Я с ним вовсе не виделся, ни разу не говорил, ничем его неудовольствие снискать не мог. Я даже у короля с ним не встречался, ибо он не бывал у него в те часы, когда я приходил; он никогда не ездил к князю воеводе, даже не сопровождал короля, когда тот там ужинал. Весь народ ненавидел Браницкого, ибо он был отъявленный русак, опора диссидентов и враг всех, кто не желал склониться под ярмом, коим Россия желала обуздать прежнее их государственное устройство. Король ласкал его по старой дружбе, ибо многим был ему обязан, да и политические тут были резоны. Государю должно было действовать скрытно, ибо принужден был остерегаться России, если б нарушил уговор, и своего народа, если б действовал в открытую.

Жизнь я вел самую примерную, ни интрижек, ни карт; я трудился для короля, надеясь стать его секретарем, обхаживал княгиню воеводшу, коей нравилось мое общество, играл на пару с воеводой в «три семерки» с теми, кого Бог посылал в партнеры. 4 марта, в канун Святого Казимира, именин обер-камергера, старшего брата короля, при дворе был дан торжественный обед, и я там был. После обеда король спросил, собираюсь ли я вечером в театр. Должны были в первый раз представить комедию на польском языке. Новость сия всех занимала, но не меня, ибо что я мог понять; я о том сказал королю.

— Неважно, приходите. Приходите в мою ложу.

Тут я поклонился и повиновался. Я стоял за его креслом. После второго акта представили балет, и танцовщица Казаччи, что из Пьемонта, так понравилась королю, что он захопал. Милость необычайная. Я только в лицо ее знал, никогда с ней не говорил; она была не без достоинств; близким другом ее был граф Понинский, что всякий раз, как я у него обедал, упрекал меня, что я захожу ко всем танцовщицам и никогда к Казаччи, у которой бывает весьма весело. Мне взбрело на ум покинуть после балета королевскую ложу и подняться в маленькую уборную Казаччи, сказать, что король отдал справедливую дань ее таланту. Я минуя уборную Бинетти, дверь открыта, на минуту заглядываю; граф Браницкий, признанный ее любовник, входит, я, поклонившись, выхожу и захожу к Казаччи, коя, удивившись, что впервые видит меня у себя, ласково за то попрекает, я рассыпаюсь в комплиментах, обещаю нанести ей визит и целую ее. В момент поцелуя входит граф Браницкий; минуту назад он был у Бинетти, он последовал за мной, но с какой целью? Он искал ссоры, был зол на меня. С ним был Бисинский, подполковник его полка. При его появлении я встаю из вежливости, да и хочу уйти; он останавливает меня таковыми словами:

— Я верно, милостивый государь, помешал вам; мне сдается, что вы любите эту даму.

— Разумеется, Ваше Сиятельство. Разве она не достойна любви?

— Разумеется, достойна, и скажу вам более — я люблю ее и соперников терпеть не намерен.

— Прекрасно! Теперь я перестал любить ее.

— Так вы мне ее уступаете?

— Охотно. Такому вельможе, как вы, все должны уступать.

— Превосходно, так вы, значит, дали драпа.

— Это сильно сказано.

С этими словами я выхожу, взглянув на него и указав на эфес шпаги; трое или четверо офицеров были свидетелями сего происшествия. Я не успел ступить и пары шагов, как слышу, что меня пожаловали титулом труса венецианского; я оборачиваюсь и говорю, что, коль покинем театр, трусливый венецианец может убить польского храбреца, и спускаюсь по парадной лестнице, что ведет на улицу. Я жду его четверть часа, надеясь, что он выйдет и я заставлю его обнажить шпагу, ибо меня, как Томатиса, не сдерживал страх потерять сорок тысяч цехинов; но, не видя его и порядком промерзнув, я зову своих людей, жахуюсь в карету и еду к князю воеводе российскому, где, как сказал мне сам король, он должен был ужинать.

В карете первый порыв мой улегся, и я порадовался, что поборол себя, не обнажил шпагу в ложе Казаччи; хорошо и то, что обидчик не вышел, ибо с ним был Бисинский, вооруженный саблей; он бы меня зарубил. Хотя нынешние поляки исполнены вежества, в них сохранилась прежняя дикость; они все те же сарматы и даки за столом, в бою и бешенстве, кое у них дружбой именуется. Они не желают понять, что можно сражаться один на один, что не полагается всем скопом набрасываться на человека, который желает иметь дело с одним из них. Я ясно видел, что Браницкий последовал за



мною по наущению Бинетти, намереваясь обойтись со мной, как с Томатисом. Пощечины я не дождался, но особой разницы не было; три офицера были свидетелями тому, как он выставил меня за дверь, и я почитал себя опозоренным. Не в моей натуре было терпеть поношение, я чувствовал, что должен что-то предпринять, но не знал что. Мне нужно было полное удовлетворение. И я думал, как доставить его, чтоб волки были сыты и овцы целы. Подъехав к дому дяди короля, князя Чарторыского, воеводы российского, я решил рассказать обо всем Его Величеству, чтоб государь понудил Браницкого просить у меня прощения.

Увидав меня, воевода мягко попенял за опоздание, и мы, по обыкновению, садимся играть в «три семерки». Я был его партнером. Мы отдаем две партии подряд, он корит меня за ошибки, осведомляется, где моя голова.

— За четыре мили отсюда, Ваша Светлость.

— Когда садишься за «три семерки», — отвечает он, — с благородным человеком, играющим ради удовольствия, голова должна быть на плечах, а не за четыре мили.

С этими словами князь швыряет карты на стол, встает и принимается прогуливаться по зале. Я сижу, сконфуженный, затем подхожу к камину. Государь конечно же вот-вот будет. Через полчаса является камергер Перниготи и объявляет, что король приехать не сможет. Весть сия ранит мне душу, но я ничем себя не выдаю. Велят подавать ужин, подают, я сажусь на привычное место по левую руку от воеводы; было нас за столом человек восемнадцать-двадцать. Воевода на меня дуется. Я ничего не ем. Посреди ужина заявляется князь Каспар Любомирский, генерал-лейтенант российской службы, и садится на другом краю, насупротив меня. Увидав меня, он во всеуслышание выражает мне соболезнование.

— Я вам сочувствую, — говорит он. — Браницкий крепко набрался; на пьяные речи благородному человеку обижаться не след.

— Что случилось, что случилось?

Все за столом задавали этот вопрос. Я ничего не отвечаю. Спрашивают Любомирского, но он говорит, что раз я молчу, значит, и он должен молчать. Воевода, перестав сердчать, ласково спрашивает, что там у меня вышло с Браницким.

— Почту своим долгом. Ваша Светлость, все вам наедине после ужина в точности изъяснить.

До конца трапезы говорили о вещах незначущих, а когда все встали, воевода, за коим я последовал, сел поодаль у маленькой дверцы, куда обыкновенно удалялся.

В пять или шесть минут я обо всем поведал. Он вздыхает. Он сочувствует мне, говорит, ясно, почему голова у меня была за четыре мили от карточного стола.

— Я прошу совета у Вашей Светлости.

— Я в таких делах не советчик, тут надобно либо все делать, либо ничего.

После сего изречения, продиктованного мудростью, он удаляется к себе. Я беру шубу, сажусь в карету, еду домой, ложусь, и крепкое природное здоровье дарует мне шестичасовой сон. В пять утра я сажусь на постели и думаю, что мне предпринять. «Все или ничего». Ничего я сразу отбрасываю. Значит, надо было выбирать все. Я вижу один только выход: убить Браницкого или заставить его убить меня, ежели он захочет удостоить меня дуэли, а коли он не пожелает драться и начнет строить препоны, заколоть его, приняв к тому все меры, пусть даже рискуя положить голову на плаху. Так порешив, я, чтоб вызвать его на дуэль за четыре мили от Варшавы, ибо оное староство было на четыре мили в округе и дуэли в нем воспрещались под страхом смерти, написал ему следующее послание, кое сейчас переписываю с сохранившегося у меня оригинала.

«Сего 5 марта 1766 в пять часов утра.

Милостивейший государь!

Вчера в театре Вы, Ваше Сиятельство, умышленно нанесли мне оскорбление, не имея ни повода, ни причин так со мной обходиться. Из сего я заключаю, что Вы меня ненавидите и потому желаете исключить из числа живущих. Я могу и желаю пойти в сем навстречу Вашему Сиятельству. Соблаговолите, милостивейший государь, уделить мне место в Вашей карете и отвезти туда, где моя гибель не понудит Вас держать ответ перед законами польскими и где я буду иметь то же преимущество, ежели Господь сподобит меня убить Ваше Сиятельство. Я не послал бы Вам, милостивейший государь, сей вызов, не быв убежден в Вашем великодушии. Имею честь пребывать милостивейший государь. Вашего Сиятельства всенижайший и всепокорнейший слуга Казанова».

Я послал лакея за час до рассвета отнести письмо во дворец, в его покои, примыкающие к покоям короля. Я велел отдать письмо в собственные руки и дожидаться, когда он поднимется, ежели он спит, чтоб принести ответ. Я ждал всего полчаса. Вот копия:

«Милостивый государь, Я принимаю вызов, соблаговолите только уведомить, когда я буду иметь честь видеть вас. За сим остаюсь, милостивый государь, ваш всенижайший и всепокорнейший слуга Браницкий, коронный подстолий».

Радуюсь своему счастью, я тотчас отвечаю, что буду у него завтра в шесть утра, чтоб в верном месте покончить с нашей ссорой. Он в ответ просит меня назвать оружие и место и уверяет, что надо покончить все сегодня. Я посылаю ему мерку с моей шпаги, что была тридцати двух дюймов, сказав,

что предоставляю ему выбор места, лишь бы оно было за границею староства. Тогда он посылает вот эту, последнюю записку:

«Доставьте мне удовольствие, милостивый государь, и потрудитесь немедля явиться ко мне. С тем посылаю за вами карету. Имею честь пребывать, и прочая».

Я отвечаю в четырех строках, что дела понуждают меня весь день оставаться дома и я положил ехать к нему только уверясь, что мы в тот же час отправимся драться, а за сим прошу извинить, что отсылаю карету.

Через час вельможа самолично является ко мне, входит в комнату, оставив своих людей снаружи и выдворив трех или четырех человек, бывших у меня. Закрыв дверь на засов, он садится на постель, где я покойно писал. Не разумея, что ему надобно, я беру с ночного столика два карманных пистолета.

— Я пришел сюда не убивать вас, но сказать, что, принявши вызов, я на другой день поединок не откладываю. Мы будем драться сегодня или никогда.

— Сегодня я не могу. Сегодня среда, почтовый день, я должен кое-что дописать, чтоб отослать королю.

— Отправите после поединка. Вы не умрете, уверяю вас, а даже если так, король все одно вас простит. С покойника какой спрос.

— Мне надобно еще составить завещание.

— Еще и завещание. Как вы смерти-то боитесь. Оставьте ваши страхи. Составите завещание через пятьдесят лет.

— Но что мешает Вашему Сиятельству отложить поединок на день?

— Я не хочу попасть впросак. Нас сегодня же арестуют по приказу короля.

— Как это может быть, разве что вы дадите ему знать?

— Я? Не смешите меня. Мне знакома эта уловка. Вам не удастся улизнуть, бросив мне вызов. Я намерен дать вам удовлетворение; но либо сегодня, либо никогда.

— Прекрасно. Я ни за что не откажусь от поединка, и вам к тому повода не дам. Заезжайте за мной после обеда, я должен собраться с силами.

— С удовольствием, что до меня, то я предпочитаю хорошо поесть потом. Но, кстати, к чему мне длина вашей шпаги? Я не дерусь на шпагах с неизвестными.

— Что значит неизвестными? Двадцать человек в Варшаве могут засвидетельствовать, что я вам не фехтмейстер. Я не желаю драться на пистолетах и вы не можете меня принудить, ибо вы предоставили мне выбор оружия, у меня есть ваше письмо.

— Ну что ж, говоря по совести, вы правы, я действительно предоставил выбор вам, но вы такой любезный господин, что не откажете стреляться, дабы доставить мне удовольствие. Немного я прошу. К тому же пистолет безопасней — все по большей части промахиваются, а коли я промахнусь, мы можем продолжить поединок на шпагах, будь у вас охота. Так вы окажете мне любезность?

— Разумные речи приятно слушать. Я склонен доставить вам сие варварское удовольствие и через силу попытаюсь разделить его. Итак, я принимаю, продолжил я, — новые условия поединка. Вот они: вы принесете пистолеты, их зарядят в моем присутствии и я выберу свой. Но если мы промахнемся, то будем драться на шпагах до первой крови, коли вам это подходит, ибо я готов драться на смерть. Вы заедете за мной в три часа, и мы отправимся туда, где будем укрыты от законов.

— Превосходно. Вы сама любезность. Позвольте вас обнять. Слово чести, что вы никому ни о чем не обмолвитесь, иначе нас арестуют.

— Неужто я буду рисковать, когда я готов пешком всю дорогу идти, чтоб только удостоиться этой чести?

— Тем лучше. Итак, все улажено. До встречи в три. Диалог записан в точности, он уже тридцать два года всем известен. Как только храбрый наглец ушел, я запечатал в конверт все бумаги, предназначенные для короля, и послал за танцовщиком Кампиони, коему всецело доверял.

— Этот пакет, — сказал я ему, — вы возвратите мне вечером, если я буду жив, и отнесете королю, если я умру. Вы, верно, догадываетесь, в чем тут дело, но помните, что, если вы проболтаетесь, я буду обесчещен и, клянусь, что стану тогда вашим злейшим врагом.

— Я прекрасно вас понимаю. Коли я сообщу об этом деле тем, кто вам наверняка воспрепятствует, скажут, что сами меня к тому побудили. Я желаю вам выйти из него с честью. Единственный совет, который я осмелюсь вам дать, — не щадите противника, будь он хоть государем вселенским. Почтительность может стоить вам жизни.

— Я это знаю по опыту.

Я заказал добрый обед и послал ко двору за превосходным бургундским; Кампиони составил мне компанию. Два юных графа Мнишек со своим наставником, швейцарцем Бертраном, пришли ко мне с визитом, когда я сидел за столом, и увидали, с каким аппетитом я ел, как весело шутил. Без четверти три я попросил оставить меня одного и сел у окна, чтоб сразу спуститься, как только подстольный подъедет к дверям.

Я издали увидел берлин, запряженный шестеркой лошадей; впереди скакали двое стремянных, ведя в поводу пару оседланных коней, два гусара и двое вестовых. Позади ехала четверка слуг. Карета останавливается у дверей, я сбегая с четвертого этажа и вижу Браницкого, а с ним генерал-лейтенанта и егеря, каковой впереди сидит. Дверца отворяется, генерал-лейтенант уступает мне место и пересаживается к егерю, а я, встав на подножку, оборачиваюсь и велю слугам своим меня не сопровождать, а ждать дома приказаний. Подстолий говорит, что они могут мне понадобиться, я отвечаю, что, будь у меня их столько же, сколько у него, я бы их взял, а раз у меня всего два жалких лакея, я предпочитаю всецело ввериться ему, зная, что он велит оказать мне помощь в случае нужды. Он отвечает, скрепив уговор рукопожатием, что будет заботиться обо мне, как о самом себе. Я сажусь, и мы трогаемся. Он отдал приказания наперед, ибо никто не произнес ни слова. Я бы выставил себя на посмешище, спросив, куда мы едем. В такие минуты надо быть особо осторожным. Подстолий молчал, и я счел, что надобно задать какой-нибудь незначущий вопрос.

— Вы, Ваше Сиятельство, намереваетесь весну и лето провести в Варшаве?

— Вчера намеревался, но теперь вы можете мне в том воспрепятствовать.

— Надеюсь, что ничем не нарушу ваших планов.

— А вы были на военной службе?

— Да, но осмелюсь узнать, для чего вы. Ваше Сиятельство, спрашиваете меня об этом? Ведь...

— Да не для чего. Я спросил, чтобы что-нибудь спросить.

Через полчаса карета остановилась у ворот прекрасного парка. Мы выходим и идем, в сопровождении княжей челяди, в зеленую беседку, коя не была зеленой 5 марта, где в одном из углов находился каменный стол. Егерь выкладывает на стол два пистолета длиной в полтора фута, достает из кармана пороховницу, затем весы. Он развинчивает пистолеты, вешает порох и пули, заряжает оружие, завинчивает до упора и кладет крест-накрест. Браницкий, не колеблясь, предлагает мне выбирать. Генерал-лейтенант громким голосом вопрошает, не дуэль ли это.

— Да.

— Вы не можете здесь драться, вы в старостве.

— Это неважно.

— Это очень важно, я не могу быть секундантом, я несу караул во дворце, вы застали меня врасплох.

— Молчите. Я за все отвечаю, я должен дать удовлетворение этому достойному человеку.

— Господин Казанова, вы не можете здесь драться.

— Зачем тогда меня сюда привезли? Я защищаюсь везде, даже в церкви.

— Положитесь всецело на короля, я уверяю вас, он порешит дело к обоюдному согласию.

— Охотно, господин генерал, если Его Светлость соизволит только сказать в вашем присутствии, что сожалеет о вчерашнем.

Услышав таковое предложение, Браницкий, косо взглянув на меня, молвит в запале, что приехал драться, а не извиняться. Тогда я обращаюсь к генералу: да будет он свидетелем, что я сделал все, чтоб избежать дуэли. Он ретируется, схватившись за голову. Браницкий торопит меня выбирать. Я сбрасываю шубу и беру первый попавшийся пистолет. Браницкий, взяв другой, говорит, что честью заверяет, что у меня в руках отличное оружие. Я отвечаю, что опробую его об его голову. При этих страшных словах он бледнеет, швыряет шпагу одному из пажей и обнажает грудь. Не без сожаления я принужден сделать то же, ибо опричь пистолета шпага была единственным моим оружием. Я, в свой черед, распахиваю на груди камзол и отступаю шагов на пять-шесть, то же делает подстолий. Далее отступить было некуда. Видя, что он стоит, как вкопанный, опустив дуло к земле, я снимаю шляпу левой рукой, честью прошу его стрелять первым и вновь надеваю ее. Вместо того чтоб сразу стрелять, подстолий потерял две-три секунды, вытягивая руку, пряча голову за рукояткой пистолета; обстоятельства не позволяли мне ждать всех его приуготовлений. Я выстрелил по нему в точности в тот миг, когда он по мне, что обнаружилось, когда люди из соседних домов в один голос говорили, что слышали только один выстрел. Увидав, что он упал, я быстро сунул в карман левую руку, почувствовав, что она поранена, и, бросив пистолет, поспешил к нему; но каково было мое удивление, когда три обнаженные сабли взметнулись в руках палачей-дворян и вмиг бы искрошили меня, бросившегося на колени, когда бы подстолий не вскричал громовым голосом, заставив их остолбенеть:

— Канальи, уважайте благородного человека!

Они удалились, и я помог ему подняться, взяв правой рукой подмышку, тогда как генерал поддерживал его с другой стороны. Так мы довели его до трактира, бывшего в ста шагах от парка. Вельможа шел, согнувшись в три погибели, и искоса разглядывал меня со вниманием, недоумевая, откуда взялась кровь, что текла по моим штанам и белым чулкам.

Войдя в трактир, подстолий падает в огромное кресло, вытягивается, его расстегивают, задирают рубаху, и он видит, что смертельно ранен. Пуля моя вошла справа в живот под седьмое ребро и вышла слева под десятым. Одно отверстие отстояло от другого на десять дюймов. Зрелище было ужасающее: казалось, что внутренности пробиты и он уже покойник. Подстолий, взглянув на

меня, молвил:

— Вы убили меня, спасайтесь, или не сносить вам головы: вы в старостве, я государев вельможа, кавалер ордена Белого Орла. Бегите немедля, и если нет у вас денег, вот мой кошелек.

Набитый кошель падает, я поднимаю его и, поблагодарив, кладу ему обратно в карман, прибавив, что мне он не надобен, ибо если я окажусь повинен в его смерти, то в тот же миг положу голову к подножию трона. Еще я сказал, что надеюсь, что рана его не смертельна и я в отчаянии от того, что был принужден сделать. Я целую его в лоб, выхожу из трактира и не вижу ни кареты, ни лошадей, ни слуг. Они все помчались за врачом, хирургом, священниками, родными, близкими. Я стою один, без шпаги, в заснеженном поле, раненный, не зная даже, в какой стороне Варшава. Я вижу вдали сани, запряженные парой лошадей, ору истошным голосом, крестьянин останавливается, я показываю ему дукал и говорю:

— «Варшав».

Он кивает, подымает рогожу, я ложусь, и он меня ей прикрывает, чтоб уберечь от брызг и грязи. Он пускает коней в галоп. Через четверть часа я встречаю Бисинского, верного друга Браницкого, который с саблей наголо скачет во весь опор. Взгляни он на сани, так увидел бы мою голову и точно разрубил меня, как лозу. Я приезжаю в Варшаву, велю везти меня в особняк князя Адама, чтоб просить у него убежища — двери заперты. Я решаю искать спасения в монастыре францисканцев, что был в ста шагах оттуда, и отпускаю сани.

Я иду к монастырским воротам, звоню, привратник, бессердечный монах, открывает дверь, видит, что я весь в крови, воображает, что я скрываюсь от правосудия, пытается захлопнуть дверь, но не успевает. Удар ногой в живот опрокидывает его вверх тормашками, и я вхожу. Он зовет на помощь, монахи сбегаются, я требую убежища, угрожаю. Один из них что-то говорит и меня ведут в лачугу, смахивающую на темницу. Я содрогаюсь, уверившись, что они через четверть часа передумают. Я прошу одного монаха сходить за слугами моими, они немедля прибегают, я посылаю их за хирургом и Кампиони. Но еще раньше является воевода подляский, каковой ни разу со мной не разговаривал, а тут, услышав о поединке, воспользовался случаем порассказать, как в молодости дрался на дуэли. Вскоре пришли воевода калишский, князь Яблоновский, князь Сангуско, воевода вильненский Огинский и принялись бранить монахов, что те поселили меня, как каторжника. Они, повинившись, сказали, что я, вошед, поколотил привратника; князья расхохотались, а я нет, очень рана болела. Мне тотчас отвели две превосходные комнаты.

Пуля Браницкого попала в пясть руки под указательным пальцем и, раздробив первую фалангу, застряла в ней; силу ее ослабила металлическая пуговица на камзоле, да еще мой живот, каковой она оцарапала возле пупка. Надо было извлечь эту пулю, порядком мне досаждавшую. Некий коновал, по имени Жедрон, первый, которого сыскали, вытащил ее наружу, открыв мне руку с другой стороны и тем вдвое удлинил рану. Пока он проделывал сию болезненную операцию, я рассказывал, как все было, князьям, без труда скрывая боль, что причинил мне неумелый лекарь, ухватывая пулю щипцами. Такова сила тщеславия.

После ухода Жедрона явился хирург от князя воеводы, каковой завладел мной, обещав прогнать первого, обыкновенного бродягу. Тут подъехал князь Любомирский, зять воеводы российского, который порядком нас удивил, рассказав, что случилось после дуэли. Когда Бисинский, прискакав в Волю, увидел страшную рану друга своего, он помчался, как безумный, поклявшись убить меня везде, где только сыщется. Он ворвался к Томатису, беседовавшему с любовницей своей, князем Любомирским и графом Мошинским. Он спросил у Тома-тиса, где я, и, услышав, что тот знать не знает, разрядил пистолет ему в голову. Увидав подлое сие деяние, Мошинский бросился на него, намереваясь вышвырнуть в окно, но Бисинский высвободился, рассек ему саблей лицо и вышиб три зуба.

— Затем, — продолжал князь Любомирский, — он схватил меня за воротник, приставил пистолет к груди и угрожал предать смерти, если я не сведу его во двор, где был конь его, чтоб уехать, не опасаясь челяди Томатиса. Я тотчас повиновался. Мошинский поехал к себе и отдался в руки хирурга, а я воротился домой, став свидетелем замешательства, в кое повергла весь город дуэль ваша. Говорят, что Браницкий умер и уланы его рыщут повсюду, чтоб отомстить за полковника и предать вас лютой казни. Вам повезло, что вы здесь. Великий коронный маршал повелел двум сотням драгун окружить монастырь, чтоб вы не убежали, но на самом деле, чтоб помешать безумцам взять монастырь приступом и зарезать вас. Хирурги говорят, что Браницкий в большой опасности, если пуля задела внутренности, а коли нет, они за его жизнь ручаются. Они завтра то будут знать. Он лежит в доме у обер-камергера, не осмелившись воротиться в дворцовые покои. Но король тотчас навестил его. Генерал, бывший на дуэли, сказал, что вы спаслись от смерти, пригрозив метить Браницкому в висок. Решив уберечь голову, он встал неудобно и промахнулся. Иначе он уложил бы вас на месте, ибо стреляет в лезвие ножа и разрезает пулю пополам. В другой раз вам повезло, когда Бисинский вас не заметил, ему в голову не пришло искать вас под рогожей на санях.

— А главное мое счастье. Ваша Светлость, в том, что я не убил Браницкого; ибо меня бы на месте зарубили, если б он тремя словами не остановил своих друзей, уже занесших сабли надо

мною. Мне досадно, что я послужил невольною причиною того, что случилось с Вашей Светлостью и милейшим графом Мошинским. Но раз Томатис жив, значит, в пистолете Бисинского не было пули.

— И я так думаю.

Тут посыльный воеводы российского приносит мне записку от своего господина. «Посмотрите, — пишет он мне, — о чем извещает меня государь, и спите спокойно». Вот, что прочел я в королевском послании, которое до сих пор берегу.

«Любезный дядя, Браницкий совсем плох, и мои хирурги пользуют его, призвав на помощь все свое искусство; но я не забыл Казанову. Можете обещать, что его помилуют, даже если Браницкий умрет».

Я запечатлел на послании почтительный поцелуй и показал его благородному собранию, каковое восхитилось мужем, воистину достойным короны. Мне надо было побыть одному, и они меня оставили. После их ухода Кампиони вернул мне пакет и пролил слезы умиления над событием, доставившим мне великую честь. Он сидел в углу и все слышал.

На другой день ко мне зачастили с визитами, посыпались кошель, набитые золотом, ото всех магнатов, что были во враждебной Браницкому партии. Слуга, приносивший мне кошелек от какого-нибудь вельможи или дамы, присовокуплял, что, будучи иностранцем, я могу терпеть нужду в деньгах, и, вообразив сие, хозяева берут на себя смелость послать мне оные. Я просил благодарить и отказывался. Я отослал на четыре тысячи дукатов и возгордился. Кампиони обсмеял мой героизм и был прав. Я позже в том раскаивался. Принимал я единственно провизию на четверых человек, что всякий день посылал князь Адам Чарторыский, но сам ничего не ел. «*Vulnerati fame crucientur*» \* было любимым изречением моего хирурга, который тут пороха не выдумал. Рана на животе затягивалась, но на четвертый день рука вовсе распухла, рана почернела, угрожала гангреною, и хирурги, посоветовавшись между собой, решили отрезать мне кисть. Сию удивительную новость узнал я рано поутру из придворной газеты, каковую печатали за ночь после того, как король подписывал рукопись. Я здорово смеялся. Я смеялся в лицо всем, кто явился утром с соболезнованиями, и в тот миг, когда я смеялся над графом Клари, убеждавшим меня согласиться на операцию, входят не один, а сразу несколько хирургов.

— Зачем вас трое, милостивые государи?

— Затем, — отвечает врач, что пользовал меня, — что прежде чем приступить к ампутации, я хотел узнать мнение уважаемых профессоров. Мы сейчас вас осмотрим.

Он снимает повязку, вытягивает заволочку, исследует рану, цвет ее, багровую опухоль, они толкуют промеж себя по-польски, а затем все трое согласно говорят мне на латыни, что отнимут мне вечером руку. Они весело уверяют, что бояться нечего, что я через это совершенно излечусь. Я отвечаю, что своей руке я хозяин и не намерен расставаться с ней по глупости.

— У вас гангрена, завтра она еще выше перекинется, придется всю руку отнимать.

— В добрый час. Режьте, сколько хотите, но не раньше, чем я удостоверюсь, что у меня гангрена, а я ее не вижу.

— Да что вы в этом понимаете?

— Подите прочь.

Два часа прошло, и вот уже надоедливые визитеры, науськанные врачами, возмущаются моим упрямством. Сам князь воевода пишет, что король удивляется моему малодушию. Я тотчас отписал королю, что рука без кисти мне ни к чему и пусть лучше ее вовсе отрежут, коль появится гангрена.

Послание мое весь двор читал. Князь Любомирский пришел сказать, что напрасно я грублю всем, кто желает мне помочь, ведь невозможно, чтоб три первых варшавских хирурга обманулись в таком простом деле.

— Ваша Светлость, они не обманываются, а меня обмануть хотят.

— Да какой им в этом прок?

— Доставить удовольствие графу Браницкому, который совсем плох, и тем способствовать его исцелению.

— Да быть того не может!

— А что вы скажете, когда обнаружится моя правота?

— В сем случае мы хором будем вами восторгаться, хвалить вашу стойкость, но только в сем случае.

— Вечером увидим: ежели гангрена перекинется выше, я завтра же утром велю резать руку. Даю вам слово, Ваша Светлость.

Вечером приходят уже четверо хирургов, снимают повязку с руки, которая вдвое толще против обычного и по локоть багровая, но я двигаю заволочку в ране, вижу, что края ее красные, вижу гной и не говорю ничего. Были при том князь Сулковский и аббат Гурель, коего князь воевода весьма почитал. Четыре хирурга решают, что вся рука поражена, ампутацией кисти уже не обойтись и надо отнимать руку самое позднее завтра утром. Устав спорить, я сказал, чтоб приходили утром со всеми инструментами, я дам себя резать. Удовольствованные, они поспешили разнести сию новость, уведомить двор, Браницкого, князя воеводу; но утром я велел слуге никого ко мне не допускать, и на

том история кончилась. Я уберег руку.

На Пасху я отправился к мессе с рукой на перевязи, а совершенно владеть ею стал только через полтора года. Пользовали меня всего двадцать пять дней. Те, что прежде меня хоронили, теперь превозносили во всеуслышание. Твердость моя доставила мне великую честь, а хирургов понудила признать, что они либо полные невежи, либо отъявленные глупцы.

Но иное приключение повеселило меня на третий день после дуэли. От епископа Познаньского, в чьей епархии была Варшава, пришел поговорить со мною наедине некий иезуит. Я прошу всех удалиться и спрашиваю, что ему угодно.

— Меня послал к вам Монсеньор (то был один из Чарторьских, брат воеводы российского), чтоб отпустить вам грех, коим вы покрыли себя, сражаясь на поединке.

— В том нет нужды, ибо нет на мне греха. На меня напали, я защищался. Поблагодарите Его Преосвященство; если в вашей власти отпустить мне грех без того, чтоб я в нем исповедался, отпустите его.

— Этого я не могу, но сделаем так. Попросите меня об отпущении на тот случай, если это все же была дуэль.

— С удовольствием. Если это дуэль, прошу отпустить мне грех, если нет, я вас ни о чем не прошу.

Посредством таковой уловки он отпустил мне грехи. Иезуиты мастера на подобные хитрости.

За три дня до выхода моего коронный маршал убрал войско от монастырских врат. Вышел я на Пасху, отправился в костел, потом ко двору, где король, протянув мне руку для поцелуя, дал опуститься на одно колено и осведомился (как было условлено), почему у меня рука на перевязи. Я отвечал, что тому виной ревматизм, он посоветовал впредь беречься. Повидав короля, я велел кучеру везти меня в особняк, где проживал Браницкий. Я полагал своим долгом нанести ему визит. Он каждый день посылал лакея справиться о моем здоровье, прислал шпагу, оставленную мной на поле боя; он был прикован к постели еще, по меньшей мере, на шесть недель, ибо пришлось расширить рану, дабы извлечь кусочки пыжа, что препятствовали выздоровлению. Надлежало отдать визит. К тому же следовало поздравить его с тем, что король назначил его накануне коронным ловчим, то бишь обер-егермейстером. Должность сия была ниже подстольничей, но более доходной. Говорили в шутку, что король даровал ее, убедившись, что он меткий стрелок; но в тот день я стрелял лучше.

Я вхожу в прихожую, офицеры, лакеи, егеря воззрились на меня с удивлением. Я велю адъютанту доложить обо мне Его Превосходительству, если он принимает. Тот ничего не отвечает, вздыхает и уходит. Через минуту он возвращается, распахивает дверь настежь и приглашает меня.

Браницкий в золотом глянцевином шлафроке лежал на постели, опершись на подушки в розовых лентах. Бледный как смерть, он снял колпак.

— Я пришел. Ваше Сиятельство, просить извинения, что придал значение безделице, каковую умный человек не должен замечать. Я пришел сказать, что вы почтили меня более, нежели унизили, и просить наперед покровительства против ваших друзей, кои, не познав вашу душу, почитают себя обязанными быть мне врагами.

— Я оскорбил вас, согласен, — отвечал он, — но признайтесь, я за то дорого заплатил. Что до моих друзей, то я объявляю, что буду почитать недругами всех, кто не окажет вам должного уважения. Бисинский сослан, лишен дворянского звания и поделом ему. Что до моего покровительства, то вы в нем не нуждаетесь, государь почитает вас не меньше моего и всех, кто повинуется законам чести. Садитесь и будем впредь добрыми друзьями. Чашку шоколада пану. Так вы выздоровели?

— Вполне, только вот пальцы плохо шевелятся, но это еще на год.

— Вы доблестно сражались с хирургами и были правы, сказав кому-то, что эти глупцы желали вас изуродовать, чтоб доставить мне удовольствие. Они судят по себе. Поздравляю, вы победили и сберегли руку; но я в толк не возьму, как пуля, зацепив живот, попала в руку.

Тут подали шоколад, и с улыбкой на устах вошел светлейший обер-камергер. Через пять или шесть минут комнату заполнили дамы и господа, кои, узнав, что я у ловчего, явились, влекомые любопытством. Они никак не ожидали, что застанут нас в добром согласии, и были тем премного довольны. Браницкий вновь воротился к прерванной нашей беседе.

— Так как же пуля вам в руку угодила?

— Вы позволите мне стать в ту самую позицию?

— Прошу вас.

Я подымаюсь, показываю, как стоял, и все становится понятно.

— Надо было заложить руку за спину, — говорит мне одна из дам.

— Я предпочел, сударыня, заложить назад себя.

— Вы хотели убить моего брата, вы метили в голову.

— Боже упаси, сударыня, в интересах моих было, чтоб он остался жив и сумел защитить меня, как это он и сделал, от спутников своих.

— Но вы сказали ему, что выстрелите в голову.

— Так всегда говорят, но умный человек метит в центр, а не в край. Поднимая пистолет, я остановил дуло ровно на середине.

— Верно, — сказал Браницкий, — ваша тактика лучше моей, вы преподали мне урок.

— Урок доблести и самообладания, что вы преподали мне. Ваше Сиятельство, стоит много дороже.

— Видно, — продолжала сестра его Сапега, — вы постоянно упражняетесь в стрельбе?

— Никогда. То был первый мой и несчастливый выстрел, но я всегда мог провести прямую линию, глаз верный, рука не дрожит.

— Ничего иного и не требуется, — подтвердил Браницкий, — я обычно промаха не даю, но тут рад, что стрелял неважно.

— Ваше Сиятельство, пуля разбила мне первую фалангу и расплющилась о кость. Вот она. Позвольте вернуть ее вам.

— Жаль, что не могу вернуть вам вашу.

— Мне говорили, что рана ваша заживает.

— Она очень скверно зарубцовывается. Если б я в тот день взял с вас пример, дуэль стоила бы мне жизни. Вы, говорят, тогда плотно поели.

— Я боялся, что это будет мой последний обед.

— Если б я пообедал, пуля пробила бы мне желудок, но он был пуст и пуля его не задела.

Узнал я наверное, что Браницкий, поняв, что в три часа ему предстоит драться, пошел в костел исповедаться и причаститься. Духовнику пришлось отпустить ему грех, коль он сказал, что честь его задета. Такова стародавняя рыцарская выучка. Что до меня, христианина не хуже и не лучше Браницкого, то я сказал Богу всего несколько слов: «Господи, если противник, убьет меня, я отправлюсь в ад; сделай так, чтоб я остался жив». После многих забавных и поучительных речей я распрощался с героем, чтоб отправиться к великому коронному маршалу Белинскому (графиня Сальмур была сестра ему), девяностолетнему старику, что по должности своей единовластно вершил правосудие в Польше. Я ни разу с ним не говорил, а он защитил меня от улан Браницкого, даровав жизнь, и я обязан был поцеловать ему руку.

Я велю доложить, вхожу, он спрашивает, что мне угодно.

— Я пришел поцеловать руку, подписавшую мое помилование, и обещать Вашему Превосходительству впредь быть благодарнее.

— Настоятельно вам это советую. Но что до помилования вашего, то благодарите короля: если б он не просил за вас, я велел бы отрубить вам голову.

— Несмотря на смягчающие обстоятельства. Ваше Превосходительство?

— Какие такие обстоятельства? Вы дрались или нет?

— Да, но только потому, что принужден был защищаться. Сие можно было бы счесть дуэлью, кабы Браницкий увез меня за пределы староства, как я писал ему в первом своем картеле и как мы условились. Смее надеяться, что Ваше Превосходительство, разобравшись во всем, не велели бы мне голову рубить.

— Не знаю, не знаю. Государь повелеть соизволил, дабы я вас помиловал; он счел, что вы достойны сего отличия, и я вас с тем поздравляю. Буду рад видеть вас завтра у себя за обедом.

— Покорнейше благодарю.

Старец был знаменит и умен. Он водил дружбу со славным Понятовским, отцом короля. Назавтра за обедом он много о нем порассказал.

— Какая радость была бы для вашего достойного друга, — сказал я, — если б дожил до того дня, когда корона увенчала чело сына!

— Он не пожелал бы сего.

С такой страстью отвечал он, что невольно распахнул предо мной душу. Он принадлежал к саксонской партии. В тот самый день я обедал у князя воеводы, который сказал, что по политическим резонам не мог навестить меня в монастыре, но я не должен сомневаться в его дружбе, он все время помнил обо мне.

— Я велел приуготовить для вас покои в моем доме. Жена ценит ваше общество; но все будет обустроено лишь через шесть недель.

— Я тем воспользуюсь, Ваша Светлость, чтоб нанести визит воеводе киевскому, каковой оказал мне честь своим приглашением.

— А кто передал вам его?

— Староста, граф фон Брюль, что живет в Дрездене; он женат на дочери воеводы.

— Небольшое путешествие сослужит вам добрую службу, после дуэли вы обрели тьму врагов, что всенепременно будут искать с вами ссоры, а Боже вас упаси драться вновь. Я вас предупреждаю. Будьте настороже и никуда не ходите пешком, особенно ночью.

Я провел две недели, разъезжая по обедам и ужинам, где все желали в подробностях послушать мой рассказ о дуэли. Частенько там бывал и король, делавший вид, что меня не слушает;

но однажды он не утерпел и спросил, вызвал бы я на дуэль обидчика на родине своей, в Венеции, если б им был знатный венецианец.

— Нет, Ваше Величество, ведь он не стал бы драться.

— А что бы вы сделали?

— Обуздал себя. Но если бы тот знатный венецианец посмел оскорбить меня в чужом краю, он бы ответил мне за это.

Приехав с визитом к графу Мошинскому, я застал Бинетти, которая, увидев меня, тотчас скрылась.

— Что она имеет против меня? — спросил я Мошинского.

— Из-за нее вы дрались на дуэли, а из-за вас она утерjala любовника, Браницкий слышать о ней не хочет. Она надеялась, что он проучит вас, как Томатиса, а вы чуть не убили храбреца. Она клянет его во всеуслышание, зачем принял вызов, но ей не видать его, как своих ушей.

Граф Мошинский был человек донельзя обходительный, умный, как никто, но в щедрости своей не знал удержу и разорялся, одаривая всех наперебой. Раны его уже начали зарубцовываться. Казалось, лучше других должен был относиться ко мне Томатис, но все наоборот, после дуэли он стал меньше радоваться нашим встречам. Во мне он видел немой укор своей трусости, тому, что деньги предпочел чести. Ему, верно, было бы лучше, если б Браницкий убил меня, ибо тогда человек, опозоривший его, стал бы ненавистен всей Польше и ему легче извинили ту легкость, с которой он, не смыв бесчестья, продолжал посещать самые знатные дома, где его привечали; к нему относились благосклонно только ради Катаи, что пробуждала фанатичное поклонение своею красотой, скромным и ласковым обхождением и отчасти талантом.

Решивши посетить недовольных, кои признали нового короля, лишь подчинясь силе, а многие так и не пожелали признать, я поехал вместе с Кампиони, чтоб иметь с собой смелого и преданного человека, и слугой. В кошельке у меня было двести цехинов, сто из них вручил мне с глазу на глаз воевода российский столь благородным манером, что я был бы кругом не прав, если б отказался. Сто других я приобрел, войдя в долю с графом Клари, который играл в пятнадцать со старостой Снятынским, с легкой душой проматывавшим в Варшаве состояние. Граф Клари, который один на один никогда не проигрывал, выиграл у него в тот день две тысячи дукатов, каковые юнец уплатил завтра же. Принц Карл Курляндский уехал в Венецию, где я рекомендовал его влиятельным моим друзьям, чему он был впоследствии весьма рад. Англиканский пастор, рекомендовавший меня князю Адаму, прибыл тогда в Варшаву из Петербурга. Я обедал с ним у князя, и король, знавший его, тоже пожелал быть. Поговаривали, что должна приехать в Варшаву г-жа Жоффрен, давняя приятельница государева, кою он пригласил и сам оплатил ей расходы; хотя не проходило и дня, чтоб недруги не досаждали ему, он всегда был душою общества, каковое желал почитать своим присутствием. Он сказал мне однажды, задумчиво и грустно, что польский венец — венец мученический. И все же государь, к которому я по справедливости отношусь с величайшим почтением, имел слабость поверить клевете, что сгубила мою удачу. Я имел счастье разубедить его. Я расскажу о том в свой черед, через час или два.

Я прибыл в Леополь через шесть дней после отъезда из Варшавы, поскольку на пару дней задержался у молодого графа Замойского, владельца майората Замосць, что имел сорок тысяч дукатов доходу и мучился падучей. Он уверял, что готов отдать все свое состояние врачу, который вернул бы ему здоровье. Мне было жаль его молодую жену. Она любила его и боялась спать с ним, ибо он любил ее и болезнь нападала именно тогда, когда он желал выказать свою нежность; она была в отчаянии, что ей приходилось отказывать и даже спасаться бегством, когда он пытался настаивать. Этот магнат, который вскоре после того скончался, отвел мне великолепные покои, но совершенно пустые. Так заведено у поляков, порядочный шляхтич берет с собой в дорогу все необходимое.

В Леополе, что они прозывают Лембергом, я остановился в трактире, откуда пришлось съехать, чтоб поселиться в доме славной кастеланши Каменецкой, великой супротивницы Браницкого, короля и всей его партии. Она была изрядно богата, но конфедерация разорила ее. Я гостил у нее неделю, и нельзя сказать, чтоб к обоюдному удовольствию, ибо она изъяснялась только по-польски и немецки. Из Леополя я поехал в небольшой городок, название которого я запомнил, где жил гетман Юзеф Ржевуский, коему я привез письмо от стражника, князя Любомирского; то был крепкий старик, носивший длинную бороду, дабы выказать друзьям своим, какую досаду чинят ему новейшие перемены, возмущающие отчизну. Человек он был богатый, ученый, набожный до суеверия, вежливый до чрезвычайности. Я пробыл у него три дня. Он, как и следовало ожидать, командовал небольшой крепостью с гарнизоном в пятьсот человек. На первый день жительство моего за час до полудня я был в комнате его с тремя или четырьмя офицерами. Я рассказываю ему о чем-то любопытном, тут является офицер, подходит к нему, он говорит ему что-то шепотом, а офицер на ухо мне:

— Венеция и Святой Марк.

Я во всеуслышание отвечаю, что Святой Марк — покровитель Венеции; все вокруг смеются, а я



смекаю, что это пароль на сегодня, который комендант назначил в мою честь, а мне сообщили. Я приношу извинения, и пароль меняют. Сей магнат непрестанно беседовал со мной о политике; он не был никогда при дворе, но решил поехать в сейм, чтобы противудействовать российским указам, потворствующим иноверцам. Он был одним из четверых, кого князь Репнин повелел схватить и отправить в Сибирь.

Распроцавшись с великим республиканцем, я отправился в Кристианополь, где проживал славный воевода киевский, Потоцкий, что был некогда одним из фаворитов императрицы российской Анны Иоанновны. Он сам воздвиг сей град, назвал Кристианополем по имени своему. Вельможа был все еще красив, держал пышный двор; он с уважением отнесся к письму графа фон Брюля, приютив меня на две недели; всякий день я путешествовал в обществе его врача, знаменитого Гирнеуса, заклятого врага еще более знаменитого ван Свитена. Человек он был ученый, но отчасти сумасшедший, отчасти шарлатан; он отстаивал учение Асклепиада, кое утратило всякий смысл после великого Буграве, и, несмотря ни на что, лечил на диво. Возвращаясь вечерами в Кристианополь, я обхаживал панну воеводшу, каковая вовсе не спускалась к ужину, а молилась без отдыха в своей комнате. Я видел ее не иначе как в окружении трех дочерей и двух францисканцев, поочередно ее исповедовавших.

В Леополе я неделю забавлялся с прелестной девицею, что в скором времени так сумела приворожить графа Потоцкого, старосту Снятына, что он на ней женился. Из Леополя я на неделю поехал в Пулавы, великолепный замок на Висле в восемнадцати милях от Варшавы, принадлежавший князю воеводе российскому. Он сам выстроил его. Там Кампиони оставил меня и поехал в Варшаву. Самое расчудесное место нагонит смертную тоску на человека, принужденного жить в одиночестве, если только нет книг под рукой. В Пулавах мне приглянулась крестьяночка, прибиравшаяся в моей комнате, и как-то утром она убежала, крича, что я хотел с ней что-то содеять; тотчас является кастелян и холодно интересуется, почему я не желаю действовать обыкновенным путем, ежели крестьянка мне по нраву.

— Что значит обыкновенным путем?

— Поговорить с ее отцом, что живет здесь, узнать у него по-хорошему, во что он ценит ее девство.

— Я не говорю по-польски, покончите сами с этим делом.

— Охотно. Пятьдесят флоринов дадите?

— Вы шутите? Если девственница и послушна, как овечка, я дам сто.

Дело было слажено в тот же день после ужина. Она потом умчалась опроретью, как воровка. Мне сказывали, что отцу пришлось поколотить ее, чтоб принудить слушаться. На утро мне стали предлагать других, даже их не показывая.

— Но где сама девица? — спрашивал я у кастеляна.

— Вам с лица не воду пить, целая, и весь сказ.

— Так лицо-то важнее всего. Уродливая дева — тяжкое бремя, я на том стою.

Тут их стали ко мне водить и накануне отъезда я еще с одной уговорился. А в общем, женщины в тех краях некрасивые. Так повидал я Подолию, Покутье и Волынь, что через несколько лет стали именоваться Галицией и Лодомерией, ибо не могли перейти во владение Австрийского царствующего дома, не сменив названий. Но говорят, что плодородные эти губернии стали жить счастливее, отойдя от Польши. Ныне Царства Польского не стало \*.

В Варшаве я увидел г-жу Жоффрен, кою всюду с почестями принимали и дивились, как скромно она одета. А меня встретили не токмо холодно, а положительно скверно.

— Да мы уж и не чаяли, что вы вновь объявитесь в наших краях, — говорили мне без стеснений. — Для чего вы воротились?

— С долгами расплатиться.

Меня это порядком бесило. Даже воеводу российского, казалось, подменили. Меня по-прежнему всюду за стол сажали, а говорить не желали. Однако же княгиня, сестра князя Адама, ласково пригласила меня отужинать у нее. Я прихожу и за круглым столом оказываюсь насупротив короля, а он вовсе ни единым словом меня не удостоил. Беседовал только со швейцарцем Бертраном. Такого со мной доселе не бывало.

На другой день я иду обедать к графине Огинской, дочери князя Чарторьского, великого канцлера литовского, и почтенной графини Вальдштейн, дожившей до девяноста лет. Сия дама осведомилась за столом, где король ужинал накануне, никто не знал, а я промолчал. Когда вставали из-за стола, приехал генерал Роникер. Воеводша его спрашивает, где ужинал король, он отвечает, что у княгини стражниковой и что я там был. Она спрашивает, для чего я ей о том не сказал, когда она полюбопытствовала, а я отвечаю, что обиделся, ибо король не удостоил меня ни словом, ни взглядом.

— Я попал в немилость, а почему — ума не приложу.

Выйдя от Огинского, воеводы вильненского, я отправился засвидетельствовать свое почтение князю Августу Сулковскому, каковой, приняв меня, как всегда радушно, сказал, что я напрасно

воротился в Варшаву, все уже переменяли свое мнение обо мне.

— Да что я сделал?

— Ничего, но таков наш характер: мы ветрены, непостоянны, изменчивы. «Sarmatarum virtus veluti extra ipsos» \*\*. Счастье было у вас в руках, вы упустили момент, и мой вам совет — уезжайте.

— Я уеду.

Я возвращаюсь домой, и в десять часов слуга подает мне письмо, что оставили в дверях. Я распечатаваю, не вижу подписи и читаю, что некая особа, коя уважает и любит меня, но не ставит свое имя, ибо узнала о том от самого короля, извещает, что король не желает более видеть меня при дворе, узнав, что я был приговорен к повешению в Париже за то, что скрылся, прикарманив изрядную сумму из лотерейной казны Военного училища, а вдобавок в Италии зарабатывал себе на пропитание низким ремеслом бродячего комедианта.

Распустить клевету легко, опровергнуть трудно. Без устали трудится при дворах ненависть, подстрекаемая завистью. Мне хотелось презреть наветы и немедля уехать, но меня держали долги, да и денег не было, чтоб добраться до Португалии, где твердо рассчитывал поправить свои дела.

Я никуда не выхожу, вижусь единственно с Кампиони; отписал в Венецию и в другие места, где были у меня друзья, пытаюсь раздобыть деньжат, когда является тот самый генерал-лейтенант, что присутствовал на поединке моем, и с грустным видом от имени короля велит мне покинуть староство Варшавское не позднее чем в неделю. Я низко кланяюсь, услышав сие, и прошу передать государю, что не склонен подчиняться подобным приказаниям.

— Если я уеду, — говорю, — то пусть все знают, что не по воле своей.

— Такой ответ я передавать не стану. Я скажу королю, что исполнил его повеление и все. А вы поступите так, как сочтете для себя наилучшим.

Вне себя от ярости я написал королю длинейшее послание. Я доказывал, что честь понуждает меня послушаться. «Мои заимодавцы, Сир, простят мне, узнав, что я покинул Польшу, не расплатившись с ними единственно потому, что Ваше Величество приказали выслать меня силою».

Когда я раздумывал, с кем передать государю столь резкое письмо, пришел граф Мошинский. Я открыл ему все, что приключилось со мною, и, прочтя вслух письмо, спросил, как мне его отослать, а он, исполнившись сочувствия, отвечал, что сам вручит его. Потом я отправился погулять, подышать воздухом и повстречал князя Сулковского, который ничуть не удивился, узнав, что я получил приказание уехать.

Тут князь в подробностях поведал, как в Вене ему объявили повеление императрицы Марии-Терезии уехать в двадцать четыре часа только за то, что он передал эрцгерцогине Христине поклон от принца Людвиг Вюртембергского.

Наутро коронный стольник граф Мошинский принес мне тысячу дукатов. Он изъяснил, что король не знал, что я нуждаюсь в деньгах, ибо я еще более нуждался в том, чтоб остаться в живых, и по этой самой причине государь велел мне уезжать, ибо, оставаясь в Варшаве и разъезжая ночью, я подвергался несомненной опасности. Следовало остерегаться пяти или шести лиц, пославших мне вызовы, на которые я не соизволил ответить. Они могли напасть на меня, чтоб отомстить за такое пренебрежение, и король не желал беспрестанно из-за меня тревожиться. Он присовокупил, что повеление Его Величества никоим образом честь мою не задевало, принимая в расчет особу, что его передала, все обстоятельства и даденный мне срок, чтоб собраться и ехать с удобствами. Следствием сей речи было то, что я дал пану Мошинскому слово уехать и покорнейше просил благодарить от моего лица Его Королевское Величество за оказанную милость и неустанное обо мне попечение.

Благородный Мошинский обнял меня, просил принять от него скромный подарок — карету, ибо у меня своей не было, и непременно ему писать. Он рассказал, что муж Бинетти сбежал с жениной горничной, ему приглянувшейся, прихватив все, что было у нее бриллиантов, часов, золотых табакерок, все подчистую, вплоть до тридцати шести серебряных столовых приборов. Он оставил ее танцовщику Пику, с коим она ложилась каждую ночь. Покровители Бинетти, первым из которых был князь гетман, брат государев, соединились, чтоб утешить ее, и надарили ей довольно, чтоб не сожалеть о добре, похищенном пройдохой муженьком. Еще он рассказал, что великая коронная гетманша, сестра короля, приехала из Белостока и остановилась при дворе, где ее принимали со всеми мыслимыми почестями. Надеюсь, что супруг ее наконец решится перебраться в Варшаву. То был граф Браницкий, который перед смертью объявил, что на нем род пресекается, и потому велел, по обычаю, похоронить вместе с ним герб. Тот Браницкий, что у достоин меня чести драться с ним, не был ему родственником и носил его имя без всякого на то права. Звался он Брагнецкий.

На другой день я уплатил долги, всего-то двести дукатов, и приугодился ехать назавтра в Бреславль с графом Клари, он в своей карете, а я в своей, которую граф Мошинский не замедлил прислать. Граф Клари, уезжал, так и не показавшись при дворе и нимало о том не заботясь, ибо избранному обществу и благородным дамам предпочитал игроков и шлюх. Он приехал в Варшаву с танцовщицей Дюран, каковую увез из Штутгарта, где она состояла на службе у герцога, на что тот порядком осерчал, ибо снисходительность не была главной его добродетелью. В Варшаве Дюран

наскучила графу и он отделался от нее, отправив в Страсбург; подобно мне он ехал один в сопровождении слуги. Он сказал, что в Бреславле мы расстанемся, ибо он намеревался ехать в Оломоуц повидать брата каноника. Меня смех брал, когда он, хоть я его о том не просил, принимался разглагольствовать о делах своих, ибо в словах его правды не было ни на грош. Я знавал трех знатных господ, страдавших сим пороком. Они достойны жалости, ибо не властны говорить правду, даже когда надобно, чтоб им непременно поверили. Сей граф Клари, что не имел касательства к роду Клари из Теплице, не мог воротиться ни на родину, ни в Вену, поскольку дезертировал накануне битвы. Он был хромой, но о том никто не догадывался, ибо при ходьбе сие было неприметно. Ничего другого он утаить не мог. Он умер в Венеции в полной нищете; я еще вспомню о нем через одиннадцать или двенадцать лет. Он был красивый мужчина, лицо приятное, располагающее.

Ехали мы день и ночь и добрались безо всяких происшествий. Кампиони проделал со мной 60 миль, проводил до Вартенберга и там покинул, чтоб воротиться в Варшаву, где была у него сердечная привязанность. Он отыскал меня в Вене спустя семь месяцев, я о том расскажу в свой черед. Не встретив в Вартенберге барона Трейдена, я задержался в городе всего на два часа. На другой день на рассвете граф Клари уехал из Бреславля, а я, оставшись один, восхотел доставить себе удовольствие и свести знакомство с аббатом Бастиани, знаменитым венецианцем, преуспевшим при дворе короля Прусского. Он был соборным каноником.

Он принял меня как нельзя лучше, сердечно, без церемоний; нам равно любопытно было познакомиться. Он был белокур, красив лицом, хорошо сложен, шести футов росту, да к тому же умен, начитан, прельстительно красноречив, по-особому остроумен, а библиотека его, повар и погреб были превыше всяческих похвал. Он со всеми удобствами располагался на первом этаже, а второй сдавал некоей даме, чьих детей горячо любил за тем, быть может, что был им отцом. Поклонник прекрасного пола, он тем не довольствовался и время от времени влюблялся в какого-нибудь юношу и вздыхал по нему, мечтая предаться забавам греческим, когда наталкивался на препоны, чинимые воспитанием, предрассудками и тем, что зовется нравственностью. Те три дня, что я провел в Бреславле, обедая и ужиная у него беспрерывно, он страсти своей не скрывал. Он вздыхал по молоденькому аббату, графу Кавалькабо, и не сводил с него влюбленных глаз. Он клялся, что еще не открылся ему и, быть может, никогда не откроется, боясь опозорить свой сан. Он показал мне любовные письма, полученные им от короля Прусского до его рукоположения; государь был положительно без ума от Бастиани, пожелал стать его возлюбленной и по-царски наградил, увенчав церковными лаврами. Сей аббат был сыном венецианского портного, сделался францисканцем и бежал, спасаясь от гонителей своих. Он укрылся в Гааге, обратился к послу венецианскому Трону, одолжил сто дукатов и отправился в Берлин, где Фридрих Великий проникся к нему нежностью. Вот каковы пути, ведущие к счастью. «Sequere Deum» \*.

Накануне отъезда в одиннадцать утра я отправился с визитом к некоей баронессе, чтоб передать ей письмо от сына, бывшего в Варшаве на королевской службе. Я велю доложить, и меня просят обождать полчаса, пока госпожа оденется. Я сажусь на софу рядом с юной девицей, красивой, хорошо одетой, в мантилье, с мешочком для рукоделия в руках; она меня заинтересовала, я спрашиваю, не ждет ли она, как я, баронессу.

— Да, сударь, я пришла просить места гувернантки-француженки для ее дочерей.

— Гувернантки, в ваши лета?

— Увы! и в молодые годы терпят нужду. Я потеряла отца и мать, брат мой, бедный лейтенант, ничем мне помочь не в состоянии; что прикажете делать? Я могу честно зарабатывать на хлеб, полагаясь единственно на начатки воспитания моего.

— Сколько вам в год положат?

— Увы! Пятьдесят жалких эку на платье.

— Не густо.

— Больше не дают.

— А сейчас вы где живете?

— У бедной тети, где день-деньской шью рубашки, чтоб заработать на жизнь.

— А что, если я предложу вам место гувернантки, но не при детях, а у благородного человека? Будете жить со мной и получать пятьдесят эку не в год, а в месяц.

— Быть вашей гувернанткой? Вашей семьи, вы имеете в виду.

— Нет у меня семьи, я одинок, я странствую. Я завтра в пять утра еду в Дрезден, и в моей карете найдется место для вас, если вы пожелаете. Я остановился в таком-то трактире, приходите пораньше со своим сундучком и в путь.

— Вы, верно, шутите, и потом я вас совсем не знаю.

— Я не шучу, а что до того, что вы меня не знаете, то, спрашивается, у кого из нас больше оснований желать получше узнать другого? Мы отлично узнаем друг друга за сутки, чего же более.

Я говорил серьезно, искренне, барышня уверилась, что я не дурачусь, и до крайности удивилась. Я и сам поразился, что так дело обернулось, предложил-то я это сперва для красного словца. Уговаривая девицу, я уговорил себя; случай следовал по мудрым правилам шалопайства, и я

с удовольствием примечал, как она раздумывает, поглядывает на меня украдкой, чтоб понять, не насмеюсь ли я. Мне казалось, я наперед знаю, какие мысли ее занимают, и я все истолковывал в лучшую сторону. Я выведу барышню в свет, придам лоску, научу обхождению. Я не сомневался, что девица она честная и чувствительная, и радовался, что мне выпадет счастье просветить ее, разрушить ложные представления о добродетели. Я фатовато достаю из кармана два дуката и даю ей в счет первого месяца. Она берет их, скромно, нерешительно, убедившись, что я ее не обманываю.

Баронесса принимает меня, она уже дважды прочла письмо, она задает мне сотню вопросов о милом сыночке, просит обедать у нее завтра же и обижается, когда я говорю, что уезжаю рано утром. Я благодарю, откланиваюсь и направляюсь к Бастиани, даже не заметив, уходя, что юной девицы уже не было на месте.

Я обедаю у аббата, весь день мы проводим за ломбером, потом плотно ужинаем, обнимаемся и прости-прощай. Спозаранку все уже готово, лошади запряжены, я трогаюсь в путь, и через сто шагов кучер останавливается. Стекло справа от меня было опущено, в него суют узел, я смотрю и вижу барышню, о которой, честно говоря, и думать забыл; слуга мой распахивает дверцу, она садится рядом со мной, я хвалю ее ловкость, клянусь, что не ожидал подобной прыти, и мы едем. Она говорит, что упредила кучера за четверть часа, чтоб он остановился, как завидит ее, и приказала сие от моего имени.

— Как вы все толково устроили, а то ведь в трактире могли Бог знает что подумать. Вдруг бы вас кто задержал.

— Это как раз нет. В Бреславле даже не узнают, что я с вами уехала, если только возчик не скажет. Но я бы не решилась прийти, если б не взяла два дуката. Я не хотела, чтоб вы почитали меня за мошенницу\*.

1769–1770. ФРАНЦИЯ. ИТАЛИЯ

## ТОМ XI

### ГЛАВА VI

Житье мое в Экс-ан-Провансе; тяжкая болезнь, незнакомка выхаживает меня. Маркиз д'Аржанс. Калиостро. Отъезд. Письмо Генриетты. Марсель <...>

Покинув Ним, я вознамерился провести карнавал в Эксе, славящемся Парламентом своим и благородным дворянством. Я желал познакомиться с ним. Я остановился в «Трех дофинах», коли не ошибаюсь; там я повстречал испанского кардинала, направлявшегося в Рим на конклав, дабы избрать нового папу вместо Редзониго.

От комнаты Его Преосвященства меня отделяла лишь тонкая перегородка, и я за ужином услышал, какой нагоняй задал он кому-то, похоже, первому своему камердинеру, ведавшему дорожными расходами. Причина, вызвавшая праведный гнев кардинала, была та, что служитель скупился на обеды и ужины, как будто хозяин его был первейшим из испанских нищих.

— Я и не думаю скупиться, монсеньор, но тратить более решительно невозможно, если только не понуждать трактирщиков заламывать вдвое за трапезы, кои сами вы изволите находить обильными, где стол ломится от дичи, рыбы, вин.

— Пусть так, а голова вам на что дана? Вы могли бы отправлять вперед посыльных, заказывать обеды в местах, где я останавливаться не намерен, и все равно платить за них; пусть готовят на двенадцать человек, когда нас шесть, и непременно накрывают три стола, один для нас, другой для священников, третий для слуг. Ямщикам вы даете всего двадцать су, мне приходится краснеть за вас; сверх того, что за прогоны полагается, надобно давать не меньше экю, а коль сдачу с луидора приносят, оставлять ее на столе. Я видел, вы ее себе в карман кладете. Что за нищенство? И в Версале, и в Мадриде, и в Риме, ведь все всё знают, станут говорить, что кардинал де ла Серда нищий или, хуже того, скупец. Так знайте, что я не тот и не другой. Перестаньте позорить меня иль убирайтесь вон.

Таков характер испанского гранда, но на самом деле кардинал был прав. Я увидел его, когда он утром уезжал. Ну и рож! Маленький, скособоченный урод, лицом черен и так мерзок, что только титулы да деньги, рассыпаемые щедрой рукой, могли возбудить к нему уважение, а то б все его за конюха принимали. Коль Бог тебя красотой обделил, а умом и достатком нет, сделай все, чтоб отвлечь от личности своей назойливые взоры. Роскошь превосходно излечивает природные изъяны, а чванство помогает уродам презирать красавцев.

На другой день я справился о маркизе д'Аржансе. Мне отвечали, что он в поместье брата своего, маркиза д'Эгоия, президента Парламента, и я поехал. Маркиз, более славный долгою дружбой, коей почтил его покойный Фридрих II, нежели писаниями своими, кои нынче никто не читает, был уже стар. Сей муж, знаменитый любострастием и честностью, любезный и обходительный,

решительный эпикуреец, жил с актрисой Кошуа, что достойна была стать его женою и стала ею. Первейшей обязанностью почитала она быть супругу своему верной служанкою. Маркиз д'Аржанс был в науках сведущ, силен в греческом и еврейском, одарен от природы счастливой памятью и потому исполнен всяческой учености. Он встретил меня с великим радушием, ибо знал обо мне из писем друга своего милорда маршала; он представил меня жене и брату своему, д'Эгюию, славному президенту Парламента Экса, человеку состоятельному, не чуждому изящной словесности, нравственному по велению сердца, а не токмо религии, что говорит о многом, ибо острый ум соединялся в нем с глубокой набожностью. Он до такой степени дружен был с иезуитами, что сделался членом ордена, что называется «в короткой сутане». Он нежно любил и жалел брата, уповая, что на него снизойдет благодать и он вернется в лоно церкви. Брат, смеясь, советовал ему и дальше надеяться; оба они рассуждали о вере, не боясь обидеть другого. Меня представили многочисленному обществу, сплошь состоявшему из родственников обоого полу, любезных и обходительных, как все провансальское дворянство, вежливое до чрезвычайности. Представляли там комедию на маленьком театре, со вкусом ели, много гуляли, совсем не по сезону. В Провансе зимой холодно только, когда ветер, но, увы, северный ветер дует частенько.

Одна берлинка, вдова племянника маркиза д'Аржанса, была там с братом своим, Гоцковским. Парень этот, молодой и веселый, без зазрения предавался удовольствиям, коими славен дом президента, и внимания не обращал на церковные обряды, что там неукоснительно соблюдались. Когда мысли его ненароком обращались к религии, он тотчас впадал в ересь; когда все домашние шли к мессе, кою ежедневно служил иезуит, духовный их отец, он играл у себя в комнате на флейте; но совсем иное дело его сестра, молодая вдова. Она не только перешла в католичество, но стала такой набожной, что вся семья почитала ее за святую. Сотворили это чудо иезуиты. А минуло ей всего двадцать два года. Брат рассказывал, что, когда муж, которого она обожала, скончался у нее на руках, он был в полном сознании, как все, кто умирает от чахотки. Последними словами его были, что он не надеется встретить ее в лучшем мире, если только она не сделается католичкой.

Слова эти запечатлелись в памяти ее, и она решилась покинуть Берлин, навестить родственников покойного мужа. Никто ей в том не препятствовал. Она просила восемнадцатилетнего брата сопровождать ее и едва очутилась в Эксе, сама себе госпожа, как тотчас открылась набожным родственникам. Все семейство пришло в восхищение, ее начали холить и лелеять, уверять, что нет иного способа, дабы воссоединиться с супругом своим «телом» и душой, и наконец иезуит «новообратил» ее, как выразился маркиз д'Аржанс, при том, что нужды не было «законоучить» ее, ибо она была крещеной и оставалось только отступить от прежней веры. Скороспелая святая была дурнушкой. С братом ее мы коротко сошлись. Он всякий день ездил в Экс и ввел меня во многие дома.

За стол нас село человек тридцать. Кормили вкусно, но без излишеств, разговоры вели свободные, но благопристойные, решительно избегая слов двусмысленных и до любовных забав касательство имеющих или могущих о том напомнить. Я заметил, что, когда у маркиза д'Аржанса вырывалось словечко, все женщины корчили гримаску, а святой отец живо заводил разговор о чем-нибудь другом. Я никогда не принял бы его ни за духовника, ни за иезуита, ибо одевался он как сельский священник и ни видом, ни повадками на него не смахивал. Меня о том маркиз д'Аржанс упредил. Но присутствие его не умерило природной моей веселости. Выбирая слова, я рассказал историю о статуе Богородицы, кормившей грудью младенца Иисуса; испанцы перестали ревностно поклоняться ей, как только щепетильный юре велел прикрыть ей грудь слишком густой вуалью. Не помню, как уж я это описал, но женщины не могли удержаться от смеха. Их веселье так не понравилось иезуиту, что он позволил себе заметить, что в порядочном обществе двусмысленных историй не рассказывают. Я кивком поблагодарил его, а маркиз д'Аржанс, желая переменить тему, спросил, как по-итальянски называется огромный телячий паштет, которым потчевала супруга его и который все дружно хвалили. Я сказал, что у нас он зовется «una crostata», но вот божественные лакомства, коими он начинен, я, пожалуй, не смогу верно поименовать. Сосиски, сладкое мясо, шампиньоны, донца артишоков, гусиная печенка, чего там только не было! Иезуит вскричал, что я опять богохульствую, я не удержавшись, фыркнул, а г-н д'Эгюий почел своим долгом защитить меня, подтвердив, что блюдо и впрямь лакомое.

Не желая длить спор с духовным отцом своим, он, как человек рассудительный, перевел разговор на другое и на беду свою попал из огня да в полымя, спросив, кого из кардиналов, по мнению моему, изберут папой.

— Готов биться об заклад, — отвечал я, — что им будет отец Ганганелли, ибо он единственный монах на весь конклав.

— Что за нужда избирать папой монаха?

— Только монах способен совершить несправедливость, кою Испания требует от будущего первосвященника.

— То бишь запретить ордена Иисуса?

— Именно.

— Ничего из этого не выйдет.

— Надеюсь, ибо что в иезуитах учителей своих, но бояться боюсь. Я видел ужасающее послание. Но как бы то ни было, кардинал Ганганелли станет папой, ибо на то есть веская причина, какой бы смехотворной она вам ни показалась.

— Так назовите ее, вместе посмеемся.

— Он один из всех кардиналов не носит парик, а никогда не было на Святейшем Престоле папы в парике.

Поскольку я свел разговор на шутку, все посмеялись, по потом принудили рассказать, что известно мне о запрещении ордена, и когда я открыл то, что узнал от аббата Пинци, иезуит побледнел.

— Папа не может запретить Орден, — вскричал он.

— Видно, господин аббат, что вы не учились у иезуитов, ибо их излюбленное изречение, что папа римский может все «et aliquid pluris» \*.

Тут все сочли, что не умею я с иезуитами беседовать, он мне отвечать не стал, и мы заговорили о другом. Меня оставляли посмотреть «Полиевкта», но я просил меня уволить. Я воротился в Экс вместе с Гоцковским, который поведал мне историю своей сестры и так хорошо описал характеры г-на д'Эгюия и его близких, что я понял, что мне тут не ужиться. Без этого юноши, доставившего мне приятнейшие знакомства, я бы немедля отправился в Марсель. Ассамблеи, ужины, балы и красивые девицы заставили меня провести весь карнавал и часть Великого поста в Эксе, где мы были неразлучны с Гоцковским, каковой почти каждый день ездил из деревни, чтоб со мною предаваться увеселениям.

Г-ну д'Аржансу, который знал греческий как родной, я преподнес «Илиаду» Гомера, а приемной дочери его, знавшей латынь, «Аргенюя». «Илиада» моя была с толкованиями Порфиоровыми, редкое издание в роскошном переплете. Маркиз приехал в Экс изъяснить мне признательность и пришлось снова отправиться обедать в их поместье. Возвращаясь в Экс в открытой коляске, без плаща, я промерз до костей на сильном северном ветре, но вместо того, чтобы лечь в постель, отправился с Гоцковским к женщине, у которой была дочка четырнадцати лет, прекрасная, как звезда, каковая бросала вызов всем, кто пожелает просветить ее. Гоцковский много раз пытал удачу, но все тщетно; я за то над ним насмеялся, зная толк в плутовских проделках, и пошел в тот вечер вместе с ним, решив добиться своего как раньше в Англии и Меце. Мне кажется, я в своем месте рассказывал о том.

Исполнившись воинского пыла, мы приуговетились свершить сей подвиг, получив девицу в полное наше распоряжение, которая и не думала сопротивляться, уверяя, что ни о чем другом не мечтает, как только избавиться от докучливой обузы. Тотчас приметив, что все затруднения проистекают от того, что она нарочно нам мешает, я должен был либо отлупить ее, как отлупил в Венеции такую же мерзавку двадцать пять лет назад, либо уйти; ан нет, я как полный безумец решил взять ее силой. По время подобных деяний минуло. Промучавшись без толку два часа, я воротился в трактир, предоставив другу маяться дальше. Я лег, чувствуя сильное колотье в правом боку, и через шесть часов проснулся совсем разбитый. Открылось воспаление легких. Старый врач, пользовавший меня, не согласился отворить мне кровь. Меня зачал бить жестокий кашель, потом я зачал харкать кровью и так мне поплошало за какие-нибудь шесть-семь дней, что меня исповедали и соборовали. Лишь на десятый день, когда я три дня был в забытьи, старый искусный врач поручился за мою жизнь и уверил всех, кто беспокоился обо мне, что опасность миновала, но харкать кровью я перестал лишь на восемнадцатый день. Три недели, что я выздоравливал, показались мне тяжелее самой болезни, ибо больной страдает, но не скучает. Надо быть в здравом уме, чтоб мучиться от безделья, чего больному не дано. Все то время, что терзала меня болезнь, денно и ночью за мною ухаживала некая женщина, вовсе мне не знакомая, и откуда она взялась — неизвестно. Я был в такой апатии, что даже не полюбопытствовал справиться о ней; уход был такой, что лучше и быть не может, и я спокойно ждал, когда пойду на поправку, чтоб вознаградить ее и отослать. Еще не старая, но не того пошиба, чтоб мне взбрело на ум поразвлечься с ней; она перестала ночевать в моей комнате, узнав выздоровление мое, и после Пасхи, начав выходить, я подумал, что пора уже рассчитать ее.

Щедро вознаградив ее, я при расставании спросил, кто направил ее сиделкой ко мне, и она ответила: доктор. Она ушла. Через пару дней я благодарю врача, что он сыскал женщину, коей я наверняка обязан жизнью, а он возражает, что она меня обманула, что он знать ее не знает. Я к трактирщице, и та отрецивается. Никто не мог сказать, ни кто она такая, ни кто прислал ее. Я узнал о том, лишь покинув Экс, так что читателю придется потерпеть четверть часа.

После выздоровления моего я озабочился взять на почте письма, и странную новость узнал, читая письмо от брата, писанное им в ответ на то, что я послал ему в Париж из Перпиньяна. Он премного благодарил меня за весточку, ибо получив ее, удостоверился, что меня не зарезали на границе с Каталонией.

«Печальную сию новость, — писал он, — доставил один из лучших твоих друзей: граф Мануччи, что из свиты Венецианского посланника».

Тут мне все стало ясно. Этот лучший из моих друзей простер свою мстительную ненависть до того, что подослал ко мне трех наемных убийц. И тут допустил промашку. Он был так уверен в успехе, что разгласил новость, как уже свершившееся дело; кабы он обождал, то понял, что, возвестив о том заранее, выдал себя. Когда я спустя два года повстречал его в Риме и стал уличать в подлости, он все отрицал, сказав, что весть сия пришла из Барселоны. Но мы о том поговорим в свой черед.

За табльдотом собралось превосходное общество, и я всякий день там обедал и ужинал. Однажды за обедом завели разговор о новоприбывших паломнике и паломнице, итальянцах, что шли пешком из Галисии, от Святого Иакова, должно быть, знатных особах, ибо, вошед в город, они роздали нищим немало денег. Прелестная паломница, сказывали, коей было лет восемнадцать, такая была уставшая, что сразу легла почивать. Они остановились в том же трактире; мы все были заинтригованы. Как итальянец, почел я долгом возглавить ораву тех, кто возжелал безотлагательно нанести визит незнакомцам — фанатичным святошам, а может, и пройдохам.

Паломница сидела в креслах с выражением крайней усталости на челе, привлекая взоры своею юностью, печальной красотой и распятием желтого металла, дюймов в шесть, что держала в руках. Она отложила его при нашем появлении и встала, чтобы радушно нас приветствовать. Паломник, возившийся с ракушками, прицепленными к ее черной клеенчатой накидке, не пошевелился; указав глазами на жену, он, казалось, предлагал забыть о его скромной особе. Выглядел он лет на пять-шесть старше ее, ростом мал, крепко сбит, лицо запоминающееся, исполненное отваги, наглости, насмешки, плутовства, тогда как на лице жены его, напротив, были написаны благородство, скромность, наивность, мягкость и стыдливость. Оба они с трудом изъяснялись по-французски и вздохнули облегченно, когда я заговорил по-итальянски. Она назвалась римлянкой, что я без того понял по красивому ее выговору, а его я принял за сицилийца, хоть он и уверял меня, что неаполитанец. Судя по паспорту, выданному в Риме, фамилия его была Бальзамо, она же звалась Серафима Феличиани и имени своего не переменила. Читатель встретит спустя десять лет Бальзамо, превратившегося в Калиостро.

Она поведала, что возвращается в Рим вместе с мужем своим, довольная, что поклонилась Святому Иакову Компостельскому и Деве дель Пилар; туда они шли пешком и так же возвращаются обратно, живя одним подаянием, тщетно надеясь ницетую своею заслужить перед Господом, ибо много грехов на душе ее.

— Но напрасно я всегда прошу один только медный грош, — сказала она, — мне всегда дают серебро и золото, и потому мы понуждены во исполнение обета раздавать, вошед в город, все деньги нищим, ведь оставить их у себя — значит не верить в бесконечную милость Господню.

Она призналась, что крепыш муж несколько не страдал, тогда как она измучилась до чрезвычайности от того, что надо каждый день идти пешком, спать на скверных постелях не раздеваясь, чтоб не подхватить какую-нибудь кожную болезнь, от которой так непросто избавиться.

Похоже, она упомянула об этом для того лишь, чтоб возбудить в нас желание увидеть гладкую кожу ее, а не только руки, белизной коих мы покамест могли любоваться задаром. В лице был приметен один изъян: гнойливые ресницы портили нежный взгляд прекрасных голубых глаз. Она сказала, что намерена отдохнуть три дня, а затем отправиться в Рим через Турин, дабы поклониться святой плащанице. Она знала, что их в Европе несколько, но ее уверили, что подлинная хранится в Турине; именно ею Святая Вероника стерла пот с лица Спасителя, именно на ней запечатлелся его божественный лик.

Мы удалились, восторгаясь прекрасной паломницей, но не слишком уверившись в ее набожности. Что до меня, то не вполне оправившись от болезни, я и не думал ее домогаться, но многие спутники мои с большой охотою предложили бы ей отужинать наедине. Наутро является пилигрим, чтоб осведомиться, желаю ли я подняться позавтракать с ними, или может лучше они спустятся; ответить «ни то, ни другое» я не мог и сказал, что буду рад видеть их у себя. За завтраком я спрашиваю, каков род его занятий, и паломник объявляет, что он рисовальщик. Талант его заключался не в придумывании чернобелых картин, а в копировании эстампов, но он уверил меня, что искусство его столь совершенно, что он перерисует пером любую гравюру с такой точностью, что никто не сможет отличить копию от подлинника.

— Я рад за вас. Умение это вас не озолотит, но на хлеб насущный без особых хлопот заработаете себе повсюду, где только пожелаете остановиться.

— Так все говорят и все ошибаются. Моим ремеслом не прокормишься. И в Риме и в Неаполе я за день работы получал всего полтестоне. Так можно с голоду помереть.

Тут он показывает изготовленные им веера, краше которых и вообразить нельзя. Они были нарисованы тушью, а казались гравюрами. Чтоб окончательно убедить меня, он извлек копию Рембрандта, что была, коли возможно, краше оригинала. Талант его был несомненный, а меж тем он клялся, что ему на жизнь не хватает; но я ему не поверил. Он был из породы гениальных лентяев, что предпочитают бродяжничать, а не трудиться. Я предложил ему луидор за веер, но он отказался, прося принять его в дар и устроить для них за табльдотом сбор пожертвований, ибо послезавтра они хотели ехать. Я благодарил и обещал помочь.

Я собрал для них пятьдесят или шестьдесят экю, за коими пришла сама паломница, когда мы еще сидели за столом. В молодой женщине не было и толики любострастия, напротив, все в ней дышало добродетелью. Ее попросили написать свое имя на лотерейном билете, но она отговорилась, сказав, что в Риме девочек не учат грамоте, если желают воспитать их честными и порядочными. Все засмеялись, а я нет, мне было жалко и больно глядеть на ее унижение, но с той поры я уверился, что она из крестьян.

Наутро она пришла в мою комнату просить рекомендательное письмо в Авиньон; я в один присест написал два, одно к г-ну Одифре, банкиру, а другое к хозяину трактира Сент-Омер. Вечеру, после ужина, она вернула мне первое из них, сказав, что муж ее рассудил, что оно им ни к чему. И тут она предлагает как следует на письмо посмотреть, то ли она возвращает; я верчу его в руках и говорю, что, конечно, то самое, какие тут сомнения. Но она, рассмеявшись, сообщает, что я ошибаюсь, что это копия. Я отказываюсь верить. Она зовет мужа, и он, спустившись с письмом моим, разоблачает удивительную сию подделку; это ведь несложней будет, чем гравюру перерисовать. Я долго восторгался его умением, присовокупив, что он может извлечь из него немалую выгоду; но действовать надлежит с превеликой осторожностью, а то можно и головы лишиться.

Назавтра чета уехала. Читатель узнает в свой черед, то бишь через десять лет, где и как я вновь повстречал этого человека, принявшего имя графа Пеллегрини, и добрую Серафиму, его жену и преданного друга. Ныне, когда я пишу эти строки, он находится в тюрьме, откуда ему уже не выйти, а супруга, быть может, обрела счастье в монастыре. Мне говорили, что он умер.

Почувствовав себя совершенно здоровым, я отправился к президенту д'Эгюию попрощаться с маркизом д'Аржансом. После обеда я провел три часа с ученым старцем, который позабавил меня сотней историй о частной жизни короля Прусского, кои стали бы анекдотами, будь у меня охота и досуг напечатать их. Сей монарх обладал великими достоинствами и великими недостатками, как все почти великие люди; но прегрешения его не столь были весомы и обильны. Злодейски умерщвленный король Шведский возбуждал ненависть, бросал вызов прихотями своими. Он был тиран душой и не мог быть иным, ибо единственная страсть владела им: составить репутацию великого человека, сделаться притчей во языцах. Враги готовы были расстаться с жизнью, только бы погубить славу его. Думается, он должен был предвидеть свою судьбу, ибо жестокости рождали отчаянность в душах подданных.

Маркиз д'Аржанс преподнес мне собрание своих сочинений. Когда я спросил, могу ли я и впрямь похвастаться, что у меня все его книги без изъятия, он отвечал, что да, за исключением истории некоей части его жизни, написанной им в юности и оставленной типографам, ибо он стыдился ее.

— Но почему?

— Да потому, что в безумном желании своем писать одну правду, я выставил себя на посмешище. Если вас обуюет сие искушение, не поддавайтесь; уверяю вас, вы будете раскаиваться: как честный человек вы не сможете писать ничего, кроме правды, звание добросовестного летописца обяжет вас ничего не скрывать и не щадить себя, перечисляя совершенные ошибки, а звание философа — не оставлять без внимания добрые свои дела. Вам придется попеременно хулить и превозносить себя. Исповедь вашу все будут рады принять за чистую монету, но никто не поверит в справедливость похвал. Мало того, вы обретете множество врагов, обнародовав тайны, что не прибавят славы знакомцам вашим. Если вы не назовете их имена, их отгадают, и будет равно плохо. Мой друг, поверьте мне: если человеку не дозволяется разглаговльствовать о себе, то писать тем паче. Можно извинить только того, кого клевета понудила обелять себя. Поверьте мне: никогда не садитесь за историю своей жизни.

Убежденный столь очевидными и разумными доводами, я уверил его, что никогда не совершу подобной глупости, и все же принялся писать ее семь лет тому назад и обещал себе добраться до конца, хотя уже и начал в том раскаиваться. Я пишу в надежде, что история моя не увидит света, я тешу себя мыслью, что в последний час, образумившись, велю бросить в огонь мои записки. Ежели сего не случится, читатель простит меня, узнав, что писание Мемуаров было единственным средством, мною изобретенным, чтоб не сойти с ума, не умереть от горя и обид, что во множестве чинят мне подлецы, собравшиеся в замке графа Вальдштейна в Дуксе. Я писал по десять-двенадцать часов в день и тем помешал черной тоске погубить меня либо лишить разума. Мы еще поговорим о том в свое время.

На другой день после праздника Тела Господня я уехал из Экса в Марсель; но перед отъездом я должен рассказать о шествии, каковое устраивают в тот день во всех христианских католических городах, но в Экс-ан-Провансе устраивают такое, что всякий чужестранец подивится, если только он не глупец. Всем ведомо, что когда Верховное существо прогуливается, воплотившись в Святых дарах, кои несет епископ, все духовные и мирские корпорации следуют за ним. Так везде, и о том говорить не буду. Но всяческого внимания и описания достойны диковинные маскарады, дурачества и шутовские забавы, что творятся и представляются. Дьявол, Смерть, Смертные грехи в потешных нарядах дерутся между собой, негодую, что их понудили в этот день славить Господа; толпа орет,



свистит, вопит, гикает, срамит их, народ горланит песни, восхваляя их, хуля, измываясь, и получается позорище, побезумней Сатурналий, всего, что мы знаем из книг о языческих сумасбродствах. Все окрестные крестьяне собираются в Экс почтить Господа. Это его праздник. Бог прогуливается всего один раз в год, и в этот день нужно повеселить, позабавить его. Они искренне в это верят, и только нечестивец может сомневаться, когда сам епископ, а уж он-то в этом знает толк, возглавляет шествие. Г-н де Сен-Мар, советник Парламента, изъяснил мне, исполнившись важности, что сей обычай превосходен, ибо приносит городу, по меньшей мере, сто тысяч франков. Тут я признал его правоту и возражать не смел.

Живя в Эксе, я непрестанно думал о Генриетте. Узнав настоящее ее имя, я не забыл того, что она передала мне через Марколину, и ожидал, что повстречая ее на какой-нибудь ассамблее в Эксе и беспрекословно исполню роль, кою она назначит. Многожды произносили при мне ее имя, но я упорно воздерживался от расспросов, чтоб не выдать наше знакомство. Я полагал, что она проживает за городом и, решив нанести ей визит, задержался в Эксе еще на шесть недель, после того, как поправился, чтоб приехать к ней совершенно здоровым. Итак, я покинул Экс, сунув в карман письмо, в котором объявлял о своем приезде, — я намеревался остановиться у ворот замка, передать письмо и ждать в карете, какова будет ее воля.

Я упредил кучера. Отъехали полтора лье от развилки дорог. Мы на месте. Было одиннадцать часов. Я протягиваю письмо слуге, вышедшему спросить, что мне угодно, и он отвечает, что перешлет его.

— Так госпожи нет здесь?

— Нет, сударь. Она в Эксе.

— Давно ли?

— Да уж с полгода.

— А где она там живет?

— В своем доме. Она приедет сюда как обычно, на лето, недели через три.

— Не пустите ли, я напишу ей письмо?

— Соблаговолите сойти, сударь, и я открою вам господские покои. Там будет все, что нужно.

Я выхожу из кареты и останавливаюсь в удивлении, увидав ту самую служанку, что выхаживала меня, когда я хворал.

— Вы здесь живете?

— Да, сударь.

— Давно ли?

— Десять лет.

— А у меня-то как оказались?

— Если вы поднимитесь, я поднимусь с вами и все объясню.

Она рассказала, как госпожа призвала ее и велела отправляться в трактир, где свалила меня болезнь, смело поселиться в моей комнате и ходить за мной, как за нею самой, а коли я спрошу, кто прислал ее, отвечать: врач.

— Как так? Врач сказал, что знать вас не знает.

— Может, он правду сказал, а может, госпожа велела ему так отвечать. Больше мне нечего рассказывать, а все-таки странно, что вы с госпожой в Эксе не встретились.

— Да она, верно, никого не принимает.

— Так-то оно так, а сама выезжает.

— Уму непостижимо. Я, верно, видел ее, но как могло случиться, что не узнал? Вы уж десять лет при ней состоите. Переменилась ли она? Не исказила ли болезнь ее черты? Не постарела ли она?

— Совсем напротив! Она поправилась. Ей на вид лет тридцать, не более.

Она удаляется, а я, ошеломленный невероятным приключением, раздумываю, должен ли я немедля, сейчас ехать в Экс? Она у себя, докучливых гостей нет, что б ей меня не принять? Не примет, уеду, но Генриетта по-прежнему любит меня, она послала мне сиделку; она уязвлена, что я не узнал ее, она знает, что я уехал из Экса, что нынче я здесь, и ждет развязки пьесы: появлюсь ли я у нее? Поехать? Написать?

Я решил написать, что буду ждать от нее ответа в Марселе до востребования. Я вручаю письмо сиделке своей, даю денег, чтоб отослать его с нарочным и отправляюсь обедать в Марсель. <...>

На другой день я получил по почте ответ Генриетты. Вот копия:

«Мой давний друг, ни в каком романе не встретишь истории, подобной нашей нашему свиданию в загородном доме моем шесть лет назад, да и нынешнему, через двадцать два года после того, как мы расстались в Женеве. Мы оба постарели. Поверите ли, что хотя я люблю вас по-прежнему, я рада, что вы не узнали меня? Нет, я не подурнела, но полнота изменила мой облик. Я вдова, я счастлива, богата и спешу уведомить, что, буде банкиры откажут вам в деньгах, кошелек Генриетты всегда для вас открыт. Не стоит ради меня возвращаться в Экс, сейчас ваш приезд возбудит толки, а вот ежели вы повремените, мы сможем вновь увидеться, хоть и не на правах старых знакомых. Я

счастлива, когда думаю, что, быть может, уберегла вашу жизнь, поместив к вам ту женщину, зная ее преданность и доброе сердце. Коль вы пожелаете продолжить нашу переписку, я в меру своих сил буду поддерживать ее. Мне до крайности любопытно было бы узнать, что случилось с вами после побега из Пьомби. Теперь, когда вы доказали, что умеете хранить тайны, я могу открыть вам, как случилось, что мы повстречались в Чезене, почему я воротилась на родину. Об этом не знает никто, только г. д'Антуан отчасти посвящен в сию историю. Я благодарна вам, что вы не стали здесь никого расспрашивать обо мне, хотя Марколина должна была передать вам все, что я ей поручила. Напишите, что случилось с этой прелестной девицей. Прощайте».

Письмо меня убедило. Генриетта образумилась, прежний пыл в ней угас, да и во мне тоже. Она была счастлива, а я нет. Если б я ради нее воротился в Экс, то иные догадались бы о том, о чем им ведать не положено; ну а мне-то что делать? Быть ей обузой? Я ответил длинным посланием, условившись переписываться впредь. Я поведал ей в общих чертах свои злоключения, а она в подробностях пересказала мне жизнь свою в тридцати или сорока письмах, каковые я присовокуплю к Мемуарам, если Генриетта скончается прежде меня. Она все еще жива, старая, счастливая.

На другой день я навестил г-жу Одибер и вместе с ней отправился с визитом к г-же Н. Н., что обзавелась уже тремя детьми, в коих муж души не чаял; я рассказал, что дошли до меня из Венеции хорошие вести о Марколине; я поведаю о том в году 1774, по возвращении на родину. <...>

Моя дражайшая бывшая племянница уязвила меня, того не желая. Она сказала, что я постарел. Мужчине легко быть выше неудовольствия, что доставляют подобные комплименты, но мужчине, желающему нравиться, слушать их больно. Она задала мне прекрасный обед, а муж ее расщедрился, но я стеснялся тем попользоваться. У меня еще было полсотни луидоров, до Турина, куда вознамерился я ехать, хватало. Встретил я в Марселе герцога де Вилара, чью жизнь искусственно поддерживал Троншен. Сей вельможа, губернатор Прованса, пригласил меня на ужин, где я, к удивлению своему, увидел маркиза Драгона, метавшего банк. Я понтировал по маленькой, проиграл, и маркиз пригласил меня отужинать с его женой, пожилой англичанкой, что принесла ему в приданое, как я вроде уже говорил, сорок тысяч гиней и еще двадцать, что должны были перейти к сыну ее, жившему в Лондоне. Вот у этого удачливого неаполитанца мне не стыдно было занять еще полсотни луидоров. <...>

## ГЛАВА VII

Отъезд из Лугано. Турин. Ливорно. Отбытие эскадры Орлова <...>

<...> В начале апреля месяца 1770 года я задумал попытаться счастья и отправиться в Ливорно, предложить свои услуги графу Алексею Орлову, командовавшему эскадрой, что направлялась в Константинополь и, быть может, добралась бы туда, если б предводительствовал ею англичанин.

Английский посланник, милорд ХХХ, вручил мне основательное рекомендательное письмо к консулу своему в Ливорно. Я покинул Турин без гроша в кармане, без кредитива на какого-нибудь банкира. <...>

От Турина до Пармы я ехал вместе с одним венецианцем, каковой, подобно мне, скитался в чужих краях, покинув отчизну по причинам, известным Государственным инквизиторам. Чтоб зарабатывать на жизнь, он сделался комедиантом и направлялся в Парму в обществе двух актеров, одна из которых была очень недурна. Узнав, кто я, он коротко со мной сошелся и охотно вовлек бы во все те удовольствия, кои совместное путешествие доставить может, но у меня охоты не было. Химерические мечты влекли меня в Ливорно. Я думал, что сумею помочь графу Алексею Орлову завоевать Константинополь, я воображал, что без меня ему не проплыть через Дарданеллы, что таково веление судьбы, сулившей мне роль Ахиллеса, без которого никогда бы не пала Троя. Но все же я проникся дружбой к сему юноше по имени Анджело Бентивольо, коему Государственные инквизиторы не желали простить прегрешение, что философы почитают за наилегчайшее. Я еще вспомню о нем, когда через четыре года, как увидит читатель, ворочусь в Венецию. <...>

Я прибыл в Ливорно, где застал графа Орлова единственно по причине дурной погоды. Английский консул тотчас меня представил; он проживал у него. Увидав меня, он вроде как обрадовался новой нашей встрече, ведь он хорошо знал меня по Петербургу, а когда консул дал ему прочесть письмо английского посланника, он вроде как исполнился расположения ко мне. Он поспешно сказал, что будет счастлив видеть меня на своем корабле и прикажет доставить на борт мои пожитки, ибо он отплывет, как будет попутный ветер; за сим, имея много дел, он оставил меня наедине с консулом, осведомившимся, в качестве кого собираюсь сопровождать адмирала.

— Именно это я и желал бы узнать, прежде чем перевозить на корабль скромные свои пожитки. Вы понимаете, я должен поговорить с ним, объяснитьсь. Кто бы подумал, что русский может так офранцузиться?

— Вы сможете поговорить с ним только завтра утром. Я прихожу к нему с утра пораньше и передаю записку, в которой извещаю, что, прежде чем перевозить на борт чемодан, мне необходимо переговорить с ним наедине. Адъютант сказал, что он пишет в постели и потому просит меня

обождать.

— Охотно.

Тут появляется даль Ольо, его давний друг, поверенный короля Польского в Венеции; он знал меня по Берлину и даже еще раньше, почти что с самого рождения.

— Что вы тут делаете? — спрашивает.

— Я желаю говорить с адмиралом.

— Он очень занят.

Известив меня о сем, он входит. Что за наглость! Можно ли яснее дать понять, что занят он для меня, но не для него? Через минуту возникает маркиз Маруччи со своим орденом Святой Анны, чопорно меня приветствует и объявляет, что читал мое опровержение Амело и не ждал встретить там свое имя.

И правильно, что не ждал, ибо не имел никакого касательства к предмету моего сочинения, но не для того он на свет родился, чтоб видеть только то, чего ожидал. Я сказал бы ему это, да он прошел к адмиралу. Своим «не ожидал» он намекал, что увидал себя в книге иным, чем ему хотелось, и я прекрасно его понял. Да плевал я на это; *nescit vox missa reverit* \*. Но я осерчал: эти господа были там, а я тут. Мне мой план перестал нравиться. Через пять часов выходит адмирал в сопровождении множества людей и направляется куда-то, ласково сказав мне, что мы поговорим за столом или после обеда.

— После обеда, — отвечаю.

Он возвращается в два и садится за стол с теми, кто первым успел занять места. К счастью, я попал в их число. Приговаривая: «Кушайте, господа, кушайте», Орлов беспрестанно читал письма и возвращал их секретарю, сделав пометки карандашом. После застолья, где я и рта не раскрыл, когда все поднялись пить кофе, он взглянул на меня, вскочил и с «а кстати» взял меня под руку, отвел к окну и сказал, чтоб я поскорей отправлял свои пожитки, ибо, если ветер не переменится, он отчалит еще до утра.

— Позвольте спросить, в качестве кого вы берете меня на борт, какую должность предлагаете?

— У меня нет для вас должности, но всяко может случиться. Я приглашаю вас как друга.

— Это почетное звание принудит меня рисковать жизнью, дабы защитить вашу, но после плавания, да и во время оно, меня никто ни в грош не будет ставить, вы один по доброте своей будете относиться ко мне с уважением и доверием, а прочие? На меня будут смотреть, как на вашего шута, и я наверняка заколю первого, кто посмеет отнестись ко мне с презрением. Мне нужна должность надев тот же мундир, что и вы, я буду почитать своим долгом служить вам. Я знаю страну, куда вы отправляетесь, знаю язык, я крепок, смел. Ваша дружба бесценный дар, но я предпочитаю честно завоевать ее.

— Дорогой друг, но у меня решительно нет для вас никакой должности.

— Тогда позвольте пожелать вам счастливого пути. Я еду в Рим. Надеюсь, вам не придется жалеть, что не взяли меня с собой. Без меня вам никогда не пройти через Дарданеллы.

— Это пророчество?

— Предсказание.

— Поживем увидим, любезный Калхас. Таков в точности был разговор наш с этим достойнейшим человеком, который так и не пробился через Дарданеллы. Никто не может знать, пробился бы он, если б я был с ним.

AVENTUROS

Он был бы красив, когда бы не был уродлив: высок, сложен, как Геркулес, лицо смуглое; в живых глазах, полных ума, всегда сквозит обида, тревога или злость, и оттого-то он кажется свирепым. Его проще разгневать, чем развеселить, он редко смеется, но любит смешить; его речи занимательны и забавны, в них есть что-то от паяца Арлекина и от Фигаро; он ничего не смыслит лишь в том, в чем почитает себя знатоком, — в танцах, французском языке, правилах хорошего тона, знании света.

Одни комедии его не смешны, одни философские сочинения поверхностны — все прочие язвительны, оригинальны, остры и глубоки. Он кладезь премудрости, но до отвращения часто цитирует Горация. У его шуток привкус аттической соли. Он чувствителен и отзывчив, но стоит его хоть чем-нибудь обидеть, как он становится злым, сварливым, несносным — даже за миллион не согласится забыть задевшую его невинную шутку.

Его писания напоминают старинные предисловия — многоречивые и тяжеловесные, но когда ему есть что рассказать — к примеру, свои приключения, — он делается столь оригинальным и естественным, так оживляет действие, почти превращая его в пьесу, что им нельзя не восхищаться; сам того не ведая, он превзошел автора «Жиль Бласа» и «Хромого беса». Он верит лишь в чудеса и до крайности суеверен; по счастью, человек он честный и деликатный, а то мог бы натворить дел, объявив: «Я дал обет» или: «Такова воля Господня».

Все ему любо, все желанно; он все изведать и умеет безо всего обойтись. Женщины, в особенности юные девицы, волнуют его воображение, но — уже не более того. Его это бесит,

заставляет проклинать прекрасный пол, себя, небеса, естество и 1742 год; он находит отмщение, уничтожая яства и вина: исчез бог парков и сатир лесов, остался хищник застолий. Он ничего не щадит, приступает к трапезе с весельем, а оканчивает ее с грустью, печалась, что не может начать с начала.

Если он и дурачил изредка простаков, выманивал деньги у мужчин и женщин, то делал это, дабы составить счастье близких ему людей. В беспутствах бурной юности, весьма сомнительных похождениях выказал он себя человеком порядочным, утонченным и отважным. Он горд, ибо он ничто и не имеет ничего: будь он рантье, финансист или вельможа, то, верно, держался бы проще. Ему нельзя противоречить, а уж тем более смеяться над ним; его надобно читать или слушать, но самолюбие его всегда начеку: никогда не признавайтесь, что вам известна история, которую он собирается поведать, внимайте ей, как в первый раз. Не забывайте вежливо раскланиваться с ним — пустяк обратит его во врага.

Богатая фантазия и природная живость, опыт многочисленных путешествий, испробованных профессий, твердость духа и презрение к житейским благам делают его человеком редкостным, интереснейшим для знакомства, достойным уважения и преданной дружбы небольшого числа лиц, снискавших его расположение.

Принц Шарль де Линь  
ОЧЕРК МОЕЙ ЖИЗНИ

Матушка произвела меня на свет в Венеции, апреля 2 числа, на Пасху 1725 года. Накануне донельзя захотелось ей раков. Я до них большой охотник.

Окрестив, дали мне имя Джакомо Джироламо. До восьми лет с половиною был я слаб умом. После случилось у меня трехмесячное кровотечение, и я излечился; тогда отослали меня в Падую, и я, предавшись наукам, шестнадцати лет возведен был в доктора, облачен в одежды священника и отправлен искать счастья в Рим.

В Риме покровитель мой, кардинал Аквавива, дал мне отставку; причиной тому стала дочь моего учителя французского языка.

Восемнадцати лет вступил я, дабы принести пользу отечеству, в военную службу и отправился в Константинополь. Возвратившись двумя годами позже в Венецию, оставил я бранное поприще и избрал сгоряча презренное ремесло скрипача; все друзья мои ужаснулись, но я недолго предавался этому занятию. В возрасте 21 года один из первых венецианских синьоров сделал меня приемным сыном, и я, сделавшись довольно богат, отправился путешествовать по Италии, Франции, Германии и Вене, где и свел знакомство с графом Рогендорфом. Я возвратился в Венецию, и двумя годами позже венецианские государственные инквизиторы, движимые побуждениями истинными и мудрыми, заключили меня в тюрьму Пьямби.

Это государственная тюрьма, из которой прежде никому еще не удавалось бежать; однако ж я, с помощью Божией, по прошествии года и трех месяцев бежал оттуда и направился в Париж.

Там дела мои пошли столь хорошо, что я в два года разбогател и стал обладателем целого миллиона, и все же разорился опять. В надежде поправить положение свое поехал я в Голландию, затем отправился попытать несчастья в Штутгарт, потом счастья — в Швейцарию, а оттуда к г-ну де Вольтеру; после были приключения в Марселе, Генуе, Флоренции и Риме, где папа Редзониго, венецианец, произвел меня в кавалеры ордена Св. Иоанна Латранского и в апостолические протонотарии. То было в 1760 году.

В тот же год случилась мне удача в Неаполе. Во Флоренции выкрал я одну девуцу, а на следующий год отправился на Аугсбургский конгресс с поручением от короля Португальского. Конгресс не состоялся, и, когда подписан был мир, я направился в Англию, откуда в следующем, 1764, году принужден был уехать по причине великой беды. Я избегнул виселицы, каковая, впрочем, меня бы не обесчестила — я всего лишь был бы повешен. В тот же самый год напрасно искал я счастья в Берлине и в Петербурге, нашел же его лишь на другой год и в Варшаве. Спустя девять месяцев утратил я его вновь, для того что имел дуэль на пистолетах с генералом Браницким. Я продырявил ему живот, но он в три месяца поправился, и я тому рад. Он храбрый человек.

Принужденный покинуть Польшу, отправился я в 1767 году в Париж, откуда понудило меня съехать тайное повеление об аресте; я прибыл в Испанию, и там случились со мной великие несчастья. В конце 1768 года заключили меня в Барселоне в подземелье башни; оттуда вышел я полтора месяца спустя и был выслан из Испании. Проступок мой заключался в ночных визитах к любовнице вице-короля, негодяйке изрядной. На границе Испании избегнул я наемных убийц и отправился болеть в Экс-ан-Прованс, где почти трехнедельное кровохарканье едва не свело меня в могилу.

В году 1769-м выпустил я в свет в Швейцарии защиту правительства венецианского против Амело де ла Уссе, собственного сочинения и в трех томах. На другой год английский посланник при туринском дворе послал меня с отменными рекомендациями в Ливорно. Я хотел было плыть в Константинополь с русским флотом, но адмирал Орлов не согласился на условия мои, и я вновь пустился в путь, направившись в Рим, где был тогда папою Ганганелли.

Счастливая любовь заставила меня покинуть Рим и отправиться в Неаполь; несчастная же любовь принудила три месяца спустя возвратиться в Рим. Я в третий раз дрался на шпагах с графом Медини — тем, что четыре года назад умер в лондонской тюрьме, попав туда из-за долгов.

Денег у меня было много, и я отправился во Флоренцию, но на Рождество эрцгерцог Леопольд, что умер четыре или, пять лет назад императором, изгнал меня в трехдневный срок из своих владений. У меня была любовница, каковая, последовав моему совету, стала в Болонье маркизою де \*\*\*.

Утомившись кружить по Европе, решил я испросить помилования у венецианских государственных инквизиторов. В рассуждении этого обосновался я в Триесте, и через два года помилование получил. То было 14 сентября 1774 года. Въезд мой в Венецию по прошествии девятнадцати лет доставил мне наслаждение и стал прекраснейшей минутою моей жизни.

В 1782 году перессорился я со всем венецианским дворянством и в начале 1783 года, оставив добровольно неблагоприятное отечество, отправился в Вену. Полугодом позже поехал я в Париж с намерением там обосноваться, однако ж брат мой, что жил в этом городе уже 26 лет, заставил меня позабыть собственные интересы и заняться его делами. Я избавил его от жениного ига и отвез в Вену, и принц Кауниц сумел уговорить его там остаться. В Вене он покуда и живет; он младше меня на два года.

Я вступил на службу к г-ну Фоскарини, венецианскому посланнику, и стал вести его переписку. Двумя годами позже скончался он у меня на руках от подагры, что вступила ему в грудь. Тогда решил я ехать в Берлин, рассчитывая на место в академии; однако ж на полдороге, в Тёплице, задержал меня граф Вальдштейн и отвез в Дукс, где я пребываю поныне и где, должно быть, умру.

Это единственный очерк жизни моей, писанный мною; разрешаю использовать его по усмотрению вашему.

Non erubescio evangelium \*.

Джакомо Казанова

17 ноября 1797 года

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1715—1774 Правление французского короля Людовика XV.

1724, 24 февраля. Бракосочетание актера Гаэтано Казановы и дочери сапожника

Дзанетты Фарусси.

1725, 2 апреля. Рождение в Венеции Джакомо Джироламо Казановы.

Смерть Петра I.

1725 — 1734 Казанова живет в Венеции у бабушки Марии Фарусси.

1727 Театральный дебют в Лондоне Дзанетты.

Рождение Франческо Казановы, художника.

1733 Смерть Гаэтано Казановы.

1733—1735 Война за польское наследство между Россией, Австрией, Саксо нией, с одной стороны, и Францией.

1734—1737 Казанова живет в Падуе в пансионе у доктора Гоцци.

1735 Дзанетта Казанова играет в театре в Петербурге.

1736 Она возвращается в Венецию.

1737 (ноябрь) — 1741 Казанова учится в Падуанском университете, работает в Вене ции у адвоката Мандзини.

1739 Дзанетта Казанова становится актрисой придворного театра курфюрста Саксонского (Дрезден, Варшава).

1740—1786 Правление прусского короля Фридриха II.

1741 В январе Казанова принимает постриг и становится послушником, в марте неудачно произносит первую проповедь. Весна. Первая поездка Казановы на Корфу и в Константинополь.

1741—1748 Война за австрийское наследство между Францией, Пруссией, Испанией, Баварией, с одной стороны, и Австрией, Англией, Россией с другой.

1742—1743 Казанова работает в Венеции у адвоката. В июне 1742-го защи щает в Падуе диссертацию по юриспруденции.

1743, 18 марта Смерть бабушки Казановы. Юношу помещают в семинарию св. Кип риана в Мурано, но вскоре изгоняют оттуда за ночные шалости.

Апрель. Заключение в форт св. Андрея.

Октябрь. Казанова уезжает из Венеции с послом Да Лецце. Рим. Неаполь.

1744 (январь). Рим. Служба у кардинала Аквавивы. Казанова решает стать военным.

1744 (август) — Второе путешествие на Корфу и в Константинополь.

1745 (октябрь).

1745 (декабрь) — 1748 Казанова работает в Венеции клерком у адвоката Мандзони. Знакомст во с сенатором Маттео Брагадином, который становится его покрови телем. Занятия магией.

1749, январь. Казанова, обвиненный в воровстве, чернокнижии и богохульстве, вы нужен

бежать из Венеции. Странствия по Италии. Милан. Мантуя, Чезена, Парма.

1750–1752 Любовные приключения с французенкой Генриеттой. Казанова воз вращается в Венецию, затем, едет во Францию. В Лионе его посвяща ют в масоны. Париж. Казанова переводит трагедию Каюзака «Зоро астр» с французского на итальянский, в феврале 1752-го ее ставят в Королевском театре Дрездена (итальянская труппа). Казанова пишет вместе с Прево д'Эксмон комедию «Фессалийки, или Арлекин на ша баше», выдержавшую в июне 1752-го четыре представления.

1752 (осень) — 1753 (май). Путешествие по Германии, Австрии. В Королевском театре Дрездена

22 февраля играют комедию Казановы в трех актах «Моллюккеида».

1753–1754 Венеция. Любовные приключения с М. М. и К. К. Знакомство с кардиналом де Бернисом.

1755, 26 июля. Арест Казановы. Он приговорен к пяти годам тюрьмы.

1756–1763 Семилетняя война между Пруссией и Англией, с одной стороны, и Австрией, Францией, Швецией, Россией, Саксонией — с другой.

1756, 1 ноября. Побег из Пьомби. Мюнхен.

1757, 5 января. Приезд Казановы в Париж. Покушение Дамьена на Людовика XV. Знакомство с братьями Кальзабиджи. Организация лотереи.

Август — сентябрь. Поездка в Дюнкерк в качестве тайного агента. Знакомство с маркизой д'Юрфе.

1758, 18 апреля. Первый тираж лотереи. Казанова назначен распространителем лотерейных билетов.

Октябрь — декабрь. Поездка в Голландию по делам финансов.

1759 Создание мануфактуры. Арест Казановы (неуплаченный вексель, подделка долгового свидетельства). Отъезд в Голландию

1760 Германия, Швейцария. Казанова встречается с Галлером и Вольтером

(дважды). Прованс. В Риме Казанова получает от папы Климента III

крест «Золотая шпора» и звание папского протонотария. Он именует себя де Сейнгальт.

1761 Казанова колесит по Италии, приезжает в Париж, но спешно покидает город из-за дуэли.

1762 Милан. Генуя. Казанова уводит у Газтано Аловизо, своего младшего брата, его любовницу Марколину. Марсель. Магическая операция по перерождению г-жи д'Юрфе.

1762–1796 Царствование Екатерины II, императрицы российской.

1763 (июнь) — Лондон. Драматическая любовная история с куртизанкой Шарпийон. 1764 (март) Тяжело больной Казанова, обвиненный в мошенничестве, вынужден спасаться бегством.

1764, Август. Берлин. Встреча с Фридрихом II.

Курляндия, Рига.

Декабрь. Приезд в Петербург.

1764–1795 Царствование Станислава Августа II, короля польского.

1765 Поездка в Москву. Встреча в Петербурге с Екатериной II.

Октябрь. Варшава. Встреча со Станиславом Августом II.

1766, 5 марта. Дуэль с Браницким.

Июль. Поединок, долги, порочащие слухи подорвали репутацию Казановы, его высылают из Польши. Путешествие по Германии.

1767, Январь. Казанову за шулерство высылают из Вены.

Октябрь. Смерть М. Брагадина.

Ноябрь. Казанову высылают из Парижа за ссору со знатным аристократом.

1768 Испания. Мадрид. Барселона, арест. В тюрьме Казанова пишет «Опровержение „Истории Венецианского государства“ Амело де ла Уссе».

1769 Турин. Экс-ан-Прованс. Встречи с маркизом д'Аржансом. Калиостро.

Июль-декабрь. Лугано. Казанова дорабатывает и печатает «Опровержение».

1770 Ливорно. Неудачная попытка поступить на русскую службу; отправиться в Константинополь с эскадрой Орлова. Турин. Казанова находится под наблюдением полиции.

1771 Рим. Казанову принимают в литературные академии Аркадия и Инфелонди.

Декабрь. Казанову высылают из Флоренции.

1772–1774 Казанова живет в Триесте. Занимается литературным трудом. Публикует по-итальянски: «Бестолочь. Послание одного ликантропа» (1772), «История смуты в Польше» (т. 1–3, 1774–1775).

Сентябрь. После настойчивых ходатайств Казановы государственная инквизиция прощает его, и он возвращается в Венецию.

1774–1792 Правление французского короля Людовика XVI

1775–1783 Казанова становится осведомителем инквизиции (с 1780 по 1781-й штатным сотрудником), доносит о чтении запрещенных книг, о вольных нравах, спектаклях и т. п. (псевдоним

— Антонио Пратолини).

Много пишет, переводит, становится театральным антрепренером. Жи вет с простолюдинкой Франческой Бускини.

1776 Ноябрь. В Дрездене умирает мать Казановы Дзанетта.

1775–1778 Перевод «Илиады» Гомера (т. 1–3).

1779 Антивольтеровский трактат «Размышления над „Похвальными словами“ г-ну де Вольтеру».

1780 Казанова издает периодический сборник «Литературная смесь» (семь выпусков), где публикует рассказ о дуэли с Браницким. Переводит с французского на итальянский роман г-жи Риккобоньи «Письма миледи Джульетты Кетлесби» (1759) под названием «Письма благородной дамы Сильвии Беленьо».

1780–1781 Журналы «Вестник Талии» (10 номеров) и «Талия» (один номер) на французском языке.

1782 Казанова переводит с французского на итальянский роман г-жи де Тан сен «Осада Кале» (1739) под названием «Анекдоты венецианские». Сочтя, где недоплатили комиссионных, Казанова ссорится с венецианским аристократом Карло Гримани, публикует язвительный памфлет «Ни любви, ни женщин, или Очищенные конюшни» и в очередной раз попадает в опалу.

1783 Январь. Казанова покидает Венецию. Вновь ищет пристанище. Вена, Экс-ла

Шапель, Париж, Франкфурт, Дрезден, Берлин, Прага. Заключение Вер сальского мира, утвердившего независимость США.

1784 Февраль Казанова служит секретарем у посла Венеции в Вене Фоскарини. Он пишет на французском сочинения о конфликте между Венецией и Голландией: «Историко-критическое послание об известном событии, произошедшем от одного малоизвестного обстоятельства» (1784), «Систематическое изложение разногласий между двумя Республиками, Венецианской и Голландской» (1785), «Дополнение к систематическому изложению...» (1785).

1785. Апрель. Смерть посла Фоскарини. Казанова в отчаянии решает стать монахом.

Сентябрь. Казанова принимает предложение графа Вальдштейна и становится библиотекарем в замке Дукс (Духцов) в Богемии. Странствия окончи- лись.

1786 Казанова печатает анонимно трактат «Разговор мыслителя с самим собой», в котором нападает на Сен-Жермена и Калиостро.

1788 На французском языке Казанова публикует в Праге, где живет три ме сяца, фантастический роман «Икозамерон» (5 т.) I: «Историю моего побега из тюрем Венецианской республики, что прозываются Пьомби».

1789 Казанова начинает писать мемуары. Посылает на конкурс, объявлен ный австрийским императором Иосифом II, «Плод ночных раздумий о ростовщичестве».

14 июля Взятие Бастилии.

1790 Казанова издает три брошюры по математике.

1791 Пишет трагикомедию «Полемоскоп, или Клевета, присутствием ума разоблаченная».

1792 Июнь Казанова доводит свои мемуары до 1772 г., написав 10 томов.

1793. 21 января. Казнь Людовика XVI.

Июль. Казанова раздумал продолжать мемуары и переделывает написанное.

Пишет гневное письмо Робеспьеру, бичуя ужасы революционного тер- рора.

1794 Конец якобинской диктатуры. Казнь Робеспьера.

27-28 июля. Принц де Линь читает мемуары и убеждает Казанову издать их.

1795 Третий раздел Польши.

1795–1799 Правление Директории во Франции.

1796–1797 Итальянский поход Бонапарта.

1797 Казанова решает опубликовать мемуары, обращается с соответствующим предложением к премьер-министру короля Саксонского, но получает отказ. Печатает памфлет «Леонарду Снетлаге», выступив против неологизмов, рожденных Французской революцией.

1798 4 июня. Смерть Казановы.

1803 Смерть Франческо Казановы.

1821 Издательский дом Брокгауз покупает рукопись «Истории моей жизни».

1822–1828 Издание сокращенного перевода мемуаров на немецком языке.

1825–1828 Публикация обратного перевода мемуаров с немецкого на француз ский.

1826–1838 Издание мемуаров в обработке Лафорга.

1960–1962 Публикация подлинного текста «Истории моей жизни».

## КОММЕНТАРИИ

Мемуарам Казановы предшествовали его устные рассказы. Один из них (дуэль с Браницким) он записал и издал на итальянском языке в своем альманахе «Литературная смесь» (1780), другой — о побеге из Пьемонта — отдельной книгой на французском в 1788 году. В ней описывается также и возвращение Казановы в Венецию в 1774 году, его примирение с государственными инквизиторами, не вошедшее в мемуары. Целиком историю своей жизни он начал воссоздавать на французском в 1789 году, и за три года написал десять томов, дойдя до 1772 года. Затем он пять лет правил, переписывал мемуары, колебался: сжечь их? завещать опубликовать после смерти?

Он давал их читать друзьям. Ж. Ф. Опиц советовал основательно «почистить» текст, принц де Линь, восхищавшийся мемуарами, советовал лишь смягчить некоторые эпизоды, но ничего не скрывать, предлагал своего издателя. Наконец Казанова решился. В 1797 году он послал в Дрезден графу Марколини, премьер-министру короля Саксонского, рукопись первого тома (к которому специально написал предисловие) с просьбой содействовать публикации. «Издание первого тома подскажет Вам судьбу последующих, — уверял Казанова, — убедит даровать им жизнь, или предать огню». Венецианец даже подумывал довести мемуары до конца, написал на первой странице: «История моей жизни до 1797 г.». Но суровый вельможа не считал возможным пятнать свое имя, связываясь со столь легкомысленным сочинением.

После кончины Казановы (последовавшей 4 июня 1798 года) рукопись мемуаров должна была остаться у графа Вальдштейна: еще в 1789 году он купил у своего библиотекаря права на все его творения. Правда, в 1795 году Казанова обещал юной Сесили Роггендорф, с которой завязал почтовый роман, оставить ей в наследство свои воспоминания (он написал для нее краткий очерк своей жизни, публикуемый в настоящем издании), но завещание так и не составил. Когда он скончался, граф был в отъезде, и рукописью завладел Карло Анджолини, муж жившей в Дрездене племянницы Казановы, который и проводил в последний путь великого авантюриста.

В 1814 году граф Марколини, передумав, решил приобрести рукопись за две тысячи талеров, но получил отказ. А в январе 1821 года сын Карло Анджолини, срочно нуждаясь в деньгах, продал мемуары двоюродного деда — всего за двести талеров — Фридриху Арнольду Брокгаузу, основателю знаменитого книготоргового дома. Это была, пожалуй, первая блестящая сделка фирмы.

Ф. А. Брокгауз не решился печатать рукопись как она есть. Сперва он опубликовал в издаваемом им литературном альманахе «Уrania» (1822) фрагменты, переведенные на немецкий Вильгельмом фон Шюцем. Он же подготовил сокращенный перевод, вышедший в 12 томах в 1822–1828 годах. Успех был немедленный и безоговорочный. И сразу же предприимчивый парижский издатель Турнашон-Молен начал печатать обратный перевод на французский, появившийся в 1825–1828 годах.

После смерти Фридриха Арнольда Генрих Брокгауз решил опубликовать французский текст и обратился за помощью к Жану Лафоргу, преподававшему французскую литературу в Дрездене. В издательском предисловии он утверждал, что оригинал полон грамматических ошибок, итальянизмов и латинизмов, но Лафорг, исправив их, постарался сохранить авторскую оригинальность. Сам Казанова был высокого мнения о своем французском. «Уверенный в грамматике, убежденный, что всякий читатель меня поймет, я воспретил издателю вносить в рукопись исправления, которые захочет сделать какой-нибудь надутый педант», писал он в предисловии. Современники придерживались иного мнения. Принц де Линь оценивал французский язык Казановы, как «варварский, чудной, но стремительный и притягательный». Лафорг, старательно отредактировав рукопись, смягчил слог, сделал его ясным, плавным, удобочитаемым и — менее ярким, энергичным, индивидуальным.

Вторая задача, которую Генрих Брокгауз поставил перед Лафоргом: привести текст в соответствие «со вкусом нынешнего века» и требованиями «святой философии», «завуалировать образы, к которым читатель не приучен», утверждая, что сцены, на которые наброшен полупрозрачный покров, не потеряют своей пикантности. В действительности произошло обратное. Лафорг выбросил все грубые слова, убрал гомосексуальные эпизоды, но при этом ряд эротических сцен он расширил и дописал. «Целомудренней» от этого мемуары не стали. Так же учитель словесности обошелся с отвлеченными рассуждениями Казановы: развивая понравившуюся мысль, он превращал лаконичную фразу или даже намек в стройный риторический период, а то, что казалось скучным или противоречило его убеждениям, сокращалось, выбрасывалось. Из искренне верующего человека, во многом суеверного, Казанова стал атеистом, исчезло его активное неприятие Французской революции.

Десять томов рукописи Лафорг разделил на двенадцать одинаковых, затем разбил на главы, снабдил их подзаголовками, исправил ошибки в написании имен собственных, исторические неточности (или то, что ему казалось таковыми), назвал текст «Мемуары».

Но и этот приглашенный Лафоргом Казанова стеснял чопорных немцев. После того как вышли первые четыре тома (1827–1828), на книжной ярмарке в Лейпциге коллеги заявили Брокгаузу, что «подобные публикации недостойны немецкого издателя». Из-за цензуры тома с пятого по восьмой были напечатаны в Париже в 1832 году, а заключительные, с девятого по двенадцатый, в 1838 году в



Брюсселе, уже без указания издателя.

Этот текст и перепечатывался далее всеми, за одним-единственным исключением: в «пиратском» издании Полена первые восемь томов, вышедшие в 1838 году, повторяют обработку Лафорга, и последние два (1837), опередившие публикацию Брокгауза, предлагают иной, более краткий вариант. Вероятно, литератор Филипп-Жерар Бузони, готовивший их к печати, сумел достать (в замке Дукс?) черновые варианты рукописи или списки. Их, возможно, было несколько ведь Казанова делал или разрешал делать копии со своих произведений (с «Икозамерона» до его публикации было снято 14 копий).

Значительные расхождения между вариантами Шюца и Лафорга заставляли многих предполагать, что они пользовались разными источниками. В 1925 году Ф. Флере сообщил, что Альберт Брокгауз (который умер в 1921 г.) якобы рассказал ему, что существуют три авторские копии — одна была у Шюца, вторая у Лафорга, а третья, окончательная, хранится в издательстве. Но в договоре 1821 года говорилось только об одной рукописи, о существовании других никто из Брокгаузов ни до, ни после не упоминал.

Подлинный текст «Истории моей жизни» был надежно укрыт от посторонних глаз в сейфе фирмы. Он едва не погиб во время второй мировой войны: в 1943 году рукопись чудом вытащили из подвала горящего, разрушенного бомбежкой здания и отвезли на велосипеде в единственный уцелевший в Лейпциге банк, а в июне 1945 года на американском военном грузовике тайно переправили в Висбаден. Впервые она была опубликована в 1960–1962 годах. «Жак Казанова де Сейнгальт, Венецианец. История моей жизни» значилось на титульном листе 1. Издатели сохраняли предложенное Лафоргом членение текста, убрали орфографические ошибки. Почему в течение 140 лет они даже исследователям не позволяли познакомиться с рукописью? Французский литературовед Р. Деморис пронзительно увидел в этом издательскую хитрость: существование «тайного» текста подогревало интерес читателей, заставляло их домысливать версию Лафорга, а тем самым вживаться в книгу, примеряя к себе роль Казановы.

Почти сразу подлинный текст воспоминаний перевели на итальянский, английский, другие языки, а вот французы упорно продолжают переиздавать вариант Лафорга, привлекая оригинал только в комментариях. Понятно желание дать широкой публике текст на «правильном» французском, но, по сути, современные издатели повторяют осмеянные ими ошибки писателей и ученых. Сент-Бёв восхищался «прозрачно-легким стилем» венецианца, его «аристократическим изяществом», Барбе д'Оревилли утверждал, что Казанова столь же удивительно владеет чужим языком, что и Антуан Гамильтон. Современный прозаик Роже Вайян доказывал с помощью цитат из Лафорга, что «Казанова, с беспримерной ловкостью пользующийся французским языком XVIII столетия... заслуживает места среди крупнейших наших писателей». Увы...

На русский язык воспоминания Казановы переводились несколько раз, но никогда целиком. Еще в 1823 году журнал «Сын Отечества» (т. 86–87) напечатал в переводе с немецкого «Париж в половине XVIII столетия (отрывок из записок Казановы)». В своем журнале «Время» (1861, № 1) Ф. М. Достоевский опубликовал большой фрагмент записок — «Заключение и чудесное бегство Жака Казановы из венецианских тюрем (Пломб)».

Однотомный перевод мемуаров подготовил В. В. Чуйко (1887, 2-е изд., 1902), сокративший почти все любовные приключения. Вероятно, в пику ему К. Введенский в весьма вольном пересказе, озаглавленном «100 приключений» (1901), оставил только их. В 1918 году была предпринята неудачная попытка печатать мемуары небольшими дешевыми выпусками. Дело, кажется, не продвинулось дальше начальных глав.

Первое серьезное издание было подготовлено известными советскими литературоведами и переводчиками Б. И. и Г. И. Ярхо, М. А. Петровским и С. В. Шервинским — тогда еще сравнительно молодыми людьми. Они старались дать адекватный мемуарам (естественно, в обработке Лафорга) текст — пусть и сокращенный на тридцать-сорок процентов за счет одиночных эпизодов, однотипных приключений и рассуждений. К сожалению, публикация была приостановлена цензурой после выхода в 1927 году первого тома из планировавшихся десяти. А через несколько лет Государственная академия художественных наук, где они работали, была расформирована. Б. И. Ярхо был сослан, М. А. Петровский репрессирован. Сама же книга попала в спецхран, куда долгие годы отправлялись и многие другие издания мемуаров Казановы — на французском, немецком, русском языках.

Настоящий перевод сделан по подлинному тексту «Истории моей жизни». Отобраны наиболее известные эпизоды, в первую очередь представляющие историко-культурный интерес. Ошибки в написании имен собственных (Монтань, Эльвееций, д'Ашкова) 2, в русском языке («шевошик» вместо «ямщик», «извозчик») и т. д. не исправлялись — Казанова не был ни историком, ни филологом.

Я выражаю глубокую признательность А. Б. Носику и Е. А. Костюкович за ценные консультации.

Мы опирались на уже сложившуюся традицию комментирования мемуаров Казановы, в частности на работы Г. Гугица, Э. Цорци, А. Абирашеда, А. Хюбшера, Ж. Браншю, Р. Демориса и др. Отметим, что если авторы примечаний к капитальному французскому изданию мемуаров в 1924–1935 гг. старательно уличали Казанову в неточностях, то современные исследователи,

основываясь на вновь найденных документах, пришли к выводу о высокой степени достоверности «Истории моей жизни».

1744–1745. Корфу- Константинополь.

Названия разделов были даны составителем этой книги для удобства читателя. Сохранены подзаголовки глав, сделанные Лафоргом.

С. 27...выиграет во времени. — В тексте мемуаров переплетаются события настоящего и прошлого: в юности жизнь была борьбой, в старости борьбой стало творчество. Чужая глупость, бывшая некогда источником доходов, сделалась бичом для дряхлого авантюриста.

Итак, по хронологии мемуаров сейчас май 1744 г. Казанов только что исполнилось 19 лет. Месяц назад, как он рассказывает в предыдущей главе, он лишился чемодана и решил вместо платья аббата заказать мундир офицера. На земле Италии шла война за австрийское наследство (1741–1748), и только военные пользовались уважением. Казанова возвращается в Венецию, покупает должность лейтенанта (его производят в прапорщики с обещанием повысить в течение года) и отправляется в свой полк на остров Корфу. Первая остановка — в городе Орсара (Врсар) в Истрии.

На самом деле здесь автор соединяет два своих путешествия на Восток, совершенные весной 1741 г. и летом 1744-осенью 1745 г. Ссылка на «глупую служанку» позволяет избежать упреков в нарушении хронологии.

Рефоско — вино, которым славится область Фриули.

С. 28...полсотни клиентов... — Аналогичную комическую цепочку заболеваний выстраивает Вольтер в «Кандиде» (1759).

...заклинать чертей, что виделись ему в облаках. — Вся история напоминает эпизод с бурей, испугавшей Панурга, из IV тома (главы 18–22) «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле (1652).

С. 30...прибыли на Корфу. — Остров Корфу (Керкира), принадлежавший Венецианской республике, сильной морской державе, с 1386 по 1747 г., был главным опорным пунктом, закрывавшим вход в Адриатическое море.

Генерал-проведитор — в мирное время командовал морскими силами Венецианской республики. Резиденция его была на Корфу. В 1744–1740 гг. им был Даниэле Дольфин.

Бассет — карточная игра. В отличие от фараона, где число игроков не ограничено, в бассете против банкмета играют четверо понтирующих, каждому из них выдается 13 карт одной масти.

Балио — титул венецианского посланника в Константинополе, правителя и судьи венецианской колонии в этом городе, получавшего процент от торговых операций. Он был выше рангом, чем генерал-проведитор, но морскими силами не командовал.

С. 31...древнюю Китиру... — На острове Кифера (Китира) в античности находился главный храм Афродиты.

Совет Десяти — орган верховной власти Венецианской республики, надзиравший за безопасностью государства, правонарушениями, ведавший финансовыми и дипломатическими вопросами.

С. 32...Об этом Поккини мы поговорим лет через пятнадцать-шестнадцать. Авантюриста, сутенера Антонио Поккини Казанова встретил в Голландии в 1759 г., затем в Штутгарте, Вене, Лондоне, стал жертвой его мошеннических проделок, отомстил ему, помирился.

...к месту своего рождения. — римский император Константин Великий, родившийся во Фракии, перенес в 330 г. столицу империи в Византию (древнее название — Трояда). Казанова, видимо, имеет в виду следующие строки Горация из «Оды к Августу» (Оды, кн. III, 3, 57–60):

«Но лишь один воинственным римлянам

Завет кладу я: предков не в меру чтя

И веря счастью, не пытайтесь

Дедовской Трои восставить стены!»

Пер. Н. Гинцбурга

В Перу... — Пера, европейский квартал в Константинополе.

...обоих балио... — старого, Джованни Дона, покинувшего город 12 октября 1745 г., и приехавшего в конце августа 1744 г. ему на смену нового, Франческо Венье.

Буюдкаре — точнее, Буюк Дере.

...не усмирили дерзкого турецкого народа... — имеются в виду русско-турецкие войны 1768–1774 и 1789–1791 гг.

...Осман-баше Караманскому... — Французский военачальник граф Клод Александр де Бонваль в 1706 г. перешел на службу к Австрии, сражался под началом принца Евгения Савойского, в 1726 г. — в Венеции, в 1729 г. — в Турции, где сделался мусульманином, получил имя Ахмет и титул паши, т. е. правителя Карамана, должность генерал-аншефа и советника Высокой Порты. Его жизнь стала источником трех серий романизованных мемуаров (1737–1741).

С. 34...на службу к Падишаху... — сутану Махмуду I (1730–1754).

С. 37...нежели чума — устойчивый мотив мемуаров Казановы: скука для него смертельная

болезнь.

Кауроман — кавурма, блюдо из рубленого вареного мяса. С. 43.. Платон говорит о том же... — По Платону, мир подлинного бытия, вечных сущностей — это мир идей, объединенных идеей Блага.

С. 47. Андринополь — Адрианополис (Эдирне).

С. 50...венцианском танце, именуемом фурланою. — Танец сквозной мотив мемуаров, метафора любовной игры. Казанова танцует в Венеции, Франции, России, Испании.

...именуют мореттой. — Черная бархатная маска, застежку которой надо держать во рту. Моретта не только скрывает лицо, но и делает человека немым.

С. 55...подобные Альцининым... — рукам волшебницы Альцины, героини поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд» (1532).

С. 56...наподобие хиосской Арканы... — Вероятно, имеется в виду рабыня-черкешенка, героиня трагикомедий Гольдони «Персидская невеста» (1753), «Гиркана в Джульфе» (1755), «Гиркана в Исфагане» (1756).

С. 58...представлявший там прусского короля... — В 1745 г. Джордж Кит (или Кейт) останавливался в Константинополе по дороге из Петербурга в Венецию. На службу к Фридриху II он перешел в 1748 г., в 1751 г. назначен прусским послом в Париже.

Мы пустились в путь в начале сентября... — На календаре Казановы 1744 г., а балио Дона отправился обратно, как сказано выше, год спустя. Возможно, Казанова плыл не с ним.

С. 59. Галеас — тяжелая трехмачтовая галера на 49 весел.

Г-н Дольфин — Антонио Дольфин.

...мужчина лет семидесяти... — Андреа Дольфину в 1745 г. было 57 лет.

С. 65...надобно плакать самому... — Далее этот совет Казанова припишет Вольтеру, умение веселить не смеясь — Кребийону.

С. 66. Габриель Дюплесси. — Сыном Франсуа V де Ларошфуко и Габриель Дюплесси Лианкур был принц де Марсийак, с 1650 г. — герцог Франсуа VI де Ларошфуко (1613–1680), автор знаменитых «Максим». История с солдатом-самозванцем случилась в 1741 г.

С. 73. Карабукири — хозяин или капитан корабля (греч.).

С. 75...на острове Казопо... — полуострове.

С. 77. Паликари — brave парни (греч.).

С. 82. Катарамонахия — анафема (греч.).

С. 86. Я тотчас же явился. — Далее Казанова по всем правилам усиленно ухаживает за г-жой Ф. (Адрианой Фоскарини), добивается почти всего, но тут некстати подхватывает гонорею. Он возвращается в Венецию, подает в отставку и занимается скрипачом в театр.

1750. Париж

Существует два авторских варианта глав 7-12 третьего тома.

С. 87. Пеота — легкая крытая гондола. Казанова выехал из Венеции 1 июня 1750 г.

...у трактира св. Марка... — По мнению А. Дзоттоли, при рассказе о приключении в трактире Казанова использовал эпизод из романа А. Лесажа «Жиль Блас» (1735, кн. 7, гл. 6).

С. 88...бракосочетания герцога Савойского... — Герцог Савойский Виктор Амадей женился на инфанте Марии Антонии 31 мая 1750 г.

С. 91. Баллетти — друг Казановы, Антонио Стефан Баллетти, потомственный актер.

Король Сардинии — Карл Эммануил III.

С. 93...рождения герцога Бургундского. — Этот титул принадлежал старшему сыну дофина, но 26 августа 1750 г. родилась девочка.

...наполняют их чаши чем хотят. — Трудно не согласиться с предложенной Казановой формулой подъема промышленности и торговли. Уже в период складывания буржуазных отношений было ясно, что свобода — необходимое и главное условие экономического процветания. Казанова критиковал Великую французскую революцию именно за то, что она превратилась в свою противоположность, заменила свободу насилием и террором («деспотизм народа»).

С. 95. Эта ступень высшая. — Три ступени масонского ордена: ученик, подмастерье, мастер.

С. 96. Алкивиад — древнегреческий полководец Алкивиад был обвинен в том, что «нанес оскорбление богиням Деметре и Коре, в своем доме на глазах у товарищей он подражал верховным священнодействиям... вопреки законам и установлениям эвмолпидов, кериков и элевсинских мистерий. Алкивиад был осужден заочно, его имущество конфисковано, а сверх того было принято дополнительное решение, обязывающее всех жрецов и жриц придать его проклятию» (Плутарх. Параллельные жизнеописания. Алкивиад, XXII / Пер. С. П. Маркиша).

...закон Эвмолпидов. — Эвмолпиды — жреческий род, потомки Эвмолпа, положившего начало элевсинским мистериям.

С. 99. Марио — Джузеппе Антонио Баллетти (Марио) разошелся с женой и произвел раздел имущества еще в 1747 г., но продолжал жить в семье.

С. 100...повстречались в Париже три знаменитости. — Они все приезжали в Париж в разные годы. Их спор мог произойти только в Италии, где играла Фламиния до 1716 г., когда регент Филипп

Орлеанский возвратил во Францию итальянскую труппу, изгнанную Людовиком XIV.

Фемиа — «Осужденный Фемиа» (1724).

С. 102...но отнюдь не любовников. — В донесениях парижской полиции утверждалось, что Сильвия — любовница Казановы и содержит его.

...Марианну в пьесе Мариво — «Игра любви и случая» (1730).

С. 104. Баварское питье — чай с молоком, желтком, сиропом и ликером.

Оржат — первоначально ячменный отвар, в XVIII в. — напиток из миндального сиропа и семян дыни.

С. 106...ума поменее. — «Рассудка француз не имеет и иметь его почел бы несчастьем своей жизни», — утверждал Д. И. Фонвизин в 1778 г. в «Записках первого путешествия (Письма из Франции)».

Ратафия — некрепкий ликер с фруктовым соком.

С. 107. Г-жа М\*\*\* — Маркиза де Помпадур.

С. 108...либо предатель. — Как сказал Гегель, историк — это пророк, предсказывающий назад. Именно в этой роли выступает здесь Казанова. Ведь главной причиной французской революции он считал ошибочную политику министра финансов Ж. Неккера и согласие короля на созыв Генеральных Штатов в 1789 г. («Леонарду Снетлаге», 1797). До этого их не созывали более 150 лет.

С. 109...выше меня на три дюйма... — т. е. рост Кребийона должен был быть 1 м 95 см, Казановы — 1 м 87 см.

С. 110...сиамские послы были проходимцы... — Король Сиам трижды посылал послов во Францию в 1680-е гг. Возможно, Казанова имеет в виду «персидских» послов.

С. 111...сцену в Сенате. — Вольтер написал трагедию «Катилина» в 1752 г.

...человек в железной маске... — В «Веке Людовика XIV» (1751) Вольтер утверждал, что Железная маска — брат Людовика XIV. По-видимому, под маской скрывался Е. М. Маттиоли (ум. 1703), государственный секретарь герцога Мантуанского.

С. 112. Те Деум. — Маршал Морис Саксонский был протестантом, и потому по нему не могли читать католическую молитву. Слово это, по уверению Мармонтеля, обронула Мария Лещинская, королева Франции.

С. 115...у Лагарпа. — Знаменитому критику и литератору в 1750 г. было 11 лет.

«Венецианские празднества» — опера-балет на музыку Кампра, хореография Данше; впервые поставлена в 1710 г., восстановлена в 1750 г.

С. 116...и воплями невпопад. — Того же мнения были и К. Гольдони и Ж.-Ж. Руссо.

С. 117. Она не носит панталон! — Во Франции XVIII в. считалось, что женщине неприлично носить панталоны: если она их надевает, значит, не умеет соблюдать приличия, вести себя достойно.

С. 118. «Тщеславного». — «Мизантроп» (1666) и «Скупой» (1668) — комедии Мольера, «Игрок» (1696) — Ж. Ф. Реньяра, «Тщеславный» (1732) — Ф. Нерсиа-Детуша.

С. 120. Дьябль — элегантный четырехколесный кабриолет.

С. 126...в паркетe — между оркестром и партером.

Голубая лента — кавалер ордена Святого Духа.

С. 129. Берг-оп-Зум — крепость в Брабанте. Ловендаль взял ее в 1747 г., во время войны за австрийское наследство.

С. 130...жениться на девице Гримани. — Стефано Кверини женился на Марине Гримани только через семь лет, в 1757 г.

С. 131. Царствующая императрица — Мария-Терезия, австрийская императрица.

С. 133...вставляем сзади. — Эту шутку Казанова заимствовал из «легкой» французской поэзии XVIII в.

С. 134. Председательша — жена одного из президентов парламента.

С. 137...уничужают королевское величие. — Этот кусок написан летом 1789 г., когда была принята Декларация прав человека и гражданина, до того, как король подвергся притеснениям, был насильно перемещен из Версаля в Париж (сентябрь 1789 г.).

С. 140...что был женщиной... — Казанова ошибается: шевалье д'Эон, авантюрист, шпион французского короля, был мужчиной-травести. Он был чтицей у Елизаветы Петровны, участвовал в Семилетней войне. Девица Госсен. — Казанова перепутал двух актрис: любовницей Олбемарла была Луиза Гоше.

С. 143. Квартальный комиссар — Мишель Мартен Гримперель. Начальнику (генерал-лейтенанту) парижской полиции (им с 1747 по 1757 г. был Н. Беррье) подчинялись 48 комиссаров, вершивших правосудие в 21 квартале. Донесения инспектора полиции Менье подтверждают рассказ Казановы. Ему помогло выпутаться из этой истории заступничество Сильвии перед начальником полиции. Венецианцу велели уплатить девице сто экю.

С. 145. В пародии на «Фетиду и Пелея» г-на де Фонтенеля... — В «Беспокойных любовниках» (1751) Фавар спародировал лирическую трагедию «Фетида и Пелей» (1689), которая шла в придворном театре Фонтенбло в 1750–1751 гг.

- С. 146. «Постель Правосудия» — торжественное заседание парижского парламента (Судебной палаты), на котором присутствовал король (он сидел под балдахинем).  
«Гофолия», «Эсфирь» — трагедии Расина, написанные в 1681 и 1688 гг.
- Д'Аламбер — был внебрачным сыном г-жи де Тансен и шевалье Детуша. Лерон это не имя его приемного отца, некоего Руссо, а название парижской церкви Сен-Жан-Ле-Рон, на ступени которой он был подкинут.
- С. 147...своей матери. — Дзанетта Казанова была придворной актрисой короля польского Августа III и играла в этой опере, премьеры которой состоялась в Дрездене 5 февраля 1752 г.
- С. 151. Бедняжка Лючия из Пасеано. — Юный Казанова соблазнил и обрюхатил четырнадцатилетнюю служанку.
- С. 159...называют его имя. — Как говорится в романе Ф. А. Шеврие «Мемуары честной женщины» (1753): «Актрисы — это публичные афиши, извещающие о состояниях частных лиц».
- С. 162. Де Треан — по видимости, любвеобильный маркиз д'Этреан, содержавший К. Везиан до 1767 г.  
...фламандской актрисой. — О'Морфи была ирландка, но приехала в Париж из Фландрии.  
Малый экю — 3 ливра (франка), большой — 6 ливров. 1 луидор равен 24 ливрам.
- С. 163. Малышка Елена — Мария Луиза. Казанова, возможно, именует ее так в честь Елены Прекрасной.
- С. 164...греческого племени... — «Грек» значит плут, шулер.  
...одному немецкому художнику... — Его имя не установлено. Описанию Казановы соответствуют две картины Буше.
- С. 165. Олений парк — квартал в Версале.
- С. 170...через свою кабалистику... — Еще в 1746 г. Казанова вошел в доверие к сенатору Матео Брагадину (который стал его приемным отцом), убедив, что умеет советоваться со своим Духом с помощью вопросов и ответов, записанных цифрами. С тех пор он умело пользовался своей репутацией чернокнижника. Граф де Мельфор и герцогиня Шартрская были влиятельными масонами.
- С. 171...от какого-то порока крови... — По мнению современников, причиной прыщей была венерическая болезнь (Казанова пишет дальше: «у меня было то же недомогание»). Прописал он ей традиционное средство от угрей — отвар подорожника.
- С. 176...была известна всему Парижу... — Знаменитый гуляка маршал де Ришелье снял по соседству с генеральным откупщиком Ла Поплиньером дом, где был потайной ход, оканчивавшийся в камине спальни г-жи Ла Поплиньер. Муж, узнав о том, выгнал жену. Она умерла от рака в 1756 г.
- С. 177...Фельятинских ворот — т. е. выходящих на монастырь фельятинцев.  
Лиар — мелкая монета, четверть су.
- С. 178. Пародия на «Братьев-соперников» Расина. — «Фиваида, или Братья-соперники» (1669). Пародия Казановы называлась «Молюккеида, или Близнецы-соперники, комедия в трех актах». Премьера состоялась в Королевском дрезденском театре 22 февраля 1752 г.  
Министр — граф Генрих фон Брюль.
- С. 180...унизиться. — «Всех приветливо чествуй и ни перед кем не величься. — Нынче и мы потрудимся, как прочие; жребий таков наш» (Илиада, песнь X, 69–70, пер. Н. Гнедича).  
1754. Венеция  
Из Дрездена Казанова едет в Вену, потом возвращается в Венецию. В июне 1753 г. он становится любовником пятнадцатилетней К. К. (Катерины Капреты), сватается к ней, но ее отец отвечает отказом и отправляет девушку в пансион в монастырь Девы Марии Ангелов в Мурано. Казанова ходит в монастырскую церковь в дни праздников, его замечает монахиня М. М. (Мария Магдалина, по-видимому, Мария-Элеонора Мишиэль) и в ноябре заводит с ним интригу. Одновременно она становится весьма близкой подругой К. К. Возлюбленным М. М., как утверждает Казанова, был французский посланник де Бернис (тот в своих мемуарах об этом не упоминает), который и подсмотрел из потайной комнаты ее свидание с венецианцем 31 декабря 1753 г. Отыгрывая перед зрителем роль образцового любовника, Казанова так старался, что у него даже пошла кровь. Весь эпизод с К. К., М. М. и де Бернисом Казанова описывает как театральный спектакль.
- С. 182. Лаура — служанка в монастыре, через нее Казанова переписывался с К. К.;  
День Королей — 6 января.
- С. 184. Магдалина у Корреджо — эту картину Казанова видел в Дрезденской галерее за год до того. Но авторство Корреджо нынче оспаривается.  
...если верить секретным документам... — Памятник кондотьеру Бартоломео Коллеони был создан в 1479–1488 Андреа Веррокьо. О конце Коллеони достоверных сведений нет.  
...ровно в два часа — в 18 ч 45 мин. В Италии до конца XVIII в. часы отсчитывали от захода солнца.  
...в плотной маске. — В Венеции полагалось носить маску во второй половине дня с 5 октября по 16 декабря, с 26 декабря до Масленицы и в праздничные дни, т. е. карнавал длился почти полгода.

С. 187. Позы Пьетро Аретино — 35 позиций, описанных в «Сладострастных сонетах» П. Аретино, созданных по гравюрам его друга художника Джулио Пиппи (Жюля Ромена, 1492–1546), ученика Рафаэля.

С. 190...принадлежности ее никому не ведомы. — Пьеро происходит от Педроллино комедии дель арте XVI в., но популярность эта маска получила во Франции, а не в Италии.

С. 199. Филипп — серебряная монета, ходившая в Милане до 1786 г., испанского, затем австрийского чекана, равна 11 венецианским лирам, половине золотого цехина.

С. 208. Янсенист — последователь католического богослова Корнелия Янсения (1585–1638), чье вероучение отличалось суровостью, аскетичностью.

С. 211. Иностраннный посланник. — Венецианским аристократам под страхом смерти запрещалось встречаться с иностранными дипломатами.

С. 212. Десять часов — три часа ночи.

С. 218...столь гнусное понятие о мире. — Казанова вспоминает аналогичную сцену вечеринки вчетвером, когда брат К. К. Пьетро Антонио Капретта, сводивший сестру с Казановой, чтобы выудить у него побольше денег, в их присутствии стал заниматься любовью со своей подружкой.

С. 220. Эстампы Мёрсиуса. — Имеются в виду иллюстрации к эротическому сочинению французского литератора Никола Шорье (1619–1692), которое было опубликовано на латыни от имени голландского ученого Мерсия («Иоанна Мерсия утонченные латинские беседы», ок. 1680). Французский перевод этой книги назывался «Дамская академия».

1755–1756. Венеция

Вскоре г-н де Бернис уезжает в Вену на переговоры, Казанова более не встречается с К. К. и все реже видится с М. М., которая тяжело заболела. Он разоблачает куртизанку, выдававшую себя за М. М. От любви к прекрасной монахини его излечивает служанка Тонина, дочь Лауры. Впоследствии Казанова уступает девушку английскому посланнику, лорду Муррею, утешившись с ее младшей сестрой Барбериной. Доктор Ригеллини подыскивает для него новый дом для свиданий.

С. 227. Какая-то девица... — по мнению Гугица, это Анна Мария даль Поццо, дочь мозаичных дел мастера. Но она родилась в 1725 г., а героине Казановы 18 лет.

С. 228. Отец К. К. умер — Кристофоро Капрета. Незадолго до этого умерла и ее мать, Магдалина Эвик.

...замуж за адвоката — Себастиано Марсилы (ум. ок. 1783). Свадьба состоялась в 1758 г.

С. 229. Нанетта и Мартон — сестры Саворньяк, венецианки. Казанова стал их возлюбленным в 1742 г.

С. 231. Граф С. — Сегуро.

С. 233...сатирический роман — «Удачливая комедиантка» (1755). Аббат Пьетор Кьяри поквитался в нем с теми, кто высмеивал его комедии, и в частности с Казановой, выведя его под именем Ванезио: «Он кичится своей красотой, почитая себя Нарциссом; пузырь не так раздувается от воздуха, как он от тщеславия, мельница не крутится быстрее. Без усталости он втирается повсюду, бежит за каждой юбкой, не упускает случая набить карманы или воспользоваться любовной победой, чтоб преуспеть. Со скупцами он алхимик, с красавицами поэт, а с великими — политик, всё со всеми. Но в глазах людей рассудительных он выглядит шутком...»

С. 234. Государственные инквизиторы. — Их было трое, они ведали вопросами государственной безопасности (разведка, контрразведка). Трибунал не подчинялся ни правительству, ни законам. Один, носивший красную тогу («Красный»), избирался на восемь месяцев из числа советников Дожа, двое других — на год, из членов Совета Десяти.

...духами всех четырех первоэлементов — гномами (земля), ундинами (вода), саламандрами (огонь), сифами (воздух).

С. 236. Крепость св. Андрея — Казанова сидел в этой тюрьме в 1743 г. за юношеские шалости.

...лишили его пенсии — Бонафедо был осведомителем.

Дукат, цехин — венецианский серебряный дукат равен 8 лирам, золотой цехин — 22 лирам.

С. 237. Праздник св. Иакова — 25 июля.

Мессер гранде — Маттео Варутти.

С. 239...обоих друзей его — Марио Дандоло (1704–1779) и Марко Барбаро (1688–1771). Казанова пользовался неограниченным влиянием на трех друзей благодаря тому, что сумел исцелить М. Дж. Брагадина и не терпел иезуита де Лаэ, который пытался занять его место в доме.

С. 242. «Ключ Соломонов» — популярная книга черной магии, рассказывающая о дьяволах.

Зекор-бен — «Зохар» (XIII в.) — древнееврейская книга о кабале.

Пикатрикс — манускрипт, где говорится о вызывании дьявола; упоминается у Ф. Рабле; хранится в библиотеке Арсенала в Париже.

«Философ-ратоборец» — рукопись атеистического, материалистического сочинения Сент-Иасента, опубликованного П. Ж. Нежоном в 1768 г.

Матильда — вероятно, М. М.

«Картезианский привратник» — порнографический роман Жервеза де Латуша (1745).

- ...некоей Опеской... — Антонио Николо Мануцци был произведен в графское достоинство польским королем Станиславом Понятовским за то, что женился на его любовнице.
- К. Д. - возможно, Клотильда даль Поццо, младшая сестра Анны Марии.
- С. 243...о побеге моем из Пьомби. — «История побега моего из тюрем Венецианской республики, что прозываются Пьомби» (1788).
- Пьомби — четыре тюремных помещения, что с 1561 г. располагались под свинцовыми крышами дворца дождей.
- Колокол Терца. — Ритм жизни в Венеции определялся звоном различных колоколов на соборе Св. Марка. Терца созывал чиновников в присутствие, он звонил от 12 до 17 часов по местному времени, в зависимости от времени года (примерно в 8 утра).
- С. 244. В одеждах патриция... — На должность секретарей Сената, Совета Десяти избирались горожане, которые получали право носить черную тогу патриция.
- ...на тосканском наречии — т. е. на литературном языке, а не венецианском диалекте.
- С. 245. Двадцать один час — 17 часов.
- С. 247. До восьми часов... — до 4 утра.
- С. 250. Лоренцо — Лоренцо Базадонна, тюремщик с 4 мая 1755 г.
- ...из Агреды — книга испанской монахини Марии Агреды (в миру Марии Коронель, ум. 1665) «Мистический град Божий» (три тома, 1655) — жизнеописание Девы Марии.
- Каравита — среди трудов неаполитанского богослова Винченцо Каравиты (1681–1734) подобного сочинения не обнаружено. Возможно, Казанова читал «Поклонение Святому Сердцу Господа нашего Иисуса Христа» (1689) Жана Круазе (1656–1738), одного из основоположников этого учения.
- С. 251. Ордена Кордельеров — французское название ордена францисканцев.
- ...с позволения Инквизиции... — до 1748 г. книга была внесена в индекс осужденных папой сочинений.
- С. 252. Палафокс — ни епископ Хуан Палафокс-и-Мендоса (1600–1659), ни Мария Агрета не были в итоге канонизированы.
- Малагриды — итальянский миссионер Габриэле Малагрида (1689–1761) был сожжен по приговору португальской инквизиции. «Жизнеописание достославной святой Анны» было написано им в тюрьме (1758–1761). Арестован за участие в заговоре против короля.
- ...когда орден его возродится. — Папа Климент XIV запретил орден иезуитов в 1773 г., а Пий XII в 1814 г. вновь возродил его.
- С. 253...пятьдесят сольдо в день — 2,5 лиры. В ноябре сумму сократили до 30 сольдо в день (45 лир в месяц). Всего за время пребывания в тюрьме Казанова потратил более 35 цехинов (около 800 лир).
- С. 254. Лекарь — некто Белотто или Белотти.
- С. 255...новые Инквизиторы. — Среди них был Франческо Сагрето, который амнистировал Казанову в 1774 г. Но еще 12 сентября 1755 г. узник был приговорен за безбожие к 5 годам тюрьмы.
- С. 256...скверный довод. — Попав под колеса судебной машины, Казанова оказывается в антимире, где действует своя бюрократическая логика, столь хорошо описанная потом Ф. Кафкой.
- С. 257...добыть себе свободу. — В юности Казанова бежал из крепости св. Андрея, но только для того, чтобы избить палкой обидчика, а затем вернулся. Заточение в тюрьме он использовал как идеальное алиби — так в начале XX века поступали знаменитые герои французских детективных романов — Арсен Люпен и Фантомас.
- С. 258...разрушило Лиссабон. — Знаменитое землетрясение, разрушившее Лиссабон и унесшее 40 тысяч жизней, произошло 1 ноября 1755 г. Когда в 1783 г. Казанова был вынужден покинуть родину, он в отместку предсказал скорое землетрясение.
- С. 260. Пять футов — 1 м 62 см.
- Маджорин. — В действительности его звали Лоренцо Мадзетта, он соблазнил племянницу графа Джорджо Маркесини. Он был приговорен к 10 годам тюрьмы и пожизненному изгнанию, но в январе 1762 г. бежал вместе с 16 другими заключенными.
- С. 266. «Мудрость» Шаронову. — «Трактат о мудрости» (1601, переведен на итальянский в 1698 г.) французского моралиста Пьера Шарона (1541–1603), друга и ученика М. Монтеня.
- С. 267...царь Соломон — имеется в виду библейская «Книга Премудрости Соломона».
- С. 270. Эспонтион. — полупика, офицерское оружие. До этого засов был длинной в полтора фута (48,7 см); став оружием, он обретает для Казановы большую ценность и длина его увеличивается до 20 дюймов (54 см).
- С. 271...юный парикмахер... — Рассказ Казановы о побеге очень точен, даже в деталях. Установлены имена большинства упоминаемых им лиц, в том числе и этого юноши — Джакомо Габато умер 25 ноября 1755 г. в тюрьме 21 года от роду.
- С. 274...признательность моя была справедлива. — Пребывание Казановы в тюрьме напоминает жизнь Робинзона на необитаемом острове: обратившись душой к Богу, он практически из

ничего создает орудия труда; все подчиняя единой цели, он преображает окружающий мир, людей (позже Казанова создает себе Пятницу падре Бальби). Книга Д. Дефо играла в XVIII в. роль одного из главных культурных «мифов», порождая все новые тексты.

С. 275...пятеро Мудрецов — ведали в Венеции вопросами коммерции (с 1506 г.), а с середины XVII в. судили турок, евреев и армян.

С. 281...по вине переписчиков. — «История Рима от основания Города», кн. XXI, 37, 2. Гипотеза Казановы не верна.

С. 282. Св. Марка-евангелиста. — В 828 г. его мощи были перенесены из Александрии в Венецию, в часовню дожа.

С. 283...основал новую религию — это сделал в конце века Калиостро, воздвигший себе храм в Лионе.

С. 290. Атараксия — понятие древнегреческой этики, означающее безмятежность духа, невозмутимость, покой. Скептики («ученики Пирроновы») понимали под атараксией необходимость воздерживаться от суждений, не иметь своего мнения о добре и зле, истинном и ложном.

«Воздерживайся и терпи» — принцип древнегреческого философа-стоика Эпиктета (I в. до н. э.).

С. 292. в ужасающей этой тюрьме... — Это описание мученического существования произвело сильное впечатление на Ф. Кафку, который в своих письмах еще усилил ужас картины: крысы ждут, когда узник упадет с козел; чтобы сожрать его. В колодцы потайные лестницы вели прямо из кабинетов инквизиторов и Совета Десяти.

Шпилберг — крепость в Брунне (Брно), австрийская государственная тюрьма. И в XIX в. условия содержания в ней были ужасны, как пишет о том итальянец Сильвио Пеллико в книге воспоминаний «Мои тюрьмы» (1833). Казанова был там в июне 1785 г.

С. 296. «Rationarium» — «Летосчисление» (1633), латинское сочинение французского историка иезуита Дени Пето.

С. 297. Монах ордена сомасков. — Этот орден основал Джироламо Эмилиане в г. Сомаске (около Бергамо). Монахи-наставники посвящали себя обучению сирот. В их семинариях учился и Казанова в 1742–1743 гг.

...четыре года... — На самом деле два года. Марино Бальби попал в Пьомби 5 ноября 1754 г., приговорен к 5 годам.

С. 300...из семи коммун — немецких поселений на территории Венецианской республики.

С. 307...на Изоле, островке... — Это не остров, а городок в Истрии, неподалеку от Триеста, принадлежавшего тогда Австрии.

С. 308...имперскому посланнику — графу Розенбергу.

С. 315...девятнадцать часов — в два часа дня.

С. 324...Эней Анхиза... — во время пожара Трои Эней вынес на плечах своего отца Анхиза (Вергилий. Энеида, песнь II).

С. 330. Арсеналотти — стража Арсенала и Большого Совета.

С. 338. Мудреца за письмом — главного из пяти Мудрецов, военного министра.

1757. Париж

Расставшись с монахом, Казанова находит приют у жены начальника сборов, отправившегося ловить беглецов, с трудом добирается до Борго и вместе с Бальби едет на почтовых в Мюнхен. Окончательно они расходятся в Аугсбурге. Впоследствии Бальби безуспешно пытался перейти в протестанство, но, оставшись без средств к существованию, вернулся с повинной в Венецию, отсидел еще два года в Пьомби, был сослан в отдаленный монастырь. Испросив у папы Климента XIII дозволение перейти в белое духовенство, он воротился в Венецию. Умер в нищете.

Казанова приезжает в Париж 5 января 1757 г. и останавливается у своих друзей Баллетти. В этот день Дамьен нанес ножом Людовику XV легкую рану, чтобы напомнить ему о его королевских обязанностях.

С. 349. Министр — аббат де Бернис. Казанова писал эту часть еще до его кончины (1794) и потому во многих местах вычеркивал его имя из рукописи. Но аббат сделался министром иностранных дел только в июне 1757 г.

...г-же маркизе — маркизе де Помпадур.

Генерал-контролер — министерская должность, созданная Генрихом II в 1547 г. Генерал-контролер надзирал за сельским хозяйством, торговлей, внутренними делами и, главное, финансами.

...господину де Шуазелю. — Граф де Стенвиль стал герцогом де Шуазелем только в 1758 г., после его назначения на пост министра иностранных дел.

С. 350. Военное училище — было основано в 1751 г. для воспитания пятисот дворянских недорослей, получавших после четырехлетнего обучения чин корнета. Для покрытия расходов был изобретен налог с игральных карт, но его оказалось недостаточно.

С. 351...система Лоу. — После того как в 1720 г. потерпела крах попытка шотландца Джона Лоу



реформировать финансы Франции, выпущенные им бумажные ассигнации обесценились, тысячи людей разорились. Он был изгнан из страны, а его противника Дюверне вернули из ссылки.

Гарпократ — в греческой мифологии — бог молчания.

С. 352...о войне — Семилетняя война между Францией, Австрией, Россией, Австрией, Саксонией, Швецией, Испанией, с одной стороны, и Англией, Пруссией, Ганновером — с другой.

Лотерея на девяносто номеров. — Два ливорнца, братья Кальзабиджи, предложили по образцу «генуэзского лото» (его принцип в общих чертах соответствует нашему Спортлото) устроить лотерею для покрытия расходов Военного училища и взяли на себя руководство ею. Казанова преувеличивает свою роль в этом деле. Первый тираж состоялся через год после описываемых событий, в 1758 г., а уже в 1759 г. братья Кальзабиджи, не отличавшиеся особой честностью, были отстранены. В 1776 г. лотерея Военного училища была заменена Королевской лотереей.

С. 355...на «терну». — «Квинта» — пять номеров, «кватерна» — четыре, «терна» — три, «амба» — два.

С. 357...целебными каплями. — Ламот унаследовала от покойного мужа, генерала Ламота, привилегию на торговлю «золотыми каплями», исцелявшими ото всех болезней (паралича, желтухи, дизентерии, астмы и т. д.). Они славились даже за пределами Европы.

Фонпертюи. — Любовником Разетти был не Фонпертюи, а его брат, Папийон да ла Ферте, также интендант королевских увеселений.

С. 359. Д'Аламбер. — По некоторым сведениям, друг д'Аламбера Дени Дидро также исследовал математическое обеспечение лотереи Военного училища.

С. 360. В первый тираж... — Он состоялся 18 апреля 1758 г. и принес убыток.

С. 361. Став академиком... — Казанова забегает вперед: брат его приехал в Париж в 1758 г., выставил картину в Салоне в 1761 г., был в том же году принят в Королевскую академию живописи и ваяния, а действительным ее членом стал в 1763 г.

С. 362...побогаче моего... — Отец Тиреты умер за пять лет до того.

С. 363...в трауре... — из-за покушения на короля.

С. 364...никакая она не вдова... — Тут Казанова ошибся, Ламбертини была вдовой офицера Николая Жювенеля, но, конечно, никакого отношения к папе Бенедикту XIV (Просперо Ламбертини) не имела.

С. 376. «Горе побежденным» — слова, произнесенные вождем галлов Бренном после победы над римлянами (Тит Ливий. История Рима, кн. V, 48. 8–9).

...долго меня благодарила. — Весь этот эпизод совершенно неправдоподобен с точки зрения хронологии: казнь Дамьена состоялась в марте 1757 г., указ об устройении лотереи вышел 15 октября 1757 г., лотерейные конторы были открыты в феврале 1758 г., а к этому времени Беррье уже покинул пост начальника полиции (16 октября 1757 г.).

...нарекли... Возлюбленным. — По свидетельству Вольтера, это прозвище Людовик XV получил в 1744 г., когда по настоянию духовника, епископа Суассонского Фиц-Джеймса, расстался со своей любовницей герцогиней де Шатору. «Один повеса, по имени Ваде (вероятно, литератор Жан-Жозеф Ваде. — А. С.), изобрел этот титул, который подхватили альманахи» (Мемуары для жизнеописания г-на де Вольтера, им самим писанные. Пер. А. Н. Горлина и П. К. Губера).

С. 377...отворачиваться не стали... — Многие мемуаристы отмечали, что женщины, в отличие от мужчин, взирали на казнь Дамьена без малейшего волнения. На публичные казни толпами ходили смотреть, как на спектакль, и в XIX в., и в XX в. (см. аналогичные эпизоды в романах «Граф Монте-Кристо» (1845) А. Дюма и «Фантомас» (1911) П. Сувестра и М. Аллена).

...отважные деяния. — Исследователи нашли литературные параллели этому эпизоду, примеру садо-некрофильского сладострастия, в романе Ретифа де ла Бретонна «Господин Никола, или Разоблаченное человеческое сердце» (1794–1797), а прозвище, аналогичное Шестьразу, — в романе Андре де Нерсиа «Бес в ребро» (1786). Историю Тиреты и г-жи ХХХ использовал Клод Мориак в романе «Маркиза вышла в шесть часов» (1961).

...к Ланделю — т. е. к знаменитому ресторатору, у которого в XVIII в. собирались масоны, литераторы (Кребийон-сын, Гельвеций, Грессе и др.), вельможи и просто гурманы.

С. 387...ни один смертный... не сравнится. — Ранее Казанова объяснял м-ль де ла М-р, откуда берутся дети, с помощью терминов алхимии, теперь возникает мотив любовной связи с неземным существом, имеющий устойчивую традицию во французской прозе XVIII в. (Кребийон-сын. Сильф, 1730, и т. д.). Эти темы, появившись на уровне лексики, вскоре станут элементами сюжета.

С. 395...эту любовь... — к Манон Баллетти.

С. 398...принцессы Ангальтской. — Иоанна-Елизавета Ангальт-Цербстская, мать Екатерины II, была принуждена своей дочерью покинуть Россию в 1758 г. и поселилась в Париже. Она водила знакомство с Сен-Жерменом, интересовалась алхимией.

С. 399...поручение, исполненное мною в Дюнкерке. — Бернис предложил Казанове испытать себя в роли тайного агента. Аббат Лавиль послал его в Дюнкерк проинспектировать стоящие на рейде французские корабли и щедро заплатил за сведения (возможно, надо было проверить, не

обходится ли постройка и содержание кораблей в Дюнкерке королю втрое дороже, чем частным судовладельцам. По другой версии, это была проверка их готовности перед намечавшейся высадкой в Англии). Там Казанова повидался с м-ль де ла М-р, ставшей г-жой П. По мнению венецианца, всю эту информацию можно было получить от любого офицера. Бессмысленность действий королевской бюрократии заставила его прийти в мемуарах к выводу: «Революция была необходима».

С. 400. Линия — двенадцатая часть дюйма, 2,25 мм. С. 401...историю знаменитого Анн д'Юрфе... — Более известен его брат Оноре, автор пасторального романа «Астрей» (1607). Но маркиз д'Юрфе был потомком не их, а третьего брата, Жака II д'Юрфе.

С. 402. Библиотека. — Ее начал собирать Клод д'Юрфе в начале XVI в., и все наследники пополняли, в особенности Рене Савойская, жена Жака I д'Юрфе. Богатейшее собрание рукописей было распродано маркизой в 1770 г.

Стеганография — наука тайнописи, синоним криптографии.

«Дерево Дианы», или «философское дерево», — серебряное дерево, созданное кристаллизацией ляписа. Из свинца и железа получались «деревья» Сатурна и Марса.

Таллиамед — правильно Теллиамед, анаграмма имени Бенуа де Майе, название его философского романа.

С. 403. Эгерия — нимфа, советница и супруга римского царя Нумы Помпилия.

...платиной из Пинто... — Долгое время этот эпизод, дающий ценнейшие сведения по истории химии, вызывал сомнения исследователей, ибо только в 1750-е гг. платина была признана отдельным от серебра металлом. Но еще в 1741 г. Чарльз Вуд, старший пробирщик с Ямайки, обнаружил платину в Новой Гренаде (ныне Колумбия) и начал ввозить ее в Европу.

...огненным зеркалом... — сферическим зеркалом, фокусирующим солнечные лучи.

Атанор или атанар, — алхимическая печь.

...прокаженными металлами — Для алхимиков был один истинный металл золото. Серебро, ртуть, свинец, медь, железо, олово считались «прокаженными», требующими исцеления.

С. 404. Духи планет. — Согласно системе Птолемея, перешедшей в алхимию, планет семь: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. Имена их духов: Араторн, Бетор, Фал, Ох, Хагит, Офил, Фул («Ключи Соломоновы»).

Полифиловы талисманы — из символического романа «Гипнеротомахия Полифилова» (ок. 1467, опубл. 1499), автором которого считается либо доминиканец Франческо Колонна, либо Феличе Фелициана.

С. 405. Анаэль, или Анаил, — ангел пятницы, находящейся под покровительством Венеры; дух этой планеты — Хагит.

...сколько нынче минут в часе... — Число минут в планетарном часе ежедневно меняется потому, что считаются двенадцать часов от рассвета до заката и от заката до рассвета.

Розенкрейцеры — секта иллюминистов, братство, возникшее в конце XV в., возрождавшее таинства древнеегипетских жрецов и Фараонов. Многие розенкрейцеры занимались алхимией, поисками философского камня. Их учение оказало существенное влияние на масонов, им интересовались Р. Декарт, Г. Лейбниц, Ф. Бэкон, Я. Бёме. В конце XVIII в. секта распалась, но возродилась век спустя. В настоящее время насчитывает 6 миллионов адептов.

С. 406. Электрум — самородный сплав серебра и золота.

С. 407...изрядно позабавил... — Подобное впечатление производил на гостей графа Вальдштейна сам Казанова в те годы, когда писал мемуары; он казался благородным, но жалким осколком минувшей эпохи.

С. 408. Сен-Жермен. — Со знаменитым авантюристом встречался в Париже в 1778 г. Д. И. Фонвизин: «Что ж надлежит до другого чудотворца, Сен-Жермена, я расстался с ним дружески, и на предложение его, коим сулил он мне золотые горы, отвечал благодарностию, сказав ему, что если он имеет столь подходящие для России проекты, то может отнестись с ними к находящемуся в Дрездене нашему поверенному в делах. Лекарство его жена принимала, но без всякого успеха».

Казанова ревниво относился к сопернику и постарался вывести г-жу д'Юрфе из-под его влияния. В конце жизни он разоблачал чародея в трактате «Разговор мыслителя с самим собой» (1786).

С. 409. Паралис. — Возможно, Казанова образовал это имя, вспомнив о знаменитой книге Н. Монфокова де Виллара «Граф Габалис» (1670), рассказывающей об общении со стихийными духами. Потом оно стало розенкрейцерским именем Казановы — Парализе Галтинард (вторая часть его — анаграмма Сейнгальта).

С. 412...на танцовщице из кордебалета... — Свадьба Франческо Казановы с Марией Жанной Жоливе (1734–1773, сценическое имя д'Аланкур) состоялась на четыре года позже, 26 июня 1762 г.

С. 413...ехать в Голландию... — Казанова объединяет две свои поездки в Голландию, состоявшиеся в 1758 и 1759 гг.

...скоро заключат мир... — Война окончилась через пять лет.

С. 414...акции гетеборгской Индийской компании... — Их просила продать г-жа д'Юрфе, что

Казанова и сделал, получив 18 (12, как он утверждал) тысяч франков комиссионных.

г-н Д. О. — По всей видимости, голландский финансист Томас Хоупе. Казанова влюбился в его дочь Эстер (племянницу?), завоевал его уважение с помощью кабалистики, и Д. О. помог ему во всех торговых операциях.

С. 415...своему покровителю... — В январе 1759 г., когда Казанова вернулся, Бернис уже месяц как ушел в отставку и покинул Париж.

С. 416...званием палатного дворянина. — Предки Вольтера, Аруэ, были мещане, только его отец, купив судебскую должность, стал потомственным дворянином. Придворный чин достаточно много значил для писателя, к которому аристократы относились презрительно-высокомерно. При французском дворе было четыре Первых палатных дворянина, которые прислуживали монарху вместе с интендантами королевских развлечений, подавали ему рубашку при вставании, следили за его гардеробом.

...привез с собою мальчика лет пятнадцати... — В Голландии Казанова встретил возлюбленную своей юности Терезу Имер и ее детей — пятилетнюю Софи, его собственную дочь, и двенадцатилетнего Джузеппе, сына танцовщика Помпеати. Он взял мальчика на воспитание.

...Сильвия. — Сильвия умерла 18 сентября 1758 г., еще до первой поездки Казановы в Голландию.

С. 418. Тридентский собор — состоялся в 1545–1563 гг.

С. 419...в трактире «Король Дагобер»... — в феврале 1762 г.

...в Барейте — не в Барейте, а в Вене.

Малая Польша — квартал в предместье Сент-Оноре. Дом Казановы назывался Краков, а не Варшава, принадлежал он Мартену Леруа.

С. 420...в пользу короля... — Именно вопросам наследства была посвящена диссертация Казановы, защищенная в Падуе в 1742 г. Но аналогичные налоги уже пытались вводить во Франции в середине XVII в.

С. 421...на пост главнокомандующего. — Субиз потерпел сокрушительное поражение от Фридриха II в битве при Росбахе (1757).

С. 423...стал папой. — Виктория Редзониго умерла 29 июля 1758 г., через 20 дней после избрания сына папой римским, но ей уже было 90 лет.

С. 424...за оградой Тампля... — т. е. внутри бывшего монастыря тамплиеров (XIII в.), перешедшего в XVI в. к мальтийским рыцарям, великим приором которых во Франции с 1749 г. был принц Конти. Там находили приют коммерсанты, не относящиеся ни к какой корпорации, укрывались несостоятельные должники.

С. 429. Я дергаю за шнурок... — Шнурком изнутри открывалась дверца кареты.

С. 433. М-ль де Буленвилье — это та самая Шарпийон, которая через четыре года измучит Казанову в Лондоне.

С. 436...два векселя на Мезьера... — Векселя генеральных откупщиков (Мезьер был им с 1756 по 1784 г.) играли роль банковых билетов.

С. 437. Фор л'Эвек — долговая тюрьма (1674–1783). Арест произвели 23 августа 1759 г. на улице, ведь в Тампле Казанова был в неприкосновенности. Но причина ареста была не иск Гарнье, а неуплата векселей, использование поддельных. Судебные преследования против Казановы возбудили А. Петитен и Ш. Л. Обри.

С. 438...у г-жи де Рюмен. — Описка — у г-жи д'Юрфе.

С. 441...первое декабря — по видимости, в конце сентября. Парламент осудил его. — Трактат Гельвеция был осужден папой, Сорбонной, цензурой, 10 февраля по приговору парламента предан огню рукой палача.

1760. Швейцария

С. 443...письмо от г-на де Мюра... — Муниципальный советник из Туна Бернар де Мюра еще 21 июня 1760 г. писал своему другу А. Галлеру о Казанове: «Он знает меньше вашего, но знает много. Обо всем он говорит с воодушевлением, и поразительно, сколько он прочел и повидал. Он уверяет, что знает все восточные языки, о чем я судить не берусь. По-французски он изъясняется как итальянец, ибо в Италии он вырос... Он объявил, что он вольный человек, гражданин мира, что чтит законы государей, под властью коих живет. Образ жизни он вел здесь размеренный, его главная страсть, как он дал понять, естественная история и химия... Он выказал познания в кабале, удивления достойные, коли они истинные, делающие его едва ли не чародеем, но я могу судить единственно с его слов; коротко говоря, личность необыкновенная. Одевается он преизрядно. От вас он хочет отправиться к Вольтеру, дабы вежливо указать ему ошибки, содержащиеся в его сочинениях. Не знаю, придется ли столь участливый человек Вольтеру по вкусу...»

...вскормивших меня молоком учености... — Казанова учился у них в Падуанском университете (1737–1741).

С. 444...на манер Пиндара... — Описательно-дидактическая поэма «Альпы» (1732).

Жена его... — Это третья жена Галлера, София Амалия, урожденная Тейхмейер, что вышла за

него замуж в 1741 г.

наставник — Яков Дик (1742–1776), бернский пастор; зятем Галлера не стал.

С. 445. Г-жа — некая 85-летняя дама, алхимик, друг Бургава, с которой Казанова познакомился летом 1760 г. в Берне.

...двадцать два письма от него... — Переписка Казановы и Галлера не найдена.

...прочел я в Берне «Элоизу» Ж.-Ж. Руссо... — «Элоиза» была напечатана год спустя, в 1761 г.

С. 446. Дюбуа. — За несколько месяцев до того, когда Казанова жил под Золотурном, по рекомендации Лебеля (фамилия вымышленная), дворецкого французского посла в Швейцарии Теодора де Шавиньи, к нему в услужение поступила вдова Дюбуа, уроженка Лиона. Она помогла венецианцу в его любовных интригах, отправилась путешествовать с ним по Швейцарии и стала его любовницей. В Берне она получила письмо от Лебеля, предлагавшего ей руку и сердце. Дюбуа поехала в Лозанну к своей матери, а Казанова — в Рош к Галлеру.

С. 449. Славный Фокс. — Казанова спутал Стивена Фокса с его младшим братом Чарльзом, которому в ту пору было 11 лет.

С. 451...восемьдесят лет... — В мемуарах Казанова обычно добавляет возраст старикам и уменьшает девушкам. На самом деле — шестьдесят пять.

С. 455...надпись на церкви... — на медной дощечке на женевской ратуше.

С. 456. Генриетта — француженка, таинственная возлюбленная Казановы. М. И. Цветаева посвятила истории их любви стихотворную драму «Приключение» (1919). Подлинное имя Генриетты, возможно, Жанна Мария д'Альбер де Сент-Ипполит. Она в 1744 г. вышла замуж за Жана Батиста Лорана Буайе де Фонколomba (ум. 1788), родила ему двух детей, а в 1749 г. с ним рассталась. Казанова встретил Генриетту в Чезене осенью 1749 г., куда она приехала в мужской одежде в сопровождении пожилого венгерского офицера. Казанова страстно влюбился, отбил ее, провел с ней несколько месяцев в Парме и понял, что она не искательница приключений, а аристократка, порвавшая со своей семьей. На беду, Генриетту узнал некий г-н Антуан и принудил вернуться домой. В феврале 1750 г. Казанова проводил ее до Женевы, где они расстались.

С. 459...римскую историю... — Имеются в виду трагедии «Юний Брут», «Марк Брут», «Юлий Цезарь», «Друз», опубликованные посмертно в 1751 г.

С. 460...как дурно вы о нем отзываетесь... — В «Опыте об эпической поэзии» (1746).

С. 463...дарственной, по которой Константин отдал Рим Сильвестру. — В VIII в. папской канцелярией была сфабрикована подложная грамота, согласно которой император Константин предоставил папе Сильвестру I (314–335) светскую власть над всей западной частью Римской империи. Что это фальшивка, доказал Лоренцо Балла в трактате «О ложности дара Константина» (1440).

...представленной в Золотурне. — Комедия Вольтера «Шотландка» была опубликована в апреле 1760 г., в мае Казанова играл ее в Золотурне вместе с г-ном де Шавиньи и баронессой Марией Анной Ролл, в которую венецианец был влюблен и потому имени ее не упоминает. Премьера в парижском театре состоялась в июне.

С. 465. Белый зуб — Монблан.

С. 467. «Игрек» Грекура. — В этом стихотворении рассказывается о человеке с раздвоенным концом.

С. 469. Семнадцать — т. е. десять членов Совета, дож и шесть его советников.

...мог бы быть им... — Казанова не прав: Гольдони получил от инфанта титул Поэта герцога Пармского, он имел степень доктора права (1731), был адвокатом в Венеции и Пизе (1731).

С. 472...он от нее открещивался... — Вольтер писал «Орлеанскую девственницу» с 1730 по 1739 г., с 1737 г. она уже расходилась в списках. Вольтер публично отказался от своего авторства перед женевским судом. В 1755 г. поэма была анонимно издана, в 1757 г. сожжена палачом. Только в 1762 г. Вольтер напечатал ее под своим именем.

С. 476...хулы свои основательными. — Имеются в виду «Опровержение» Истории Венецианского государства «Амело де ла Уссе» (1769), Размышления над «Похвальными словами г-ну де Вольтеру» (1779).

1763. Марсель

Деньги г-жи д'Юрфе были для Казановы существенным подспорьем, и он помнил, что должен превратить ее в мужчину. При этом он не мог рассчитывать на юного д'Аранда (Помпеати) — двуличный мальчишка начал вести свою игру. Вернувшись в начале 1762 г. в Париж, Казанова убедил маркизу, что она возродится в ребенке, которого он зачнет с девственницей знатного рода, дочерью адепта (на эту роль он пригласил итальянскую танцовщицу Марианну Кортичелли). «Магическая операция» была произведена в замке д'Юрфе Пон-Карре под Парижем. В неудаче Казанова обвинил д'Аранда, который якобы подсматривал, и подростка отправили в Лион. Повторить операцию надлежало в городе Экс-ла-Шапель, где Кортичелли вышла из повиновения (Казанова забрал подаренные ей маркизой драгоценности), и венецианец доказал г-же д'Юрфе, что злые силы лишили деву разума и сделали непригодной для деяния. Маркиза отправила письмо на Луну и

получила в бассейне ответ, что с помощью великого розенкрейцера Кверилинта она переродится через год в Марселе.

В марте 1763 г. в Милане приятель Казановы авантюрист Кроче (Лакруа) бросил на него юную м-ль П. П., которую он увез из Марселя. Казанова согласился вернуть ее родителям и, выдав за свою племянницу, по дороге в Генуе сыскал ей жениха. Он заручился поддержкой аванюриста Пассано, которого решил превратить в Кверилинта. Там же в Генуе Казанова встретил своего младшего брата Гаэтано Альвнзо, священника, и отнял у него его любовницу Марколину.

Существуют два авторских варианта III главы 9-го тома; в издании Брокгауза приводится более полный.

С. 481...аппетитом, с каким она ела. — Три главные вещи в жизни Казановы, отчасти взаимозаменяемые, — любовь, еда и беседа.

С. 484...Оромазисов очистительный обряд... — Оромазис, точнее Ормезий, легендарный египетский жрец (XII в.), который соединил таинства своей веры с христианской, один из отцов учения розенкрейцеров. Его имя принял прусский король Фридрих-Вильгельм II, вступив в орден.

С. 485...длинное письмо... — Письма Пассано к г-же д'Юрфе найдены и опубликованы. Генуэзец, разоблачавший Казанову, впоследствии сумел занять его место при маркизе. В 1768 г. в Барселоне он из мести добился ареста Казановы.

С. 488...семьдесят стукнет. — Маркизе было на 12 лет меньше.

С. 497...повезла нас к г. Н. Н. — Описка Казановы — к П. П.

С. 501. Я покидаю Марсель. — По дороге из Марселя в Авиньон сломалась карета. Казанову и Марколину приютила хозяйка соседнего дома, вдова-графиня. На другой день, уже в Авиньоне, Марколина, которая провела ночь с незнакомкой, передала Казанове от нее записку, где было только одно слово — подпись «Генриетта».

1764–1765. Германия. Россия. Польша

В Англии в жизни Казановы наступил перелом. В Лондон он явился богачом, со множеством рекомендательных и заемных писем, был представлен королю, зажил на широкую ногу. Но Тереза Имер, которой он привез сына, приняла его неласково, куртизанка Шарпийон, расчетливо завлекая и отказывая ему в ласках, нанесла сокрушительный удар его мужскому самолюбию, едва не довела до сумасшествия и самоубийства, отправила его в тюрьму. В конце концов многочисленные любовницы разорили Казанову подчистую, он распродал драгоценности, часы, табакерки. Ливонский авантюрист Генау, именовавший себя бароном, подsunул венецианцу подложный вексель на 520 фунтов, а его спутница наградила нашего героя «паховой чумой» (четвертой венерической болезнью Никола Фавра). Не имея возможности расплатиться и опасаясь виселицы, Казанова в марте 1764 г. бежал из Англии.

С. 502...причинив г. Лейгу значительный ущерб — т. е. банкиру Ли, который учел вексель Генау. Негр — слуга Казановы.

Датури — побочный сын Казановы, которого он в Лондоне вытащил из долговой тюрьмы.

С. 504...добавит своих. — Израсходовав 200 тысяч флоринов, Сен-Жермен так и не сделал красителей и в августе 1763 г., за восемь месяцев до приезда Казановы, покинул Турне.

...универсального эликсира. — О смерти маркизы Казанова якобы узнал еще в Лондоне в августе 1763 г., но на самом деле г-жа д'Юрфе прожила еще 12 лет.

С. 508. Габриель — лондонская любовница Казановы.

С. 509...и тоже бумажных... — В Лондоне Казанове сделали замечание, что в Англии считается неприличным уплачивать проигрыш золотом.

С. 511...дамам из Золотурна. — Встретив в трактире баронессу Ролл (см. примеч. к с. 463), Казанова проник к ней в номер в одежде полового.

С. 512. Анна — приемная дочь Николини, Анна ван Оплоо (ум. 1788), была фавориткой герцога Карла I до 1771 г.

С. 513...дочь владетельного герцога. — В 1765 г. будущий король Прусский Фридрих-Вильгельм II женился на своей кузине Елизавете-Кристине-Ульрике Брауншвейгской, а в 1760 г. развелся с ней.

...лондонских мещан. — В январе 1764 г. принц Карл-Вильгельм Брауншвейгский по случаю своего бракосочетания с принцессой Августой, сестрой английского короля Георга III, получил английское гражданство и был принят в корпорацию лондонских ювелиров.

С. 515...третья библиотека Европы. — Библиотека герцога Августа, основана в 1568 г., ее библиотекарями были Г. Лейбниц (1690–1716), Г. Лессинг (1770–1783). В XVIII в. она насчитывала 10 тысяч книг и 5 тысяч рукописей.

С. 516...великому Попу. — Александр Поп перевел «Илиаду» на английский в 1712–1718 гг.

...мой перевод «Илиады»... — Он не был окончен Казановой, три тома вышли в 1775–1779 гг.

С. 519. Директория — правительство Французской республики (1795–1799).

Экю — Казанова так называет серебряные талеры.

С. 524. Бириби — азартная, часто запрещенная игра на основе лото, прообраз рулетки. В Генуе

в 1762 г. Казанова сорвал в нее банк.

С. 525...королем Яковом. — Странники претендента на английский престол Якова III брата Джорджа и Джеймса Кит (в России их фамилию писали на немецкий манер Кейт) в 1716 г. были вынуждены покинуть родную Шотландию, служить на чужбине. Только в 1764 г. Джорджу Кейту были возвращены фамильные имения и титулы, но он вернулся к своему другу, королю Прусскому Фридриху II.

Сан-Суси — королевский дворец в Потсдаме.

С. 526. Федерик — король писал по-французски и, подписываясь «Фредерик», в частных посланиях обычно первую букву «р» опускал, С. 531. Дзанетта — венецианский вариант имени Джованетта, уменьшительного от Джованна.

С. 533...возвели на трон Екатерину Великую... — В июне 1762 г. Петр III был принужден отречься от престола и в скором времени убит.

С. 534...покорил Никомеда. — «Отправленный им в Вифнию, чтобы привести флот, надолго задержался он у Никомеда. Тогда и пошел слух, что царь растлил его чистоту». — Гай Транквилл Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Юлий, 2. Пер. М. Л. Гаспарова.

С. 535...сочинение напечатали... — «История Семилетней войны», опубликована в «Посмертных сочинениях» Фридриха II (1788). Пожар случился 1 октября 1763 г.

С. 536...столь вздорное предложение... — В наставники для пятнадцати самых одаренных юношей, специально отобранных, Фридрих II приглашал известных ученых, и ничего унижительного в его предложении не было.

С. 539. Митава — ныне Елгава. Столица герцогства Курляндского (1562–1795). Казанова приехал туда 30 сентября 1764 г.

Мемель — ныне Клайпеда.

С. 540...редкостной ее красотой. — При всей достоверности мемуаров Казановы это во многом «игровой» текст, пронизанный «культурологическими» цитатами и метафорами. Как уже говорилось выше, многие эпизоды подсказаны произведениями литературы, театра, живописи. Думается, что здесь Казанова вспомнил о картине Жана Этьена Лiotара «Шоколадница» (1745), хранящейся в Дрезденской картинной галерее.

С. 541. «Любезный победитель» — галантный танец, созданный придворным танцмейстером Людовика XIV еще в XVII в.

С. 546. Коммерц-коллегия — была учреждена Петром I в 1719 г. для покровительства торговли.

С. 547...увидел великую государыню. — Екатерина II приехала в Ригу 9 июля 1764 г. (где и получила известия от Панина), за два с половиной месяца до прибытия Казановы.

С. 548. Иоанна Иоанновича. — Император Иоанн Антонович был убит 4 июля 1764 г. охранявшими его капитаном Власьевым и поручиком Чекиным.

Смельчак — Василий Яковлевич Мирочин, подпоручик Смоленского полка, казнен.

С. 549...кто его располосовал. — Сваневич, солдат лейб-гвардии.

С. 550. Верста — 1066,7 м.

...у г. Чернышева... — Трудно сказать, у кого из братьев, графов Чернышевых, обедал Казанова — будущего генерал-фельдмаршала Захара Григорьевича, сенаторов и дипломатов Петра и Ивана Григорьевича.

С. 553...императорского дворца. — Имеется в виду Зимний дворец.

С. 554...сделать не могу... — В России Казанова путешествовал под именем графа Фарусси (девичья фамилия его матери), но графу Вольпати он должен был назвать подлинное, которое после знаменитого побега стало всем в Венеции известно.

С. 556...потерял. — Казанова вновь обращается к Светонию: А когда однажды за обедом он вспомнил, что за целый день никому не сделал хорошего, то произнес свои знаменитые слова, памятные и достохвальные: «Друзья, я потерял день!» (Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Тит, 8. Пер. М. Л. Гаспарова.)

...не должно распространяться. — В 1759 г. итальянского брильянтика Бернарди, замешанного в интригах Екатерины, великой княгини, мечтавшей о самовластном правлении, арестовали вместе с канцлером А. П. Бестужевым, И. П. Елагиним, В. К. Адагуровым и сослали в Казань, где он и умер.

«Бернарди был итальянский торговец золотыми вещами, который был неглуп и которому его ремесло давало доступ во все дома... Так как он постоянно бывал везде, то все друг для друга давали ему какие-нибудь поручения; словечко в записке, посланное через Бернарди, достигало скорее и вернее, нежели через прислугу. Таким образом, арест Бернарди интриговал целый город, потому что он ото всех имел поручения, от меня так же, как и от других» (Собственноручные записки императрицы Екатерины II).

С. 557...прокурор Синода. — Святейший синод, высшее соборное правительство русской церкви, учрежденный Петром I в 1721 г., заменил патриаршую власть и поместные соборы. Он подчинялся только царю, но для осуществления государственного надзора при нем состоял

обер-прокурор.

Сын славного Лефорта. — Знакомый Казановы был не сыном, а внучатым племянником Франца Якова Лефорта, сподвижника Петра I.

С. 558...кабинет-министр Алсуфьев... — Напомним, что Казанова записывал фамилии на слух. Вместо Броун он пишет Браун, вместо Олсуфьев — Алсуфьев, вместо Елагин — Гелагин, вместо Дашкова — д'Ашкова, вместо Демидов — Димидов.

Олсуфьев, так же как Елагин и Теплов, в те годы состоял при собственном Ее Величества делах кабинете.

...в Упсале. — В Упсальском университете (основан в 1476 г.).

С. 560...на петербургском театре... — При восшествии на престол Екатерины II в Петербурге были три придворные труппы: итальянская оперная, балетная, русская драматическая — и одна вольная, немецкая. В 1762 г. была образована французская драматическая труппа с содержанием в 50 тысяч рублей (вдвое больше русской). Кроме того, при дворе в Эрмитажном театре играли любительские труппы из лиц высшего общества.

Ридотто — венецианский игорный дом (1638–1774).

...изъясняю игру слов... — «Про те» по-латыни значит «для тебя», «про ме» — «для меня».

С. 562...стал звать Заирой... — В честь героини одноименной трагедии Вольтера (1732), христианки, любимой рабыни султана.

С. 565. Красный кабак — Красный кабачок, трактир в 10 верстах от Петербурга по дороге в Петергоф. Екатерина II провела там ночь с 28 на 29 июня 1762 г., когда заставили отречься Петра III.

С. 568. Карусель — «воинская конная игра, представление в подражание рыцарским турнирам» (В. И. Даль). Карусель была намечена на 25 мая 1765 г., но состоялась только 16 июня 1766 г.

С. 569...по мне одна докука. — Тема времени, часов — сквозная в рассказе Казановы о России. Не случайно он определяет свой въезд в Петербург с точностью до минуты — умелый астролог, он знал толк в гороскопах, рассчитывал свою жизнь по «планетарным часам». У венецианца, привыкшего исчислять время от захода солнца, существовали свои «биологические» часы. Попав в крайнюю северную точку своих странствий, южанин чувствует себя неестественно: для него равно бессмысленны и слишком короткие зимние дни и летние «белые ночи». Казанова оказался в чуждом ему мире — и потому столь точны его отстраненные наблюдения. Итоговая беседа с Екатериной II о календаре, хронологии звучит как безнадежная попытка подчинить нормам европейской жизни страну, где он тщетно пытался найти пристанище.

С. 570...нарочно построенными руинами. — Европейские архитекторы XVIII в., воплощавшие идеи сентиментализма, предромантизма, нередко возводили искусственные руины для создания в парках меланхолической атмосферы. Но Казанова пронизательно отметил главный принцип российского градостроительства, столь пышно расцветший в наши дни, — сделать наспех, чтоб потом переделывать, заново мостить улицу через полгода!

С. 571...предпочитать Растрелли... — Архитектор русского барокко Бартоломео Растрелли ушел в 1764 г. в отставку, не желая подчиняться И. И. Бецкому, тогдашнему директору канцелярии от строений.

С. 572...о природе правления. — Табель о рангах (1722) устанавливал соотношение между придворными, гражданскими и военными чинами. Капитан — 8-й класс, подполковник — 7-й, полковник — 6-й, генерал-майор — 4-й.

«Прото-папа» епископ — Прото-папа — один из высших чинов константинопольской церкви в средние века, эдик алтаря. В России протопоп протоиерей, настоятель собора. С 1762 г. епископом Петербургским был Гавриил (Григорий Федорович Кременецкий, ум. 1783).

С. 573. «Олимпиада» — лирическая драма Метастазियो (1732); послужила основой для многих опер. Здесь, вероятно, имеется в виду опера Винченцо Манфредини (1762).

Четыре города — Кремль (Государев город), Китай-город, Белый город, Земляной город.

С. 574...славный Колокол... — Царь-колокол.

...обходится в рубль. — Видимо, речь идет о сбитне (горячем напитке из подожженного меда с пряностями) и квасе.

Иллирийский — здесь в значении «славянский».

С. 578. «Философия истории» — книга была опубликована анонимно в 1763 г.

...всего одну книгу. — Ранее Казанова утверждал, что это пословица, в найденных в Дуксе заметках говорится, что это слова Брагадина. Для мемуаров Казановы вообще характерны повторы, использование нескольких опорных изречений (как, например, «следуй Богу»).

...небольшое сочинение... — «Дианология, или Философическая картина познания», написана на французском, опубликована в Дрездене в 1790 г. Белосельский был ярким вольтерьянцем.

С. 579...задали смотр инфантерии... — 28 июня 1765 г.

С. 580...под Минденом. — 1 августа 1759 г. английская, ганноверская и брауншвейгская армии разбили французскую. Накануне сражения Тот покинул военный лагерь.

...свел знакомство в Париже... — Ее муж С. В. Салтыков был русским послом во Франции

(1762–1763).

...из-за польской смуты началась война с Турцией. — Польские конфедераты во главе с епископом Краковским Каэтаном Игнацием Солтыком сопротивлялись засилью русских, посадивших на престол Станислава Понятовского. Их восстание в 1768 г. было подавлено, русские войска преследовали бежавших поляков на территории Турции, из-за чего та объявила России войну (1768–1774).

С. 581...дорогую мою тетю... — Елизавету Петровну, тетю Петра III.

С. 583. Григорианский календарь. — В старости Казанова продолжил свой спор с императрицей, написав «Прошение депутата Республики словесности, поданное на высочайший суд императрицы всея Руси Екатерины II, о приведении российского календаря в соответствие с европейским». Возможно, Казанова завел разговор о календаре, узнав в Берлине, что именно так Ицилиус вошел в милость к Фридриху II.

С. 584...такovým не будет. — Даже частичной реформы календаря не было, и когда в 1918 г. Россия переходила с юлианского на григорианский календарь (в католических странах его ввели в 1582 г., в протестантской Англии — в 1751 г.), разница составила уже 13 дней. В соответствии с реформой последний год столетия остается високосным, только если два первых его числа делятся на 4 (как, например, 2000, но не 1700, 1800).

Эпакта — число дней от последнего новолуния до 1 января каждого года, показывающего, сколько надо прибавить к лунному году, чтобы он был равен солнечному.

Никейский Собор — в 325 г. постановил, что христиане должны праздновать Пасху в воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия.

С. 588. М. В. — «More Veneto» (лат.) - по венецианскому обычаю. Сам Казанова в мемуарах нередко путает даты, приводя их то по венецианскому, то по европейскому календарю.

Грамматическая ошибка. — На книге, которую держит крылатый лев, надпись: «Pax tibi Marce Evangelista Meus» — «Мир тебе Марку Евангелисту мой».

С. 589. «Любовные безумства» — комедия Ж. Ф. Реньяра (1704).

С. 601. Манускрипты Схоластов. — Схолиасты — авторы схолий, пояснительных заметок на полях античных и средневековых рукописей.

С. 602. «Улучу момент» — Казанова продолжает игру цитатами — в этой сатире говорится о том, как завоевать расположение именитого лица.

С. 603...жестокó опозорен. — В 1790 г. Адам Понинский перешел на сторону русских, был лишен прав и состояний и бежал в Петербург.

С. 607. «Диссиденты» — православные. Екатерина II требовала, чтобы они были уравнены в правах с католиками, из-за чего и произошла смута, приведшая в итоге к разделу Польши.

С. 611. Казанова. — Менять имена — обязанность искателя приключений: в Польше Казанова отказывается от титулов кавалера де Сейнгальта и графа Фарусси. Но дуэль сослужила ему дурную службу — она привлекла к нему всеобщее внимание, и с таким трудом созданная репутация рухнула.

С. 615. Великий коронный маршал — граф Францишек Белинский. Он ведал порядком во дворце короля и столице.

С. 621. Я уберег руку. — В рукописи вычеркнут абзац, где Казанова рассказывает, как князь Любомирский прислал ему врача-француза, установившего, что гангрены нет, и отговорившего хирургов делать операцию.

С. 625...Воевода киевский. — граф Францишек Потоцкий.

С. 626...чему он был впоследствии весьма рад. — В мае 1767 г. Казанова, как он позднее рассказывает, решил выудить у Карла Курляндского сотню цехинов и послал ему в Венецию рецепт изготовления философского камня. Через год в Париже принц попал в Бастилию из-за подложного векселя, письмо осталось в тюрьме, но во время революции архивы открыли и послание опубликовали (1789; потом рецепт перевели на немецкий и английский). Казанова был уязвлен обвинениями в шарлатанстве и даже в январе 1798 г., за полгода до смерти, продолжал оправдываться на страницах мемуаров.

С. 627. Леополь — Леополис, латинское название Львова.

...кастеланши Каменецкой — Катаржина Корсаковская, дочь графа Ф. Потоцкого, и ее муж Станислав, кастелан (комендант) города-крепости Каменец, принимали деятельное участие в антирусской Барской конфедерации шляхтичей (1768).

С. 628...отправить в Сибирь. — В октябре 1767 г. были арестованы епископы Краковский и Киевский, а также Венцеслав Ржевусский и его сын Северин, староста Долинский.

С. 629...Царства Польского не стало. — Первый раздел Польши, когда Австрия захватила Галицию, произошел в 1772 г., второй — в 1793 г., третий, после которого Польши не стало, — в 1795 г.

С. 633. Клары из Теплице — друзья старости Казановы.

С. 636...почитали меня за мошенницу. — А надо бы, ибо эта девица, Матон, была авантюристка и наградила Казанову в Дрездене гонореей.



1769–1770. Франция. Италия

Польша была для Казановы последним шансом, потом начались скитания. Его высылают из Австрии и Франции, сажают в тюрьму в Испании. Из Барселоны Казанова едет в Прованс.

С. 637...нового папу... — кардинала Ганганелли, папу Климента XIV (1769–1774).

С. 638... «в короткой сутане». — Иезуиты принимали в орден, на правах послушников, светских лиц.

С. 640...запретить ордена Иисуса... — См. примеч. к с. 280.

С. 641. «Полиевкт» — трагедия П. Корнея (1643).

...приемной дочери его... — внебрачной дочери д'Аржанса Мине, официально им удочеренной.

«Аргеной» — роман на латыни английского писателя Джона Барклея (1621).

С. 644. Божественный лик. — Паломница путает плащаницу (саван) и плат св. Вероники.

С. 646. Король Шведский — Густав III, племянник Фридриха II, предоставивший крестьянам и буржуа равные права с дворянами, был убит на балу 15 марта 1792 г.

...истории некоей части его жизни... — «Мемуары маркиза д'Аржанса» (1735). Собрание сочинений в 24 томах вышло в Берлине в 1768 г.

С. 651...направлялась в Константинополь... — Когда началась война с Турцией, Григорий и Алексей Орловы предложили послать флот в Константинополь, освободить град от «неверных», поднять бунт среди христиан. Эскадра под командованием Спиридова вышла из Кронштадта в июле 1769 г., из 15 кораблей до Ливорно добралось восемь. Осмотрев их, Алексей Орлов пришел в ужас от того, как плохо снаряжена экспедиция. Он поднял на восстание греков в Морее, но потерпел поражение. Соединившись с эскадрой адмирала Эльфинстона, Орлов разгромил турецкий флот, оказавшийся еще хуже русского, в Чесменской бухте (26 июня 1770 г.), но прорваться через Дарданеллы не смог.

С. 652. Английский консул — сэр Джон Дик, который помог А. Орлову похитить княжну Тараканову. Обязанности посланника тогда исполнял Роберт Ричи.

...опровержение Амело... — Казанова только что опубликовал книгу в Лугано.

Aventuros

Принц де Линь в своих записках («Мемуары» его были опубликованы в 1827–1829 гг.) много рассказывает о старости Казановы, свидетелем которой он был. Венецианца он считал образцовым авантюристом и потому к французскому слову прибавил греческое окончание.

С. 655...автора «Жиль Бласа» — А. Р. Лесажа.

1742 год — Шарль де Линь ошибается. Казанова родился на 17 лет раньше.

Очерк моей жизни

Казанова написал этот очерк для своей последней платонической любви, дочери графа Эрнста Роггендорфа Сесиль, что была моложе его на 50 лет.

С. 657...трехмесячное кровотечение... — Излечила Казанову знахарка.

С. 658. Апостолический протонотарий. — Один из 12 членов коллегии, секретариата папской канцелярии. Казанова был произведен в почетные «внешние» протонотарии, но звание это, как и папский орден, уважением почти не пользовалось.

...Аугсбургский конгресс. — Переговоры о заключении мира были приостановлены в марте 1761 г., а в сентябре прерваны окончательно.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 1

Август Октавиан Гай (63 до н. э. — 14 н. э.), первый римский император (27 до н. э.) 14, 602

Август III (1696–1763), король Польский (1733) и курфюрст Саксонский (1733, под именем Фридриха-Августа II) 146, 178–180, 599

Августин Аврелий (354–430), христианский богослов и мыслитель 381, 456–457

Авиценна, Абу Али Ибн-Сина (980–1037), арабский философ и врач 581

Агриппа фон Нетсгейм (или Нетсгеймский) Корнелиус Генрих (1486–1535), немецкий врач и кабалист 404

Адам Антуан (1705–после 1786), иезуит, духовник Вольтера (1764) 470

Аддисон Джозеф (1672–1719), английский журналист, писатель, политик 474

Аквавива д'Арагона Тройяно Франсиско (1696–1747), кардинал (1732), посол Испании и Неаполя в Риме (1737) 33, 58, 67, 657

Алессандри Маргарита, певица из Болоньи, выступала в венецианском театре Сан Анджело (1747–1748) 284, 286

Алкивиад (ок. 450–404 до н. э.), афинский политик и полководец 96

Алсуфьев — см. Олсуфьев

Альбергати-Капачелли Франческо (1728–1804), болонский сенатор, драматург 469

Альберт (Ламбер) Франц Ксаверий, слуга Казановы (1764–1765) 537–544, 551, 563

Альгаротти Бономо (р. ок. 1712), прусский граф (1740), старший брат Франческо Альгаротти, венецианский торговец и банкир

Альгаротти Франческо (1712–1764), итальянский ученый и литератор, автор книг

«Ньютоnianство для дам, или Диалоги о свете и цвете» (1735), «Письма о России» (1760) и др.: прусский граф (1740), камергер короля прусского (1747), почетный член Берлинской Академии наук (1747) 214, 459

Амелен м-ль (ок. 1715-после 1766), французская авантюристка и картежница, жена бригадира де Шалабра (1766) 389

Амильтон — см. Гамильтон

Амореволи Анджело (1716–1798), итальянский тенор, пел в Дрездене (1742) 180

Ангальт-Цербстская Иоанна-Елизавета, принцесса, урожденная Голштинская-Готторпская (1712–1760), мать Екатерины II 398

Анеси — см. Бетюн

Анна Иоанновна (1693–1740), русская императрица (1730), племянница Петра I 541, 620

Анчилла (ум. 1755), венецианская танцовщица и куртизанка; жена Винченцо Кампиони 93–94

Аранда Педро Абарака и Болеа, граф (1715–1798), испанский посол в Польше, глава испанского правительства (1766–1773), великий мастер испанского масонства (1780) 420

Ардоре Джакомо Франческо Франко Милане д'Арагона, князь д' (1699–1780), посол Королевства обеих Сицилий в Париже (1741–1753) 140

Ардоре Эррика, урожд. Карачьола, княгиня д' (1708- после 1766), жена Дж. Милано, князя д' Ардоре (1725) 140

Аретано (Аретино) Пьетро (1492–1556), итальянский драматург, поэт, богослов 187, 242

Аржанс Жан Батист де Буайе, маркиз д' (1704–1771), французский писатель, камергер при дворе Фридриха II, директор отделения изящной словесности Берлинской академии наук (1744–1769) 535, 637–641, 646

Аржансон Марк Пьер де Вуайе де Польми, граф д' (1696–1764), начальник французской полиции (1720–1741), военный министр (1742–1757), основатель Военного училища, член Академии, покровитель энциклопедистов; сослан в 1757 г. 127, 150, 440

Аржини (Арзиньи) Жозеф Шарль Люк Костен Камю, граф д' (1669–1769), французский кавалерийский полковник, родственник г-жи д'Юрфе 406–407

Ариосто Лудовико (1474–1533), великий итальянский поэт, драматург, автор поэмы «Неистовый Роланд» (1516–1532) 101, 242, 313, 332, 460–463, 602–603

Аркетти маркиз — либо Джованни Баттиста, либо его брат Джан Андреа (1731–1805), кардинал (1784) 31

Артефий, еврейский или арабский философ и алхимик XII в., автор «Трактата о философском камне» 405

Асквини (Асквин) Андреа, граф, адвокат в Ундине, узник Пьомби (1753–1762, бежал) 297–302, 324–328, 345

Асклепиад (ок. 100-ок. 30 до н. э.), древнегреческий врач 628

Аструа Джованна (ок. 1720–1758), итальянская певица, пела в Турине (1740, 1750), Берлине (1747–1756)

Аффлизио Джузеппе (ум. 1787), он же дон Миркати, он же дон Пепе младший, итальянский авантюрист, капитан-лейтенант австрийской армии (1754), директор венских театров (1767–1779), актер, шулер, фальшивомонетчик; умер в тюрьме 94, 596

Афри Луи Огюстен, граф д' (1710–1793), французский военачальник и дипломат, посол в Гааге (1756–1762) 413–417

Бавуа Луи де Соссюр барон де (1729–1772), швейцарский офицер, служил неаполитанскому королю (до 1748), Венецианской республике (1752) 447

Базадонна Лоренцо, тюремщик в Пьомби (1755), посажен в тюрьму после побега Казановы, приговорен к 10 годам заключения за убийство (1757) 248–329

Баллетти Антонио Стефано (1724–1789), старший сын Марио и Сильвии, актер, друг Казановы 93, 96, 99, 103, 112, 157–158, 161, 417, 508

Баллетти Джузеппе Антонио, сценическое имя Марио (1691–1762), актер Итальянской комедии (Париж) 99-100, 125, 417

Баллетти Луиджи Джузеппе (1730-до 1788), второй сын Марио и Сильвии, танцовщик в Итальянской комедии в Париже (1751), первый танцовщик и балетмейстер в Штутгарте (1757) 417, 418

Баллетти Мария, Магдалина, по прозвианию Манон (1740–1776), дочь Сильвии и Марио; невеста Казановы, жена Франсуа Жака Блонделя (1760) 349, 388–389, 394, 415, 416, 426, 437–439

Баллетти Роза Джованна, урожд. Беноцци, сценич. имя Сильвия (1701–1758), жена Джузеппе Антонио Баллетти (1720), ведущая актриса Итальянской комедии в Париже 99-103, 108, 112, 125, 129, 167, 348, 357–359, 394, 398, 416

Бальби Марино (1719–1783), венецианский дворянин, монах ордена сомасков 297–305, 309–312, 317, 321–342

Бальзамо Джузеппе, он же граф Алессандро Калиостро (1745–1795), знаменитый итальянский

авантюрист, арестован за масонскую деятельность (1789) 644–647

Бальзамо Лоренца (Серафима), урожд. Феличиани (ок. 1750–1794), жена Дж. Бальзамо (1768), масонка, выдала мужа инквизиции 644–647

Барбарина — см. Кампанини

Баре, урожд. Жильбер (ум. 1765), жена французского галантерейщика Баре (1759), актриса в Петербурге под именем Ланглад (1764–1765); любовница Казановы 427–435, 554, 555

Бастиани Николо, аббат (ум. 1787), венецианец, каноник в Бреславле 634–636

Бегелин (Бегелен) Доменико Лодовико (ок. 1696 — после 1775), мантуанец, капитан венецианской армии 292

Беквич Джон (ум. 1787), английский бригадный генерал на австрийской службе 507–511

Белинский Францишек, граф (1683–1766), польский государственный деятель и писатель, великий коронный маршал (1742) 621, 625–626

Белосельский-Белозерский Александр Михайлович, князь (1757–1809), русский посланник в Дрездене (1779), Турине (1792–1793), член Российской академии (1800), почетный член Академии наук и Академии художеств (1809) 578

Беркенроде Маттеус Лестевенон ван (1715–1797), посол Голландии в Париже (1750–1792) 413

Бенедикт XIV (Ламбертини Просперо; 1675–1740), папа римский (1740) 364, 365

Бернарди Пьетро, сын английского ювелира, обосновавшегося в России 554, 556

Бернис (или Берни) Франсуа Жоашен Пьер де (1715–1794), французский государственный деятель, дипломат, поэт; аббат (1727), член Французской академии (1749), посол в Турине (1752), Венеции (1752–1755), государственный секретарь по иностранным делам (1757–1758), кардинал (1758), архиепископ Альбийский (1769), посланник в Риме (1769–1791) 211–213, 349–351, 355, 357, 420–422

Беррье (Берье) Никола Рене де Ренувиль (1703–1762), начальник парижской полиции (1747–1757), затем морской министр, хранитель печати 375

Бертинацци Карло Антонио, сценич. имя Карлин (1710–1783), итальянский актер; друг д'Аламбера и папы Климента XIV 119

Берше Давид де Соссюр, барон де Бавуа де (1700–1767), швейцарец, служил во французской армии; начальник милиции Берна; дядя Луи де Бавуа 447

Бетюн Франсуа Жозеф де, маркиз, затем герцог д'Ансени (Анеси) (1719–1739), капитан гвардейцев или его отец, Бетюн Поль Франсуа маркиз д'Ансени герцог де Шаро (1685?-1759) 113

Бецкий Иван Иванович (1703–1795), внебрачный сын фельдмаршала князя И. Ю. Трубецкого, директор Канцелярии от строений (1761), чтец Екатерины II, президент Академии художеств (1763–1791), попечитель воспитательных заведений 571, 582

Бикер Хенрик (1722–1783), голландский финансист, глава банкирского дома «Андриес Пеле и сыновья» 405

Бинетти (или Бине) Анна, урожд. Рамон (ум. после 1784), итальянская танцовщица, выступала на сценах всей Европы, с 1780- балетмейстер в Венеции; жена танцовщика и балетмейстера Жоржа Бине (1751) 604–609, 625, 632

Бисинский (или Бышевский), польский подполковник уланов 608, 609, 616, 618, 622

Броун (Браун) Юрий Юрьевич, имперский граф (1698–1792), генерал-аншеф, рижский генерал-губернатор (1762); сын ирландского эмигранта 550–551

Бирон Бенигна Готлиба, герцогиня Курляндская, урожд. баронесса фон Тротта Трейден (1703–1782), фрейлина Анны Иоанновны, жена Э. И. Бирона (1737) 518, 541–543

Бирон Карл (1728–1801), младший сын Э. И. Бирона, генерал-майор русской службы, командир пехотного полка (1762), принц Курляндский 543, 544, 550, 563–564, 568–569, 575–577, 595, 603, 626

Бирон Эрнест Иоганн (1690–1772), герцог Курляндский (1737–1740, 1763–1769), фаворит императрицы Анны Иоанновны, был сослан в Сибирь (1740–1762) 518, 541

Бланш Анна Петронила Тереза, урожд. де Каусса (1714?-1763), жена голландского барона Иоханна Бланша; международная авантюристка 357

Бло графиня де, жена де Шовиньи, капитана гвардейцев герцога Орлеанского 401

Боас Товий, голландский банкир 413

Боден Пьер, французский танцовщик, выступавший в Италии и Австрии 91

Бокаж — см. Фике дю Бокаж

Боккаччо Джованни (1313–1375), великий итальянский писатель, автор «Декамерона» (1352)

104

Бонафедо Джузеппе, граф (1682–1762), австрийский офицер, венецианский шпион; отец Пьетро и Лоренцы 236–237

Бонафедо Лоренца Мадалена, графиня (ок. 1727-после 1762) 235–237

Бонафедо Пьетро Джузеппе, граф (ум. 1788), офицер испанской армии 237

Бонваль Клод Александр, граф де (1675–1747), он же Ахмет паша (Осман-паша), французский военачальник, служивший Австрии, Венеции, Турции 32–37, 40, 47, 51, 53, 57, 58

Боно Жозеф (ум. 1780), лионский банкир, торговец шелком 483, 486–487

Боргезе Джованни Баттиста, князь (р. 1733), римский вельможа 139

Боргезе Маркантонио (Маркантуан) Николо, князь (1730–1800), римский вельможа, сенатор (1798) 139

Ботарелли Джованни, итальянский писатель, авантюрист, автор книги «Разоблаченный орден франкмасонов» (1745) 96

Боэций Аниций Манлий Северин (ок. 480–542, казнен по обвинению в измене), римский писатель, философ-неоплатоник; написал в тюрьме перед смертью трактат «Утешение философией» 255, 259–260

Брагадин де Маттео Джованни (1689–1767), венецианский сенатор, покровитель и приемный отец Казановы 35, 301, 205, 223, 227, 232, 234, 239–240, 269, 295, 298, 311, 347, 505, 537

Браницкая Изабелла, графиня, урожд. Понятовская (р. 1730), сестра короля польского, жена графа Яна Клеменса Браницкого (1748) 632

Браницкий (или Брагнецкий, Бранецкий Корчак) Францишек Ксаверий, с 1765 г. граф (ум. 1819), польский посол в Берлине (1765), коронный подстолий, великий коронный гетман (1771–1793), сторонник русской партии; муж баронессы Александры Васильевны Энгельгарт 605, 627, 632, 658

Браницкий Ян Клеменс, граф (1688 или 1689–1771), краковский каштелян, великий коронный гетман 632

Браун — см. Броун

Брауншвейгская герцогиня — см. Филиппика Шарлотта

Брауншвейгский (Бруншвейгский) герцог — см. Карл I

Брауншвейгский принц — см. Карл-Вильгельм

Брегонци (или Бригонци) Катерина, итальянская певица, выступала в Венеции (1741), Петербурге (1750) 539, 559

Брионн Луиза Жюли, урожд. де Роган-Монтобан (1734–1815), жена Шарля Луи Лотарингского, графа де Брионна (1748) 127

Брюль Алоис Фридрих, граф фон (1739–1793), сын графа Генриха фон Брюля, первый министр Августа III, командующий польской кавалерией (до 1763), губернатор Варшавы (до 1785), автор пьес; муж Марии Анны Потоцкой (1743–1778) 599, 625, 628

Брюль Генрих, граф фон (1700–1763) фаворит королей польских Августа II и Августа III, министр финансов, военный министр иностранных дел, первый министр (1746) 179–180

Брюс Прасковья Александровна, графиня, урожд. графиня Румянцева (1729–1786), статс-дама, жена Я. А. Брюса 579, 580

Брюс Яков Александрович, граф (1729–1791), генерал-аншеф (1773), сенатор, член Государственного совета (1787) 561

Бургаве — см. Бургаве

Будберг Вольдемар Дитрих, барон (1740–1784), муж баронессы фон Берг 546

Бузинелло Пьетро, посланник Венеции в Лондоне (1748–1751), секретарь Совета Десяти 260, 285

Булонь Жан-Никола, граф де Ножан де (1690–1769), французский интендант финансов (1744), генерал-контролер (1757–1759) 350, 355, 357, 359, 365, 413–415, 417, 420–422

Бурanelло — см. Галуппи

Бургаве (Бургав) Герман (1668–1738), голландский врач, ботаник и химик, профессор Лейденского университета (1709) 445, 465, 599, 628

Бургиньон (наст. имя Жак Куртуа) (1621–1676), французский художник-баталист 176

Бургундский Луи-Жозеф-Ксавье, герцог (1751–1761), сын французского дофина (1729–1765) 93

Буфлер-Руверель Мария-Шарлотта де, урожд. Кампе де Санжон, камеристка герцогини Орлеанской 401

Бэкон Роджер (1224–1294), английский монах, философ, естествоиспытатель, астролог и алхимик 403

Валентинуа Мари Кристин, урожд. де Рувруа де Сен-Симон де Рюффе (1728–1774), супруга Шарля де Гримальди, герцогиня де Валентинуа (1749) 166

Вальдштейн Иозеф Карл Иммануил, граф (1755–1814), конюший короля Богемии, владелец замка Дукс (Духцов), покровитель Казановы 647, 659

Вальдштейн Элеонора, графиня (1717–ок. 1800), жена князя Мнхала Фредерика Чарторыского 630

Везиан Антонио Франческо Солери де (ок. 1733–после 1785), брат Камиллы Везиан; итальянец, служил в Париже по откупам 147–148, 150, 153–154, 156, 158, 162

Везиан Антуанетта Камилла Луиза Солери де (ок. 1737–1804), актриса Итальянской комедии и оперы в Париже 147–162

Венье Франческо (р. 1700), венецианский патриций, дипломат, посланник в Риме (1740–1743), константинопольский балио (1745–1749) 30, 31, 34, 37, 53

Вергилий Марон Публий (70–19 до н. э.), римский поэт 313

Веронезе Анна Мария, впоследствии маркиза де Силли, сценич. имя Коралина (1730–1782), дочь К. Веронезе, актриса 120–123, 135, 170, 412

Веронезе Джакома Антония, сценич. имя Камилла (1735–1768), дочь К. Веронезе, актриса; Казанова написал в 1757 г. в ее честь стихи, опубликованные в журнале «Меркюр» 120, 135, 170–172, 395–397, 400

Веронезе Карло, сценич. имя Панталоне (1702–1762), актер Итальянской комедии в Париже (1744), литератор и ростовщик 120

Виарм Жан Батист Элия Камю де (1702 — после 1764), парижский купеческий старшина (с 1758–1764); брат г-жи д'Юрфе 410

Виарм Никола Элия Пьер Камю де Понкарре де, советник руанского парламента (1752), сын Жана Виарма 407, 410

Виктор-Амадей III (1726–1796), герцог Савойский, король Сардинии (1773) 88

Виллар Оноре Арман, герцог де (1702–1770), сын маршала, литератор, друг Вольтера 465, 651

Виллар Шандье Шарль Бартелеми де (1735–1773), французский офицер, бригадир швейцарских гвардейцев 456

Вильнев Арно де, он же Арнольдо Баконе (ок. 1238-ок. 1313), провансальский врач, естествоиспытатель, алхимик 403

Виртенбергский принц — см. Людвиг (Людовик) Евгений

Во Луи Базиль де Бернаж де, французский государственный советник, купеческий старшина (1743–1758) 357

Воейков Федор Матвеевич (1703–1776), русский дипломат, посол в Митаве (1744–1745), Варшаве (1759–1762); командир Лифляндского полка, киевский генерал-губернатор 539, 546, 570

Вольтер (настоящее имя Мари Франсуа Аруэ) (1694–1778), великий французский просветитель, писатель и философ 111, 114, 115, 146, 376, 406, 416, 444, 445, 448, 456–472, 519, 578, 658

Вольф Иоганн Кристиан (1674–1754), математик и философ, ученик Лейбница 296

Вореаль (Монреаль), граф де (1761–1785), внебрачный сын графа де Ла Марша, французский офицер 125

Вуазенон Клод Анри де Фюзе, аббат де (1708–1775), писатель, член Французской академии (1762), любовник и соавтор актрисы Фавар 115, 145–146, 389, 423

Вуд Чарльз, ямайский пробирщик, открыватель платины 404

Габир (или Гебер) ибн Хайям, арабский врач и химик VIII в., отец алхимии 403

Галлер Альбрехт фон (1708–1777), великий швейцарский естествоиспытатель, врач, писатель, государственный деятель 443–446, 475

Галлер София Амалия, урожд. Тейхмейер, жена А. Галлера (1741) 444

Галуппи Бальдассаре, сценич. имя Буранелло (1703–1785), итальянский композитор, музыкант, регент Петербургской певческой капеллы (1745–1748), дирижер Петербургского придворного оркестра (1765–1768) 558, 573, 595

Гамаш Шарль Жоашен граф де Кайе, маркиз де (1729–1773), генерал-майор 395

Гамбара (Гамбера) Аннибале граф (1712-после 1778), венецианский патриций, сенатор 31

Гамильтон (Амильтон) Уильям (1730–1803), английский археолог и коллекционер, посол в Неаполе (1767–1800) 96

Ганганелли — см. Климент XIV

Ганнибал (ок. 247–183 до н. э.), карфагенский полководец 281

Гарнье Жан, служитель графа д'Аржансона, военный поставщик, дворецкий французской королевы (1749) 436, 438–441

Гафарелло — см. Мажорано Гаэтано

Гебер — см. Габир

Гелагин — см. Елагин

Гельвеций Анна Катерина, урожд. де Линьвиль-д'Отрикур, (1719–1800), жена Гельвеция (1751) 442

Гельвеций (Эльвеций) Клод Адриан (1715–1771), французский философ, генеральный откупщик; автор трактата «Об уме» (1758) 441–442

Генриетта, возлюбленная Казановы (настоящее имя неизвестно) 91, 456, 649–650

Генрих IV (1553–1610), король Наварры, Франции (1589) 107

Гераклит (ок. 530–470 до н. э.) древнегреческий философ 581

Гигнотти (Джигиотти) Гаэтано, аббат (ум. после 1790), статс-секретарь польского короля, депутат Сейма; масон 601

Гиппократ (Гарпократ) (460–377 до н. э.), великий врач и естествоиспытатель Древней Греции 352

Гоббс Томас (1588–1679), английский философ 474

Голштейн — см. Оштейн

Гольдони Карло (1707–1793), итальянский драматург; с 1761 г. жил и работал в Париже 468–470

Гомер, мифический древнегреческий поэт, автор «Илиады» и «Одиссеи» 164, 180, 465, 470

Гонзаго Леопольде, князь Сольферино, маркиз ди Кастильоне (ум. 1760) 496

Гонзаго-Кастильоне делле Стивьере Луиджи, маркиз де Медоле и Сольферино, князь (1745–1819), сын Леопольдо Гонзаго 496

Гонзаго-Сольферино Элизабета, урожд. Рангони (ум. 1832), жена князя Гонзаго, дочь итальянского торгового консула в Марселе; писательница 495–496

Гораций Флакк Квинт (65-8 до н. э.), римский поэт 242, 443, 459, 462, 473, 601–602, 655

Госсен Жанна Катерина (1711–1767), французская актриса 118

Гоцци Антонио Мария, аббат (1709–1783), наставник Казановы 530, 533

Гоше (Госсен) Луиза, сценич. имя Лолотта (ум. 1765), французская актриса, жена графа д'Эрувиль (1757) 140–141

Граммон Антуан Антонен, герцог де (1722–1799), губернатор Беарна 419

Гранваль Мария Женевьева, урожд. Дюпре (1711–1783), актриса Французской комедии (1734–1760) 118

Гранваль Франсуа Шарль Рако де (1710–1784), актер Французской комедии (1729–1768), литератор 118

Граффиньи (Графиньи) Франсуаза д'Иссанбур д'Аппонкур (1695–1758), французская писательница, автор романа «Португальские письма» (1747), драм «Сения» (1750) и «Дочь Аристида» (1758) 111, 146, 423

Грекур Жан Батист Жозеф Вилар де (1683–1743), французский галантный поэт 467

Григорий XIII (Уго Буонкомпаньи; 1502–1585), папа римский (1572) 587

Гримами Альвизо, аббат (р. 1702) наставник Казановы 125, 310

Гримперель Мишель Мартен, комиссар парижской полиции (с 1730 по 1774), 143–144

Гуаданьи Джузеппе, венецианский певец, или Гуаданьи Гаэтано, итальянский певец, кастрат 125

Гуаско Октавиан де, граф де Ксавьер (1712–1780), пьемонтец, каноник Тура, член Академии надписей 131

Густав 1 Ваза (1469–1560), шведский король (1523) 602

Густав III (1746–1792), шведский король (1771) 646

Д-Аламбер Жан Лерон (1717–1783), французский философ-просветитель, математик 146–147, 359, 440

Да Лецце Андреа (1710–1780), венецианский сенатор, посол в Париже (1739–1742), Риме (1743–1747), балио в Константинополе (1748–1751) 58

Даль Ольо (Да Лольо) Джузеппе (ум. ок. 1796), итальянский виолончелист, играл в Петербургской императорской капелле (1735–1765); дипломат 533–534, 540, 556, 559

Дамьен Робер Франсуа (1715–1757), солдат, затем слуга, совершивший покушение на Людовика XV 352, 373, 376–377, 379

Данжевиль, наст. имя Мария Анна Бото (1714–1796), актриса Французской комедии (1730–1763) 118

Данте Алигьери (1265–1321), великий итальянский поэт 465

Да Рива Джакомо (1712–1790), командующий галеасами (1742), генерал-проведитор Далмации (1770–1773). 59–65, 67, 69–72, 81–85

Даррагон (Драгон, Дарагон, д'Арагон), итальянский авантюрист, полковник русской армии, камергер 548–550, 596, 651

Датури (возможно, Джакомо Тантини детто Датур), крестник и внебрачный сын Казановы, циркач 502, 505–508, 512, 516

Дашков Михаил Иванович, князь (1736–1764) 559

Дашкова (д'Ашкова) Екатерина Романовна, княгиня, урожд. графиня Воронцова (1743 или 1744–1810), жена князя М. И. Дашкова (1758), статс-дама, директор Академии наук и президент Российской академии (1783–1794), автор «Записок» (1805–1806) 559

Деламот (Ла Мот) Валлан Жан Батист (1729–1800), французский архитектор, работал в России (1759) 571

Делаэ — см. Лаэ де

Дельдимопуло, поп на Корфу 74–79, 82

Дель Сарто Андреа (1486–1531), итальянский живописец 538

Демидов (Димидов) — либо Никита Акинфиевич (1724–1789), меценат, переписывавшийся с Вольтером, либо, вероятнее, его брат Прокофий Акинфиевич (1710–1786) 573, 575

Демокрит (470–380 до н. э.), древнегреческий философ 581

Дени Джованна, урожд. Коррини, сценич. имя Панталончина (ок. 1728-после 1797), итальянская танцовщица, жена балетмейстера Ж.-Б. Дени (1748) 530–535, 539

Дени Мария Луиза, урожд. Миньо (1712–1790), племянница Вольтера 461–463, 468, 475

Де-Пон (или Цвейбрюкен) Кристиан IV (1722–1755), герцог де (1749), баварец, меценат, друг Людовика XV 419

Дефорж (де Форж) Жак, аббат де, каноник этампский; один из первых воздухоплавателей, отстаивал необходимость брака для священнослужителей 381, 388–389

Джигиотти — см. Гигиотти

Дзанки Антонио, секретарь венецианского посольства в Париже (1750) 131

Дзануцци Сантина (ум. после 1775), итальянская танцовщица, жена П. Обри; выступала в Вене (1756–1759), Венеции (1761), Милане (1765), Петербурге (1769? — после 1775) 533

Дзенобио Карло, граф (1720-после 1775), венецианский патриций 31

Димидов — см. Демидов

Д. О. - см. Хоппе Томас

Дольфин Даниэле Андреа (1689-ок. 1767), генерал-проведитор Венецианской республики (1744–1746) 30, 31, 59, 67–70, 73, 81–83, 85–86

Дольфин Джованни Антонио (1710–1753), венецианский аристократ, с 1744 г. советник на острове Занте (Закинф) 28, 29, 59

Дона Джованни (р. 1690), венецианский балио в Константинополе (1742–1745) 32, 34, 37, 40, 47, 50, 58

Д. Р. - см. Да Рива Джакомо

Драгон — см. Даррагон

Драммон-Мельфор Эндрю, граф (1722–1788), шотландец, министр Иакова III, генерал-лейтенант французской армии, любовник герцогини Шартрской 120, 170–174, 401

Дьедо Андреа (род. 1691), Государственный инквизитор Венеции (1754–1755), сенатор (1761) 263, 297

Дьедо Марк Антонио (р. 1650), венецианец, друг Бонвалля 34

Дюбуа (ок. 1734), любовница Казановы; жена Лебеля (1760) 446–447, 451–455

Дю Верне — см. Пари Дюверне

Дюмениль, наст. имя Мария Франсуаза Маршан (1713–1783), актриса Французской комедии (1737–1776) 118

Дюпре Луи (1697–1751), французский танцовщик 116–117

Евгений Савойский-Кариньян, принц (1663–1736), полководец, государственный деятель, француз, с 1683 г. на австрийской службе 34

Евсевий (270–338), епископ Кесарийский, автор «Церковной истории» 282

Екатерина II урожд. София-Августа, принцесса Ангальт-Цербстская (1729–1796), жена Петра III (1745), русская императрица (1762) 390, 533–534, 547–548, 553, 556–557, 559, 568, 570–573, 575, 579–583, 598, 600

Елагин Иван Перфильевич (1725–1794), русский писатель, государственный деятель, член Дворцовой канцелярии, статс-секретарь принятия прошений (1762–1768), директор театров, сенатор, обер-гофмейстер (1782); глава русского масонства (1772), принимал у себя Калиостро (1780) 558, 593

Елизавета I (1533–1603), королева английская (1558), дочь Генриха VIII 129

Елизавета Петровна (1709–1761), императрица Российская (1741), дочь Петра I 548–549, 556, 571, 581

Елизавета-Кристина-Ульрика Брауншвейгская (1740–1840), жена прусского принца Фридриха-Вильгельма (1765–1769) 513, 529

Жантиль-Лангалери де, урожд. Констан де Ребек, жена маршала де Лангалери, незаконного сына ландграфа Гессенского 448

Жоржи Анна Ланге, графиня де, супруга французского посла в Венеции (1723–1731) 408

Жофрен Мария Тереза, урожд. Роде (1699–1777), хозяйка литературного салона в Париже, подруга Станислава Понятовского (1752), д'Аламбера 626, 629

Жоффруа Луиза, французская танцовщица, выступала в Турине (1748–1750), Неаполе (1751–1752), Вене (1752–1764); жена Пьера Бодена 91

Заира, русская крестьянка, любовница Казановы 561–569, 573, 575–576, 579, 580, 591–594

Залуский Юзеф Анджей (1702–1774), польский меценат, писатель, основатель огромной публичной библиотеки (1747), сослан в Калугу (1767) 600

Замойский Клеменс, граф (ум. ок. 1767), муж (1763) княжны Констанции Чарторьской (1742–1797) 627

Зельми, дочь Юсуфа Али 40, 46, 49, 51, 55

Зенон Китийский (Финикийский; ок. 350–264 до н. э.), древнегреческий философ, основатель школы стоиков 290

Зиновьев Степан Степанович (1740–1794), русский офицер и дипломат, камер-юнкер (1770), капитан, посол в Испании (1773) 557–562, 577, 594

Зинцендорф и Поттендорф Людвиг Фридрих, граф фон (1721–1780) 131

Иоанн Иоаннович — описка Казановы — Антонович (1740–1764), русский император (1740–1741) 548  
 Иосиф II (1741–1790), австрийский император (1765), сын Франца I и Марии-Терезии 496  
 Исмаил Эфенди (ум. 1741), турецкий министр иностранных дел (1730–1736) 38, 40, 44, 49–53, 55, 58  
 Ицилиус Квинт, он же Карл Готлиб фон Гишар (1725–1775), придворный Фридриха II 536  
 Кавалли Доменико Мария, венецианский дипломат (1742–1753), секретарь Совета Десяти (1755) 244, 252, 254–255, 270  
 Казанова Газтано Альвизо (1734–1783), младший брат Казановы, священник 477–483  
 Казанова Джанетта Мария, урожд. Фарусси (1708–1776), мать Казановы, актриса 178–179, 530–533, 657  
 Казанова Мария Магдалина (1732–1800), сестра Казановы, танцовщица Дрезденского театра, жена придворного музыканта Петера Августа 178  
 Казанова Франческо (1727–1803), брат Казановы, художник-баталист, член Французской Академии художеств (1763) 125, 135–136, 176–179, 361, 370, 412, 437, 643, 659  
 Казаччи Тереза, итальянская танцовщица, выступала в Венеции (1762–1763, 1768–1769, 1775, 1777–1778) 608–609  
 Кайзерлинг Дитрих Карл, барон, с 1784 г. имперский граф, канцлер Курляндии 539–542, 544  
 Кальвин Жан (1503–1564), один из вождей реформации, основоположник кальвинизма 455  
 Кальзабиджи Джованни Антонио, младший из двух братьев, итальянский финансист и авантюрист 352–361, 364–365, 423, 519–524, 528–529  
 Кальзабиджи Раньери (1714–1795), старший из братьев, финансист, математик, литератор 356–357, 519  
 Кальзабиджи, Симона, урожд. Дорсе (ум. 1767), в первом браке жена генерала Антуана Дюрю де Ламота (1730–1735), во втором — Джованни Кальзабиджи (1750) 357, 519  
 Камарго Мария Анна Купис де (1710–1770), испанская танцовщица, выступала в Брюсселе, Риме, Париже (1726–1751) 117  
 Камилла — см. Веронезе Джакома Антония  
 Кампанини Барбарина (1721–1799), итальянская танцовщица, фаворитка Фридриха II (1744–1748) 535  
 Кампиони Винченцо, венецианский танцовщик, авантюрист 544–547, 550, 596, 598, 613, 617, 619, 626, 628, 631–633  
 Компорезе, капитан венецианской армии 59, 66–68  
 Капрета Катерина, К. К. (после 1722–после 1780), любовница Казановы, дочь венецианского купца 182, 188–226, 228–229, 348  
 Каравита Винченцо (1681–1734), итальянский богослов, иезуит 250  
 Караффа Лелио (ум. 1761), неаполитанский вельможа, посланник во Франции (1719) 135  
 Карл XII (1682–1718), шведский король (1697) 600  
 Карл I (1713–1780), герцог Брауншвейгский (1735) 509  
 Карл-Вильгельм (1735–1806), герцог Брауншвейгский (1780) 513–518  
 Карл-Эммануил III (1710–1773), герцог Савойский, король Сардинии (1730) 91, 128  
 Катаи (или Гаттаи) Катерина, итальянская танцовщица, выступала в Венеции (1760–1761), Праге (1761), Варшаве (1764), любовница польского короля Станислава II Августа, жена Томатиса (ок. 1766) 596–597, 604–607, 626  
 Катилина Луций Сергей (ок. 108–62 до н. э.), римский политический деятель 97  
 Катт (Кат) Анри Александр де (1725–1795), швейцарец, секретарь и чтец Фридриха II (1758–1780) 526  
 Каттинелла — см. Лицари Катерина  
 Каттолика (ла Католика) Бонанна Филинджери и дель Баско, принц Роккафиорита и делла, посол Неаполя в Мадриде (1760–1770) 360  
 Каудербах (Кудербах) Иоган Генрих (1707–1785), саксонский посланник в Гааге (1750–1766), литератор 414  
 Кауниц-Ритберг Венцель Антон, граф, затем принц фон (1711–1794), австрийский дипломат, посол в Париже, канцлер 131, 421, 659  
 Каюзак Луи де (ок. 1700–1759), французский драматург и прозаик, автор либретто оперы «Зороастр» (1749) на музыку Рамо 147  
 Кверини Джульетта — см. Преато  
 Кверини делла Папоцце Стефано (1711–после 1757), венецианский патриций, муж Марины Гримани (1757) 130  
 Келан Антуан Поль Жак, герцог де Вогион, наставник принцев крови 364  
 Кенсон Мими (р. ок. 1737), танцовщица Комической оперы в Париже (1754, 1756), любовница Казановы 103, 142–145



Кингстонский Ивлин Пирпонт, герцог (1711–1773) 511

Кино Жанетта Франсуаза (1700–1783), французская драматическая актриса, хозяйка литературного салона, завсегдатаями которого были Келюс, Кребийон-сын, Вуазенон, Мариво, Дидро и др. 389

Кит (или Кейт) Джордж (ок. 1693–1778), лорд маршал Шотландии (1712), якобит, в 1716 г. покинул родину (жил в Испании, Венеции), с 1745 г. на прусской службе, посол во Франции (1751–1754), Испании (1758–1760), друг Фридриха II 58, 127, 213, 505, 525–526, 529, 535–536

Кит (или Кейт) Джеймс Фрэнсис Эдвард (1696–1758), шотландский военачальник, служил Испании (1715), Франции, России (1728–1744), генерал-аншеф, Пруссии (1747), фельдмаршал; погиб в битве под Гохкирхененом 525

К. К. - см. Капрета Катерина

Клари Иоганн Непомук, граф (1728-ок. 1780), капитан австрийской армии (до 1766) 619, 626, 632–633

Клеман Шарль Франсуа (р. ок. 1720), французский музыкант, композитор 388

Клерон, наст. имя Лейрис де ла Тюд Клер (1723–1803), актриса Французской комедии (1743–1765) 118

Климент Тит Флавий Александрийский (середина II в. — после 211), греческий богослов 470

Климент XIII (Редзониго Карло) (1693–1769), папа римский (1758) 422, 423, 637, 658

Климент XIV (Гансанелли Джованни Винченцо Антонио, 1705–1774), папа римский (1769) 640–641

Кобенцл Иозеф, граф (1712–1770), австрийский дипломат, посол в Брюсселе (1753) 504, 519

Кокаи Мерлин, наст. имя Джиролино Теофило Фоленго (1491–1544), итальянский монах-расстрига, поэт, автор бурлескных поэм, в т. ч. «Бальдус» (др. назв. «Макароникон», 1517) 466, 468, 470, 472

Коланд Мари Катрин, урожд. Левек де Гравель, маркиза де 136

Коллеони Бартоломео (1400–1475), венецианский кондотьер 184

Колонна Тереза (род. ок. 1734), певица и танцовщица, выступала в Италии, Вене, Петербурге 558, 561

Кондорсе Жан Мари де Карита де (1703–1783), епископ Оксерский (1754), дядя знаменитого философа 381

Кондольмер Антонио (1701-после 1755) венецианский патриций, член Совета Десяти, «красный» Государственный инквизитор (1755) 235, 283–284

Кондольмер Доменико (р. 1709), венецианский патриций, капитан галеасов 63

Константин I Великий (ок. 288–327), римский император (306) 32, 463

Клермон Луи де Бурбон-Конде, граф де (1709–1771), французский аббат, военачальник, член Французской академии. Великий Мастер масонского ордена (1793) 422

Конти Антонио Скинелла, аббат (1677–1749), итальянский писатель, философ и математик 100, 459

Конти Луи-Франсуа де Бурбон, принц де (1717–1776), маршал Франции, дипломат, литератор 422–424

Коперник Николай (1473–1543), польский астроном 476

Коралина — см. Веронезе Анна Марина

Корнманн (Корнеман) Жан (ум. 1770), парижский банкир 391, 393–394, 412, 413, 416

Корнер Фламинио (1692–1779), венецианский патриций, сенатор, Государственный инквизитор (1773), писатель 279

Корсаковская Катаржина, урожд. Потоцкая, кастеланша Каменецкая 627

Корреджо Антонио Аллегри ла (1494–1534), итальянский художник 184

Кортичелли Марианна (1747-ок. 1767 или 1773), итальянская танцовщица, любовница Казановы 501, 511

Корф Констанца Урсула фон дер Вален, баронесса (1698–1780), жена Николая Андреевича Корфа, жандармского генерала (1710–1766) 546

Костюшко Тадеуш (1746–1817), вождь польского восстания 1794 г., подавленного А. Суворовым 603

Кошуа Марианна (р. ок. 1723), французская танцовщица (Париж, 1741; Берлин, 1742–1756), жена балетмейстера Делласа 535

Кошуа Элизабет, Барб (до 1722-после 1771), актриса Французской комедии в Берлине (1742), жена маркиза д'Аржанса (1749) 535, 630

Крамеры Габриэль и Филибер, женеvские книгоиздатели, печатавшие Вольтера с 1756 по 1775 г. 467

Красицкий Игнаций, граф (1735–1801), князь-епископ Вармский (1737), архиепископ Гнесенский (1795), сенатор, поэт 597, 601

Кребийон Клод Проспер Жолио (1707–1777), французский писатель, автор

любовно-психологических-романов «Заблуждения сердца и ума» (1736), «Софа» (1740), сын П. Ж. Кребийона 421

Кребийон Проспер Жолио (1674–1762), французский драматург, автор трагедий «Радамист и Зенобия» (1711), «Катилина» (1748) и др. 108–111, 115, 131–132, 472–473

Кроче (Лакруа) Антонио (ум. после 1796), миланский авантюрист 478

Кудербах — см. Каудербах

Кудлай — см. Чудлай

Курляндский — см. Бирон

Куртей Жак Доминик де Барбери, маркиз де (1697–1768), французский дипломат, государственный советник, интендант финансов (1752) 355, 359, 414–415

Кьяри Пьетро (1711–1785), аббат, итальянский писатель, иезуит, придворный поэт герцога Пармского 233–235, 283–284

Ла Виль (Лавиль) Жан Игнаций де (1690–1774), французский дипломат, член Французской академии (1746) 357–358, 364, 399, 439

Лагарп Жан Франсуа (1739–1803), французский писатель, критик 115

Ладзарини Доменико, аббат (1668–1734), итальянский писатель, профессор Падуанского университета (1710–1734), автор трагедии «Юный Улисс» (1720) 459

Ла Католика — см. Каттолика

Ла Кост Жан Эмманюэль де (ок. 1709–после 1761), французский авантюрист, монах-расстрига, секретарь генерального откупщика Ла Поплиньера 364–365

Лакруа — см. Кроче

Ла Марш Луи Франсуа, принц де Бурбон-Конти, граф де (1734–1814), старший сын принца Л. Ф. Конти, офицер 125, 422

Ламбер — см. Альберт Ф. К.

Ламберт Мари Ленъен (ок. 1718–1757), жена английского баронета, банкира Л. Ф. Ламберта 134

Ламбертини Анджелика (р. ок. 1713), итальянская авантюристка, хозяйка игорного дома в Париже 364–382

Ламетри Жюльен де (1709–1751), французский философ-материалист, лейб-медик Фридриха II (1748) 519

Ла Мот — см. Деламот Ламот генеральша — см. Кальзабиджи Симона

Лани Жан Бартелеми (1708–1786), танцовщик, балетмейстер Парижской оперы 113, 157–158

Ла Поплиньер Ле Риш Тереза де, урожд. Бутинон де Э. (ок. 1713–1756), актриса, жена генерального откупщика Александра Ле Риша де Ла Поплиньера (1737) 175–176

Ла Тур д'Овернь Никола Франсуа Жюли, граф де (р. 1721), полковник, племянник маркизы д'Юрфе 395–402, 406, 410

Лацари Катерина, сценич. имя Каттинелла, венецианская танцовщица и куртизанка 87–91

Лаэ Валентин де (ок. 1699–после 1772), иезуит, учитель 239

Лев Х Медичи Джованни, 1477–1521), папа римский (1513) 463

Левальд Ганс фон (1685–1768), прусский генерал, губернатор Берлина (1758), герцогства Прусского 539, 546

Левассер Розали, танцовщица Французской комедии 118

Левассер (ле-Вассер) Мария Тереза (1721–1801), служанка, жена Ж.-Ж. Руссо (1768) 422–423

Левенхаупт (Левенхуп) Адам (ум. 1775), шведский граф, служил во французской армии, генерал-майор (1762) 419

Ле Маскрие (Ле Мезерье) Жан Батист (1697–1760), французский иезуит, историк, издавший в 1755 г. роман Майе «Телиамед» с биографией автора 402

Лемор Катрин Николь (1703–1786), певица Парижской оперы (1730), жена шевалье Жана Батиста Молена (1762) 126

Ленорман де Турнем Шарль Франсуа Поль, французский генеральный откупщик 351

Ле Нуар, любовник Ламбертини, парижский городской казначей, выплачивавший ренты 365, 369–370, 372, 373, 379

Леопольд II (1747–1792), австрийский эрцгерцог, великий герцог Тосканский (1765–1790), австрийский император (1790; второй сын Марии-Терезии и Франца I) 596, 659

Ле Фель (Лефель) Мария (1716–1804), французская певица, пела в Парижской опере (1733–1759) 113

Лефорт Франц Якоб (1656–1699), сподвижник Петра I 557

Лефорт, барон (ум. ок. 1766), сын Петра Лефорта, церемониймейстера Елизаветы Петровны, племянник Ф. Я. Лефорта 557

Ливий Тит (59 до н. э. - 17 н. э.), римский историк 110, 281, 459

Лобковиц Иосиф Мария, князь (1725–1802), австрийский посол в Петербурге (1763–1777); камергер, генерал-лейтенант 579

Ловендаль (или Левендаль) Ульрих Фридрих Вальдемар, граф (1700–1755), сын внебрачного сына короля датского Фридриха III, служил Австрии, Польше, России, Франции; маршал 128–129

Лоз — см. Лосе Иоганн

Локателли Джованни Ботиста (1713–1785), автор либретто, антрепренер, директор театров, работал в Праге (1749–1757), Дрездене, Варшаве, Москве (1758–1759), Санкт-Петербурге (1759–1762) 180–181, 558, 561.

Лолотта — см. Гоше Луиза

Л'Опиталь Поль Франсуа Галусси де, маркиз де Шатонэф (1697–1776), чрезвычайный посол Франции в Неаполе (1740–1750) и Петербурге (1756–1761) 356

Лораге Диана, герцогиня де, урожд. де Майи (1713–1769), придворная дама жены французского дофина 401

Лосс (Лоз) Иоганн Альфонс, граф фон (1690–1759), дипломат, саксонский посланник в Париже (1741–1753, с перерывами), министр 147

Лоу Джон (1671–1729), шотландский финансист, основатель Парижского ассигнационного банка (1716, торговой «Западной компании»), генерал-контролер финансов Франции (1720; в 1720 г. его финансовая система потерпела крах 351

Луини Доменико, сценнч. имя Бонетто, итальянский певец-кастрат, выступал в Венеции, Неаполе, Петербурге (1758–1770) 558, 561, 578

Лунин Александр Михайлович (1745–1816), генерал-майор, губернатор Полоцка 565–566

Лунин Петр Михайлович (ум. 1822), генерал-лейтенант 566

Любомирская Изабелла Елена, урожд. Чарторыская (1736–1816), жена князя Станислава Любомирского (1753), графа Михала Огинского (1786) 599, 630

Любомирский Каспар, князь (1734–1779), генерал-лейтенант русской службы 610

Любомирский Станислав, князь (1704–1783), коронный стражник (1752), великий коронный маршал (1766) 605, 617–618, 620, 627.

Людвиг (Людовик) Евгений Виртембергский (1731–1795), принц, царствующий герцог (1779); на службе Франции (1749), Австрии (1757–1762) 121–122, 631

Людовик IX Святой (1215–1270) король Франции (1226), канонизирован в 1297 г. 107

Людовик XII (1462–1515), король Франции (1498) 107

Людовик XIV (1638–1715), король Франции (1643) 107, 110, 111, 407

Людовик XV Возлюбленный (1710–1744), король Франции (1715), правнук Людовика XIV 99, 106–108, 125–130, 134, 139, 140, 164–166, 375, 419–420, 422, 598

Людли Джованни Батиста (1632–1687), итальянский композитор, директор Королевской Академии Музыки (Париж) 126

Людль Рамон (1232–1316), уроженец Мальорки, философ, проповедник, ученый, алхимик 403

Мадоннис (Мадонис) Луиджи (род. до 1700–1767), венецианец, скрипач, играл в Париже (1729–1730), Петербурге (1733, придворный музыкант) 533

Мажорано Газтано, сценич. имя Гафарелло (1703–1783), итальянский певец; герцог Сан-Дonato 91

Майе Бенуа де (1656–1738), французский дипломат, философ-материалист, автор романа «Теллиамед» (1748) 402

Макартни Джордж, барон (1737–1806), английский дипломат, посланник в России (1765–1767), Китае (1792–1794) 557

Малипьеро Альвизо Гаспаро (1664–1745), венецианский патриций, сенатор 65

Манана — см. Риччарелли Джузеппе

Мандзони Катерина (1706–1787), венецианка 235, 362

Мануцци (или Мануччи) Джованни Батиста (ум. после 1774), венецианский ювелир, осведомитель Государственных инквизиторов (с 1740 по 1774 г.) 234, 242

Мариво Пьер Карле де (1688–1763), французский прозаик и драматург 101, 102

Мариньи Абель Франсуа Пуассон, маркиз де (1727–1781), брат маркизы де Помпадур, смотритель королевских строений 135–136, 176–177

Мария Лещинская (1703–1768), королева Франции (1725), жена Людовика XV, дочь Станислава Лещинского 127–128, 166

Мария Медичи (1573–1642), жена Генриха IV, королева Франции (1600) 72

Мария-Терезия (1717–1780), дочь Карла VI, императрица Австрийская (1740), королева Венгрии и Богемии; жена Франца I 131, 141, 496, 504, 535, 631

Марколина, венецианка, любовница Казановы 477–501, 648, 650

Марсель (ок. 1673–1759), парижский учитель танцев (1710), композитор 171

Мартелло (или Мартелли) Пьер Якопо (1665–1727), итальянский драматург и поэт 100, 472–473

Мартиненго да Барко Паоло Эмилио, граф (1704–после 1795), венецианский патриций 284–286

Маруцци (Маруччи) Ламбро, с 1765 г. маркиз (ум. 1799), итальянский банкир, поверенный в делах России в Венеции (1768–1783), финансировал плавание эскадры А. Орлова 580, 652

Марчелло Пьетро (1719–1790), венецианский дворянин, сын прокуратора собора Св. Марка 185

Маталонский Карло Караффо, герцог (1734–1763), автор комедий 135, 139

Матюшкин — возможно, Матюшкин Дмитрий Михайлович, граф (1725–1800), тайный советник 557

Маффеи Франческо, маркиз (1675–1755), итальянский писатель, историк, экономист, богослов. Состоял на военной службе у короля Баварского (1703–1704). Реформатор итальянского театра, член Французской Академии надписей (1732), почетный доктор Оксфордского университета (1732) 100, 296

Медини Елена графиня, жена Леопольдо Гонзаго (1744), сестра Томмазо Медини 496

Медини Томмазо, граф (1725–1788?), итальянский авантюрист и писатель, капитан полиции в Мантуе (1765) 496, 658

Мезонруж Этьен де Массон де (ок. 1702–1785), сын генерального откупщика Массона, муж м-ль Ротиссе Роменвиль (февраль — май 1752) 113

Мекур Джованна, урожд. Кампи, итальянская танцовщица, выступала в Вене (1757), Петербурге (1759-после 1775) 558

Мелиссино Петр Иванович (1726–1797), русский полковник артиллерии, затем генерал-аншеф, видный масон 556–557, 559, 571, 577, 579, 589

Мелиссино Иван Иванович (1718–1795), обрусевший грек, обер-прокурор Синода (1763–1768), действительный статский советник; муж княгини Прасковьи Владимировны Долгоруковой 557, 573

Мельфор — см. Драммон-Мельфор

Меммо Андреа (1729–1793), венецианский патриций, сенатор, посол в Риме, балио в Константинополе (1777), прокуратор собора Св. Марка (1785) 234

Меммо Бернардо (1730-после 1810), меценат, венецианский сенатор (1768), масон 234

Меммо Бернардо (1730-после 1810), меценат, венецианский сенатор (1768), масон 234

Меммо Лоренцо (р. 1733) 234

Меммо Лючия, урожд. Пизани, жена Пьетро Меммо (1719) 234, 283–284

Ментенон Франсуаза д'Обинье, маркиза де (1635–1719), жена П. Скаррона (1652–1660), фаворитка и жена Людовика XIV (1684) 111

Метастазио Пьетро, подлинная фамилия Трапасси (1698–1782), итальянский поэт и драматург 573

Микели Антонио, посол Венеции в Мадриде (1741–1744) 276

Микели Доменико (1732-после 1782), сын А. Микели; венецианский сенатор 276

Миллико Джузеппе (1730–1802), итальянский певец-кастрат, выступал в Петербурге (до 1770), Вене и Италии 558

М. М. (точное имя не установлено; возможно, Микиель или Микели Мария Элеонора, дочь Антонио Микели) 182–226, 228–229, 237, 241, 348, 494

Мольер Жан Батист Поклен (1622–1673), великий французский комедиограф 469

Монакская Мария Катерина, княгиня, урожд. маркиза де Бриньоль-Саль (1739–1813), жена Оноре Монакского 125

Монакский Оноре III, Гримальди де Матиньон (1720–1795), герцог де Валентинуа (1751), князь Монако (1731–1793) 120–121, 125, 166

Монконсей Сесиль Тереза Гино де, урожд. Риу де Кюрзе (1707- после 1775), жена Луи Гино де Монконсея (1725), французского генерал-лейтенанта; фрейлина при дворе Станислава Лещинского в Шамборе 150

Монпансье, герцог де — см. Орлеанский Филипп

Монреаль, граф де — см. Вореаль

Монталлегре Хосе Хоакин, маркиз де Салас, герцог де (ум. 1771), посол Испании в Неаполе (1740–1746), Венеции (1748–1771) 267

Монтень (Монтань) Мишель (1533–1592), французский философ-гуманист, писатель, автор «Опытов» (1580) 266, 442

Монтескье Шарль Луи, де Секонда, барон де (1689–1755), французский писатель и философ 406

Морганьи Джованни Батиста (1682–1771), итальянский врач, преподаватель патологоанатомии университета в Падуе 443

Морелли Тереза (после 1781), итальянская танцовщица 180

Морозини Франческо II Лоренцо (1714–1793), прокуратор собора Св. Марка, венецианский посланник в Париже (1748–1751), в Англии (1763) 126–127, 129–130, 136

Морфи — см. О'Морфи

Мосна-Мошинский Август, граф (ок. 1735–1786), коронный стольник (1752), директор театров, королевских строений; великий мастер масонского ордена, друг Калиостро 604–618, 625–626, 631–632

Мочениго Альвизо Антонио (р. 1667), венецианский патриций 234

Мочениго Альвизо II Джироламо (Момоло) (р. 1721), венецианский патриций 185

Мочениго Альвизо II Джованни (1710 или 1711–1756), венецианский дипломат, посол в Париже (1751–1756) 136, 141, 213

Мошинский — см. Мосна-Мошинский

М-р Тереза, мадемуазель де ла, любовница Казановы (точное имя не установлено) 370–394, 503

Муратори Луиджи Антонио (1672–1750), итальянский ученый, археолог, библиотекарь 466

Муррей Джон (ок. 1714–1775), посол Англии в Венеции (1754–1766), Константинополе (1766–1775) 233

Мюра Бернар де (1709–1780), швейцарский муниципальный советник, друг А. Галлера 443

Нарбоннский граф — возможно, Нарбонн-Лара Жан Франсуа, граф (ум. 1806), палатный дворянин герцога Пармского, или Нарбонн-Пеле Жан Франсуа, граф (1718–1784), французский генерал, 153–156, 161

Нарышкин Семен Кириллович (1710–1775), русский дипломат, камергер, обер-егермейстер 558–560, 573

Нарышкина Мария Павловна (1723–1793), урожд. Балк-Полева, жена С. К. Нарышкина 559–560

Натье Жан Марк (1685–1766), французский художник-портретист 451

Нетин, брюссельская банкирша, вдова (1752) 506

Николини Филиппо (ум. после 1773), итальянец, театральный антрепренер, директор театров в Брауншвейге (1749–1771) 509, 512, 514, 516–517

Никомед IV Филопатр, царь Вифинии (90–79 до н. э.), области в Малой Азии 534

Ноэль (ум. 1798), француз, шеф-повар и дворецкий Фридриха II 518–519

Ноэль Франсуа Жозеф Мишель (1755–1841), французский дипломат, посланник в Гааге (1792–1793, 1795), генеральный комиссар полиции в Лионе (1800), префект департамента; сын старьевщика, а не повара Фридриха II 519

Ньютон Исаак (1642–1727), великий английский физик и математик 458–459

Обри Пьер, французский танцовщик, балетмейстер, выступал в Венеции (1752, 1758), Берлине (1764), Париже (1765), Санкт-Петербурге (1760–1764, 1775) 539

Огинская Александра, урожд. Чарторыская, жена князя Михала Сапеги (1748), Михала Огинского (1761) 630

Огинский Михал (1731–1803), вильненский воевода 597, 617, 630

Одар Джузеппе (ок. 1720? — ок. 1768?), пьемонтец, служил в России (1762–1765), член Коммерц-коллегии, надворный советник, управлял имениями Екатерины II 533

Одидер (ум. после 1772), хозяйка игорного дома в Марселе 477–480, 485, 488, 497–500, 650

Оксерский епископ — см. Кондорсе

Олбемарл Уильм Кеппел, лорд (ум. 1754), английский посланник в Париже (1749) 140–141

Ольвьери Сантина, сценич. имя Реджана, итальянская танцовщица, выступала в Неаполе (1747–1751), Вене (1751–1752), Берлине (1752) 535, 558

Олсуфьев (Алсуфьев) Иван Васильевич (1721–1784), статс-секретарь (1763), дипломат, сенатор 558, 581, 585

О'Морфи Виктуар (р. ок. 1734), актриса парижской Комической оперы, ирландка по происхождению 162–165

О'Морфи Мария Луиза или Луизон (1737 или 1738–1815), сестра В. Морфи, фаворитка Людовика XV; жена Жака де Бюфранше, графа д'Айя (1755–1757) 162–166, 215

Орлеанская Луиза-Генриетта де Бурбон-Кonti, герцогиня (1726–1759), жена Луи-Филиппа (1743), герцога Шартрского, с 1752 г. — Орлеанского 105–106, 120, 170–176, 401

Орлеанский Луи-Филипп, герцог (1725–1785) до 1752 г. — герцог Шартрский; сын регента Филиппа Орлеанского 174

Орлеанский Луи-Филипп-Жозеф, герцог (1747–1793), до 1752 г. — герцог Монпансье, до 1785 г. — Шартрский; сын Луи-Филиппа Орлеанского, депутат Генеральных штатов (1789), Конвента (1792), Филипп Эгалите; казнен 175

Орлеанский Филипп, герцог (1679–1723), регент Франции (1715) 403, 492

Орлов Алексей Григорьевич (1737–1808), секунд-майор Преображенского полка, генерал-аншеф, адмирал граф Орлов-Чесменский (1774) 547–549, 577, 580, 651–653, 658

Орлов Григорий Григорьевич (1734–1783), граф, имперский князь, генерал-фельдцейхмейстер, действительный камергер; масон 547–549, 553, 572, 581, 587

Оштейн (Голштейн) Людвиг Вильгельм Иоганн Макс, граф фон (1705–1757), генерал-лейтенант, брат принца Иоганна Оштейна, курфюрста Майнцского 89–91

Пайперс (Пиперс, Пипер) Генрих Вильгельм, немецкий врач 506–510

Павел I (1754–1801), русский император (1786); сын Петра III и Екатерины II 534, 578–579

Панин Никита Иванович, граф (1718–1783), обер-гофмейстер, воспитатель великого князя Павла, действительный тайный советник, канцлер 540, 559, 578–579, 581–582, 587

Панталоне — см. Веронезе Карло

Папанелополо Деметрио, грек, петербургский банкир (1765) 540, 556, 558, 568, 571, 573, 575, 597

Парадизи Антонио (1736–1838), мантуанский литератор, министр юстиции 469

Парацельс, наст. имя Филипп Аурел Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493–1541), знаменитый врач, алхимик, астролог и философ, создавший «эликсир жизни» 402, 411

Пари Дюверне (дю Верне) Жозеф (1684–1770), знаменитый французский финансист, главный интендант Военного училища (1751) 350–355, 357–361, 365, 370, 519

Пари де Монмартель Жан (1690–1760), один из четырех братьев Пари, французский государственный советник, придворный банкир 351, 352

Париж Жюстина, наст. имя Бьенфе (ок. 1705-после 1755) дочь парфюмера Вуазена, жена скрипача Итальянской комедии; хозяйка парижского публичного дома 122–124

Паросель (Пароселли) Шарль (1688–1752), французский художник-баталист 125

Паскаль Блез (1623–1662), французский философ 442

Пассано Джакомо, он же Погонас (ум. ок. 1772), генуэзский авантюрист, художник, актер 477–487, 501

Паттони (Патон) (ум. ок. 1767), итальянский авантюрист, профессиональный игрок 390

Патю Клод Пьер (1729–1758), адвокат парижского парламента, поэт, автор комедий 104–108, 112–116, 122–124, 145, 162–164, 170

Пелс — см. Бикер

Перниготи Карло, итальянец, камергер короля польского Станислава II Августа 610

Пето Дени (1583–1652), французский историк, филолог, богослов 296

Петр I Великий (1672–1725), русский император (1682) 570, 579, 583

Петр III, Карл-Петер-Ульрих, герцог Голштинский-Готторпский (1728–1762), внук Петра I, наследник русского престола (1742), русский император (1762) 534, 547, 549, 558

Петрарка Франческо (1304–1374), великий итальянский поэт 242, 445–446, 465–466

Пизани Марина, урожд. Сагрето, жена Альморо Пизани (1741), венецианская патрицианка, завзятая картежница 185

Пий VI (Браски Джанджело; 1717–1799), папа римский (1775) 421

Пик (или Лепик) Шарль (ок. 1743-после 1783), французский танцовщик, выступал в Вене, Венеции, Лондоне, Варшаве (1765–1766), Неаполе (1773); умер в России; любовник Бинетти 604, 632

Пиньятелли Казимир, маркиз, граф д'Эгмон, герцог де Бизачча (1727–1801), испанский гранд, генерал-лейтенант (1762) 113

Пиндар (521–441 до н. э.), древнегреческий поэт 444

Пинци Джузеппе Антонио (1713–1763), итальянский священник, секретарь папского нунция 641

Пиперс — см. Пайперс

Пиррон Элидский (ок. 360-ок. 271 до н. э.), древнегреческий философ, основатель школы скептиков 290

Платон (428/7-348/7 до н. э.), древнегреческий философ 43

Платон (Левшин; 1737–1812), ректор Троицкой семинарии (1761), архимандрит Троицкой семинарии (1766), архиепископ Новгородский (1767), Тверской (1770), член Святейшего синода (1768), Епископ Московский (1775), митрополит Московский (1787) 559

Плутарх (ок. 46-ок. 120), древнегреческий историк, автор «Параллельных жизнеописаний» 96

Поккини Антонио (1705–1783), падуанский дворянин, авантюрист, масон 31

Полиньяк Мари, маркиза де, урожд. де Риу де Курзе (ум. 1784), фрейлина герцогини Шартрской 171–172

Помпадур Жанна Антуанетта, урожд. Пуассон, с 1745 г. маркиза, с 1752 г. герцогиня де (1721–1764), жена Шарля ле Нормана д'Этиоля (1741), фаворитка Людовика XV (1745) 126, 349, 351, 355, 357–358, 417–419, 421, 422

Помпеати Джузеппе, он же граф д'Аранда (1746-ок. 1797), сын Терезы Имбер 416, 418–421, 501

Понинский Адам, граф, с 1774 г. — князь (1732–1798), коронный дворецкий польский (1762), великий коронный маршал (1773–1775), великий коронный поденарбий (до 1789 г.) 603, 608

Понкарре Жофруа Маса Камю де, первый президент Руанского парламента (1726), государственный советник (1753), брат г-жи д'Юрфе 410, 494

Понтедера Джулиано (1688–1757) итальянский ботаник, профессор университета в Падуе 443

Понятовская Констанция, графиня (1695? 1700?-1759), урожд. княжна Чарторыская, жена Станислава Понятовского (1720) 600

Понятовский Анджей, с 1764 г. — имперский князь (1734–1773), младший брат польского короля, австрийский генерал, 604, 632

Понятовский Казимир, с 1764 г. — князь (1721–1780? 1800?), старший брат польского короля, коронный обер-камергер 608, 618, 623

Понятовский Станислав, граф (1678–1762), отец польского короля, великий канцлер литовский (1724), краковский кастелян (1752) 600, 624–625

Поп Александр (1688–1749), английский поэт 516

Порфирий, наст. имя Малкос (ок. 233-ок. 304), греческий философ, неоплатоник, автор схолий к

Гомеру 641

Потоцкий Францишек, граф (1700–1771), воевода Киевский (1753), фаворит Анны Иоанновны; муж Анны Потоцкой 628

П. П. (наст. имя не известно), любовница Казановы 478–481, 497–501

Преато (Преати) Джульетта Урсула, по прозвищу Шерстомойка (1724-ок. 1790), венецианская певица и куртизанка, жена Франческо Антонио Уччелли (1752) 129–131

Превиль Мадлена, урожд. Друэн (1731–1797), французская актриса, жена актера Пьера Луи Дюбю, сценич. имя Превиль 118

Преодо Катрин, урожд. Голар, жена Клода Преодо (1751–1762), затем Буре де Вилломора (1767), генерального откупщика 132–133

Приули Альвизо (1718-после 1763), венецианский патриций, узник Пьомби (1755) 298

Прусский кронпринц — см. Фридрих-Вильгельм II.

Птолемей Клавдий (II в.), великий астроном и математик, 490

Пуассон Луиза Мадлена, урожд. де ла Мот (1699–1745), мать маркизы де Помпадур; жена Франсуа Пуассона (1690–1764), конюшего герцога Орденского 351

Путини Бартоломео (р. ок. 1730), итальянский певец-кастрат, выступавший в Венеции, Дрездене, Петербурге (1756-после 1766) 558

Расин Жан (1639–1699), великий французский драматург 146, 178

Растрелли Бартоломео, Варфоломей Варфоломеевич (1700–1771), итальянский архитектор, создатель русского барокко 568, 571

Радзетти, итальянка, жена скрипача Парижской оперы; известна своими любовными приключениями 357

Рафаэль Санти (1483–1520), великий итальянский художник 429–450

Редегонда, итальянская актриса и певица 509–513, 517–518

Реджана — см. Оливьери Сантина

Редзониго — см. Климент XIII

Рембрандт Харменс Ван Рейн (1606–1669), голландский художник 645

Рене Савойская (ум. 1587), старшая дочь Клода Савойского, жена Жака I д'Юрфе (1554) 402

Репнин Николай Васильевич, князь (1734–1801), племянник И. И. Панина, русский посол в Польше (1763–1769), в Пруссии; фельдмаршал 573, 597

Репнин Петр Иванович, князь, обер-шталмейстер 572

Ржевуский Венцеслав, граф (ок. 1700–1773 или 1779), коронный гетман, сослан в Сибирь (1767–1773), краковский кастелан 627–628

Ржевуский Северин, граф (1725-ок. 1805), сын Венцеслава Ржевуского; политический деятель, сослан в Сибирь (1767) 628

Ржевуский Францишек, граф (ум. после 1775), польский посол в России, полный коронный писарь (1752) 555, 561, 597

Риккобони Лодовико Андреа, сценич. имя Лелио (1674 или 1676–1753), актер, затем директор Итальянской комедии в Париже, литератор 101

Риккобони Елена Вирджиния, урожд. Баллетти, сценич. имя Фламиния (1686–1771), сестра Джузеппе Антонио Баллетти (Марио), жена Лодовико Андреа Риккобони; актриса Итальянской комедии в Париже (1716–1752), писательница, член Академии Аркад, академий Болоньи, Феррары, Венеции 100–101

Ринальди Антонио (ок. 1709–1794), итальянский архитектор, работал в России с 1752 г. 568, 571, 575, 592–594

Риччарелли Джузеппе, сценич. имя Пепино делла Мамана (ум. после 1776), итальянский певец, кастрат, выступал в Риме (1738–1743), Берлине (1752–1753); масон 94

Ришелье Арман Жан дю Плесси, герцог (1585–1642), французский государственный деятель, кардинал (1622), первый министр (1624) 421

Ришелье Луи Франсуа де Виньерон дю Плесси, герцог де (1696–1788), маршал Франции, член Французской академии 126–127, 129, 140, 176, 422

Рогендорф Эрнест, граф фон (1714–1790), отец Сесили Рогендорф, последней подруги Казановы 657

Розали, марсельская любовница Казановы, жена генуэзского торговца Паретти (ок. 1761) 478, 481, 497

Розенберг Филипп Иосиф, граф Орсини (1681–1765), посланник Австрии в Венеции (1754) 141, 284–285

Рокколини (или Рикколнни) Виченца, урожд. Монтеллато, итальянская актриса 560–561

Роксбарг (Росбури) Джон Кер, герцог (1740–1804), английский библиофил, 449

Роменвиль. наст. имя Ротиссе (ок. 1732–1752), оперная певица, жена Э. Массона де Мезонружа (1752) 113

Роникер Михал (ум. 1778?), польский генерал, кавалер ордена Александра Невского; масон 630

Росбури — см. Роксбарг  
 Рошбарон Франсуа де Ла Рошфуко, маркиз де (1677–1766), комендант Лиона 94  
 Рудзини Арпаличе, урожд. Манин, венецианская патрицианка, жена Джованни Антонио Рудзини (1746), посла Венеции в Мадриде (1750–1754), Вене (1755–1761), Константинополе (1766) 284–285  
 Руссо Жан-Жак (1712–1778) великий французский писатель, философ-просветитель 422–423, 445–446, 580  
 Рюмен Констанция, графиня дю, урожд. де Гамаш (1725–1781), супруга графа Шарля дю Рюмена, губернатора, генерал-майора; увлекалась кабалистикой, покровительствовала Казанове 395, 437, 508–509, 513  
 Рюффе (Рюфек) Катрин, урожд. де Граммон (1707–1755), в первом браке принцесса де Бурнонвиль, во втором — герцогиня де Рюффе; теща принца Монакского 120–121  
 Савойская — см. Рене  
 Савойский герцог — см. Виктор-Амадей III  
 Сагрето Лучия Елена, урожд. Пасквалиго, жена Джованни Франческо Сагрето (1712– после 1781), балио Корфу (1743–1745) 68–72, 82, 84  
 Саконе (Саконе) Луиза Элизабета де (р. 1744), жена бригадира Ш. Виллара-Шандье (1762) 449  
 Саксонский Морис (1696–1750), побочный сын короля польского Августа II (курфюрста Саксонского Фридриха-Августа I), маршал Франции (1744) 112, 114, 145, 419  
 Саленмон (Соломон) Константин Натаниэль фон (1710–1797), немецкий офицер, служил Франции, затем Пруссии; комендант Везеля (1764), генерал-лейтенант 508  
 Салтыкова Матрена Павловна, урожд. Балк-Полева 580  
 Саллюстий Гай Крисп (ок. 86–35 до н. э.), римский историк 459  
 Сальмур Изабелла, графиня, урожд. Любенская, жена саксонского камергера Джузеппе Сальмура (1710–1759) 624  
 Сангуско Януш Александр, князь, великий маршал литовский (1750) 617  
 Сандивоний Микаэль, немецкий филолог и алхимик XVII в. 405  
 Санси — см. Сенси  
 Сангина — см. Дзануцци  
 Сапега Элжбета, урожд. Браницкая, жена Яна Сапеги 623  
 Сапфо (VII–VI в. до н. э.), древнегреческая поэтесса 581  
 Саразен Пьер (1689–1762), актер французской королевской труппы 118  
 Свитен Герхард ван (1700–1772), голландский врач, лейб-медик императрицы Марии-Терезии (1745); ученик Бурлаве 628  
 Сенека младший Луций Анней (ок. 4 до н. э.-65 н. э.), римский писатель, философ-стоик, политический деятель 255, 296  
 Сен-Жермен граф де (1696? 1706?-1784), знаменитый авантюрист 408, 418–419, 484–485, 503  
 Сен-Кентен де, паж Людовика XV 130, 164–165  
 Сен-Пьер Шарль Ирене Кафель де, аббат (1658–1743), французский литератор, автор проекта цветового клавиатура и др. 597  
 Сенси (Санси) Луи Пьер Себастен Маршал де, французский церковный генерал-эконом 412  
 Сен-Симон Сандрикур Максимилиан Анри, маркиз де (1720–1799), адъютант принца Конти, историк 129, 131  
 Сент-Илер, наст. имя Габриэль Сибер (ок. 1729-после 1760), парижская куртизанка 124  
 Сент-Элен барон (?), авантюрист 545, 546, 548–550, 596  
 Серда Бонавентура де Кордова Спинола де ла (1724–1777), испанский кардинал (1761) 638–639  
 Сериман Роберто граф, венецианский торговец бриллиантами 267–268  
 Сиверс Елизавета Карловна, дочь графа К. Е. Сиверса, жена в первом браке русского дипломата Якова Ефимовича Сиверса, во втором — князя Николая Путятина 558  
 Сиверс Карл Ефимович, имперский граф (1760), камер-юнкер, обер-гофмаршал (1762); приближенный Елизаветы Петровны 558  
 Сильвестр Антония, урожд. Эро (р. 1683), жена художника Луи де Сильвестра (1675–1760), директора Дрезденской академии, французской Академии художеств 361  
 Силуэт Этьен де (1709–1767), фаворит г-жи де Помпадур, советник парламента г. Меца, генерал-контролер финансов (1759) 421  
 Симолин Карл Матвеевич, с 1776 г. — барон фон (1715–1777), русский посланник (министр-резидент) в Митаве 575  
 Синопеус (Синопиус) Дамиан де, врач, на русской службе с 1730 г., морской и городской врач в Кронштадте (1730), в Москве (1736), Петербурге, надворный советник (1770) 576  
 Сократ (ок. 470–399 до н. э.), древнегреческий философ 290, 444, 450, 464  
 Соломон — см. Саленмон  
 Сорадачи Франческо, цирюльник из Истрии, сидел в Пьембоне с 1 сентября по 31 декабря 1756 г. 305–329  
 София, жена Юсуфа Али 56–57



Спина Пасква, венецианская певица и куртизанка 94

Спада Бонифацио, граф (ум. 1767), австрийский генерал 130

Станислав II Август Понятовский (1732–1798), последний польский король (1764–1795) 547, 549, 598, 605, 607–613, 619–627, 630–632

Строганов Александр Сергеевич, с 1761 г. — имперский граф (1733–1811), обер-камергер, сенатор, президент Академии художеств, директор Публичной библиотеки 578

Стюарт Джеймс (Яков) Эдуард (1688–1766), сын свергнутого короля Англии Якова II, пытался отвоевать трон, в 1701 г. был признан Францией королем Яковом III, в 1744 г. отрекся в пользу сына 525

Субиз Шарль де Роган, принц де (1715–1787), фаворит маркизы де Помпадур, маршал Франции 352, 358, 421

Сулковский Август Казимир, князь (1729–1786), коронный писарь (1764), воевода Калишский (1772) 595, 597–598, 617, 630–631

Тальви де ла Перрин Мишель Луи Гатьен, виконт, французский офицер, игрок, бретер, 177–178

Тансен Клодина Александрина Герен, маркиза де (1685–1749), французская писательница, хозяйка литературного салона 146

Тассо Торквато (1544–1595), великий итальянский эпический поэт 460

Тассони Алессандро (1565–1635), итальянский поэт, автор ирои-комической поэмы «Похищенное ведро» (1614–1615, опубл. 1622), «Различных мыслей» (1608–1620) 466

Теплов Григорий Николаевич (1711–1779), наставник великого князя Павла, почетный член Академии искусств, статс-секретарь (1763), тайный советник, сенатор (1762); писатель 558, 565

Тиретта (Тирета) Эдоардо, граф (1734–1809), итальянский авантюрист; вынужденный бежать из Венеции и Парижа, стал архитектором в Индии и нажил огромное состояние 362–392, 419, 426–427, 503

Тирконель Ричард Френсис Талбот, герцог (1710–1752), ирландец, французский дипломат, генерал-майор, посланник в Берлине (1750) 519

Томатис Карло, с 1765 г. — граф де Валер (ум. 1787), итальянский антрепренер, директор театра в Варшаве (1765) 596, 604–607, 609, 618, 626

Торелли Стефано (1712–1784), итальянский художник, работал в Дрездене (1740), Петербурге (1762), преподаватель, помощник ректора Российской Академии художеств (1777) 572

Тот Франсуа де, барон (1733–1793), французский дипломат, генерал (по национальности венгр); служил в турецкой армии 414, 580

Тот, граф, французский офицер 414, 580

Треан, граф де — см. Этреан, маркиз д'

Трев Абраам Жерсон, по прозвищу Зарфати, французский кабалист XVI в. 404

Трейден Тротта, барон фон, брат Бенигны Бирон 518, 529, 537, 539, 540, 638

Троншен Теодор (1709–1791), врач, практиковал в Швейцарии, Голландии, Франции; член Академии наук 464–465

Тюренн Годфруа Шарль Анри де Ла Тур д'Овернь, принц де (1727–1791), сын герцога Буйонского, обер-камергер (1771) 402, 406, 410

Уинн Анна, в девичестве Гацини (1713–после 1780), жена Р. Уинна (1739–1751) 141

Уинн Джустианиана (1737–1791), дочь Р. и А. Уинн (родилась до их брака), графиня Орсини-Розенберг (1761–1765) 141

Уинн Ричард (ум. 1751), английский дворянин 141

Уччелли Бастиан (род. 1695), венецианский адвокат 131

Уччелли Франческо Антонио (р. 1728), венецианский государственный чиновник, секретарь посольства в Вене; сын Бастиана Уччелли 131

Ф. - см. Фоскарини

Фенароли (Фенароло) Томмазо, граф, аббат, игрок, сидел в Пьемонте 22–30 июля 1756 г. 283–287

Фавар Мария Жюстина, урожд. Кабаре де Ронсере, сценич. имя Шантийи (1727–1772), французская актриса, жена Шарля Фавара (1744) 145, 389

Фавар Шарль Симон (1710–1792), французский поэт и драматург 145

Фике дю Бокаж Мария Анна, урожд. Ле Паж (1710–1802), французская писательница 112

Филиппина-Шарлотта, сестра Фридриха II, урожд. Принцесса Прусская, герцогиня Брауншвейгская (1716–1801), жена Карла I (1733) 529

Фламиния — см. Риккони Елена Вирджиния

Фокс Стивен (1774–ок. 1775), брат английского политика, главы вигов, Чарльза Джеймса Фокса 449, 464, 468

Фома Аквинский (1225 или 1226–1274), итальянский богослов, философ, писатель; автор «Суммы против мучеников» (1259–1264), «Суммы теологии» (1267–1273) 466

Фонпертюи Папийон де, французский интендант королевских увеселений (1753–1762), генеральный откупщик 357

Фонтенель Бернар ле Бовье де (1657–1757), французский писатель и философ, автор «Рассуждений о множественности миров» (1686) 145–147, 352, 458

Фоскари Альвизо (1723–ок. 1767), капитан «Бастарды», адмиральской галеры 83

Фоскарини Адриана, урожд. Лонго (р. 1720), жена Винченцо Фоскарини (1742) 60–65, 67, 69, 76, 83–85

Фоскарини Винченцо (1716–1789), венецианский патриций 60, 64, 65, 69

Франц I (1708–1765), германский император (1745), герцог Лотарингский (1729–1735), великий герцог Тосканский (1737); муж Марии-Терезии 578

Фридрих II Великий (1712–1786), прусский король (1740), сын Фридриха-Вильгельма I 382, 443, 468, 518–520, 524–530, 534–539, 547, 582, 605, 633–634, 638, 646

Фридрих-Вильгельм II (1744–1797), прусский король (1786) 513, 529

Фюльви Елена Луиза де (ум. 1768), жена государственного советника и интенданта финансов Жана Орри де Фюльви (Казанова ошибочно называет ее герцогиней) 140

Хартиг (Хардиг) Франц фон Паула, граф (1758–1797), посланник Австрии при дворе курфюрста Саксонского (1789–1794) 146

Хитрово Анна Алексеевна (ум. 1795), фрейлина Екатерины II 557–558

Хитрово — возможно, Хитрово Федор Алексеевич (р. ок. 1740), секунд-ротмистр лейб-гвардии Конного полка, камер-юнкер 558

Хопе Томас (1704–1779), голландский купец 414–415, 426–427

Христина, эрцгерцогиня (1742–1798), жена Альберта Сакс-Тешенского (1738–1822), сына Августа III Саксонского 631

XXX госпожа, тетка м-ль де ла М-р (точное имя не установлено; возможно, графиня Мария Арманда Пари де Монмартель, урожд. де Бетюн) 366–393, 419, 426–427

Цезарь Гай Юлий (102–44 до н. э.), римский полководец, государственный деятель 98, 111, 534

Цицерон Марк Туллий (106–43 до н. э.), римский оратор, писатель 97, 443

Чарторыская Изабелла, княгиня, урожд. графиня Флеминг (1746–1835), жена Адама Чарторыского (1761), писательница 597–598, 607

Чарторыская Мария София, княгиня (ум. 1771), урожд. графиня Гранов-Синявская, жена графа Станислава Дёнхова (ум. 1728), затем Августа Чарторыского (1731) 599

Чарторыский Адам Казимир, князь (1734–1823), сын Августа Чарторыского, генерала Земель подольских, начальник Варшавского кадетского корпуса, член эдукационной комиссии 595–600, 619, 626

Чарторыский Август Александр, князь (1697–1782), воевода российский, коронный генерал-лейтенант 599–601, 607–610, 617–620, 625–626, 628

Чарторыский Михал Фредерик, князь (1696–1775), великий канцлер литовский (1752), старший брат Августа Чарторыского 599, 630

Чарторыский Теодор Казимир, князь (1719–1768), епископ Познаньский (1758) 621

Чудлай Элизабет (ок. 1720–1788), фрейлина принцессы Уэльской, жена герцога Ивлина Кингстонского (1769, брак признан недействительным) 511

Шавиньи Теодор Шавиньяр де (1689–1771), французский дипломат, посол в Венеции (1749), Швейцарии (1751–1762) 446, 463

Шалабр де, французский кавалерийский капитан, сын м-ль Амелен и королевского гвардейца, бригадира де Шалабра 390

Шалон Габриеле, уроженец Падуи, ростовщик, сидел в Пьомби (1756–1758) 276–280

Шаплен Жан (1595–1674), французский поэт и критик, автор эпической поэмы «Девственница, или Освобожденная Франция» (1656) 472

Шартрская, герцогиня — см. Орлеанская

Шартрский, герцог — см. Орлеанский

Шатле-Ломон Габриэлла Эмилия, маркиза дю, урожд. Ле Тоннелье де Бретей (1706–1749), возлюбленная Вольтера (1733) 115

Шатле-Френьер Аделаида Мария Тереза, маркиза дю (1717- после 1776), старшая дочь г-жи д'Юрфе, лишённая ею наследства 407, 410

Шмит Мария (после 1771), жена швейцарца, придворного чтеца, секретаря польского короля 601–602

Шуазель Этьен Франсуа, граф де Стенвиль, с 1758 г. герцог де (1719–1785), посол Франции в Риме (1753–1757), Вене (1757–1758), министр иностранных дел (1758–1761, 1766–1770), морской (1762–1766), военный (1761–1770); генерал-лейтенант (1759) 349–350, 413, 415, 417, 421

Шувалов Иван Иванович, граф (1727–1798), генерал-лейтенант, обер-камергер, первый куратор Московского университета (1755), президент Академии художеств (1757); переписывался с Вольтером; в 1763–1777 гг. жил за границей 578

Шуленбург Иоганн Маттиас, граф фон (1661–1747), немецкий военачальник, служил Дании, Польше, Голландии, Венеции, командовал сухопутными войсками Республики (1715) 292

- Эгмон — см. Пиньятелли
- Эгревиль Никола Адольф Фелисите, граф д' (р. 1731), прапорщик кавалерии герцога Орлеанского; знаменит своими любовными похождениями 395
- Эгюий Александр Буайе, маркиз д' (ум. 1785), президент парламента в Эксе, брат маркиза д'Аржанса 638, 640–641, 646
- Эльбеф Эммануэль Морис Лотарингский, герцог д' (1677–1763), француз, командовал австрийским полком в Неаполе; начал археологические раскопки, открыв Геркуланум 427, 435
- Эльвеций — см. Гельвеций
- Эон де Бомон Шарль, шевалье д' (1728–1810), дипломат, тайный агент Людовика XV, капитан драгунов, выдавал себя за женщину 140
- Эпикур (341–270 до н. э.), древнегреческий философ-материалист 464
- Эриццо Николо (1722–1806), посол Венеции в Париже (1754–1760) и Вене (1761–1765) 349
- Эстерхази (1711–1764), австрийский посланник в Копенгагене, Варшаве, Дрездене, Мадриде, Петербурге; тайный советник, камергер 579
- Этреан Жак Робер д'Эреси. маркиз д', генерал-лейтенант (1748), любовник К. Везиан (1751–1767) 161–162
- Юрфе Анн де Ласкарис, маркиз де Баге, граф д' (1555–1621), сын Жака I д'Юрфе, поэт 401
- Юрфе Жанна, маркиза де, урожд. Камю де Пон Карре (1705–1775), жена Луи Кристофа де Ласкариса д'Юрфе Де Ларошфуко 401–413, 416, 418–420, 422, 425–426, 437–439, 477–480, 484–496, 501, 505
- Юсуф Али 35–49, 51–52, 54–58
- Яблоновский Юзеф Александр, князь (с 1743) (1712–1777), воевода, ученый, меценат 617
- Яков III — см. Стюарт Джеймс-Эдуард
- \* Том II–IV. Перевод И. Стаф. Том V (главы II, III). Перевод А. Строева и И. Стаф. Том V (главы V–VIII, X, XI) — том XI. Перевод А. Строева.
- 1 Хотя вот в «Любвных письмах шевалье де\*\*\*» Бастида (1752) рассказывалось о 144 победах. Список любовных удач — неперемный атрибут светского щеголя, его составляли с большой тщательностью, заучивали наизусть; блестящий «послужной список» обеспечивал новые победы.
- 1 Одно из немногочисленных курьезных исключений — перевод-пересказ мемуаров Казановы на русском языке под названием «100 приключений» (1901), сделанный К. Введенским, где Казанова гибнет в середине жизни — якобы тонет корабль, на котором он возвращается из Англии во Францию.
- 1 Правда, в конце своих «Занимательных историй» (1657–1659), сборника анекдотов об известных людях того времени, сын банкира литератор Талеман де Рео посмел включить рассказ о «любовных приключениях автора», отнюдь не возвышенных, а грубовато плотских, но опубликована рукопись была только в начале XIX века.
- 2 Казанова Руссо недолюбливал и к «Исповеди» отнесся критически, хотя в какой-то степени подражал ей: «Я наделал в жизни немало глупостей и исповедуюсь в них столь же искренне, как Руссо, но с меньшим самолюбованием, чем этот великий человек».
- 1 Если в XVI веке Агриппе д'Обинье роль сводника при Генрихе IV казалась постыдной, то в XVII веке и Ларошфуко и Рец использовали женщин для достижения своих политических целей.
- 1 В старости, встретившись с Казановой, д'Аржанс усиленно отговаривал венецианца писать воспоминания — уж больно неблагодарное занятие.
- 1 Сюжет путешествия к центру Земли через сто лет использовал Жюль Верн.
- \* Гневаться скорый, однако легко умиряться способный (Гораций. Послания. Кн. 1, 20, 25. Пер. Н. С. Гинцбурга).
- \* Сводники, олухи (итальянское выражение XVII–XVIII вв.).
- \* Следуй Богу! (лат.).
- \* Отец мой (греч.).
- \* Еще шесть — и довольно, если вы не хотите моей смерти (итал.).
- \* Где не проступало ни узелка, ни вены (итал.; Ариосто. Неистовый Роланд. Песнь VII. Строфа 15).
- \* Святая святых (лат.).
- \*\* Букв.: «Покуда длится жизнь, хорошо» (в пер. С. Ошерова: «Лишь бы жить, и отлично все!») — стих Мецената, цитируемый Сенекой в 101-м «Нравственном письме к Луцилию».
- \* Кто идет? (новогреч.).
- \* Союз во крови (лат.; от: Исход, 24, 8).
- \* Из жидкого — твердое (лат.).
- \* Из глубины <взываю> (лат.; начало заупокойной молитвы).
- \*\* Тебя, Господи <славим> (лат.; католический благодарственный гимн).
- \* Городом Римом от его начала правили цари (лат.) (Тацит. Анналы, I,1/Пер. А. Бобовича).
- \* Только петух поет (лат.) (ср.: «Прежде чем петух закричит». Плавт. Хвастливый воин, 689–690/Пер. А. Артюшкова).

- \* Бедняк людям не нужен нигде (лат.) (Овидий. Фасты, I, 218/ Пер. Ф. Петровского).
- \* Счастлива видеть вас в добром здравии, сударь (искаж. итал.).
- \* Точнее. An recto stet fabula talo... <Не заботясь после того,> устоит на ногах иль провалится пьеса (лат.) (Гораций. Эпистолы, II, I, 176. Пер. Н. Гинцбурга).
- \* Пусть будет бог, лишь бы не живой (лат.) (слова римского императора Каракаллы после убийства его брата Геты).
- \* То, что облакает гондолу. (Примеч. Казановы на полях.)
- \* Ковер в гондолах. (Примеч. Казановы на полях.)
- \* Мольер. Жорж Данден, или Одураченный муж. Акт I, сцена VII.
- \* Ибо в игорном доме играли лишь в бассет. (Примеч. Казановы на полях.)
- \* Путь отыщет судьба (лат.) (Вергилий. Энеида. Песнь III, 395/ Пер. С. Ошерова под ред. Ф. Петровского).
- \* С двумя и Геракл не справится (лат.) (Платон. Федон. Гл. 38/ Пер. С. А. Жебелева).
- \* Это он самый; в тюрьму его (итал.).
- \* Каравита. (Примеч. Казановы на полях.)
- \* Страница 1267 рукописи почти целиком зачеркнута и не поддается прочтению.
- \*\* Так, умереть решив (лат.) (Гораций. Оды. I, 37, 29; /Пер. С. Шервинского).
- \*\*\* Еще, еще один, великий Боже, только посильнее! (итал.)
- \* Слово это означает «балка». Это та самая огромная балка, тень которой застила свет у меня в камере. (Примеч. Казановы на полях.)
- \* <Пытки другой> не нашли сицилийские даже тираны (лат.) (Гораций. Послания, 1, 2, 58 / Пер. Н. Гинцбурга).
- \* Полезно (лат.)
- \* Воздерживайся и терпи (лат.).
- \* Лишь бы жить, и отлично все! (стих Мецената, цитируемый Сенекой в 101-м «Нравственном письме к Луцилию» / Пер. С. Ошерова; ср.: т. II, гл. IV, с. 266).
- \*\* ...Не нашли сицилийские даже тираны (лат.) (см. с. 266).
- \* Все в смятении душа, что тревожится за будущее (Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Письмо 98, 6 / Пер. С. Ошерова)
- \*\* Спрятано (лат.).
- \* Гадания по Вергилию (лат.).
- \*\* Меж концом октября и началом ноября (итал.).
- \* Тот не заслуживает веры, кто не доверяет другому (итал.) (Метастазио. Оставленная Дидона, 1, 4).
- \* Непокорному — палку (лат.).
- \* Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни (Псалтирь. Пс. 117, 17).
- \*\* Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня (Псалтирь. Пс. 117, 18).
- \*\*\* И здесь мы вышли вновь узреть светила (Данте. Божественная комедия. Ад. Песнь XXXIV, 139 / Пер. М. Лозинского).
- \* Дворцовый канал. (Примеч. Казановы на полях.)
- \* Мудреца за письмом (итал.).
- \*\* Здесь положил он предел (лат.) (ср.: «Утверждает в пределах твоих...» Псалтирь, Пс. 147, 3).
- \*\*\* Предвечный да позаботится об остальном, либо Фортуна, коли касается это ее (итал.) (Ариосто. Неистовый Роланд. Песнь XXII. Строфа 57, 3–4).
- \* При прочих равных условиях (лат.).
- \* Горе побежденным (лат.).
- \* Лицом к лицу (лат.); правильней: «de facie ad faciem».
- \*\* Д'Аламбер осмелился исправить его. Я поступил бы так же. Что за нужда королю говорить по-латыни, не выучив ее. (Примеч. автора на полях.)
- \* Восемь лет спустя встретил я г-на Патона в Петербурге, а в 1767 году он был убит в Польше. (Примеч. автора на полях.)
- \* Матери Императрицы российской Екатерины. (Примеч. автора на полях.)
- \* В том же состоянии (лат.).
- \* Между живыми (лат.).
- \*\* Вдали от дел (лат.) (Гораций. Эподы, II, 1).
- \*\*\* При прочих равных условиях (лат.).
- \* Любить и быть разумными едва ли могут и сами боги (лат.) (Публий Сир. Сентенции, 25).
- \* Я сомневаюсь, что память остается после смерти (лат.).
- \*\* И если кто нарушит Церерины  
Святые тайны, то я его  
Не потерплю под одною кровлей  
(Гораций. Оды. Кн. III, 2/Пер. А. П. Семенова-Тян-Шанского).

\*\*\* Издалече нечто, вблизи ничто. (Примеч. автора на полях.) (Лафонтен. Басни. Кн. IV. Басня «Верблюды и плывущие палки».)

\* Против смерти лекарства бессильны (лат.). Тезис средневековой медицинской школы в Салерно.

\* Прекрасное (лат.).

\*\* Изящное (лат.).

\* «Все прекрасное трудно» (лат.).

\* С церковной кафедры (лат.).

\* Но вот уходят все. Отброшен стыд, И можно отпустить узду страданий, Потоком слезы хлынули с ланит, Он стонет, задыхаясь от рыданий.

(Перевод Е. Солоновича.)

Ариосто. Неистовый Роланд.

Песнь 23, октава 122, стихи 1–4.

\*\* *Putia forte rue* (итал.) — шибко воняет (Ариосто. Неистовый Роланд. Песнь 34, октава 80, стих 6).

\*\*\* Что, может быть, проснется в день иной (итал.). (Ариосто. Неистовый Роланд. Песнь 24, октава 6, стих 4).

\* «Сумма» (лат.).

\*\* «Похищенное ведро» (итал.).

\*\*\* «Академические рассуждения» (итал.).

\*\*\*\* «И тем погрешает» (лат.) (Гораций. Послания. Кн. II, 1, 63).

\* Да возрадуются счастливо сложенные (лат.).

\* Пиши для немногих (лат.). (Гораций. Сатиры. Кн. 1, 10, 74).

\*\* И тем погрешаешь (лат.) (измененная цитата из Горация).

\* Пометка автора на полях.

\* Предшествующее уничтожено (лат.) (Примеч. автора на полях; предыдущая глава была потом Казановой переписана.)

\* Следуй Богу (лат.).

\* Реестр, бюро учета ставок (итал.).

\* Восемь выброшено (лат.).

\* Здесь и далее курсивом выделяется «русский язык» Казановы.

\* Бесплатно (лат.).

\* Монахом (греч.).

\* Торопливая собака слепых щенят пожирает (лат.).

\*\* Долго рождает львица, но льва (лат.).

\* Дух святой (лат.).

\* Полные кубки кого не делают красноречивыми? (лат.) (Гораций. Послания. 1, 5, 19 / Пер. Н. С. Гинцбурга).

\* «Был бы достоин, если б даже не правил» (лат.).

\*\* «Хочет охотиться он — ты стихов не кропай в это время». (Гораций. Послания. Кн. 1, 18, 40 / Пер. Н. С. Гинцбурга) (латинская цитата не точна).

\* «Те, кто молчать пред царем о бедности могут, получают больше, чем тот, кто просил». (Гораций. Послания. Кн. 1, 17, 43. / Пер. Н. С. Гинцбурга) (цитата неточная).

\*\* Улучу момент (лат.) (Гораций. Сатиры, 1, 9; 58).

\* «Пусть раненные голодом мучаются» (лат.).

\* Дописано автором над строкой.

\*\* Добродетели сарматов внешние (лат.).

\* «Следуй Богу» (лат.).

\* Здесь в рукописи значится «конец тома десятого» (зачеркнуто), «девятого» (зачеркнуто), «восьмого».

\* «И кое-что еще» (лат.).

\* «А издашь — и словца не поправишь» (лат.) (Гораций. Наука поэзии. 390/Пер. М. Гаспарова).

\* Не почитаю евангелием (лат.).

1 Casanova de Seingalt, Jacques: Venitien. Histoire de ma vie. Wiesbaden: F. A. Brockhaus, Paris: Plon, 1960–1962. — Т. 1–12.

2 Правильный вариант дается в указателе имен.

1 В скобках указывается неточное написание имен, принятое Казановой.